ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

2



ИЕРУСАЛИМ
1992

Евреи в культуре Русского Зарубежья

Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе

1919-1939 гг.

Выпуск II

Издатель и составитель
М. Пархомовский

Иерусалим, 1993

ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Сборник статей, публикаций, мемуаров и эссе
1919-1939 гг. Выпуск II

Составитель и издатель М.Пархомовский

Редакционный совет:
С.Векслер, М.Генкина, Г.Морев, Н.Прат, В.Радуцкий, М.Хейфец, С.Шварцбанд, И.Штительман, Л.Юниверг (Израиль), И.Вайнберг, О.Ласунский (Россия), Б.Лосский, Б.Носик, Е.Эткинд (Франция), М.Раев, В.Эрлих (США)

Набор: Я.Сорокер
Корректор: Ю.Зислин
Монтаж: Ф.Дектор
Обложка: В.Вайнштейн

© М.Пархомовский, 1993
ул. Мишлат, 648/4
99000 Бейт-Шемеш
Израиль
Тел.: (02)917039

Книга издана на средства издателя и составителя

JEWS IN THE CULTURE OF RUSSIA ABROAD
Collected articles, memoirs, publications and essays
1919-1939. Volume II
Compiler and publisher M.Parkhomovsky

Editorial board:
M.Genkina, M.Kheifets, G.Morev, N.Prat, V.Radutsky, I.Shtitelman, S.Shvartsband, L.Yuniverg (Israel), O.Lasunsky, I.Vainberg (Russia), E.Etkind, B.Lossky, B.Nossik (France), V.Erlich, M.Raeff (USA)

Typesetting: Ya.Soroker
Proof-reader: Yu.Zislin
Layout: F.Dektor
Cover: V.Vainshtein
© 1993 Copyright by M.Parkhomovsky
M.Parkhomovsky,
648/4, Mishlat
99000 Bet-Shemesh
Israel
Tel.: (02)917039

The second volume is published on the expense of its compiler and editor.
ISBN 965-222-292-5

Вместо предисловия

О роли евреев в русской культуре мы рассказываем со спокойной уверенностью в правильном выборе темы и ее своевременности. Сложнее вопрос о том, можем ли мы с такой же безмятежной совестью писать в наших сборниках об ассимилированных евреях, считавших себя русскими, об ушедших в христианство, коммунизм, буддизм и другие измы. Но уходя в другую культуру (веру), евреи уносят в себе национальные черты, скажу больше – национальную сущность. От себя убежать нельзя. Неравнодушные, увлекающиеся, активные, стремящиеся к знанию, склонные к идеализму, практицизму, абстракции, они в наших глазах навсегда остаются евреями[1].

Оригинальная трактовка темы дана во вступительной статье Доры Штурман.

Составитель

О многопринадлежности Homo Novus

Дора Штурман
(Иерусалим)

У меня нередко вызывают недоумение попытки **этнически однозначно** определиться в культурной плоскости. Я оставляю в стороне проблемы реликтовых, эндемических в культурном плане племен, застывших почему-либо в своей изоляции от человечества. Понятия этнической принадлежности и культурной причастности в современном мире слишком часто друг с другом не совпадают, и одно другим не перекрывается.

Начнем с принадлежности этнической как с категории, уходящей своими корнями в дочеловеческий животный мир.

Homo, самонадеянно давший себе определение Sapiens, – это **один** биологический вид, имеющий множество подвидов. Кажется, теперь уже мало кто сомневается в том (и много реже оскорбляет-

ся тем), что некоторые расовые и этнические особенности находят свое основание в генотипе расы, этноса. Они сохраняются или не сохраняются у метисов. Отчасти и потому, что при скрещивании геномов иначе распределяются доминантность и рецессивность генов, чем это было у "чистой" расы (этноса). Разумеется, "чистых" расовых и этнических генотипов на Земле становится все меньше и меньше. Конечно, часто очень трудно бывает (иногда – невозможно) разделить на этнические нити узел этноса, разложить на отдельные мелодии полифонию нации. Вглядитесь в этнические типы становящегося государства Израиль: черты коренного населения стран недавних исходов просматриваются очень во многих лицах. А какое количесво неевреев, принявших и не принявших гиюр[2], становятся израильтянами и родоначальниками будущих еврейских родов? И все-таки существует, пусть и с размытыми границами, пребывающий в непрерывном становлении, преобразовании, смешениях и распадах, некий "генный котел" сложившихся этносов. Их генотипы имеют присущие лишь им или статистически более частые в них, чем в других этносах, детали. И это своеобразие придает расе, этносу и субэтносу и их комбинациям некое физиологическое и психологическое своеобразие, носящее, разумеется, среднестатистический, а не тотальный характер. Генетическое своеобразие усиливается длительным существованием в общем социуме, в единой истории, в одной культуре, в общих природных условиях. Но есть народы, и в рассеянии долго сохранявшие (или сохраняющие) свою генетическую особость. Они сберегают ее посредством строгой консервации своих верований, своих брачных правил, своего быта, своих обрядов. Этот упрямый консерватизм усиливает ксенофобию окружающих и, в свою очередь, подкрепляется враждебностью окружающих. Подчеркиваю: все это факторы не тотальные а статистические, не статичные, а динамичные, всегда находящиеся в процессе многоаспектных преобразований. Статика и динамика этого многообразия не беднее, чем неповторимое личностное своеобразие. И все же, со всеми оговорками, генетическая особость зрелого этноса в ее среднестатистическом выражении есть факт. Некоторые характерные ее, этой особости, приметы порой сохраняются или проявляются в чертах личности при многопоколенной ассимиляции ее в другом этносе (расе).

Поэтому, когда человек, чьи бабушки и дедушки жили в восточноевропейском штетле (местечке), а родители в детстве говорили на идише, утверждает, что он не еврей, а, к примеру, русский, больно

на него смотреть. Я не знаю, почему он не может сказать, что он ассимилированный в русской культуре, истории и языке еврей. Даже если это великий поэт[3].

Как бы мы того ни хотели, нам никуда от своих генетических предков не деться. Мы воспроизводим их (в своей, разумеется, неповторимой личностной комбинации) не только чисто физиологически. Мы долго несем в себе, иногда – неосознанно, их глубинные и психологические, и этические мерила, системы оценок и реакций – те их установки, которые глубже четко сформулированных идей. Нужны очень далекие и глубокие отрывы и смешения, чтобы этническая особость ушла, влившись в общий феномен другого этноса (расы).

Но ведь особь и личность – это не только филогенез[4], это еще и – в огромной индивидуализирующей степени – онтогенез[5]. А человек – это неповторимая его душа, это дух, это культура.

И если уже в филогенезе, в эволюции **генома**, происходят бесчисленные смешения, скрещения, приобретения, мутации, если так называемые "чистые" генетические линии можно получать только искусственно и относительно, то что говорить о "чистых линиях" в духе, в культуре?

Современный духовно цивилизованный человек многопринадлежен по определению. Тяжелые переживания порождает в нем скорее непризнание окружающими его права на такую многопринадлежность, чем сам факт последней. Болезненно воспринимается цивилизованным в современном смысле слова, то есть многопринадлежным, человеком отказ со стороны каких-либо из его духовных стихий, его интеллектуальных составляющих, его культурных отчизн числить его равноправным себе или своим.

Конечно, есть и сегодня в мире замкнутые, стремящиеся сохранить свою обособленность культуры. И не только реликтово-племенные, но и грандиозные как во времени, так и в пространстве. Но и из них **современный** человек вольно или невольно устремляется во вселенную духовной многопринадлежности, космополитической сопричастности. И для этого вовсе не необходимо отрываться и тем более отрекаться от принадлежности к своему народу.

У евреев особо осложненное отношение к этой проблеме. У мира к евреям – тоже. Поневоле мы коснемся здесь лишь прибрежного краешка этого океана.

В СССР, по инициативе Горького, издавалась в промежутке между двумя мировыми войнами серия романов "Молодой человек XIX

столетия". Истории молодого российского еврея XIX – начала XX веков, перешагнувшего через порог духовного и физического гетто, в серии не было. Культурный мир условного гетто ("черты оседлости") отнюдь не сводился к щелканию на деревянных счетах, к пересчитыванию засаленных банкнот и к соблюдению религиозно-бытовой обрядности. Это был и мир великолепного фольклора, устного и письменного предания, мир элитарно высокого философского богословия и истории, мир ивритоязычных, а потом и идишистских литературы и театра. То были духовные пространства, одновременно и безграничные, и замкнутые. Замкнутые потому, что они существовали как высокие ценности только для еврейства и для непредубежденных ученых-неевреев. И самый высокий духовный авторитет внутри условного гетто не прибавлял еврею престижа и веса вне его стен. И еще: духовная элита традиционалистского еврейского мира считала свою культуру абсолютно самодостаточной. Она не только не хотела и не допускала в свои пространства десантов инородной духовности – она игнорировала ее наличие куда полнее, чем внешний мир игнорировал ее. Отношения с этим внешним миром поневоле допускались – деловые, финансовые, административные, но не духовные, не посягающие на уникальность еврейского духовного космоса.

Еврейские растиньяки XIX – XX (начала его) веков должны были, при расширении своих амбиций вовне условного гетто, освоить не экономический (это было всегда и настоящего признания в нееврейском мире не приносило), а культурный потенциал своего окружения со всей его новой для них спецификой.

Живя в **своей** (по этническому большинству) стране, да еще государственно чуждой фундаментализму (об отдельных течениях и вкраплениях внутри общества речь не идет), можно легко совместить свою естественную языковую и культурную принадлежность с любыми другими культурными и языковыми интересами и сопричастностями – на любительском или профессиональном уровне. Не то для российского еврея конца XIX – начала XX веков. Его ассимиляции в чужой культуре яростно сопротивлялись и исходная, и окружающая среда. С первой, в силу ее традиционной закрытости для инородных воздействий и компромиссов, приходилось нередко идти на разрыв. Естественно, что отрезанные родные корни не гарантировали быстрого и безболезненного врастания в новую почву. Для такого врастания, обретения истинного родства нужны время, огромный труд и

многие другие условия, многие качества, свои и чужие. В той или иной форме отрезать, обособить себя от исходной среды легче, чем, вопреки сопротивлению среды новой, стать ее равноправными сочленами, равноценными компонентами ее культуры и духовности. На последнее были способны в одном поколении лишь сравнительно немногие выходцы из традиционного еврейского мира[6]. Но именно – выходцы: они, во всяком случае – в **своем** ощущении, вышли, ушли, перешли из просторов родной ограниченности в другой, беспредельный мир.

И лишь немногие перешагнули из мира чистой традиционности, не разрывая с наследием отцов, а расширяя себя, свою духовность, свой интеллект признанием и освоением человеческой многопринадлежности..

Я еврей, россиянин (израильтянин, британец, американец...), я – человек. Это лишь несколько граней такой многопринадлежности. Их куда больше. И ни одна из них не ущемляет других (другой) в полноценном культурном мироощущении. Если в чьих-то глазах ущемляет, – это проблема хозяина таких глаз. Ежели он, в силу этой своей неполноценности, поднимет на многопринадлежного человека руку, физическую или юридическую, тот должен себя защищать. Конечно, куда удобнее и свободнее защищать себя в своем государстве. Но еврей достаточно дал и дает urbi et orbi, чтобы защищать свое человеческое, гражданское и национальное достоинство и свое потомство там, где он, волей судеб и своей, живет, в любой точке нашей маленькой общей для вида Homo планеты. Для этого необходимо (хотя его подчас и недостаточно в физическом смысле) одно условие: личное ощущение собственного достоинства.

На мой взгляд, первая книга "Евреи в культуре Русского Зарубежья" хороша тем, что в подавляющем большинстве своих сюжетов проникнута чувством человеческого и национального достоинства, не требующего от еврея ни ренегатства (даже в самых пристойных и сглаженных его формах), ни фундаментализма и ретроградства, ни национального высокомерия. Это книга честная, гуманная и терпимая по отношению к различным мироощущениям и миропониманиям. Большинство ее авторов выгодно отличаются своей толерантностью от некоторых национальных и религиозных неофитов. Новообращенные нередко безбожно путают чувство национального достоинства с националистическим экстремизмом, обретение веры – с агрессивным обрядоверием и мракобесием.

Книга, о которой мы говорим, за редчайшими исключениями, лишена как национальной кичливости, так и национальных комплексов неполноценности. Она не унижает и не возвышает ни евреев ни неевреев. Она не упрощает противоречивых составляющих отнюдь не только еврейского феномена – человек в иноэтнической для него культуре. Она (опять же – за редчайшими исключениями) не снимает вопросительного знака там, где добросовестный ум не может поставить точку. В ней нет ни чувства осажденности, ни агрессивности, ни высокомерия, ни самоуничижения. Она обладает фактографической и концептуальной ценностью для специалистов разных сфер культуры, хотя и не бесспорна для некоторых из них в конкретных сюжетах и деталях.

Книга продолжает разговор на тему давнюю и неисчерпаемую: еврейство и Россия.

Приветствуя выход настоящего, второго тома, я верю в долгую жизнь этого начинания.

Примечания

1. Уместно вспомнить, что согласно еврейской религии, еврей, отказавшийся от своей веры и перешедший в другую религию, продолжает оставаться евреем, хотя и считается грешником.

2. Гиюр – нормы обращения в иудаизм.

3. Один выдающийся литературовед сказал, что великий русский поэт не православным быть не может. Не думаю, что это так, но не готова ответственно сей тезис оспорить. Однако в том, что еврей не есть русский, не сомневаюсь. Моя дальняя родственница, живущая ныне в США, а ранее – в СССР, когда-то назвала себя "еврейка – условно". Думаю, что правильней было бы сказать "условно русская" (сейчас она чувствует себя еврейкой). Самоидентификация не отменяет генетики.

4. Историческое развитие органического мира, его типов, классов, отрядов, семейств, родов и видов; можно говорить о филогенезе тех или иных органов.

5. Индивидуальное развитие растительного или животного организма, охватывающее все изменения, претерпеваемые им от момента зарождения до окончания жизни.

6. Не потому ли так бесила **автора "Гамбринуса"** экспансия ассимилированных евреев в российскую журналистику начала века? В их продукции не бился живой языковой нерв русской словесности, а значит – русское духовное начало – вот что толкнуло его на развернутую антисемитскую реплику в частном письме.

Литература
Языкознание

Редактор Самуил Шварцбанд

Последний поэт старой России

Юрий Колкер (Англия)

Потаенная биография Саши Черного

Анатолий Иванов (Россия)

Автограф Саши Черного в архиве Б.К.Зайцева

Публикация Александра Клементьева (Франция)

"Такой забавник – умница Бахрах"

Борис Носик (Франция)

Роман Якобсон в Чехословакии

Олег Малевич (Россия)



В.Ходасевич. 1930 г.

Последний поэт старой России

Юрий Колкер
(Лондон)

Лишь расовый подход позволяет говорить о Владиславе Ходасевиче как о *выходце* из евреев. Подход этот в целом настолько скомпрометирован, что я вынужден предпослать статье несколько соображений общего характера.

Русские изначально были общностью государственной. С тех самых дней, как имя русь впервые прозвучало на новгородской, а затем киевской земле, этот народ был слиянием по меньшей мере трех этнических составляющих, из которых славянская возобладала лишь со временем – и безраздельно господствовала исторически недолгое время. Потому-то и историю России естественно писать как историю государства российского. В основе евреев как народа лежит призвание. Консервация этноса после катастрофы в первом веке новой эры тоже произошла на основе культурно-религиозных, а не государственных уз. Когда евреи не по своей воле стали подданными Российской империи, два понимания национальной принадлежности столкнулись и несколько десятилетий противостояли друг другу. За эти десятилетия русская культура сделала

гигантский шаг вперед, а русская государственность и еврейская общинная жизнь начали клониться к закату. Акценты сместились, и после большевистского переворота в диаспору ушло немало *русских по призванию*, в том числе – и из родившихся евреями, унося с собою Пушкина и Гоголя как священное писание утраченной родины.

Сказанное прямо относится к Ходасевичу. В обоих смыслах он был типично русским: сначала – как российский подданный нерусского происхождения, затем – как русский по призванию, как носитель русского начала в рассеянии. В этом своем втором качестве он оказался своего рода чемпионом: никто решительнее Ходасевича не отвернулся в эстетическом отношении от новой России, никто не связал себя теснее, чем он, с Россией Пушкина. Ходасевич помнил о том, что он "России пасынок", но все же считал себя русским: обстоятельство немаловажное, ибо в нашу националистическую эпоху уже и этнография пришла к тому, чтобы в спорных случаях устанавливать национальную принадлежность людей исходя из их самоидентификации, иначе говоря – из призвания.

Расовый и национальный подход имеет в моих глазах лишь одно бесспорное преимущество: негэнтропийное. Утрата любой расы, любой нации – трагедия для человечества, шаг от свободы к порабощению, от богатства к нищете. Затем, расы и нации – реальность, и как ни расплывчаты их очертания, мы все же повторяем за поэтом: "острый гальский ум", "сумрачный германский гений", – стало быть, можем допустить и то, что какие-то присущие евреям качества невольно проявились в характере и произведениях Ходасевича. Однако это не более чем допущение. Вглядываясь в жизнь поэта, будем помнить о том, что сам он, скорее всего, решительно отверг бы всякую попытку причислить его к русским евреям.

В основу настоящей статьи положена моя работа *Айдесская прохлада* (1983), вошедшая в парижское двухтомное *Собрание стихов Ходасевича*[1]. Для исправлений и дополнений мною привлечены позднейшие публикации, в частности, обстоятельный доклад Дэйвида Бруммелла, прочитанный в начале 1993 года в лондонском Пушкинском клубе[2].

Жизнь поэта распадается на две неравные части: первые две трети ее приходятся на Россию, последняя треть – на эмиграцию. Проследим их, отправляясь от хронологии.

1. В России

16(28) мая 1886 года, в Москве, у мещанина Гостиной слободы и "купца по нужде" Фелициана Ивановича Ходасевича и его жены Софии Яковлевны, урожденной Брафман, родился шестой ребенок, сын, крещенный по католическому обряду именем Владислав-Фелициан. Отец будущего поэта в молодости готовился стать живописцем, занимался в петербургской Академии художеств, однако необходимость содержать семью вынудила его оставить искусство и открыть фотографический магазин. Дед Владислава по отцовской линии участвовал в польском восстании 1830-1831 годов, за что был лишен дворянства и сослан.

Примечательной фигурой был дед поэта по матери, Яков Александрович Брафман, памфлетист, прославившийся своими нападками на евреев. Причины его разрыва с еврейством не выяснены. Приняв христианство (отчество получено им при крещении в православие), Я.А.Брафман выпустил два сочинения, *Книгу Кагала* и *Еврейские братства*, в которых, пренебрегая фактами и не жалея яду против своих бывших единоверцев, писал об опасности еврейского самоуправления. Эти недобросовестные труды были весьма популярны при Александре II, способствовали росту антисемитизма, а их автору доставили кресло действительного члена императорского географического общества и иные привилегии.

Родители Владислава Ходасевича происходили из Литвы, русский язык в семье перемежался с польским, Мицкевич (между прочим, находившийся в отдаленном родстве с Ходасевичами) соседствовал с Пушкиным. Молитвы *Отче наш* и *Богородицу* будущий поэт читал в детстве по-польски. Строгое религиозное воспитание, проводником которого была мать, наложило несомненный отпечаток на весь его человеческий облик и последующее творчество, – но не внушило приверженности к внешней, обрядовой стороне веры.

В литературную жизнь Москвы Ходасевич включился в 1902 году. *Звездный час* символизма был еще впереди: журнал *Весы* начинает выходить в 1904 году. В новой поэзии царил Брюсов; одесную и ошую предводителя стояли в Москве Бальмонт и Андрей Белый – они и сделались первыми косвенными наставниками пробовавшего перо гимназиста. Теснее прочих Ходасевич сошелся с Брюсовым, но отношения между учеником и мэтром постепенно приняли напряженный характер и закончились открытой враждой. Об Андрее Белом

Ходасевич впоследствии скажет: "Я далеко не разделял всех воззрений Белого, но он повлиял на меня сильнее кого бы то ни было из людей, которых я знал". Бальмонт остался увлечением юности. В 1903 году Ходасевич осознает, что стихи стали его судьбой.

Ходасевич не получил высшего образования. С 1904 по 1911 год, с несколькими перерывами, он учился на юридическом и историко-филологическом факультетах императорского московского университета. Причина его *увольнений* всегда была одна: невзнос денег. Отец поэта, дела которого и прежде шли неблестяще, к этому времени окончательно обеднел. Попечителем студента Владислава Ходасевича становится его брат, известный московский юрист, присяжный поверенный Михаил Фелицианович Ходасевич, который был на 21 год старше своего подопечного. Безденежье объяснялось не только общей бедностью молодого человека, но и его карточными долгами. Страсть к картам он сохранил до конца своих дней.

Печататься Ходасевич начал в 1905 году. Поначалу он чаще выступает с критико-библиографическими заметками, чем со стихами. Лишь в 1908 году, в издательстве *Гриф,* выходит первая книга стихов Ходасевича *Молодость,* в целом весьма благожелательно (хотя и не восторженно) принятая критикой. В замысел поэта входило придать не слишком выразительному названию книги скорбно-иронический привкус, действительно возникавший по ее прочтении: *Молодость* явственно проникнута антиромантическим настроем – недаром критика противопоставляла ее *Романтическим цветам* Гумилева. Другая черта книги – своеобразная желчность, присущая и всем последующим стихам Ходасевича и его высказываниям о поэзии. Она была вскоре отмечена, и за поэтом даже закрепляется на некоторое время прозвище *Муравьиный спирт.* Но самая важная особенность нового поэта не бросилась в глаза тогдашней критике, – состояла же она в том, что в ту памятную в истории литературы эпоху расшатывания основ и жажды обновления во что бы то ни стало – явился последовательный носитель охранительного начала в поэзии, убежденный противник авангардистской демократизации этого древнего искусства. Таким Ходасевич в целом и остался до конца дней.

Несмотря на свою невзрачность и болезненность, Ходасевич нравился женщинам. Привлекали его преимущественно ветреницы и *вострушки,* существа грациозные, яркие и легкомысленные, – словом, во всем противоположные самому поэту. В 1905 году он женится на восемнадцатилетней красавице Марине Рындиной, капризной и экс-



Н.Берберова, 1928 г.

центричной особе из состоятельной московской семьи. В высшей степени характерно, что страстной, захватывающей любовной лирики нет ни в предшествующих этому событию, ни в последующих стихах Ходасевича; не обнаруживают душераздирающей тоски и немногие стихи о разрыве (молодые супруги недолго были вместе: Рындина скоро уходит от Ходасевича). Эротическая муза поэта всегда является к нам как бы "под густой вуалью". Суховатая сдержанность была его неизменным творческим и жизненным правилом.

Не любовь, а дружба стала основным романтическим приключением всей жизни Ходасевича. Самуил Викторович Киссин, ровесник Ходасевича, печатавший стихи под псевдонимом Муни, в течение десяти лет был в духовном отношении самым близким ему человеком – остался таковым и после своего самоубийства в 1916 году. "В литературных оценках он был суров безгранично и почти открыто презирал все, что не было вполне гениально... Чем лучше он относился к человеку, тем к нему был безжалостней. Ко мне – в первую очередь. Я шел к нему с каждыми новыми стихами... В лучшем случае, прочитав, он говорил, что *это не так уж плохо.* Но гораздо чаще делал утомленное и скучающее лицо и стонал: – Боже, какая дрянь! – Или: – Что я тебе сделал дурного? За что ты мне такое читаешь? – ...Должен признаться, что я относился к его писаниям примерно так же. И так же каждый из нас относился к себе самому. Из года в год мы заедали самих себя и друг друга изо всех сил..." Отличительная строгость Ходасевича кристаллизовалась в немилосердных лучах этой удивительной дружбы. Заочный диалог с Муни – содержание важнейших для понимания Ходасевича последующих его стихотворений.

Нищета, бездомное и полуголодное существование на случайные литературные заработки (а то и просто голод) – вот черты московской жизни Ходасевича начала 1910-х годов. По крайней мере однажды поэт был на грани самоубийства – его руку удержал Муни, по наитию явившийся за мгновение до выстрела; впоследствии Ходасевич никогда не мог забыть, что не сумел вернуть другу этого долга. В автобиографических заметках за 1911 год впервые упоминается *Нюра* – Анна Ивановна Гренцион, урожденная Чулкова, которой предстояло стать второй женой поэта. Вероятно, сближение с нею и вывело Ходасевича из состояния трагической безысходности. Чулковой посвящена вторая книга его стихов, *Счастливый домик* (1914), встреченная единодушным хором умеренных похвал – и ни в чем не

изменившая его литературного и материального положения.

Война и революция тоже поначалу почти не сказались на жизни Ходасевича. Его авторитет в литературных кругах Москвы неуклонно возрастал; его материальные дела оставались плачевными, если не бедственными. Приход большевиков ни в чем не поколебал его общелиберального настроя, в котором отвращение к грядущему хаму уравновешивалось, если не перевешивалось, характерным для тогдашней интеллигенции отвращением к царскому режиму. Вполне убежденный, по его собственным словам, что "при большевиках литературная деятельность невозможна", Ходасевич, тем не менее, вовсе не думал навсегда покидать Россию. Как и для многих писателей той поры, для него начинается изматывающая, одуряющая советская служба; в привычный для Ходасевича полуголодный быт новые черты внесли холод и разруха. В 1920 году, выпустив третью свою книгу стихов под программным названием *Путем зерна* (с посвящением Самуилу Киссину), он тяжело заболел и совсем слег, а едва оправившись, чуть не угодил в Красную армию: медицинская комиссия, несмотря на туберкулез позвоночника, признала его годным в строй. Спасло заступничество Горького, который добился медицинского переосвидетельствования. В ноябре 1920 года, вместе с Чулковой и ее сыном от первого брака, Ходасевич переезжает в Петроград, где, в отличие от Москвы, литературная жизнь была еще не полностью задушена.

В известном смысле это было *возвращение домой*: Ходасевич никогда, судя по всему, не бывавший прежде в северной столице, с первых своих шагов в литературе и до последних дней был и остался поэтом петербургским: приверженцем сдержанной, стройной, графичной, отчетливо артикулированной поэтики, восходящей к Пушкину и Боратынскому*. Как и на многих других природных москвичей, Петербург произвел на него неизгладимое впечатление, – и Ходасевич сумел создать свой образ Петербурга, драгоценным вкладом вошедший в литературное постижение этого города (во многом заложенное именно москвичами). Особый, словно бы разреженный воздух тогдашнего Петрограда таинственным образом подхлестывал художественное воображение творчески одаренных людей, предрасполагал к озарениям. "Голод и холод не снижали этого подъема, – мо-

---

* Именно такого написания фамилии поэта придерживается автор статьи (прим. ред.).

жет быть, даже поддерживали его", – писал впоследствии Ходасевич. В необычайно короткий для него срок (менее чем за два года) он создает здесь свою четвертую книгу стихов, *Тяжелую лиру* (1922).

Книга эта стала событием в тогдашней литературной жизни. Андрей Белый писал о ней: "Простой ямб, нет метафор, нет красок – почти протокол; но протокол – правды отстоенного душевно-духовного знания... вот что новей футуризма, экспрессионизма и прочих течений..."[3]. Еще вернее свидетельствовали о признании нападки: Ходасевичу начали завидовать. Разумеется, некоторые из критиков выступали к этому времени уже с *классовых* позиций, обвиняя нищего поэта в буржуазности.

В конце июня 1922 года Ходасевич оказывается за границей. Выезд нужен был ему прежде всего для закрепления разрыва с Чулковой. "...С февраля кое-какие обстоятельства личной жизни выбили из рабочей колеи, а потом привели сюда, в Берлин. У меня заграничный паспорт на шесть месяцев сроком. Боюсь, что придется просить отсрочки, хотя больше всего мечтаю снова увидеть Петербург, и тамошних друзей моих, и вообще – Россию, изнурительную, убийственную, омерзительную, но чудесную и сейчас, как во все времена свои"[4].

2. В диаспоре

Последние 17 лет жизни Ходасевич провел в изгнании. Назад – в Россию – его не пустили. С началом НЭПа большевики приоткрыли ворота перед беспокойной частью творческой интеллигенции, а затем уже и прямо стали высылать недогадливых писателей и профессоров. Боялись, разумеется, не заговоров: совесть и разум народа были в тягость новым хозяевам.

В Берлине, куда Ходасевич приезжает со своей третьей женой, начинающей поэтессой Ниной Берберовой, было в ту пору около ста тысяч русских беженцев. Культурная жизнь била ключом: существовали десятки издательств, выходили газеты и журналы. Впрочем, засиживаться никто не собирался: ждали только крушения большевизма. Большевики и сами не верили в то, что их власть может затянуться на годы, не то что на десятилетия.

Среди беженцев находился и Максим Горький. Между ним и Ходасевичем еще в России установились дружеские отношения, харак-



Портрет Владислава Ходасевича.
Художник Валентина Ходасевич (племянница поэта)

тер которых был – "не деловой, не литературный, а вполне частный, житейский"[5]. Вероятно, это и помогло Горькому без предвзятости вглядеться в стихи Ходасевича и признать в нем большого поэта. В изгнании Ходасевич и Горький сблизились еще теснее. Странным образом в этой дружбе главенствующая роль принадлежала не старшему, всемирно известному прозаику, а младшему, поэту, перед стихами которого Горький благоговел, в честной и нелицеприятной дружбе которого нуждался. Сначала в городке Заарове* под Берлином, а затем в Италии, под Сорренто, они прожили под одной крышей до апреля 1925 года, издавая (на базе одного из берлинских издательств) политически нейтральный литературный и естественнонаучный журнал *Беседа,* где печатались в русских переводах и иностранные писатели. Третьим литературным редактором журнала считался Андрей Белый, участие которого было чисто номинальным; в списке редакторов его имя шло вторым, перед именем Ходасевича. Научными редакторами были профессора Б.Адлер и Ф.Браун. *Беседа* прекратилась после выхода в свет седьмого выпуска – вместе с прекращением дружбы и сотрудничества Горького и Ходасевича. В советскую Россию журнал не был допущен – а такова была надежда его основателей. Шаг за шагом Москва сумела перетянуть Горького на свою сторону, убедила его порвать с эмиграцией. Но главной причиной охлаждения между друзьями и сотрудниками было, по всей вероятности, почтительно-сдержанное отношение Ходасевича к прозе Горького и вовсе отрицательное – к его стихам. Горький считал себя реалистом – Ходасевич видел в нем романтика. Уравновешенный, никогда не повышавший голоса Ходасевич был прям в своих оценках. Явное уважение, которое он питал к Горькому как человеку и писателю, только усугубляло тяжесть его литературных суждений, веских как приговоры. Неудивительно, что эта нравственная тирания сделалась для неуклонно большевевшего Горького сначала неудобной, а затем и невыносимой.

В самом ли деле Ходасевич был зол, как об этом твердят некоторые современники, среди них – и Горький (после разрыва)? Бытовое острословие, сухость, умение держать людей на некотором расстоянии – еще не злость: скорее защитная реакция, в литературных кругах слишком понятная. В иерархии высказываний писателя его сочинения стоят выше устной традиции, сколь бы надежной она ни

---

* В русской литературе этот город принято называть Сааров (прим. ред.).

казалась. Критические статьи и мемуары Ходасевича не обнаруживают ни малейших следов злости, наоборот, их отличительные черты – вслед за проницательностью – благородная уравновешенность, умение отдать должное даже клеветнику, даже обидчику. В таком духе написаны и обе статьи о Горьком, вышедшие после смерти пролетарского писателя. Для понимания Ходасевича много дают слова Владимира Вейдле, близко знавшего поэта: "Утверждали, что у него был *тяжелый характер*. Больше того: называли его злым, нетерпимым, мстительным. Свидетельствую: был он добр, хотя и не добродушен, и жалостлив, едва ли не свыше меры... Терпимым он действительно не был, боясь больше всего, как бы родной его дом, единственный, который у него остался, дом русской литературы, не превратился в дом терпимости"[7].

В апреле 1925 года Ходасевич переезжает в Париж, ставший к тому времени столицей русской литературной диаспоры. Лишь теперь он вполне осознает себя эмигрантом. В Париже начинается для него мелкая поденная работа в газетах *Дни* А.Ф.Керенского, *Последние новости* П.Н.Милюкова, *Возрождение* П.Б.Струве. Наиболее значительные его стихотворения и статьи печатаются в толстом журнале *Современные записки*, просуществовавшем с 1920 по 1940 год. В материальном отношении парижские годы Ходасевича были под стать московским – с той разницей, что теперь полуголодное и бездомное существование усугублялось подступавшей старостью, болезнями, безнадежностью. Хуже того: сотрудничество в газетах было неизменно сопряжено с унижениями. Политическим деятелям было не до литературы: они все еще надеялись вернуть себе Россию, и с поэтами обходились в эмиграции так, как никогда не посмели бы обойтись в Москве или Петербурге. П.Н.Милюков однажды прямо заявил Ходасевичу, что в газете он совершенно не нужен.

Ходасевич принадлежал к старшему поколению эмигрантских поэтов – и едва ли не был самым известным из них. Как и к Цветаевой, отношение к Ходасевичу не было однозначным. Сторонники *революционной* поэзии (таковые были и в эмиграции) вообще отказывались видеть в этом последовательном архаисте поэта. Но если у Цветаевой, наряду с влиятельными гонителями, были горячие и ревностные почитатели, то в отношении к Ходасевичу преобладали уважение (ценили его литературоведческие сочинения, пушкинистику, критику, общую культуру, а затем уже его поэтическое мастерство) – и страх: боялись его язвительных высказываний, боялись его без-

упречного, чуждого лести критического пера. В эмигрантской критике в 1930-е годы Ходасевич делил власть и влияние лишь с Георгием Адамовичем. Но самая власть эта простиралась недалеко: общий круг русских читателей в эмигрции был узок – и становился все уже.

Плодовитость писателя, особенно немолодого, часто прямо зависит от общественного отклика на его сочинения. Биография поэтов показывает, кроме того, что многие лирики на годы замолкают на сломе лет – в середине четвертого десятка. Ходасевич покидает Россию в возрасте тридцати шести лет – и в последующие годы мало пишет стихов. Для объяснения увядания его музы к упомянутым *естественным* причинам следует добавить еще слабое здоровье, вконец расшатанное в годы военного коммунизма, и неуклонно возраставший интерес к его критической прозе и литературоведческим сочинениям: за них платили охотнее, чем за стихи. Жизнь за пределами родины, пресловутый отрыв от почвы – сами по себе никак не сказываются на плодовитости, что бы ни твердил на этот счет квасной патриотизм. Но была у Ходасевича и еще одна важная причина для того, чтобы отдать предпочтение *суровой прозе* (этот пушкинский троп как нельзя лучше подходит для характеристики его стиля). Если Пушкин и Эмиль Фаге правы, и поэзия впрямь должна быть чуть-чуть глуповата, то муза Ходасевича не могла не чувствовать себя гонимой в годы столь бурного наступления иррационализма. Умом, рациональным началом – Ходасевич ощутимо превосходил *всех* поэтов первой четверти XX века, в том числе – и более одаренных, чем он. Пресловутая заумь (то есть, в собственном смысле слова, глупость) впервые получила тогда права гражданства в поэзии и грозила не на шутку потеснить ум, по меньшей мере – вытеснить его в прозу. Тем, кто, подобно Ходасевичу, противился новому поветрию и словом, и делом, для писания стихов попросту не хватало воздуха.

Так или иначе, прозаические книги Ходасевича, написанные в годы полубезмолвия его музы, крепко запомнились его современникам. Особенно значительны из них *Державин* (1931) и *Некрополь* (1939; сборник воспоминаний за годы с 1924 по 1938). Первую книгу даже недоброжелатели Ходасевича спустя десятилетия называли лучшим, что написано о Державине. Я решаюсь сказать больше: эта книга – вообще лучшая из *биографий* в столь богатой прекрасными биографиями русской литературе двадцатого века. О второй книге,

Некрополе, неединожды сказано, что она дает самую верную, самую непредвзятую и выразительную картину эпохи символизма в русской поэзии. По замечанию Владимира Вейдле, "надлежало бы запретить историкам нашей литературы писать о символизме, не ознакомившись с этой книгой"[7]. Советские авторы той поры, когда имя Ходасевича было запретно в России, знали эту работу – и целыми страницами цитировали или пересказывали ее без упоминания имени автора. Обе книги переиздавались и переиздаются – и, вероятно, нескоро потеряют свое значение. Русский язык их прост и проникнут поистине классическими мощью и благородством. Вообще, стиль Ходасевича восходит непосредственно к пушкинскому: та же суховатая экономно-сдержанная манера, проникнутая ровным вдохновением; тот же отстраненный, цепкий и пристальный взгляд, не оставляющий места словоблудию; то же умение с аристократическим достоинством отодвинуть на второй план фигуру автора-наблюдателя, лишь выигрывающую от такого отстранения. Подчас кажется, что этот уровень осмысления родного слова, давшийся лишь единицам среди современников Ходасевича, полностью утрачен позднейшими писателями. (Упомянутый Владимир Вейдле – в числе последних по времени критиков, владевших этой тайной.)

В 1927 году в парижском издательстве *Возрождение* выходит *Собрание стихов* Ходасевича – последняя, как бы итоговая книга поэта. В нее включены *Путем зерна*, *Тяжелая лира* и новые, приходящиеся на годы эмиграции стихи под общим заглавием *Европейская ночь*, – всего 112 стихотворений: менее половины написанного Ходасевичем, даже если не брать в расчет его стихотворных переводов. Значительного движения в умах книга не произвела – новый мир хотел новых стихов, то есть, собственно говоря, *стихов* не хотел; для развенчания жупела новизны потребовалась вся катастрофическая история середины уходящего столетия.

Последние годы Ходасевича были мрачны. Европа, едва оправившаяся от неслыханной в истории бойни, неумолимо приближалась к новой, еще более чудовищной. Навстречу мраку новой России поднимался мрак новой Германии. Будущего у эмиграции не было. Ходасевич, еще в середине 1920-х годов видевший в эмигрантах "странников, идущих ко Святой земле" (в этом он следует Адаму Мицкевичу), в начале 1930-х годов не скрывает своего в них разочарования. Живет он почти все время в долг, но при этом, как и прежде, играет. Заработки его малы и даются ему все труднее. "Боже мой, что

за счастье – ничего не писать и не думать о ближайшем фельетоне!..” – признается он в письме к Н.Берберовой в августе 1932 года, уже после ее ухода от него.

Но свою мемуарную прозу Ходасевич продолжает писать чуть ли не до последнего дня. Здоровье его подточено. Он постоянно недомогает, постоянно чувствует себя усталым. В конце апреля 1939 года обнаруживается, что болен он не на шутку. К бессонницам добавляются мучительные рези в кишечнике, он быстро худеет. Наконец, с большим опозданием, поставлен и правильный диагноз, равносильный приговору. Две недели, с конца мая по начало июня 1939 поэт находится на обследовании в муниципальной больнице, на операцию же, проведя пять дней дома, ложится в частную клинику. Отсюда ему не суждено было выйти. За несколько часов до операции Ходасевича навестила Н.Берберова: ”Он стал крестить мне лицо и руки, я целовала его сморщенный желтый лоб... У него такие худые, острые плечи. – Прощай, прощай, – говорил он, – будь счастлива. Господь тебя сохранит...” Операция опоздала лет на десять. Спустя тринадцать часов после нее, не приходя в сознание, Ходасевич умер – в шесть часов утра, 14 июня 1939 года, в возрасте 53 лет. К моменту смерти он весил около пятидесяти килограммов. Отпевание состоялось 16 июня, в русской католической церкви на улице Франсуа Жерар, где присутствовало несколько сот человек; похороны – на кладбище в парижском предместье Бийянкур, также при большом стечении народа.

Все последние дни у постели умиравшего дежурила его четвертая жена, Ольга Борисовна Марголина, племянница беллетриста и историка Марка Алданова. Об этой женщине, последней из числа тех, на кого бросает свет жизнь Ходасевича, известно немногое. Еще в юности, как можно заключить из воспоминаний современников, она пришла к убеждению, что иудаизм – вера мужская, и женщине нечего в ней делать, после чего крестилась в католичество; в Париже бедствовала, зарабатывала на жизнь вязанием; с Ходасевичем ее сблизило их общее одиночество. Они поженились в 1933 году, когда Марголиной было около сорока лет. Ольга Борисовна ненадолго пережила Ходасевича: в годы оккупации Франции ей суждено было погибнуть в одном из нацистских лагерей.

Ходасевичу принадлежит своеобразное место в русской культурной диаспоре первой волны эмиграции. По масштабу дарования и

конечному значению для русской поэзии – за границей ему не уступала одна лишь Цветаева, дар которой Ходасевич ценил, хотя и оставался в творчестве ее последовательным антиподом. При этом важно не упускать из виду, что прижизненным местом, мерой признания в эмигрантской среде, Ходасевич превосходил Цветаеву. В собственном смысле слова он *был* в ту пору первым поэтом русской эмиграции.

Но своеобразие Ходасевича определяется не его значением и местом, а его позицией. В те дни не было другого большого русского поэта, столь последовательно, словом и делом, отрицавшего *самодовлеющую* ценность новизны. Время, между тем, было особое: разворачивался один из тех нечастых периодов истории, когда буквально все и вся вокруг жаждало обновления во что бы то ни стало. Присягнуть традиции, объявить себя консерватором, пассеистом, было в глазах многих равнозначно невольному признанию в собственной бездарности. Ложная посылка о том, что художник должен специальным образом приноравливаться к духу времени, стараться быть современным (как если бы для подлинного таланта возможно современным не быть), – казалась самоочевидной и лишь подчеркивала кажущуюся безнадежность охранительной тенденции. Не случайно люди, не устоявшие перед этим поветрием, пошедшие на поводу у своей эпохи (в наивной и подчас неосознанной уверенности, что *их* время – венец истории), останавливались перед Ходасевичем в полном недоумении. Именно в таком положении оказался Виктор Шкловский, когда Владимир Набоков буквально ошеломил его заявлением, что считает Ходасевича лучшим современным поэтом. Но если Шкловский и ему подобные *новаторы* попросту не числили Ходасевича в поэтах, то некоторые из более дальновидных писателей, тоже – хотя и в несколько меньшей степени – увлеченных потоком времени, отдав должное превосходному мастерству Ходасевича, спрашивали: точно ли это живые стихи? В России так рассуждал Тынянов, в эмиграции – Георгий Адамович: этот тонкий критик и поэт восхищался Ахматовой, высоко ставил Георгия Иванова, отрицал Цветаеву, а для Ходасевича подыскал двусмысленное определение: *бескрылый гений*. Незачем говорить, что эти опасливые оценки не оправдались. *Современное* устаревает первым. Контекст тех потрясающих лет ушел в песок. Блок утратил половину своей неслыханной мощи, футуристов не стало, – а Ходасевич (как и Евгений Боратынский, родоначальник русской *поэзии мысли*, естествен-

ный предшественник Ходасевича на генеалогическом древе русской поэзии) обращается к нам с нашей сегодняшней правдой. Мало того, чудо родственного диалога с ним повторится еще не раз: "...и через шестьсот лет, если люди будут людьми и русский язык не умрет, найдутся такие, которых кольнут эти стихи прелестью своей и болью", ибо "отличался он тем, что литература входила для него в сферу совести так же, если не больше, чем любые жизненные отношения и поступки"[7].

Автор только что приведенных слов, основательно теперь забытый критик и литературовед Владимир Вейдле, был в числе тех, кто вовремя и по достоинству оценил Ходасевича как поэта. Статья Вейдле в *Современных записках*[6] в течение десятилетий оставалась самым обстоятельным трудом о поэзии Ходасевича. С годами Вейдле лишь укрепился в своих выводах. В 1965 году он писал: "Того, что дала мне когда-то *Тяжелая лира*, я после Ходасевича ни от кого больше не получал"[7]. И далее: "Жестокая пронзительность таких стихов всегда отталкивала многих, – даже из тех, кто называл себя поклонниками этого поэта. Признавая его мастерство, они отстранились от его поэзии, ...противополагая мастерство какому-то достижимому будто бы и без него поэтическому волшебству... На самом деле в поэзии, как в любом искусстве – увы, или слава Богу – мастерство есть волшебство, а волшебство есть мастерство, и Ходасевич этим неремесленным, волшебным мастерством полностью обладал, ни малейшего не проявляя в нем изъяна"[7]. Слова эти, выверенные десятилетиями и принадлежащие одному из самых замечательных критиков уходящего века, в известном смысле стоят неумеренных похвал не только Горького (который в 1923 году назвал Ходасевича "величайшим из современных русских поэтов"), но и Андрея Белого, и Набокова, чьим оценкам вредит их писательский темперамент.

3.Отношение к евреям

Родиной Ходасевича во всех смыслах была Россия не географическая, а культурная, *заочная;* читателями – русский народ: тоже – заочный, очищенный писательским воображением. Никогда – ни словом, ни делом – Ходасевич не обнаружил, что хоть в каком-либо смысле ассоциирует себя с евреями; никогда не дал понять, что про-

исхождение играло какую-либо роль в его жизни, отношении к себе или к окружающим. Сомнительно, чтобы его мать, ревностная католичка, считала себя еврейкой или хотя бы привлекла специальное внимание сына к евреям и еврейству. Ходасевич, с известными оговорками, может быть отнесен к филосемитам, пусть и не столь явным, как Горький, – но даже это скорее уместное предположение, чем бесспорная истина. Специального интереса к евреям как к народу у Ходасевича не было. С евреями и выходцами из евреев он дружил, но сходился и с антисемитами. Среди первых должна быть названа и его жена О.Б.Марголина, *родившаяся еврейкой*. Значительно важнее уже отмеченная нами необычайная своею интенсивностью юношеская дружба Ходасевича с Самуилом Киссиным, хотя едва ли Киссин не полностью порвал с еврейством – и едва ли Ходасевич видел в нем еврея. Впрочем, другим близким другом Ходасевича (начиная с 1915 года) был и знаменитый пушкинист М.О.Гершензон, никогда не забывавший о народе, из которого он вышел. Среди приятельствовавших с Ходасевичем антисемитов можно упомянуть поэта А.И.Тинякова *(Одинокого)*, "типичного русского интеллигента из пропойц", по определению самого Ходасевича. С ним Ходасевич переписывался и поддерживал не слишком тесные дружеские отношения многие годы[10], порвал же лишь после появления тиняковской *Исповеди антисемита* (1916), но не в связи с нею, а вследствие окончательного выявления общей беспринципности Тинякова. Основой приятельства была эстетическая близость поэтов. В стихах Тиняков был честнее чем в жизни, что до известной степени заслоняло от Ходасевича его нравственные качества[9,10].

Вполне осязаемая связь между Ходасевичем и евреями обнаруживается в той единственной сфере, к которой он принадлежал полностью и безраздельно: в поэзии. В 1912–18 годах Ходасевич систематически работает над переложением стихов российских *инородцев*: польских, армянских, латышских, финских и еврейских поэтов. Принимается он за это дело для заработка, без особого увлечения, оставляет – без видимого сожаления. Лишь ивритская поэзия России задела его за живое. В 1921 году он скажет: "Творчество поэтов, пишущих в настоящее время на древне-еврейском языке, оказалось для меня наиболее ценным и близким. Переводам с древне-еврейского я уделял наиболее времени и труда..." *Еврейская антология*, вышедшая по-русски в 1918 году под редакцией Ходасевича и Л.Б.Яффе, а затем отдельная книга переложений Ходасевича *Из еврейских*

поэтов (1912), тотчас завоевали признание современников; вторая из них неоднократно переиздавалась.

Переводил Ходасевич Х.Н.Бялика, Я.Фихмана, З.Шнеура, Д.Шимановича, А.бен Ицхака, И.Каценельсона, но главным образом и с особой любовью – Саула Черниховского. На него приходятся две трети (если быть точным, 1188 из общего числа 1811) стихов книги *Из еврейских поэтов*. По-видимому, можно говорить даже о некотором влиянии Черниховского на Ходасевича[8], хотя и вполне своеобразно преломившемся в творчестве русского поэта. В 1918–20 годах Ходасевич пишет ряд больших стихотворений, сначала гекзаметром, затем нерифмованным ямбом, в которых угадывается тяготение к эпосу, в целом совершенно не свойственное его музе, лирической по самому своему существу. Появлению этих стихотворений предшествовала и сопутствовала работа Ходасевича над переводами эпических (написанных столь неожиданным для иврита гекзаметром) поэм (идиллий) Черниховского, что и позволяет допустить тут связь.

Отметим, что Ходасевич не знал иврита. Переводы для *Еврейской антологии* и книги *Из еврейских поэтов* сделаны им с буквальных подстрочников, снабженных – для передачи звукописи оригиналов – транскрипцией латинскими буквами. В трудных случаях он консультировался с Л.Б.Яффе.

Интерес к Черниховскому Ходасевич сохранил и в эмиграции. В 1924 году, в четвертом и пятом номерах *Беседы*, появляется *Свадьба Эльки* – пространная поэма в шести песнях: еще 1038 гекзаметрических строк любовного бытописания местечковой жизни. По объему (количеству стихов) одна эта вещь превосходит любую из оригинальных стихотворных книг Ходасевича.

По-видимому, Черниховский и Ходасевич в равной мере дорожили сотрудничеством: первый – потому что ценил в Ходасевиче прекрасного поэта и переводчика, второй – потому что открыл для себя в поэзии Черниховского новый, неизвестный ему мир его предков по материнской линии (а может быть, и новый источник вдохновения). Отношения, завязавшиеся в России, продолжались в эмиграции. Например, в письме от 16 июня 1923 года, отправленном из Берлина в Зааров, Черниховский посылает Ходасевичу еще два стихотворения с просьбой перевести их. В том же году Черниховский договаривается с художником Л.О.Пастернаком об иллюстрации одной из своих поэм, переведенных Ходасевичем.

В заключение вновь зададимся на минуту спекулятивным вопросом, намеченным в преамбуле: можно ли говорить о каких-либо специфически еврейских чертах в поэзии Ходасевича? Ответ, насколько я вижу, должен быть отрицательным. Через Черниховского, даже если его влияние на Ходасевича считать безусловно установленным, эти черты не прослеживаются, ибо сами идиллии Черниховского по своей поэтике – явление европейской литературы. Единственная возможность ответить на поставленный вопрос если не положительно, то хотя бы уклончиво, состоит в ссылке на известную мысль Ренана, столь же спекулятивную, как и самый вопрос: на его утверждение, что в еврейском народе с необычной рельефностью выражены всевозможные крайности. Ходасевич был *крайним*: держался в эстетике самых консервативных, самых охранительных позиций, был архаистом – и в приверженности своим взглядам (в истовости) не уступал ни футуристам, ни вообще каким бы то ни было -истам начала двадцатого столетия. Но и договорившись по этому пункту, мы ни на шаг не продвинемся в понимании феномена Ходасевича или сущности еврейства. По-прежнему останется загадкой, почему муза, благосклонная *к крайне правому* в эстетике Ходасевичу, была еще щедрее к *центристу* Осипу Мандельштаму – и так явственно обошла своими ласками, скажем, эстетически *крайне левого* Илью Зданевича. Наоборот, предложенная Владимиром Вейдле в качестве мерила поэзии совесть, понимаемая в самом требовательном, в самом расширительном и интенсивном значении этого слова, существенно проясняет названные загадки – да и вообще многие человеческие трудности гуманитарного свойства. Она же дает достаточный ответ на вопрос о том, почему следует дорожить национальным – и почему даже из драгоценного металла не следует отливать языческих кумиров.

Литература

1. Колкер, Юрий. *Айдесская прохлада.* // Владислав Ходасевич. *Собрание стихов* под ред. Юрия Колкера, том *II. La Presse Libre,* Париж, 1983.

2. Brummel, David. *Vladislav Felitsianovich Khodasevich* (1886–1939). Text of Lecture given to The Pushkin Club, Tuesday, 9th February, 1993. Produced by S.Story, 5 The Glebe, West Drayton, Middx, UB7 9JE.

3. Белый, Андрей. *Рембрандтова правда наших дней (о стихах Ходасевича).* // *Записки мечтателей.* №5. С.136–139.

4. Ходасевич, Владислав. *(О себе).* // *Новая русская книга.* Берлин, 1922. №7. С.36-7.

5. Ходасевич, Владислав. *Горький.* // Владислав Ходасевич. *Некрополь.* Брюссель, 1939.

6. Владимир Вейдле. *Поэзия Ходасевича.* // Современные записки, XXXIV, 1928.

7. Владимир Вейдле. *Ходасевич издали-вблизи.* // В.Вейдле. *О поэтах и поэзии.* ИМКА-ПРЕСС Париж, 1973.

8. Колкер, Юрий. *Саул Черниховский и Владислав Ходасевич.* Еврейский Самиздат, том 26. Ленинградский еврейский альманах, вып.1–4. Под ред. Юрия Колкера. Издательство Еврейского университета в Иерусалиме, 1988.

9. Письма В.Ф.Ходасевича Б.А.Садовскому (1906–1920). Послесловие, составление и подготовка текста И.Андреевой. *Ардис*, Анн Арбор, 1983.

10. Письма В.Ф.Ходасевича к А.И.Тинякову (1907–1915). Предисловие и примечания Юрия Колкера // *Континент.* 1986, №50.



Потаенная биография Саши Черного

Анатолий Иванов
(Москва)

Никогда меня не убаюкивали ласковые звуки, и никогда не пробуждал милый голос! Моя судьба залепила черным пластырем два сияющих глаза жизни – детство и юность. Я не знаю их света и их лучей, а только их ожоги и глубокую боль.

М.Сафир
(перевод Саши Черного)

Портрет Саши Черного.
Художник В.Д.Далилеев. Капри, 1912 г.

Настоящая фамилия Саши Черного – Гликберг. В буквальном переводе с идиша это означает "счастливая гора". Пожалуй, судьба зло подшутила над поэтом, выдав ему авансом такую многообещающую фамилию. Ведь на его долю выпало с лихвой несчастий, превратностей, скитаний. И лишь на исходе жизненного пути, словно исполняя какое-то тайное предначертание, судьба подарила Саше Черному несколько счастливых, безмятежных лет – то, о чем он иронично мечтал:

Жить на вершине голой,
Писать простые сонеты...

И воплощением "счастливой горы" стал холм, откуда открывался чудесный вид на Средиземное море и долину. Здесь поэт приобрел клочок земли, построил дом, ставший его последними Пенатами. И здесь же, на земле гостеприимной и чужой, нашел он последнее успокоение. Так закончилась земная одиссея очарованного странника, избравшего такое необычное имя "Саша Черный".

К 1960 г. было известно, что Александр Михайлович Гликберг родился 1 октября 1880 года в Одессе, а в городе Белая Церковь прошло его раннее детство. Учился Саша в Житомире, куда переехала его семья. Гимназию так и не удалось закончить. Сведения о

родителях отсутствовали. В адресных и справочных книгах по Одессе ничего не было найдено.

Впрочем, удалось обнаружить один адрес, содержащийся в "Одесском альманахе" за 1894 год: "Греческая, 31. Железная скобяная торговля. Я.Гликберг". А вот фраза из рассказа Саши Черного "Голубиные башмаки", написанного в эмиграции на явно автобиографическом материале: "...к дедушке на склад он и носа показать не решился, – босой, через весь город добрался он домой на Греческую улицу". Если это не случайное совпадение, то можно сделать вывод, что дед автора (Яков, Янкель?) торговал скобяными товарами, а инициалы отца были М.Я.Гликберг. В архиве ИРЛИ сохранилась автобиография, которую Саша Черный написал в 1913 году для критико-биографического словаря С.А.Венгерова (см.: Э.Шнейдерман. "Новое о Саше Черном" // "Русская литература", 1966, №3). Вот что поэт сообщил о своем происхождении и дописательской биографии: "Сын провизора. Еврей. Крещен отцом десяти лет от роду для определения в гимназию. Учился в житомирской 2-й гимназии; исключен из 6-го класса без права поступления. С 1902 года по 1905 служил в Новоселицкой таможне, в I о-ве подъездных путей и службе Сборов СПб-Варшавской железной дороги".

С тех пор никаких новых сведений биографического характера в печати не появлялось. Оно и понятно. Архив Саши Черного не сохранился: в различных фондах государственных архивных хранилищ бывшего СССР разбросано несколько десятков писем, любительских фотографий, единичные стихотворные автографы и инскрипты на книгах. Вот и все, чем мы располагали.

Предельно откровенный в творчестве, Саша Черный выступал против вторжения посторонних в сферу личного. Возможно, поэтому так мало известно о его частной жизни.

Первая находка, как это часто бывает, оказалась случайной. Буквально как иголку в стоге сена удалось обнаружить в одном питерском журнале статью за подписью: Георгий Гли. Напечатана она в рубрике "Авторы о себе" и начинается со слов: "Вся наша семья литературная! Каждый из ее членов имеет какое-то отношение к литературе. Я (в биографии "я" всегда на первом плане) тоже страдаю хроническими позывами к писанию стихов и прозы. Моя старшая сестра в дни молодости писала фельетоны за подписью 'Подснежник'; младшая сестра замужем за литератором; старший мой брат носит имя Саши Черного" ("Журнал журналов", 1915, №31).

Далее автор ведет речь преимущественно о собственной персоне. Точнее о том, как имя его знаменитого брата мешает ему, потому как в редакциях его воспринимают лишь в качестве "брата Саши Черного". Судя по раздраженному тону повествования отношения между ними были не очень близкими.

И все же мы узнали о существовании сестер и брата Саши Черного и о том, что они причастны в некотором роде к литературному миру. Стихи Георгия Гли мелькали в столичных изданиях вплоть до 1917 года, но впоследствии – увы – его след теряется. А что касается сестры, то в "Одесском альманахе" за 1894 год мне попался однажды псевдоним "Подснежник", стоявший под произведением, именуемым стихотворением в прозе. Нечто подобное, кстати сказать, А.Гликберг включил в свой первый сборник "Разные мотивы" 1906 года.

Другая находка тоже оказалась случайной: рецензия А.Измайлова на поэму Саши Черного "Ной" ("Русское слово", 30 мая 1914, №123). Из контекста следует, что маститый критик был коротко знаком с автором поэмы. Однажды он полюбопытствовал: откуда, мол, такой странный псевдоним – Саша Черный? И вот что он услышал в ответ: "Нас было двое в семье с именем Александр. Один брюнет, другой блондин. Когда я еще не думал, что из моей 'литературы' что-нибудь выйдет, я начал подписываться этим семейным прозвищем".

Естественно, сразу возникает вопрос: кто такой этот второй Александр, Саша Белый (очевидно, блондин)? И что это за семья, где одинаковое имя носили двое? Опять нет ответа.

Оставалось уповать на удачу, на улыбку фортуны. И однажды она как будто забрезжила. На одном московском библиофильском вечере, где мне довелось присутствовать, на сцену из зала поднялся пожилой человек и заявил, что в юные и молодые годы он был частым посетителем Тургеневской библиотеки в Париже и даже помогал тамошним библиографам. Назвался он Константином Константиновичем Парчевским. Фамилия показалась мне знакомой. Уже дома я проверил по картотеке и убедился, что перу К.К.Парчевского принадлежит статья, посвященная 25-летию литературной деятельности Саши Черного и напечатанная в 1929 году в парижской газете "Последние новости". Неужто тот самый?

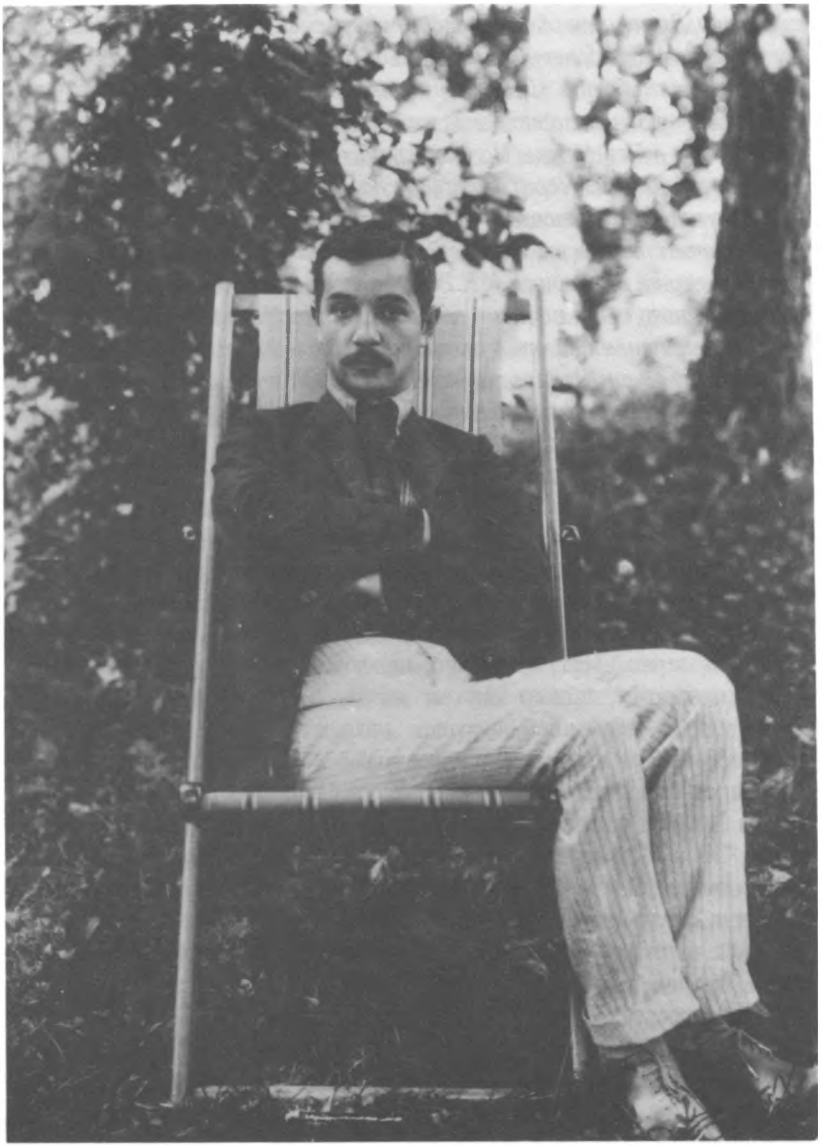
Когда мне удалось разыскать К.К.Парчевского и познакомиться с ним, все прояснилось. Автором юбилейной статьи был отец высту-

павшего на вечере – тоже Константин Константинович Парчевский, член правления Союза русских писателей и журналистов в Париже. Парчевский и Черный дружили семьями. До сих пор в московском доме Парчевских сохраняется памятная реликвия – фотография Саши Черного с дарственной надписью: "Испытанным друзьям Парчевским. А.Черный".

К.К.Парчевский-младший показался мне чудесным гостем из того полуреального мира, когда еще жив был Саша Черный, а мальчик Костя проводил летние каникулы в его дачном домике на холме. Именно там он слышал, что детство и отрочество Саши Черного были полны превратностей и невзгод – до той поры, покуда о его горестной участи не написал фельетонист Александр Яблоновский, после чего Саша был взят на воспитание каким-то состоятельным господином из Житомира.

Вот оно – подумалось – то недостающее звено, которое должно все прояснить! По крайней мере стало ясно ч т о искать. Но фельетонист А.А.Яблоновский (1870–1934) был на редкость плодовит, и г д е искать по-прежнему оставалось неизвестным. Но вот, просматривая как-то русскую эмигрантскую печать, я набрел на статью "Памяти Саши Черного", приуроченную к его 70-летнему юбилею ("Новое русское слово", Нью-Йорк, 1 октября 1950). Такого рода материалы обычно сводятся к повторению общеизвестных сведений и суждений о юбиляре. Но в этой статье (со ссылкой на мемуары его вдовы – Марии Ивановны Гликберг-Черной) содержались дотоле неизвестные подробности биографии поэта. Автор статьи – В.А.Александрова, постоянный литературный обозреватель газеты, очевидно, располагала рукописными свидетельствами вдовы Саши Черного. Возможно, они были написаны по просьбе редакции. Александрова неоднократно цитирует отрывки из этих записок. Сохранилась ли эта рукопись? Удастся ли прочесть ее целиком? А покуда обратимся к тексту статьи.

Саша Черный (Александр Михайлович Гликберг) родился в Одессе в зажиточной, но малокультурной еврейской семье. Его отец – коммерческий агент Санкт-Петербургской химической лаборатории – был всегда в разъездах, дети его почти не знали и боялись. Мать, больную, истеричную женщину, – дети раздражали: когда возвращался отец, она на них жаловалась. Не входя в разбирательство, отец наказывал их, особенно доставалось троим мальчикам. До десяти лет Саша учился дома. Готовился к экзаменам. Экзамены он выдержал, но его не приня-



Саша Черный. Начало XX в. Снимок публикуется впервые

ли из-за процентной нормы для евреев. Сначала отец хотел отдать сына учиться какому-нибудь ремеслу, но затем передумал и крестил всех детей. Благодаря этому Саша еще той же осенью был принят в гимназию. Домашняя обстановка между тем день ото дня становилась все тяжелее, и в 15 лет Саша Черный убежал из дому, последовав примеру старшего брата. С тех пор жизнь юноши уподобилась какому-то калейдоскопу. Сначала его взяла на воспитание тетка, сестра отца, и отвезла его в Петербург. Но и здесь обстановка была безрадостной, и Саша вновь убежал. Через товарища по гимназии о злополучной участи юноши узнал журналист А.А.Яблоновский и написал о нем статью. В результате статьи им заинтересовался председатель Крестьянского присутствия в Житомире К.К.Роше, который за год до этого потерял единственного сына почти в возрасте Саши Черного. Саша приехал к нему, но его приемный отец оказался настолько поглощен горем, что и здесь жизнь Саши Черного не наладилась. Он поступил в гимназию, но из-за случайного столкновения с директором был исключен из нее и так и не закончил образования.

Очень многое проясняется: понятно, почему поэт не любил распространяться о своих ранних годах, почему ни словом не обмолвился о матери в автобиографии, да и в поэзии образ ее отсутствует.

Нельзя исключать, что мемуары в каких-то деталях не совсем точны. Однако основную канву событий, атмосферу в одесском доме Гликбергов Мария Ивановна, думается, передала со слов мужа достаточно верно. Нет оснований не доверять ей, когда она пишет: "Никто, никогда, ничего ему не дарил, когда он был ребенком. И когда он за неимением игрушек находил в дому что-нибудь, что можно было бы приспособить для игры, его наказывали".

Лишенный в детстве детства, Саша Черный старался всю жизнь потом как бы компенсировать этот пробел. Мария Ивановна вспоминает: "Как и дети, он любил игрушки и мог подолгу простаивать перед витриной игрушечной лавки и, не выдержав соблазна, часто покупал какую-нибудь безделушку. Придя домой, он ставил ее к себе на стол и часами забавлялся ею, потом, словно устыдившись, говорил: 'Знаешь, это можно будет спрятать до Рождества и подарить на Тургеневскую елку'. Как и дети он мог придумывать себе разные занятия, не имевшие никакой иной цели, кроме забавы: раскрашивал какие-то коробочки, строгал дощечки, оклеивал полочки и радовался, если дома находили какие-нибудь приложения этим вещам. Глаза его светились при этом такой наивной радостью, что другим начина-

ло казаться, что это и в самом деле чудесная и нужная вещь".

С какой душевной симпатией передано в этом отрывке обаяние личности Саши Черного! Поэт существовал как бы в двух возрастных ипостасях, вернее даже трех: "Мне триста лет сегодня, а может быть, и двадцать, а может быть, и пять", – признавался он в стихах. Саша Черный обладал трогательной любовью к миру детства. Он буквально преображался в обществе малышей, как бы становился самим собой. При чтении детских книжек Саши Черного не оставляет ощущение, что он держит в своей руке ребячью ладошку и рассказывает своему маленькому приятелю занимательную историю.

Однако вернемся к фактам. Пробелы в биографии теперь могут быть восполнены и откорректированы. Прежде всего: никакого переезда семейства Гликбергов в Житомир вслед за "блудным сыном", разумеется, не было. Что касается Белой Церкви, то вопрос остается открытым. Пока ни одного документального подтверждения на сей счет нет. Есть только предположения, базирующиеся на художественных текстах, в которых усматривается автобиографическая подоплека (рассказы "Самое страшное", "Факирский подарок", стихотворение "Несправедливость"). Поостережемся безоговорочно доверять им: "ведь фантазия поэта, как испанский гобелен".

До некоторой степени удалось также прояснить причину исключения А.Гликберга из 6-го класса 2-й Житомирской гимназии. Нет, не за оппозиционные настроения был изгнан он с "волчьим билетом", как это предполагалось ранее, а "из-за случайного столкновения с директором". Что ж, это так похоже на Сашу Черного. Наряду с кротостью и застенчивостью, его отличало обостренное чувство собственного достоинства, что внешне могло расцениваться как дерзость и своеволие. В этом ряду поступков и побег Саши из дома в детстве, и непримиримая ненависть "к намордникам, кто бы их ни надевал", – в зрелые годы.

Итак, исключением из гимназии детство Александра Гликберга завершилось. Что же произошло дальше? В статье Александровой об этом сказано скупо: "Ближайшие годы прошли на военной службе и затем в трудной борьбе за существование, скрашивающейся лишь попытками литературного творчества". Целый пласт жизни – и всего одна фраза. Не за что ухватиться.

И вновь пришла на помощь старая эмигрантская периодика. В парижском журнале "Часовой" от 15 сентября 1932 года, №88, помещен некролог "Памяти А.М.Черного". Помечен он инициалами

"Б.Л.", что без особого труда расшифровываются как "Борис Лазаревский" (эта заметка повторяет его же статью, посвященную Саше Черному, "Последний разговор" в газете "Россия и славянство"). Б.Лазаревский имел обыкновение заносить события дня и разговоры в дневник, и потому в точности приводимых им сведений можно не сомневаться. Он пишет: "Совершенно ясно, что мы не читали бы здесь, в Париже, замечательных 'Солдатских сказок' А.М.Черного, если бы в свое время в городе Житомире не был в учебной команде 20-го Галицкого полка рядовой из вольноопределяющихся. На вопрос, трудно ли вам приходилось отбывать воинскую повинность, Саша Черный всегда отвечал:

– Нет, никто из офицеров ко мне не придирался... Мне было поручено обучать грамоте солдат в учебной команде, что я и делал с большим удовольствием – целых два года. А в свободное время слушал их рассказы, часто своеобразные, а иногда и будто наивные, многие из них запомнились так, что я их использовал почти через 25 лет..."

Необходимо пояснить, кто такие вольноопределяющиеся. Это молодые люди, подлежащие призыву на срочную службу в царскую армию и обладавшие достаточно высоким образовательным цензом, которые не использовали свой шанс тянуть жребий, освобождавший от набора, и сами определяли, в каком виде отбывать воинскую повинность. Им полагались некоторые льготы по сравнению с обычными рядовыми и сокращенный срок службы – от одного до двух лет.

Наиболее вероятно, что будущий Саша Черный с осени 1900 по осень 1902 года проходил воинскую службу в качестве "вольнопера" в 20-м Галицком полку 5-й дивизии в Житомире. По-видимому, сразу после демобилизации он уехал в Новоселицу, где служил на таможне (на границе с Австро-Венгрией). Когда А.Гликберг вернулся в Житомир, остается только гадать. Достоверно знаем лишь то, что в июне 1904 года он становится постоянным сотрудником новой газеты "Волынский вестник". С этого времени поэт вел отсчет своей литературной деятельности.

Но вернемся к безрадостному детству А.Гликберга. Кто такой К.К.Роше, приютивший бездомного Сашу? Удалось выяснить, что Константин Константинович Роше происходил из обрусевшего французского рода. Его дед и отец были крупными специалистами по военно-инженерному делу. Это было семейство с устойчивыми демократическими и даже народовольческими традициями. Известно, что

в петербургском доме сестры Роше была организована конспиративная квартира, где хранилось типографское оборудование и бывали Кибальчич и другие заговорщики (ЦГАЛИ, ф.837, оп.I, ед. хр.135).

Что касается К.К.Роше, то он служил в Ставрополе в канцелярии губернатора, затем перебрался в Житомир, где на должности председателя Совета по делам Крестьянского присутствия достиг чина статского советника. Однако этот сановник (считался четвертым официальным лицом в городе) был среди местной знати в некотором роде "белой вороной". Причина тому – два его непреодолимых влечения. Одно – творить добро. К.К.Роше принимает участие в различных благотворительных акциях. Он развивает бурную деятельность по сбору пожертвований в пользу голодающих юго-восточных губерний России, пострадавших от засухи, и в житомирской газете "Волынь" от 30 мая 1899 года в разделе "Местной хроники" появляется такое сообщение: "Сегодня К.К.Роше выезжает в Белебеевский уезд Уфимской губернии для устройства там Волынской столовой для голодающих. Одновременно туда же отправляется с ним небольшой отряд добровольцев, в состав которого входят следующие лица: сестры милосердия Лаврова, Москаленко и Будзинская, г-жа Грабовская, Петрашевская, г.Блинов и ученик VI класса Гликберг". Это одно из первых упоминаний фамилии будущего поэта в печати.

Другое увлечение К.К.Роше – сочинительство. Стихи он писал всегда, выпустил даже пару сборников. Один из них, озаглавленный "Поэма души" и вышедший в 1906 году, пронизан неутолимой скорбью о "безвременно угасшем юноше-сыне Сергее" (так сказано в посвящении, вынесенном на титульный лист). В нем отец видел наследника своих устремлений и пристрастий (о поэтическом даре своего сына писал даже А.Фету).

Сколько лет было Сергею, когда он ушел из жизни? Выяснить это удалось благодаря стихотворению, которым открывается цикл "Песни страдания": "Прошел ужасный год, – год безысходной муки". В заголовке дата: "26 ноября 1898 года". Стало быть, стихи приурочены к годовщине смерти сына. Действительно, в газете "Волынь" от 28 ноября 1897 года обнаружено траурное объявление: "К.К.Роше с глубоким горем извещает о кончине сына, ученика VII класса 1-й гимназии, Сергея". По всей видимости, его жизнь прервалась на семнадцатом году.

Теперь вспомним строки В.А.Александровой: "В результате статьи (имеется в виду статья А.А.Яблоновского – *А.И.*) им заинтере-

совался председатель Крестьянского присутствия в Житомире К.Роше, который за год до этого потерял единственного сына почти в возрасте Саши Черного". Из этого следует, что газета со статьей Яблоновского попала на глаза Роше осенью 1898 года. Осталось установить, где она могла быть опубликована. А.А.Яблоновский, в ту пору только начинавший свою журналистскую карьеру, был сотрудником петербургской газеты "Сын отечества".

И верно: стоило раскрыть соответствующую подшивку газеты, как почти сразу (в №242 за 8 сентября 1898 г.) статья бросилась в глаза. Вот она – с незначительными сокращениями:

Срезался по алгебре

Хотя я и привык ничему не удивляться, но история, которую я узнал на днях, поразила меня несказанно.

Вот эта история.

В одной из местных гимназий минувшей весной "срезался по алгебре" 16-летний гимназист. Он должен был остаться на второй год в пятом классе, но родители его на это не согласились и... отказались от мальчика совершенно. Двойка по алгебре имела роковые последствия, и с тех пор, как о ней узнали родители, мальчик остался без всяких средств к существованию. Родители его живут в Одессе и с апреля месяца до нынешнего дня не прислали сыну ни копейки на содержание. Все, что они ему посылали, – это бранные письма, в которых называли сына за его "проступок" подлецом. А между тем отец юноши, в качестве представителя одной крупной фирмы, получает, как говорят, огромное жалованье.

Оставшись в чужом городе у квартирной хозяйки, несчастный юноша пробовал писать родителям о пощаде, но совершенно напрасно: письма его возвращались нераспечатанными, квартирная хозяйка получила напоминание, что отныне ей не будут платить ни гроша и что с пансионером она может поступать, как ей угодно.

Мальчик рисковал, таким образом, оказаться на панели, но хозяйка сжалилась над ним и не нашла в себе присутствия духа прогнать его. Он остался у нее, в надежде подыскать себе какое-нибудь "место".

Но здесь опять возникло затруднение. Пока шла переписка с родителями, успел совсем обноситься: ни сапог, ни белья, нечего даже одеть, чтобы идти "искать место". Хозяйка тоже не в состоянии купить: она вдова и притом имеет несколько человек детей.

Неизвестно, чем бы все это кончилось и до какого отчаяния дошел

мальчик, если бы судьба не сжалилась над ним. Выручили его из беды однако не отец с матерью (у него есть и мать), а совершенно чужие люди. Нашлась какая-то чиновница, которая за свой счет одела мальчика, несмотря на то, что сама она служит в одном учреждении за грошовое жалованье.

Мальчик, таким образом, получил возможность не сидеть на квартире хозяйки без сапог, а "искать место". И он, действительно, ищет его, робкий, сконфуженный, с прошением в руках, он ходит из канцелярии в канцелярию, из одного присутственного места в другое и просит работы. <...> Было бы желательно, чтобы одесские газеты перепечатали хоть суть настоящей заметки и тем довели до сведения отца о положении сына.

Фамильное и служебное положение этого более чем современного отца известны в нашей редакции и не печатаются здесь лишь из понятного нежелания оскорбить сыновнее чувство и без того несчастного юноши.

А.Яблоновский

В либерально-демократической печати того времени подобные обличительно-филантропические выступления были не редкость. Фамилии участников этой истории не названы, однако все на диво сошлось – время, место, факты, и, очевидно, найдена та самая статья, о которой слышал в детстве К.Парчевский и о которой шла речь в юбилейной статье 1950 года.

Последние сомнения рассеялись, когда удалось сопоставить эту статью с архивными материалами, опубликованными в газете "Радянська Житомирщина" (17 октября 1980, Т199). В статье Е.Бондаренко "Наш земляк Саша Черный" приводится выписка из фондов 2-й Житомирской гимназии:

"Гликберг Александр. Вероисповедание – православное. Происхождение – сын провизора. Дата поступления в гимназию и откуда – 2 октября 1898 года, из Петербургской 2-й прогимназии. Год рождения – 1 октября 1880 г. Звание, имя, отчество, фамилия отца или опекуна – воспитатель Константин Константинович Роше. Место проживания – г.Житомир. У кого проживает ученик – у воспитателя".

Что нового удалось узнать? Во-первых, из какой гимназии был исключен Гликберг, не выдержавший экзамена по алгебре. Во-вторых, стала известна дата зачисления его в житомирскую гимназию –

2 октября. После появления статьи Яблоновского (9 сентября) срок в две-три недели вполне достаточный, чтобы перебраться из северной столицы в Житомир. В документах житомирской гимназии сохранился также список учащихся на первое полугодие 1900 года. Напротив фамилии ученика 6-го класса А.Гликберга стоит: "выбыл". Причина не указана...


ПОЭМА ДУШИ.
СТИХОТВОРЕНІЯ
Константина Константиновича
РОШЕ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Потаенную биографию будущего Саши Черного можно считать раскрытой. Теперь становится понятным, почему поэт не любил вспоминать о "золотых" днях детства. Непреодолимой преградой вставало родительское отречение от сына. Да и вся атмосфера отроческих и юношеских лет напоминает наиболее мрачные и тягостные страницы романов Достоевского. Только человек, "которого взрослые люди дразнили и злили, а жизнь за чьи-то чужие грехи лишила третьего сладкого блюда", мог написать о себе такое:

Я в мир, как все, явился голый.
Я шел за радостью, как все.
Кто спеленал мой дух веселый?
Я сам иль ведьма в колесе?

Необходимо представить ущербность ранних лет Саши Черного, всю бездну покинутости и уязвленного самолюбия, с одной стороны, и человеческого милосердия и благородства, с другой, чтобы понять, откуда взялась в отечественной поэзии столь необычная личность, вся сотканная из противоречий. Впору удивляться не пессимизму Саши Черного, а тому, что злость и обида не выели его душу. Уму непостижимо, как не изверился он вконец в справедливости и гуманности. По-видимому, на первоначальных ступенях постижения мира маленькое сердце еще столь податливо к добру, запасы доверия еще так неистощимы, что в них растворяются все беды и обиды.

Бесследно ли? Вглядитесь: в давно знакомых бытовых сатирах иной раз просвечивает второй план, сугубо личный:

Внизу в прихожей бывший гимназист
Стоит перед швейцаром без фуражки.

Швейцар откормлен, груб и неречист:
"Ведь грамотный, поди, не трубочист:
'Нет мест' – вон на стене висит бумажка".

Смею думать, что истинной целью литературных раскопок является не досужее любопытство к интимным подробностям жизни тех, "чьи имена наборщик знает каждый", а желание заглянуть за кулисы творчества, убедиться, что слово и дело находятся в ладу между собой. Ибо только оплаченность собственной судьбой определяет подлинность либо фальшивость поэтической ассигнации. Нет правды, нуждающейся в утайке. Зато недостаток информации может породить домыслы, кривотолки и заведомо превратное понимание стихов. Это к вопросу о том, имеем ли мы право делать всеобщим достоянием то, что сам писатель при жизни не желал афишировать.

Держа в уме причудливые и трагические обстоятельства его многострадальной доли, мы можем новыми глазами взглянуть на творческое наследие Саши Черного.



Автограф Саши Черного в архиве Б.К.Зайцева

Вступительная заметка и публикация Александра Клементьева
(Антони, Франция)

Разбирая в течение двух последних лет архив писателя Бориса Константиновича Зайцева (1881–1972), мне удалось найти много неизданных автографов русских писателей-эмигрантов. Среди материалов хранится стихотворное приветствие Саши Черного (Александра Михайловича Гликберга; 1880–1932) – любимого автора эмигрантов всех поколений, особенно детей – постоянных и благодарных читателей его рассказов и стихов, регулярно появлявшихся на страницах "Иллюстрированной России" и других периодических изданий. Этот текст Саши Черного мне не приходилось видеть напечатанным.

Поводом к его написанию стал отмечавшийся 12 декабря 1926 года двадцатипятилетний юбилей литературной деятельности Зайцева – в 1901 году первый его рассказ был напечатан в газете "Курьер". Чествование, собравшее друзей и знакомых писателя, было необычным для эмиграции. В гостях у юбиляра – человека, обладавшего редким умением в каждом, кого он встречал, искать и находить привлекательное, доброе, а не отталкивающее – собрались не только актеры, художники, книгоиздатели, музыканты, писатели, но и руководители многих политических партий и группировок, которых и представить трудно сидящими за одним столом[1]. На праздничном банкете можно было услышать П.Н.Милюкова и П.Б.Струве, Д.С.Мережковского и Б.С. Миркина-Гецевича, В.А.Маклакова и Н.Д.Авксентьева, М.А.Алданова и В.А.Оболенского. Некоторые приветствия, в том числе и стихотворения, были вскоре напечатаны[2], другие сохранились в рукописях.

В этот вечер и прозвучали в исполнении автора, Саши Черного, только что написанные стихи, публикуемые почти через через 70 лет.

Текст написан чернилами на листах линованной бумаги, вклеенных Зайцевым в особую тетрадь, содержащую и другие материалы, относящиеся к юбилею 1926 года.

Настоящая публикация – часть запланированной работы по изданию материалов из архива писателя[3].

С разрешения Н.Б.Зайцевой-Соллогуб публикуем редкую фотографию Б.К.Зайцева, сохранившуюся в его личном архиве.

Примечания

1. Приглашенные собрались в 9 часов вечера, в воскресенье, в огромном салоне Рапп, который не смог вместить всех, пришедших поздравить писателя. Только наиболее близких присутствовало более 250 человек.

2. См., например, отчет Андрея Седых "На банкете Б.К.Зайцева" в газете "Сегодня" от 17 декабря 1926 года и стихи К.Бальмонта, появившиеся в номере "Иллюстрированной России", вышедшем накануне юбилея [№50(83), суббота, 11 декабря. С.9].

3. См., например, нашу публикацию писем Б.Зайцева семье во время его поездки в Грецию на Афон в "Вестнике РХД". 1992, №164. С.189–223.

Б.К.Зайцеву
(Прочитано на банкете 12/XII-1926)

Юбилейный стиль известен:
В смокинг стянутое слово
Напомадишь и разгладишь
И подкрасишь и завьешь...
Восклицательные знаки
Соберешь в букет разбухший
И букетом этим душишь
Юбиляра с полчаса.

* * *

Юбиляр сидит понуро,
Вертит в пальцах карандашик,
И в душе его крылатой
Загораются слова:

"О, когда, когда он кончит?..
Где моя ночная лампа,
Стол мой письменный и туфли,
Крепкий чай и тишина?"

* * *

Но сегодня случай легкий:
Разве Зайцеву Борису
На турецком барабане
Можно арии слагать?
Разве жаворонку нужен
Пышноцветный хвост павлиний?
Тает-тает в бледном небе
И, сливаясь с ним, звенит...

* * *

А теперь начнем по пунктам.
Первый пункт. Во время оно
Карамзин маститый молвил
И, конечно, не спроста, –
Что отменный автор должен
Быть отменным человеком...
Не конфузьтесь, милый Зайцев,
Это сказано про Вас.

* * *

Пункт второй отметим кратко:
В книжке Зайцева Бориса
Не найдете вы героев,
Хоть с прожектором ищи...
Не легка его задача –
Он о среднем человеке
Пишет так, что этот средний
Всех героев нам милей.



Б.Зайцев, 1924 г. © Р.Герра

* * *

Третий пункт. Язык российский
Рвут макаки, точат черви:
Слово – хриплый эпилептик,
Слово – ребус-спотыкач.
Но ручьем хрустально светлым,
Русским складом, русским ладом,
Со сказуемыми в центре
Льется Зайцевская речь.

* * *

Пункт четвертый. Тихий Зайцев,
Как ни странно, двоеженец:
Он Италию с Россией
В чистом сердце совместил.
Сей роман – типично русский, –
И у Зайцева Бориса
Римский воздух часто веет
Безалаберной Москвой.

* * *

Пятый пункт вполне интимный,
И никто о нем не знает,
Но редактор "Перезвонов"[1]
Должен выслушать меня:
Он из рукописей пестрых
Ни одной чужой страницы
По рассеянности русской
Не засунул за диван.

* * *

Пункт шестой... Но, впрочем, будет...
На челе у юбиляра,
Я отсюда вижу ясно,
Выступает мелкий пот.
Слава Зайцеву Борису!



Борис Константинович Зайцев, Наталья Борисовна Зайцева-Соллогуб и Ариадна Сергеевна Эфрон в гостях у И.А.Бунина в Грассе, лето 1935 г. Публикуется впервые. © *N.Zaitsev-Sologoub*

В юбилей тридцатилетний
Пусть его в России новой
"Нива" новая[2] издаст...

* * *

Пусть по русским закоулкам, –
От Архангельска до Ялты
Разлетятся, словно брызги,
Книжки светлые его...

А пока мы здесь в Париже,
Задушевно и любовно
Крикнем Зайцеву Борису
Беспартийное "ура"!

А. Черный. Париж. 12/XII-1926.

Примечания

1. С октября 1925 года Зайцев стал редактором литературного отдела журнала "Перезвоны", выходившего в Риге. На страницах журнала он поместил многие рассказы и стихотворения Бунина, Тэффи, Шмелева, Бальмонта и других авторов-эмигрантов. Сам Борис Константинович напечатал девять своих работ в десяти номерах журнала. Журнал "Перезвоны" перестал выходить в 1929 году на сорок третьем номере.

2. *"Нива" новая издаст...* Здесь, по-видимому, большое желание замены "Новой Нивой" журнала "Красная нива", который начали выпускать при советской власти взамен "Нивы" старой.



"Такой забавник – умница Бахрах"

Борис Носик
(Париж)

Авторство вынесенной в заголовок строки принадлежит русскому поэту и американскому профессору Юрию Иваску, а сама строка позаимствована мной из стихотворения, посвященного другу И.Иваска – русскому журналисту, литературному критику и мемуаристу Александру Васильевичу Бахраху, человеку довольно широко известному в кругах первой русской эмиграции. Юрий Иваск считает, что "в русскую литературу уравновешенный и благожелательный Бахрах явно ступил под знаком Монтеня", ибо ему свойственна (цитирую то же стихотворение) "спокойная ирония Монтеня". Впрочем, чего не скажешь о любимом и благожелательном друге. Сам Бахрах оценивал свое особое место в эмигрантской литературе скромнее: "Одной из больших удач моей жизни, – писал он в очерке о последнем дне Бунина, – я считаю встречи, а иной раз – говорю это без преувеличения или желания прихвастнуть – и очень дружеские отношения с рядом людей, которых принято называть 'людьми выдающимися'". Оставим кавычки на совести Бахраха, ибо судьба послала ему (наряду с необходимыми для этого обаянием и даром дружбы) общение и дружбу с людьми воистину выдающимися, чьи имена украсили как русскую, так и французскую культуру, а также со многими людьми просто талантливыми, без чьих имен обе эти культуры были бы, наверно, беднее. Впрочем, просто знакомство, общение и даже дружба с этими людьми могли бы остаться лишь фактом биографии Бахраха, если бы он не сумел (хотя бы и спустя полвека) написать об этом, не сумел сберечь и опубликовать документы, внеся добрый вклад в историю русской зарубежной литературы и культуры.

Александр Васильевич Бахрах родился в Киеве, но детство и отроческие годы провел в Петербурге, где учился в одной из частных престижных гимназий. Это был мальчик из интеллигентной и состоятельной еврейской семьи, увлеченный литературой, много читавший

и, конечно, писавший стихи. В одном из своих очерков Бахрах рассказывает, как нежно любивший его дедушка на Рождество подарил ему двадцатитомное собрание сочинений Мережковского и как он, юный гимназист, уже неплохо знавший Мережковского, "почти захлебывался от радости". Через год после октябрьского переворота семье пришлось бежать, и маршрут был довольно обычный – Киев, Варшава, Данциг, Берлин, Париж. Дедушка к тому времени уже обосновался в Париже, и у юного Али (так его звали почти все знакомые) было больше возможностей для нормального существования, чем у многих его сверстников-эмигрантов. Он начал слушать лекции на юридическом факультете Сорбонны, но, похоже, дослушать до конца не сдюжил, а переехал в тогдашнюю "столицу русского рассеяния", "мачеху русских городов" Берлин, который, по его словам, был в ту пору "еще более фантастический город, чем тот, который столетием раньше описывал Э.Т.А. Гофман". Берлин кишел русскими эмигрантами. Здесь был тогда цвет русской интеллигенции, ряды которой в 1922 году стараниями Ленина были пополнены элитарным созвездием философов, литераторов и экономистов, высланных (под угрозой расстрела) за попытку помочь голодающим. Бахрах рассказывает об опьяняющем чувстве берлинской свободы, о почти открытой в ту пору границе в Берлин из России, о процветании издательского дела, которое было зачастую, по его словам, "коммерческим донкихотством". Юный Бахрах чувствовал себя в этой среде как рыба в воде, он сделался журналистом, литературным рецензентом русской газеты и секретарем берлинского "Дома искусств", созданного эмигрантами по образцу (и в пику) знаменитому петроградскому "Дому искусств". Здесь бывал "весь Берлин", и, похоже, все знали юного Бахраха. И он знал всех – берлинских эмигрантов, советских гостей и тех, кто еще не решил, где они будут жить, в Москве или в Берлине, – Пастернака и Белого, А.Толстого и Пильняка, Ремизова и Шкапскую, П.Муратова и Зайцева, Эренбурга, Гершензона, Айхенвальда... По долгу газетной службы он писал рецензии и заметки о книгах Цветаевой, Бунина, Чаянова, Пастернака, Набокова... Иногда рецензии Бахраха тоже имели последствием знакомство, переписку и возникновение дружеской связи с авторами, о которых он что-либо написал, ибо и в юности он был (пользуясь выражением того же Ю.Иваска) "благожелательный Бахрах". Самой знаменитой из историй такого рода была история с его рецензией на книгу стихов Цветаевой, история, которую почти через

сорок лет (предваряя публикацию цветаевских писем) сам Бахрах назвал "романом в письмах", или "новеллой в письмах". 9 июня 1923 года Марина Ивановна прислала из чешской деревушки Мокропсы в Берлин письмо молодому журналисту, благодаря его ("Позвольте мне ... утвердить обряд благодарности: критику...") за отзыв на ее сборник стихов. "Вы берете то среднее, что и составляет сущность поэта... – писала она, – Вы вежливы вне фамильярности: неустанно на Вы. У Вас хороший вкус: не 'поэтесса' (слово, для меня, полупочтенное) – а поэт... Спасибо Вам сердечное и бесконечное за то, что не сделали из меня 'style russe', не обманулись видимостью, что е д и н с т в е н н ы й из всех за последнее время обо мне писавших, удостоили, наконец, внимания СУЩНОСТЬ, то, что вне нации, то, что над нацией, то, что (ибо все пройдет!) пребудет".

Письмо было длинное. Наряду с высокой оценкой рецензии и рецензента, оно содержало откровения и доверительные просьбы. Например, найти издателя для задуманной Цветаевой книги о Москве 1917–19 годов ("Рифы этой книги: контрреволюция, ненависть к евреям, любовь к евреям, прославление богатых, посрамление богатых, при несомненной белогвардейскости – полная дань восхищения некоторым безупречным живым коммунистам... л ю т а я любовь к Германии и издевательство над бычачьим патриотизмом (русских!) в первый год войны". Бахрах ответил на это длинное и очень лестное письмо замечательной поэтессы и через несколько дней получил новое письмо, еще более личное, чем первое ("Ваш голос молод, это меня умиляет и сразу делает тысячелетней..."). Отдавая в 1960 году в зарубежный альманах "Мосты" письма и стихи Цветаевой, А.Бахрах предупреждал, что "прилагаемые письма или, точнее, выдержки из них (к сожалению, письма были опубликованы с купюрами – *Б.Н.*) могут показаться... чрезмерно интимными, чем-то вроде любовной переписки..." Бахрах объяснял, что это вовсе не так. Что любые письма были для Цветаевой прежде всего литературой. Что Цветаева надолго сохранила свое юношеское увлечение Ростаном и "пристрастие... к его театральной патетике – к некоторой внутренней театральности вообще". Что "ей менее важен был человек, к которому в тот или иной момент устремлялись ее чувства, чем излияние этих чувств на бумаге". Людей, с которыми Цветаева поддерживала более глубокие отношения, она "изобретала", творила своей фантазией, создавала своей прихотью, едва считаясь с их подлинной природой. Она их для себя – и только для себя одной – выдумыва-

ла, наделяя по своему усмотрению нечеловеческими добродетелями или демоническими пороками. Повторная трагедия (или трагикомедия) ее жизни заключалась в том, что в какой-то момент судьба или, вернее, обстоятельства как бы сталкивали этого воображаемого человека с реальностью, и на этом испытании "проваливались" и творец и его создание. Надо отметить, что и в этом предуведомлении Бахраха можно различить типичные черты его критики и мемуаристики – сдержанность, нежелание брать слишком много на душу и попытку психологического анализа. Позднее об этих особенностях М.И.Цветаевой было написано много, и порой – почти так же, как у Бахраха[1]. Что касается самих писем ее к незнакомому А.Бахраху, то они уже с третьего, июльского, письма звучали как любовные письма: "Вы – чужой, но я взяла Вас в с в о ю жизнь, я хожу с Вами по пыльному шоссэ деревни... я Вам рассказываю (насказываю!), я не хочу Вам зла, я не сделаю Вам зла, я хочу чтобы Вы росли большой и чудный... Что такое слово, чтобы уничтожить ч у в с т в о?... Для меня – все слова малы. И безмерность моих слов – только слабая тень безмерности моих чувств".

На обороте этого письма было и первое из восьми стихотворений, посвященных тридцатилетней Цветаевой двадцатилетнему Бахраху:

В глубокий час души и ночи,
Не числящийся на часах,
Я отроку взглянула в очи,
Нечислящиеся в ночах
Ничьим еще...

А потом от него месяц нет писем, и она ведет ежедневные почти записи о своих жестоких страданиях – "Бюллетень болезни" – и, отсылая ему этот "бюллетень", наказывает: "...берегите эти листки... чтобы знать, что Вас когда-то кто-то – раз в жизни! – по-настоящему любил". Она придумывает (а может, и разгадывает) его – его чуткость, его "девственность, как лианою, оплетенную воспитанностью". "Когда люди, – пишет Цветаева, – сталкиваясь со мною на час, ужасаются теми размерами чувств, которые во мне возбуждают, они делают тройную ошибку: не они – не во мне – не размеры. Просто безмерность, встающая на пути, и они, м.б., правы в одном только: в чувстве у ж а с а."

А потом Цветаева переболела Бахрахом ("...Недуг прошел, болезнь прошла...") и заболела Родзевичем. Но и позже, в 1924, она

писала Бахраху: "Я, конечно, хочу от Вас чуда, но Вам 21 год, а я поэт..."

Они встретились впервые только в Париже, и это была (по терминологии Цветаевой) "невстреча"[2].



И.А.Бунин, 1933 г.

Бахрах вернулся в Париж в конце 23 года. Продолжал писать для эмигрантской прессы, бывал "распорядителем" на балах Союза писателей, с увлечением (как и многие из его друзей-эмигрантов) играл в карты. Как и в Берлине, он знал здесь всех, "весь Париж". Он печатался в самых разнообразных эмигрантских изданиях, плативших, как и нынче, очень скудно и нерегулярно, но, на счастье, он жил с семьей, которая его поддерживала, а время от времени находил какую-нибудь службу. В войну он ушел во французскую армию добровольцем. "Странная война", или "смешная война", кончилась быстро, "...она не была, – написал позднее Бахрах, – такой уж странной, в переживаниях тех, кому суждено было пройти долгий путь от предместий Реймса до окраин Монтобана..."

А потом, осенью сорокового года, демобилизованный на юге Франции Бахрах объявился в Приморских Альпах, в парфюмерном городке Грасе, на вилле "Жанетта", где жил Иван Алексеевич Бунин. На Бахрахе еще была военная форма, и Бунин иногда звал его "дер запаснер солдат" (такую афишу гастролирующего еврейского театра Бунин видел однажды в южно-русском провинциальном городке). Иногда, впрочем, Бунин называл его для разнообразия "львом Сиона" или "газелью Сиона". Так или иначе, Бунин позволил ему остаться жить на вилле. Хотя он и ворчал, что количество его гостей-приживальщиков опять выросло[3], он, похоже, рад был присутствию живого, общительного, интеллигентного молодого человека на этой вилле, где обстановка к этому времени сложилась нелегкая: возлюбленная Бунина Галина Кузнецова ушла от него к певице Марте Степун, но при этом обе барышни не уехали, а жили на вто-

ром этаже виллы; Вера Николаевна Бунина питала нежные, почти материнские чувства к странному человеку Зурову, секретарю Бунина, враждовавшему с самим Буниным (Бахрах не без основания отмечает налет достоевщины во взаимоотношениях обитателей виллы)... "Зимовка на Фраме", как называли свою совместную жизнь обитатели виллы, затянулась на много лет, и общение с Буниным дало Бахраху материал для его первой (вышедшей через сорок лет после этого) книги "Бунин в халате". Образ Бунина написан Бахрахом без сусальной идеализации, но с нежностью, и все эти живые записи о литературных вкусах Бунина, о любимых его историях и любимых его словечках, об отношении Бунина к чужому и собственному, о процессе творчества, наконец, – все это представляет ныне бесценный материал для историка литературы, для буниноведа. Что же до бойких литературных подельщиков, вроде московского автора Валентина Лаврова, то они Бахраха переписывают (предварительно расковычив цитаты) целыми абзацами[4].

В конце войны "молодежь", обитавшая на бунинской вилле в Грасе, подобно значительной части русской эмиграции вообще, склоняется к приятию всего того, что происходит в победоносной России, спасшей мир от фашизма. Соблазна этого избежал Бунин, но, скорей всего, его не избежал Бахрах. Этим отчасти объясняется то, что после войны он, по сообщению Г.Струве, ничтоже сумняшеся пошел (вместе с Г.Адамовичем) работать в пропагандистскую советскую газету, выходившую в Париже. Только отчасти этим, ибо следует учитывать и то, что другую журналистскую работу не так-то легко было найти в послевоенном Париже. Объясняется это и тем, что Бахрах был вообще существом аполитичным. Уже и в 1960 году, в предисловии к публикации писем Цветаевой, он утверждал, что политика не играла никакой роли в жизни русского литературного якобы "неотмирного" Берлина 20-х годов: она "просто исключалась из круга ближайших интересов". Легко убедиться, что это было не так, напомнив потрясшее русских писателей убийство В.Д.Набокова монархистами, издававшими в ту пору в Берлине "Протоколы сионских мудрецов", или, скажем, демонстративный выход группы молодых поэтов (членов будущего "Братства поэтов") из дроздовского "Веретена" по причине одного только прихода на их заседание уже в то время просоветского Алексея Толстого, или непримиримые юбилейные (к 10-летию октябрьского переворота) выступления В.В. Набокова и Ю.Айхенвальда (с которыми, впрочем, Бахрах не был

дружен). Возможно, с той же легкостью аполитичный Бахрах перешел чуть позднее на работу в достаточно непримиримую парижскую "Русскую мысль" и даже на радиостанцию "Свобода" (эпитет "непримиримая" употребил он сам, уже в 60 году, в применении к берлинской кадетской газете И.Гессена "Руль").

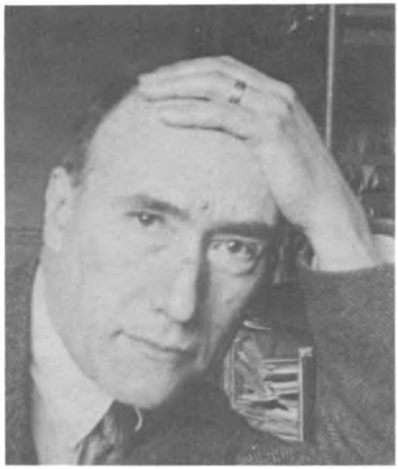
Через год после выхода в свет книги "Бунин в халате" (в значительной части объединившей напечатанные ранее в газетах его воспоминания о Бунине) А.Бахрах выпускает в парижском издательстве "La Presse Libre" второй сборник своих рецензий и мемуарных очерков, или "литературных портретов", как сам автор определяет их жанр в подзаголовке. Эта книга вводит нас в удивительный мир Русского Зарубежья с его интеллектуальными застольями и жизненными драмами, с его напряженной атмосферой духовного поиска, с его чудаками и гениями, обреченными на безвестность и прозябание, с его (пользуясь термином В.Варшавского) "незамеченным поколением", с его странными и непонятыми, зато понятными и близкими нам сегодня героями (пусть и не святыми). Только героями, ибо негодяев у благожелательного Бахраха, кажется, нет вообще – он старается их не замечать, как старался не замечать берлинских политических распрей. В отличие от многих мемуаристов (скажем, не менее талантливых Н.Берберовой и В.Яновского[5]) он был умеренным и справедливым в оценках, и лишь изредка прежние личные и групповые противоречия и ссоры ухитряются влиять на его эстетические и моральные оценки[6]. В своих литературных портретах и мемуарных зарисовках Бахрах прежде всего стремится выявить личность своего героя, главную линию его жизни, его тайну, приоткрывшуюся наблюдательному, хотя и совсем юному в ту пору, случайному знакомцу. Однако он не пытается прыгнуть выше головы в своих поисках истины и в анализе ничего не придумывает, никого не ставит на котурны, не мифологизирует, а там, где он не вполне уверен в правильности своего суждения, оставляет последнее слово за читателем: "Бывают случаи, когда заманчиво не ставить никаких точек над i". Бахраху явно кажутся привлекательными лавры Карлайля и Тэна, он примеряет их то на Гершензона, то на Павла Муратова (автора замечательных "Образов Италии", под влиянием которых тысячи русских экскурсантов-студентов, учителей, людей самого скромного достатка по смехотворно удешевленным тарифам ездили обозревать памятники итальянского Возрождения, бродили не только по Риму или Флоренции, но и бороздили городки Умбрии и Тосканы, о которых

услышали впервые от Муратова), забывая отчего-то примерить их на Алданова-очеркиста и явно стесняясь примерить на себя. Он пытается понять, в чем "настоящая", "своя жизнь" того же Муратова, эстета или военного стратега, обнажает "голубой цветок романтизма" в насмешнице Тэффи. Иные из его коротеньких очерков-баек, очень близких к разговорному рассказу-анекдоту (скажем, рассказик об Алексее Толстом и симпатичной ему Наталье Крандиевской или рассказ о Бабеле, о "бледнолицем Сандро"-Вертинском), дают нам больше, чем многие занудные тома полуказенных воспоминаний (вроде, скажем, совписовского тома воспоминаний о Бабеле). За крошечными "литературными" портретами и характеристиками угадываешь пристрастие самого Бахраха, его собственный характер, его симпатии и антипатии (впрочем, любое слово, любую деталь, которая могла бы принизить его героя или оказаться несправедливой, он немедленно смягчает, как орденом, великодушным признанием заслуг или "венком на могилу"). Вот наш "общий друг" поэт Александр Гингер с его врожденной доброжелательностью, отсутствием зависти к кому бы то ни было, с его пристрастием к азартным играм, яростный еврей-солнцепоклонник (похороненный по буддийскому обряду), который искал ответа на мучительные вопросы мироздания во всех религиях ("Бейся, сердце, от разных обличий человеческой веры святой"), причем природа, и в первую очередь солнце, немало помогали его контакту с верой:

Нет, я вырос без церкви, без быта.
Как же стало, что каждой весной
очевидней, сильнее открыта
глубина, ширина надо мной?

Среди французских героев бахраховских очерков следует выделить писателя Андре Жида, одного из самых смелых, порядочных и гуманных французских интеллектуалов, пожалуй, единственного, кого не удалось купить щедрым московским обольстителям (и Роллан, и Сартр, и Веркор, и уж, конечно, Эльза Триоле в этом плане выглядят по сравнению с Жидом весьма жалко). Бахрах рассказывает об удивительном, совершенно безудержном пристрастии Жида к русской литературе и к России, о его трогательном желании помочь бедствующему коллеге Бунину. Бахрах рассказывает про то, как после войны, захваченный царившей в парижских эмигрантских кругах восторженной надеждой на либерализацию сталинского фашизма, он пришел к Жиду, чтобы посоветоваться, возвращаться ли ему, Бахра-

ху, в Новую Россию Сталина. Ответ Жида был мягким, но недвусмысленным: "Вы теперь хотите уверовать в то, во что я готов был верить примерно десять лет тому назад. Разве вы не знаете, какой дорогой ценой я заплатил за мое разочарование? Но вы заплатите жизнью за ваши наивно-утопические помыслы..." "Было видно, – вспоминает в своем очерке о Жиде Бахрах, – что воспоминание о том, что он там видел, продолжало причинять ему боль... сознание того, что в течение ряда лет он ломал копья не за то, что было, а за то, что ему хотелось, чтобы было... Он... думал найти в коммунизме христианские добродетели (как он считал, исчезнувшие на Западе), а на поверку оказалось, что он наблюдал моральное банкротство и конформизм, от которого никто не мог отойти и который ему всегда и везде был отвратителен. Он, однако, подчеркивал, что русский народ был ему близок..."



Андре Жид, 1921 г.

Очень любопытно, на мой взгляд, описание случайной встречи в Тулузе в войну еще одетого во французскую форму Бахраха, ассимилированного еврея, русского интеллигента и европейца (он, в отличие от многих эмигрантов старшего поколения, скажем Бунина или Куприна, очень неплохо владел европейскими языками и даже переводил Бунина на французский), с Довидом Кнутом и его женой Ариадной Скрябиной:

"Кнуты сразу затащили меня в какое-то большое кафе. 'Как я рад, милая Ариадна, встрече с вами обоими, об этом я и мечтать не мог...' Она насупила брови и резко оборвала меня: 'Не зовите меня Ариадной, забудьте о ней. Я – Сара, так как, выйдя замуж за Кнута, перешла в иудейство'. Я промолчал, толком не зная, что ответить, и не совсем соображая, почему взрослой женщине, меняющей религию, надлежало менять свое имя и как такую перемену можно бюрократически оформить. Но Сара, так Сара...

Я проголодался и с кружкой пива заказал бутерброд с ветчиной. Сара-Ариадна посмотрела на меня злыми глазами. 'Не знаю, позво-

лительно ли вам и нам пить пиво, но это куда ни шло, а вот есть в такие дни ветчину...' Кнут заерзал на своем стуле, а я, каюсь, не сразу понял, что она, собственно, имела в виду. Но вскоре мне уже многое стало ясно. О чем бы мы ни заговаривали – об общих друзьях, о поэзии, о погоде – она с нетерпимостью неофита все сразу же сводила к еврейскому вопросу. Она, конечно, была много трезвее меня, но мне после фронта не хотелось еще смотреть правде в глаза. Я видел, что мое нежелание думать о будущем раздражает ее в такой же мере, как ее неистовость, доходящая до кликушества, раздражала меня.

Очевидно, она унаследовала от отца, как писал о ней Пастернак, 'исконную русскую тягу к чрезвычайности' и заучила, что для того, чтобы быть собою, все должно себя превосходить..."

В этом крошечном очерке Бахрах анализирует чуждый ему женский характер. Отдавая должное и мужеству Ариадны-Сары (подпольная кличка ее была Реджин, Регина), и "взрывам отчаяния", спасающим мир, и возлагая, по своему обыкновению, "скромный венок на ее безвестную могилу", и "низко кланяясь" ее памяти, он отмечает все же и чуждую ему нетерпимость, и "скрытую – отнюдь не женственную – динамичность, какой-то горячечный заряд, упрямство, органическую необходимость настаивать на своем, даже в пустяках", повелевать (или беспрекословно, по-военному, повиноваться).

Мне вспомнился этот очерк во время моего единственного визита к Александру Васильевичу Бахраху в 1982 году. Впервые приехав тогда надолго в Париж, я писал рассказ о Марине Цветаевой ("Бульвар Экзельманс"). Узнав телефон А.Бахраха, я позвонил ему, и он пригласил меня к себе. Он только что выписался из больницы – его сбил на парижской улице мотоциклист.

– Я всегда опасался их больше, чем автомобилистов, и вот... – Он развел руками.

Выглядел он, впрочем, неплохо, был бодр и гостеприимен, однако о Цветаевой говорить отказался – скорей всего тема эта ему уже надоела.

– Да ну ее, – сказал он почти враждебно, и мне невольно вспомнилась их парижская "невстреча", – какая она была, спрашиваете? Ходила как мужик и одевалась как мужик. А я, между прочим, женат на финке. Вот...

Тут появилась финка, вполне женственная финка, пересекла ком-

нату тихо, скромно, стараясь не мешать (я-то смотрел на нее в оба), и скрылась на кухне. Я возобновил свои приставания, но Бахрах не поддавался на уговоры: о Цветаевой он уже все написал и говорить о ней больше не хотел. Он, напротив, хотел поговорить со мной о коварстве М.В.Розановой, которая приглашала его в ресторан, а потом... Он хотел также обсудить со мной характер А.Д.Синявского, который, на его взгляд, непременно должен был знать о коварстве М.В.Розановой и только делает вид, что он не от мира сего... Я тут не мог сказать ничего, ибо М.В.Розанову видел в последний раз, когда ей было 17, а склоки второй волны эмиграции успели мне уже наскучить, несмотря на недавний приезд в Париж. Больше всего меня интересовали люди (и даже склоки) первой эмиграции, но когда у меня накопилось к Бахраху великое множество вопросов, я узнал, что Александр Васильевич Бахрах уже ушел, вослед своим персонажам, оставив нам, любопытным, две бесценные книжечки, написанные "по памяти, по записям"...[8]



Марина Цветаева

Впрочем, еще до этого, роясь в старых журналах, я наткнулся на письмо А.Бахраха редактору журнала "Вестник РСХД", свидетельствовавшее о том, что Александр Васильевич сохранял в своем весьма зрелом возрасте и ясность ума, и интерес к чтению, и прежнюю живость. В этом письме, похвалив статью математика И.Шафаревича о музыке Шостаковича, Бахрах с присущей ему мягкостью отметил все же пробелы в эрудиции универсала Шафаревича, который без тени сомнения восклицает в своей статье, что "невозможно представить себе Матисса, расписывающим церкви". А.Бахрах сооб-

щал в своем письме, что на Юге Франции есть "церковка, расписанная Матиссом (и только им одним). Находится она в Вансе, и полюбоваться его церковной живописью, его фресками ежедневно стекаются сотни туристов".

Прочитав это письмо, просто и старомодно предостерегающее автора (тогда еще, впрочем, не ставшего главным экспертом по нацвопросам и по "малому народу") от слишком категоричных суждений, я словно снова услышал голос "забавника" и "умницы" Бахраха...

Примечания автора

1. Уже после А.Бахраха эти увлечения М.Цветаевой подробно проанализировали в своих книгах В.Лосская и М.Белкина. Последняя приводит в своей книге "Скрещение судеб" (Москва, 1988) письмо, написанное в 20-х гг. мужем М.Цветаевой С.Эфроном М.Волошину: "М. – человек страстей... Отдаваться с головой своему урагану – для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Кто является возбудителем урагана сейчас – неважно... все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Если ничтожество и ограниченность возбудителя урагана обнаруживается скоро, М. предается ураганному же отчаянию. Состояние, при котором появление нового возбудителя облегчается. Что – неважно, важно, как... Вчерашние возбудители сегодня остроумно и зло высмеиваются... Громадная печь, для разогревания которой нужны дрова, дрова и дрова... Тяга пока хорошая – все обращается в пламень..."

2. Одна из собеседниц В.Лосской рассказывает о встрече Цветаевой и Бахраха в Париже: "Она... умела обижать людей. Например, была большая обида с Бахрахом. Его критика на ее стихи ей очень понравилась. Но позднее, когда он пришел к нам, вместо того, чтобы вести с ним интересную беседу, она стала едко над ним издеваться. Помню, она все говорила о каком-то "boudin" (кровяная свиная колбаса)... А он ожидал от нее умных разговоров о поэзии. Так она дала ему понять, что больше его ни в грош не ставит..." Сама Цветаева позднее об этой встрече писала А.Бахраху: "Я перед Вами виновата, знаю, – знаете в чем? В неуместной веселости нашей встречи. Хотите другую – ПЕРВУЮ – всерьез?"

3. Дневниковая запись Бунина за 11.3.41: "Сейчас десять минут двенадцатого, а Г. и М. и Бахрах только что проснулись. И так почти каждый день. Замечательные мои нахлебники. Бесплатно содержу троих, четвертый, Зуров, платит в день 10 фр." Кстати, А.Бахрах и сам называл себя в этой связи приживальщиком. С другой стороны, Бунин в город ходил только с Бахрахом, в Ниццу ездил с Бахрахом (которого называет Бахрак, что, конечно, легче произнести не только по-русски, но и по-французски, недаром и сам А.В. подписывался по-французски "Bacherac"), в рестораны и на свидание с Андре Жидом (вообще предпочитавшим общество Бахраха, к тому же хорошо говорившего по-француз-

ски) – только с Бахрахом. Мемуаристы передают также слова Бунина о том, что как же он может прогнать этого человека, куда он пойдет, ведь он еврей. Сам Бахрах о своем еврействе не пишет и, напротив, дает понять, что никакая опасность ему как будто на юге Франции не угрожала.

4. Мародерская книжка В.Лаврова об эмигрантских годах Бунина ("Холодная осень"), вышедшая несколько лет тому назад в "Молодой гвардии", под прикрытием "оригинального жанра" ("роман-хроника") включала в расковырченном виде не только целые куски из мемуаров Бахраха, Адамовича, Кузнецовой, А.Седых и разнообразных статеек из "Литературного наследства", но и ухитрялась на таком неблагодарном материале, как эмигрантское существование Бунина, воспроизвести основную идею, воодушевляющую упомянутое выше издательство три последних десятилетия: "жиды слона замучили". Скажем, лучший друг Буниных М.С.Цетлина, так много Буниным помогавшая за границей, по Лаврову, злоумышляет против Бунина еще с одесских времен и становится в конце концов во главе всемирного сионистского заговора, имеющего целью сгубить Бунина. В.Лавров, в частности, использовал безоговорочную защиту Бахрахом позиции Бунина, вышедшего из парижского Союза писателей, когда оттуда исключили его "молодых" просоветских друзей, взявших советские паспорта. Сильно немолодая уже в ту пору М.С.Цетлина, потерявшая только что мужа и не забывшая кровавой большевистской расправы над членами ее семьи (эсерами), осудила этот поступок Бунина. Добросовестно переписав эту историю, изложенную доброжелательным Бахрахом с позиций Бунина, В.Лавров и состряпал финальную сцену ("взрыв бомбы") "сионистского заговора". Любопытно, что списывая без зазрения совести у А.Седых (которого он, конечно, называет Янкелем) и у Бахраха, В.Лавров делает вид, что он не замечает сути их воспоминаний. Того, скажем, что Бунин (вопреки гипотезе, состряпанной неким Крестинским на основе двух жалобных открыток Бунина) никогда не собирался возвращаться в сталинскую Россию, а напротив, восклицал по поводу самой этой идеи: "Ехать в такую подлую, изолгавшуюся страну!" Гипотезу Крестинского убедительно опроверг ранее сам А.Бахрах. Но самое парадоксальное, что именно в воспоминаниях Бахраха (сослуживших доходную службу В.Лаврову) говорится о непримиримости Бунина к антисемитам вроде Морраса, а также о его интересе к евреям. Парижские антисемиты из "Возрождения", по его словам, прозвали его "жидовский батько" за его дружбу с евреями, за то, что в личных отношениях у него подлинно "несть эллина, ни иудея", хотя иногда он непрочь над евреями иронизировать – впрочем, не больше, чем над поляками, финнами или латышами.

5. Здесь любопытно сравнить воспоминания о Борисе Вильде, которые мы находим у А.Бахраха и у В.Яновского. Бахрах рассказывает со слов Андре Жида, с которым ему довелось познакомиться в Приморских Альпах, две поразительные подробности из биографии русского поэта Вильде, одного из первых героев французского Сопротивления, и пытается понять мотивы его действий. Яновский высказывает "ценное предположение", что накануне войны целую ночь Вильде пропадал не у своей француженки-жены, а у какой-то другой да-

мы. Что касается надежности сообщаемых историй, то в этом смысле мемуарист Бахрах выгодно отличается не только от В.Яновского, но, конечно, и от талантливой Берберовой. Приводя какой-либо бродячий сюжет, анекдот или апокриф, Бахрах оговаривается, с дотошностью и неоднократно, специально предупреждает читателя о ненадежности источника.

6. Таковы, на мой взгляд, не вполне внятные претензии Бахраха к прозе В.В.Набокова (не к его заявлениям или рецензиям, а именно к прозе), хотя нельзя не признать меткость некоторых наблюдений Бахраха над характером Набокова – совпадающих, впрочем, с наблюдениями З.Шаховской. А.Бахрах был близок к "Парижской ноте", враждовавшей с Набоковым. Он написал в юности "кислую" (по его собственному, столь им любимому выражению) рецензию на ранние стихи Набокова. Позднее, уже в Америке, Набоков (ничего не забывавший) дал по меньшей мере двум своим эпизодическим персонажам фамилию Бахрах (причем в первом американском рассказе Набокова эта достаточно известная эмигрантам фамилия была подарена подозрительному покровителю советской шпионки – малоприятное для Бахраха родство).

7. За многими разбросанными там и сям небрежными замечаниями А.Бахраха раскрываются незаурядная эрудиция, самые разнообразные знания, которые он по той или иной причине (возможно, по лености) так и не реализовал. Юрий Иваск высказал сожаление, что Бахрах не преподавал в университете – так, словно французские университеты только и ждут чужих эрудитов (многие из русских эмигрантов преподавательскую работу нашли впервые только в Америке – Набоков, например, Берберова и другие).

8. Конечно, любая книжка, составленная из старых газетных статей или радиопередач, даже после тщательного редактирования сохраняет следы спешки и небрежности. Книжки Бахраха в этом смысле не исключение – в них можно было бы убрать бесконечные кавычки, в которые взяты все более или менее выразительные слова, повторяющиеся авторские находки, вроде глагола "скулить", а также деепричастные обороты типа "подъезжая к станции, у меня слетела шляпа". В то же время нельзя не отдать должное красочности многих картинок и даже слов у Бахраха и не списать иные из шероховатостей на бег времени, волокущего за собой вперед или в сторону не только устную, но и письменную речь.

Использованная литература

1. Бахрах А. Бунин в халате: по памяти, по записям. Н.-Й., 1979.
2. Бахрах А. По памяти, по записям: литературные портреты. Париж, 1980.
3. Бахрах А. Письма Марины Цветаевой // Альманах "Мосты", 1960, №5, 6.
4. Белкина М. Скрещение судеб. Книга. М.,1988. С.96–173.
5. Иваск Ю. "Бунин в халате" А.Бахраха // Новый журнал. 1979. №137.
6. Лосская В. Марина Цветаева в жизни. Эрмитаж. Н.-Й. 1989. С.87–146.
7. Устами Буниных. Т.3. Посев. Франкфурт-на-Майне, 1981.



Р.О.Якобсон, Теодор Нетте, Земит-Зимин. Прага, 1920 г.

Роман Якобсон в Чехословакии

Олег Малевич
(Санкт-Петербург)

8 июня 1920 года в петроградской газете "Жизнь искусства" появилось сообщение: "Московский филолог Р.Якобсон проехал через Петроград в Прагу, где будет работать по славянскому языкознанию"[1]. Это была уже вторая поездка Якобсона за границу: с начала февраля по 4 апреля 1920 года он находился в Ревеле в качестве "члена торговой делегации Центросоюза и сотрудника Роста"[2]. Началась его "дипломатическая карьера" с чистой случайности: он пришел передать письмо знакомому своей давней приятельницы, который занимал довольно высокий пост в Наркоминделе, и тот предложил ему как человеку, знающему языки, войти в состав первого советского представительства в Эстонии. И во второй раз судьбу молодого филолога тоже решил случай. В 1977 году Якобсон рассказал об этом шведскому слависту Бенгту Янгфельдту: "По возвращении из Ревеля я познакомился с двумя молодыми польскими учеными <...> Один из них предложил мне поехать в Прагу в составе миссии Красного креста. Задачей этой миссии была репатриация бывших русских во-

енноплeнных, оставшихся в Чехии с австро-венгерских времен, и попытка установить дипломатические сношения с Чехословакией. 'Вы ведь знаете чешский язык?' Я сказал, что знаю его из сравнительной грамматики славянских языков, которую проходил. – 'Где мы такого найдем?'

Главой миссии был доктор Гиллерсон, который меня с удовольствием взял – и взял на условии, которое, надо сказать, было очень честным. Он меня спросил, почему я хочу ехать. Я сказал ему правду, что когда меня оставили при университете, сказали, что желательно близкое ознакомление со славянскими странами и языками и что я хотел бы работать в университете в Праге. Он ответил: 'Если это будет возможно совместить, то пожалуйста'"[3].

Сказал ли Якобсон будущему главе миссии всю правду? Осенью того же года он напишет Эльзе Триоле в Париж: "... не одну, десять жизней пережил каждый из нас за последние два года. Я к примеру был за последние годы – контрреволюционером, ученым и не из худых, ученым секретарем Зав. Отд. Искусств Брика, дезертиром, картежником, незаменимым специалистом в топливном учреждении, литератором, юмористом, репортером, дипломатом <...> Уверяю Тебя, авантюрный роман да и только"[4]. Много лет спустя Якобсон сообщит Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, что во время Октябрьской революции был активным членом кадетской партии. К 1918 или 1919 году относится его шуточное стихотворение, которое начинается строфой:

Наступила эра
РСФСР'а.
Вспомнил Робеспьера
Свет[5].

А заканчивается оно еще более угрожающе:

Уж дрожат коленки.
Вдруг поставят к стенке
Лацисы, Крыленки
Нас[6].

И предположение это имело для Романа Якобсона вполне реальный смысл. 1 февраля 1921 года Н.С.Трубецкой писал ему в Прагу из Софии: "В Москву <...> Вы пока лучше не ездите, раз возможность Б. Лубянки не исключена. Конечно, может быть, рано или поздно все туда попадем, но в данном случае лучше уж поздно чем рано"[7]. А Надежде Филипповне Фридлянд, той самой приятельнице,

которая передала Якобсону письмо для приближенного Чичерина, он говорил перед отъездом в Прагу: "Надо быть безумной, чтобы остаться в этой стране. Ты горько об этом пожалеешь"[8].

Якобсон выехал из Москвы в конце мая и с начала июня ждал остальных членов миссии в Ревеле. Вскоре туда приехали секретарь миссии Левин и дипломатический курьер Теодор Нетте. Все трое были молоды и быстро подружились. Наконец приехал из Москвы доктор Гиллерсон, и 3 июля морским путем в Штеттин, а оттуда через Берлин, где надо было совершить пересадку, миссия отправилась в Прагу. О выставке "Dada-Messe", которую Якобсон видел в Берлине, он послал из Праги, куда миссия прибыла 10 июля, отчет, позволяющий судить о его первых зарубежных впечатлениях: "... сейчас, несмотря на то, что визами, валютами, кордонами всех сортов Европа обращена во множество точек, – пространство сокращается гигантскими шагами – радио, беспроволочный телеграф, аэро. Пусть книги и картины не переходят сегодня, осажденные шовинизмом и валютой, государственных границ. Но сегодня вопросы, решаемые где-нибудь в Версале, – шкурны для силезского рабочего, и, если растет цена на хлеб, – голодный горожанин 'ощущает' мировую политику.<...>

Что соответствует этой 'раскачке' в научной жизни? <...> наступает наука относительности. <...> От старой физики не остается следа, у старых физиков остается три аргумента: 'жид', 'большевик', 'противоречит здравому смыслу'". <...>

Во всех областях науки тот же разгром, отказ от местной точки зрения и новые головокружительные перспективы. Азбучные предпосылки, недавно незыблемые, ясно обнаруживают свой временный характер'[9].

Двадцатитрехлетний профессор, выглядевший совсем мальчишкой, бродил с Теодором Нетте по Праге, восхищался вместе с ним красотой и величием ее "зодческой старины" и мечтал завоевать своими идеями научный мир чешской столицы. А задача эта была не из легких. По приезде в Прагу выяснилось, что совмещать службу в миссии с работой в Карловом университете не удается, поскольку там были "какие-то контры с Москвой". "Я вам позволю выбирать, как хотите", – великодушно сказал глава миссии, и в октябре 1920 года молодой ученый сделал свой выбор. "После недавнего служебного благосостояния" Якобсон оказался без денег и сносного жилья. Теодор Нетте облюбовал "маленькое, типично пражское" кафе "Дер-

би", "очень уютное и очаровательное", где играл "какой-то, можно сказать, бывший человек, но очень талантливый пианист". "Случилось так, – вспоминает Якобсон, – что <...> оно стало моим лейб-кафе. У меня совершенно не было денег, я ел три или четыре раза в неделю, – очень трудно было пройти мимо колбасных в те дни, когда не ел, – и комната у меня не топилась. Тогда я там просиживал по несколько часов с чашкой черного кофе (черный кофе был дешевле) и с одной булочкой – мне приносили чернильницу с пером, и там я писал книгу о чешском стихе"[10].

Однако выйдет эта книга еще только через два года. А пока Якобсон издает за свой счет две брошюры: по-русски текст подготовленного в 1919 году для московского Госиздата предисловия к собранию сочинений Хлебникова – "Новейшая русская поэзия. Набросок первый. Виктор Хлебников" (1921. Типография "Политика" в Праге), по-чешски – текст опубликованной в журнале "Нове Атенеум" рецензии и на работу французского слависта А.Мазона о русской лексике периода первой мировой войны и революции[11].

"Лингвистика, – писал он в первой из них, – давно не довольствуется изучением мертвых языков, изжитых языковых эпох. Минувшие языковые системы нами интерпретируются с трудом: мы не переживаем вполне, а лишь частично, приблизительно, притом сильно переосмысливая, воспринимаем их элементы. Документы, из которых мы черпаем все наши сведения о языке прошлого, всегда неточны.

В силу этого все с большей настоятельностью выдвигается необходимость изучения современных говоров. Диалектология становится главным импульсом раскрытия основных лингвистических законов, и лишь изучение процессов живой речи позволяет проникнуть в тайны окаменелой структуры языка былых периодов. Только по отношению к языку современному, безусловно, применим прием временного разреза, так называемый синхронический метод, дающий возможность отделить живые процессы от окаменелых форм, продуктивные системы от "лингвистической пыли" (термин Ф. де Соссюра), дающий возможность усмотреть не только выкристаллизовавшиеся лингвистические законы, но и намечающиеся тенденции"[12].

В этих нескольких строках Якобсон провозглашал себя противником господствовавшей в XIX веке младограмматической школы, сосредоточившей все свое внимание на исторической грамматике, на истории языка, сторонником швейцарского лингвиста Фердинанда де



И.Г.Эренбург, П.Г.Богатырев и Р.О.Якобсон. Прага, 1928 г.

Соссюра, провозгласившего синхронный метод изучения основы современного языкознания, и последователем немецкого философа Эдмунда Гуссерля, создателя теоретической базы научного знания, заявившего о необходимости "феноменологической редукции", устраняющей культурно-исторические и психологические помехи в восприятии исследователя.

Заявленные выше принципы Якобсон продемонстрировал в анализе языка периода первой мировой войны и революции. Языковые факты, извлеченные Мазоном преимущественно из материалов прессы, он дополнил наблюдениями над живым языком, в частности над словечками и речениями из антисоветских анекдотов, вроде антисемитской расшифровки "прижидиум". Б.В.Томашевский в рецензии на брошюры Мазона и Якобсона отмечал: "Р.Якобсон не изолирует языковых явлений революционной эпохи, а изучает их в окружении лингвистических параллелей, дающих возможность уяснить себе языковую природу и увидеть их отношение к общим законам языка"[13].

В декабре 1921 года по совету Якобсона в Прагу приезжает его унивеситетский товарищ Петр Григорьевич Богатырев. Вместе они публикуют в журнале "Славиа" обширный обзор "Славянская филология в России за годы войны и революции", вышедший затем от-

дельной брошюрой[14]. Особое место в нем уделено работе Московской диалектологической комиссии (в частности – "Опыту диалектологической карты русского языка в Европе, с приложением Очерка русской диалектологии" Н.Н.Дурново, Н.Н.Соколова и Д.Н.Ушакова) и работе по изучению поэтического языка, осуществлявшейся в рамках Московского лингвистического кружка и ОПОЯЗ'а: "Был выброшен лозунг: если история литературы хочет стать наукой, она должна найти своего героя (термин лингвиста Рисса). Выдвигается требование анализа художественного приема как единственного подлинного историко-литературного *героя*. <...> Выдвинутое Потебнианской школой уравнение 'Образность поэтичности, подвергнуто жестокой критике. Мыслима поэтичность без образности и внепоэтические образы. Таким образом отличие поэтического языка от прозаического следует искать в ином; это – прежде всего различие функциональное. Если говорящий пользуется языком с чисто практической целью общения, мы имеем дело с системой практического языка, в которой языковые представления (фонетические, морфологические, синтаксические и семасиологические) самостоятельной ценности не имеют и являются лишь средством общения. Между тем, поэтический язык 'построен так, чтобы ощущаться'. Языковые сочетания приобретают здесь самоценность (установка на выражение). Только при такой предпосылке науке становится доступна проблема поэтического языка, как языка затрудненного, заторможенного. <...> Потебнианской школе инкриминируется подмена проблем поэтического выражения проблемами психологии творчества . <...> Исходя из намеченных выше вкратце предпосылок и отказываясь на деле от нормативности <...>, молодые русские филологи пытаются построить новую историю русской литературы"[15]. В качестве специфического тезиса Московского Лингвистического Кружка в обзоре выдвигалось "утверждение, что поэзия есть язык в его эстетической функции <...>"[16]. Таков был теоретический багаж, с которым Якобсон собирался завоевать ученую Прагу. И багаж этот, судя по всему, сразу же вызвал к себе интерес чешских ученых. 14 ноября (?) 1920 года Якобсон писал Эльзе Триоле: "... сентябрь месяц мне здесь за кр. кр. (Красный крест – *О.М.*) сильно попадало. Газеты вопили об удаче, захватывающей в цепкие объятия здешних профессоров (это я) и т.п., профессура колебалась, бандит ли я или ученый или противозаконная помесь, в кабарэ пелись обо мне песенки, все это было малоостроумно <...>"[17].

Вопреки своему "контрреволюционному" прошлому, Якобсон сближается с представителями революционного художественного авангарда. Он не только пользуется "лапидарным языком русской революционной эстетики", но в статье о "дада" довольно недвусмысленно высказывает просоветскую политическую позицию: "Особенно тяжело пришлось бытовикам в России. Один из них мне горько жаловался: 'Что писать, когда быта нет'. И потекли к белым (Куприн, Чириков, Андреев, Бунин, Аверченко, Мережковский, А.Толстой). Но быта и здесь не обрели. И занялись – кто прошениями со слезой (Андреев), кто погромными прокламациями (Куприн), кто откровенным прихлебательством (Мережковский)"[18]. Как явствует из письма Якобсона Эльзе Триоле от 19 ноября 1920 года, именно он впервые познакомил чешских поэтов с оригиналами произведений Маяковского (Якобсон привез с собой, в частности, рукопись первоначального варианта поэмы "150 000 000") и Хлебникова. 25 ноября 1920 года в журнале С.К.Неймана "Кмен" появился "Левый марш" в переводе молодого чешского слависта Иржи Вайля. 27 декабря того же года в газете молодых литераторов "Ден" рядом были опубликованы "Пролог 'Мистерия-буфф'" в переводе Иржи Вайля и отрывок из поэмы Хлебникова "Сестры-молнии" в переводе Якобсона. Впрочем, участие Якобсона в переводах русских революционных поэтов нередко оставалось за кадром. Об этом свидетельствует и следующее письмо:

Владимиру Маяковскому!

Сегодня в правительственной газете тебя обругали матом. Самое мягкое из выражений было 'сукин сын'. В левых кругах твоя популярность растет. Первого мая в здешнем большом театре пойдет перевод твоей Мистериц, шум вокруг этого представления будет страшный. Лучший здешний драматург Дворжак (ныне коммунист) о какой бы пьесе ни писал в пражской левой газете, неизменно констатирует, что по сранению с тобой это буржуазная гниль. Лучший здешний левый поэт Нейман переводит 150 миллионов. Но, к сожалению, у меня сперли последнюю часть 'окт. революции сотая годовщина'. Пришли, дорогой, иначе книга не сможет выйти. Кроме того, хочу выпустить по-русски. Гонорар получишь. Итак пришли поскорей, передай Буслаеву, чтобы передал в Отдел диплом. курьеров, Наркоминдел, для отправления в Прагу тов. Левину. Кроме того, пришли ты, сколько раз тебя просил, снимки с плакатов Роста. Нехорошо, Володя, что ни слова мне не пишешь, знаешь, как меня интересует, что у тебя нового.

На днях состоится в чешском фабричном центре Брно вечер твоих произведений для рабочих. Пришли и Ржаное слово. Целую.

Рома

8/II -21.[19]

Лауреат Нобелевской премии за 1984 год, чешский поэт Ярослав Сейферт вспоминает: "Якобсон повсюду у нас мог хорошо договориться. Он очень быстро заговорил по-чешски. Научился за три недели.

Когда я встретился с ним во второй или в третий раз, он вытащил из кармана оригинал 'Двенадцати' Блока и предложил мне перевести поэму. Он диктовал мне строку за строкой, а я тут же переводил его текст плохими стихами <...> Вскоре Индржих Гонзл поставил этих моих 'Двенадцать' на сцене бывшего Театра Шванды. Тогда случилось нечто, над чем Якобсон смеялся еще спустя тридцать или даже более лет, навестив меня в Праге. В поэме есть место, где проститутки на улице окликают проходящих мужчин, предлагая им свои вечерние любовные услуги. Из-за моего скверного перевода Гонзл не понял стихов и поручил произнести их красноармейцу, стоявшему на посту с винтовкой и примкнутым штыком, в старом русском шлеме"[20]. Этой и других столь же грубых ошибок уже не было в книжном издании перевода Я.Сейферта, который вышел в 1922 году и явно был отредактирован Якобсоном. Консультировал он и перевод "150 000 000", за который вместо С.К.Неймана взялся видный чешский русист Богумил Матезиус[21]. В свою очередь В.Матезиус перевел на чешский язык расширенную версию книги Якобсона о чешском стихе[22].

Книга эта возникла в тесном общении с чешскими поэтами.

Витезслав Незвал вспоминает: "Однажды после полуночи в кафе 'Техника', одной из довольно неприглядных забегаловок, ко мне подошло странное существо с пружинистым, словно бы резиновым телом и разбегающимися в разные стороны глазами и на каком-то разболтанном чешском языке дало мне понять, что его интересовал бы мой взгляд на метрическую основу моего и вообще чешского стиха. Этот человек, проявивший глубокой ночью интерес к чешской просодии, оказался не кем иным, как русским профессором Романом Якобсоном. <...> Не раздумывая, я ответил, что долгота в моем тоническом стихе имеет большое значение и что иногда она может даже заменять ударение. Я напомнил Роману Якобсону вводное четверостишие к 'Удивительному волшебнику', написанное неко-

ей разновидностью гекзаметра, и я был рад, что это ночное интервью снискало моим устремлениям сочувственный интерес человека, который меня очаровал. <...> В Романе Якобсоне я на долгое время обрел приятеля, с которым мы прекрасно понимали друг друга в вопросах поэзии"[23].

В обзоре Якобсона и Богатырева о славянской филологии в России за годы войны и революции отмечалось: "Почти не затрагивалась инославянская ритмика, если не считать 'Заметки о древнеболгарском стихосложении' Якобсона, печатающейся в Известиях II Отд. Ак. Наук"[24]. В Чехии Якобсон, уже ранее переводивший стихи с французского и на французский и занимавшийся стиховедческими вопросами, в частности ритмикой и метрикой Тредиаковского и других поэтов XVIII века, на практике столкнулся с тем, как одни и те же стихотворные размеры обретают различное воплощение в зависимости от строя разных языков. Так сравнительная лингвистика становилась основой и сравнительного стиховедения, и теории перевода. Позднее Якобсон писал, что, начиная с этой книги, он 'всегда подчеркивал ту важную роль, которую играют в метрике фонологические, смыслообразующие элементы' и что 'именно анализ стиха' дал ему 'возможность увидеть основу, на которой зиждется фонологическая система языка'"[25].

Еще в 1908 г. Альбер Сеше в одном из примечаний к своей книге "Программа и метод теоретической лингвистики" выдвинул задачу создания новой языковедческой дисциплины, которую окрестил "фонологией". Но в книге Якобсона, "собственно, впервые появилась фонология в новом смысле слова – фонология в смысле науки о структуре и функции звуков"[26].

Вместе с тем "теории безусловного соответствия стиха духу языка, непротивления формы материалу" автор книги



Карел Тейге, Р.О.Якобсон и Витезслав Незвал. Брно, 1933 г.

противопоставил "теорию организованного насилия поэтической формы над языком"[27]. Исходя из формулы Д.Ф.Брандта "Не язык владеет поэтом, а поэт языком", он делает вывод, что чешская поэзия, вопреки установившейся в ней силлабо-тонической системе стихосложения, далеко не исчерпала возможности использования принципов античной метрики, таящиеся в наличии кратких и долгих слогов в чешском языке.

Якобсон собирался закончить книгу к апрелю 1921 года. Но выход ее задерживался. Началась новая полоса безденежья. Якобсон заходил к секретарю Гиллерсона Левину, который подкармливал его оставшимися от обильного обеда кнедликами. В начале лета 1921 года в Прагу приехал первый советский полпред Павел Николаевич Мостовенко и, узнав, что Якобсон в миссии, сразу же пригласил его к себе. Оказалось, что Г.В.Чичерин, интересовавшийся Чехией еще со времен эмиграции, рекомендовал Мостовенко Якобсона как человека, знающего чешский язык и ориентирующегося в чешской истории и культуре. Якобсон стал сдельно работать в советском полпредстве.

В августе 1922 года по приглашению Якобсона в Прагу приехал Виктор Шкловский. 25 декабря он писал жене: "Жил в Праге, но в ней меня приняли очень плохо, так как решили, что я большевик. <...> Сейчас в Берлине с Ромой. Рома не хочет отпускать меня из Праги. Но я остаюсь здесь"[28]. В письме "Роману Якобсону, переводчику полпредства СССР в Чехословакии", опубликованном в журнале "Книжный угол" в том же году, Шкловский обращался к другу, у которого он, левый эсер, скрывался в 1918 году от Чека: "Дорогой Роман! Зачем работать, когда некому рассказывать? Я очень скучаю без тебя <...> Роман, почему ты мне не пишешь? Я помню Прагу. Фонари, которые мы тушили. Мост, на плату за переход которого у нас не было денег.

Влтаву – реку, тщательно перегороженную и полную моющихся чехов. Чешское пиво в литровых кружках. Кнедлехи. Соню Нейман, Петра Богатырева.

Пивные, в которые мы заходили, пересекая город. В одной – пиво, и зельтерскую – в другой. Сладкий аллаш. Сон на спинке дивана. <...>

Как твоя семейная жизнь? Ты, знаешь, Рома, семья – это как хорошая, еще крепкая машина, которую мир донашивает, – выбросить жалко, но нет смысла заводить заново <...> В ней и муж и

жена должны каждый день покрывать дефициты"[29]. Жена Шкловского, только в сентябре 1922 года выпущенная из заключения, находилась в России. Первая жена Якобсона – Софья Николаевна Фельдман – была для него хорошим товарищем, но он писал о ней: "У нее домашняя литература, грамматика, арифметика. Она дальше единицы не считает"[30]. Писал Эльзе Триоле. Их детская дружба (у них была общая учительница французского языка) переросла в незаконченный роман. В октябре 1922 года Эльза Триоле приехала в Берлин, где с нею тогда встретились Маяковский, Брики, Шкловский и Якобсон. После отъезда Эльзы Триоле в Париж (конец 1923 года), а Виктора Шкловского в Россию (чуть раньше, причем при содействии полпреда Мостовенко, о котором попросил Якобсон) любовный треугольник, возникший между Парижем, Берлином и Прагой и давший литературе книгу Шкловского "Zoo, или письма не о любви, или третья Элоиза" (Берлин, 1923), а истории культуры – письма Якобсона Эльзе Триоле, распался.

В последнем из этих писем, датированном 26 декабря 1923 года, Якобсон жаловался: "Я совершенно зверски занят на службе, выколачиваю деньгу <...> Мне до того надоело заниматься не своим делом, что по временам плакать хочется.

Вести из Москвы очень невеселые. Витя делает игрушки и рисует рекламы. С ним не переписываюсь. В Праге перебывало за это время много берлинцев – Горький, Ходасевич, Эренбург... С Ходасевичем мы выпивали, он не глуп и приятен в обществе"[31]. С Горьким Якобсон крепко поспорил из-за его враждебного отношения к Маяковскому. С Ходасевичем ведет длинные разговоры о метафорах и метонимиях. Предлагает ему перевести поэму великого чешского романтика Карела Гинека Махи "Май": "может быть, от Махи до Махи вы могли бы закрепиться в Прахи?"[32]

Когда профессор А.П.Скафтымов стал деканом филологического факультета в Саратовском университете, он предложил Якобсону должность профессора. Тот обратился за советом к своему университетскому учителю, профессору Д.Н.Ушакову. В ответ пришла открытка: "Когда хочется танцевать, надо помнить не только о той печке, от которой танцуешь, но и о той стенке, к которой танцуешь"[33].

Впрочем, у Якобсона прекрасно складывались отношения и с новым советским полпредом В.А.Антоновым-Овсеенко, занимавшим этот пост в 1924-1929 годах. "Потом, когда началась чистка, – вспо-

минал ученый, – и потребовалось, чтобы он всех беспартийных устранил, и меня в первую очередь, – у меня было много врагов, – он чувствовал себя очень виноватым передо мной. Он сказал: 'Оставайтесь здесь'. И он одобрил, что я работаю в редакции 'Slawische Rundschau', – так что я как бы не нарушил закона"[34].

Еще в России Якобсон активно сближался не только с филологами, поэтами (Крученых, Хлебников, Маяковский), но и "с людьми относительно далеких областей", прежде всего с художниками (Малевич, Ларионов, Родченко). То же повторилось и в Чехии: "Меня поразило, когда мне в Париже прочли отрывок из дневника выдающегося чешского художника Шимы, где он рассказывает о том, какое значение для его живописи имели разговоры со мной в Праге в двадцать пятом году, до создания Пражского лингвистического кружка, по поводу двоичных отношений, по поводу бинаризма, по поводу различительных черт.

Таких случаев было много в моей жизни – что именно с художниками и теоретиками искусства у меня были очень тесные связи. Из теоретиков мне ближе всех был чешский теоретик изобразительных искусств и архитектуры Карел Тейге, с которым мы очень общались"[35].

С самого начала деятельности левого "Художественного союза Деветсил", возникшего 5 октября 1920 года, Якобсон снабжал его участников изобразительными материалами. Он не осуществил высказанного в одном из писем к Э.Триоле намерения "скомбинировать книгу о новейшем русском искусстве и художественной политике", но статья Артура Черника "Русское изобразительное искусство" в "Революционном сборнике 'Деветсил'", вышедшем осенью 1922 года, не могла бы появиться без его помощи.

В середине 20-х годов, когда в лагере левой художественной интеллигенции началось размежевание между сторонниками агитационного, пролеткультовского искусства во главе с С.К.Нейманом и так называемыми поэтистами (В.Незвал, К.Тейге, Я.Сейферт, К.Библ и др.), Якобсон решительно встает на сторону последних. В сущности именно такой ориентации "Деветсила" способствовали уже его выступления в журналах С.К.Неймана "Кмен", где был опубликован отрывок из "Новейшей русской поэзии" под характерным названием "Вивисекция как ближайшая задача науки об искусстве"[36], и "Червен", где впервые была опубликована его известная статья "О художественном реализме"[37].

25 марта 1925 года К.Тейге писал А.Чернику в связи с подготовкой очередного выпуска брненского авангардного журнала "Пасмо": "Для очередного номера у нас следующее предложение. Это предложение Романа Якобсона, который стал членом 'Деветсила'. Номер, посвященный статьям о поэтическом языке. Роман Якобсон написал бы статью о том, что у чешских поэтов устаревший язык, и путем строгого филологического разбора показал бы новизну языка 'Пантомимы' (книга В.Н.Незвала – *О.М.*) и 'На волнах TSF' (поэтический сборник Я.Сейферта – *О.М.*). Кроме того он перевел бы несколько подобных русских статей о современной критике <...>"[38].

Многолетний чешский партийный борец против формализма и структурализма Ладислав Штолл, опубликовавший это письмо, недалек от истины, когда утверждает, что конструктивистско-поэтистская концепция Карела Тейге, оказавшая серьезнейшее воздействие на все развитие чешской литературы и искусства 20-х годов, во многом была подготовлена и подсказана Якобсоном. В статье "Конец поэтического школярства и ремесленничества" ("Пасмо", май 1925 г.) он писал: "Коммуникативный язык с направленностью на предмет высказывания и поэтический язык с направленностью на выражение – это две разные, во многом противоположные системы (этим, разумеется, многообразие языковых функций далеко не исчерпано). А поскольку мы хотим вещи конструктивные, вещи, соответствующие своему назначению, у нас вызывают отвращение абажуры, напоминающие цветы, или ложные окна, через которые ничего не видно. Поэтому у нас нет ни малейшего желания сообщать истины, необходимые пролетариату, в форме головоломок или рифмованных строк. Сообщение 'нужных истин' требует совершенно иных методов выразительности, ясности, краткости, точности, недвусмысленности и тому подобного. <...> Если рабочему хотят сообщить нужную истину, элементарная честность запрещает пользоваться для этого рифмами, поэтическими метафорами и прочей литературной амуницией.

Это отнюдь не означает отрицания социальной роли поэзии, это означает лишь протест против превращения поэзии в контрабандный товар, который тайно переправляется через границу под предлогом сообщения нужных пролетариату истин <...>

Отважные новаторы чешской поэзии, поэты 'Деветсила', вышли на дорогу целенаправленной разработки поэтического слова, разработки, не затемненной никакими инородными моментами. Перед нами стоит задача преодолеть закосневшую традицию <...>"[39]

И далее Якобсон выражал надежду, что на этот раз новейшая русская поэзия оплодотворит чешское искусство не идеологическими, а творческими импульсами.

Непосредственно отталкиваясь от этой статьи Якобсона и опыта русского футуризма, К.Тейге писал в статье "Слова, слова, слова" ("Горизонт", апрель 1927 г.): "Это возрождение языка не осталось без влияния на новейшую чешскую поэзию: аналогичные устремления можно обнаружить в некоторых стихотворениях Библа и Сейферта. По всей видимости сотрудничество чешских поэтов с научными разысканиями Романа Якобсона (смотри его книгу 'Основы чешского стиха') принесет большое обогащение чешскому поэтическому языку <...>"[40].

Это была прелюдия к созданию Пражского лингвистического кружка, одним из главных организаторов которого был тот же Роман Якобсон. Идея принадлежала чешскому англисту Вилему Матезиусу и Якобсону. Первое заседание состоялось 6 октября 1926 года. Заседания проходили преимущественно в пражских кафе "Лувр", где его участники рассаживались за длинным столом, и "Дерби" (здесь были написаны и знаменитые Тезисы Пражского лингвистического кружка). О том, как они возникли, Якобсон сообщал в письме Н.С.Трубецкому от 6 апреля 1929 года: "Вдруг всему инициативному ядру кружка пришла мысль, что кружок как парламент мнений, как свободная трибуна для дискуссий – пережиток, и что кружок должен быть преобразован в тесно-сплоченную по научной идеологии группу. <...> Этот процесс ныне очень успешно осуществляется. В кружке образовалась своего рода инициативная комиссия в составе Матезиуса, очень способного лингвиста Гавранека, Мукаржовского, Трики и меня. Эта перелицовка кружка буквально воодушевила его членов, я такого научного энтузиазма у чехов еще не видал. Кружок захватил в свои руки лингвистическую секцию подготовительного комитета съезда славистов, проведя туда пять членов из семи. В семичленной литературной секции два члена кружка. Кружок составил список принципиальных проблем, о которых предложено высказаться желающим членам съезда. Этот список будет на днях разослан. Ответы будут опубликованы в сборнике типа гаагских пропозиций, который комитет летом напечатает. Кружок готовит тезисы по всем этим вопросам и постановил привлечь к участию в разработке тезисов нескольких русских лингвистов, как наиболее близких к взглядам кружка, в том числе Вас, Карцевского, Дурново, Ларина, Тынянова,

Бубриха и др. Я Вам пошлю на днях те тезисы, которые кружок разработал вчерне по-чешски"[41]. 16 апреля того же года Н.С.Трубецкой ответил: "Тезисы пражского Лингвистического кружка вполне приемлю"[42].

Впоследствии было немало споров о соотношении ОПОЯЗ'а и Пражского лингвистического кружка, русской формальной школы и чешского структурализма. В 1935 году Н.С.Трубецкой писал Якобсону без обиняков: "Вы создали кружок. Вам удалось, можно сказать, прямо чудо: воспитать из провинциальных обывателей ученых с кругозором и с высоким уровнем запросов. Но естественно, что каждому такому провинциалу все это страшно непривычно, и хочется ему в свою стихию"[43]. Сам Якобсон в этом отношении был более объективен и во всяком случае более дипломатичен (Шкловский говорил о нем: "Рома, это дипломат. Уже готовится война, уже свозят пушки, а он едет и спрашивает у двора, как здоровье Ее Величества"[44]). В 1934 году он писал в статье "О предпосылках пражской лингвистической школы": "Я не собираюсь здесь защищать тезис об автохтонности происхождения Пражской лингвистической школы <...> 'Пражская лингвистическая школа' – плод симбиоза чешской и русской мысли <...>"[45]

Такой же "симбиоз" наблюдался и в личных отношениях. Вдова выдающегося чешского прозаика Владислава Ванчуры, сблизившегося с Якобсоном в конце 20-х годов, вспоминала: "Среди друзей Ванчуры особую группу составляли члены лингвистического кружка, прежде всего Якобсон, Мукаржовский, Гавранек, Богатырев.

Это была дружба, основанная на горячности общих интересов и восхищенном уважении друг к другу; дружба эта, особенно с Якобсоном и Мукаржовским, углубилась и распространилась и на семьи.

Роман Якобсон был родом из России и пользовался славой одного из самых талантливых славистов и богемистов; человек незаурядный и по внешнему облику, и по манере поведения. Могучий, головастый, с буйной рыжей шевелюрой, с лицом римского бога, которое довольно заметно обезображивал один постоянно косящий глаз. Но Якобсон был не из тех, кого такой изъян стесняет. Он кипел энергией, говорил увлеченно, с темпераментными жестами. Владислав познакомился с ним еще в двадцатые годы, вероятно, в 'Вилле Тереза' (здание советского представительства на Жижковой улице в Праге – *О.М.*). Жена Романа Соня, тоже родом из России, обраща-

ла на себя внимание необыкновенной еврейской красотой. <...> Роман и Соня были веселы, беззаботны, по крайней мере Роман, который самые неотложные нужды препоручал более хозяйственной жене. <...>"[46]

И Людмила Ванчурова, и Ярослав Сейферт, и Витезслав Незвал вспоминали русские блины у Якобсонов с обильной закуской и выпивкой (последнего она даже привела в полицейский участок).

Для развития Романа Якобсона как ученого наибольшее значение имела его дружба с князем Николаем Сергеевичем Трубецким. Так же, как ранее при знакомстве с Хлебниковым, а позднее – с Леви-Строссом, при первой встрече с ним у Якобсона возникло ощущение "внезапно уловленной гениальности". Несомненное воздействие на Якобсона оказали идеи евразийства, одним из основателей которого был Трубецкой. Еще в марте 1921 года Трубецкой писал Якобсону: "Вы спрашиваете: 'Разве то, что происходит сейчас, не есть огромное восстание России, влекущей за собою остальные 'племена, стонущие под игом без различия цвета кожи' против романогерманцев?' – Инстинктивная, подсознательная сущность *народного* 'большевизма', разумеется, в этом и состоит. <...> Вы пишите, что не верите в 'мир как резервуар мирно сожительствующих культурок'. Я в это, конечно, тоже не верю. Если когда-нибудь мои заветные мечты осуществятся, то я представляю себе, что в мире будет несколько больших культур с 'диалектическими', так сказать, вариантами. Но отличие от европейского идеала состоит в том, что, во-первых, этих больших культур все-таки будет несколько, а не одна, а во-вторых, их диалектические варианты будут более яркими и свободными. Главное, что при наличности истинного национализма, основанного на самопознании, и при отсутствии эксцентризма, каждый народ будет принадлежать к данной культуре не случайно, а потому, что она гармонирует с его внутренней сущностью, и что эта внутренняя сущность именно в данной культуре может находить себе наиболее полное и яркое выражение'"[47]. Евразийская идея, мысль о существовании языковых семейств (например, славянские языки) и языковых союзов (например, балканский языковый союз), изложенная Н.С.Трубецким в статье "Вавилонская башня и смешение языков" (1923), географические доводы П.Н.Савицкого и этнографические аргументы Д.К.Зеленина легли в основу изданной в 1931 году в Париже брошюры Якобсона "К характеристике евразийского языкового союза"[48] и нескольких тематически близких статей, в которых он говорит о

конвергенциях (сходных формах эволюции) не только родственных языков, но и "смежных языков разного происхождения", о существовании не только "единородных языков", но и "единоустремленных языков". Установление этих явлений и фактов становится возможным в результате отказа исследователя от "преобладания генетических интересов над функциональными", характерного в предшествующий период истории языкознания. И если Р.Якобсон через шестьдесят с лишним лет в предисловии к книге Трубецкого "Европа и человечество"[49] "в пространном извлечении" процитирует упомянутое выше письмо, хотя уже будет прекрасно понимать, что многие "диагнозы и прогнозы" евразийцев "оказались опровергнуты историей", то это, несомненно, свидетельствует о том, что он продолжал в нем видеть "полноценное ядро" воззрений покойного друга. Отвергая узкий национальный "эгоцентризм" и ложный "эксцентризм" ("полагание центра вне себя"), требуя перехода от философского "абсолютизма" к "релятивизму", призывая изгнать из науки оценочность и положить языкознание как "единственную ветвь гуманитарных дисциплин, располагающую научным методом", в основу перестройки всей системы человековедения, Трубецкой высказывал мысли, которые станут "любимыми идеями" Романа Якобсона на протяжении всей его научной жизни. В непосредственном общении двух ученых закладывались и принципы исторической фонологии[50]. Причем лингвистическим идеям Трубецкго Якобсон сразу же давал более широкое, культурологическое толкование. 26 ноября 1930 года он писал Трубецкому: "Продолжаю заниматься вопросом о политонии. Все больше убеждаюсь, что Ваша мысль о том, что корреляция есть всегда соотношение признакового и беспризнакового ряда, одна из Ваших самых замечательных и продуктивных мыслей. Думаю, что она будет иметь значение не только для лингвистики, но и для этнологии и истории культуры, и что такие историко-культурные корреляции, как жизнь – смерть, свобода – несвобода, грех – добродетель, праздники – будни и т.п., всегда сводятся к отношениям *а* не *а*, и *что́* важно установить для каждой эпохи, группы, народа и т.д., – что является родом признаковым. Например, для Маяковского жизнь была признаковым рядом, реализуемым только при мотивировке, для него не смерть, а жизнь требовала мотивировки"[51].

В апреле 1927 и в феврале 1929 года Якобсон в последний раз встречается с Маяковским. "На пражском вокзале – Рома Якобсон. Он такой же. Работа в отделе пражского полпредства прибавила ему

некоторую солидность и дипломатическую осмотрительность в речах", – читаем мы в очерке Маяковского "Ездил я так", напечатанном в майской книжке "Нового Лефа" за 1927 год[52]. На вечере в полпредстве Маяковский – специально для "двух подлинных ценителей поэзии" – Якобсона и Богатырева – прочел стихотворение "Мелкая философия на глубоких местах".

"В двадцать девятом году, – вспоминал Якобсон, – Маяковского принимали очень холодно в полпредстве – из-за него или из-за меня, не знаю. Но он уже тогда был на плохом счету. Мне рассказывали люди, приезжавшие из России, что считалось уже выгодным и шиком его шпынять, что нападал на него каждый, кому не лень. <...>

Со мной он тогда говорил в духе стихотворения 'Во весь голос' – что поэзия кончилась, что это не поэзия, это бог весть что такое делается, что это совершенный службизм"[53].

Впечатления от последних разговоров с Маяковским отразились в статье Якобсона "О поколении, растратившем своих поэтов", написанной в мае-июне 1931 года и пронизанной ощущением обреченности этого великого поэта, где бы он ни жил. Б.М.Эйхенбаум писал о ней Шкловскому: "Статья интересная – мрачная и патетическая. Фигура Маяковского дается неканонизированная"[54]. Собственно, это было прощание с надеждами русского авангарда: "У нас были только захватывающие песни о будущем, и вдруг эти песни из динамики сегодняшнего дня превратились в историко-литературный факт"[55]. Вместе с тем статья знаменовала начало борьбы Якобсона с "антибиографизмом", получившей продолжение в его работах о чешских классиках эпохи романтизма – К.Г.Махе и К.Я.Эрбене[56].

К концу 20-х годов относится попытка Шкловского, Тынянова, Якобсона, Богатырева реанимировать ОПОЯЗ, воскресить его "коллективный разум". Исходила она опять-таки от Якобсона. Еще в октябре 1926 года он писал Трубецкому "о глубоко неслучайной, целенаправленной слитности языковой эволюции с развитием остальных общественно-культурных систем"[57]. В законченной в том же году книге Шкловского "Третья фабрика" было перепечатано "Письмо Роману Якобсону". Как бы откликаясь на него, Якобсон писал Шкловскому: "Скучаю по тебе до физической боли. Неужели так и не побываешь на Западе? <...> По-настоящему работа формалистов должна была только начаться <...> а теперь, когда проблемы стали обнаженно ясны, – вдруг разброд. <...> Ведь сила нашей науки была именно в этой футуристической глыбе слова МЫ. <...> А разброд,

воистину, фатальный. <...> Уходы от формализма означают не кризис формализма, а кризисы формалистов <...>"[58]. Вместо Шкловского на Запад (лечиться в Берлине) приезжает Тынянов. Якобсон вытащил его в Прагу. По примеру тезисов, написанных Якобсоном для Первого международного лингвистического съезда (апрель 1928 г.), было решено набросать тезисы о современных задачах формальной школы. "Сидим в кафе 'Дерби' с Романом, – писал Тынянов Шкловскому в декабре 1926 года, – много говорим о тебе и строим разные планы. Выработали принципиальные тезисы (опоязисы), шлем тебе на дополнение и утверждение. <...> С Романом мы хорошо сошлись, разногласий существенных никаких нет. Надо, по-видимому, снова делать Опояз"[59]. Якобсон в приписке предлагал Шкловскому стать председателем и намечал состав участников. Так появились тезисы Якобсона и Тынянова "Проблемы изучения литературы и языка" ("Новый Леф", 1928, №12), в которых ставился вопрос о "социальной функции литературного ряда" и его соотнесенности "с прочими историческими рядами". Эта попытка преодолеть формалистический имманентизм изнутри стала отправной точкой для чешского структурализма и получила развитие главным образом в эстетических и литературоведческих трудах Яна Мукаржовского. В России для творческого развития этих идей уже не было условий.

Когда в советском полпредстве Якобсону незадолго до его ухода оттуда настойчиво предложили ответить на вопрос анкеты относительно того, к какой партии он принадлежит или какой сочувствует, он написал: "Никакой". Он остро ощущал перемену общественного климата в СССР после "года великого перелома". "Чекисты говорили: каждый человек белогвардеец, а если нет, это в каждом отдельном случае надо доказать. <...> В настоящее время в советской печати проводится следующая мысль: 'Раньше мы говорили, что все, кто не против нас, те с нами; а теперь мы говорим, что все кто не с нами, те против нас'. Это значит, что произошло перемещение рядов, т.е. обобщение чекистской точки зрения" (письмо Трубецкому от 26 ноября 1930 г.)[60]

Не прерывая связей с чешской и словацкой левой интеллигенцией (среди его друзей были и словаки Владимир Клементис и Лацо Новомеский), Якобсон избегает дальнейшего сотрудничества с советским представительством и быстро делает академическую карьеру. В 1930 году он получет в Карловом университете в Праге звание доктора филологии. В 1933 году становится доцентом Масарикова уни-

верситета в городе Брно, в 1934 – экстраординарным и в 1937 году ординарным профессором того же университета по специальности русская филология и древняя чешская литература.

За последнее десятилетие своего пребывания в Чехословакии Роман Якобсон опубликовал более 150 научных трудов и статей. Третьим "декларативным выступлением" обновленного ОПОЯЗ'а он считал написанную им совместно с П.Г.Богатыревым статью "Фольклор как особая форма творчества" (1929)[61], где подчеркивался коллективный характер фольклора в отличие от индивидуального творчества в письменной литературе. В работах "О структуре русского глагола" (1932)[63], "К общему учению о падеже"(1936)[63] и "Нулевой знак" (1939)[64] Якобсон пользуется структурными методами в решении проблем морфологии. Линию исследований, намеченную в его первом большом филологическом труде "Замечания о фонологической эволюции русского языка в сопоставлении с другими славянскими языками" (1929)[65], завершают его доклады на IV Международном съезде лингвистов в Копенгагене "О теории фонологических союзов между языками" (1936)[66], на III Международном фонетическом съезде в Генте "Наблюдения над классификацией согласных" (1939)[67] и на V Международном съезде лингвистов в Брюсселе "Звуковые законы детского языка и их место в общей фонологии" (1939)[68]. В цикле статей о Пушкине Якобсон выдвинул идею "индивидуальной мифологии" писателя[69]. В статьях "Упадок кино" (1933)[70] и "Заметки о прозе поэта Пастернака" (1935)[71] развил ранее мельком оброненные мысли о двух типах художественного мышления – метафорическом и метонимическом. По-новому Якобсон сумел взглянуть не древнечешскую литературу, причем некоторые ее шедевры он заново открыл современному чешскому читателю[72]. Многие его работы были посвящены связям чешской и русской литератур начиная с глубокой древности и стали основой современного сравнительного славяноведения. Характерной особенностью культур Чехословакии и России Якобсон считал их срединное положение между Западом и Востоком (пользуясь метафорой из "Визы времени" Эренбурга, он сравнивал их с деревом, овеваемым двумя ветрами), что создает предпосылки для плодотворного синтеза[73].

К концу своего пребывания в Чехословакии Якобсон все менее устраивает как сталинистов, так и фашистов. Новогодний номер популярной либеральной газеты "Лидове новины" открывался в 1938 году литературным монтажом Романа Якобсона "Русские вылазки в

будущее"[74], составленным из прозаических и поэтических высказываний русских писателей от Радищева до футуристов о революции. В монтаж были включены и отрывки из романа Е.Замятина "Мы". Это вызвало столь резкую печатную реакцию С.К.Неймана, что Якобсон потребовал (и с успехом) сатисфакции через суд. В то время, когда в СССР была развернута кампания шельмования Мейерхольда, к которой в Чехословакии присоединились "Руде право" и "Творба", Якобсон выступил против политического преследования деятелей литературы и искусства[75]. Прямую антинацистскую направленность имела статья Якобсона "Унифицированные взгляды на древнечешскую культуру" (1936)[76], в которой он полемизировал с книгой "Deutshe und Tschechen. Zur Geistesgeschichte des bohmischen Raumes" (Brunn, 1936) Конрада Битнера, одного из тех ученых, которые присоединились ко взглядам, господствовавшим в фашистской Германии.

После гитлеровской оккупации Чехословакии Роман Якобсон был вынужден покинуть университетскую кафедру. Печатался он под псевдонимом Олаф Янсен. В это время студенты Брненского университета выпустили маленькую книжечку "Роману Якобсону – привет и благодарность"[77]. Ректор Брненского университета Арне Новак опубликовал в ней статью "Творческий знаток старочешской литературы", заканчивающуюся словами: "Бог даст, мы снова свидимся в не слишком далеком будущем с Якобсоном-профессором там, где его подлинное место. Жить научно и культурно было бы невозможно, если бы бессрочно предстояло непризванным решать об избранных"[78]. В сборнике было также помещено стихотворение "Письмо Роману Якобсону" Витезслава Незвала, уже ранее посвящавшего ученому другу стихи в сборниках "Стеклянный плащ" (1932) и "Прага с пальцами дождя" (1936).

Ярослав Сейферт запомнил миг, когда Якобсон садился в вагон поезда, чтобы покинуть Чехию (это случилось 21 апреля 1939 года). После коммунистического переворота в 1948 году он стал там "персоной нон грата". Возможность вновь посетить Чехословакию он получил только в 1956 году. В Чехословакию он приезжал еще четырежды: два раза в 1957 году, когда он принял участие в конференции славистов и в съезде исследователей наследия Я.А.Коменского, в 1968 году, когда ему было присвоено звание почетного доктора Карлова университета в Праге и Университета Я.Е.Пуркине в Брне (на юбилейном VI Международном съезде славистов он выступил с докладом "Вопросы сравнительной индоевропейской мифологии в

свете славянских показаний"), и в 1969 году, когда он участвовал в Праге в симпозиуме , посвященном святому Кириллу (Константину). 21 августа 1968 года Якобсон должен был дать интервью представителю братиславского журнала "Ромбоид". В этот день на глазах Якобсона Чехословакия второй раз подверглась иностранной оккупации. Интервью, естественно, не состоялось. В годы так называемой "нормализации" Якобсон снова попал в список запретных авторов. Сборник его работ "Slovesne umeni a umelecke slovo" ("Словесное искусство и художественное слово") (1969) пошел под нож, экземпляры, успевшие попасть в библиотеки, были изъяты. Все упоминания о Якобсоне были устранены даже из второго издания книги Людмилы Ванчуровой "Двадцать шесть прекрасных лет", цитата из которой приводилась выше.

В предисловии к книге "Жизнь в языке. Автопортрет ученого"[79] Цветан Тодоров писал, что космополитизм Якобсона был не только результатом серии биографических случайностей, но вытекал из самой его натуры. В Чехии Якобсона воспринимали как русского, а под конец его пребывания там порой и как чеха. Он и сам не раз выступал как русский и как чешский патриот (гордился достижениями русской науки, боролся с попытками принизить чешскую культуру) и нечасто вспоминал о своем еврействе. Вот только его память зафиксировала неоднократно повторенные по разным поводам слова Маяковского о том, что "ничто его не приводит в такое состояние возмущения, гнева и ненависти, как юдофобство"[80]. Впрочем, и к последнему он относился не без иронии и сообщал Эльзе Триоле в одном из писем, что "стал скуп, как жид". Первым, кто приблизил Якобсона к проблематике еврейского языка еще в чехословацкий период его жизни, был Макс Вейнрейх, с которым он встретился на Копенгагенском международном съезде лингвистов. В Брно, а затем в 1941-1944 годах в Нью-Йорке, с помощью Макса Вейнрейха и Иуды Иофе он пишет ряд статей о расцвете еврейского языка и еврейской культуры в средневековой Чехии[81].

Примечания

1. Якобсон, Роман. Работы по поэтике (далее – РПП). М., "Прогресс". С.427.

2. Там же.

3. Янгфельдт, Бенгт. Якобсон – Будетлянин. Сборник материалов. Составление, подготовка текста, предисловие и комментарии Бангта Янгфельдта. (Далее

– ЯБ). Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studien in Russian Literature. 26. Stockholm, 1992. P.60-61.

4. Там же. С.77.

5. Там же. С.118.

6. Там же. С.119.

7. Jakobson, Roman. N.S.Trubetzkoy's Letters and notes. The Hague – Paris. "Mouton", 1975. P.9, 10.

8. ЯБ. С.150.

9. РПП. С.430-431.

10. ЯБ. С.63. Якобсон, Роман. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении с русским. Сборники по теории поэтического языка. Выпуск V. РСФСР. Государственное издательство, 1923 (Берлин, "ОПОЯЗ", 1923).

11. Jakobson, Roman. Vliv revoluce na ruský jazyk. Praha, 1921 (Nove Atheneum Ш. S.110-114, 200-212, 250-255, 310-318).

12. РПП. С.272.

13. Т.Б. Lexique de la guerre et de la Révolution en Russie (1914-1918) par André Mazon. Bibliothéque de l'Institut Français de Petrograd. T.VI. Edouard Champion. 1920 <...>. Roman Jakobson. Vliv revoluce na ruský jazyk. Zvlaštní otisk z "Nového Athenea". Rok II. V Praze. Tiskem Edvarda Leschinga. Nakladem vlastním. 1921 <...>. – "Книга и революция", 1933, №11-12. С.58.

14. Р.Якобсон. – П.Богатырев. Славянская филология в России за годы войны и революции. (Берлин), "ОПОЯЗ", (1922).

15. Там же. С.29-30.

16. Там же. С.31.

17. ЯБ. С.80.

18. РПП. С.430.

19. ЦГАЛИ, ф.336, оп.5, ед.хр.119.

20. Seifert, Jaroslav. Všechny krásy světa. Praha, Československý spisovatel, 1982. S.293.

21. Majakovskij, Vladimír. 150 000 000. Praha, 1925.

22. Jakobson, Roman. Základy českého verše. Praha. Odeon. 1926.

23. Nezval, Vitězslav. Z mého života. Praha, Československý spisovatel, 1959. S.136-137, 138.

24. Цит. соч. С.33.

25. Якобсон, Роман. Избранные работы (далее – ИР). М., "Прогресс", 1985. С.242.

26. ЯБ. С.26.

27. О чешском стихе – преимущественно в сопоставлении с русским. Jakobson, Roman. Selected Writings (далее – SW) V. On Verse, Its Masters and Explorers. The Hague – Paris – New York, 1979. P.15.

28. Шкловский, Виктор. Гамбургский счет (1914-1933) (далее – ГС). М.,"Советский писатель", 1920. С.503.

29. Там же. С.310-311.

30. ЯБ. С.90.

31. Там же. С.91-92.

32. Берберова Н. Курсив мой. (2. изд.), т.I, New York, Russica publ., 1983. С.242.

33. ЯБ. С.63.

34. Там же ЯБ. С.64.

35. Там же. С.26.

36. Jakobson, Roman. Vivisekce jako nejbližší úkol vědy o umění. – "Kmen" IV, №46, 10.2.1921. S.545-546.

37. Jakobson, Roman. O realismu v umění. – "Červen" IV, №22, 13.10.1921. S.301-304.

38. Цит. по кн: Štoll, Ladislav. O tvar a strukturu v slovesném umění. Praha, Academia, 1966. S.169.

39. Цит. по кн. : Poetismus. Praha, Odeon, 1967. S.224.

40. Цит. по кн.: Avantgarda známá a neznámá. D.2. Praha, Svoboda, 1972. S.345. Об отношении Р.Якобсона к чешскому авангарду см.: Linhartová V. La place de Roman Jakobson dans la vie litteraire et artistique tchécoslovaque. In: Roman Jakobson. Echoes of his Scholarship. The Peter de Ridder Press. Lisse, 1977. P.219-235; Winner Th. Roman Jakobson and Avant-garde Art. Ibid. P.503-514; Effenberger V. Roman Jakobson and the Czech Avantgarde Between Two Wars. – "American Journal of Semiotics" II, 1983, №3. P.13-21; Toman J. A Marvellous Chemical Laboratory ... and its Deeper Meaning: Notes on Roman Jakobson and the Czech Avant-garde Beetwen the Two Wars. – In: Language, Poetry and Poetica. Berlin – New York – Amsterdam, Mouton, 1987. P.313-346.

41. N.S.Trubetzkoy's Letters and notes. Prepared for publication by Roman Jakobson. Berlin – New York – Amsterdam, Mouton, 1985. (Далее – TLN). P.22.

42. Ibid. P.126.

43. Ibid. P.328.

44. ЯБ. С.27.

45. Jakobson, Roman. O předpokladech pražské linguistické školy. – "Index" VI, 1934. S.7. См. также: Renský, M. Roman Jakobson and the Prague School. In: Roman Jakobson. Echoes of his Scholarship, 1977. P.379-389; Chvatík K., Clement C. Jan Mukařovský, Roman Jakobson et le cercle de Prague. – "Critique" 43, 1987. №483-484. P.790-812.

46. Vančurová, Ludmila. Dvacet šest krásných let. Praha, Československý spisovatel, 1967. S.131-132.

47. TLN. S.14, 16.

48. SW VII. P.144-201.

49. Ibid. P.305-312.

50. См.: Jakobson, Roman. Prinzipien der historischen Phonologie. – Travaux du Cercle Linguistique de Prague (далее – TCLP) IV. P.309-323. (SW I. P.202-220).

51. TLN. P.162-163.

52. Маяковский, Владимир. Пол. собр. соч., т.8. М., "Художественная литература", 1958. С.331-332.

53. ЯБ. С.65.

54. ГС. С.534

55. Якобсон, Роман. О поколении, растратившем своих поэтов. SW V. P.381.

56. Jakobson, Roman. Poznámky k dílu Erbenovu. – "Slovo a slovesnost" II, 1936. S.152-164, 218-229; Строка Махи о зове горлицы. SW V. P.486-504.

57. SW VIII. P.489.

58. ГС. С.519.

59. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. М.,"Наука", 1977. С.533.

60. TLN. P.163.

61. Die Folklore als eine besonders Form der Schaffens. – In: Ferzaameling van Optstellen door Oud-leerlingen en Bevriende Vakgenocten. Donum Natalicium Schrijnen. Nijmegen – Utrecht, 19-29. S.900-913. (SW IV. P.1-15). Русский перевод в кн.: Богатырев П.Г. Вопросы теории народного искусства. М.,"Искусство", 1971. С.369-383.

62. Zur Struktur des russischen Verbums. – In: Charisteria Guilelmo Mathesio quinquagenario a discipulis et Circuli Linguistici Pragensis sodalibus oblata. Prague, 1932. P.74-84. (SW II. P.3-15). Русский перевод: ИР. С.210-221.

63. Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre. Gesamtbedeutung der russischen Kasus. – TCLP VI, 1936. P.240-288. (SW II. P.23-71). Русский перевод: ИР. С.133-175.

64. Signe zero. – In: Mélanges de linguistique afferts à Charles Bally. Genève, 1939. P.143-152. (SW II. P.211-222). Русский перевод: ИР. С.222-230.

65. Remarques sur l'évolution phonologique du langue russe comparée à celle des autres langues slaves. – TCLP II, 1929. (SW I. P.7-16).

66. Sur la théorie des affinites phologiques entre les langues. – "Actes du IV Congres International des Linguistes". Copenhague, 1938. P.48-58. (SW I. P.234-246). Русский перевод: ИР. С.92-104.

67. Observations sur classement phonologique des consonnes. – Résumé dans: "Slovo a slovesnost" IV, 1938. S.122; "Proceedings of the Thirds International Congress of Phonetic Sciences" (Ghent, 1939). (SW I. P.272-279).

68. Les lois phoniques du langage enfantin et leur place dans la phonologie générale. – In: Trubetzkoy'N.S. Principes de phonologie. Paris, 1949. (Le développement phonologique du langage enfantin et les cohérences correspondantes dans les langues du monde. – "V-me Congrès International des Linguistes. Bruxelles, 1939. Résumés des communications". Bruges, 1939. P.27-28). (SW I. P.317-327). Русский перевод: ИР. С.105-115.

69. Socha v symbolice Puškinově. – "Slovo a slovesnost" III, 1937. S.2-24. (SW V. P.237-280). Русский перевод: РПП. С.145-180.

70. Úpadek filmu? – "Listy pro umeni a politicu" I, 1933. S.45-49. (SW III. P.732-739).

71. Randbemerkungen zur Prosa des Dichters Pasternak. – "Slavische Rundschau" VII, 1935. S.357-384. (SW V. P.416-432). Русский перевод: РПП. С.324-338.

72. Spor duče s tělem. O nebezpečném času smrti. S uvodní studií R.Jakobsona. (Národní knihovna IV). Praha, Ladislav Kuncíř, 1927.

73. Význam ruské filologie pro bohemistiku. – "Slovo a slovesnost" IV, 1938. S.223-239. (SW VI. P.792-808).

74. Ruské výpravy do budoucna. Lidove noviny, 1.I.1938. S.1.

75. Rád odpovídám na dotaz Bloku. – "U: Čtvrtletník skupiny Blok" III, 31.3.1938. S.86-87.

76. Usměrněné názory na snaročescou kulturu. – "Slovo a slovesnost" II, 1936. S.207-222

77. Festschrift Romanu Jakobsonovi. Pozdrav a dikuvzdani. Brno, 1939.

78. Поморска, Кристина. Послесловие. – Р.Якобсон и К.Поморска. Беседы. SW VIII. P.578.

79. Todorov, Tzvetan. Une vie dans le langage. – In: Jakobson, Roman. Une vie dans le langage. Autoportret d'un savant. Paris, Les éditions de minuit, 1984. P.12.

80. ЯБ. С.70.

81. The City of Learning: The lourishing Period of the Jewish-Culture in Medieval Prague. – "American Hebrew", Dec.5, 1941; Звуковые особенности, связывающие идиш с его славянским окружением. – "Yidische Shprakh", XIII, 1953. SW I. P.402-412; Из разысканий над старочешскими глоссами. SW VI, Part Two. P.855-857; Řeč a písemnictví českých židu v době přemyslovské. – In: Rok. New York, Moravian Library, 1957. P.35-46; R.Jakobson and M.Halle. The Term Canaan in Medieval Hebrew. – In: For Max Weinreich on His Seventieth Birthday. The Hague – Paris, Mouton, 1964. P.147-172. (SW VI, Part Two. P.859-886).

Философия

Редактор Нафтали Прат

Юлий Вейцман. В мире русского любомудрия

Публикация Олега Ласунского (Россия)

Лев Шестов. Материалы Бахметевского архива

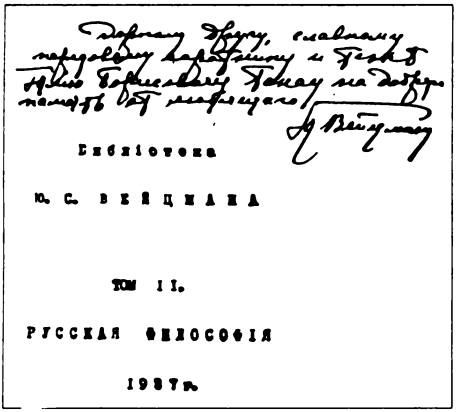
Публикация Марка Раева (США)

Лев Шестов и русская культура

Владимир Паперный (Израиль)

Исполнил ли С.Л.Франк завещание деда?

Нафтали Прат (Израиль)


Bibliotheca

Ю. С. ВЕЙЦМАНА

ТОМ II.

РУССКАЯ ФИЛОСОФІЯ

1937 г.

В мире русского любомудрия
Юлий Вейцман

Публикация и вступительная заметка
Олега Ласунского
(Воронеж)

В первом сборнике нашего издания читатели имели возможность познакомиться с примечательной фигурой Юлия Сигизмундовича Вейцмана – владельца берлинского книжного антиквариата "Россика", секретаря действовавшего в Германии Общества ревнителей русской книги. Сам страстный библиофил, Ю.С.Вейцман составил богатейшую библиотеку, которую и каталогизировал в двух машинописных томах (оба находятся в собрании автора данных строк). Первый том посвящен литературе по библиографии и книговедению и снабжен интересным введением, которое я недавно напечатал в московском журнале "Советская библиография" (1991, №6). Второй том называется "Русская философия" и включает в себя 717 названий книг, периодических изданий, отдельных оттисков и т.д. Том предварен предисловием, которое, на мой взгляд, имеет самостоятельную ценность и также достойно опубликования.

Ю.С.Вейцман не был философом как таковым, но русское любомудрие высоко почитал и изучал с молодости. Не претендуя ни на какие ученые лавры, он неустанно приобретал и систематизировал труды отечественных мыслителей и постепенно превратился если не в специалиста, то, по крайней мере, в хорошего знатока своего предмета увлечения.

Русское интеллектуальное Зарубежье 1920–1930-х гг. прославилось плеядой самобытных философов. Каждый из них, конечно, располагал более или менее обширной рабочей библиотекой. А вот ярких любительских собраний подобного профиля было совсем мало. Во введении к первому тому своего каталога Ю.С.Вейцман называет лишь библиотеки С.Соболева (западная философия) и М.Ратнера из Вены, да и то с определенными оговорками. Коллекция Ю.С.Вейцмана, возможно, была

действительно самой крупной и незаурядной среди европейской эмиграции. Философская тематика вообще не в чести у библиофилов: слишком серьезное, "умственное" занятие!

Тем более важно обратить внимание на такое уникальное культурное явление, как философская библиотека учредителя берлинской "Россики". Сами книги распылились еще до второй мировой войны (преимущественно по прибалтийским странам), но сохранился их подробнейший указатель, и, следовательно, собрание как духовный памятник своей эпохи продолжает существовать.

Предлагаемое ниже предисловие Ю.С.Вейцмана (оно в оригинале никак не озаглавлено) содержит несколько любопытных суждений, продиктованных многолетним опытом общения автора с сочинениями отечественных мыслителей. Во-первых, это раздумья о том, была ли и есть философия в России, и, во-вторых, соображения сугубо библиографического характера. В своих представлениях о степени редкости того или иного издания Ю.С.Вейцман опирается на традиции видного московского библиофила и библиографа предреволюционных лет Д.В. Ульянинского. В тексте статьи имеется малосущественное сокращение, обозначенное отточием.

* * *

Русская философия? Да разве таковая существует? Этот вопрос мне вправе задать не только иностранцы, интересующиеся Россией, но и соотечественники. И если обратиться даже к русским историкам, то для положительного ответа найдется мало данных. С.Гогоцкий в своем 4-томном "Философском лексиконе" не считал нужным упомянуть ни одного русского философа. Э.Л.Радлов в "Энциклопедическом словаре" (изд. Брокгауз и Ефрон, полутом 70-й, с. 827) заканчивает рубрику "философия" следующими словами: "В конце XIX в. появляются попытки философствования (!?!) и у славянских народов, напр., в России Вл. Соловьев", а позже в своем "Философском словаре" (М., 1913, с. 551) говорит: "Русская философия только за последнее время стала складываться в определенные формы, но и теперь еще она стоит в зависимости от западно-европейских течений". И в конце: "На самостоятельный путь русскую философию вывели сочинения таких лиц, как Кудрявцев-Платонов, М.Каринский и Вл.Соловьев." П.А.Флоренский – автор известного исследования "Столп и утверждение истины" – в приветственной речи Алексею

Ив. Введенскому говорит: "Если возможна русская философия, то только как философия православная, как философия веры православной..." ("25-летний юбилей А.И.Введенского", Серг[иев] Посад, 1912, с. 35). Г.Шпет в своем "Очерке развития русской философии" (Петр[оград], 1922, с. VIII) задает себе вопрос: "Как я могу писать историю русской философии, которая, если и существует, то не в виде науки, тогда как я признаю философию только как знание". Стоит ли после этих мнений приводить отзывы иностранцев о русской философии?

Но такого рода отрицательные определения для меня в общем мало убедительны. Если просмотреть немецкие, французские и английские разные многотомные труды по истории всеобщей литературы, изданные в 40-х и 50-х годах прошлого столетия, то легко заметить, что русской литературе в этих капитальных обозрениях отведено страниц 4-5, то есть почти столько же, сколько литературе румынской или сербской. Грибоедов и Гоголь были для западных исследователей непонятными фантазерами-сатириками, чуть ли не своеобразными Мюнхгаузенами; Пушкин и Лермонтов – подражателями Байрона. А если русской литературе после смерти Пушкина и Гоголя отводилось так мало места, – нужно ли удивляться тому, что в современных западных "Историях философии" нет места для обозрения развития русской мысли?

Не хочется повторять соблазнительной ошибки Герцена, смеявшегося над тем, что гоголевский бог живет в Берлине, и перенесшего этого бога в Москву, разделяя со славянофилами веру в грядущую смену германского периода – славянским. Вместе с тем нельзя не напомнить о том факте, что уже в 30-х годах прошлого столетия и западники, и славянофилы, ученики Фихте, Гегеля и Шеллинга, не были их пассивными подражателями. Каждый из них, особенно представители славянофильского течения, внесли свою струю, выработали свой особый философский взгляд на прошлое и будущее русского народа и на его роль среди европейских народов.

Перед глазами проходят тысячи русских философских сочинений, сотни русских имен, отдавшихся изучению и пропагандированию философии: Сковорода, Киреевский, Хомяков, Аксаковы, Чичерин, Юркевич, Кудрявцев, архиеп. Никанор, Кавелин, Иванцов-Платонов, Грот, Кудрявцев-Платонов, Козлов, Вл.Соловьев, Лопатин, кн. Трубецкие, Введенские, Каринский, Лобачевский, Федоров, Флоренский...

Существует ли философия в России? Русская философия?

Несомненно – да, если вообще существует общепринятое определение понятия философии. Как известно, сами философы на этот вопрос отвечают разно. По Платону, философия – "познание сущего", по Аристотелю – "исследование причин и принципов вещей", по Фихте – "наукоучение" ("Wissenschaftslehre"), по Гегелю – "размышляющее ("denkende") рассмотрение вещей", по Гербарту – "обработка понятий" и т.д. Мало того: часть философов считает задачу философии по существу теоретической; другая часть (от Сократа до нового времени) – прежде всего практической.

Мне как человеку, не только любомудрие любящему, но и собирающему редкие теперь труды (причем, исключительно оригинальные) русских философов, было особенно важно выяснить для подбора книг определение понятия философии в России. Первым долгом я обратился к истории <...>.

Мы, библиофилы-библиографы, не имеем права определять предмет понятия философии согласно нашим взглядам, а всегда должны считаться с самим философом и современным ему обществом. Вот почему в наши собрания и библиотеки должны войти все книги, упомянутые в "Росписях" [А.Ф.] Смирдина или [В.А.] Плавильщикова (конечно, за исключением явных опечаток вроде "Философия не платить долгов"), хотя бы, с нашей точки зрения, они с философией, как наукой нашего времени, ничего общего не имели. Теоретически казалось бы, что для полной картины развития философии в России необходимо включить в свое собрание для каждого периода свои дисциплины. Для XVIII в. – "богословию натуральную", для начала XIX в. – эстетику, право естественное и педагогику. Но на деле задача эта слишком трудна. Не говоря о фактической ее трудности, когда собирать, строго систематизируя, почти невозможно, когда книги, еще не распроданные в конце прошлого столетия, теперь уже ненаходимы, – мы должны будем вскоре столкнуться с противоречащими определениями понятия философии.

Но не легче провести в жизнь и другую библиографическую истину, к сторонникам которой причисляю и себя: каждое собрание тем ценнее, чем оно полнее. Пусть область моего собирательства будет самой узкой, но пусть количество книг, журналов, оттисков, вырезок и т.д. по избранной мною отрасли знания будет максимальным. С лишком пять лет коллекционировал я только книги, относящиеся к Вл.Соловьеву, и хотя собрание мое по количеству и, возможно, по качеству может быть причислено к одному из лучших

В В Е Д Е Н І Е В Ъ Ф І Л О С О Ф І Ю

Б И Б Л І О Г Р А Ф І Я
С Л О В А Р Я

1. Лекціи Проф. Н. С. А Р С Е Н Ь Е В А читанныя на Богословскомъ факультетѣ Варшавскаго Университета въ 1926-27 г.г. Варшава 1927 (22½x35) 113 стр., печ. обл.
Отпечатано на пишущей машинѣ.

2. Х Р И С Т І А Н А В А У М Е Й С Т Е Р А. Метафизика. Печатана при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ 1764 года, стр. 256, вкл. в.л., кож.пер.
(На посл. стр.): переведена съ латинскаго языка Лейбгвардіи Измайловскаго полку полковой Квартермистръ Александръ Павловъ

Сопиковъ 2176. Смирдинъ, I-ое прилож. 9975 Геннадій Слов. III 1784 г.? Венгеровъ, Р. книги 4493/2 отмѣчаетъ слѣд. пагинаціи: стр. 100, 70, 92 и 34.

Эта рѣдкая книга имѣла большое вліяніе и пользовалась большимъ успѣхомъ у нашей начинающей философской школы.

3. Проф. Е В Г Е Н І Й Б О Б Р О В Ъ. Философія въ Россіи. Матеріалы изслѣдованія и замѣтки. Выпускъ I. Изданіе второе, исправленное. Казань. Типолит. Имп. Универс. 1900. 8°, стр. 16, вкл. печ. обл.
— Выпускъ II. Казань, та же тип. 1899 8°, стр. VI вкл. в.л., 2 н.л., 255, печ. обл.
Вып. I (I-ое изд.) 250 экз. Вып. 2-ой 500 экз.

Венгеровъ слов. IV отд. II стр. 55 - 56. Венгеровъ ист. I, 273 Вып. I-ый посвященъ А.А. Козлову. Вып. 2-ой- Д. Веневитинову, Іоанну Кадлу, Гриневичу, Д. Велланскому, А. Козлову, Н. Розанову и философскимъ книгамъ въ провинціи.

4. Х А Р І Т Е С. Профессору Евгенію Александровичу Б О Б Р О В У признательные ученики въ честь четвертьвѣковой 1888-1913 его работы на поприщѣ науки и литературы. Варшава Тип. "Русск. Общества" 1913, 8° (16x23) 3.л., VIII (Библіографія трудовъ Е.В.), 127 стр. Съ портр. на в.л. л. Печ.обл.

частных собраний, но все же не заключает в себе и одной четвертой моих дезидерат, несмотря на мои большие старания и связи.

Этот факт убедил меня в том, что после революции не только во всей нашей жизни, но и для собирательства (особенно за пределами СССР) наступили "времена иные". Я значительно расширил ранее отведенную себе область, и теперь в моем собрании находятся (правда, некоторые в небольшом количестве) представители чуть ли не всех философских направлений России.

Каждый собиратель книг по русской философии в своей работе должен считаться с двумя опасностями, точнее, двумя весьма трудными вопросами: во-первых, где находится граница между историческим понятием философского и теологического труда? В развитии русской мысли, где до недавнего времени богословие играло такую большую роль, где его термины так часто перекрещивались с философскими, где во многих философских трудах явно просвечиваются влияние и тезисы Библии, Евангелия, Жития Святых и Добротолюбия, – ответ на этот вопрос не легок. Все-таки, мне кажется, что с решением этой задачи я более или менее справился. Второй вопрос – это отношение к западникам в широком смысле этого определения. Если братья Аксаковы, кн. Одоевский, Страхов, Данилевский и др., то есть ранние и поздние славянофилы, занимают в истории русской философской мысли свое почетное место, – как отнестись к западникам, хотя бы к Добролюбову, Михайловскому, Чернышевскому и их последователям? Но с любовью собирая первых как "своих", "родных", я до недавнего времени совершенно игнорировал вторых как носителей мыслей (как мне казалось), чуждых русскому духу. Это отношение к западникам, социологам, социалистам, может быть, и представляет слабое место моего собрания. И жуткая действительность последних двадцати лет, царство коммунистов в России, заставила меня отчасти изменить свой прежний взгляд. Марксизм как таковой, его толкователи – Чернов, Луначарский, Ленин и т.д., несмотря на кажущуюся дикую несуразность, в наше время уже принадлежат истории русской философии в широком понятии этого слова. Просматривая списки книг и статей по философии за 1905–14 гг. (не говоря о последних двадцати годах), приходится убедиться, что большинство книг, а особенно статей, помещенных под рубрикой "философия", посвящены разработке марксизма с разных политико- и экономико-философских точек зрения. Как же ответить на этот второй вопрос?

Упомянув о "списках книг", я не могу не сказать несколько слов о библиографии философии. В русской литературе имеется немало библиографических трудов по разнообразнейшим областям знания: составлена библиография книг по артелям, альманахам, вопросам земского самоуправления, оккультизму, вопросам фотографирования и т.д., – но библиографии философии нет. Библиографические сведения о русских философах и их трудах разбросаны в разных "Очерках", "Словарях", "Опытах истории" и "Введениях в философии", из которых большинство представлены в моем каталоге в особом отделе (за исключением "Материалов для истории философии в России" Я.Колубовского, помещенных в "Вопросах философии и психологии" 1890-91, и его же "Философского ежегодника", помещенного там же в 1894 и следующих гг., а также "Материалов для истории русской философии" Е.Боброва, вып. III-VI, Каз[ань], 1899-1900 гг.).

Принимая во внимание отсутствие труда по библиографии русской философии, я решил самым подходящим для первого опыта составить каталог имеющихся у меня книг в алфавитном порядке, выделив [кроме того] следующие отделы: а) Введение в философию, библиография, словари; б) Периодические издания и в) Логика и психология.

При определении понятия редкости книги я, следуя заветам [Д.В.] Ульянинского, был так же строг к себе, как и при составлении первого тома описания моей библиотеки – библиография русской библиографии. Вот почему многие в данное время редкие и распроданные издания не снабжены пометкой "редка".

Я очень надеюсь на то, что мои немногочисленные читатели, но искренние друзья укажут мне замеченные ими недочеты и помогут мне своими советами увеличить мое собрание.

Сентябрь 1937 г.



Л.Шестов во время службы в армии

Лев Шестов. Материалы Бахметевского архива

Публикация Марка Раева
(Тенафлай, США)

Среди плеяды представителей философско-религиозного возрождения в России на рубеже XIX–XX вв. Лев Шестов занимает не только видное, но и несколько обособленное место.

Шестов (Лев Исаакович /Иегуда Лейб/ Шварцман, 1866–1938) родился и воспитывался в Киеве. После окончания гимназии учился за границей, преимущественно в Германии. Неуспешные дела отца – оптового торговца текстилем – вынудили Шестова отказаться от обычной карьеры ученого, и он всю жизнь – как в России, так и в эмиграции, – чтобы материально обеспечить свою семью и себя, занимался коммерцией. Философии он уделял лишь свободное время.

Его философия сложилась рано и лишь углублялась на протяжении жизни.В отличие от своих сверстников Шестов не прошел через искус материалистического позитивизма (как, например, Вл.Соловьев) и марксизма (как Н.А.Бердяев и С.Н.Булгаков) и всю жизнь держался в стороне от политических споров и революционного движения. Он рано пришел к религиозному иррационализму, родственному экзистенциальной философии Кьеркегора. После революции 1917 года Шестов, как и большинство его сверстников – представителей религиозно-философского возрождения Серебряного века, очутился в эмиграции; он поселился во Франции, где и скончался в ноябре 1938 г.

Жизненный путь Адольфа Марковича Лазарева (Киев, 1873 – Париж, 1944), статья которого о философии Шестова предлагается вниманию читателей, был во многом подобен пути Шестова: всю жизнь он вынужден был зарабатывать на хлеб насущный и своему настоящему призванию – философии – мог уделять лишь досуг. В академических кругах он создал себе некоторое имя как автор работы о малоизвестном французском философе Жюле Лекьере.

В эмиграции, в 1930-е гг., Лазарев был близок к Шестову и написал несколько статей о нем. Посмертно, в 1948 г., появилась книга Лазарева на французском языке, "Vie et connaissance", в которую вошли несколько статей о Шестове. Изложение им философии Шестова, публикуемое ниже, которое занимает 8–20 страницы названной книги, на русском языке не появлялось. Русский перевод (или оригинал?) находится в Архиве русской и восточноевропейской истории и культуры им. Бахметева при Колумбийском университете в Нью-Йорке (далее – Бахметевский архив) в машинописном сборнике с рукописной правкой, неизвестно кем произведенной. Эту версию мы и воспроизводим ниже.*

Публикуются также два письма Шестова к Бердяеву.

Имя Н.А.Бердяева (1874–1948) широко известно. Напомним только, что он, как и Шестов, был киевлянин. Они познакомились в начале века и, несмотря на философские расхождения, сохраняли дружеские отношения на протяжении жизни. Это обстоятельство довольно ясно отражено в письмах Шестова к Николаю Александровичу, хранящихся в фонде Бердяева в Бахметевском архиве. Остальные письма Шестова в этом фонде носят деловой характер и не представляют большого интереса. Писем Бердяева к Шестову в Бахметевском архиве нет. Публикуемые письма интересны не только как изложение исходного момента философии Шестова, но и как иллюстрация трудного эмигрантского быта духовной интеллигенции.

Публикация осуществляется с разрешения Бахметевского архива, за что мы приносим искреннюю благодарность куратору архива г-же Эллен Скаруффи и ее руководителям. Материалы приводятся по новой орфографии.

Библиографическая ориентировка:

Библиография трудов Л.Шестова и их исследований помещена в двух выпусках Института Славяноведения в Париже:

N.Baranoff. Bibliographie des oeuvres de Léon Chestov. Paris, 1975. (Bibliotheque de l'Institut d'etudes slaves, t.XXXVI).

N.Baranoff. Bibliographie des études sur Léon Chestov. Paris, 1978. (Bibliothèque de l'Institut d'etudes slaves, t.XXXVI/2).

Наиболее полная хроника жизни Шестова – двухтомный труд его дочери: Н.Баранова-Шестова. Жизнь Льва Шестова по переписке и воспоминаниям современников. Т.1-2, Париж, 1983.

Краткое изложение философии Шестова, в рамках развития русской философии в целом, в книге: Прот. В.В.Зеньковский. История русской философии. Париж, 1950. №.2. С.318–330.

---

* Lasareff Adolf M. Vie et connaissance. Vrin, 1948. Essais traduits du russe par B.Schloe-zer. Préface de N.Berdiaeff.

Философия Льва Шестова [Март 1936]

Философская мысль Льва Шестова так необычайна, так неожиданна, так непохожа на то, что обыкновенно мы встречаем в философии, что ее можно не воспринять, как если бы у нас не хватало органа для восприятия ее. А когда кажется, что приблизился к ней, что уловил существенное, то вдруг замечаешь, что в результате усилия соскользнул на старую, обычную колею, как будто злые чары кружат и возвращают к месту, откуда вышел.

О злых чарах говорит и Шестов, когда зовет нас к борьбе против власти той чуждой нашему духу силы, которая околдовала его и крепко-накрепко связала. Но мы так сжились (не нами это началось) с нашей связанностью, с нашей скованностью, что призыв к освобождению наталкивается в нас на внутреннее сопротивление, и мы упираемся, сердимся, "нужно думать потому же (здесь я продолжаю уже словами Шестова), почему злится спящий, когда его расталкивают. Ему спать хочется, а кто-то пристает: проснись. И чего сердятся? Все равно вечно спать нельзя. Не я расталкиваю (на это, правду сказать, я не рассчитываю), все равно придет час и кто-то другой уже не словом, а иначе, совсем иначе, станет будить, и кому проснуться полагается, тот проснется".

Позвольте сейчас же, упреждая дальнейшее изложение, несколькими штрихами наметить, куда ведет Шестов. "Почему то, что есть, не соответствует тому, что мы хотели бы, чтоб было?" – спрашивает Шестов. Конечно, среди того, что есть, есть много прекрасных вещей. (Прекрасна вечерняя звезда, прекрасно свежее дыхание весеннего утра, прекрасна улыбка дорогого существа.) Но есть и болезни, и немощная старость, и смерть, и непоправимые утраты того, что было, а иной раз все отдал бы человек, чтобы однажды бывшее стало небывшим*.

Один знаменитый, даже знаменитейший философ нашего времени призывает нас прорваться сквозь строй искусственных схем нашего интеллекта к подлинному созерцанию действительности, к видению, к интуиции того, что есть, что непосредственно дано, и многим из нас близок энтузиазм, пробужденный его призывом. Так вот то, что человек так страстно, так упорно желает одного и с воплями и проклятиями отталкивается от другого, то, что человек не хочет приими-

* И не хочет примириться человек с неумолимой принудительностью. и вопит, проклинает.

риться с необходимостью и так жаждет жить по своей воле, – есть ведь тоже непосредственно данное. Так не нужно ли, мыслит Шестов, использовать и это данное в философии как исходный пункт, как аргумент, в пользу того, что бытие по первоначалу как-то и где-то должно сообразоваться с нашим желанием. И задача философии не в том ли, чтоб дать нам не такую философскую интуицию, не такое видение, "не такой глаз, который видит то, что есть, а такой, при котором то, что он видит по его воле, становится тем, что есть"? Так ведь о таких чудесах, о таком, если можно выразиться, режиме бытия только в "Тысяча и одной ночи" рассказывается, да еще в одной древней книге, которую поэтому, если не причисляют прямо к сказкам, то стараются истолковать так, чтобы чудесный элемент исчез или чтобы чудеса обратились в чудеса естественные.

Но как из такого исходить в философии? Ведь это конец познанию, конец "объективной" истине. (Ведь, если мы хотим истины, то должны отбросить все субъективное, произвольное, все, что диктуют нам наши желания, ибо истина сверхиндивидуальна, не считается с нашими желаниями и обязательна для всех, будь то люди, ангелы или боги.) То, что дано, крепко сколочено в некий порядок природы в некий строй бытия. И наш разум усматривает непреложный закон, вписанный в самые грани бытия. (Истине, которую он усматривает, мы подчиняемся не как игу, но, поняв ее, преклоняемся перед ее светом и делаем своим тот закон, о котором она вещает.)

А наша этика в согласии с разумом велит нам вобрать в нашу душу этот закон, сделать его своим. Пока человек цепляется за частные, конечные вещи, пока мы прикрепляемся к временному, к тому, что имеет начало и имеет конец, пока мы привязываемся к тому, что не в нашей власти, мы рабы внешнего хода вещей. Но обратимся к общему, к целому, к вечному, и тогда в высоком единении с судьбой мы обретем внутреннюю свободу и мир души, ее высшее благо – Summum bonum.

Так стремились и мудрецы древней Греции, Сократ, стоики и философы – идеалисты нового времени, как Спиноза, Гегель, *внутренне, духовно* преодолеть наше бессилие перед необходимостью.

Но разве можно иначе, т.е. просто-напросто бороться с необходимостью? Ведь необходимость по самому понятию своему есть нечто непреодолимое, и бороться против нее – не значит ли нарушать основной закон нашего разума, закон противоречия? Какая безумная идея! И потом, в каком противоречии с этикой! Ибо, как бороться

с неотвратимым? Вопить, проклинать, как трус, как раб, биться головой о стену? Так разве это соответствует достоинству человека, его гордости? "Fata volentem ducunt, nolentem trahunt", – говорили стоики, то есть, необходимость согласных с нею водит, а несогласных тащит.

Или Шестов идет против разума, против этики?

Так нет. Шестов не пошел против этих идеальных начал. С ним случилось нечто более страшное. Предупреждаю, что я не думаю предаваться биографическим изысканиям. Для всякого, кто знакомится с его книгами, ясно, что жизнь, подлинная жизнь Шестова в его философских борениях. Скажу только одно. Есть души связанные, вернее спящие. Когда их поразит великое несчастье или когда судьба угрожающе занесет над ними свой меч, они встрепенутся на короткое время и совсем в ином свете увидят то, чем они жили до сих пор. Но пусть притупится боль или пусть судьба отведет свой удар, и они вновь погружаются в сон, как если бы ничего не случилось.

И есть души свободные, или пробужденные. Войдет ли что-нибудь ужасное в их личную жизнь или нет (скорее войдет, как рано или поздно в жизнь каждого человека), но их трагедией становится трагизм всякого человеческого существования, "вечное рыдание земли, теряющееся в вечном безмолвии небес" (Жорж Занд).

Так вот, Шестов не пошел против разума, против этики. Он поклонялся им; ему казалось, что они не принуждали, что он вольно отдавал им жар своей души. Он видел в них близкие душе человека, благостные начала. Но они отступились от него.

В первой своей, появившейся около 40 лет тому назад книге о Шекспире[1], Шестов уже с ужасом вглядывался в бездушный лик мертвой природы, в трагедии существования; ему случалось уже назвать настоящим именем то, что уродует жизнь. Это – необходимость.

Но он обретает прибежище в этике. Добро, нравственный закон – вот что осмысливает ужасы действительности. Нравственный рост личности, нравственное просветление героев Шекспира – вот что примиряет нас с их трагической судьбой.

Прошло всего два года, и появилась его книга "Добро в учении Толстого и Ницше"[2], а еще через два года книга о Достоевском и Ницше с подзаголовком "Философия трагедии"[3]. Соединенная тема этих книг та же: добро и трагедия. Но добро уже не осмысливает трагедии. Этика равнодушна к гибнущему человеку. Ее веления, ее

запреты не ради человека. Она сама себе закон. Она автономна. Пока жизнь протекает благополучно, этика приятно закругляет, украшает ее. Но раздавленному судьбой человеку она вдруг являет такой же неумолимый лик, как та сила, которая его раздавила. Хуже. Перед лицом раздавившей его необходимости она не только не возвышает своего голоса за человека, но, напротив, требует от человека подчинения, покорности. Иначе она отступается от него. И он остается один, совсем один, лицом к лицу с необходимостью, со своим ужасом, со своим отчаянием, без единого просвета, без единого проблеска надежды, без единого отклика.

Есть одна, только одна сила, которая не требует подчинения, не предлагает возвышенное и идеальное вместо жизни и реального, но которая властна помочь, ибо властна сокрушить всякую необходимость.

К этой силе обращается Псалмопевец Давид, ведавший тягчайшую скорбь и пропасти отчаяния:

Из глубины воззвал я к Тебе, о Господи!

Книга Шестова о "Добре"[4] заканчивается словами: "Добро не есть Бог. Нужно искать того, что выше добра. Нужно искать Бога".

Отныне Шестов обращается против морализирующего и вообще всяческого философского идеализма с такой страстной силой гнева, насмешки, горечи, с какой никогда ни до, ни после того не нападал на материалистические и позитивистические учения. Ибо, как он говорит, "кумир, сделанный из идеи, так же мало похож на Бога, как кумир, сделанный из какой хотите грубой телесности".

Лучше уж самый прямолинейный материализм, который к тому же честнее, ибо ничего не сулит.

Чтобы понять, какой пыткой может дышать на человека идеализм, достаточно вслушаться хотя бы в такие строки из его книги "Начала и Концы"[5]:

"В ней (т.е. в материалистической философии) нет ответа, обязывающего к радостной покорности. Она бьет, уничтожает человека, но она не называет себя разумной, не требует себе благодарности, ей ничего не нужно, ибо она бездушна и бессловесна. Ее можно признавать и вместе ненавидеть. Удастся справиться с ней человеку – он прав, не удастся – Vae victis. Как отрадно звучит голос откровенной беспощадности неодушевленной, безличной, равнодушной природы сравнительно с лицемерно сладкими напевами идеалистических человеческих мировоззрений".

Или вот: "Если возможна та отчаянная борьба человека с миром и богами, о которой повествуют легенда и история – то, разумеется, не из-за истины и не из-за идей. Человек хочет быть сильным, богатым и свободным. Человек хочет быть царем в мире – вот этот жалкий, ничтожный, созданный из праха человек, которого на ваших глазах, как червяка, губит первый случайный толчок, – и, если он говорит об идеях, то лишь потому, что отчаялся в успехе своей настоящей задачи. Он чувствует себя червяком, боится, что снова придется обратиться в прах, из которого он создан, и лжет, притворяясь, что его убожество ему не страшно, – только бы узнать истину".

Шестов и теперь не против разума и не против этики в их сфере, пока он не становится на место Бога. В мире, где нужно сообща бороться за существование, нужны общеобязательные истины науки, и в общежитии нужны нравственные законы. Но разве и последняя истина, та, которая говорит о "едином на потребу", должна принуждать, как те истины, которые принуждают нас в мире, где мы должны в поте лица есть хлеб свой. Философский идеализм видит в сверхиндивидуальном и в общеобязательном, которое открывается в логике, в этике, путь к Богу, видит Самое Божество. Но у Шестова зреет мысль, что сверхиндивидуальное заграждает путь к Богу.

Шестов понимает слова Библии в том их смысле, в каком их, может быть, понимает иное неискушенное философией человеческое сердце, но какое уж давно не придает им – словам – философская мысль, по крайней мере в тех течениях этой мысли, которые приобрели влияние и господство на большой дороге истории.

Если у средневековой философии да и в новое время стремятся примирить, согласовать Библию и истину Откровения с разумом, то для Шестова Библия от начала и до конца предельно противоположна рациональной истине, и мира между ними быть не может. Средневековые философы питали мысль, что вера есть нечто меньшее, чем знание, суррогат знания. Как и Аристотель, они считали, что подлинное знание состоит не в том, что мы знаем, как происходят вещи в действительности, а в том, что мы знаем, почему то, что происходит, должно было произойти именно так и не могло произойти иначе. И они стремились превратить веру в знание, обосновать ее, снабдить доводами и доказательствами. Но в своей большой статье, напечатенной недавно (январь 1936) в "Revue Philosophique"*,

Шестов, базируясь на результатах огромной работы, произведенной профессором Жильсоном над историей средневековой философии, не устает раскрывать, что средневековая философия, которая имея своим истоком Откровение Библии, но в то же время не могла оторваться от эллинской мудрости, на самом деле подчинила Откровение разуму, призвала Иерусалим на суд Афин. Ибо разум сам себе господин, он автономен и, раз призванный, уже ничем из своей власти не поступится, и потому согласование с ним кончается подчинением ему. Да и как иначе, когда работу согласования ведет он же, разум, он – сторона, он же и судья.

И вот средневековая философская мысль приходит к выводу, что то, что вера получает от Откровения, не может противоречить нашему естественному познанию. Следовательно, и Бог подчиняется верховным принципам человеческого познания и логики, следовательно, и для Бога невозможно (и это убеждение средневековые философы исповедовали так же твердо, как Аристотель) нарушить закон противоречия, и следовательно, и для божественного всемогущества невозможно однажды бывшее сделать небывшим. (Власть необходимости и непреодолимых законов простирается и на Бога.) "Это Бог философов и ученых, но не Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова". Это Бог Спинозы, который действует согласно необходимости своей природы и который все вещи в мире не мог произвести иначе, чем они были произведены. К этому Богу не может взывать Псалмопевец. Он не услышит. И остается – как учил Спиноза – "не смеяться, не плакать, не проклинать, но понимать".

Это Бог Гегеля, Бог, который не творит чудес. "Однажды бывшее, это скажет Гегель, нет никакой нужды сделать небывшим в чувственном, конечном мире, но есть другой способ сделать однажды бывшее небывшим – внутренне, духовно – через раскаяние... Но ведь раскаяние потому и есть раскаяние, что оно не может жить в мире со свершившимся". Вот свидетельство Пушкина:

...В уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток.
Воспоминания безмолвно предо мной
Свой длинный развивают свиток.
И, с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.

Мог ли бы Бог Гегеля дать Пушкину то, чего жаждала его душа?

Но Библия совсем не знает власти необходимости и вечных истин. Священное Писание не считается ни с законом противоречия, ни вообще ни с какими безличными принципами и законами. Нет принципа, нет закона, который ограничивал бы волю Создателя. Для Бога нет ничего невозможного, и взывающему к Нему он не предлагает "внутренне", "духовно" преодолеть однажды бывшее, но на самом деле властно смывает с души всякую вину и возвращает всякую утрату, как Он вернул Иову здоровье, богатство и детей.

Откуда же кошмарное царство безличных, бездушных, непреодолимых вечных истин, царство глухой к человеческим зовам, воплям и проклятиям необходимости?

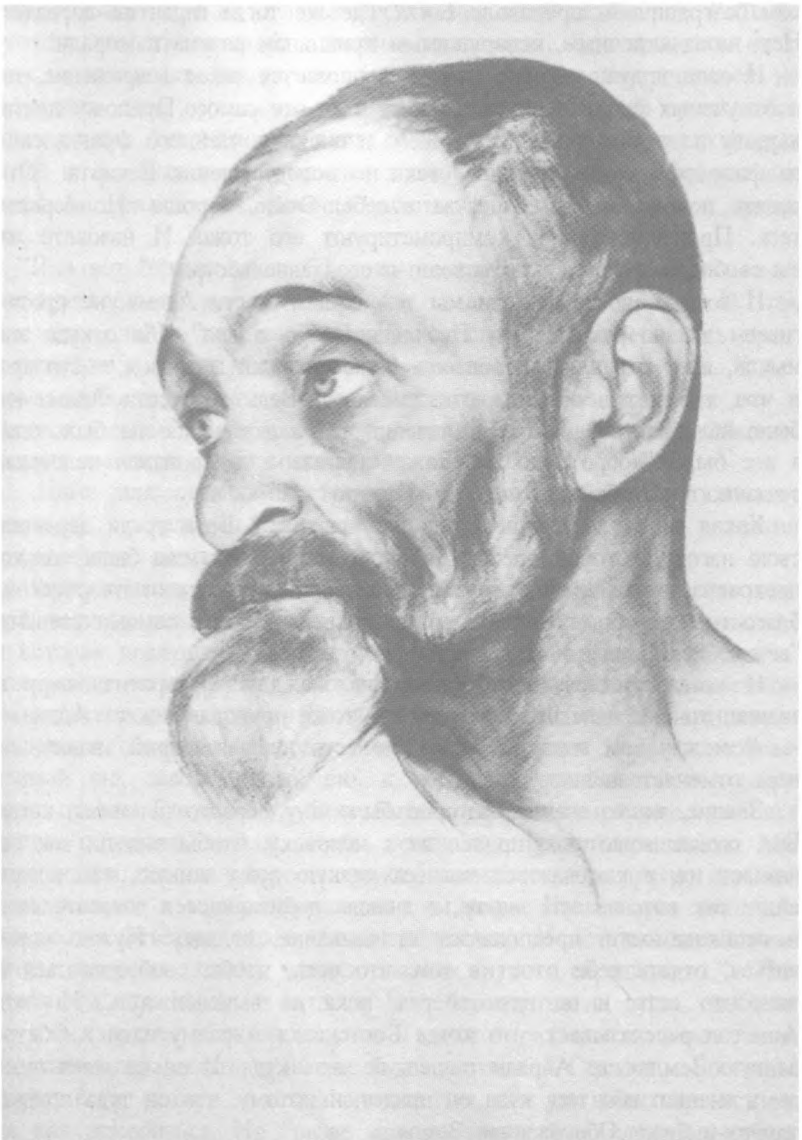
Для Шестова ответ дан самой Библией, в рассказе о грехопадении, столь определенном по своему смыслу. И однако загляните в писания Отцов Церкви, в трактаты средневековых философов, и всюду (за исключениями, которые Шестов отмечает) услышите, что грех состоял в ослушании человека, в дерзновенной непокорности Адама, вкусившего вопреки запрету Бога от древа Познания Добра и Зла и за это наказанного Богом. Но на самом деле, Библия ничего не знает об ослушании, как сущности греха. Покорность, подчинение – это эллинский идеал. И в сказании о грехопадении Бог не грозит человеку смертью за то, что он вкусит от Древа Познания, а предостерегает против гибели, которую таит в себе плод от этого древа. Грех в самом познании, а не в ослушании, и смерть от познания.

Нам непонятно, какое зло может быть в познании?

Но посмотрим. Так как мы от Адама, то, вероятно, всегда склонны повторить его жест.

Бог Библии есть творец всего, Он творец и истины, и добра. От Него зависит, что становится истиной, что становится добром. Это есть то новое, что принесла Библия, и нечто прямо противоположное эллинской мудрости. Сократ в Диалоге Платона говорит, что святое свято не потому, что его любят боги, но что именно потому, что святое свято, боги его любят. Декарт почувствовал (частью до него Дунс Скот[7]), что нового принесла Библия, и в письмах писал, что от всемогущества Бога зависит всякий принцип истины и добра.

Но тут поднимается в нашей душе возражение. Если Бог выше истины и добра, если то и другое зависит от Его воли, то ведь Бог может сделать истиной нечто абсурдное и установить как нравствен-



Портрет Л.Шестова работы С.Сорина

ный закон нечто безнравственное. Как можно вынести мысль о таком безграничном произволе Бога? Где же тогда гарантии порядка? Нет, назад к вечным, ненарушимым принципам разума и морали!

И если в душе многих из нас поднимается такое возражение, то и от ученых философов вы услышите то же самое. Привожу почти наудачу из одного очень искреннего и очень почтенного французского философа конца прошлого века по поводу мнения Декарта: "Отстоять независимость Существа в себе. Очень хорошо. Но берегитесь. Произвол, каприз компрометируют его тоже. И назовете ли вы свободой и могуществом волю и созидание абсурда?"[8]

И вот, не повторяем ли мы тем самым жеста Адама, не протягиваем ли мы руку Дереву Познания Добра и Зла? Ибо откуда эта мысль, этот страх, что произвол, божественный произвол – это зло и что, где нет необходимости, там хаос. Ведь до жеста Адама не было надобности в самом различении добра и зла, ибо не было зла, а все было "добро зело"; и Божий произвол, и произвол человека, созданного по образу и подобию Божию.

Какая же сила внушила Адаму укрыть от Бога среди деревьев свою наготу, которой прежде не было стыдно, ибо она была только прекрасна, и какая сила внушила человеку укрыться от творческой, благостной, свободы Бога за возведенными нами же самими стенами "вечных, самоочевидных истин"?

И когда средневековые философы жаждали превратить веру в знание, то они и не подозревали, что тоже повторяют жест Адама.

А между тем вера не только не есть низшая форма знания, но вера отменяет знание.

Знание, не то знание, которое было и у первого человека, когда Бог, создав животных, привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, а как назовет человек всякую душу живую, так и имя ей, – так вот, не это знание, а знание, добивающееся доказательств и необходимости, предполагает оглядывание, оглядку. Нужно справиться, отдать себе отчет в том, что есть, чтобы сообразоваться с тем, что есть, и не идти вперед, пока не выяснен путь. Но вот Апостол рассказывает, что когда Бог сказал Аврааму идти в Обетованную Землю, то Авраам пошел, не зная куда. И он не имел нужды в знании: ибо там, куда он придет, и потому, что он туда придет, там-то и будет Обетованная Земля.

Авраам поверил, и вот все определения истины, данные Аристотелем, опрокинуты. Это не человек приспособляется к вещам и под-

чиняется им, а вещи приспособляются к человеку и подчиняются ему. Истина веры не оглядывается назад, а глядит вперед. "...Даже вовсе и глядеть не надо, а, закрыв глаза идти, куда придется, ни о чем не загадывая, никого не спрашивая, ни о чем не тревожась, не тревожась даже о том, что, при вашем движении, вы не приспособились к тем 'законам', большим и малым, в соблюдении которых люди и вы сами видели условия возможности истин и открываемых истинами реальностей. Вообще забыть о страхах, опасениях, тревогах..."

Или вот иллюстрация. "В ложу театра вошла королева со своими придворными дамами. Королева села, не оборачиваясь. И, так как она села, то под ней оказалось кресло. Дамы обернулись предварительно и, когда убедились, что кресла пододвинуты, сели. Королеве, чтобы знать, не нужно оглядываться, справляться. Для нее и 'логика' особая: кресло является, *потому что* она садится. Обыкновенные же люди садятся, когда есть кресло"[9].

Этими иллюстрациями стремится Шестов приблизить к нашему сознанию предельную противоположность истин и разума и истин откровенных, знания и веры.

Библия ввела в мир новую, неслыханную идею истины сотворенной, истины, которой Создатель распоряжается, как Он ее понимает, и которая послушно исполняет волю своего Господина, а ей противоположна истина знания, которая хочет быть и которую мы считаем несотворенной предвечной, необходимой, охватившей нерушимым железным объятием все, что было, есть и будет. Человек, соблазненный ею, завороженный ею, к ней идет спрашивать и от нее ждет ответа. Где-то, в глубине бытия, уже все вырешено, уже вся истина положена, и нам, чтобы познавать, нужно спрашивать. Мы спрашиваем, какова скорость звука, каковы те или другие химические реакции и многое другое в этом роде. Наша наука накопила множество ответов, определенных, истинных. И вот мы заключаем: чтобы получить истину, всякую истину, нужно спрашивать..." "Поэтому мы спрашивем, – есть ли Бог, бессмертна ли душа, свободна ли воля, заранее убежденные, что и на этот раз, как и прежде, если не станем спрашивать, у нас не будет истины..." Скажут – Бог есть, значит есть, скажут – нет, значит нет, и нам уж ничего не остается, как покориться. Но "разве можно кому-нибудь или чему-нибудь передать свое право на Бога, на душу, на свободу? А ведь, спрашивая, это право мы передаем кому-то! И кому? Кто-то, кто выманил

или похитил у нас нашу душу у нашего Бога? И почему он (или оно), которому нет никакого дела до нас, которому ни до чего дела нет, которому все равно, присвоил себе право выносить решения о том, что для нас всего на свете важнее?"[10]

И вот раз спросили, то значит к той извечной Истине-Необходимости обратились, от какой другого ответа и получить не могли, как того, что Бога, души и свободы нет, и тогда, мы уже осуждены, вернее сами себя осудили.

Но не кошмар ли власть этой предвечной истины, где-то вырешившей за нас и против нас самое важное для нас? *Бывает, что еще не пробудившись от сна, мы чувствуем, что то, что происходит с нами, не есть подлинная действительность, но сновидение, которое ценой известного усилия мы могли бы отбросить от себя.* Если бы спящий сохранил мысль о законе противоречия, то он должен был бы сказать себе, что его суждение о том, что он спит и что его действительность есть действительность только сновидения, таит в себе противоречие и поэтому должно быть рассматриваемо как ложное: *ибо ведь это во сне ему мнится, что он спит и видит сон...* Но когда сон обращается в кошмар, тогда только внезапно приходит абсурдная, нелепая мысль – признают за абсурд, за нелепость, потому что она заключает в себе противоречие. Так вот тогда приходит эта абсурдная мысль, что эта действительность не есть подлинная действительность, но сновидение, ложь, иллюзия. И вот, сразу, мы перед дилеммой: что выбрать? Кошмарную действительность или абсурд? Кошмарная действительность посягает на все наше существо, а допущение абсурда посягает на разум. Во сне, как известно, человек избирает абсурд: перед ужасом кошмара страх оскорбить разум теряет над нами всякую власть, и мы пробуждаемся. Но в бодрственном состоянии "порядок" другой. Мы "принимаем" все, каким бы постыдным, каким бы отвратительным, каким бы ужасным ни предстало перед нами то, что мы должны принять, лишь бы разум не был оскорблен, равно как и "принцип противоречия", который его оберегает. Почему же мы не заподозрим, что и в нашей действительности, чтобы развеять ее кошмар, нужно решиться пренебречь законом противоречия, как пренебрег им Сновидец. Что, спрашивает Шестов, если закон противоречия и есть тот ангел с огненным мечом, который поставлен у врат Эдема после грехопадения нашего праотца Адама?

В таком случае понятно, почему Шестов утверждает, что фило-

софия не есть оглядка, не есть рефлексия, не есть и не может быть наукой, ибо все это зиждется на законах логики, – и понятно, почему он говорит, что философия есть борьба против самоочевидностей, преодоление вечных истин.

Преодолеем, и станет вера на место знания, и по слову Писания для нас не будет ничего невозможного.

Но, ведь скажут, кошмар продолжается. Значит, веры нет. Может быть, борьба есть начало, есть преддверие веры. Позитивисты могут сказать Шестову, что они не склонны к борьбе против самоочевидности, что худо ли, хорошо ли, они приспособляются, как могут, к той действительности, которую познает наша наука и наш разум. И они вправе будут заявлять так. Но те, кто говорит о вере, для кого Библия есть книга Откровения, должны бы услышать, почувствовать, что ведь это он о том говорит, что им близко, и так говорит, как об этом только и можно говорить.

Шестов в своей книге "На весах Иова" приводит слова Паскаля: "Мы все беспечно бежим в пропасть, после того, как поставили что-то перед собою, чтобы не видеть ее"[11]. Не знаю, правильно ли дополню я Паскаля, как его понимает Шестов, но, может быть, я передам правильно мысль самого Шестова, если скажу, что Паскаль, вероятно, мог прибавить: "Мы бежим в пропасть и не видим ее, потому что заслонились от Бога вечными истинами разума".

Примечания

1. Шекспир и его критик Брандес, СПб, тип. А.М.Менделевича, 1898; 2-е изд. – СПб, изд. "Шиповник", 1911.

2. Добро в учении гр. Толстого и Фр.Ницше. Философия и проповедь. СПб, 1900; последнее изд. Париж, 1971.

3. Достоевский и Ницше. Философия трагедии. СПб, 1903.

4. Имеется в виду "Добро в учении гр. Толстого и Фр.Ницше".

5. Начала и концы. Сборник статей. СПб, 1908.

6. В указанном номере такой статьи нет. Возможно, речь идет о статье Шестова "О средневековой философии. Concupiscentia irresistibilis (По поводу статьи Э.Жильсона 'Дух средневековой философии')" // "Афины и Иерусалим", Париж, ИМКА-Пресс, 1951.

7. Иоанн Дунс Скот. John Duns Scotius (1266?–1308), средневековый философ и богослов; отстаивал примат волевого содержания божественной деятельности перед разумно-логическим.

8. Léon Ollé-Laprune, La raison et le rationalisme. Préface de Victor Delbos. Paris, Perrin 1906, pp. 70–71.

9. На весах Иова. Странствования по душам. Париж, изд. "Современные записки", 1929. С.168 (примеч. автора).

10. "О втором измерении мышления. Exercitia spiritualia, афоризм №6 (примеч. автора). Статья была помещена в журн. "Современные записки", Т43, 1930. С.311–352, и перепечатана в книге "Афины и Иерусалим", Париж, 1951. С.1–42.

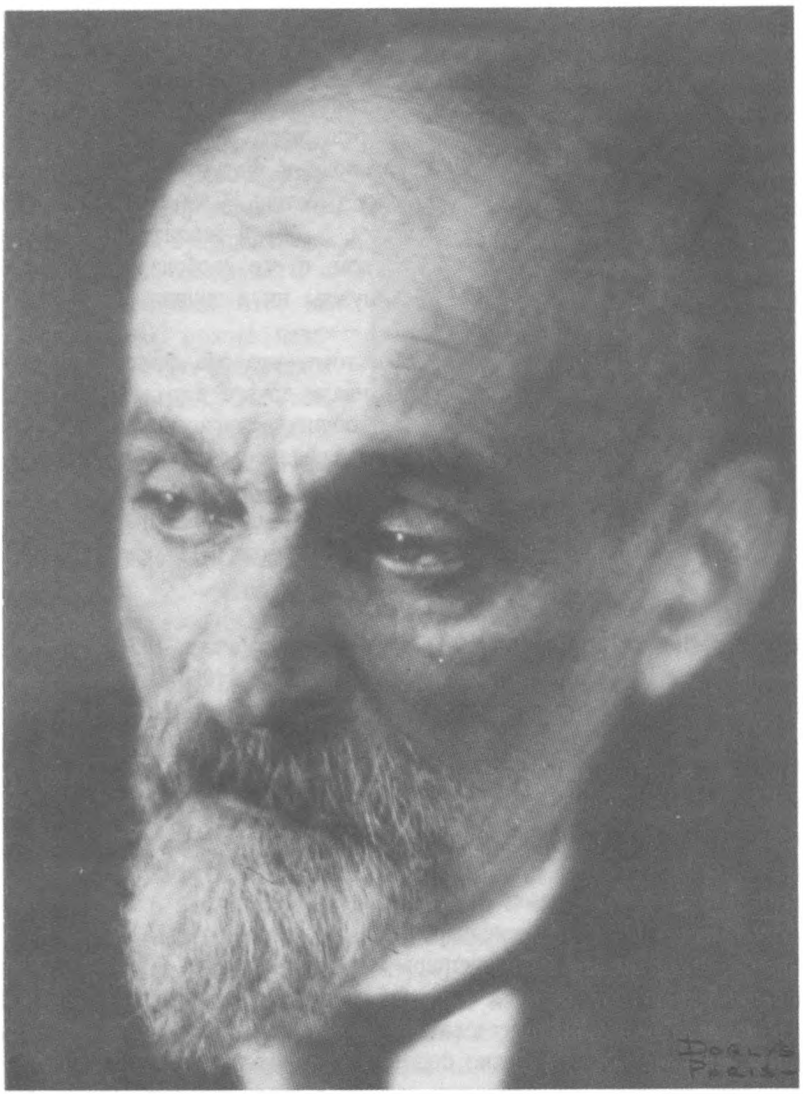
11. Приводим оригинал изречения Паскаля: "Nous courons sans souci dans le précipice, après que nous avons mis quelque chose devant nous pour nous empêcher de le voir."

B.Pascal, Pensées, éd. de La Pléiade, s.d. p.885, fragment 226 (27).

От редакции

В публикуемых ниже письмах Л.Шестова Н.Бердяеву отражены глубокие расхождения во взглядах между двумя крупнейшими представителями религиозного экзистенциализма в русской философии. Эти расхождения касались главным образом оценки роли разума, в подчинении законам которого Шестов видел рабство человека – плод его грехопадения. "Я очень сочувствую проблематике Льва Шестова, – писал Бердяев в статье "Основная идея философии Льва Шестова", – и мне близок мотив его борьбы против власти 'общего' над человеческой жизнью. Но я всегда расходился с ним в оценке познания, не в нем вижу я источник тяготеющей над нашей жизнью необходимости. Только экзистенциальная философия может объяснить, в чем тут дело".

Л.Шестов усматривал в философии Н.Бердяева непримиримое противоречие между его стремлением создавать экзистенциальную философию и его зависимостью от рационалистических идей немецкого идеализма. Идея Бердяева о "несотворенной свободе", над которой Бог не властен, есть, по мнению Шестова, фикция, оправдывающая рабство человека у необходимости. Философия духа, которой Бердяев приписывает освобождающее свойство, лишь переносит центр познания с объекта на субъект, но познание сохраняет всю свою принудительную силу. "Мы слышали, что свобода была до Бога, – писал Шестов в статье "Николай Бердяев. Гнозис и экзистенциальная философия", – что Бог над свободой не властен, – бессилен перед Ничто; мы слышали, что тьма является условием света, что свобода есть свобода выбора между злом и добром, что человек,



Л.Шестов. Париж, 1927 г.

который бы не выбирал между добром и злом, был бы автоматом добра, что тот, кто, познавши и добро и зло, вернулся бы к добру, имеет бесконечное преимущество перед невинным человеком, этой разницы не познавшим, – и все это слышали от проникновенных, глубоких, мудрых людей, – как истины, открывшиеся нам высшим разумом, как истины, прорвавшиеся из иных миров. Но это не истины из иных миров – а кантовские синтетические суждения a priori, являющиеся необходимым условием разумного мышления". Бердяев, по мнению Шестова, превращает свободу в фатум; он поклоняется разумному познанию, этому источнику рабства: "Свободы, как и Ничто, властно решающего наши судьбы, – нет и никогда не было, а был создан свободный человек Творцом, и его свобода в том именно и заключалась, что он не имел нужды ни в знании, ни в различении между добром и злом".

Глубокие расхождения не мешали тому, что оба философа очень высоко ценили друг друга и поддерживали друг с другом отношения, основанные на взаимном уважении и общих религиозно-философских устремлениях. Об этом убедительно свидетельствуют приводимые здесь письма.

О Л.Шестове Н.А.Бердяев написал следующие статьи и рецензии:

"Древо жизни и древо познания" (Л.Шестов. "На весах Иова"). Путь, 1929, №18;

"Лев Шестов". Путь, 1936, №50;

"Лев Шестов и Киркегард". Современные записки, 1936, №62;

"Памяти Шестова". Последние новости, 1938, №6450;

"Основная идея философии Льва Шестова". Путь, 1938, №58;

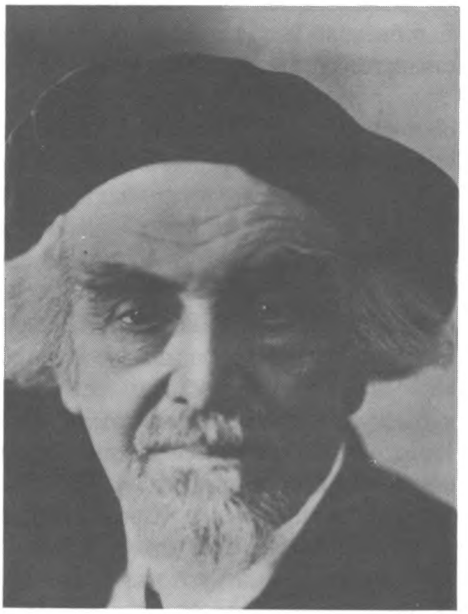
Лучшее изложение позиции Л.Шестова содержится в его статье "Николай Бердяев. Жизнь и экзистенциальная философия". (Современные записки, 1938, Т63). Статья включена в книгу "Лев Шестов. Умозрение и откровение" (Париж, 1964. С. 263–294).

Paris (XV) 7, rue Sarasate 29/XI/23

Дорогой Николай Александрович!

Как странно – ты мне пишешь о фил. институте[1] – и ни слова о [нераз.] и [неразб.]. А меж тем, еще 2 недели назад, они пришли ко мне от твоего имени беседовать об этом же деле и звать меня в институт. Я, конечно, охотно согласился на их предложение, дал, какие мог, указания, но хлопотать вместе с ними мне невозможно было, т<ак> к<ак> я последний месяц все болел и теперь только чуть-

чуть оправился. По вечерам я еще не выхожу – и даже не мог с ними к Пти[2] пойти. Но, все хорошо обошлось и без меня. Вчера у меня был Габрилович[3] и рассказал, что и Пти, и [неразб.] Брюнсвик[4] и т.д. очень горячо отозвались на их предложение. Вероятно, на будущей неделе состоится свидание и с Бергсоном[5]. Так что, по его мнению, можно надеяться, что будут средства и удастся [неразб.]. Это все, что я знаю, пока нужно, конечно, здесь[?] такие дела не скоро делаются. Тоже не скоро делаются дела и с переводами. Очень досадно, что ты мне сразу не ответил на письмо. В Pontigny[6] я видел много французов – можно было бы поговорить о тебе. А сейчас я нездоров – мало где бываю. Но все-таки я думаю было бы полезно, если бы у меня были бы твои работы, которые переведены на какой-нибудь европейский язык. При случае, я мог бы показать их тем, кто интересуется. Если не трудно – пришли мне, что у тебя есть.



Н.А.Бердяев

Что до визы, то, конечно, Пти может дать и охотно даст тебе визу. Для этого, тебе нужно только написать (можно и по-русски). Его адрес Paris (XVII), rue de l'Alboni 6. Зовут его Евгений Юльевич. Но можно и без него. Ремизов[7] получил очень быстро через беженский комитет (Ильин[8] может тебя подробно осведомить об этом). Через комитет идет даже быстрее, а через Е.Ю. – дольше. Но прежде, чем писать Е.Ю., ты должен начать хлопотать во франц. консульстве в Берлине. Кажется, все о делах.

Конечно, твой "протест" против моего "Пас[каля]"[9] для меня не был неожиданностью. Моя центральная мысль "Бог Авраама, Исаака и Якова – а не Бог философов" (слова Паскаля), для тебя абсолют-

но неприемлема. Ты не допускаешь, что Бог философов не есть Бог библии. Ты, скорее, за Фихте[10] повторишь, что весь смысл Христианства в первом стихе 4-го Евангелия: "Вначале было слово". Этим разногласием обясняются все остальные наши несогласия. Ты обоготворяешь идеи, я же не выношу обоготворенной идеи, как не выношу и обоготворенного чурбана. Кто из нас прав – и можно ли в самом деле, как хотел Фихте и как хочешь ты, заменить Бога идеей – в письме об этом, понятно, говорить невозможно. Но, так или иначе фихтевский этический идеализм, как и гегелевский панлогизм, которые так безраздельно владеют тобой, – для меня совершенно неприемлемы. Ведь Фихте, как и Гегель, проповедует спинозизм только перенесенный. Фихте прибавил от себя красноречия, Гегель диалектики и глубокомыслия. Но идея та – идея Спинозы, т.е., и они, убедившись своим разумом, что того Бога Авраама, Исаака и Якова, о котором рассказывает Библия и которого искал Паскаль, нет, – решили превратить в Бога разум, и его, разума, идеи. Но все-таки, если я был в Париже, когда Шлецер[11] писал свою статью, я бы ему посоветовал иначе ее написать... Любопытно, что почти теми же словами, которыми пользуешься ты, говорят о моем "П[аскале]" и здешние католики. И для [есть?] Бог Паскаля, Бог Авраама, Исаака и Якова, непохожий на Бога философов. Досталось за меня и Галеви[12], написавшему предисловие. Я варвар, понятно, что я не постигаю "латинской культуры". Но Галеви француз, ярый католик, из набожной католической семьи – как мог он, так близкий к кругам Action Francaise[13], одобрить мою книгу! Кажется, его так пробрали, что больше он меня издавать не будет. Всего доброго Тебе. Твой Шестов. Привет твоим всем и Евгении Юдифовне.

Paris (XV) 20/IV/24
7, rue Sarasate

Дорогой Николай Александрович!

Как странно вышло с переговорами о твоем переезде в Париж! Осенью от твоего имени приходили [неразб.] и Габр<илович>. Пришли, поговорили – и бесследно пропали. Я тебе о них писал – но ты тоже ничего не ответил. Потерпел 5 или 6 месяцев. Сейчас идет дело к лету – скоро все в Париже закроется – будут заняты люди добыванием долларов у иностранцев, которые приедут на олимпийские игры. Можно ли успеть до осени чего-нибудь добиться, не знаю. Конечно, неплохо было бы, если бы ты Евг. Малому[14] написал или

Софье Григорьевне. Я редко выхожу из дома, т.к. все хвораю, – за зиму видел их только один раз. Они к тебе хорошо относятся и русских любят. Только беда, что очень русским вечно плохо и все к Petit обращаются – так что много у них забот. Но все-таки попытайся написать. – Чтоб прожить в Париже четырем человекам – нужно минимум 2000 фр. в месяц. Заработки иметь можно, но их мало и работа оплачивается скудно. – Дамы, если знают по-французски и умеют писать на машинке, могут по 500, 600 фр. вырабатывать в месяц и то за 8 часов работы. Иногда бывают уроки русского языка у иностранцев. Жить приходится очень скромно, во всем себе отказывать и урезывать. Надеяться, что французское правительство сыщет средства, чтоб оплачивать лекции, – очень трудно. Но время от времени можно публичными лекциями кое-что зарабатывать. Издательств русских нет. С французскими издателями – трудно. Разве что ты с католиками сойдешься: у них огромные организации, большие средства и, если ты им покажешься интересным, они, конечно, могут тебя печатать. В августе в Pontigny[15], как в прошлом году, будет международный съезд писателей и ученых. Одна декада посвящается мистицизму. Меня спросили, кого из русских можно пригласить, – я указал на тебя. Может, позовут тебя – скоро будет известно.

Обо всем, верно, нам может будет лично поговорить, т<ак> к<ак> меня зовут в Берлин, и, может быть, и если здоровье позволит, в середине мая поеду туда. Тогда тоже потолкуем и о тех вопросах, которым посвящена вторая половина твоего письма. Пока только несколько слов: мне трудно много писать. Я **все** принимаю, что ты пишешь о твоих переживаниях. И даже до твоего письма не раз говорил разным людям, с которыми приходилось о тебе беседовать, что твой "оптимизм" или твое "благодушие", в котором принято тебя упрекать, есть только внешний твой облик. В книгах ты, действительно, соблазнительно догматичен, но жизнь твоя много сложнее, чем книги. И опыта твоего – я **не отрицаю** и отрицать не хочу. Я спорю с тобой только, когда ты опыт, при посредстве готовых предпосылок разума, превращаешь в "Истину". Ты заявляешь, что о христианском опыте не могут судить стоящие вне христианства. И, кажется, всякий другой опыт ты относишь к области "психологии". Это – очень характерно для тебя, в этом я и вижу тот "этический идеализм", от которого ты так на словах открещиваешься. То же, что ты говоришь, говорят и католики. Они отнимают у

Достоевск<ого> право "судить" о католичестве и отвергают его "велик. инквизитора" на том "основании", что он стоял вне католичества. Но за собою они удерживают право судить о Достоевском, хотя они стоят вне православия. Вот эта погоня quand même за привилегией правоты, это желание свой опыт поставить превыше всего унаследованы от древней этики – и воинствующим христианством всех исповеданий и воинствующей философией всех оттенков. И ведь главное – это привилегия совершенно мнимая, ненужная, как несущественна и та sancta superbia, которая породила стремление к обладанию этой привилегией. И еще существенно: ведь пелагианство[16], которое ты, конечно, не приемлешь, – оно-то жило и питалось исключительно этими выдуманными привилегиями. А древнее пелагианство в наше время называется этическим идеализмом и пропитало собой не только философские системы но и [sic] религиозную догматику. Об этом я больше всего писал в последнее время и в la révélation de la mort[17] и в la nuit de Gethseman[18]. Только "опыт" смерти или равнозначащий ей опыт трагичен. Только опыт <?> открывает человеку глаза на суетность всяких [неразб.] привилегий, не исключая и моральных. Тебе это кажется "ужасным" и "тьмой", как ты мне писал. Так же здесь и католики говорят. Но мне кажется, наоборот, ужасной та "правота", которой добиваются люди и которой люди поклоняются, как поклонялись идолам. Ведь идола можно не только из дерева, но и из идей сделать. И созданный из идей идол – еще живее, чем сделанный из дерева. "Единство" истины – один из таких идолов. Кажется – и говорят так все – что "единство" положит конец "вражде" и начнет эру "любви". На самом деле – наоборот: ничто не приносило миру столько вражды, и самой ожесточенной, сколько идея единства. Из-за нее люди больше всего ненавидели и ненавидят друг друга... Еще многое можно бы сказать – но письмо писать долго нельзя. Разве еще напомнить тебе слова Паскаля взятые мною эпиграфом в "Гефсиманской ночи"[19]. Ты как будто и не заметил их. Отчего? А ведь они не только в эпиграфе – они проходят через все, написанное мною о Паскале. И так – всего доброго и, может быть, до скорого свидания. Обнимаю тебя – привет Лидии Юдифовне и Евгении Юдифовне.

Твой Шестов

Примечания

1. Русский Научный институт, основанный Бердяевым в Берлине как продолжение Религиозно-философской академии, которую он организовал в Москве до своей высылки за границу в 1922 г.

2. Эжен Пти (1850–1931), директор канцелярии президента Французской республики Александра Мильерана (1920–1924), был женат на Татьяне Васильевне, урожд. Толстой (1894–1974).

3. Возможно, Леонид Евгеньевич Габрилович (1878–?), русский философ.

4. Брюнсвик, Леон (1869–1944), франц. философ, профессор Сорбонны. Представитель критического идеализма.

5. Бергсон, Анри (1859–1941), франц. философ, представитель витализма и интуитивизма.

6. Rencontres internationales de Pontigny (Международные встречи в Понтиньи), ежегодный международный симпозиум, в котором, по индивидуальному приглашению, участвовали ведущие литераторы, философы, ученые и общественно-политические деятели. Обычно каждый год менялась тема симпозиума и в большой мере состав участников.

7. Ремизов, Алексей Михайлович (1877–1957), русский писатель.

8. Ильин, Владимир Николаевич (1890–1974), русский философ и правовед.

9. Паскаль, Блез (1623–1662), франц. математик, физик и религиозный мыслитель.

10. Фихте, Иоганн Готлиб (1762–1814), немецкий философ, один из основоположников классического немецкого идеализма, идеолог немецкого национализма.

11. Шлецер, Борис Федорович (Boris de Schloezer; 1883–1970), музыкальный и литературный критик. Переводчик многих трудов Л.Шестова. По всей вероятности, речь идет о его статье: B. de Schloezer, "Léon Chestov – Penseur russe", Mercure de France, 1.X.1922, N583, pp.82–115.

12. Галеви, Даниэль. (1872–1962), франц. историк, критик, публицист. Написал предисловие к французскому переводу книги Шестова "Гефсиманская ночь". (Париж, 1923).

13. Аксион Франсез, французская крайне правая монархическая, шовинистская партия до II мировой войны.

14. Если прочтение правильно, то имеется в виду Эжен Пети.

15. См. примечание 6 к предыдущему письму.

16. Пелагианство – ересь V века. Основана монахом Пелагием. Приверженцы пелагианства отрицали учение о первородном грехе и учили, что моральный закон и благодать могут вести к спасению без участия церкви. Против пелагианства вел ожесточенную борьбу бл. Августин (354–430).

17. "Откровения смерти", 1-я часть книги "На весах Иова. Странствование по душам". Париж (изд. Современные записки, 1929; 2-е изд. Париж, ИМКА-Пресс, 1974).

18. "Гефсиманская ночь. Философия Паскаля", 3-я ч. книги "На весах Иова" появилась в журналах "Звено" (18.VI.1923, №20) и "Современные записки" (1924, №19).

19. Слова Паскаля в подлиннике: "Jésus sera en agonie jusqu'à la fin du monde: il ne faut pas dormir en ce temps là". Blaise Pascal, "Le mystere de Jesus", L'oeuvre de Pascal, Paris, ed. de la Pléiade (sans date) p.1060. (Иисус будет в смертельной тоске до конца мира: нельзя спать в это время – ["Тайна Иисуса"]).



Портрет Л.Шестова работы Б.Григорьева

Лев Шестов и русская культура

Владимир Паперный
(Хайфа)

Вопрос о месте Л.Шестова в русской культуре, на первый взгляд, кажется вполне тривиальным. Шестов вошел в русскую культуру как один из участников возникшего на рубеже XIX и XX вв. религиозно-философского движения, видевшего в себе и представлявшего себя как проявление "нового религиозного сознания". С другими участниками этого движения, и более всего с Н.А.Бердяевым, С.Н.Булгаковым, В.В.Розановым, М.О.Гершензоном, его соединяли прочные человеческие и интеллектуальные связи. Три величайших русских религиозных мыслителя, принадлежавших к предшествующим поколениям, которые доминировали в интеллектуальном пространстве русской религиозной философии рубежа веков, – Достоевский, Толстой и – хотя и в значительно меньшей степени – Вл.Соловьев – на протяжении всего пути Шестова притягивали к себе его мысль. Весьма значительная (а в 1900-е гг. преобладающая) часть написанного Шестовым представляет собой не что иное, как истолкования русской литературы XIX в. Шестов опознал в этой литературе один из важнейших источников подлинной, истинной философии, и он множество раз прямо заявлял, что продолжает своей философией ее дело. Русская культура дала Шестову многое, очень многое, и прежде всего – язык. Она сделала его русским писателем. Но что сам Шестов дал русской культуре? Можно ли утверждать, что он был просто и только русским писателем – правда, "еврейского происхождения", – лишь возвращавшим приемной матери полученные от нее дары? Я думаю, что такое утверждение неверно и что, напротив, Шестов внес в русскую культуру некий совершенно особый вклад в качестве еврея и носителя еврейской культурной традиции. Об этом и написана настоящая работа.

Лев Шестов – Йегуда Лейб Шварцман – родился в 1866 г. в Киеве в полуассимилированной еврейской семье. Его отец, богатый торговец, поддерживал связь с общиной и соблюдал, в силу этого обстоятельства и вопреки своему свободомыслию, основные внешние требования традиционного еврейского благочестия – в частности, участвовал в общественных богослужениях. Но от детей своих он ничего подобного не требовал, дав им русское образование. Шестов учился в русской гимназии и в русском университете, читал все то, что читали русские гимназисты и студенты. Никакого специального интереса к еврейской культуре он не проявлял. Он брал, правда, какое-то время уроки иврита и еврейской литературы у приглашенного отцом учителя, однако в зрелые годы почти ничего из того, чему тот пытался его научить, Шестов не помнил. Первые литературные опыты Шестова – рассказы, статьи и диссертация – представляли собой типичную вариацию на темы русской публицистики конца XIX в.[1] Немного от идеологии позднего народничества, немного от марксизма и очень много впечатлений от русской литературы – как и большинство еврейской молодежи его круга, Шестов хотел быть "как все", т.е. как русские, и хотел отбросить и забыть все то, что связывало его с еврейским миром – таким бедным и таким, казалось, несовременным.

Но стать таким, "как все", Шестову не было суждено. В 1895 г. он пережил некое страшное и мучительное событие, навсегда выбросившее его из "общего всем мира". Шестов никогда и никому не рассказывал, что конкретно произошло, но в косвенной форме он в течение всей своей последующей жизни вновь и вновь возвращался к происшедшему, пытаясь осмыслить его, понять и – объяснить urbi et orbi. Уже в первой своей философской книге, "Шекспир и его критик Брандес" (СПб., 1898), Шестов выразил испытанный им духовный опыт посредством истолкования Шекспира: Шекспир, согласно Шестову, тоже пережил нечто невыносимо ужасное, что заставило его ощутить "распадение связи времен", и "Гамлет" и другие трагедии Шекспира возникли как художественное воплощение пережитого автором трагического опыта. Подобным же образом толковал Шестов в дальнейшем и Толстого, и Достоевского, и Ницше, и Лютера, и Плотина, и Паскаля, и Кьеркегора, и других "положительных героев" той универсальной драмы мировой мысли, которую Шестов писал в своих сочинениях и которая была, в сущности, объективированной внутренней драмой его собственной мысли.

Пережитый Шестовым экзистенциальный опыт был осознан им как метафизическое *погружение* в смерть, сопровождающееся безграничным отчаянием, тотальным самоосуждением и полной утратой доверия к миру и жизни, и одновременно как метафизическое *прохождение* через смерть – к новой надежде, новой вере, к откровению Истины. Таким образом, будучи осмысленным, данный опыт стал исходным ядром, философии Шестова. Однако, переведенный из области жизни в область мысли, данный опыт утратил свою экзистенциальную единичность, да и важен он был для философа Шестова не в своей единичности и конкретности, но в своей универсальности – в своей способности *повторяться* в судьбах разных людей, открывая им одну и ту же Истину.

Процесс развертывания философии Шестова из ее исходного ядра, сохранявшего статус фундаментальной предпосылки этой философии на протяжении всего пути Шестова, был достаточно сложным. Уже в тот период, когда Шестов писал свои первые книги, он сформулировал в главных чертах свою философскую транскрипцию Истины. Более или менее окончательный характер его формулировки приобрели, однако, гораздо позднее – в 1911–1914 гг., когда Шестов работал над книгой "Sola fide". Я не имею здесь возможности – и, по-видимому, в этом нет в данном случае и необходимости – последовать за Шестовым и пройти за ним весь лабиринт его мысли. Ограничусь лишь кратким и весьма общим описанием того, что можно было бы назвать достигнутым Шестовым итоговым пониманием Истины. Используя несколько догматическую форму выражения, это понимание можно передать в виде следующего ряда утверждений:

истолкование мира как рационально упорядоченной целостности, подчиненной законам логики, законам природы и законам морали, является ложным, поскольку оно описывает ложную реальность; ложной поэтому является философская традиция Запада во всех ее главных руслах – в силу того, что она основана на такого рода истолкованиях мира;

истинная реальность открывается по ту сторону разума, логики, научного знания и морали, и постижение и достижение ее возможно лишь через отречение от разума, науки, морали, через погружение в хаос безумия и абсурда, через отказ от веры в ложную реальность, в которой вместо Бога и под его именем царствует Закон, царствуют высокие идеи, никого не способные спасти и лишь прикрывающие ужасы жизни; только глубокое отречение от веры в ложную

реальность как единственную и истинную открывает путь к истинной реальности;

ложная реальность, защищаемая философами как "лучший из всех возможных миров", – это, однако, отнюдь не интеллектуальный фантом, она существует и имеет свою природу; природа же ее в том, что она является порождением Змия, соблазнившего первого человека: приняв дар Змия, познание, человеческий род погрузился в мир, где царствует Закон, а вместе с ним Зло и Смерть, но где у человека отнята свобода и отнята возможность контакта с Богом;

борьба с оправдывающей ложную реальность философией (а именно в такой борьбе усматривал Шестов смысл своей философской деятельности) не является вследствие всего этого просто интеллектуальной борьбой, но имеет глубокий экзистенциальный смысл как битва со Змием; победа над Змием, освобождение от плена Змия – плена познания, обретение веры открывает человеку путь к живому Богу, для которого нет ничего невозможного, который способен сделать бывшее небывшим, способен изменить прошлое, способен вернуть человеку отнятое у него смертью, как он вернул все любившему его и верившему в него праведнику Иову[2].

Книга "Sola fide", в которой Шестов впервые в полной форме изложил свое понимание Истины, не была опубликована при его жизни. Содержавшиеся в ней идеи развивались в сочинениях Шестова, увидевших свет уже в 20-е и 30-е гг. – в годы эмиграции[3] (Шестов навсегда покинул Россию в январе 1920 г., около года провел в Женеве, неподалеку от которой прожил четыре года – 1910–1914, а затем, уже до конца своих дней, поселился в Париже). До этого времени Шестов был обращен к своему читателю, так сказать, своей негативно-скептической стороной. Призывая к отречению от разума, науки и морали, призывая к "беспочвенности" (его центральная книга 1900-х гг. так и называлась: "Апофеоз беспочвенности"), Шестов лишь в самой общей и туманной форме говорил о том, ради чего должно быть предпринято чаемое им отречение. Шестов не договаривал – отчасти потому, что и самому ему не все еще было ясно, а отчасти потому, что был убежден: не обо всем можно прямо говорить – кое-что следует обязательно скрывать.

Принцип "беспочвенности", исходя из которого Шестов начинал строить свою философскую конструкцию, сводится к отказу от опоры мысли на какой бы то ни было фундамент – будь то фундамент рационально-аксиоматический или фундамент традиции. Частным, но

в контексте рассматриваемой проблемы наиболее существенным следствием этого принципа явилось убеждение Шестова, что стремление мысли к истине и привязанность к определенной национальной почве, к определенной национальной культурной традиции – несовместимы. Те или иные традиции могут быть объектами мысли, поскольку мысль вообще нуждается в объекте, но они не должны ее связывать. Предпочтение, которое мысль может оказать определенной традиции, должно быть результатом свободного выбора, а не следствием приверженности авторитету или душевной склонности.

И Шестов сделал свой выбор: он выбрал русскую культуру, апостериорно оправдав, таким образом, тот выбор, который ранее произвели за него обстоятельства и судьба. Он женился на русской православной женщине, и семья, которую он создал, была во всех отношениях русской семьей. Он глубоко вошел в русскую культурную среду и был принят ею. Он сделал себя русским писателем – что, впрочем, внутренне было для него не более чем принятием того обстоятельства, что в качестве писателя, пишущего по-русски и обращающегося к русской аудитории, он и не мог быть никем иным. Очень часто прибегал он в своих сочинениях 1900-х гг. к таким выражениям, как "мы, русские", "у нас, русских", а когда случалось ему упоминать о еврейском народе, он говорил о нем сочувственно, но как-то издалека – как о чужом. Количественное преобладание в этот период в том культурном материале, над которым надстраивалась философская мысль Шестова, текстов русской литературы подкрепляло и поддерживало его самоотождествление с русской традицией. Самоотождествление это было у Шестова ограниченным и во времени (в 1910-е гг. и в годы эмиграции самоощущение Шестова изменилось, а роль "русского компонента" в его мысли снизилась)*, и по существу. В "Апофеозе беспочвенности" Шестов со свойственной ему отчетливостью мысли очертил границы предпочтения, которое он отдавал русской традиции. Во фрагменте этой книги, имеющем характерный заголовок "Русский дух", Шестов определял в качестве отличительных свойств русской литературы, "русского духа" (которые подчеркнуто атрибутируются в тексте местоимениями "мы"

---

* Заметим, впрочем, что ориентация мысли Шестова и его культурного поведения на сферу "русского" в некоем расплывчатом "эллинстве", столь очевидным образом проявившаяся в годы эмиграции, никоим образом не затронула реального социокультурного статуса Шестова – его принадлежности к неформальной общине, именуемой обыкновенно "Русским Зарубежьем".

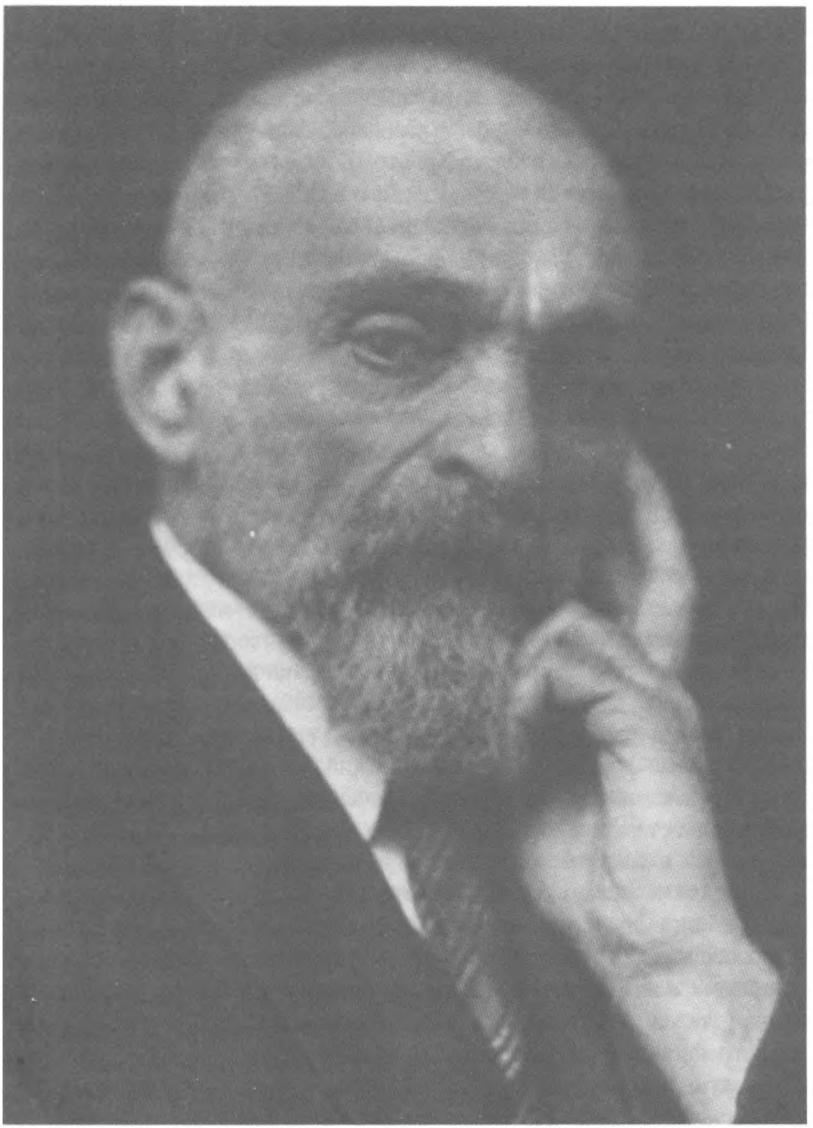
и "наши") простоту, правдивость, способность поднимать "последние вопросы", не оглядываясь идти до конца. В фиксированном им "выборе между художественной и законченной ложью старой, культурной Европы, явившейся результатом тысячелетнего трудного и мучительного опыта, и бесхитростной, безыскусственной простотой и правдивостью молодой, некультурной России" – он на стороне России. Но на этом Шестов не останавливается. Он продолжает: "Они ближе к концу, мы ближе к началу. Но кто ближе к истине? <...> вероятно, ни старость, ни молодость равно не могут дать нам той истины, которую мы ищем"[4]. Таким образом, признавая свою близость к русской традиции, Шестов одновременно дистанциируется от нее, подчеркивая внутреннюю свободу в своем отношении к ней.

То обстоятельство, что приверженность русской культуре, как и свойственное Шестову противоречиво совмещавшееся с этой приверженностью космополитическое "эллинство", были в очень большой степени маской, не укрылось от глаз современников, – да и попыток отрицать это обстоятельство Шестов, собственно говоря, и не предпринимал. Но что скрывала эта маска? Такой вопрос был задан Шестову – и Шестов на него ответил.

Спрашивающим был Аарон Штейнберг, познакомившийся с Шестовым еще в 1910 г. и наблюдавший его в самых различных обстоятельствах до последних лет его жизни. В своих мемуарах Штейнберг (и здесь важно отметить, что, в отличие от Шестова, он никогда не затушевывал своей принадлежности к еврейству, более того – подчеркнуто соблюдал субботу и нормы кашрута) рассказывает о весьма остром разговоре с Шестовым на интересующую нас тему, имевшем место в 1936 г., накануне поездки Шестова в Палестину. Разговор начался с обсуждения мотивов этой поездки, и Шестов, объясняя их, признал, что и для него, как и для его собеседника, Палестина – Святая Земля. Штейнберг резко упрекал Шестова в измене своему народу: "Вы добивались славы, сначала всероссийской, а затем и всемирной, под псевдонимом <...>. Но псевдоним – есть, простите, синоним <...> предательства собственного имени. Вы за ценой не стояли и прославились <..> скрывая иудея под покровом эллина <...>. И чем больше ширилась слава Шестова, тем меньше становилось тех, для кого еврейское происхождение Льва Шестова было секретом. <...> Знал об этом Максим Горький, а от него Лев Толстой. Знали Бердяев, Брюсов, Иванов-Разумник, знали Мережковский, Ольга Форш, Алексей Ремизов. Но ведь они-то и разобла-

чили Вас <...> в собственном вашем сознании. Иудей! Иудей! – твердили они все как бы хором. Уважение к Вам, а у многих из них и любовь от этого ничуть не убавлялись. А кое у кого, у Бердяева например, даже наоборот. Но для всех них присутствие "Черного человека" (Шварцмана) в Льве Шестове имело решающее значение в оценке Вашего мировоззрения <...>". Ответ Шестова был уклончивым, но и в своей уклончивости достаточно ясным: " <...> Ох уж эти мне специалисты по психоанализу! Помните, Смердяков у Достоевского говорит, что про неправду все написано <...>. Даже сестра моя требовала от меня, чтобы я разанализировался, разоблачился <...>. Они все от меня ждут, чтобы я совершил нечто сверхчеловеческое, превзошел самого Зигмунда Фрейда, чтобы я сманил самого Господа Бога на нашу грешную землю. А я вот не хотел кончить как Ницше, т.е. провозгласить себя "распятым" и засесть в доме для умалишенных <...>". Далее Штейнберг прямо спросил о происхождении псевдонима. По объяснению Шестова, псевдоним его был придуман им еще в гимназические годы, и его изобретение отнюдь не диктовалось намерением скрыть еврейское происхождение (подробности этого объяснения за их пространностью я здесь опускаю). Затем Шестов сделал признание, поразившее Штейнберга и, действительно, поразительное. Он сказал, что его псевдоним имеет "каббалистический смысл", который "открылся" ему позднее: "Намекну на прощание: мой псевдоним как трехцветный флаг. Три языка в одном слове: Ш – ест – ов. 'Ш' – заглавная буква немецкого Шварцмана (черного человека). 'Ест' – est – есть. А 'ов' – <...> древнееврейский патриарх, родоначальник. А шарада в целом: 'Ш', т.е. Шварцман Второй есть патриарх!" За признанием последовала просьба: "Пообещайте мне <...> что никому не расскажете. После моей смерти пусть говорят и пишут, кому что угодно. Но ни за что не хочу прослыть сумасшедшим при жизни"[5].

Некоторые моменты переданной Штейнбергом исповеди Шестова (а точность ее передачи представляется весьма высокой – мемуарист записал свой разговор с Шестовым сразу по его окончании, да и содержание и стилистика сообщенных им высказываний Шестова очень хорошо вписываются в контекст известного нам о Шестове) имеют принципиальное значение, приоткрывая дверь в ту сферу, которую Шестов держал в своих сочинениях наглухо закрытой, – в сферу его глубинной авторефлексии. В этой сфере, как теперь уже можно с большой степенью уверенности заключить, Шестов мифопоэтически



Лев Шестов. 10.X.1927 г.

видел себя в качестве нового патриарха – в том специфическом смысле, каковой статусу патриарха приписывается еврейской религиозной традицией, а именно в качестве того, кто заключает Союз (брит) с Богом. В контексте данного видения философия Шестова обретала значение формулы предлагаемого Богу нового Союза (Нового завета – ср. в связи с этим многозначительное упоминание Шестова о Ницше – христоборце, в конце жизни, уже в состоянии безумия, отождествившем себя с Христом). Одна из ключевых формул философии позднего Шестова, заимствованная у Паскаля, – "Бог Авраама, Исаака и Иакова, а не философов и ученых" – включала, таким образом, еще одно, зашифрованное фигурой умолчания имя – имя самого Шестова, а также содержала прикрытую отсылкой к французскому мыслителю ассоциацию с традиционным для иудаизма определением Бога (первая часть формулы, конечно же, восходит к тексту Библии, однако, и это очень существенно, не прямо, а через указанные опосредующие контексты). В отличие от, скажем, Андрея Белого, который с легкостью мог говорить и писать о себе подобного рода вещи, Шестов "боялся прослыть сумасшедшим". И чтобы избегнуть этой опасности, он должен был отделить и отделил свою философию от своего самопереживания. С другой стороны – и здесь также будет уместно упоминание об отличии Шестова от Андрея Белого, других русских символистов и близких к символизму религиозных мыслителей, сливавших воедино сферы творчества и бытового поведения, Шестов, напротив, строго разграничивал эти сферы[6]. А это означало, в частности, что в качестве писателя и философа Шестов в России был русским, в Европе – европейцем, соответствующим образом формируя и тематический, и стилистический облик своих произведений. При этом в качестве частного лица Шестов продолжал оставаться евреем – таким и в той мере, каким и в какой он был в силу обстоятельств – не больше, но и не меньше.

Характер и значение для Шестова его связи с еврейством, пожалуй, наиболее ярко выявляется историей его женитьбы. Женившись на православной, он, чтобы избегнуть крещения, оформил брак за границей – и это несмотря на то обстоятельство, что по российским законам такой брак считался недействительным, а значит, будущие его дети не могли в России юридически считаться его детьми. Вряд ли объяснение поведения Шестова может быть сведено, как это утверждает его дочь Наталья[7], только к нежеланию травмировать отца – хотя, конечно, Шестов и мог воспользоваться таким аргумен-

том, объясняясь с невестой. Совершенно ясно, что отказ от своей национально-религиозной идентичности был для него духовно невозможен, поскольку отравил бы ту сферу, которой надлежало оставаться незамутненной, не затронутой не только грубой фальшью, но даже и просто рефлексией, ибо этой сфере предназначалось служить неким приютом – тихим приютом, куда можно было возвращаться отдохнуть от рискованных интеллектуальных странствий по области, запредельной безумию.

Сфера частного существования Шестова, связи с родителями, с еврейской родней, и была для древа философии Шестова той почвой, без укорененности в которой оно просто не смогло бы нормально расти. Об этом, ссылаясь на свои собственные наблюдения и на наблюдения Р.Иванова-Разумника, говорит Аарон Штейнберг[8]. Это в той или иной форме понимали почти все, кто сколько-нибудь глубоко задумывался над "проблемой Шестова".

То, что изнутри представлялось надежно разделенным, отнюдь не выглядело и не выглядит таковым извне. Еврейское начало во всем человеческом и интеллектуальном облике Шестова проступает настолько очевидным образом, что отбрасывает густую тень и на самое содержание философской мысли Шестова. Многие комментаторы с соответствующим настроением (это редко формулировали, скорее на это намекали) оценивали философию Шестова в целом как воплощение некоего еврейского универсального скептицизма, враждебного по отношению к культуре вообще, а к русской культуре в особенности. Не имея объективных оснований (да и Шестов не был никаким скептиком, а еврейство в целом тут и тем более ни при чем), эта точка зрения все же не совсем бессмысленна, поскольку указывает на реальную проблему. Совершенно иного рода объяснение характера "еврейского элемента" в философии Шестова было дано Н.А.Бердяевым, хорошо его знавшим и понимавшим (они с Шестовым были друзьями всю жизнь, начиная с киевских времен их юности). Бердяев считал проявлением "ветхозаветного иудаизма" как умонастроение Шестова в целом, так и его религиозную концепцию в частности: Шестов не принял вочеловечившегося Бога, Христа, не принял идею присутствия внутри Бога человеческого начала – Логоса, его религиозное сознание не знает Благодати – и поэтому он остается там, где все человечество было до провозвещения Благой Вести, в мире Ветхого Завета, т.е. на предшествующей христианству стадии универсального религиозного процесса.

Эта оценка Бердяева, ставшая своего рода vox populi о Шестове для православно ориентированной русской интеллектуальной среды, проникла и в научную литературу, далекую от сознательной опоры на христианское сравнительное богословие, как это имеет место в случае с Бердяевым. Так, в появившейся полтора десятилетия назад работе Э.Глоубермана, где весьма детально рассматривается интерпретация Шестовым "ветхозаветных тем", содержится утверждение, что с еврейской религиозной традицией связана ключевая идея философии Шестова – его представление о Боге как о начале, альтернативном Необходимости[9]. Заметим, однако: идея, что Бог в чем-то подобен Логосу греческих философов, что он есть Разум и Необходимость, возмущала не только еврея Шестова. Эта идея, или, по меньшей мере, ее следствия, касающиеся областей веры и морали, вызывали протест католика Паскаля, а еще раньше Лютера и враждебных аристотелианской теологии средневековых западноевропейских теологов, а еще раньше Тертулиана (в "Sola fide", в "Афинах и Иерусалиме", в других сочинениях Шестова очень много об этом сказано). С другой стороны, "Бог философов и ученых", Разум, был Богом не только для христианина Фомы Аквината, но и для еврея Маймонида. Шестов стремился противостоять не какой-то отдельной, но любой и всякой коллективной религиозной традиции, справедливо полагая, что там, где речь идет об интересах групп, без разума обойтись нельзя. В коллективных религиозных традициях он видел не посредника, а препятствие на пути человека к Богу, и нападки Шестова на доктрину католической церкви о "potestas clavium", "власти ключей" (утверждавшую право Церкви здесь, на земле, решать за Того, Кто там, на небе) косвенно касались и раввинистического иудаизма, с его учением о том, что "Тора не на небесах". В сущности, то, что так легко принять за "ветхозаветный иудаизм" Шестова, правильнее было бы определить как *фундаментализм*, по своей природе, так сказать, общеиудеохристианский. Интеллектуальный фундаментализм Шестова возник на такой же духовной основе, на какой возникал всегда и возникает религиозный фундаментализм: на основе стремления к преодолению пропасти между верой и жизнью, которую религиозный традиционализм считает не только непреодолимой, но и весьма полезной для себя. Естественно поэтому, что главным своим проявлением изощренный фундаментализм Шестова имеет то же самое, что и его более грубый и менее радикальный "исторический" собрат, – прямую, не опосредованную никакими рациональны-

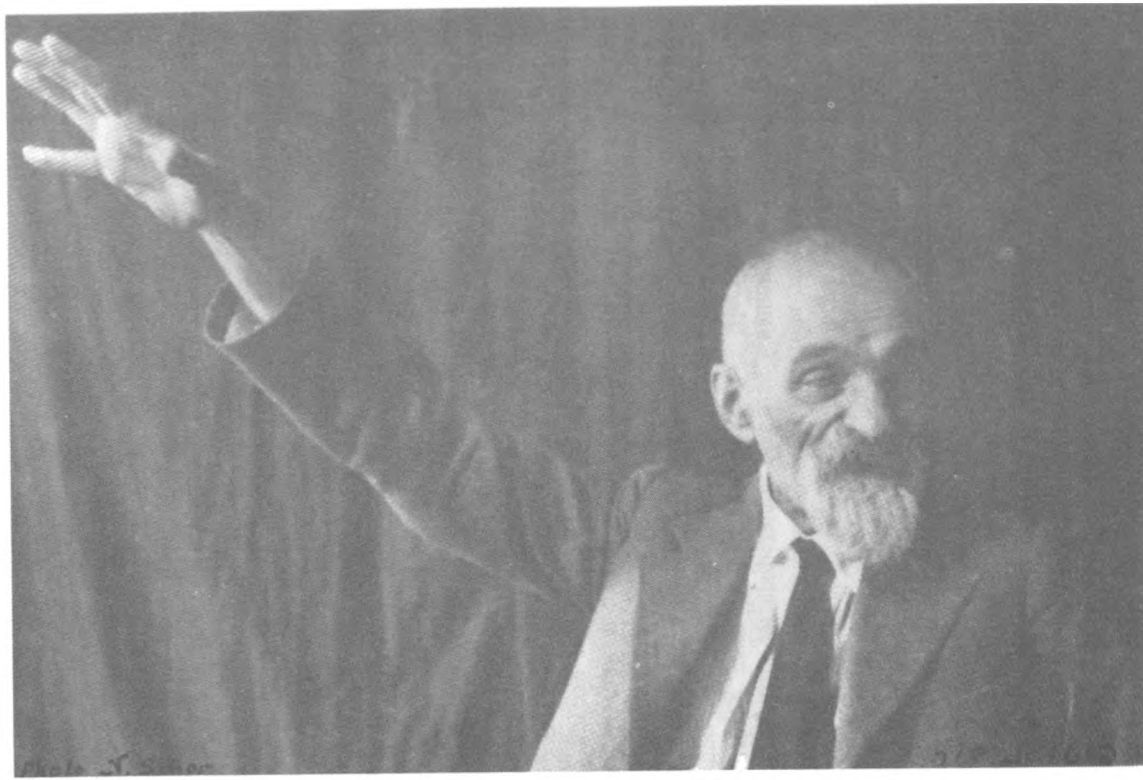
ми противовесами апелляцию к Писанию. Незадолго до своей смерти Шестов получил письмо от друга своей молодости православного священника и философа С.Н.Булгакова. Сетуя на сложность жизни, Булгаков выражал сожаление, что они уже долгое время не поддерживают общения, и приветственно отмечал, что он видит в развитии мысли Шестова постепенное приближение к христианству. Шестов не возражал – он даже как будто соглашался. "Для меня, – писал он в ответ, – противоположности между Ветхим и Новым Заветом всегда казались мнимыми. Когда Христа спросили (Марк 12:29), какая первая из всех заповедей, он ответил: "Слушай, Израиль" и т.д., а в Апокалипсисе (2:7): "побеждающему дам вкушать от древа жизни". Знание преодолевается, откровенная истина – "Господь Бог наш есть Бог единый", – в обоих Заветах возвещается эта благая весть, которая одна только и дает силы глядеть в глаза ужасам жизни"[10].

Итак, в тексте Библии искал и находил Шестов опору вере. Однако Библия не была для него Священным Писанием *в своем целом* – в действительности он опирался лишь на определенный ограниченный набор библейских текстов. Не была для него Библия и *единственным* Священным Писанием: свидетельства об откровении Бога человеку, обнаруженные Шестовым в других великих книгах – Платона, Плотина, Тертулиана, Лютера, Паскаля, Толстого и т.д., – обладали для Шестова в принципе не меньшей ценностью, чем аналогичные свидетельства, содержащиеся в Библии. С другой стороны, многое в Библии Шестов не принимал. Он не полемизировал, разумеется, с Книгой Книг, как он полемизировал с теми мыслителями, которые, по его суждению, поднявшись на высоту Откровения, все же затем ниспали с нее и вновь поддались власти Змия, т.е. разума и морали. Несогласие с Библией проявлялось Шестовым посредством молчания. Умалчивать же приходилось о многом: и о том, что библейский Бог, открываясь Моисею на горе Синай, предписал своему народу кроме формулы веры также и законы морали, и законы ритуала, что моральная проповедь является неотъемлемой частью евангельского откровения, и т.д., и т.п. Убежденый в том, что "дела" – проявления добра и справедливости – не помогают, а мешают человеку приблизиться к Богу, Шестов предпочитал не замечать всего того в Библии, что явно противоречило этому его убеждению, как предпочитал он не замечать, что текст, именовавшийся им Ветхим Заветом, обращен не к отдельному человеку, но к народу – и вполне определенному народу.

Философия Шестова в ее существе весьма далека от еврейской религиозной традиции – что не означает, впрочем, ее близости (вопреки тому, как это хотел видеть С.Н.Булгаков) к религиозной традиции христианства. Это, между прочим, остро почувствовал Толстой. Как вспоминал М.Горький, когда Толстому в ходе разговора о книге Шестова "Добро в учении гр. Л.Толстого и Фр.Ницше" сказали, что Шестов – еврей, тот просто не поверил. "Ну, едва ли, – недоверчиво сказал Лев Николаевич. Нет, он не похож на еврея. Неверующих евреев – не бывает"[11].

Толстой называет Шестова неверующим – несмотря на то, что обсуждавшаяся книга завершается призывом: "Надо искать Бога". Называет потому, что быть верующим – значит для Толстого: призывать и соблюдать нравственные заповеди. И Толстой не верит факту еврейства Шестова, потому что еврейское для Толстого неотделимо от приверженности нравственному закону как высшей ценности. Это представление Толстого, заметим, нельзя не признать культурологически глубоко адекватным: иудаизм конституируется – по крайней мере начиная с талмудической эпохи – как система заповедей – этических, юридических и ритуальных норм, которая в принципе может быть интерпретирована *теологически неоднообразно*, и в этом отличие иудаизма от христианской религиозной культуры, для которой конститутивное значение имеют прежде всего элементы доктринального характера. Прав Толстой и в том, что касается Шестова, который в парадигму еврея, выработанную талмудическим иудаизмом, не укладывается.

Таким образом, всякую попытку связать концептуальное содержание философии Шестова с еврейской традицией следует, по-видимому, признать заранее обреченной. Тот материал, из которого Шестов возводил конструкцию своей философии, не включал никаких произведений еврейской мысли, кроме Библии. Но Библия, столь важная для Шестова, – славянский и латинский тексты, включающие Новый Завет, – это отнюдь не еврейская книга. Философия Шестова свободна от непосредственных еврейских ассоциаций – что не могло не быть, по справедливому указанию Э.Глоубермана, результатом сознательных усилий[12]. Цель этих усилий нам теперь уже понятна: всему еврейскому надлежало оставаться в подполье – в подполье психологическом, в сфере глубинной авторефлексии Шестова-мыслителя, в подполье бытовом – в сфере живого непосредственного контакта "Шестова-человека" с родным ему, родительским миром, и, наконец,



Выступление Шестова в Тель-Авиве

в еще одном подполье – интеллектуальном – в сфере *интеллектуального этоса* Шестова. Интеллектуальный этос философа, его поведение как мыслителя по отношению к объектам его мысли, трансформируется в метод его философии, проходя через цензуру рефлексии. Но рефлексия неспособна устранить импульсы, идущие от глубинной структуры личности, – она лишь так или иначе преобразует их. Так то, что Шестов изгнал через дверь концептуального содержания своей философии, вернулось через окно ее метода.

Метод Шестова был основан на последовательном исключении процедур диалектики, которая начиная с греков, в различных вариантах, являлась базисным методом практически всех школ западной, и не только западной, философии, из процесса философской аргументации. Место диалектики заняла у Шестова тщательно разработанная им процедура интерпретации текстов "Священного Писания" (напомню, что в свое "Священное Писание" Шестов включал не только Библию, но и другие тексты, в которых он усматривал свидетельства получения их создателями Откровения). Характер данной процедуры лучше всего можно понять, сопоставив ее с *мидрашем* – традиционным талмудическим жанром толкований.

В другом месте я уже имел случай подробно развивать упомянутое сопоставление[13], поэтому здесь я позволю себе представить его лишь в самом общем виде, опустив некоторые детали.

Как и мидраш, метод Шестова предполагает совмещение философской рефлексии с рефлексией герменевтической, направленности на осмысление жизни с направленностью на осмысление текста. Шестов никогда не обсуждает теоретические проблемы в качестве таковых – он всегда *толкует тексты* как некоторые единичные высказывания. И даже когда герменевтическая рефлексия Шестова направляется на тексты, порожденные абстрактно-дискурсивным мышлением, а не на нарративы, с которыми имел дело мидраш, он, в духе мидраша, представляет такие тексты как нарративы. Философская теория всегда предстает у него в виде *рассказа* о некоторых событиях, даже если речь идет, скажем, о Гегеле или Аристотеле. С другой стороны, Шестов явно предпочитает обращаться к художественным или "полухудожественным" текстам, поскольку такие тексты, не нуждаясь в предварительной обработке для представления их в форме нарративов, естественным образом готовы для интерпретации "в духе мидраша". Воспроизводит Шестов и следующую принципиальную особенность герменевтической структуры мидраша: эксплананс

(объясняющее) моделирует у него содержащийся в экспланандуме (объясняемом) нарратив путем дополнения и семиотического удвоения последнего – исходный рассказ дорассказывается, в него вводятся новые элементы, а с другой стороны, над ним возводится некоторая вторичная метафорическая конструкция – притча и т.п. Мидрашеподобные тексты Шестова – это не только его толкования истории грехопадения Адама или истории Иова, даже внешне, хотя и отдаленно, напоминающие мидраши. Это, в сущности, все тексты Шестова. Как и мидраш, знающий, например, что сказал Каин Авелю перед тем, как убить его (хотя текст книги Бытия молчит об этом), Шестов знает и договаривает за толкуемые им тексты то, что в них не содержится. И, как мидраш, толкует Шестов тексты на языке метафор и притч.

Нет, наверное, нужды специально обсуждать здесь отличия мидрашеподобных текстов Шестова от аутентичных мидрашей – они многочисленны и достаточно очевидны. Следов обращения Шестова к каким бы то ни было конкретным мидрашам нет. Речь в данном случае идет, таким образом, лишь только о воспроизведении в методе Шестова структурных черт мидрашистской герменевтики[14], воспроизведении, опиравшемся к тому же не на непосредственное знакомство с традицией (Талмуда и сборников мидрашей Шестов не изучал), но на рефлексы этой традиции в еврейской *бытовой культуре*, глубоко пропитанной талмудическим мышлением. Интеллектуальный этос Шестова очень хорошо поддается описанию в категориях еврейской культурной ситуации конца XIX в.: Шестов бунтует против Закона, против талмудического легализма, и он покидает еврейство без сожаления и оглядки "на стены родного Содома" – но покидает его именно и только как организованную Законом коллективную традицию. Вместе с тем, стремясь достичь внутренней интеллектуальной свободы, свободы мысли от догматов и предпосылок, Шестов *остается* – остается внутри, неся в самой структуре своей личности черты присущего традиционному еврейскому интеллектуальному этосу – наряду и вопреки крайнему легализму – мышления в духе мидраша, принципиально свободного от всякого рода обязательности и принудительности.

Большинство российских евреев, вышедших, подобно Шестову, из находившихся в процессе ассимиляции еврейских семей, становясь "деятелями русской культуры", принимало, избирая как свои, не только русский язык и ценности русской культуры, но и ее интел-

лектуальный этос. И те из них, кто в дальнейшем так или иначе приходил к необходимости Возвращения к своему народу, нуждались для реализации этого Возвращения в смене идеологии, в смене поведения, в смене способа мышления. Яркий пример тому – М.О.Гершензон: русский литературовед, автор работ о Пушкине, Чаадаеве, славянофилах и т.д., он на склоне своих лет обратился к еврейской философии и критически переоценил свои прежние культурные верования. Как и Гершензон, Шестов в последние годы своей жизни гораздо острее переживал свою принадлежность к еврейству, в частности и вследствие известных событий в Германии[15]. Но никакой необходимости в смене мировоззрения он не ощущал, как не ощущал и необходимости в Возвращении. Ведь он, собственно, никуда и не уходил. Он всегда был на границе, на пороге, откуда одинаково легко и войти и выйти. В 1897 г., по поручению отца, Шестов участвовал во II Всемирном сионистском конгрессе. И – это не подлежит сомнению – выглядел он там вполне органично. Вполне органичной была для Шестова и его поездка в 1936 г. в Палестину. Давно задуманная, откладывавшаяся и вот наконец реализованная, она имела для него глубокий смысл, хотя и отнюдь не смысл идеологического символа.

Духовное пребывание Шестова на границе двух культур, русской и еврейской, привело к тому, что диалог этих культур развернулся внутри его сознания. Русская культура начала XX в. была открыта для диалога с культурами Запада, открыта, пусть в меньшей мере, и для диалога с некоторыми культурами Востока, но для диалога с еврейской культурой, находившейся географически внутри русского культурного ареала, ее границы были на замке, и антисемитизм играл здесь роль сурового пограничника. По другую же сторону границы отнюдь не было желания влиять: культура российского еврейства быстро распадалась, и в это время как ее ортодоксальный сектор стремился к автаркии, а ее сионистский сектор – к радикальной трансформации на новой языковой, идеологической, а затем и географической основе, большинство стремительно двигалось навстречу ассимиляции. Культурные и политические элиты этого большинства, проявлявшие бурную активность внутри русской культуры и русского общества, даже и не пытались выступать в качестве проводников еврейского культурного влияния. Исключения из этого правила были единичными. Лев Шестов принадлежит к их числу, хотя и он сознательно не стремился быть таким проводником. Еврейские и русские

(или, если угодно, русско-еврейские) компоненты сознания Шестова находились в состоянии недиалогического сосуществования, столь характерном для еврейско-русского культурного контекста в целом. Однако то, что было разъединено, даже больше – насильственно поддерживалось в разъединенном состоянии, в культурном сознании Шестова, вступало в диалог в его культурном подсознании, в глубине его творческого процесса. Так еврейский интеллектуальный этос в одном из своих наиболее существенных аспектов – еврейский интеллектуализм "в духе мидраша" – оказался привнесенным в русскую философию. Так русской культуре была придана некоторая, пусть не особенно интенсивная, еврейская окраска.

Примечания

1. Обзор юношеских сочинений Шестова а также весьма подробное изложение сведений о его семье, детстве и юности см.: Н.Баранова-Шестова. Жизнь Льва Шестова. Paris, 1983. T.I. С.3–21.

2. Анализу философии Шестова посвящена обширная литература на многих языках. В связи с темами, затронутыми в моем, весьма общем, ее изложении, см., например, посвященный Шестову раздел в кн.: J.C.Wernham. Two Russian thinkers. An essay in Berdjaev and Shestov. Toronto, 1968, или в статье: L.J.Shein. The philosophy of infinite possibility: an examenation of Lev Shestov's weltanschauung. – Ultim Real Mean. 1979. №2. P.59–68.

3. В книгах Шестова "Власть ключей (Potestas clavium)" (1-е изд.: Берлин, 1923); "На весах Иова (Странствования по душам)" (1-е изд.: Париж, 1929); "Афины и Иерусалим" (1-е изд.: Париж, 1938), а также в ряде его статей, по большей части вошедших в сборники, опубликованные уже после смерти философа. Книга "Sola fide" (Только верою) увидела свет лишь в 1966 г. в Париже.

4. См.: Л.Шестов. Апофеоз беспочвенности (Опыт адогматического мышления). СПб, 1911. С.219–224 (1-е изд. книги вышло в 1905 г.).

5. См.: А.Штейнберг. Лев Шестов. // Друзья моих ранних лет (1911–1928). Париж, 1991. С.255–258.

6. Указанные отличия следует обязательно учитывать, помещая Шестова в контекст "новой" русской культуры рубежа веков, что обычно делается нерефлексивно. Конститутивный для этого сектора русской культуры жизнестроительный эстетизм был чужд Шестову, хотя во многих других отношениях Шестов к этому сектору близок.

7. Н.Баранова-Шестова. Указ. соч. Т.I. С.23–24.

8. А.Штейнберг. Указ. соч. С.232–234, 240–241.

9. E.Glouberman. Fedor Dostojevsky, Vladimir Soloviev, Vassilly Rozanov and Lev Shestov on Jewish and Old Testament Themes. Ann Arbor, 1977. P.415.

10. См.: С.Булгаков. Некоторые черты религиозного мировоззрения Льва Шестова. // Современные записки, №68. Париж, 1939. С.139–141.

11. Цит. по: Н.Баранова-Шестова. Указ. соч. С.106–107.

12. См.: E.Glouberman, op. cit. P.300.

13. См.: В.Паперный. О национальной почве философии Льва Шестова (мидраш как философский метод). – В печати.

14. Краткий, популярный, но весьма содержательный очерк мидрашистской герменевтики – а ей посвящена обширнейшая литература – можно найти, например, в: Г.Д.Кохен. Талмудическая эпоха. – В кн.: Р.Маркус, Г.Кохен, А.Галкин. Три великие эпохи в истории еврейского народа. Иерусалим, 1991. С.163–172. Там же см. и о различии галахических (нормативно-легалистских) и аггадических (ненормативных, укорененных в предании, легенде) мидрашей. В настоящей работе речь идет о связи философского метода Шестова – причем связи, замечу вновь, весьма отдаленной, опосредованной системой навыков современного Шестову "бытового" еврейского мышления – именно с последней из обсуждаемых Г.Д.Кохеном категорий мидрашей, к которой и только к которой термин "мидраш" я здесь отношу.

15. В данной связи чрезвычайный интерес представляет содержание разговора между Шестовым и Гуссерлем, переданное, со слов Шестова, в воспоминаниях А.Штейнберга. Возражая против формулы Гуссерля "философия как строгая наука", Шестов использовал в качестве аргумента переиначенную пословицу: "Что еврею здорово, то немцу смерть". В ответ Гуссерль заявил, что он, как, впрочем, и его собеседник, – не еврей. Это вызвало возмущенную реакцию Шестова, причем в его возмущении явно просматривается специфически-философский подтекст: еврей не должен принимать философии, основанной на науке, т.е., в понимании Шестова, на насилии (см.: А.Штейнберг. Указ. соч. С.259).



Исполнил ли С.Л.Франк завещание деда?

Нафтали Прат
(Иерусалим)

Среди изгнанных в 1922 году из России людей мысли был философ Семен Людвигович Франк. Его знала и ценила интеллигенция, с волнением и гордостью наблюдавшая подлинный расцвет русской философской мысли в начале XX века, расцвет, опровергавший расхожее мнение о слабости и несамостоятельности русской философии, о ее "литературном" характере, ее дилетантизме и непрофессиональности.

С.Л.Франк был подлинным философом по призванию, философом строгого, академического склада, не философствующим публицистом или критиком культуры, как многие его выдающиеся современники, в том числе и некоторые из невольных пассажиров "корабля дураков"[1] (так игриво назвал Виктор Ерофеев пароход, увозивший из России по приказу ее правителей – философов – представителей неугодных властям философских течений). "По силе философского зрения Франка без колебания можно назвать самым выдающимся русским философом вообще, – писал в своей "Истории русской философии" профессор Богословского православного института в Париже прот. В.В.Зеньковский, – не только среди близких ему по идеям"[2]. Прот. В.В.Зеньковский отмечает и замечательное литературное дарование С.Л.Франка, не уступающее его философскому дарованию.

Изгнание, по-видимому, не нанесло ущерба философскому творчеству С.Л.Франка. За пределами России были написаны его самые значительные труды, составляющие гордость русской философии и лишь недавно возвращенные русскому читателю. И это несмотря на тяготы и опасности, обильно выпавшие на долю философа-изгнанника.

Большинство авторов, писавших о С.Л.Франке, отмечали его ев-

рейское происхождение. Еврейское происхождение православного русского философа было фактом, оказавшим немалое влияние не только на обстоятельства его биографии, но и на его философские построения. Обоснованию этого тезиса и посвящена наша статья.

С.Л.Франк родился в 1877 г. в Москве. Его отец, Людвиг Семенович, был врачом, заслужившим во время русско-турецкой войны 1877-78 гг. орден св. Станислава – единственный орден, которым награждались евреи. Он был одним из тех русских евреев, которые в эпоху Великих реформ с радостью и доверием устремились в русскую культуру. Скончался Людвиг Семенович в 1882 г., успев стать свидетелем волны еврейских погромов, прокатившейся по России после убийства Александра II. Семен Людвигович Франк вырос в доме своего деда раввина М.М.Россиянского, одного из основателей еврейской общины в Москве. Дед был первым воспитателем Семена Людвиговича. Вспоминая о деде, Франк писал: "Он заставил меня научиться древнееврейскому языку (который я теперь забыл) и читать на нем Библию. Он водил меня в синагогу, где я получил первые, запавшие на всю жизнь религиозные впечатления. (Рядом с этим шли через окружающую русскую среду и религиозные впечатления русского православия.)

Благоговейное чувство, с которым я целовал покрывало Библии, когда в синагоге обносили 'свитки закона', в порядке генетически-психологическом, стало фундаментом религиозного чувства, определившего всю мою жизнь за исключением неверующей юности (примерно от 16 до 30 лет). Рассказы дедушки по истории еврейского народа и по истории Европы стали первой основой моего умственного кругозора. Умирая, он просил меня – тогда четырнадцатилетнего мальчика – не переставать заниматься еврейским языком и богословием.

Этой просьбы, – добавляет С.Л.Франк, – я в буквальном смысле не выполнил. Думаю, однако, что в общем смысле я – обратившись к христианству и потеряв связь с иудаизмом – все же остался верен тем религиозным основам, которые он во мне заложил. Или, вернее, я вернулся к ним в зрелые годы. Мое христианство я всегда сознавал как наслоение на ветхозаветной основе, как естественное развитие религиозной жизни моего детства"[3].

Эти строки написаны в 1935 г., после прихода нацистов к власти в Германии, – стране, где С.Л.Франк жил и работал после изгнания из России, накануне нового изгнания (Германию он покинул в 1937 г.).

Долгие годы С.Л.Франк пытался если не забыть о своем еврейском происхождении, то, во всяком случае, вспоминать о нем пореже. Евреем он себя как будто не ощущал – он полностью солидаризировался с русским народом и принял его религию. Нацисты напомнили ему о том, что в чужих и враждебных глазах еврей останется евреем, и крещение тут ничего не меняет.

С.Л.Франк пришел к православию не сразу. В юности будущий философ испытал влияние марксизма, которым увлекалась в 90-х гг. русская радикальная интеллигенция. Увлечение марксизмом у Франка носило преимущественно интеллектуальный характер; революционные идеи не обладали для него особой привлекательностью. Марксизм увлек его своей наукообразной формой, своей претензией на познание объективных общественных закономерностей. Подчеркнутый объективизм марксизма (противопоставляемый субъективной социологии народничества) привлек к этому учению и будущего друга и во многом единомышленника Франка П.Б.Струве. В понятии "научный социализм" их обоих привлекало прилагательное гораздо больше существительного.

Весной 1894 года С.Л.Франк поступил на юридический факультет Московского университета. Лекции он почти не посещал, но занимался теоретическими спорами в марксистских кружках и даже пропагандой социал-демократических идей среди рабочих, которые, по его позднейшему признанию, как и вообще конкретная социальная реальность, отчетливо им не воспринимались. Вскоре, однако, С.Л. Франк почувствовал несоответствие между своими подлинными духовными запросами и тем, что предлагала ему революционная среда. Ему стало душно "в этой атмосфере сектантской веры", и осенью 1896 года он отошел от революционной деятельности; не порывая с идеями социализма, он занялся научной критикой экономической теории Маркса.

По своему темпераменту С.Л.Франк был скорее созерцателем, чем деятелем, мыслителем, а не борцом. Попав в духовно чуждую ему революционную среду, он не задержался в ней. И однако в 1899 году Франк был арестован в связи со студенческими волнениями, охватившими большинство русских университетов. Высланный из Москвы на два года без права проживания в университетских городах, С.Л.Франк уехал сначала к родным в Нижний Новгород, а затем за границу, в Германию. Хорошо владея немецким языком, Франк слушал в Гейдельбергском и Мюнхенском университетах лек-

ции по политической экономии и философии. Плодом пребывания в Германии явилась первая научная работа С.Л.Франка – не философская, а экономическая! Она называлась "Теория ценности Маркса и ее значение. Критический этюд" (Москва, 1900). Франк преодолевал в ней догматическое отношение к букве экономического учения Маркса, столь характерное для ортодоксального марксизма, особенно в России.

Книга Франка привлекла внимание ученых-экономистов. Ему предложили подготовку к профессуре в недавно созданном Политехническом институте. Однако Франк отверг это предложение, т.к. оно было связано с изменением вероисповедания – условием, которое он справедливо считал унизительным. Весной 1901 года Франк вернулся в Россию – двухгодичный срок высылки закончился – и, сдав государственные экзамены в Казанском университете, получил степень кандидата. Однако экономика не была призванием Франка. В политической экономии его привлекла абстрактно-теоретическая сторона, граничащая с философией. Очень скоро философия превратилась в главный предмет, занимавший Франка; хотя интерес к общественным вопросам сохранился у него на всю жизнь, он отныне рассматривал их с философской и только философской точки зрения.

Подобно другим русским мыслителям своего поколения и схожей судьбы – С.Булгакову и Н.Бердяеву – С.Л.Франк проделал эволюцию "от марксизма к идеализму". В 1902 году он напечатал в нашумевшем сборнике "Проблемы идеализма" свою первую философскую статью "Фр.Ницше и этика любви к дальнему", где попытался примирить полярно противоположные этические принципы – кантовский категорический императив и ницшеанскую "любовь к дальнему" – к абстрактным идеалам, принципам, теориям. В России увлечение Ницше захватило людей самых различных взглядов и умонастроений: декаденты и марксисты, эстеты и христиане – все находили нечто ценное в увлекательных писаниях немецкого мыслителя. Статья Франка давала основание для ницшеанского утверждения революционной этики, поэтому к ней весьма благосклонно отнесся ницшеанствующий марксист А.В.Луначарский, беспощадный критик идеалистических увлечений бывших марксистов. Франк, однако, разочаровал тех, кто ждал от него философского оправдания революционной практики. Во втором знаменитом, по мнению многих, пророческом, философском сборнике "Вехи" Франк выступил со статьей "Этика нигилизма", где дал волю своему раздражению господствующими в среде

русской радикальной интеллигенции нравами, подверг уничтожающей критике свойственное ей умонастроение "нигилистического морализма" и противопоставил ему призыв к "творческому, созидающему культуру религиозному гуманизму"[5].

С 1910 года Франк публиковал в журналах статьи, посвященные различным течениям философской мысли, в том числе философским идеям таких поэтов, как Гете и Тютчев. Статьи впоследствии были объединены в сборниках "Философия и жизнь" (СПб, 1910), "Живое знание" (Берлин, 1923). Глубокие и блестяще написанные, статьи содержали многие из главных идей философской системы Франка, однако высказаны они были лишь по поводу чужих мыслей, как бы мимоходом. Как отмечал С.А.Левицкий, "на основании этих статей еще трудно было предсказать, что автор их явится одним из самых выдающихся русских философов и что именно Франку суждено будет дать едва ли не самый совершенный философский синтез, который когда-либо удавался русской мысли"[6].

В 1915 году вышла в свет книга С.Л.Франка "Предмет знания" – его магистерская диссертация. Эта книга сразу поставила Франка в число самых крупных представителей достигшей наконец зрелости русской философии. Наряду с книгой Н.О.Лосского "Обоснование интуитивизма" и, может быть, книгой С.А.Аскольдова-Алексеева "Мысль и действительность", книга Франка является важнейшим произведением русской мысли, посвященным гносеологии. Главная мысль этой книги может быть сформулирована как идея онтологической гносеологии, идея неразрывной связи между знанием и бытием. Анализ человеческого знания, осуществленный Франком с редкой в русской философии логической силой и точностью, приводит к выводу, что в познании нам непосредственно открывается само Абсолютное бытие, металогическое Всеединство. Этот анализ есть развернутое онтологическое доказательство бытия Божия, истории которого Франк посвятил специальное приложение к своей книге. Однако то понятие Бога, которое вырастает из тонкого анализа Франка, весьма далеко от традиционного религиозного представления об Отце и Промыслителе. Имманентная логика философской системы Франка неумолимо влечет его к пантеизму – отождествлению или, по крайней мере, чрезмерному сближению Бога и мира. В понятии Всеединства, как оно вырисовывается в книге "Предмет знания", отсутствует аксиологический момент – всеблагость Бога. Логика требует признать то понятие Бога как первоединства всего суще-

го, которое обосновывается в книге Франка, этически нейтральным; более того, Бог как первоисточник мировой реальности должен быть признан и творцом зла, реальность которого в мире невозможно отрицать.

Против этих выводов решительно восставало этическое сознание Франка и его глубокое религиозное чувство, бывшее, по-видимому, главным, хотя и до поры до времени скрытым двигателем его духовной эволюции. Франк сознавал это противоречие между логикой своей философской системы и сокровенными чаяниями своей души. Он стремился преодолеть это противоречие, вводя в свою философию чужеродные ей элементы мистики и диалогизма. Удался ли чаемый синтез – об этом ниже. В "Предмете знания", целиком посвященном гносеологическим и онтологическим вопросам, признаки этого синтеза отсутствуют. Бог, о котором говорится в первой большой и, может быть, самой совершенной с логической точки зрения книге Франка, – это "Бог философов и ученых", а не "Бог Авраама, Исаака и Иакова" (если воспользоваться знаменитым изречением Паскаля).

Однако параллельно с вызреванием философских взглядов Франка происходил и процесс его религиозного самоопределения. Давно отойдя от иудаизма, Франк в 1912 году "стал христианином, веруя, что этим не порывает, а, наоборот, укрепляет духовную связь со своим прошлым"[7]. Если ранее от принятия христианства его удерживали этические соображения, то, по словам А.В.Карташева, "после манифеста 17 апреля 1904 года о свободе совести и октябрьской конституции 17 октября 1905 года пали одно за другим моральные препятствия для еврея принимать православие. Никто уже не мог впредь упрекнуть крестившегося, что это делается для карьеры: для права на государственную, судебную и профессорскую службу"[8].

Эти слова выдающегося историка церкви не вполне соответствуют реальному положению евреев в России, вступившей после 1905 г. на путь конституционализма робко и непоследовательно; однако они, по-видимому, правильно выражают то настроение, с которым С.Л. Франк поспешил сбросить опостылевшее ему бремя еврейства. Впрочем, в глазах и благожелательно настроенных православных еврейское происхождение Франка оставалось важным фактом, в немалой степени предопределявшим их отношение к "новому христианину". Весьма любопытно и показательно свидетельство проф. А.В.Карташева, который в своих характеристиках современников и во многом

единомышленников (В.Эрна, о. П.Флоренского и др.) всегда исходил из их национального облика. "Франка я встретил впервые в 1904 году в редакции 'Вопросов жизни', – писал он в статье "Идеологический и церковный путь С.Л.Франка". – При редких редакционных встречах я не переставал удивляться исключительному впечатлению, которое оставляла во мне его крупная, рослая фигура. Медлителен, неговорлив, с тихим голосом. Бесстрастен, нерезв, нешутлив. Выразительно, лучисто улыбался лишь своими большими выпуклыми глазами. Казалось: вот такой был Адам. Такова порода первых восточных людей. Что-то по природе почтенное, даже величественное"[9].

Ясно, что в глазах А.В.Карташева С.Л.Франк был прежде всего евреем, и принятие этим "архитипическим" евреем православия было в глазах православного ученого исполнено глубочайшего смысла, как бы предвосхищая грядущее обращение Израиля. Все написанное Карташевым о Франке выдержано в этом ключе. Карташев пишет, что, готовясь к крещению, Франк избрал себе отцом духовным священника, известного своими либеральными взглядами, и считает такой выбор вполне понятным в положении свободомыслящего прозелита: "Мы все имеем право и ищем психологически удобного отца духовного, чтобы облегчить себе муку исповеди. Тем более это существенно для переступания столь глубокой мистической грани, какая пролегла между двумя единоутробными, но трагически распавшимися братьями: иудейством и христианством"[10].

Для А.В.Карташева удивительной оказалась политическая позиция С.Л.Франка, который уже во время революции 1905 г. относился весьма критически к левому радикализму. "Я удивился этому особенно потому, что привык думать о самых правых евреях, что им родственно-понятна всякая революционная левизна, что они, даже лично свободные от нее, все-таки вчуже пощадливы к ней, как 'братскому' недостатку!"[11].

Совершенно очевидно, что в уме профессора Карташева сложилась неразрывная ассоциация понятий "еврей" и "революционер", свойственная столь многим представителям крайне правого лагеря русской политики; к этому лагерю А.П.Карташева все же трудно причислить. Отнюдь не будучи сознательным антисемитом, православный историк разделял все же многие предрассудки своих единоверцев, тем более, что стереотип еврея-революционера возник не случайно и, как многие другие стереотипы, представлял собой обобщение некоторых реальных фактов, обобщение логически не оправ-

данное, но психологически понятное. Во всяком случае, Карташев все время помнит о еврействе Франка, о его чуждом России и православию (хотя, может быть, и весьма почтенном) происхождении. Свою небольшую статью Карташев заканчивает описанием встречи с Франком уже в эмиграции, в Париже.

Приглашенный читать лекции в Св. Сергиевской Духовной Академии, С.Л.Франк в день своего ангела, Симеона Богоприимца (3 февраля старого стиля 1927 года) зашел в церковь и перед причастием долго и пристально рассматривал икону Богоматери. "Мне стало неловко быть 'наблюдетелем' в такую минуту, – пишет А.В.Карташев. – Я ушел и надолго остался под впечатлением виденного или, точнее, внешне никому не видимого, но вечно совершающегося трагического преодоления ветхого завета новым. Тогда, при кесаре Тиверии, Симеон Богоприимец 'радостно принял' из рук Девы того, Кто составлял непреходящую 'славу Израильского народа' и 'свет откровения для языков'. А через 40 лет нужен был громовой удар и ослепление, чтобы строптивого Савла обратить в Павла. Теперь новый Симеон идет светлым путем старого Богоприимца, без видимых потрясений "принимая" от иконного лика родной ему по плоти Девы Ея Сына, как Бога"[12].

Годы первой мировой войны С.Л.Франк провел в Петрограде. С 1912 года он был приват-доцентом при Петербургском университете. После выхода в свет книги "Предмет знания" он работал над книгой "Душа человека", которая должна была стать его докторской диссертацией. Защита не состоялась из-за того, что разразившаяся в 1917 году революция в разрушительном порыве отменила вместе с титулами и чинами ученые степени.

Книга "Душа человека" (издана в 1917 г.) представляет собой дальнейшее углубление философской системы С.Л.Франка. Если "Предмет знания" обосновывал концепцию онтологической гносеологии, то "Душа человека" создавала философскую психологию – в отличие от эмпирической "психологии без всякой метафизики". В "Предмете знания" говорилось о познании мира в "Душе человека" – о познании самого себя. Франк открывал глубинное измерение человеческой души, ее онтологическую природу. Душа уподобляется Франком бездонному колодцу, ведущему в сердце бытия. Она многослойна, но во всех ее слоях можно различить два полюса – полюс бесформенного, чисто потенциального полубытия и полюс всепроникающего единства, который есть не что иное, как отражение един-

ства Абсолютного в некоем субстрате, как бы отрицающем характеристики Абсолютного, но неспособном их преодолеть. Этот преодолеваемый дуализм душевной жизни становится прообразом того основного принципа зрелой философии Франка, который был назван им впоследствии "антиномистическим монодуализмом". То человеческое "я", которое восходящая к Лейбницу персоналистская традиция считала простой и неразложимой субстанцией, оказывается у Франка чем-то гораздо более сложным, одновременно божественным и материальным (если понимать материю в аристотелевском смысле чистой потенциальности). Франк, следуя идеям немецкого идеализма, школу которого он прошел, не отождествлял живое человеческое самобытие с абстрактным гносеологическим субъектом, который казался ему совершенно безличным центром, "светлой точкой" в потоке непосредственного самобытия.

Плодотворное развитие идей двух первых философских трудов Франка требовало спокойствия и возможности беспрепятственно отдаться глубоким размышлениям, сосредоточиться на предельно сложных темах мирового и человеческого бытия. Условия, в которых приходилось работать философу, не благоприятствовали его творчеству. Бурные годы революции заставили Франка вновь обратиться к философской публицистике и вообще уделять гораздо большее внимание общественным проблемам, чем этого требовал его философский темперамент. В сборнике "Из глубины" (1918), продолжавшем традицию "Вех", Франк выступил со статьей "De profundis" – центральной статьей сборника, не случайно определившей (в русском переводе) его название. Потрясенный масштабами национальной катастрофы, воспринятой как "самоубийство великого народа", Франк попытался найти источник зла в общей и глубокой форме. Первоисточником в глазах Франка был коренной надлом в русском национальном жизнечувствии, разрыв между религиозным сознанием, пассивным и бездейственным, и волевой энергией, лишившейся облагораживающего и просветляющего сознания духовных основ жизни. Франк формулировал в этой статье мировоззренческие основы тех политических взглядов, которых он впоследствии – в основном – придерживался до конца жизни (хотя, конечно, исторические события внесли в эти взгляды некоторые коррективы). Эти взгляды можно определить как консервативно-либеральные. Конкретное содержание этого определения было выражено Франком с исчерпывающей полнотой в книге "Духовные основы общества" (1930), а в новом,

переосмысленном варианте – в книге "Свет во тьме" (1950) и ряде статей.

Накануне октябрьского переворота С.Л.Франк стал деканом и ординарным профессором новооткрытого историко-философского факультета Саратовского университета. Осенью 1921 года Франк переехал в Москву, где в связи с началом НЭПа сложилась сравнительно либеральная обстановка. Он был избран членом философского института, выделенного из университета в особое учебное заведение, и вместе с Н.А.Бердяевым основал Академию духовной культуры. Франк выступал с лекциями перед широкой аудиторией. В частном издательстве "Берег" и издательстве "Akademia" вышли две популярные, но весьма серьезные по содержанию книги Франка: "Введение в философию" (1922) и "Очерк методологии общественных наук" (1922).

Однако уже летом 1922 г. диктатура положила конец этим попыткам возрождения свободной философской культуры. Вместе с другими людьми мысли С.Л.Франк был выдворен за пределы России.

Поселившись в Берлине, который был в 20-е годы крупнейшим центром русской эмиграции, С.Л.Франк стал одним из руководителей Русского Научного Института, основанного группой высланных из России ученых. Франк читал лекции на русском и немецком языках. В 1932 г. (последний год существования института) Франк был его директором. Он участвовал также в работе Религиозно-философской академии, основанной в Берлине русскими философами во главе с Н.А.Бердяевым. После переезда академии в Париж (1924) Франк продолжал читать от ее имени лекции в Берлине. Он сотрудничал с Русским Студенческим Христианским Движением. На основе лекций, читанных Франком в Берлине в 20-е годы, были написаны две популярные работы: "Крушение кумиров" (1924) и "Смысл жизни" (1926). В ясной, убедительной форме доказывал Франк тщету всех тех идеалов, которыми жила русская интеллигенция накануне великой катастрофы, и тщету жизни, не знающей света Божественной любви. Снова Франк обращается к идее самоочевидности Божьего бытия; но это уже не безличное и равнодушное бытие, какое, против воли автора, вырисовывается в "Предмете знания"; это живой Бог, которого жаждет душа, отчаявшаяся во всех призрачных идеалах и стремящаяся опереться на вечную и неопровержимую Истину. Сама жажда смысла жизни, по Франку, есть подлинный залог утоления этой жажды.



С.Л.Франк. Базель, 1914 г.

В этих популярных работах нет кропотливого, несколько педантичного логического анализа, характерного для книги "Предмет знания"; зато в них нашла адекватное выражение живая вера в Бога, радостная встреча человеческой души с ее Отцом. Глубокой убежденностью в религиозном смысле философии, в том, что философия есть в сущности Богопознание, проникнута статья Франка "Философия и религия" в сборнике "София" (Проблемы духовной культуры и религиозной философии, под редакцией Н.А.Бердяева. Берлин, 1923). При этом Франк ни на йоту не отказался от основных положений своего философского мировоззрения: он остался платоником, прозревающим за видимым, постоянно изменяющимся и исчезающим миром "бывания" царство вечного и неизменного подлинного бытия. Социальное преломление этого платонизма Франк попытался выразить в книге "Духовные основы общества" (см. выше) – книге, отягощенной зависимостью от "органических" теорий романтического консерватизма и подчеркнутой оппозицией индивидуализму и безрелигиозным идеям народовластия.

Эти политические аспекты книги, по-видимому, явились причиной отрицательного отношения к ней автора в последние годы жизни, когда он не соглашался на ее переиздание. В 20-е гг. Франк в политике стоял на довольно правых позициях; впоследствии он попытался стать "по ту сторону левого и правого", оставаясь, однако, верен основным философским предпосылкам своих социальных воззрений. Главной из них является отрицание первичности изолированного "я", того "гносеологического индивидуализма", который со времен Декарта господствовал в философии Нового времени. Индивидуальное "я", по Франку, производно от целостного социального единства "мы"; само сознание "я" возникает в акте общения с "ты", а дуализм "я" и "ты" преодолевается в единстве "мы", имеющем метафизическую природу. В духе романтических теорий Франк различает два типа общественных связей: органический ("соборность") и механический, производный от органического ("общественность"). "Соборность", славянофильский термин, употреблен Франком вместо немецкого слова "Gemeinschaft" ("общинность"), противопоставляемого в романтических теориях "общественности" ("Geselschaft"). Немецкое происхождение социально-философских взглядов Франка неудивительно. В немецкой культуре русский философ чувствовал себя дома. С 1930 по 1937 годы он читал лекции в Берлинском университете и чутко отзывался на новые веяния в немецкой философии. Нельзя не при-

знать, что именно через современную ему немецкую мысль некоторые важные духовные явления в жизни еврейства оказали на него прямое бесспорное влияние. Прежде всего, Франк испытал влияние диалогической философии Бубера, изложенной в книге "Я и Ты". Центральное для мысли Бубера противопоставление отношений "Я – Ты" и "Я – Оно" стало исходным пунктом социальной философии Франка. Специфически-православную окраску придает этой философии акцент на онтологическом единстве индивидов, которых Франк уподобляет, заимствуя образ у неоплатоника Плотина, отдельным листьям на общем дереве. Платонизм всегда был философской опорой православной мысли. Его реалистический онтологизм, утверждение примата общего над единичным, может быть интерпретирован в религиозных терминах как соборность, признание реальности надиндивидуального единства церкви – "тела Христова". Франк попытался соединить диалогизм с он-тологизмом в категории "Мы". Диалогическая философия Бубера, та- ким образом, является лишь "моментом" философии Франка, которая не исчерпывается констатацией первичности отношения "Я – Ты", но ищет глубинного, онтологического обоснования этого отношения.

Хотя Франк в своей социальной философии развивает православную тему соборности, эту философию едва ли можно назвать конфессиональной. Философ по призванию, Франк никогда не был богословом и относился с недоверием ко всяким попыткам строить философскую систему на основе догматов какой-либо положительной религии. В этом он резко расходится с такими выдающимися русскими мыслителями, как о.П.Флоренский, о.С.Булгаков или В.Эрн, которые, следуя традиции славянофилов, стремились создавать православную философию. В высшей степени широкая трактовка Франком таких понятий, как соборность, делает его философию приемлемой и для представителей иных вероисповеданий. Чтобы соглашаться с Франком, не обязательно принадлежать к православной церкви. Вместе с тем, философским построениям Франка нельзя отказать в родстве с некоторыми темами православного богословия.

Менее очевидна зависимость философии Франка от идей другого видного представителя еврейской религиозной мысли, развивавшейся на почве немецкой философской традиции, – Ф.Розенцвейга. Если философские идеи М.Бубера стали для С.Л.Франка материалом для построения собственной философской системы, то идеи Ф.Розенцвейга явились для него прежде всего предметом серьезной, хотя и до-

брожелательной критики. Книге Розенцвейга "Звезда спасения" Франк посвятил пространную статью "Мистическая философия Розенцвейга" в журнале "Путь" (1926 г., №2). Франк называет эту книгу одним из самых замечательных явлений современной западной мистической мысли. Он подчеркивает, что автор ее – еврей и его книга ставит себе целью мистическое раскрытие и оправдание иудаизма. Однако, по мнению Франка, содержание ее гораздо шире – это "целостная, своеобразно сочетающая философию с богословием и преодолевающая односторонности обоих, мистическая философия, из религиозного опыта почерпнутое учение о сущности Бога, мира и человека и о смысле человеческой жизни"[13]. Франк не скупится на похвалы книге Розенцвейга, восхищаясь прежде всего присущим ей сочетанием богатства тем и глубины интуиции со строжайшей архитектонической стройностью. Однако под этой стройностью, по мнению Франка, "скрыта ... внутренняя раздробленность, она предназначена сковывать и сдерживать жесточайшее противоборство духовных начал, не нашедших подлинного внутреннего единства"[14]. Франк дает конспективное изложение содержания книги Розенцвейга, после чего приступает к ее критике, отмечая, что эта критика должна, чтобы не разрастись в целый трактат, ограничиться намеками. В поисках основных пробелов и слабостей религиозного мировоззрения и жизнечувствия Розенцвейга Франк обращает внимание прежде всего на "неслучайность парадоксальности отправного пункта – раздробленности бытия на три обособленных начала – Бога, мира и человека"[15]. Франк обнаруживает у Розенцвейга разрыв между Богом и человеком, неведение Богочеловечества, а это, по его мнению, есть основной грех иудаизма. Заключение статьи Франка о книге Розенцвейга звучит как обвинение против иудаизма: "Так Розенцвейг, при всей глубине своих мистических прозрений, не преодолевает двух основных, противоречащих друг другу и вместе с тем связанных друг с другом односторонностей, которыми страдает современное ветхозаветное сознание и которыми объясняется и трагедия отвержения Богочеловека народом, Его породившим: крайнего исключительного культа трансцендентного Божества и потому – забвения трансцендентного Бога в имманентизации человеческой жизни, культе чисто земной, мирской, натуральной святости"[16].

Франк понимает, что ортодоксальный иудаизм вряд ли признает Розенцвейга адекватным своим выразителем – его книга слишком насыщена немецкой духовной культурой. "Но для европейской мысли

его книга есть все же пробудившийся голос иудаизма, – утверждает Франк уверенно, как бы ощущая себя полномочным представителем европейской мысли, наделенным правом судить чуждые ей духовные явления. – В этой стройной симфонии звучат тайные диссонансы – вечные диссонансы еврейской души. Она вся есть неутоленный крик томящейся души о спасении. Спасение есть центральная тема книги, выраженная и в ее заглавии. Она ищет спасения в недостижимой трансцендентной всему человеческому мистической звезде божественного света и, не достигая ее, тешится надеждой, что эта звезда уже сияет в темном пламени натуральной тварной 'богочеловечности' избранного народа, она не видит, что истинное спасение не в грядущем внешнем соединении трех точек – Бога, мира и человека линиями в треугольнике и не в их тщетном удвоении в звезде, а лишь в уже осуществленном, исконном и нераздельном единстве Бога и человека, жертвенно победившим мир – на кресте"[17]. Нигде больше Франк не утверждал с такой категоричностью превосходства христианства над иудаизмом, как в этой забытой ныне рецензии. Еврейство, к которому он принадлежал по рождению, представляется ему чем-то чуждым и внешним; он высокомерно осуждает его, не унижаясь, правда, до вульгарного антисемитизма, столь часто свойственного апостатам, но и не ощущая никакой солидарности с породившим его народом... Критика взглядов еврейского философа, в чем-то ошибавшегося, как все философы, превращается у Франка в критику иудаизма как религии. И это, пожалуй, единственный случай конфессионального философствования у Франка.

Приход нацистов к власти в Германии заставил Франка – против воли – ощутить свою связь с еврейством. Нацистам не было дела до того, во что верит или не верит еврей (как писала одна нацистская газета). Франк лишился возможности преподавать в университете и был насильственно включен в касту париев. В 1937 г. (еще до "Хрустальной ночи") Франк наконец решился покинуть Германию, ставшую было его второй родиной, и переселился в Париж. Здесь в 1939 году вышла в свет самая зрелая и глубокая книга Франка – "Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии"[18]. Эта книга является наиболее полным и последовательным изложением цельной философской системы Франка. В ней объединены основные идеи, первоначально нашедшие выражение в книгах "Предмет знания", "Душа человека", "Смысл жизни", "Духовные основы общества". В новой книге эти идеи, обогащенные и заново

продуманные, были представлены в синтетическом единстве, ориентированном в направлении философии религии. Мысль Франка, основанная на традиции христианского платонизма, испытала особое влияние учения Николая Кузанского о совпадении противоположностей (coincidentia oppositorum) и умудренном неведении (docta ignorantia). Книга "Непостижимое" явилась плодом многолетнего труда. Первоначально она была написана на немецком языке и должна была выйти в Германии. "Этому опубликованию, – сдержанно пишет Франк в "Предисловии", – помешали неблагоприятные политические условия времени"[19]. В русский текст, однако, был внесен ряд существенных изменений и дополнений, так что "Непостижимое" – не перевод с немецкого, а заново написанный труд.

Центральное понятие этого труда, вынесенное в его название, не может быть исчерпано никаким определением. Это – Бог апофатической (отрицательной) теологии, "положительное Ничто", превосходящее всякое бытие. Непостижимое непосредственно дано нам в качестве основы всякого опыта. Путем тщательного анализа Франк показывает, что все пласты бытия – внешний мир, человеческое самосознание и вневременный мир идей – погружены в Непостижимое, открывающееся как иррациональный остаток при попытке исчерпывающего описания этих пластов. Франк исследует Непостижимое в трех сферах или аспектах: в сфере предметного знания, в непосредственном самобытии человеческой души как самооткрывающейся реальности и, наконец, в сфере Абсолютного, отождествляемого со Святыней, или Божеством.

В первой сфере (предметного знания) Франк различает "Непостижимое для нас" как предмет знания; "Непостижимое по существу" как металогическое бытие, которому присущ момент иррациональности; "Непостижимое как безусловное бытие и реальность", отличную от эмпирической "действительности". Непостижимое, говорит Франк, не может быть условлено ни в каком суждении. Трансцендентальное мышление, осознающее иррациональные основы самой рациональности, ведет к "умудренному неведению" как "антиномистическому познанию". Единственно адекватная онтологическая установка для "умудренного неведения" – это установка "антиномистического монодуализма". Во второй сфере ("Непостижимое как самооткрывающаяся реальность") Франк прежде всего исследует Непостижимое как "непосредственное самобытие", в котором обнаруживает "двуединство непосредственного бытия и самости" и определяет его как "субъек-

тивность", отличную от всякого объективного, предметного бытия, как "бытие-для-себя". Непосредственное самобытие, по Франку, не замкнуто в себе, но трансцендирует в более глубокую, превосходящую его реальность: в другое "я" (отношение "Я – Ты") и вовнутрь, в "духовное бытие" как основу субъективного, душевного бытия.

Противоположность между внешним и внутренним миром, согласно Франку, преодолевается в признании их внутреннего антиномистического единства, в первооснове бытия, которое есть одновременно и "осмысляющее основание бытия", его "смысл", и "единство бытия и права"[20]. Как "живая целостная правда, как сущий творческий смысл и абсолютный первоисточник бытия"[21] первооснова есть нечто иное, как "Святыня" или "Божество", исконное единство ценности и реальности. Очевидность Божества трансрациональна. Она открывается не "чистому", т.е. замкнутому в себе разуму, но "целостности нашей жизни", разуму, который "черпает свои силы и свой свет из потенции 'сердца' и тем обретает возможность трансцендировать за пределы самого себя"[22].

Эта славянофильская тема "живого знания" позволяет Франку вырваться из заколдованного круга чистого онтологизма и вступить в область экзистенциальной философии.

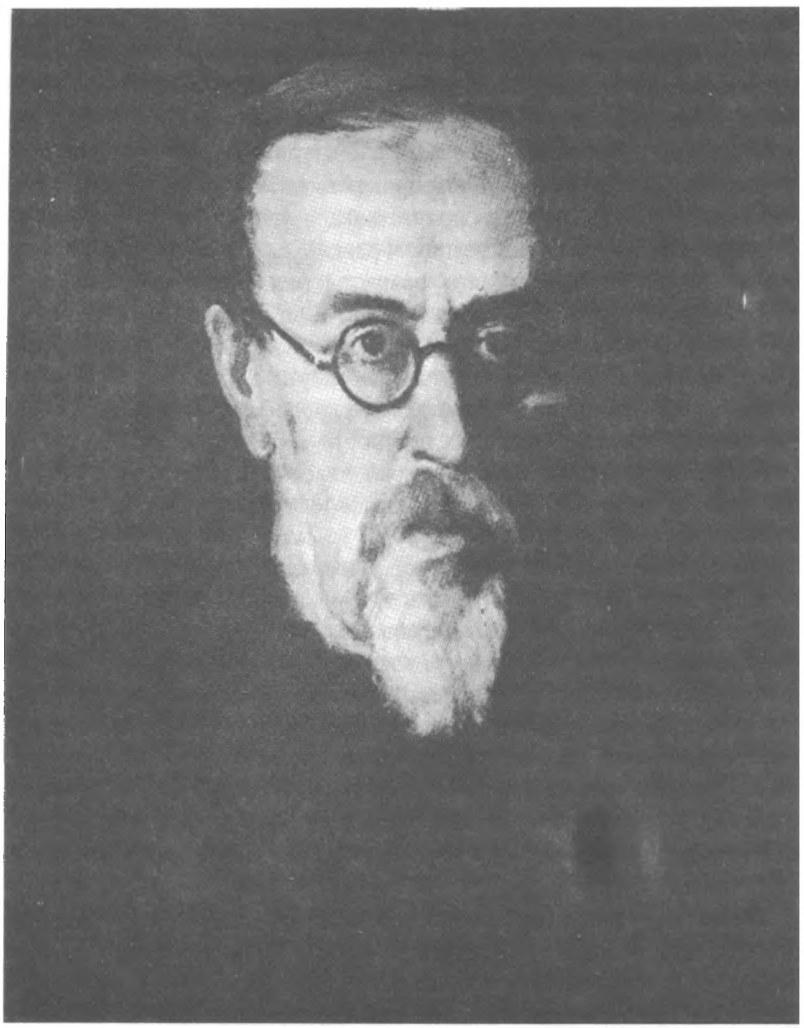
Безымянное и непостижимое "Божество" становится "Богом", обретает "имя" в общении со "мной", с конкретным человеческим "я". Согласно Франку, о Боге нельзя говорить в третьем лице, называть его "он": Бог всегда есть "Бог-со-мной", "мой Бог" – "перво-Ты", платоновская идея – образец всякого частного "Ты". Само мое "я" творится направленным на меня Божьим взором. И только в качестве "я-с-Богом" мое "я" обладает бессмертием. Франк рассматривает соотношение между "общим откровением Бога" в философии и "конкретно-положительным откровением" в религии. Он утверждает их единство и в то же время антиномистическое противоборство, однако решительно отказывается выйти за пределы философии и вступить в область догматического богословия. В этих пределах он утверждает трансрациональное единство противоположных определений Бога – как Абсолютного и как Личности, как Божества и как абсолютного "Ты". Франк не останавливается на констатации связи между "я" и Богом – эта связь, по его мнению, в своем корне сводится к единству богочеловеческого бытия. "В общей своей форме это сознание внутреннего единства человека с Богом может быть названо богочеловеческим бытием человека; а поскольку оно связано

с сознанием укорененности 'я' и 'мы'<...> мы обретаем откровение того, что может быть названо Богочеловечеством"[23].

От темы "Бог и я" Франк переходит к теме "Бог и мир". Здесь с наибольшей ясностью проявляются пантеистические тенденции философии Франка. Франк отвергает традиционное учение о "сотворении мира", понимаемом как причинная связь между Богом и "возникновением" мира. Мир, по Франку, не имеет начала и конца во времени, но он "не вечен, ибо есть не из себя самого, не есть causa sui"[24]. Обоснованность мира Богом, вызывания мира к бытию, по Франку, совпадает с дарованием ценности, осмыслением. Отношение Бога к миру, согласно Франку, трансрационально и может мыслиться лишь в духе антиномистического монодуализма – "как внутреннее единство двух или как двойственность одного"[25]. Неудивительно, что даже такой почитатель философии Франка, как прот. В.В.Зеньковский, вынужден признать, что у Франка "от понятия творения остается собственно только слово", и недоумевает, "зачем вообще занят Франк понятием творения – разве из желания посчитаться с традиционной богословской фразеологией?"[26]

Те же трудности испытывает Франк, пытаясь обосновать свободу человека, происхождение зла в мире и ответственность человека за него. Всюду у Франка традиционная богословская терминология используется для выражения совершенно иного философского содержания. Именно поэтому Франк может быть приемлем для тех, кто не разделяет его конкретно-религиозных взглядов, исповедует иную религию или не принадлежит к какой-либо определенной конфессии, но верует в Бога, по-разному приоткрывающего Свою непостижимую сущность в разных религиях мира...

В структуре книги Франка "Непостижимое" можно усмотреть прямое влияние Розенцвейга, труд которого Франк подверг столь внимательному и пристальному критическому разбору. Подобно Розенцвейгу, Франк рассматривает отношение между тремя "началами" или "элементами": Богом, человеком и миром. Подобно Розенцвейгу, Франк мыслит отношение между Богом и человеком в экзистенциально-диалогических категориях, а понятие сотворения мира лишает его характера события, имевшего место в прошлом, и придает ему смысл зависимости существования мира и Бога, чья мощь поддерживает бесконечно продолжающийся процесс мировой эволюции. Но Франк не просто заимствует у Розенцвейга структуру его книги: "Непостижимое" Франка – это одновременно и полемика со "Звез-



Портрет С.Л.Франка работы Л.В.Зака

дой спасения" Розенцвейга. Разделенные элементы Розенцвейга объединены у Франка во Всеединстве. Вдохновенная полемика Розенцвейга против рациональной философии, которая растворяет индивидуальное человеческое бытие в безличном Целом, умеряется у Франка утверждением, что это Целое, Всеединство есть подлинная родина человека; оно не безлично, но сверхлично. Бог – не "оно", но "ты", вечное "ты", и он же – всеобъемлющее единство всего сущего, в котором коренится и единство человечества. Франк – платоник и метафизический реалист, включающий в свою систему и элементы религиозного экзистенциализма. Удался ли Франку этот синтез? Сам Франк не был до конца удовлетворен плодами своего труда и до последних лет жизни продолжал совершенствовать свою систему.

Внешние события не благоприятствовали углубленному умственному труду. Поражение и оккупация Франции снова поставили Франка перед реальной угрозой гибели. Франк не разделил судьбу своих соплеменников, выданных правительством Виши германским властям. Он провел годы войны на юге Франции, скрывая свое еврейское происхождение. Нельзя, разумеется, упрекнуть Франка за то, что он не последовал примеру французского философа А.Бергсона, демонстративно изъявившего свою солидарность с преследуемыми евреями, хотя в последние годы жизни он склонялся к католицизму. Нельзя требовать от человека – даже философа – добровольного мученичества. Тем более, что трагические годы войны и оккупации оказались весьма плодотворными в творческой биографии Франка. Он написал книгу "С нами Бог" (опубликована в 1946 г. на английском языке и лишь в 1964 г. – в русском оригинале). Это вдохновенное, глубоко личное изложение религиозных взглядов Франка, его очень широкого и либерального, чуждого всякого догматизма понимания христианства. Христианство для Франка в сущности тождественно "естественной" религии; оно есть адекватное выражение личного религиозного опыта. Личному религиозному опыту Франк отдает явное предпочтение перед всяким вероучением. Истинность любой теологии, любого "конкретного откровения" проверяется на оселке личного религиозного опыта.

Тогда же была написана книга "Свет во тьме" – опыт христианской этики и социальной философии (1950); в этой книге Франк попытался решить вечную проблему, смущающую со времен библейского Иова религиозное сознание: как согласовать веру во всемогущество и всеблагость Бога с видимым господством зла в мире? От-

вет Франк находит в словах евангелиста Иоанна: "И свет во тьме светит, и тьма не объяла его" (Иоан. 1:5).

Борьба между добром и злом, согласно Франку, мучительно трудна, и нет гарантии победы добра в пределах мирового бытия. Однако борьба против зла имеет смысл, совершенно не зависимый от веры в победу над ним. Господство зла в мире представляется Франку "метафизически невозможным", хотя и "эмпирически реальным". Единственное объяснение этому противоречию и преодоление его Франк находит в христианском учении о "кенозисе" – свободном нисхождении Божества в отпавший мир ради его спасения. Франк проводит различие между "совершенствованием" мира и его "спасением". Совершенствование мира достижимо человеческими силами, спасение возможно лишь актом божественной благодати. Смешение этих двух задач, попытка спасти мир мерами "закона", т.е. установлением некоего идеального порядка, осуществляемого принудительно, составляет, по Франку, "ересь утопизма", проявлениями которого являлись большевизм и национал-социализм. Этой ереси Франк противопоставляет веру в богосынство человека и реальность Царства Божия – подлинной духовной родины человека, лишь временно покинутой им. Более полный и глубокий религиозный опыт, по Франку, содержит в себе сознание абсолютной мощи Святыни, несмотря на ее эмпирическую ограниченную силу. В книге "Свет во тьме" содержится традиционное для христианской мысли противопоставление "закона" – "благодати". Поэтому С.А.Левицкий – ученик и последователь Н.О.Лосского – с удовлетворением отмечает, что "во всей этике Франка так, как она изложена в 'Свете во тьме', меньше гнозиса и больше исполненности духом подлинно христианской мистики. Франк строит здесь свою этику, исходя из Откровения, лишь дополняя ее своим гнозисом"[27].

Нет, однако, никаких оснований усматривать в этой книге Франка радикальный пересмотр им своих философских воззрений. Понимание откровения Франком осталось прежним, так же как и понимание им церкви, отнюдь не совпадающее с тем, которого придерживается большинство православных.

В 1945 году Франк переехал в Англию. Он подготовил там антологию В.Соловьева, вышедшую в свет в переводе Н.Даддингтон в 1950 году; его беседы о В.Соловьеве передавала третья программа Би-Би-Си. Незадолго до своей кончины, последовавшей в 1950 году, Франк составил и предполагал опубликовать на английском языке

антологию "Из истории русской философской мысли конца 19-го и начала 20-го веков". Опубликована она была на русском языке в Нью-Йорке лишь в 1965 году. Посмертно была опубликована последняя большая философская книга Франка "Реальность и человек. Метафизика человеческого бытия" (Париж, 1956). В этой новой редакции философской системы Франка снова явственно проявилось глубокое внутреннее противоречие между пантеистическими тенденциями, неизбежно наталкивающимися на неразрешимость проблем мирового зла и человеческой свободы, и живым, непосредственным ощущением присутствия в мире всеблагого Бога. Сам Франк писал в 1946 году в письме своему швейцарскому другу и почитателю: "Каждого, даже самого благосклонного читателя моих работ, должна смущать во мне двойственность философской и религиозной установки – потому что я и сам до сих пор не преодолел этого дуализма, а скорее лишь предчувствую последний синтез, как недостижимый идеал, и лишь стремлюсь к нему... Мое творчество и мышление движется теперь в двух преимущественно, довольно резко разграниченных направлениях: философско-систематическом, чисто созерцательном, и экзистенциально-религиозном, хотя я сам рассматриваю это как некий духовный соблазн, и перед моим умом носится образ последнего синтеза, написать который у меня, вероятно, не будет ни времени, ни сил"[28].

Над этим синтезом С.Л.Франк трудился неустанно – до конца своих дней. В этих своих стремлениях к высшему синтезу рациональной философии и мистического опыта, в неустанном труде по созданию и совершенствованию грандиозной системы религиозной философии видел Франк исполнение завещания своего деда – благочестивого еврея.

Философская система Франка проникнута глубокой религиозностью, но она – не конфессиональная философия. Ее значение выходит далеко за рамки христианской апологетики. У тех, кто не мыслил религиозной философии вне богословия, эта особенность философии Франка вызывала недовольство. Прот. В.В.Зеньковский писал, что у Франка понятие "богочеловечества", во всяком случае, не совпадает с христианским понятием богочеловечества, неотделимым от Христа, – тогда как "соборность", "церковь" у Франка мыслятся и до Христа и вне Его"[29].

И далее: "То понятие богочеловечества, имеющее в христианстве смысл лишь на основе Боговоплощения, превращается у Франка

(как у Соловьева и у всех защитников метафизики всеединства) в общее понятие метафизики"[30].

Но может быть, то, в чем видит прот. В.В.Зеньковский недостаток философии Франка, есть в самом деле ее достоинство? Ведь благодаря своей широте и универсальности эта философия может обращаться ко всем людям, независимо от их формального вероисповедания. И лишь благодаря этой своей особенности философия Франка может быть в какой-то мере воспринята как исполнение завещания раввина М.М.Россиянского, который сам бы, конечно, отвернулся от внука-отступника... Ответ на вопрос, поставленный в заглавии этой статьи, может быть дан только в форме "умудренного незнания".

Примечания

1. Виктор Ерофеев. Последний классический мыслитель. // А.Ф.Лосев. Страсть к диалектике. Литературные размышления философа. Советский писатель. М.,1990. С.5.
2. Прот. В.В.Зеньковский. История русской философии. Париж, 1950. С.392.
3. Сборник памяти Семена Людвиговича Франка. Мюнхен, 1954. С.3-4.
4. Там же. С.6.
5. Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции Н.А.Бердяева, С.Н.Булгакова, М.О.Гершензона, А.С.Изгоева, Б.А.Кистяковского, П.Б.Струве, С.Л.Франка. М.,1909. С.184.
6. С.А.Левицкий. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Т.II, Франкфурт-на-Майне, 1981. С.99.
7. Сборник памяти Семена Людвиговича Франка. С.9.
8. Там же. С.69.
9. Там же.
10. Там же.
11. Там же.
12. Там же. С.70.
13. С.Л.Франк. Мистическая философия Розенцвейга. Путь, 1926, №2. С.139.
14. Там же.
15. Там же. С.145.
16. Там же.
17. Там же. С.147-148.
18. С.Л.Франк. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. Париж, 1939.
19. Там же. С.8.
20. Там же. С.225.

21. Там же. С.228.
22. Там же. С.240.
23. Там же. С.278.
24. Там же. С.291.
25. Там же. С.293.
26. Прот. В.В.Зеньковский. История русской философии. Т.II, Париж, 1950. С.402.
27. С.А.Левицкий. Очерки по истории русской философской и общественной мысли. Т.II. Франкфурт-на-Майне, 1981. С.111.
28. Сборник памяти Семена Людвиговича Франка. С.32.
29. Прот. В.В.Зеньковский. Указ. соч. С.404.
30. Там же. С.405.

Книжное дело и периодика

Редактор Леонид Юниверг

"Еврейская трибуна" о России и русском еврействе (Париж, 1920-1924 гг.)

Вера Каплан (Израиль)

Второе "я" Юлия Генса

Олег Ласунский (Россия)

"Иллюстрированная Россия" как зеркало эмигрантской жизни 20-30-х годов

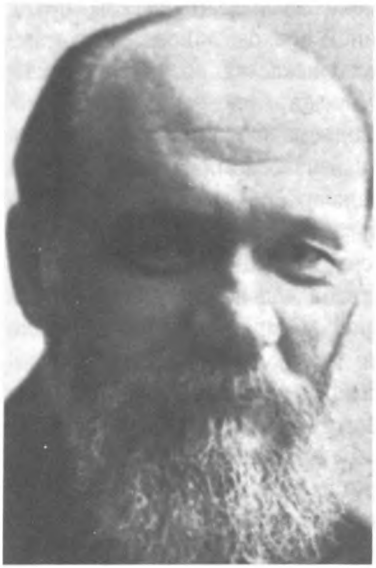
Леонид Юниверг (Израиль)

Рижская газета "Сегодня" – кто ее делал, кто в ней печатался и кто ее читал

Юрий Абызов (Латвия)

Зарубежная русско-еврейская печать и литература в оценке коммунистической цензуры (по материалам "Секретного бюллетеня Главлита" за 1923 г.)

Арлен Блюм (Россия)



М.М.Винавер

"Еврейская трибуна" о России и русском еврействе (Париж, 1920-1924 гг.)

Вера Каплан
(Тель-Авив)

В 1920 году в Париже начал издаваться еженедельник "Еврейская трибуна"; в подзаголовке его было записано: "Журнал, посвященный интересам русских евреев". Вдохновителем и создателем журнала был Максим Моисеевич Винавер (1863-1926), в недавнем прошлом – министр внешних сношений Крымского правительства, ранее – депутат I Государственной Думы, один из основателей и член ЦК конституционно-демократической партии, инициатор создания "Союза за полноправие евреев в России", один из лидеров еврейской народной группы, а к этому времени – известный в Париже адвокат-цивилист, видный деятель русской и русско-еврейской эмиграции. В журнале сотрудничали как еврейские, так и русские литераторы, публицисты, общественные деятели. В числе его постоянных авторов были П.Я.Рысс, Б.С.Миркин-Гецевич (Мирский), М.В.Вишняк; в журнале печатались П.Н.Милюков, И.И.Петрункевич, Н.Д.Авксентьев, Б.В.Савинков. Секретарем "Еврейской трибуны" все годы ее существования был В.В.Руднев – как писал о нем Вишняк, "уроженец Воронежской губернии, верующий православный, врач и городской голова Москвы"[1], ранее никак не связанный с еврейскими интересами и жизнью. Русско-еврейский характер издания сохранялся в течение всего срока его существования, хотя сам журнал заметно менялся.

У нас была возможность познакомиться с номерами "Еврейской трибуны" за 1920-21 годы, выборочно – за 1922 и 1924 год. Глубокий и яркий в первые годы своего существования, журнал к 1924 г.

становится значительно суше, на смену анализу процессов, происходящих в Европе, России, Палестине, приходит комментирование событий в Советской России, заметно снижается его публицистический уровень. Тем больший интерес представляет изучение "Еврейской трибуны" 1920-21 гг., в период подъема и расцвета журнала.

М.Вишняк в уже цитировавшихся ранее воспоминаниях писал, что "своим возникновением этот еженедельник обязан был социально-психологическому фактору – отталкиванию евреев от отождествления их с большевизмом, как проявлением специфически еврейского духа и характера"[2]. Действительно, первоначально журнал посвящался преимущественно двум большим проблемам: раскрытию истинного характера отношения еврейства России к революции, ложности обвинений евреев в тотальном большевизме, с одной стороны, и борьбе с растущим во всей Европе антисемитизмом, с другой. Поскольку очень важно было донести правдивую информацию о событиях в России и о страшных еврейских погромах до европейских читателей (а журнал, выходивший первоначально по-русски, начал издаваться затем на французском и английском языках), большое место в "Еврейской трибуне" отводилось хронике. Тяготы и лишения, переносимые еврейскими беженцами в Константинополе, Бухаресте, Берлине, Париже, делали необходимой организацию помощи беженцам – эта тема также была постоянной на страницах "Еврейской трибуны". Начинался он как журнал политический, хотя и не связывавший себя с какой-либо партией. Однако очень скоро, наряду с хроникой, все больше места начали занимать глубокие аналитические статьи: на страницах "Еврейской трибуны" рассматривались уже не только актуальные политические, но и вневременные мировоззренческие вопросы; характерной особенностью издания становится стремление как можно больше рассказать о конкретных людях – безвременно ушедших деятелях еврейского общественного движения – М.И.Кулишере, М.И.Шефтеле, Л.А.Севе, Н.М.Фридмане, безвестных евреях – солдатах первой мировой войны, юных офицерах-евреях, в числе первых пришедших в Добровольческую армию и погибших в сражениях[3]. В журнале 1920-21 гг. часто публикуются воспоминания, и эти номера "Еврейской трибуны" производят сильное эмоциональное впечатление. Постепенно, наряду с сохранением прежних целей журнала все яснее проявляется его более глубокая идея: в обстановке распада и разрушения, несмотря на переживаемую русским еврейством трагедию, сохранить его связь с Россией и русской культурой,

способствовать русско-еврейскому сближению в будущем демократическом государстве.

Вопрос о том, как оценивал журнал прошлое и будущее России и исторические судьбы русского еврейства, по-видимому, наиболее интересен – он позволяет многое понять в мироощущении, мировосприятии людей того времени. На этом мы и попытаемся остановиться подробнее.

Одной из первых и самых болезненных проблем, которую пытались решить для себя авторы "Еврейской трибуны", была, на наш взгляд, проблема истинного отношения российского еврейства к революции и последовавшему распаду страны. Оценивая это отношение, Дм.Меерович писал в одном из первых номеров журнала: "Евреи оказались самой великодержавной нацией России"[4] – они последовательнее всех других народов отстаивали идею единой России – т.к. их интересы совпадали с интересами единой России. Причинами этого явления автор считал и боязнь евреев как нации быть еще более расщепленными на мелкие части ("Достаточно с нас приспособляться"), и причины более глубокие: "И мы, евреи, участвовали в создании великой России – и своей кровью, и своими нервами, и своим творчеством". "Как-то странно и больно говорить об этом теперь, когда мы подвергаемся стольким нареканиям со стороны всяких черносотенцев и 'умственных антисемитов', – писал Дм.Меерович. – И все же мы помогали создавать Россию. Да, наши художники, композиторы, писатели, ученые, политики, адвокаты, врачи... помогали творить русскую культуру и русскую общественность. И когда мы видим развал России, то мы совершенно независимо от всяких личных соображений глубоко страдаем, ибо в этой России – часть нашей души. Да, очень странна еврейская душа: погромы, с одной стороны, идея единой, красивой и культурной России, с другой стороны"[5]. Стремление к сохранению единой России в восприятии авторов "Еврейской трибуны" было, прежде всего, стремлением сохранить русскую культурную традицию. Так, в феврале 1920 г., в период чрезвычайно тяжелый, с точки зрения политической – в Европе, и военной – в России, "Еврейская трибуна" подробно пишет о создании русского института исторических и юридических наук в Париже. Задачи этого учебного заведения характеризовались следующим образом: "Курс предполагается двухгодичный – исходя из мысли, что, как бы скоро ни совершилось крушение большевистской власти в России, значительная часть нашей молодежи должна будет закончить

свое образование за границей"[6], и нужно, чтобы она "не оторвалась от родины, могла тотчас по возвращению в Россию заняться практической работой"; признавалось необходимым "дать нужные познания в таком объеме, чтобы диплом института и диплом иностранного университета были равноценны диплому русских университетов"[7]. В состав профессоров университета вошли М.И.Ростовцев, М.М.Винавер, В.Д.Набоков и барон Б.Э.Нольде. Винаверу была поручена в институте кафедра русского гражданского права и процесса. Однако выходцы из России учились не только в Париже; в начале апреля 1920 г. "Еврейской трибуной" было получено для опубликования воззвание председателя комитета помощи русским студентам в Бельгии М.М.Берлина. В нем говорилось: "В числе жертв войны в Бельгии находится некоторое число студентов русского происхождения, почти исключительно евреев, учение которых было прервано войною, родители которых погибли или пропали без вести"[8]. Студенты эти находились без всяких средств к существованию, что вызывало естественное сострадание. Кроме того, в воззвании обращалось внимание и на более глубокие факторы: опасность увеличения числа деклассированных евреев и желание образовать группу еврейской молодежи, способную работать для своего народа. В воззвании высказывалась идея "основания комитета помощи студентам русского происхождения, находящимся в Бельгии"[9] (в тот момент их было 46 человек). Само по себе стремление помочь еврейской молодежи получить хорошее образование было чрезвычайно важно, но подход, отразившийся в воззвании, был глубже: еврейская молодежь должна была в соответствии с ним получить образование, соответствующее лучшему российскому, чтобы быть в будущем полезной еврейскому народу России.

Однако как ни близки были духу основателей "Еврейской трибуны" вопросы образования и культуры, время настоятельно требовало обращения к проблемам более общим, связанным с вопросом о будущем России в Европе. По сути дела, это был вопрос о том, как должна измениться политическая культура России, чтобы она могла стать полноправным членом сообщества демократических народов. Важным шагом на этом пути стало участие в создании Российского общества Лиги Народов. Учредительное собрание этого общества состоялось 4 февраля 1920 г. под председательством профессора международного права барона Нольде. Собрание приняло Устав, выработало воззвание, программу и избрало Совет и Центральный комитет общества. Цель общества заключалась в "...содействии развитию и

3-й годъ изданія — № 9 (107) 60 сант. Четвергъ 12 января 1922 г.

ЕВРЕЙСКАЯ ТРИБУНА

ЕЖЕНЕДѢЛЬНИКЪ

ПОСВЯЩЕННЫЙ ИНТЕРЕСАМЪ РУССКИХЪ ЕВРЕЕВЪ

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА за ОДНО ИЗДАНІЕ

На годъ	25 фр.	10 франк.	3 франк.	300 гран. м.
„ 1/2 года	13 „	5 „	1 „	100 „ „
„ 3 мѣс.	8 „	3 „	0.75 сант.	60 „ „

ПЛАТА за ОБЪЯВЛЕНІЯ:

Строчка петитомъ после текста — 2 франка.

Объявленія принимаются:

1. 8, rue Pergolèse
2. Société de Presse, Publicité et d'Edition, 22, rue d'Aboukir

Адресъ Редакціи и Администраціи: 8 bis, rue Pergolèse, Paris (XVI) — Телефонъ: Passy 18-28

СЪ 15 ЯНВАРЯ 1922 Г.

Контора и редакція „ЕВРЕЙСКОЙ ТРИБУНЫ" переносятся на

8bis, BOULEVARD RASPAIL, 8bis (XIVe)

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1922 ГОДЪ.

на выходящій въ ПАРИЖѢ еженедѣльникъ

ЕВРЕЙСКАЯ ТРИБУНА

посвященный интересамъ русскихъ евреевъ.

В течение 1921 г. въ «Еврейской Трибунѣ» были помѣщены статьи:

Альфредъ Бергъ, М. М. Винаверъ, М. Л. Виноградовъ, профессора П. И. Гревсъ, Д. Н. Грегуаръ, Эрнестъ Гринбергъ (Женева) А. Гурвичъ, Н. Л. Гуревичъ, Дионео (Гинзбургъ), А. Ан-Новый, Сэръ Филипъ Гиббсъ, Е. М. Колонтаи, М. Лифшицъ-Адамовичъ, Н. О. Лосскій (Берлинъ), В. Мякотинъ, пр.-доц. Б. С. Мирскій-Гегечкоръ (Б. Мирскій) Д. Н. Овсянико, пр. Пантелеевъ, проф. А. Оливи, С. В. Пассонъ, С. Л. Полякинъ, С. Пучковскій (Ст. Яблоновскій), Е. Рабиновичъ, Ф. И. Рабочій, П. Рысь, С. Семковичъ, С. Жидковъ и др.

СОДЕРЖАНІЕ.

Логика безумія . . . . . *Ю. Делевскій*

Еврейская эмиграціонная политика въ Юго-Восточной Россіи . . . . . *Павелъ Жижченко*

Историческая наука . . . . . *Сем. Маркевичъ*

Письмо изъ Одессы . . . . . *Vindex*

На случайныя темы. Красное равенство и черный антисемитизмъ. — Парламентъ и переселенцы. — Антисемитскій Интернаціоналъ. — Неосмотрительное оглашеніе секретовъ контрразвѣдки. — «Сіонскіе Протоколы» источникъ современнаго антисемитизма. Возможно ли ожиданіе отъ Лиги Націи. — Теорія Жонглетона, какъ орудіе европейскаго покоя. — Еврейская эмиграція. Защитимъ и прославимъ! Борьба съ еврействомъ въ Совѣтской Россіи. — Борьба съ еврействомъ «Сіонизмомъ» въ Совѣтской Россіи. Сіонизмъ и Сіонисты. Еврейскія религіозныя организаціи въ Польшѣ. Антисемитскій съѣздъ въ Польшѣ. — Правовое положеніе евреевъ въ Румыніи. — Историческое духовенство признаетъ евреевъ. — Евреи въ Родныя извѣстія. Португаліи. — Куба и Мексика, какъ новыя эмиграціонныя. — Евреи изъ Рима.

ЛОГИКА БЕЗУМІЯ

Когда-нибудь историки будутъ сравнивать безумную политику правящихъ кругами цивилизованныхъ странъ по отношенію къ большевизму съ политикою безумныхъ визирей, разрушавшихъ построенное и тщившихъ фанатиковъ отдавать вѣковой міръ во власть варваровъ. Въ Римской Имперіи чья мысль, послѣ борьбы съ варварствомъ, постепенно выкристаллизовала его въ жизнь, всѣдствіе невозможности тѣхъ или другихъ словомъ общества и самой власти, увидѣла духъ сопротивленія междоусобицъ и внѣшней опасности, освѣтила, возвышеніе, отношеніе и вѣрованіе; варварство стали понимать, варваровъ стали призывать. Это длилось десятилѣтія и

укреплению универсальной связи между свободными народами", что должно было "позволить России играть достойную роль в организации международных отношений на основе права и справедливости"[10]. Совет общества должен был состоять из 51 члена, на первом собрании было выбрано 35, среди них – видные еврейские деятели, в большинстве своем занявшие руководящие посты. М.М.Винавер стал одним из трех председателей ЦК общества. В число трех генеральных секретарей вошли член-корреспондент Института Международного Права, бывший директор департамента министерства иностранных дел А.Н.Мандельштам и бывший председатель Харьковской городской думы Я.Л.Рубинштейн. А из семи членов комитета двумя были доктор философии Р.М.Бланк и литератор М.В.Вишняк, в прошлом секретарь и член Учредительного собрания. Комментируя значение создания этого комитета, а также и самой Лиги Наций, "Еврейская трибуна" писала: "Евреи, и, в особенности, русские евреи, видят в Лиге Наций оплот против тех крайних проявлений расовой ненависти, одичания и погромного духа, который ознаменовал эпоху, наступившую после окончания мировой войны. Признание 'Прав меньшинств' и контроля Лиги Наций над осуществлением этих прав в отдельных странах, это – принцип, который создает из человечества, юридически конституированного в новый организм Лиги Наций, заступника угнетенных национальностей вообще и, в частности, угнетенного еврейского народа. Это – первый этап на пути создания новой международной конституции, ограждающей права человека и гражданина". Однако участие в Российском обществе Лиги Народов предполагало определенное взаимодействие с теми или иными движениями в России и вне ее – но тут возникло трагическое препятствие: та Россия, с которой духовно солидаризировалась "Еврейская трибуна" – Россия белого движения, Россия антибольшевистская не желала их помощи и участия: в Добровольческую армию отказывались принимать офицеров-евреев, на счету деникинских отрядов были самые страшные из украинских погромов, правая печать Русского Зарубежья обвиняла евреев в большевизме и на них возлагала ответственность за переживаемую Россией трагедию.

Все это вызывало ощущение глубокой горечи. С.Поляков писал в феврале 1920 г. о "двойной подати" – печали изгнания и клевете: "Нас лишили утешения делить равное горе с равными, как равные"[11]. Но, раскрывая несправедливость антисемитских обвинений, авторы "Еврейской трибуны" в то же время пытались показать

опасность антисемитизма для России и русской культуры. Д.Гольдберг, оценивая в связи с этим недавнее прошлое, писал: "Надо понять одно: положение еврейства является функцией или показателем всей государственности в данной стране"[12].



Б.С.Миркин-Гецевич (Бор. Мирский)

Сопоставляя трагические события в жизни русского еврейства с крупными потрясениями в русской истории, – поражение в японской войне – после Кишиневского погрома, военная неудача летом 1915 г. – после преследований прифронтового еврейства, падение правительства Петлюры – после зверских погромов на Украине, поражение Деникина – "после того, как пронесся погромный смерч над южнорусским еврейством"[13], – Д.Гольдберг видел в последовательности происходящего глубокую взаимосвязь: "Страна, где возможны погромы евреев и вообще антисемитские эксцессы, такая страна в корне гнила: там нет ни настоящей культуры, ни законности, ни настоящей государственности"[14]. Лозунг "Бей жидов, спасай Россию" угрожал и угрожает не только еврейству, но и всему общероссийскому спасению: "Почти одновременно раздался нечеловеческий крик убиваемых евреев и дикий рев победоносной красной армии"[15], – писала "Еврейская трибуна".

Так оценивалось прошлое, но что несло будущее?

Наиболее существенным и в то же время наиболее трудным для русской эмиграции весной 1920 г. был вопрос о развитии событий в Крыму. Крымский полуостров оставался единственным уголком России, не захваченным Красной армией, и воплощал материально идею возрождения единой России – именно поэтому так пристально следили в Париже за всем, что происходило в Крыму. Добровольческая армия генерала Деникина потерпела поражение, во многом, как считали наблюдатели в Париже, из-за внутреннего разложения и безнаказанности, с которой совершались еврейские погромы, свидетельствовавшие о постепенной деморализации кадровых частей. Первые мероприятия барона Врангеля, сменившего Деникина, казались многообещающими. 30 июля "Еврейская трибуна" опубликовала заявление генерала Врангеля по еврейскому вопросу. "Возбуждение народных масс против евреев, – говорилось в нем, – объясняется боль-

шим количеством еврейских комиссаров. Русский народ не знает различий, существующих между коммунистическим еврейским меньшинством и антибольшевистскими еврейскими массами. Я никогда не допущу погромов. Еврейский вопрос будет разрешен, когда установится порядок, за который мы боремся"[16]. Одновременно (30 июня 1920 г.) был издан приказ о закрытии газеты "Русская правда", напечатавшей статьи погромного характера. Однако антисемитизм и в армии, и в правой прессе Крыма продолжал существовать – данные об этом появлялись в русских газетах Парижа различных направлений. Тем не менее, настоящим ударом явилось известие о том, что в начале октября во всех городах Крыма на стенах расклеено было воззвание духовенства, в котором русское население призывалось к избиению евреев на том основании, что все евреи – большевики и все большевики – евреи. Одновременно то же воззвание зачитывалось во многих церквах. Автором воззвания оказался бывший профессор политической экономии протоиерей С.Н.Булгаков. Один из видных русских дипломатов обратился к генералу Врангелю, указывая ему на то ужасное положение, в которое ставит призыв к погромам сочувствующие Врангелю правительства Антанты, – ответ был получен весьма красноречивый: "Что же я могу сделать: население России правее меня"[17]. Равнодушие генерала Врангеля разрушало надежды на действенную борьбу с черносотенной агитацией в белом движении, реакция на это известие в Париже была достаточно своеобразной. В "Еврейской трибуне" появилась статья С.Полякова "О еврейской гордости"[18]. "Смирение очень хорошо в дни величия и славы, – писал в ней автор. – Теперь, в трагический период обострения преследований, когда народ окружен ненавистью, когда его вовлекают в борьбу за его честь, смирение – качество плохое. Для борьбы нужно гордое самосознание. Пусть наши враги знают, что нас можно ненавидеть, но что – смеемся над их презрением... Пусть они чувствуют, что мы в угоду им не прикинемся ни слабыми, ни жалкими, ни отверженными. Мы сознаем свою силу, свое право, свое место в мире"[19]. Однако и эта публикация заканчивалась характерным призывом – "Будем несокрушимы, но изберем себя для подвига примирения"[20]. События в Крыму, участие в антисемитской акции видного русского философа С.Булгакова[21] привлекали внимание к еще одной острой проблеме – к вопросу о культурном антисемитизме, об антисемитизме интеллигенции. Само это явление требовало как определенной эмоциональной реакции, так и взвешенного анализа. И то и

другое было представлено на страницах "Еврейской трибуны", причем авторами публикаций на этот раз были русские писатели и общественные деятели.

В декабре 1920 г. в журнале появилось воззвание русских писателей "В защиту гонимых", подписанное Вал.Булгаковым, И.Горбуновым-Посадовым, Ал.Сергеенко, Вл.Чертковым, Ф.Страховым, И.Трегубовым и И.Колосковым[22]. Последователи учения Л.Толстого, они выступали против антисемитизма и национализма вообще с позиций христианства, в соответствии с которыми невозможно считать какой-либо из народов лучше или хуже.

В предпоследнем же номере "Еврейской трибуны" за 1920 г. была помещена большая статья П.Н.Милюкова "Антисемитизм и русская интеллигенция". Предметом анализа в статье и являлся "умный", "интеллигентный" антисемитизм, зарождение которого П.Н. Милюков относит к 90-м годам XIX века и связывает с тем поколением интеллигенции – "девятидесятников", которое резко отделило себя от последующих поколений русской интеллигенции и "очень тщательно старалось сочинить себе свою собственную генеалогию, через русских националистов, от Сергея Радонежского"[23].

Предупреждая об опасности "умного антисемитизма" как явления, П.Н.Милюков писал о нем, как "об антитезе свободы, равенства и братства"[24]. Оценивая же значение его с точки зрения той роли, которую может сыграть "умный антисемитизм" в создании будущей, послебольшевистской России, П.Н.Милюков предостерегал от еще более серьезной опасности: "Я не знаю, – писал он, – чувств и настроений того поколения, которое растет в России, не знаю даже, в какой степени оно вырастет в чудовищных условиях большевистского разорения, и каким будет это новое поколение русской интеллигенции. Нам уже пророчествуют всеобщее упрощение, 'посерение' культурной русской жизни, а на этой почве – рост звериных инстинктов и антисемитизм самого 'неумного', т.е. погромного типа... Я не знаю, что мы встретим там, когда перешагнем опять родную границу... но я знаю, что пока мы здесь, по ту сторону границы, мы должны воспользоваться этим антрактом и нашим духовным досугом, чтобы разобраться самим в том наследстве, которое мы понесем туда. Я не хотел бы, чтобы мы туда, навстречу предполагаемым 'звериным инстинктам', понесли умный антисемитизм, который, конечно, станет моральной санкцией инстинктов и, быть может, даже попытается в потворстве инстинктам найти себе оправдание и прощение"[25].

Между тем развитие событий в России заставляло надолго забыть о перспективе возвращения из эмиграции: гражданская война близилась к завершению, в ноябре 1920 г. армия генерала Врангеля, потерпев поражение, покинула Крым: в Европу, и без того наводненную русскими эмигрантами, хлынул новый поток русских беженцев. Количество их достигало 1,5 миллиона. В этом трагическом бегстве многие увидели аналогию с судьбой еврейского народа; "русские сделались евреями Европы" – еще раньше говорил Леонид Андреев; теперь его мысль стала близка многим.

В январе 1921 г. в "Еврейской трибуне" была напечатана статья И.М.Василевского (Не-Буквы) с характерным названием "Исторический опыт". Ссылаясь на выступление профессора А.А.Пиленко, автор статьи писал: "Русские люди должны подумать о создании своего 'сионизма', заявил в печати Пиленко; нам нужен наш барон Гирш, который помог бы нашей колонизации, нужен новый Теодор Герцль, который объединил бы нас, русских. Нам, лишенным отечества, нужно серьезно озаботиться созданием правоохранного убежища..."[26]. Сам Василевский призывает в статье "не забыть результатов трагического опыта", с "безумной широтой поставленного историей"[27].

Изменение ситуации повлияло даже на традиционно антисемитские, монархические круги: в №57 "Еврейской трибуны" появилось сообщение о собрании берлинских монархистов, высказавшемся против ограничения евреев в правах и предложившего объединение с "государственно-мыслящим еврейством"[28].

Известие это стало поводом для глубоких размышлений об изменении характера антисемитизма. "Существуют две категории антисемитов, – писал в статье 'Государственно-мыслящее еврейство' Петр Рысс – 'неприкровенные погромщики' и 'стесняющиеся антисемиты'"[29]. К последним относил он и "усвоивших дух времени" остатки русских монархистов с Марковым во главе. "Невозможно антисемитизм проводить как программу", – именно поэтому, считает Рысс, на словах участники берлинского собрания предлагают объединение "государственно-мыслящему еврейству". В силу этого предложение было воспринято как глубоко оскорбительное: "Именно государственно-мыслящие евреи отвергнут с презрением сущность того, о чем говорят антисемиты. ...Как часть русского народа, – пишет Рысс, – и еврейский народ свои несчастья, свое горе, свою кровь закладывает ныне в фундамент новой России, свободной и для всех своих детей

равной. Чем государственнее мыслящие евреи, тем с большей решительностью они отвергнут мысль о возможном сотрудничестве с монархистами"[30].

Да и сама постановка вопроса о сотрудничестве с какой-либо партией была значительно у́же той идеи, которую развивали авторы "Еврейской трибуны" весной-осенью 1921 года: прощаясь с мечтой о быстром достижении идеала новой демократической России, еврейские интеллигенты в Париже размышляли о месте России в Европе, о путях развития ее истории и роли в ней русских евреев. Первым эту тему поднял на страницах "Еврейской трибуны" Борис Мирский. "В русском интеллигентском сознании, – писал он, – борются две идеи: самобытность – социалистическая или монархическая – всегда народная, всегда – земляная, почвенная, и – западничество, как отражение правовой цивилизаторской веры. Русское еврейство в лице отдельных писателей или политических деятелей – и в том и в другом лагере. Но, поскольку допустимо обобщение – еврейская интеллигентская масса всегда стремилась к европеизации русского освободительного движения, к западничеству в подлинном смысле слова. Русский еврей – западник, всегда европеец, часто даже более европеец, чем русский, иногда более, чем европейцы"[31]. Утверждение о "западничестве" евреев в обстановке, когда еврейство России (в который раз) обвинялось в недостаточном патриотизме и большевизме, требовало глубокого раскрытия, и суть этого "западничества" Мирский объясняет прежде всего категориями культуры: "Евреи способны к высокому и жертвенному патриотизму, но в вековом пути диаспоры они восприняли тонкий и благородный универсализм. Это не отрицание границ и государств, а утверждение высшего культурного единства.

Здесь существенное отличие от революционного интернационализма. 'У рабочего нет отечества, это голос отрицания; осязание всемирной культуры и индивидуальная связанность – это утверждение"[32]. Именно ощущение своей глубокой связи с мировой и русской культурой давало автору силы, чтобы в обстановке краха, разрушения, роста антисемитизма написать со всей определенностью: "Русское еврейство не только западническое, но и культурное; не только стоит за запад, за демократию, за 'город' против 'самобытности', но всегда будет стоять за цивилизацию против желающих испепелить ее 'скифов'; всегда за 'Россию в Европе' и никогда за 'Россию против Европы'"[33]. По мере того как в среде русской эмигрантской интел-

лигенции углублялись споры о противостоянии Европы и Евразии, авторы "Еврейской трибуны" вновь обращались к этой теме; об этом писал С.Поляков-Литовцев, статья которого так и называлась "Еврейство и евразийцы"[34], но точнее и глубже написал об этом Мирский в ноябре 1921 г.: "Положительная роль еврейского западничества именно выражается в напряженном стремлении к культурному утверждению, к культу разума и творческого позитивизма. В этом, быть может, наиболее положительная сторона участия евреев в европейской культуре; впитав наследие цивилизации, евреи, участвуя в ней, – именно и создают творческое и человекобожеское служение культуре как таковой. Да не покажется это парадоксом – но именно в еврейской психике постигается целиком – и даже религиозно – само понятие 'европеизма'"[35].

Возможно, именно сознание своей глубокой включенности в мировую культуру и помогало найти точку опоры в разрушавшемся времени и пространстве. Оказавшись духовно выше своих противников и обвинителей, русские евреи в парижском изгнании уже сумели сохранить не только силу, но и великодушие: летом 1921 г. "Еврейская трибуна" стала одним из активных участников помощи голодающей России.

Многое в судьбе русского еврейства определилось тем образом мыслей и теми подходами к оценке событий, которые отразились на страницах "Еврейской трибуны" в первые годы ее существования.

Примечания

1. Вишняк М.В. Годы эмиграции (1919-1969). Париж – Нью-Йорк. (Воспоминания). Stanford, California, 1970. С.41.

2. Там же. С.2.

3. Вопрос об участии евреев в Добровольческом движении не относится к теме данной статьи, однако необходимо отметить, что для авторов и читателей "Еврейской трибуны" он был очень важен. Д.Денисов, писавший о евреях-корниловцах, подчеркивал: 22-летний Григорий Фридман, братья Михаил и Петр Городисские – 21 года и 17 лет – пришли в Добровольческую армию в числе первых, когда из 400 000 офицерского корпуса откликнулось лишь 200 человек. (См.: ЕТ. 1920. 17 дек. №51).

Дм.Пасманик, участвовавший в образовании ядра Добровольческой армии, вспоминал на страницах "Еврейской трибуны": "Большое количество еврейских прапорщиков и юнкеров вступили в ряды Добровольческой армии... Я видел эту

молодежь. Она с самого начала страдала от антисемитского душка, которым была насыщена окружающая атмосфера, но она верила в будущность новой России. И вдруг, когда Добровольческая армия начала становиться силой, все евреи-офицеры были удалены из полков. Надо было видеть и переживать весь ужас молодых еврейских офицеров, получивших приказ отправиться в тыл на нестроевые должности!" (См.: ЕТ. 1920. 17 сент. №38. С.4).

Участвовали еврейские офицеры и в подпольном антибольшевистском движении. В апреле 1920 г. в "Еврейской трибуне" были помещены заметки Б.В. Савинкова об Александре Абрамовиче Виленкине – одном из активных участников "Союза защиты Родины и свободы" в 1918 г., впоследствии арестованном и расстрелянном в Москве (См.: ЕТ. 1920. 9 апр. №15. С.2-3). Трагическое несоответствие между стремлением евреев участвовать в белом движении и погромный характер, который носило это движение, было одним из факторов, оказавших серьезное воздействие на формирование отношения к тем или иным группам внутри русской эмиграции.

4. Меерович Дм. Единая Россия и русское еврейство. // ЕТ. 1920. 13 февр. №7. С.5.

5. Там же.

6. Русский институт исторических и юридических наук в Париже. // ЕТ. 1920. 20 февр. №8. С.8.

7. Там же.

8. Воззвание. // ЕТ. 1920. 2 апр. №14. С.12.

9. Там же.

10. Российское общество Лиги Народов. // ЕТ. 1920. 5 марта. №10. С.6.

11. Поляков С. Солнце святое. // ЕТ. 1920. 20 февр. №8. С.2.

12. Гольдберг Д. Чего мы добиваемся? // ЕТ. 1920. 20 февр. №8. С.6.

13. Там же.

14. Там же.

15. Гольдберг Д. Трагедия русского еврея. // ЕТ. 1920. 2 апр. №14. С.3.

16. Меерович Дм. Декларация генерала Врангеля по еврейскому вопросу. // ЕТ. 1920. 30 июля. №31. С.5.

17. Еврейский вопрос в Крыму. // ЕТ. 1920. 15 окт. №42. С.6.

18. Поляков С. О еврейской гордости. // ЕТ. 1920. 5 ноября. №45. С.3. Статья явилась откликом на публикацию Василевского (Не-Буквы) в редактируемых им "Свободных мыслях", также посвященную вопросу о еврейской гордости.

19. Там же.

20. Там же.

21. В литературе, посвященной жизни и творчеству С.Булгакова, не удалось найти какое-либо подтверждение или отрицание его участия в этой акции; сложившийся образ философа и гуманиста, направленность работ С.Булгакова противоречат такому поступку, однако в данном случае для нас важно то, что считали серьезным и существенным авторы "Еврейской трибуны", а для них под-

линность его участия была несомненной.

22. ЕТ. 1920. 17 дек. №51. С.8. Воззвание было напечатано в журнале "Истинная свобода", составлено было обращение летом 1919 г. в разгар еврейских погромов на юге и отправлено в редакцию "Известий ВЦИК" с просьбой напечатать, однако советские газеты его не поместили.

23. Милюков П.Н. Антисемитизм и русская интеллигенция. // ЕТ. 1920. 24 дек. №52. С.2.

24. Там же.

25. Там же.

26. Василевский И.М. (Не-Буква). Исторический опыт. // ЕТ. 1921. 14 янв. №55. С.1-2.

27. Там же.

28. Берлинские монархисты и еврейский вопрос. // ЕТ. 1921. 28 янв. №57. С.10.

29. Рысс П.Я. Государственно-мыслящее еврейство. // ЕТ. 1921. 11 февр. №59. С.1.

30. Там же. С.2.

31. Мирский Б. О путях России. // ЕТ. 1921. 25 февр. №61. С.2.

32. Там же. С.3.

33. Там же.

34. Поляков-Литовцев С. Еврейство и евразийцы. // ЕТ. 1921. 15 дек. №103. С.3.

35. Мирский Б. Европа и Евразия. // ЕТ. 1921. 10 ноября. №98. С.2.



Второе "я" Юлия Генса

Олег Ласунский
(Воронеж)

Среди многих оригинальных общественных веяний, задушенных в России сталинским режимом на рубеже 1920-1930-х гг., было и библиофильство, эта, казалось бы, никому не мешавшая страсть к собирательству, изучению и пропаганде старинных и редких изданий. Предвоенное десятилетие в этом смысле – мертвая, каменистая пустыня, где не взросло ни единого растеньица. По счастью, на "русском Западе" традиции книголюбия не прерывались, хотя материальные условия для их развития (прежде всего сам массив печатных раритетов) были, естественно, несравненно скромнее, нежели на Родине. За пределами советских границ, в интеллектуальных средоточиях Европы любители свободно занимались тем, к чему тянулась душа: рылись на полках букинистических лавок, переписывались по поводу дезидератов с торговцами-антикварами, составляли каталоги домашних библиотек, наконец, просто поглаживали ладонью кожаные переплеты своих заветных экземпляров. Их, подобных людей, насчитывалось совсем немного: жизнь на чужбине, как известно, не отличалась легкостью. Но они были – и это самое главное. В 1930-е гг. лишь во внешнем по отношению к СССР мире продолжало существовать отечественное библиофильство – один из парадоксов этой горькой для нашей страны эпохи!

Среди очагов русского книголюбительства заметно выделялась Эстония, собственно два ее умственных центра – Тарту и Таллинн. Именно с этими городами тесно связана судьба Юлия (Юлиуса) Борисовича Генса (1887-1957), человека, вполне заслуживающего пристального и доброжелательного внимания. Хотя Генс формально не был эмигрантом и даже изредка посещал совдепию, объективно его деятельность протекала в русле русской зарубежной культуры. Ее некоторые тенденции нашли в лице Генса весьма последовательного и решительного выразителя.

Юлий родился в состоятельной еврейской семье, проживавшей в городе Дерпте-Юрьеве-Тарту. После окончания гимназии юноша поступил на юридический факультет прославленного местного универ-

ситета. Под влиянием настроений, царивших в студенчестве, участвовал в революционных событиях и даже был заключен на короткое время в тюрьму (осень 1907 г.). Окончил Юрьевский университет в 1911 году; однако, получив диплом, не спешил облачаться в адвокатскую мантию, а позднее и вовсе расстался с нелюбимой профессией: ведь в юристы попал из-за пресловутой процентной нормы для евреев.

Уже на студенческой скамье Юлий всерьез увлекся искусством и брал уроки живописи у портретистки Э.Рудольф и недолго у К.Мяги. Завершив университет, вскоре отправился в Мюнхен, где три семестра (1911-1912) учился на архитектурном отделении Академии художеств: его пришлось оставить из-за болезни глаз. В 1912-1916 гг. адвокатствовал в Москве, а затем работал в одном из петроградских издательств (1917-1918), после чего вернулся на родину. В московский период Генс продолжал путешествовать по Европе, посещая знаменитые музеи и картинные галереи в Германии и Италии.

Все свободное от службы время Юлий Борисович посвящал искусству. Поняв, что живописца из него не выйдет, пробовал себя в скульптуре, но и это занятие бросил. В соперничестве интересов победило искусствознание, ставшее делом всей последующей жизни. Генса, поклонника старых мастеров, привлекал к себе и модный тогда в России "авангард". Он общался с Владимиром Маяковским, дружил с "заумником" Алексеем Крученых, не пропускал ни одного вернисажа, особенно если выставку устраивали "мирискусники" либо кубофутуристы и иные левые "исты", бегал на скандальные диспуты в большом лектории Политехнического музея. В голове был сумбур...

По возвращении в Тарту Генс стал одним из учредителей художественного общества "Паллас" (1918), а когда через год при нем основали специальную школу, начал преподавать там курс по истории искусств; одновременно писал критические статьи о немецко-прибалтийском и эстонском изобразительном искусстве.

Гражданин независимой республики, Генс не хотел, однако, терять дорогих для него связей с творческими кругами в России. Он организовывал экскурсии эстонских художников в Ленинград и Москву, знакомил читателей таллиннского журнала "Лооминг" с эстетической ситуацией в СССР. Генсу даже довелось поприсутствовать в 1934 г. на учредительном съезде Союза писателей и выслушать речь А.М.Горького о социалистическом реализме. Было нелегко, а порой

и противоестественно совмещать в себе давнее пристрастие к индивидуальному почерку "формалистов" с новейшим интересом к реалистическим принципам. Генс в какой-то мере оказался заложником своих искренних симпатий к русскому искусству. Едва ли он осознавал тогда до конца примитивную идеологическую подоплеку той широкой пропагандистской кампании в СССР, которая была призвана поставить всякую творческую личность под контроль партии.

В Эстонии Генс как натура необычайно энергичная и инициативная быстро становится фигурой в художественном мире. Его стараниями в музеях республики проведены десятки выставок, к вернисажам выпущены красочные каталоги. Перу Генса принадлежит более двадцати книг и брошюр, а также около полутораста журнальных и газетных статей (преимущественно на эстонском языке). Но основные его труды, к сожалению, так и не увидели света. Речь идет, прежде всего, о фундаментальном биобиблиографическом словаре художников Эстонии, над которым работа велась с 1921 по 1935 гг.; словарь включал 450 имен.

В 1934 г. Генс с семьей перебрался из Тарту в Таллинн, а через несколько лет его пригласили на должность научного сотрудника Таллиннского художественного музея. В начале войны с фашистской Германией Юлий Борисович эвакуировался в Ташкент, где трудился в справочно-библиографическом отделе республиканской публичной библиотеки. На основе кропотливых разысканий Генс создал "Материалы к истории изобразительного искусства и народного творчества Советского Узбекистана" в пяти машинописных томах. Этот опыт пригодился, когда, вернувшись в Таллинн, Генс решил продолжить работу над прежним словарем. В течение 1945-53 гг. образовалось 14 машинописных томов общим объемом более шести тысяч страниц. В указателе насчитывалось уже около 2300 имен и содержались разнообразные, хорошо документированные сведения об искусстве Эстонии приблизительно за полтора последних века. Свой личный экземпляр словаря Генс нарастил множеством приложений, репродукций, печатных вырезок. Сейчас этот экземпляр (28 переплетенных томов) находится у сына Юлия Борисовича – Л.Ю.Генса (Таллинн), тоже искусствоведа. Составленный его отцом ценный библиографический свод по современной культуре Эстонии (литература, театр, музыка, фольклор) остался в виде огромной картотеки, где только словесности уделено 12 тысяч карточек.

Своей неутомимой и плодовитой деятельностью на ниве художе-

ственной критики Ю.Б.Генс снискал заслуженное уважение коллег и многих поклонников изящных искусств. И все же наиболее полно Генс проявил свою творческую самобытность в иной духовной сфере: он был ярким, темпераментным коллекционером. Согласно автохарактеристике, собирательство стало его вторым "я". Именно в этой области Ю.Б.Генс сумел вырваться далеко вперед, сказать особое слово, не потерявшее своего значения и посейчас.

Не секрет: библиофилами не делаются, а рождаются. Собирательский талант – это дар природы, которым награждаются лишь избранники. Юлий Борисович Генс был библиофилом милостью Божией.

Еще в отрочестве Юлий почувствовал в себе непреодолимую тягу к различного рода коллекционерству. Первое воспоминание связано с распродажей в Юрьеве книжной лавки Карова, когда мальчику на двугривенный удалось приобрести несколько фолиантов, поразивших его воображение величиной и весом. Затем последовали более осознанные покупки, и стихия печатного слова властно повлекла за собою юношу. Генс метафорически сравнивал свою страсть с плаванием по безбрежному и бесконечному океану, когда захватившее человека течение сильнее доводов разума; хозяином положения становится сама библиотека, которая растет, приумножается, украшается по какой-то ей одной присущей логике. Нельзя не согласиться с этим тонким наблюдением. Вообще многие суждения Генса, посвященные психологии и этике библиофильства, отличаются исключительной точностью, глубиной мысли и четкостью формулировок.

Как свидетельствует сам Генс, облик его книжного собрания уже изначально был обусловлен всепоглощающей страстью к искусствам. В первое десятилетие владелец подавлял в себе библиофильские инстинкты и целиком сосредоточился на новейшей литературе. Однако со временем взгляды менялись, и отношение к книге приобрело, по выражению Юлия Борисовича, более интимный характер. Содержательная сторона издания, продолжая оставаться приоритетной, потеряла свою прежнюю монопольность. Книга, в особенности редкая, старинная, открылась в своей целостности, в переплетении разнообразных граней материального бытия.

Генсовское хранилище пополнялось весьма интенсивно. Этому способствовала возможность заказывать раритеты из антикварных магазинов на Западе, прежде всего в Германии, а также использовать предложения советской внешнеторговой фирмы "Международная

книга". Библиотека Ю.Б.Генса перед второй мировой войной по праву считалась одной из самых замечательных в Прибалтике. Учредитель берлинского антиквариата "Россика" Ю.С.Вейцман не без основания полагал, что уже к середине 1930-х гг. в Русском Зарубежье не было другого домашнего собрания, которое могло бы соперничать с генсовским.

Накануне гитлеровского нашествия на СССР библиотека Генса состояла из 6500 названий (8500 томов); немалая их часть была приобретена благодаря отчуждению имений у немецко-балтийских помещиков в 1920-е гг. Кроме того, имелась богатейшая коллекция гравюр (5000 листов) и экслибрисы – все они сберегались в специально изготовленных полукожаных картонах и альбомах. Что же касается выставочных букинистических аукционных и иных каталогов, то их количество даже трудно было определить. Особую слабость хозяин питал к каталогам музеев и художественных выставок, прекрасно понимая, что рядовые посетители вернисажей эти летучие издания, как правило, не сохраняют. Когда Генс включился в деятельность общества "Паллас", он начал разыскивать и библиографировать эстонские выставочные каталоги. Его подборка (около 350 номеров) была в республике единственным полным комплектом. К Генсу перешла также попавшая в Эстонию коллекция Петрункевича, содержавшая каталоги всех без исключения художественных союзов и организаций в России (всего 1200 названий). Одновременно создавался строго подобранный и тщательно систематизированный фонд газетно-журнальных вырезок по интересующим владельца тематическим направлениям.

Библиофильское хозяйство Ю.Б.Генса находилось в идеальном порядке. Книги размещались в шкафах и на полках, изготовленных краснодеревщиком по двум форматам – в четвертую и восьмую долю листа. Существовала регулярно пополняемая предметная картотека с широко разветвленной рубрикацией. Картотека позволяла моментально ответить на любой запрос хозяина и его друзей, помогала более осмысленно и целеустремленно вести поиск дезидератов. Не было для Генса более отрадных минут, чем поздним вечером, в окружении обожаемых книг, сидеть за письменным столом и знакомиться с очередными поступлениями в библиотеку.

На склоне лет Юлий Борисович любил предаваться воспоминаниям. Ведь лучшие часы своей жизни он провел, блуждая по букинистам европейских столиц, Москвы и Ленинграда, сидя за чашкой

кофе в тартуском кафе Вернера или таллиннском Фейшнера и проглядывая только что поступивший антикварный каталог. В день, когда приходил свежий номер журнала "Колофон" (Нью-Йорк) или выпуск ежегодного сборника "Имприматур" (Гамбург), настроение бывало особенно приподнятым, почти праздничным; вкуснее казался кофе, интереснее времяпрепровождение в кафе. А сколько счастья доставляла каждая книжная новинка! Вот что рассказывал Генс о ритуале, который сам собою сложился на протяжении многих лет. Выглядело это так: экземпляр сначала перелистывался, со всех сторон осматривался, едва ли не ощупывался; потом для алфавитного перечня составлялась библиографическая карточка с необходимой аннотацией; содержание книги диктовало необходимость завести дополнительные карточки – для систематического каталога; только после этих процедур можно было приступить к спокойному и вдумчивому чтению. Если же в руки попадал какой-нибудь издательский реликт, то следовало, помимо всего, завести специальное досье, куда постепенно откладывались обнаруженные в справочной и иной литературе свидетельства. Генс уподоблял себя в этом смысле Шерлоку Холмсу: надлежало выяснить степень редкости книги, ее стоимость, аукционную оценку, индекс упоминаемости в библиофильских сочинениях и т.д.

Благодаря дешевой покупке целых библиотек оптом и последующей распродаже из них дублетных экземпляров, книги удавалось приобретать порой фактически даром или за символическую плату. Генс не скрывал того, какую радость от этого получал. И дело отнюдь не в скупости (Юлий Борисович был, кстати, вовсе не толстосум, умел рисковать и быть щедрым), а в том понятном каждому собирателю чувстве удовлетворенности, которое он испытывает после удачно проведенной торговой операции. Не очень дорого доставались Генсу иностранные библиофильские редкости и трудно находимая первопечатная "россика" (описания путешествий в Московию А.Олеариуса, С.Герберштейна, И.Корба и др.).

Ядро генсовской библиотеки составлял отдел искусства (около 4000 названий). Он был способен дать сведения об искусстве почти всех народов за все времена – об этом не без гордости (совершенно законной!) заявлял сам Генс.

Коньком Юлия Борисовича были иллюстрированные издания на разных языках. Главенствовали, разумеется, французы, превосходные мастера подобного рода продукции. На полках стояли книги XVIII-XIX столетий, украшенные произведениями лучших рисовальщиков и



Юлий Борисович Генс. Таллинн, 1946-1947 гг.

граверов и облаченные в дивные наряды – творения парижских переплетчиков. Из записных редкостей немецкого отдела достаточно назвать такой выдающийся памятник типографского и графического искусства, как Библия, выпущенная знаменитым издателем Антоном Кобергером в 1483 г. с раскрашенными от руки ксилографиями.

Русские иллюстрированные книги XVIII – первой половины XX в. были представлены в генсовской библиотеке своими лучшими образцами. Имелись, например, знаменитые "Византийские эмали А.В.Звенигородского" (Спб., 1892), отпечатанные с немыслимой доселе роскошью: каждый экземпляр – поистине музейный экспонат. А какое библиофильское сердце не дрогнет при виде жемчужины отечественной эротики – "Книги маркизы" (Спб., 1918) с элегантнейшими картинками К.А.Сомова! Что касается советских художественных изданий, а в 1920-е гг. их появлялось немало, то они были представлены с исчерпывающей полнотой. Генсовскими экземплярами запомнились зрителям обе выставки советской книги, устроенные в Тарту и Таллинне по линии ВОКСа (Всесоюзного общества культурной связи с заграницей).

Из всех походов по букинистам, из всех ближних и дальних поездок Юлий Борисович, как трудолюбивый муравей, тащил в свое убежище драгоценную ношу. Прежде чем занять свое место в шкафу, книги и другой коллекционный материал (Генс не отказывался и от изящных антикварных вещиц) громоздились на столах, стульях, порой перекочевывали за пределы кабинета. Какая хозяйка смирилась бы с подобным безобразием! Нашему герою в этом отношении удивительно повезло: Берта Иосифовна смиренно терпела, потому что сильно любила своего Юлия. В одной из работ Генса можно встретить оригинальное и трогательное посвящение жене, "книжной пыли не боящейся"... Они прекрасно дополняли друг друга: крайне молчаливый Юлий, производивший внешне весьма суровое впечатление, и его красавица-супруга, вечная хохотушка, с чудным добрым характером. Когда муж одел весь комплект журнала "Старые годы" в прекрасные цельнокожаные переплеты, она подшучивала: "Ты к своей второй семье относишься значительно лучше!"

В Москве живет дочь Генсов, Инна, – востоковед, специалистка в области японского кино. Она рассказывает еще один забавный эпизод из жизни родителей. Только раз у мамы сдали нервы: в середине 1930-х гг. отец привез откуда-то, кажется, из Германии, каменную скульптуру, изображавшую лошадь. Она была выкопана ар-

хеологами из какого-то древнего захоронения и отчаянно воняла: видно, все века тления впитались в поры камня. Тут мама не выдержала и сказала: "Или я, или лошадь!" Отцу мама была очень дорога, но и с лошадью расставаться не хотелось. Компромисс нашелся: изваяние поставили в герметически закрытый ящик, и все остались довольны.

Инна Юлиевна попутно вспоминает о том, как они с отцом – уже в послевоенное время – ходили по ленинградским букинистам и как он, влекомый каким-то особым чувством, этаким библиофильским нюхом, безошибочно подходил как раз к той полке, где лежал желанный том. Отец всегда оставался для дочери божеством и волшебником... Пользуясь случаем, хочу выразить И.Ю.Генс свою большую благодарность за помощь в работе над этим очерком.

Особой душевной утехой, тихой сердечной музыкой стало для Юлия Борисовича собирательство памятников еврейского искусства. Его коллекция иудаики отличалась разнообразием и наличием ценнейших, высокохудожественных изданий. К примеру, "Песнь песней" царя Соломона была представлена книгами, появившимися в Палестине (в роскошном оформлении и чудесном пергаментном переплете), Голландии (с гравюрами на меди), Германии (фолиант с литографиями, собственноручно раскрашенными авторами), Англии (с превосходными заставками и концовками) и т.д.

Как-то ему пришла в голову мысль: а что, если сделать неповторимый, уникальный в буквальном значении этого слова экземпляр "Песни песней"? В кладовке лежало несколько кусков пергамента, предназначенного для переплетов. Он осторожно разрезал куски на полосы, каждая из них должна была вместить одну песнь, расположенную на трех страницах (в центре – сюжетная иллюстрация, по краям – текст с виньетками). Но кого бы из художников попросить взяться за столь кропотливый труд? Выбор пал на профессора Адо Ваббе, лидера местных экспрессионистов. Тот согласился и уже осенью вернул Ю.Б.Генсу переданные ему по весне пергаментные полоски. А.Ваббе, вопреки ожиданию, избрал реалистический метод, и его миниатюры в технике темперы удачно и внятно передавали содержание мудрейшей книги. Текст на древнееврейском языке Юлий Борисович долгими вечерами выписывал сам. Для образца нашел красивый шрифт в одной из старинных рукописей. Первую страницу не писал, а почти рисовал: на это ушло около пяти часов. Последняя страница заняла лишь полчаса – так набил руку. Пришлось по-

возиться с титульным листом: золотая краска поначалу никак не хотела ложиться на кожу.

Когда все полоски были склеены, получился свиток из 27 страниц. Генс заказал для него специальный деревянный цилиндр, а из биллиардных шаров – крышки к нему; А.Ваббе украсил служивший переплетом цилиндр орнаментом. Осталось только разрезать трость из слоновой кости, чтобы приспособить ручки для вытаскивания свитка и безотказного его возвращения на место. Так в 1932 году иудаика Ю.Б.Генса пополнилась этим великолепным творением А. Ваббе. Со свитком владелец не расставался никогда, даже в наиболее тяжкие моменты своей жизни. Когда надо было срочно уезжать в эвакуацию, а с собой разрешалось взять самое малое, вместе с предметами первой необходимости в сумку был спрятан деревянный цилиндр с соломоновой "Песнью песней" внутри. Сейчас он находится у сына библиофила – Л.Ю.Генса.

В эвакуацию отправился и другой свиток, покоившийся в дубовом шестиугольном ларце. Один из рассказов еврейского писателя-новатора М.Бродерзона (1890-1956) был издан ограниченным тиражом в 1916 г. литографским способом с иллюстрациями блистательного Эля Лисицкого. Двенадцать экземпляров Эль Лисицкий изготовил в виде свитка, помещенного в ларец, и сам раскрасил. К Юлию Борисовичу попал именно такой свиток.

В Среднюю Азию с хозяином уехало и факсимиле дармштадтской агады, рукописи XIV века, искусно переизданной лейпцигским антикваром Гирземаном. Из общего тиража в 300 экземпляров 15 были облачены в цельную кожу, стилизованы под готику, снабжены медными застежками и медными же уголками: подобным образом выглядели нарядные средневековые переплеты. Качество полиграфического воспроизведения изумительное: кажется, будто держишь подлинный пергамент, иллюминированный художником.

Гордился Генс и тем, что обладал работами современного художника И.Фридлендера, родом из Риги, но жившего в Нью-Йорке. Фридлендер прислал макет предполагавшегося за океаном издания: двенадцать отличных ксилографий, иллюстраций к двенадцати же сонетам Шекспира (на отдельных листах были тиснуты и сами тексты). Обнаружив все это в целости, вернувшийся из эвакуации Генс одел гравюры в паспарту и спрятал в специальную папку.

Юлий Борисович не жалел ни средств, ни времени на коллекционирование и пропаганду еврейской графики. Несколько раз устраи-



Библиотека Ю.Б.Генса (Таллинн). Офорт работы Д.Бетте-Пунга.

вал ее выставки. К открытию одной из них вышел составленный им каталог – тиражом 450 экземпляров – на эстонском языке и идише (Тарту; Таллинн, 1938).

Для своей иудаики собиратель имел особый экслибрис – большого формата ксилографию, нарезанную польским художником Ф.Збер-Зильбербергом, обосновавшимся в Париже. На знаке изображены: уголок традиционного еврейского местечка, деревянная плашка, штихель и цветки. Однако самым удачным из четырех своих экслибрисов Юлий Борисович считал работу уже упоминавшегося Адо Ваббе: в раме из виноградных лоз – еврейский семисвечник, а внизу, обхватив его, сидит характерного типа человечек. Генсовская подборка старых и новых еврейских книжных знаков неоднократно экспонировалась в Тарту и Таллинне.

Книжные знаки как форма прикладной графики живо интересовали Юлия Борисовича. Накануне второй мировой войны его интернациональная коллекция насчитывала несколько тысяч аккуратно наклеенных на паспарту экслибрисов. Собирать их Генс начал под влиянием пионера отечественной экслибрисистики Удо Георгиевича Иваска (1878-1922). Эстонец по происхождению, он, многие годы проведший в Москве, осенью 1920 г. воспользовался правом оптации и переехал на родину. Как квалифицированного книговеда Иваска приняли на службу в университетскую библиотеку (Тарту). Когда местное общество "Паллас" готовило выставку эстонской книги, Иваск предложил в трех витринах разместить экслибрисы. С той поры и "заболел" ими Генс.

После смерти Иваска Юлий Борисович приобрел у его вдовы, Анны Александровны, дублеты довольно редких гербовых знаков XVII-XVIII веков. Он помог ей пристроить библиотеку покойного мужа в университетское хранилище. Нет ничего удивительного в том, что Генс хорошо знал содержимое оставшегося от Иваска архива. Особое его внимание привлекли рукописные "Материалы по периодической печати России на всех языках за 1703-1917 гг.". В этом обширном своде отечественной прессы было зарегистрировано около 11000 названий журналов и газет (на русском языке – свыше 7500).

Ознакомившись с еврейским разделом рукописи, Генс принял решение содействовать его изданию. Ведь список Иваска был почти удвоен по сравнению с прежними указателями подобного рода, к тому же снабжен богатым справочным аппаратом. Следовало только,

не внося никаких изменений в сложившийся текст, сделать ряд дополнений, выявленных с помощью позднейших источников.

Наиболее удобным временем для издания труда У.Г.Иваска Юлий Борисович считал наступающий 1935 год. Республика отмечала 400-летие первой книги на эстонском языке. А главное, в Вильно (ныне Вильнюс) праздновалось десятилетие со дня учреждения там Еврейского научного института. В Таллинне существовало Общество друзей этого института, и Генс был одним из активистов. По его предложению правление общества постановило передать полный тираж библиографического указателя Иваска в распоряжение Еврейского научного института в Вильне. Средств у упомянутого общества нехватало, и Генс вынужден был предпринять издание за свой счет.

И вот в таллиннской типографии Бейлинсона оттиснуто 300 экземпляров долгожданной книги. На ее титуле означено: "У.Г.Иваск. Еврейская периодическая печать в России. Материалы для истории еврейской журналистики. Выпуск I. Издания на русском языке. Издание и вступительная статья Ю.Б.Генса. Таллинн, 1935". Издательская марка, украшающая заглавный лист, представляла собою еще один экслибрис Генса – работу художника-архитектора Б.Р.Криммера: лев, опирающийся передними лапами на древние фолианты. К книге приложен фотографический портрет У.Г.Иваска.

В своем предисловии Генс представляет автора, о котором говорит с нескрываемым пиететом, и вводит читателя в проблематику капитального иваскoвского труда в целом. Из введения выясняется, что предполагалось продолжение справочника. Второй выпуск планировалось посвятить современной печати в России на идише (около 210 названий), а третий – на древнееврейском языке (около 85 названий). Однако эти издательские замыслы так и не осуществились. Генс рассматривал выход в свет книги Иваска как важный вклад "в общечеловеческую работу собирания и систематизации культурных ценностей".

Сводный каталог, составленный Иваском и датированный маем 1920 г., начинается с хронологического указателя литературы из прошлого еврейской периодики в России. Открывает перечень статья А.Думашевского в "Русском инвалиде" (1857, №75) "Нужен ли журнал для евреев в настоящее время и на каком языке должен он издаваться?"; сам А.Думашевский полагает, что такой журнал, конечно же, необходим, причем на русском языке.

Затем следует хронологический список еврейских периодических

изданий на русском языке (1860-1917). Первым номером идет "орган русских евреев" в Одессе "Рассвет", переименованный вскоре в "Сион". Всего в перечне Иваска зарегистрировано 83 названия (последнее – "Еврейский экономический вестник", Пг., 1917), каждое из которых далее, уже в алфавитном порядке, тщательно аннотируется. Скрупулезнейшим образом Иваск описывает газету или журнал, сообщая массу любопытных подробностей из их истории. Этот раздел является центральным в книге. Завершающий ее указатель фамилий издателей, редакторов, членов редакционных коллегий и т.п. дает возможность легко найти требуемую страницу. В приложении даны: диаграмма русско-еврейской прессы с 27 мая 1860 г. по 1 марта 1917 г. и две таблицы распределения русско-еврейских органов печати – по месту и времени их появления. В целом справочник У.Г.Иваска отличается высокой издательской культурой, и тут, разумеется, велика заслуга опытного книжника Ю.Б.Генса.

Теперь указатель Иваска в букинистическом обороте практически не встречается. Во всяком случае мои многолетние старания отыскать его на прилавках антикварных магазинов не увенчались успехом*. Тем большую радость доставил мне подарок Елены Удовны Кульпа, дочери Иваска, с которой я переписываюсь до сих пор. Потомственный библиограф, она и посейчас живет в Тарту...

Общение с Иваском не могло не отразиться на диапазоне библиофильских симпатий Юлия Борисовича. Он осознал самоценную прелесть собирательства изданий справочно-библиографического характера. Когда-то этот отдел генсовской библиотеки имел чисто подсобное значение, однако постепенно (беседы с Иваском такой процесс, безусловно, ускорили) он превратился в самостоятельную отрасль. Генс с неиссякаемой энергией разыскивал "книги о книгах и книжниках"; описания личных и общественных библиотек; каталоги букинистов, издателей и книгопродавцев; литературу по искусству переплета, экслибриса, типографскому мастерству; перечни редких и иллюстрированных изданий; указатели, посвященные графикам, и, конечно, библиофилиану, то есть все, что повествовало о сладостном книжном плене.

---

*Здесь следует упомянуть о, по-видимому, неизвестном автору статьи репринтном переиздании этой книги Иваска в Тель-Авиве. Его осуществил в нач. 1970-х гг. известный израильский антиквар-букинист Яков Тверский. Тираж издания, как и оригинала, – 300 экземпляров *(прим. ред.)*.

Когда Генс задумал выпускать многотомное описание собственной коллекции, он начал именно с литературы по библиографии и книговедению, а также с различных словарей, справочников, энциклопедий и пр. Всего здесь учтено 1348 названий на разных европейских языках.

"Каталог библиотеки и собрания Юлия Генса" (Таллинн, 1939) вышел тиражом 130 нумерованных экземпляров. Первые тридцать снабжены подписным офортом работы Дагмар Бетте-Пунга с видом овального кабинета, где размещались сокровища Ю.Б.Генса. Офорт очень выразителен: вот оно, святилище библиофила, обитель его ежевечерних дум и занятий, храм души! Так и чудится, что в кабинет войдет хозяин и, сняв с полки старинный волюм, погрузится в него, как в особый, несравненно лучший мир... Издание выполнено с большим вкусом и изяществом (печаталось в типографии "Либрис"), в нем масса иллюстраций на вкладных листах (в их числе и соломонова "Песнь песней" с рисунками А.Ваббе).

Завершается каталог разделом иудаики (почти сто номеров). В основном это новейшая специальная литература (информационные бюллетени, перечни, списки, прейскуранты книжных складов и т.д.) о ситуации в еврейском книгоиздательском деле и журналистике. Между прочим, под №1290 значится указатель по эстонской иудаике, составленный братом Юлия Борисовича доктором Носсоном Генсом (Таллинн, 1937). При общем тираже указателя 262 экземпляра, шесть из них имеют римскую нумерацию. Они были предназначены для ближайшего окружения автора. В каталоге Ю.Генса обозначен экземпляр №II, а у самого Носсона хранился, по-видимому, экземпляр №I.

Раздел иудаики пополнялся не без содействия со стороны берлинского антиквариата "Россика", содержатель которого, Ю.С.Вейцман, приятельствовал с Ю.Б.Генсом (и отчасти был его конкурентом на поприще собирательства литературы по книговедению и библиографии). Двухтомное описание библиотеки Ю.С.Вейцмана (машинопись) тоже зафиксировано в генсовском каталоге. Нынче этот двухтомник с лестной дарственной надписью составителя своему таллиннскому коллеге находится у автора данных строк. Думается, на "русском Западе" именно у них, у Вейцмана и Генса, сложились самые серьезные коллекции книговедческого профиля.

Выход "Каталога библиотеки и собрания Юлия Генса" не остался не замеченным для публики. Влиятельная эмигрантская газета "По-

следние новости" (Париж) в номере от 1 июня 1939 г. откликнулась заметкой писателя и эссеиста Михаила Осоргина "Библиофильская новинка". Рецензент и сам был известен как пылкий поклонник старинных томов; к его "книгоедским" очеркам пришла широкая читательская популярность. М.А.Осоргин горячо приветствует рождение каталога: "За истекшее двадцатилетие за рубежом вышло на русском языке едва ли более пяти подобного рода книголюбческих изданий, так что новое можно отметить как 'явление'". Вместе с тем "старый книгоед" находит в каталоге Генса некоторые изъяны: например, слишком свободное отношение к воспроизведению титульных листов, сказавшееся в несоблюдении точного правописания; принятая автором структура указателя; классификация литературы, когда налицо составительское своеволие и отсутствие научных принципов. В рецензии М.А.Осоргина подспудно ощущается этакая товарищеская ревность; он сам ее определяет как "любительскую зависть" – чувство, которое не разъединяет, а, напротив, тесно связывает библиофилов. Общий эмоциональный итог заметки: "Прекрасная книга!"...

Каталог библиотеки Ю.Б.Генса, вышедший в свет перед второй мировой войной, сохранился в ничтожно малом количестве экземпляров, и многие собиратели никогда его не видели (а подчас и не подозревают о его существовании). Любопытная подробность: была подготовлена и сдана в производство также вторая часть каталога, где описывались редкие и иллюстрированные издания. Но шел грозный 1940 год, и несколько уже оттиснутых листов так и остались в типографии (позднее они погибли).

В моем собрании есть два экземпляра генсовского каталога – оба с дарственной надписью автора. Экземпляр под №16 имеет офорт Д.Бетте-Пунга и преподнесен "милой чете Марголиным" (глава семейства, З.А.Марголин, был в Каунасе антикваром-библиофилом) 6/II.1939 г. Экземпляр 122-й предназначался для видного в искусствоведческой среде человека: "Художнику Игорь Эммануиловичу Грабарю глубоко уважающий ученик. Ю.Генс. Таллинн, 6 февр. 1941 г."

Другая, более ранняя работа Генса – "Заметки библиофила" (Тарту, 1932) – обозначена инициалами "Ю.Г." В ней вообще многие действующие лица зашифрованы: речь-то шла о событиях совсем недавних. Тираж сочинения – 200 экземпляров, из них в продажу поступили лишь 50. Десять экземпляров с римской нумерацией отпечатаны на лучшей бумаге и имеют 16 дополнительных таблиц. Именно "Заметки" автор посвятил своей дражайшей половине, которая, в от-



"Песнь песней" с иллюстрациями из книги "Каталог библиотеки и собрания Ю.Генса"

личие от многих иных жен, не боялась книжной пыли. Берта Иосифовна, очевидно, с удовольствием приняла этот неординарный знак любви.

Юлий Борисович успел разослать свое детище друзьям и антикварам задолго до начала бурных политических волнений, охвативших Европу в конце 1930-х гг. Этим в немалой степени и объясняется тот факт, что "Заметки" встречаются в России сравнительно чаще, чем появившийся спустя семь лет каталог библиотеки.

Ко мне в свое время попал экземпляр, украшенный авторским инскриптом: "Захар Абрамовичу Марголину в память пребывания у меня. 3/XII.1935. Ю.Генс". Бывший владелец "Заметок" в годы фашистской оккупации Каунаса погиб в еврейском гетто. Его супруга, чудом оттуда вырвавшись, нашла дома библиотеку в сохранности и позднее, уже после войны, возвратила Генсу им же надписанные книги.

Как любой крупный собиратель, Генс постоянно испытывал потребность выразить себя в слове, в традиционном жанре коллекционерских записок. Реализовать эту потребность помог случай. Осенью 1931 г. Юлий Борисович намеревался погостить у приятеля-библиофила. Поездка по каким-то причинам не состоялась, и вместо задушевных бесед, когда всякий третий – лишний, пришлось ограничиться монологом-эпистолой к другу, которая переросла затем в воспоминания.

Среди русскоязычных произведений зарубежной мемуарной библиофилианы книга Генса занимает особое место. В ней выведены любопытные типы собирателей, порожденные теми своеобразными социально-общественными условиями, которые сложились в бывших прибалтийских провинциях царской России, ставших после 1917 г. отдельными государствами. Автор сумел довольно картинно обрисовать некоторые занимательные эпизоды из своей коллекционерской биографии, прежде всего – посещение аристократических замков и помещичьих имений в поисках книг и предметов искусства. Однако Генс не претендовал на литераторские лавры, и едва ли можно согласиться с П.Н.Берковым, который в своих очерках "Русские книголюбы" (М.-Л., 1967), касаясь мимоходом "Заметок" Ю.Б.Генса, противопоставляет их блестящим по форме библиофильским новеллам профессионального писателя В.Г.Лидина: такая аналогия не совсем корректна. Задача Генса была гораздо скромней: не увлекаясь стилистическими красотами, составить краткую хронику своих библи-

офильских приключений. Скажу без обиняков: автор удачно справился со своей задачей. Мемуары Генса и сегодня вызывают неослабевающий читательский интерес (да и слог совсем не дурен). Вполне оправдан поступок редколлегии московского сборника "Книга. Исследования и материалы", решившей воспроизвести "Заметки библиофила" целиком на своих страницах (1990, вып.60).

В заключение – о трагической судьбе библиотеки Ю.Б.Генса. Ее конфисковали гитлеровцы, как только захватили Таллинн. Это была откровенная месть хозяину, который совсем недавно принимал участие в деятельности Смешанной советско-германской комиссии по переговорам о культурном имуществе и как эксперт категорически препятствовал вывозу из Эстонии в "третий рейх" произведений искусства, имеющих национальную ценность. Немцы были крайне раздражены неуступчивостью эксперта-еврея. Едва Таллинн пал, специальная команда из ведомства Альфреда Розенберга тотчас разыскала припрятанную Генсом библиотеку, упаковала в ящики и отправила в фатерлянд. С гибелью книг пришлось смириться: война есть война...

Однако главное потрясение еще ожидало библиофила. Незадолго до смерти он неожиданно узнал, что книги в качестве военного трофея благополучно возвращены в СССР и почему-то оказались в фондах библиотеки Академии наук Белоруссии.

Юлий Борисович попытался вернуть свое имущество. Дирекция минской библиотеки всячески изворачивалась, уверяя, что никаких генсовских книг в библиотеке нет. Между тем анонимные доброхоты докладывали: книги обработаны, но не выдаются читателям, начальство ждет, пока их владелец... умрет. Более того, из экземпляров вырывались листы с экслибрисами. Можно представить психологическое состояние библиофила, который узнал, что в родной стране с его собственностью обходятся гораздо хуже, чем в фашистской Германии. Отчаянные обращения Генса в высокие инстанции, включая судебные, не помогли: книг ему так и не отдали. Правда, малая часть их позднее была отправлена в Таллинн в библиотеку Эстонской Академии наук; разрозненные экземпляры (преимущественно из числа тех, что отец взял с собой в эвакуацию) остались у детей. Вся эта история, весьма странная с точки зрения элементарных норм, отравила последние дни Ю.Б.Генса, может быть, досрочно свела его в могилу.

История с библиотекой, напоминающая детектив и драму одновременно, заслуживает отдельного разговора. Довольно подробно о ней рассказано на страницах второй части "Заметок библиофила", к

работе над которой Генс приступил уже на склоне лет, после инфаркта и других житейских невзгод. "Заметки" создавались в течение 1952-1956 гг. Они разрослись и стали своеобразной летописью жизни, насыщенной многими значительными событиями и встречами.

Автор сознавал, что силы его на исходе, что стиль и логика повествования не всегда совершенны: он торопился успеть до конца высказаться. Генс прямо заявлял, что не имеет цели увидеть свои записки в печати и создает их для "семейного употребления". Тем не менее Юлий Борисович постоянно обращался к машинописи, дополнял и переделывал текст. Уцелело несколько вариантов одних и тех же глав. Видимо, в глубине души мемуарист надеялся, что его заметки, хотя бы частично, когда-нибудь будут опубликованы.

Отрадно сознавать, что Генс трудился не зря. Фрагменты из его воспоминаний, потребовавшие серьезной литературной правки, сокращений и уточнений, были помещены посмертно на страницах специальных московских изданий – "Альманах библиофила" (1976, вып. 3) и журнала "Советская библиография" (1990, №№4-5). Не исключено, что будут обнародованы еще какие-либо мемуарные главы.

...Итак, жизнь прожита среди книг, среди памятников старины и искусства, в мире прекрасного. Но эта жизнь не была ни однотонной, ни спокойной. Она для Юлия Борисовича четко разделялась на две не похожих друг на друга части: до и после 1940 г. Все симпатии зрелого мемуариста были на стороне довоенного бытия, именуемого им "западническим". Лишь тогда можно было по-настоящему заниматься любимым делом, свободно путешествовать за рубежом, издавать свои каталоги – словом, наслаждаться не только результатами собирательства, но и самим его процессом. В советскую пору для Генса изменилось многое, если не все. Повлияли, конечно, внешние, крайне неблагоприятные факторы (война, эвакуация, потеря личной библиотеки, возраст, болезни...). Но было и другое: потеряла свою высокую поэзию сама атмосфера собирательства, в букинистику пришли невежды, возник новый тип коллекционеров – этаких хапуг, привыкших за смехотворно низкую цену выторговывать шедевры. Наконец, официальная идеология протянула свои щупальцы даже сюда, в святая святых человеческой души.

Как деятель книги Ю.Б.Генс так и остался в своем "западническом" периоде, когда ничто не мешало завязывать тесные контакты с русской эмиграцией, когда он сам в сущности был органичной частью ее культуры.

ОТ РЕДАКТОРА

В качестве небольшого дополнения к публикуемой статье нам показалось уместным сообщить сведения о других членах семьи Генсов, широко известной в еврейской общине Эстонии: не случайно они упоминаются в недавно изданном в Израиле "Пинкасе общин Латвии и Эстонии" (Иерусалим, 1988).

Среди многих детей Бендета (Бориса) Генса – торговца галантерейными товарами в Тарту – наибольшей популярностью в местной еврейской общине пользовался д-р Натан (Носсон) Генс (1885-1972). Историк и архивист, он составил и опубликовал библиографию еврейских печатных изданий на идише в Эстонии (Таллинн, 1937). В числе многих других работ на еврейские темы им был подготовлен к печати и издан первый выпуск материалов "К истории евреев в Эстонии" (Таллинн, 1933. На нем. яз.). Натан собрал ценный архив, связанный с историей эстонского еврейства, часть которого была вывезена в Израиль его земляком Яковом Капланом. Господин Каплан любезно сообщил нам сведения о других детях Б.Генса, которые мы приводим ниже.

Д-р Нафтали Генс – член Общества друзей идиша – был избран в Совет по еврейской культуре Эстонии и представлял интересы идишистов.

Д-р Яков Генс – активный участник сионистского движения, редактировал печатный орган Центрального комитета еврейской сионистской молодежи Эстонии. В 1918-20 гг. был добровольцем в армии, воевавшей против большевиков за независимость Эстонии.

По данным Э.Коэн-Цедек "Новости недели" (Тель-Авив) 16 июля 1993 г. Якоб (Яков) Генс после прихода в Прибалтику немцев стоял во главе руководства виленского гетто. 14 сентября 1943 г. был застрелян при очередной попытке отстоять жизнь хотя бы части населения гетто.

Иосиф Генс – в годы первой мировой войны служил в Еврейском легионе в Палестине; позже, в 1937 г., вернулся в Эрец-Исраэль; умер в Хайфе в 1949 г.

Залман Генс – провизор, участник войны за независимость Эстонии.

Люба Генс (в замужестве Брошинская) – активная участница Сионистского женского движения ВИЦО. Погибла в Тарту во время немецкой оккупации: была расстреляна вместе со своими детьми в противотанковом рву.



М.П.Миронов

"Иллюстрированная Россия" как зеркало эмигрантской жизни 20-30-х годов

Леонид Юниверг
(Иерусалим)

Посвящается памяти тель-авивского антиквара-букиниста, библиофила и издателя Якова Тверского (1912-1993), вдохновившего автора на эту работу.

Среди периодических изданий Русского Зарубежья межвоенного времени "Иллюстрированная Россия" (1924-1939) по праву считается самым большим и наиболее распространенным. Подготавливая настоящий очерк, автор с удивлением обнаружил, что деятельность этого замечательного журнала до сих пор не была предметом какого-либо аналитического исследования. В связи с этим данную публикацию можно рассматривать как первую попытку такого рода.

Своим общепризнанным успехом этот еженедельный* литературно-иллюстрированный журнал обязан прежде всего его основателю, бывшему петербургскому журналисту *Мирону Петровичу Миронову* (1890-1935). Ко времени выхода первого номера "Иллюстрированной России" (в середине мая 1924 г.) он был уже достаточно опытным газетным работником: в годы первой мировой войны сотрудничал в двух лучших российских газетах – столичных "Биржевых ведомостях" и московском "Русском слове" (точнее – в его петербургском отделении), а в 1918-1919 гг. редактировал киевскую газету "Наш путь". И все же только вера в свою звезду, подкрепленная первоклассной журнально-редакторской школой, пройденной у таких мастеров своего дела, как В.Дорошевич, М.Горелов и А.Руманов, позволила ему решиться на столь отважный шаг, как открытие собственного журнала в условиях эмиграции. Даже сам Руманов – в то

* Первые полтора года журнал выходил раз в две недели, затем – еженедельно.

время тоже парижанин – с недоумением наблюдал за своим бывшим сослуживцем. "С каким скептицизмом мы смотрели на первые шаги, на огромную затрату энергии, сил, денег", – вспоминал он спустя три года. И тогда же вынужден был признать: "Вера М.П.Миронова в свое дело победила!"[1]

В приветствии к выходу 100-го номера "Иллюстрированной России" В.А.Маклаков – один из лидеров кадетов, бывший посол России во Франции – писал: "Сотый номер журнала и все растущее число подписчиков показывают, что журнал удовлетворяет какой-то несомненной потребности. Труднее сформулировать, в чем она заключается: удовлетворяется ли она беспартийностью органа, отсутствием политической свары, любовным отношением ко всем проявлениям русской культуры или просто иллюстрациями, которые заменяют нам жизнь, – я решить не берусь..."[2]

Думается, что успех журнала был обеспечен не каким-то отдельным из перечисленных Маклаковым качеств, а именно всей их совокупностью.

С самого начала Миронов избрал для своего журнала внепартийный курс. Вопреки политикам, утверждавшим, что переживаемый момент требует дифференциации эмигрантских масс, разделения на левых и правых, то есть на монархистов и республиканцев, редактор "Иллюстрированной России" видел перед собой лишь один, общий для всех водораздел: большевизм. Разобщенные партийными программами, они были едины в главном – "в протесте против режима угнетения Нации", о чем лучше всего свидетельствовал их исход из России советов. "Служить нуждам *всей* эмиграции, освещая ее жизнь и быт, откликаясь, по возможности, полнее на ее радости и скорби"[3] – таков был девиз Миронова и его редакции.

Вместе с тем, организаторы нового издания хорошо понимали тот огромный и вполне естественный интерес эмигрантов ко всему, что происходило в Советской России. Не только важнейшие политические события, но и повседневный быт был широко отражен на многочисленных снимках и в фоторепортажах, и именно эта часть материалов "Иллюстрированной России", заявленная и в самом названии журнала, была для многих привлекательной и оригинальной, обеспечив тем самым значительную долю общего успеха всего предприятия Миронова.

Большой удачей журнала было и то, что его с первых же шагов поддержали такие крупные писатели-эмигранты, как М.Алданов,

К.Бальмонт, И.Бунин, Дон Аминадо, А.Куприн, Н.Тэффи, А.Черный, С.Юшкевич и др. Их новые произведения украшали первые страницы "Иллюстрированной России", они же входили в круг ближайших друзей журнала и старались помогать Миронову и словом и делом.

Показателен в этом смысле перечень гостей на юбилейном обеде "Иллюстрированной России": А.И.Куприн с супругой, А.М.Черный с супругой, С.С.Юшкевич с дочерью, В.А.Маклаков, адвокат М.Л.Гольдштейн с супругой, драматические актрисы Шошана Авивит и Е.К.Рощина-Инсарова, художник Б.Д.Григорьев, адвокат Г.Б.Слиозберг с супругой, журналисты А.А.Яблоновский и А.И.Филиппов и др. В числе друзей журнала на обеде присутствовали также несколько видных представителей французских общественных кругов, в их числе бывший депутат Парижа Жан Эрлиш, представитель Комитета празднеств столицы Огюст Сабатье.

В течение восьми лет Миронов успешно руководил журналом. Дружественная атмосфера в редакции и вокруг нее сложилась благодаря главному редактору – душе всего дела и зачинщику многих интересных начинаний. Не случайно Миронов пользовался заслуженным уважением в среде профессиональных литераторов. Так, П.Н. Милюков писал: "Сотый номер иллюстрированного русского еженедельника в эмиграции есть дело необычное. Он свидетельствует о большом личном подвиге, энергии, настойчивости, деловой опытности редактора, осуществившего это необычайное явление. Мы давно знали в журнальном мире, что все эти свойства присущи в высокой степени М.П.Миронову"[4].

Редакцией были получены приветствия от многих известных деятелей Русского Зарубежья, единодушно признавших, сколь велико значение журнала Миронова для поддержания и развития культурного потенциала русской диаспоры. Вот одно из приветствий – А.А. Яблоновского: "'Иллюстрированная Россия' выросла из горчичного зерна... *Посадил зерно М.П.Миронов, – честь ему и слава, что на чужой земле он вырастил хорошее русское дело*"[5] (курсив мой, – *Л.Ю.*). Редакция отдавала себе отчет в невозможности блюсти "культурную чистоту" еженедельника, и об его всеядности (оправданной запросами обывателей, от которых зависели не только тираж, но и жизнеспособность издания) говорят ироничные стихи Саши Черного:

Словно в ноевом ковчеге
Все в журнале вы найдете:
Двухголового верблюда,

Шляпку модную для тети,
Уголовную новеллу
В двести двадцать литров крови,
И научную страничку – "Как выращивают брови"...
Обыватель – это сила!
Чуть забыл – и сразу на кол
Он издателя посадит:
Это вам не кот наплакал!
. . . . . .
Но зато еженедельник
Рядом с модой и верблюдом,
На десерт вас угощает
И другим отборным блюдом:
То бряцаньем звонкой лиры,
То изысканною прозой –
В огороде эмигрантском
Лук растет бок о бок с розой...
Пусть растет! В пустыне нашей
Дорог каждый нам оазис, –
Да и розу удобряет
Основной тиражный базис[6].

В середине 1931 г. из-за тяжелой неизлечимой болезни ног Миронов вынужден был покинуть свое любимое детище. Только после ампутации ноги, незадолго до смерти, он вернулся к издательской деятельности, начав выпуск новой еженедельной литературной газеты "Семь дней в иллюстрациях" (Париж, 1934-1936).

А.И.Куприн, сменивший Миронова на редакторском посту, в связи с вынужденным уходом "дорогого собрата, милого Мирона Петровича", писал: "Найти другого такого редактора для 'Иллюстрированной России' совершенно немыслимо... Вот почему с понятным смущением, с невольным волнением, с чувством большой ответственности я принимаю из рук Мирона Петровича тот редакторский компас, по которому мой энергичный и умелый предшественник в течение многих лет вел верной и твердой рукой корабль своего журнала с гордым вымпелом 'Иллюстрированной России'". Добавим, что в статье Андрея Седых "Русские евреи в эмигрантской литературе" Миронов назван в числе представителей русско-еврейской интеллигенции, которая внесла весомый вклад в развитие книжно-журнального дела Русского Зарубежья[7].

Куприну довелось возглавлять журнал лишь в течение года, так как 62-летнему писателю уже не под силу была напряженная редакционная работа – у него резко ухудшилось состояние здоровья и, главное, – зрение.

Начиная с июля 1932 г. и до конца существования журнала (т.е. до середины 1939 г.) редакцией и издательством "Иллюстрированной России" заведовал Б.А.Гордон, бывший владелец газеты "Приазовский край". В конце 1935 года именно Гордону довелось отметить выход 500-го номера журнала и сотой книжки литературных приложений[8].

* * *

Отдельно следует остановиться на тематическом разнообразии материалов еженедельника, печатавшихся по большей части под шапками многочисленных рубрик. Даже сам их перечень вполне передает характер журнала, универсальность его интересов. Так, уже в первый год издания "Иллюстрированной России" в нем появились рубрики: "Театр и искусство", "Книжная полка", "Спорт", "Страничка для детей", "Парижские моды", "В часы досуга" и др. Несколько позже возникли рубрики "Русские в эмиграции", "Женская страничка", "Русское искусство за рубежом" "Советский юмор", "Заметки репортера", "Ушедший быт", "Мировой экран" и др.

Так, в рубрике "Театр и искусство" в середине июля 1925 г. была помещена заметка Виктора Вальтера – в прошлом концертмейстера оркестра Мариинского театра, из которой можно было узнать о проходивших в Большой Опере гастролях оперного дирижера Эмилия Альбертовича Купера. Отметив успешное концертное исполнение "Сказания о граде Китеже" Римского-Корсакова, Вальтер остановился на особых заслугах дирижера перед русским искусством. Во время первых дягилевских "Русских сезонов" 1909-1914 гг., а затем в 1922 г. в Германии и в 1924 г. в Южной Америке Купер ставил русские и иностранные оперы, дал ряд концертов. С 1925 г. Купер систематически работал в Национальной опере в Риге.

Год спустя в той же рубрике сообщалось о концерте известного русского баса А.И.Мозжухина, в репертуаре которого были произведения Мусоргского, Россини, Шуберта и Шумана. Артистическая деятельность певца была посвящена главным образом концертной эстраде, а потому он много гастролировал: объездил всю Сибирь, Туркестан, Китай и Японию.

LA RUSSIE ILLUSTREE
ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ РОССІЯ

№ 49 (186)
Этотъ нумеръ выходитъ въ увеличенномъ размѣрѣ.

РУССКОЕ ИСКУССТВО ЗАГРАНИЦЕЙ

L'ART RUSSE A L'ETRANGER



Ида Рубинштейнъ

Mme Ida Roubinstein

В "Театральной хронике" приводится забавный эпизод из интервью с "божественной Идой" (Рубинштейн) после ее триумфального турне по Италии. На вопрос, хотела ли она встретиться с Муссолини, Ида ответила: "О нет, он слишком занят! У него пятьдесят свиданий в день. А я не привыкла быть пятьдесят первой..."[9]

В рубрике "Русское искусство за рубежом" немало очерков о художниках. Например, о Г.Гликмане, картины которого покупались Люксембургским музеем в Париже и Музеем Королевской Академии в Лондоне[10]. Об искусствоведческом уровне очерков можно судить хотя бы по такому отрывку из статьи Лоллия Львова о Савелии Сорине:

"С.Сорин отличен от других и своим подходом к портретописанию. Его портреты не заключают в себе неудержимого влечения к мастерству старых мастеров, которым отмечено 'неоакадемическое' творчество А.Яковлева. Его портреты не отмечены и тем динамическим духом внутреннего напряжения и клокотания, той страстью, которыми проникнуто творчество Б.Григорьева. С.Сорин совсем иной в своих портретах. Его портреты глубоко статичны. Лица его героев и героинь – всегда спокойны, всегда и неподвижны и бесстрастны, как бы успокоенные волей художника, пытающегося утихомирить и заставить смириться взбаламученное житейское море. Всепримиряющий и всеуспокаивающий взгляд художника как бы покоряет себе позирующих ему людей.

Отсюда торжественная приподнятость и лиризм этих соринских портретов. Отсюда их, так пленяющая многих, и некоторая старомодность. Отсюда близость его искусства не столько к искусству нашего времени, сколько к искусству времени ушедшего"[11].

На страницах, посвященных киноискусству (рубрика "Мировой экран"), можно было прочесть интервью с кинорежиссерами, успешно работавшими в западных киностудиях (А.Б.Каменка, С.С.Шифрин), рассуждения о месте русских в Голливуде (тогда – Холливуде)[12], о возможности объединения русских кинематографических сил в эмиграции (интервью в Р.Л.Пинесом, стоявшим во главе одной из наиболее активных французских организаций – "Софар-Фильм")[13].

Любопытное сообщение из раздела хроники: известные музыканты Яша Хейфец и Леопольд Годовский уезжают в Иерусалим на закладку консерватории рядом с Еврейским университетом на горе Скопус[14]. Сюжеты, связанные с Палестиной, время от времени возникали на страницах "Иллюстрированной России". Таков, например,

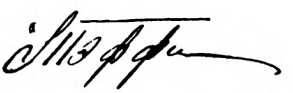
фотосюжет 1927 г., посвященный землетрясению на Святой земле: на снимке изображены беженцы из Иерусалима, собравшиеся на Оливковой горе[15]. Печально известному еврейскому погрому в Палестине в 1929 г. посвящены два фоторепортажа – "Вокруг палестинских событий" и "Эпилог палестинских событий". Промелькнуло сообщение о Палестинской выставке в Лондоне. На снимке профессор Иерусалимского университета Эльазар Сукеник, демонстрирующий ковер с воспроизведением мозаичного пола древней синагоги[16].

Н. А. Тэффи.



Поздравляю съ № 100!

Такъ увѣрена въ дальнѣйшемъ процвѣтаніи журнала, что сегодня же принимаюсь придумывать экспромптъ для номера № 1000.



Сообщения и объявления, касающиеся различных событий русско-еврейской жизни в эмиграции, печатались довольно часто. Так, в июле 1926 г. в рекламном разделе еженедельника было помещено объявление о гастролях Московского театра "Габима", в репертуаре которого было несколько замечательных спектаклей: "Дибук", "Вечный жид", "Голем", "Сон Яакова" и "Потоп". А через год в журнале можно было прочесть заметку об открытии в Париже Еврейского художественного кабаре. В ней, в частности, объяснялось, что это кабаре организуется по типу знаменитой "Летучей мыши" Н.Балиева и является первой попыткой создания еврейской интимной сцены в Западной Европе. В программе намечался целый ряд инсценировок из еврейской жизни, для которых специально написана музыка и привлечены лучшие артистические силы[17]. Периодически в Париже устраивались и "еврейские балы". Объявления о них также помещались в "Иллюстрированной России".

Значительное место в публикациях журнала занимали материалы исторического и мемуарного характера. Среди них – серия очерков

А.Яблоновского по истории Великой Французской революции; воспоминания А.Деренталя о казни Гапона в Озерках; В.Бурцева – о встречах с Азефом; записки бывшего начальника Московской сыскной полиции А.Ф. Кошко "Воспоминания русского Шерлока Хольмса" и аналогичные записки его парижского коллеги Горона "Воспоминания французского Шерлока Хольмса" (в написании фамилии английского сыщика сохраняется журнальная орфография – *Л.Ю.*).

Большой культурной акцией "Иллюстрированной России", способствовавшей ее популярности, стало издание литературного приложения. Следуя традициям старых русских журналов, и в первую очередь знаменитой "Нивы" Адольфа Маркса, редакция с 1929 года приступила к выпуску *"Библиотеки лучших русских и иностранных писателей"* (по 24 книги в год).

Тем самым журнал в значительной мере способствовал распространению произведений классиков и современных писателей-эмигрантов в двухмиллионной русской диаспоре. В "Библиотеку" вошли избранные сочинения И.Бунина, З.Гиппиус, А.Куприна, Д.Мережковского, Н.Тэффи и др.

Немало места выделялось для рекламы издательств, книжных

М. Л. Гольдштейнъ.



Дорогой

Миронъ Петровичъ.

Какъ севастопольцамъ мѣсяцъ былъ засчитанъ за годъ, такъ и сотый номеръ «Иллюстрированной Россіи» можно счесть, въ условіяхъ эмиграціи, за тысячу двухсотый.

Нельзя не отдать дань признанія Вашей иниціативѣ, мужеству и таланту.

Крѣпко жму Вашу руку.

М. Гольдштейнъ

„Бѣдность не порокъ“
или
„Какъ живетъ Демьянъ Бѣдный“.



Демьянъ Бѣдный (новѣйшій снимокъ).

Демьянъ Бѣдный въ «своемъ» кабинетѣ.
(«Красная Нива», отъ 27 января 1929 г.).

«Бѣдность не порокъ», — говоритъ старая русская пословица, но... « большое свинство» — обычно прибавляютъ шутники. Эту-то вторую часть поговорки, какъ кажется, особенно хорошо усвоилъ кремлевскій придворный поэтъ Демьянъ, Бѣдный, не составляющій, впрочемъ, исключенія среди «соціалистическихъ» сановниковъ, населяющихъ русскіе дворцы, очевидно, по праву войны. («Война дворцамъ!..»).

Мы воспроизводимъ портретъ Демьяна Бѣднаго, взятый нами изъ одного изъ совѣтскихъ журналовъ. Какъ говоритъ подпись подъ нимъ, это «новѣйшій снимокъ» большевистскаго Державина. Въ шелковой пижамѣ, за роскошнымъ столомъ, среди любимыхъ книгъ (полное собраніе сочиненій Ленина?), — такъ живетъ и работаетъ пѣвецъ угнетеннаго пролетаріата Демьянъ Бѣдный. Кстати, не узнаетъ ли кто-нибудь изъ нашихъ читателей своей мебели, библіотеки и вещей, на роскошномъ столѣ пролетарскаго поэта?.. Всякое бываетъ...

магазинов, переплетных мастерских и, конечно же, рецензиям, публиковавшимся в рубрике "Книжная полка". Высокопрофессионально сообщение о книге М.М.Винавера "Недавнее", в которой автор дает "проникновенно-субъективные и исторически объективные характеристики судебных общественных деятелей предреволюционной России"[18]. В 22 номере "Иллюстрированной России" за 1929 г. А.И.Куприн опубликовал очень теплую рецензию на воспоминания М.Л.Гольдштейна "Статьи и речи", выпущенные парижским издательством "Родник". Куприн подчеркивает блеск талантливой адвокатской речи и особый благородный дух книги: "Воспоминания М.Л.Гольдштейна сквозь легкий налет горечи, сквозь сдержанную грусть по прошлому полны нежной благодарности и горячей дружбы к ушедшим навеки учителям, товарищам и сотрудникам по профессии, <...> он с любовью показывает нам и строгость адвокатской этики и тяжелый труд, часто сопровождающий ее, и минуты истинного вдохновения". Называя целый ряд свободных профессий, которым злая судьба России не помешала существовать и даже развиваться по обе стороны границы, - Моисей Леонтьевич восклицает: "И только адвокатура безмолвствует! Для ее существования нужно два условия: судебная трибуна и свобода. Мы имеем здесь абсолютную свободу, но нет трибуны. Наши товарищи в России имеют трибуну, но лишены свободы"[19].

Все материалы журнала иллюстрировались фотографиями или рисунками. Кроме того, отдельные страницы отводились под специальные фоторепортажи из различных мест Русского Зарубежья, а также из Советской России. Особые сложности возникали с фотографиями из России, которые "приходилось выискивать всеми путями - подчас трудными и нелегальными"[20]. Перечислим для примера ряд советских фотосюжетов: "Забастовки в Москве", "Советские беспризорные", "Октябрины в Советской России", "Чем торгуют в Совпедии (толкучий рынок в Вятке)".

Как известно, в каждом уважающем себя журнале есть отдел юмора и сатиры. С 1 мая 1925 г. такой раздел под названием "Бумеранг" появился и в "Иллюстрированной России" с подзаголовком: "Независимый двухнедельник сатиры и юмора под ред. проф. Фаддея Симеоновича Смяткина". Для знакомства с "именитым" редактором - одним из потомков Козьмы Пруткова - в "Бумеранге" воспроизводится его рисованный портрет и публикуются несколько афоризмов. Вот два из них: "Самое редкое в эмиграции явление: ветеринар, не именующий себя профессором"; "Нетанцующий эмигрант подобен их-

тиозавру"[21]. (Последний афоризм намекает на всеобщее увлечение танцами и обилие балов в эмигрантских кругах.)

Еще ряд сатирических материалов "Бумеранга":

Из надписей на стенах мавзолея Ленина:

Ах, Володя, Володя! Ты один с мозгами был, да и тех при жизни лишился.

Товарищ по партии

Гордись, Ильич... Строили Россию тыщу лет, а ты ее в три года на фу-фу пустил!

Старый лудильщик Звонарев

Лучше мертвый Ленин, чем живой Зиновьев.

Беспартийный[22]

Постоянным автором журнала от его первого до последнего дня был художник Мад. Разнообразные сюжеты, придумываемые им, были на редкость изобретательны как в темах, так и в подписях к ним:



Семен Юшкевич, на горе соседям, ночью часами играет Бетховена.

Снимок к ироническому самоинтервью "Как живет и работает Семен Юшкевич"

"*История русской революции в возгласах*". Вот как выстроен их ряд: "Долой!", "Браво!", "Вперед!", "Ура!", "Караул!", "Увы!".

"*Советский строй у собак*". Весьма выразительно в собачьем обличье показаны основные типы совпартработников, оппозиционера, чекиста, гетмана, спеца, беженца и др.

Журнал не ограничивался критикой советской действительности. Со второй половины 1928 г. в еженедельнике стали печататься литературные сочинения ряда советских авторов, в чьих произведениях события недавнего прошлого, а также быт и нравы в Советском Союзе выглядели наиболее правдиво и убедительно. В первую очередь это отрывки из романа М.Булгакова "Дни Турбиных" и повести И. Ильфа и Е.Петрова "Светлая личность", рассказы В.Ардова, М.Зощенко, Б.Лавренева, Б.Левина, Н.Погодина, К. Тренева и др. Удачным дополнением к этим сочинениям служили многочисленные рисунки и карикатуры, извлеченные сотрудниками редакции из разного рода советских сатирических журналов. Среди авторов-графиков можно встретить В.Лебедева, А.Радакова, Г.Эфроса, Ю.Ганфа и др.

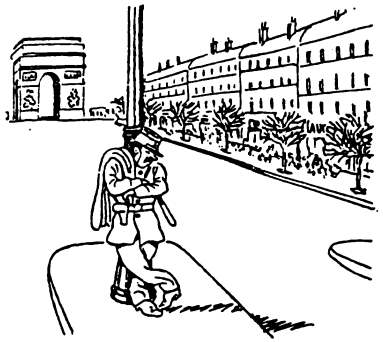
Весьма красноречивы названия актуальных фотосюжетов: "Начало конца (накануне ареста оппозиции)" и "Вчерашние вожди – враги народа". На первом снимке Рыков, Радек, Троцкий и Раковский, на втором – Рыков и Бухарин под конвоем. Последнее фото, ввиду сенсационности, вынесено на обложку 12-го номера журнала за 1938 г.

Конечно, безусловный интерес у читателей вызывали материалы и фотографии, связанные с судьбами эмигрантов, так или иначе завлеченных в сети ГПУ или ставших их жертвами. Сенсационными были, например, разоблачающие материалы В.Л.Бурцева об операции "Трест", о Борисе Савинкове или о методах вербовки сотрудниками ЧК секретных осведомителей. Особое впечатление произвели на Русское Зарубежье две беспрецедентные акции ГПУ в Париже: похищение в 1930 г. председателя "Русского общевоинского союза" генерала А.П.Кутепова и в 1937 г. – его преемника, генерал-лейтенанта Е.К.Миллера. Причем в последней акции приняли участие завербованные ГПУ певица Н.Плевицкая и ее муж, генерал Скоблин. К расследованию двух этих событий было долго приковано внимание всей эмиграции, а потому публикациям о них отдано немало места в нескольких номерах журнала.

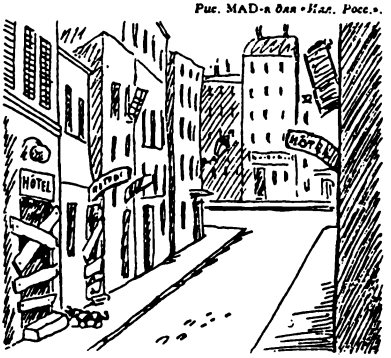
Говоря о роли русско-еврейских литераторов в авторском коллективе журнала, подчеркнем, что еврейская тема отнюдь не носила доминирующего характера в этом вполне нейтральном русскоязычном

ЧТО БУДЕТЪ СЪ ПАРИЖЕМЪ...

Рис. MAD-я для «Нов. Росс.».



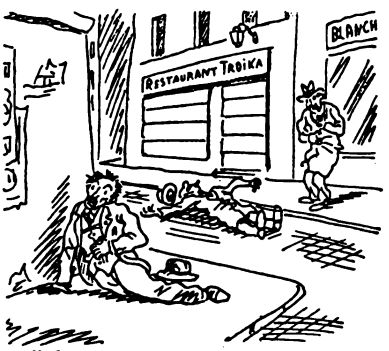
За отсутствіемъ шоферовъ исчезнутъ такси, улицы опустѣютъ.



За отсутствіемъ кліентовъ закроются тысячи отелей.



Данаиъ негдѣ будетъ закидать себѣ платье.



Не будетъ ресторановъ и люди узнаютъ муки голода.



Зачахнетъ автомобильная промышленность изъ за отсутствія рабочихъ.



Все это будетъ, конечно, тогда, когда падутъ большевики и русскіе эмигранты смогутъ вернуться на родину.

Одна из страниц художника Мада

издании и возникала лишь по мере естественного интереса к ней со стороны как читателей, так и самой редакции "Иллюстрированной России", старавшейся следовать прежде всего вкусам интеллигентной части своих подписчиков. Помимо самого М.П.Миронова следует назвать Сашу Черного (А.М.Гликберга), Семена Юшкевича, Марка Алданова (Ландау), Дона Аминадо (А.П.Шполянского), Андрея Седых (Я.М.Цвибака). Особенно тесно сотрудничал с редакцией *Саша Черный*. В течение первых трех лет он вел в журнале постоянную рубрику "Страничка для детей", где помещал свои оригинальные рассказы и сказки в стихах и прозе: "Девочка и попугай", "Леший на елке", "Вещи, которые сами ходили" и др.

Семен Юшкевич опубликовал в еженедельнике несколько своих рассказов, а также ироническое самоинтервью "Как живет и работает Семен Юшкевич". *Марк Алданов* впервые напечатал непубликовавшуюся главу из трилогии "Мыслитель" – "Суворов в Брюнне". *Дон Аминадо* периодически помещал свои сатирические стихи и поэмы, где наряду с Сашей Черным и Lolo (Л.Г.Мунштейном), остроумно изображал многие трагикомические стороны жизни Русского Зарубежья и Советской России.

Время от времени *Андрей Седых* вносил оживление в устоявшийся ритм журнальных материалов. До сих пор с большим интересом читается его необычайно живая и злободневная рубрика "Наши анкеты".

Из ответов на его вопрос: "Когда мы вернемся в Россию?" – наиболее пророчески верным оказалось мнение М.Л.Гольдштейна: "Не знаю, когда и кто вернется в Россию. Думаю, большинство останется на и во французской земле. Несомненно одно: та Россия, которую мы хотели бы увидеть, к нам не вернется раньше, чем через два-три поколения..."[23]

О роли М.Л.Гольдштейна в судьбе журнала следует сказать отдельно. С 21 мая 1926 года материальное обеспечение выпуска еженедельника перешло к специально образованному акционерному обществу, в правление которого вошли проф. барон Б.Э.Нольде (товарищ председателя), М.П.Миронов (директор-распорядитель и гл. редактор), приват-доцент Л.Г.Барац (коммерческий директор) и присяжный поверенный И.В.Дуссан (секретарь)[24]. Председателем общества был избран М.Л.Гольдштейн.

Гольдштейн пользовался заслуженным уважением в литературных кругах Русского Зарубежья. Мы уже говорили о высокой оценке его

воспоминаний Куприным. Добавим цитату из "Дружеского послания" К.Бальмонта:

...Гольдштейн, отменный златокамень,
С прямой и светлою душой,
Заговорит, – и в слове пламень.
А если ты в беде такой,
Что бьешься прямо сам не свой,
Приди к нему, он не чужой[25].

Материалы о нелитературных сотрудниках редакции редко попадали на страницы журнала, а потому особенно ценна информация о *Моисее Львовиче Купермане,* – со дня основания журнала работавшем в Отделе объявлений. В некрологе, написанном его сослуживцем Евг. Хохловым, отмечается, что Куперман до революции был крупным землевладельцем на юге России. Оказавшись в эмиграции без копейки денег, он вынужден был в свои 65 лет зарабатывать на хлеб тяжким трудом и утомительными передвижениями по городу. В конце концов усталый организм не выдержал, и в июле 1929 г. Моисей Львович скончался. "Кристальная честность, щепетильная аккуратность делали его несравненным сотрудником, – подчеркивает автор некролога, – а доброта и ровный, мягкий характер снискали ему всеобщую любовь сослуживцев"[26].

Немало литературных страниц еженедельника занимала тема ностальгии. Особый резонанс получила новелла С.Юшкевича "Домик сумасшедшего". В незамысловатом по форме рассказе Юшкевич знакомит нас с двумя земляками из украинского города Николаева, встретившимися случайно на Монмартре в Париже и зашедшими в кабачок поболтать за чашкой кофе. Бывший николаевский башмачный торговец Шмирер, ставший неожиданно парижским антикваром, восклицает:

"...Что такое человеческая голова? Домик сумасшедшего, просто домик сумасшедшего, между нами говоря... Сумасшедший в домике бунтует. Где синагога башмачников? Дай ему синагогу башмачников! Здесь тоже есть синагога, но ничего подобного, не тот вкус! В Николаеве я был казначеем, а здесь кто я?... Вот эту кошку на стойке не обменяют здесь на сотню Шмиреров. В Николаеве же, я, кажется, был хозяином всего города.

...Ну вот, например, я умер. Где я буду лежать? Там, в Николаеве, была уже такая почтенная компания: отец, мать, дед, бабушки, родственники, покойный доктор Нахумович и вообще свои люди, понимае-

те вы меня, а тут с кем я буду лежать? Кто придет ко мне в этом диком городе, у кого тут есть время на кладбище ходить?

...Понимаете вы меня, за кусочек моей улицы я вам отдам весь этот Монмартр, весь Париж... Вот выберу минуту, и вырвусь, и убегу отсюда. И буду бежать, понимаете вы меня, бежать, пока до моего Николаева не добегу. Прибегу, и как маленький, хоть на остатки посмотрю. Приду на свою дорогую улицу, где был мой магазин, лягу на пороге, заплачу, и никто моих слез уже не остановит..."[27]

Те же мотивы неустроенности и оторванности от России в стихах Саши Черного. Вот одно из таких сочинений.

ЭМИГРАНТСКАЯ ПЕСНЯ

Пою вполголоса, чуть плещет балалайка, –
Нельзя мне громче петь...
"Я вас прошу, – сказала мне хозяйка, –
Не рявкать, как медведь!
Моих жильцов тревожит ваше пенье,
Здесь, друг мой, не шантан"...
Но наплевать, – ведь нынче воскресенье –
И я немножко пьян:
Чуть-чуть хватил дешевого винишка,
Да пива кружек пять...
На сундуке валяется манишка,
Горбом торчит кровать.
Звени, струна, – захлебывайся плеском,
Как голос бубенца,
Когда вдали за тихим перелеском
Он ропщет без конца.
Звени, струна... Снежок мохнатой пылью
Кружится над щекой.
Поля и даль встают орловской былью
Над скованной рекой.
Закатный жар горит над снежным бором,
Сугробы все синей...
Поют лады раздольным перебором
Все громче и вольней...
Звени, струна!... Но, впрочем, – стук хозяйки.
Entrez. Погашен свет.
Pardon, madame, я, так сказать, в фуфайке.
Я пел?! Ей Богу, нет![28]

К сожалению, нам неизвестны тиражи "Иллюстрированной России" в разные годы, но, судя по расширяющейся из года в год географии распространения еженедельника, они были весьма значительны. Так, в начале 30-х годов журнал можно было приобрести в русскоязычных книжных магазинах и библиотеках, а также у частных агентов в Австрии, Англии, Бельгии, Германии, Дальнем Востоке, Дании, Египте, Китае, Латвии, Персии, Румынии, Чехословакии.

Завершая рассказ об одном из самых популярных журналов Русского Зарубежья, хочется еще раз подчеркнуть универсальный диапазон интересов "Иллюстрированной России", позволившей ей стать своего рода зеркалом эмигрантской жизни 20-30-х гг. При этом не следует забывать о плодотворном вкладе в это издание русско-еврейской интеллигенции, способствовавшей не только сохранению, но и развитию подлинной российской культуры.

Примечания

1. Иллюстрированная Россия. 1927. №15 (100). С.4.
2. Там же. С.4.
3. Там же. С.1.
4. Там же. С.2.
5. Там же. С.3.
6. Там же. 1925. Т21. С.10.
7. Андрей Седых. Русские евреи в эмигрантской литературе // Книга о русском еврействе. 1917-1967. Нью-Йорк, 1968. С.436.
8. В связи с этим событием редакцией была устроена "чашка чая", на которую были приглашены ближайшие сотрудники и друзья журнала. В специальной заметке, опубликованной по этому поводу, сообщалось, что среди присутствующих были М.А.Алданов, В.Л.Бурцев, А.И.Гучков, Н.Н.Евреинов, Б.К.Зайцев, В.А.Максаков, А.Седых, Н.А.Тэффи и многие другие. (См.: Иллюстрированная Россия. 1934. №52. С.4).
9. Иллюстрированная Россия. 1926. №19. С.22.
10. Там же. 1927. №39. С.13.
11. Там же. 1927. №34. С.17.
12. Там же. 1929. №7. С.7.
13. Там же. 1929. №14. С.10.
14. Там же. 1926. №18. С.20.
15. Там же. 1927. №33. С.21.
16. Там же. 1929. №22. С.14.
17. Там же. 1928. №32. С.25.

18. Там же. 1926. №43. С.21.
19. Там же. 1929. №22. С.14.
20. Там же. 1931. №30. С.1.
21. Там же. 1925. №18. С.13.
22. Там же. С.14.
23. Там же. 1926. №44. С.8.
24. Там же. 1929. №22. С.14.
25. Там же. 1926. №2. С.13.
26. Там же. 1929. №29. С.14.
27. Там же. 1926. №49. С.11.
28. Там же. 1924. №6. С.7.



Г.Гиршфельд

Рижская газета "Сегодня" – кто ее делал, кто в ней печатался и кто ее читал

Юрий Абызов
(Рига)

1918 год явился годом развала двух великих империй – Российской и Австро-Венгерской. Возникли самостоятельные государства: Финляндия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Чехословакия, Югославия. Оказалось, что в каждой из этих стран есть колония бывших российских подданных, достаточная, чтобы обеспечить существование одной или нескольких русских газет. При всем разнообразии изданий большинство газет, где бы они ни выходили, были или продолжением прежних, дореволюционных, или сугубо эмигрантскими. Рижская ежедневная газета "Сегодня" являлась изданием весьма необычным, даже уникальным: ее читателями были не только русские, но и латыши, литовцы, немцы, евреи, поляки, проживающие по берегам Балтийского моря.

Официально газета ведет свою историю с сентября 1919 г., но предыстория ее началась еще в декабре 1918, когда двадцатилетний уроженец Либавы Яков Брамс, бывший студент Петербургского университета, бывший юнкер Михайловского артиллерийского училища, вернувшийся в Ригу сразу же после прекращения германского оккупационного режима, затеял газету "Наши дни". Вести ее взялся газетчик Н.Козырев, более известный под псевдонимом Бережанский. Но выпуск газеты вскоре прекратился: в Ригу вошли красные стрелки Фабрициуса, принесшие на штыках правительство Стучки. Спустя неделю после того, как советская власть оставила Ригу (22 мая 1919 г.), Брамс, Бережанский и Цвик издают газету "Рижское слово".

Существовала газета до 3 августа и была закрыта за неудобную для правительства информацию о еврейском погроме, учиненном военными. Не растерявшись, издатели тут же выпускают газету "Народ", просуществовавшую до сентября. И снова власти цыкнули.

Тогда в сентябре появляется на свет "Сегодня". Колыбелью ее послужило необычайно бурное время. Еще складывалась латвийская государственность; латвийская армия билась на севере и на востоке с большевистскими силами, а под Ригой стояли войска Бермондта-Авалова, требовавшего сдать ему город и нещадно долбившего его своей артиллерией из-за реки.

В газетном деле существовал полный вакуум – самое благоприятное время для дерзких игроков, особенно для людей молодых и без гроша в кармане. А они почти все были двадцатилетними, основатели этой газеты, и Яков Брамс, и Илья Хавкин, и Михаил Цвик, и Михаил Эльяшов, и Танхут Эйдус, и Исидор Гутман. "Стариками" были Бережанский и 30-летний врач Борис Поляк, рискнувший вложить деньги в это крайне сомнительное предприятие.

Редакция не имела своего помещения и занимала несколько комнат в пустующей типографии Миллера (около Домской церкви), окна которой выходили на Даугаву. Во время осады города сюда попадали снаряды, но начинающие журналисты сновали по Риге в поисках новостей, печатали газету, развозили пачки на велосипеде и вновь ныряли в редакцию. И печатали о Бермондте такое, что тот обещал их повесить, взяв Ригу. Но Ригу он так и не взял, а откатился с войсками к Митаве, а потом и в Германию.

Когда пороховой дым рассеялся, выяснилось, что лица, субсидировавшие газету, отступились от нее, и официальными владельцами по решению третейского суда стали Брамс и Поляк, в чьих руках контрольный пакет создаваемого акционерного общества оставался уже до самого конца существования газеты.

Вскоре был заключен мир с Советской Россией, и положение газеты резко улучшилось в силу благоприятной конъюнктуры. Латвия стала играть роль посредника между оголодавшей и обносившейся Россией и Западом, и "Сегодня" предоставило информационную площадку для коммерсантов и комиссионеров всех разновидностей. Доверие деловых людей к газете вызвало и то, что в редакцию вошел видный экономист Вениамин Зив (1879-?), в свое время сотрудничавший в газетах "Речь", "Вестник финансов" и "Торгово-промышленная газета". Объявление и реклама – вот что принесло газете благосостояние.

Издатели поняли, что руководить газетой также должен человек с именем и опытом, и Н.Г.Бережанского, поднятого волной активного противостояния большевизму, отстранили. На должность главного

редактора был приглашен Максим Ипполитович Ганфман (1872-1934), бывший редактор кадетской газеты "Речь". На зов Ганфмана сотрудничать в "Сегодня" с готовностью откликнулись писатели и поэты Зарубежья: Куприн, Бунин, Гиппиус, Алданов, Саша Черный, Зайцев, Кизеветтер, Айхенвальд и др. И с каждым годом их число увеличивалось. Благодаря именам таких видных публицистов, как Волковысский, Дионео-Шкловский, Я.Яблоновский, Бурцев, В.Д.Набоков, Л.Неманов, газета сразу стала в ряд с серьезными изданиями основных центров русского рассеяния.

Довольно быстро издатели создали весьма работоспособный состав редакции. Большую роль сыграл известный еще до революции критик Петр Моисеевич Пильский (1881-1941), тесно связанный со всем литературным миром. С момента появления в газете и до самой ее кончины он вел литературный отдел и печатал критические статьи и рецензии почти на все, что появлялось как в России, так и за рубежом.

Успехом у рижского читателя пользовался карикатурист Сергей Антонович Цивинский – Civis – (1895-1941?), художник непрофессиональный, но умеющий добиваться портретного сходства. Особенную популярность он приобрел, высмеивая коммунистических вождей и чекистов, что советская власть и припомнила ему в 1940 году.

С 1926 г. должность редактора выпуска "Сегодня Вечером" исполнял Борис Иосифович Харитон (1876-1941?), входивший ранее в орган демократического еврейства "Народная Мысль" (Рига, 1922-25). До высылки из Советской России в 1922 году он был членом правления "Дома литераторов" в Петрограде, ранее работал в газете "Речь". "Сегодня Вечером" отличалось бойкостью, занимательностью и хорошей осведомленностью о жизни Риги.

Широкой популярности газеты в русской среде способствовал Борис Николаевич Шалфеев (1891-1935), сын протоиерея Н.Шалфеева и внук латышского общественного и культурного деятеля Гр.Пассита. Зная местные языки, Шалфеев отлично разбирался в истории края. Несколько лет он исполнял обязанности секретаря редакции и часто печатал статьи по истории Риги, не утратившие своего значения и по сей день.

Только сейчас, после получения свободного доступа к уцелевшей части архива "Сегодня", можно оценить значение в жизни газеты Михаила Семеновича Мильруда (1883-1941?), к которому сходились все многочисленные связи с зарубежными авторами. Мильруд был в

курсе всех дел, улаживал конфликты, добивался особого благоприятствования для газеты. Об этом свидетельствуют некоторые извлечения из сохранившейся переписки, приводимые ниже. Кроме фактических сведений они еще хорошо передают атмосферу, в которой существовала газета.

К середине 20-х гг. газета покинула помещение чужой типографии, выстроила собственное здание (Дзирнаву-Мельничная, №57) и приобрела новейшее типографское оборудование. На базе этого полиграфического предприятия появилась возможность основать целый книжно-журнальный концерн.

Стараясь всячески заинтересовать и приохотить читателя, газета обильно печатала романы европейских и американских писателей. И если в "вечерке" шли Пьер Бенуа, Лео Перуц, Клод Анэ, Мак-Эвой, Р.Нейман, Вики Баум, М.Декобра, Э.Уолесс, К.Фаррер, Э.Биггерс, то в "солидном" дневном выпуске предпочитали давать авторов классом повыше – А.Шницлера, С.Цвейга, Эм.Людвига, Э.Ремарка, А.Моруа, С.Моэма и др.

Прикинув, что газетный набор составляет половину затрат, редакция организовала выпуск книг, которые уже публиковались на страницах "Сегодня", основав для этого в 1929 г. издательство "Жизнь и культура". Последнее выпустило около 75 книг, в их числе сочинения Л.Толстого, Достоевского, Тургенева и Лермонтова.

О структуре редакции, ее мощностях и специфике дает представление шарж Цивиса "Дом 'Сегодня' в разрезе". Шарж этот напечатан в юбилейном номере, выпущенном по случаю 10-летия газеты, на 64 страницах с цветной печатью, что тогда производило впечатление. 1929 г. был пиком газеты: надвигался мировой кризис, который не мог обойти Латвию. Газете пришлось ужиматься, сокращать жалованье сотрудникам и гонорары авторам. А когда кризис остался позади, наступил 1934 г., и к власти пришел Ульманис, установивший довольно жесткий режим для печати. К этому времени умерли несколько основных сотрудников редакции – М.Ганфман, Б.Шалфеев, А.Изгоев.

Из письма Мильруда Н.М.Волковысскому (от 2 февр. 1933):

...тираж за последние годы сильно понизился. Не только ввиду кризиса, но главным образом потому, что количество людей русской культуры в балтийских государствах непрерывно и радикально сокращается. Молодежь переходит на латышский язык... (Историч. архив Латвии, фонд 3283, опись.1, дело №9, лист 98).



Г.Махтус



Я.Брамс



Д-р В.Зив



Б.Оречкин

Газета постепенно утрачивала атмосферу прежней "российскости", так как уходили из жизни ее носители, и материал прошлого, казалось, был уже отработан. Она все более становилась "среднеевропейской", отдавая предпочтение информации злободневной: все вокруг ловили слухи и известия, время было тревожным, оно подхлестывало. А ориентация на многонационального читателя требовала конкурентоспособности.

Мильруд – Дионео (1932 г.):

...Читатели "Сегодня" вербуются не только из кругов русского населения новых государств. Нас читают также и латыши, и эстонцы, и литовцы, и поляки, и немцы. Эта часть читателей наших читает, вместе с тем, и другие газеты на своих языках. И нам приходится очень зорко следить за тем, чтобы тема, использованная уже латышскими или эстонскими газетами, не попала потом с опозданием в "Сегодня", что вызывает всегда большие нарекания. Нам с большим трудом удается удерживать этот круг читателей, которые ценят в "Сегодня" только злободневность... (Там же, д.7, л.325).

И теперь самое время задаться вопросом – какая же это была газета, чья? Еврейская, русская, латышская?

Тут все зависит от того, какой ответ хотят услышать.

Еврейская? Но в качестве "чисто еврейских" газет в Риге выступали "Народная Мысль" и "Фри Моргн". А "Сегодня" то и дело выходила с шапкой "Христос воскресе" или с малявинскими бабами.

Значит, русская? Смотря для кого. Местные немцы и латыши, несомненно, считали ее русской. Характерна обложка латышского журнала "Яуна неделя", на которой все рижские газеты изображены в виде лиц, веселящихся в "газетном кабачке", – "Сегодня" представлена Брамсом с русским кокошником на голове. Но "чисто русские" отрицали за ней право считаться русской, поскольку она не была воинствующе-эмигрантской и отказывалась "болеть за Россию".

Мильруд – Р.Раупаху (от 3 ноября 1936 г.):

Наша газета не является и не являлась никогда эмигрантским органом. Она представляет интересы коренного русского населения. Поэтому когда она говорит о своей родине, то имеет в виду Латвию, и когда употребляет слово "наш", то говорит о своем, латвийском... (Там же, д.21, л.430).

Мильруд – Кауфман (декабрь 1937 г.):

...наша газета не эмигрантская и не белогвардейская, а демократическая, читаемая русским и еврейским населением всех Балтийских го-



В.Кобылянская



И.Хавкин



Б.Поляк



Б.Харитон

сударств, а также частично латышской, эстонской и литовской интеллигенцией... (Там же, д.25, л.286).

Словом, можно считать, что газета была не только русской, но шире этого – региональной, учитывающей интересы и других этнических слоев, находящихся в сфере функционирования русского языка и русской культуры. Газета была "всехняя". Но, конечно же, и русская, и латышская, и немецкая культура может теперь вычленять из накопленного газетой за 20 лет материала то, что пополнит ее фонд. И уж тем более можно акцентировать внимание на том, что было собственно еврейским.

Пожалуй, только "Сегодня" и является ныне единственным хронографом, на основании которого можно выстраивать историю еврейства в Риге – еврейских гимназий, студенческой корпорации, театра, больниц, наездов видных еврейских деятелей, летних молодежных колоний, связей с Палестиной и т.д. Словом, еврейский план отражался в ней весьма подробно и многообразно, как на сейсмографической ленте.

Мильруд – И.М.Троцкому (от 24 января 1934 г.):

...В былые годы лекции на русском языке привлекали здесь больше всего евреев, а затем русских и латышей, понимающих по-русски. Теперь у нас под влиянием событий последнего времени произошло резкое расслоение. Нельзя себе представить лекцию, которая бы собрала прежнюю аудиторию. Если лектор или тема представляют интерес для русских, то на нее не пойдут евреи, и наоборот. Да и на одних евреев тоже теперь рассчитывать нельзя. Опять-таки все разбились на отдельные группы и партии, и если на лекцию пойдут сионисты, то не пойдут несионисты. Да и сионисты опять-таки делятся на бесконечное количество подгрупп. Поэтому даже лекции специально еврейских лекторов, как напр. лекции Чарного и Лещинского, несмотря на то что они приехали сюда в ореоле мучеников, не привлекли публики, и они не покрыли расходов... (Там же, д.13, л.424).

Но сетования слышались ото всех. Так, постоянный корреспондент Мильруда А.В.Амфитеатров откровенно считал, что газета "облатышилась": *...Не знаю, замечаете ли Вы, что из "Сегодня" со дня на день уходит русский интерес. Латвия совсем задавила газету, немного места осталось для еврейских дел, а русскость совсем безмолствует. Что это? Случайность или нарочно по латышскому давлению?* (Письмо Амфитеатрова от 5 дек. 1934 г. – Там же, д.15, л.21). И подтрунивает: *от сплошных латышских патриотических материалов*

зевают даже в Тель-Авиве. На это Мильруд отвечает Амфитеатрову 26 марта 1935 г.:

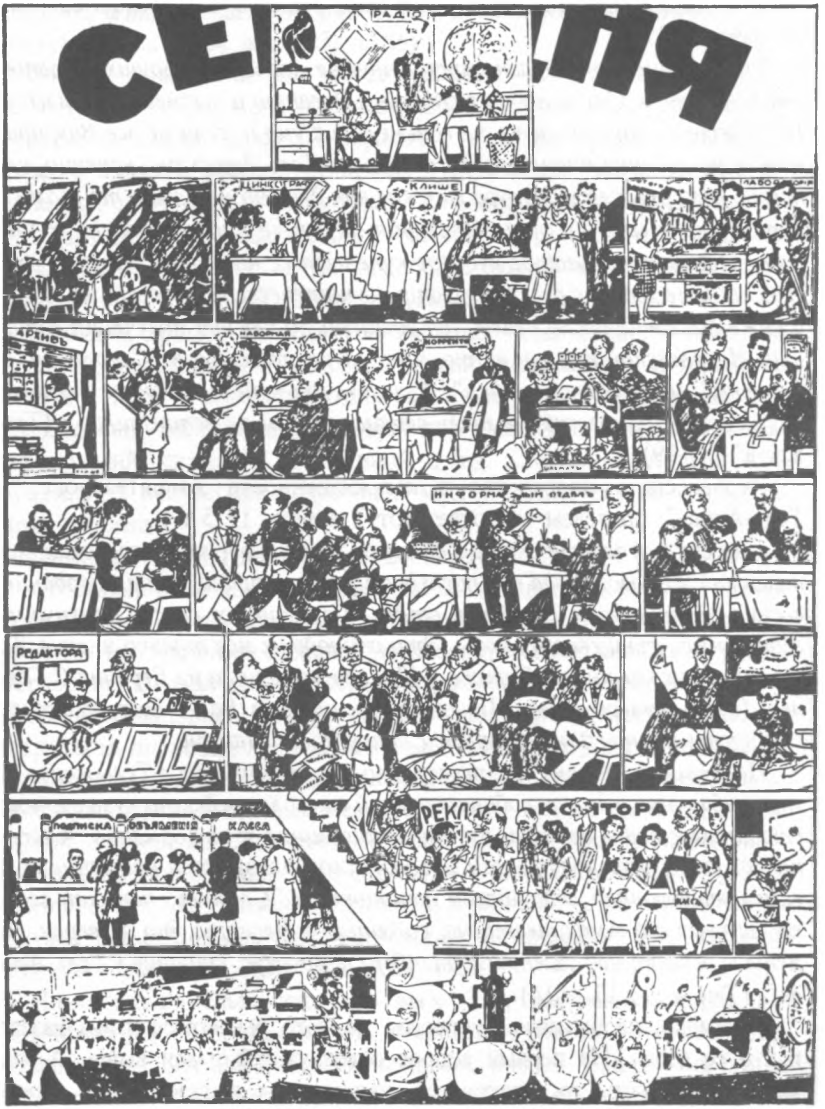
Вы совершенно напрасно иронизируете насчет зевающих читателей Тель-Авива. Очень хорошо сидеть в Леванто и высмеивать газету. Но поверьте, что мы здесь не сошли еще с ума и, если не все Вам нравится, то значит иначе нельзя. А насчет Тель-Авива Вы, конечно, неправы, если русская культура еще кое-как дышет на ладан, то только потому, что именно эта категория людей ее поддерживает. У нас есть здесь очень богатое русское купечество, но оно не читает русских книг, не ходит в русский театр, не интересуется русской музыкой и даже бойкотировало вечер, устроенный по случаю получения Буниным Нобелевской премии за то, что он печатается в "Современных Записках" и "продался жидам". Если бы Вы приехали сюда с лекцией, то, конечно, никого кроме тель-авивцев на ней не встретили... (Там же, д.16, л.19).

Чтобы снять подозрение в неприязненности Амфитеатрова "к Тель-Авиву", приведем его ответ (от 2 апреля 1935 г.):

...До сих пор газета строилась в три этажа: русский, еврейский, латышский. С нового года сей последний распространился на все здание, весьма стеснив даже еврейский отдел, а русский уж совсем спихнув на задний план, танцевать у воды. Это отнюдь не мое только мнение. То же самое писали мне из Парижа и Шмелев-москвич, и из Берлина С.Горный (еврей-петербуржец). Поэтому я и написал Вам о возрастающей скучности газеты для читателей за пределами Латвии...

Не понимаю, почему Вас рассердило мое упоминание о Тель-Авиве. Я употребил это имя как собирательный символ еврейского культурного строительства – центра, где еврейская линия и информация "Сегодня" должны пользоваться и несомненно пользуются вниманием. И если новоявленный латышский патриотизм "Сегодня" наводит зевоту на русского Амфитеатрова, сидящего в Леванто, то я уверен, не меньше зевают над газетой Рутенберг и Бруцкус, сидящие в Тель-Авиве... (Там же, д.17, л.14).

Очевидно, необходимо различать: на кого была рассчитана газета и кто ее делал. На первый вопрос ответ уже был дан выше. А что касается второго, то, разумеется, движителем в газете был еврейский состав сотрудников (см. приложение). И это вполне понятно. Именно евреи, родившиеся в Риге, Либаве, Двинске, Шавлях, Ковне, учившиеся в Кенигсберге и Дерпте, знавшие языки, историю, быт и нравы местного населения, разбиравшиеся в особенностях конфессий,



Іочъ «Сегодня» въ вертикальномъ разрѣзѣ.

Шарж Civis'a "Дом 'Сегодня' в вертикальном разрезе", напечатанный в юбилейном №270 за 1929 г.

Подвальный этаж. Технический директор акционерного общества "Рити" О.И.Зике, директор-распорядитель акционерного общества "Рити" Д.Н.Копелиович, машинные мастера Ф.Зонне и А.Лилиенфельд. Первый этаж. Контора: В.А.Михалевич, В.Н.Стипрайс, Ф.С.Авербух. Рекламный отдел: заведующий П.Ф. Рудль, позади М.Г.Галлер и Л.И.Блюмович. Служащие конторы и экспедиции: В.Ф.Лангевиц, Л.А.Мацулевич, Э.К.Эйдук, С.Б.Гуткина, Р.И.Замуэль, А.А.Каганер, главный бухгалтер З.З.Левинсон, А.И.Замуэль, Н.Н.Николаев. За столом – директор издательства "Сегодня" А.А.Горев. По лестнице поднимаются К.Фридман и сотрудники "Сегодня" Юрий Галич и Р.В.Кершинский. Второй этаж. Редакторы М.И.Ганфман, М.С.Мильруд и Б.О.Харитон. Сотрудники М.А.Каллистратов, В.С.Зив, В.М.Юревич, Е.М.Тихоницкий, С.Р.Минцлов, Ю.Д.Новоселов, Лев Максим, С.Л.Алмазов, П.М.Пильский, Б.Н.Шалфеев, Н.П.Истомин, В.В. Клопотовский (Лери), художник С.А.Цивинский (Civis); впереди – Л.Захарченко. Издатели: Я.И.Брамс и Б.Ю.Поляк. Третий этаж. Сотрудники Б.С.Оречкин, стенотипист Н.Л.Невзорова, сотрудник И.А.Тейтельбаум; позади П.Константинов. В информационном отделе: М.Л.Плисс, Э.И.Махтус, И.Е.Гутман, А.К.Добросельский, Г.И.Махтус, Р.К.Цельмс, Н.А.Смирнов, Н.И.Лайвенек; позади стенотипистка Е.П.Дрейфогель, у телефона Б.Вайнштейн; впереди И.Мальцевич. Справа: В.В.Михельсон, А.К.Рудин, И.И.Калнынь, ответственный редактор А.В.Круминский и стенотипист А.Я.Мартинсон. Четвертый этаж. Заведующий архивом А.Л. Свидлер. Наборщики С.Ротбард, О.Болц, Г.Илигсон, метранпаж А.Пуринь, наборщик И.Монтвилло, помощники метранпажа Р.Упмал и Р.Дементьев, метранпажи Р.Лице, И.Гелумбовский и В.Зет; впереди наборщик А.Булле. Корректоры А.И.Денфер, А.В.Коссович, Е.И.Кобылянская, В.Г.Лурев. Справа от наборной заведующий шахматным отделом Ф.Апшенек, заведующий спортивным отделом И.Б.Хавкин, стенотипист М.А.Савельева, позади Л.Шмидт. В углу выпускающие М.Е.Эльяшов, Р.Г.Рубинштейн и И.Д.Кобылянский, позади фактор типографии И.Г.Тороков. Пятый этаж. Машинные наборщики И.Ковалевский, К.Розенталь, К.Эйкерт. Цинкография: А.Клопотовский, А.Классен, Б.Саломсон, Р.Матиас, Г.Крживоблоцкий, заведующий цинкографией П.Крживоблоцкий, И.Шрейфельд, А.Богданов, А.Лепкая, Л.Шрейфельд, К.Беккер. Фотоотдел: заведующий Э.И. Крауц, фотографы К.Ванадзинь, А.Беркис, И.Балтинь. Радиовышка: сотрудники Э.И.Фейертаг и Г.С.Гиршфельд, стенотипист А.И.Леви.

входившие в деловой мир, свободно перемещавшиеся в географическом и информационном пространстве, могли создать и поддерживать такую газету.

Повсюду, в Праге, Харбине, Белграде, Париже, газеты были русскими не только по языку, но и по духу, со взором, устремленным на Россию, и погруженностью в "Русскую Идею", тогда как окружающий чужеродный мир существовал как бы за стеклянной стеной. Русский читатель здесь был не укорененный, а как бы сидящий на чемоданах в ожидании, когда можно будет взять билет в Россию. Здесь же, в Латвии, в отличие от остальных эмигрантских центров, было коренное русское население, озабоченное существованием в местном полиэтническом бульоне. И люди, свободно ориентирующиеся в интересах и запросах этой среды, были на своем месте. Однако именно эмигранты - бежавшие из Советской России или изгнанные оттуда (М.Ганфман, Б.Харитон, М.Мильруд, П.Пильский) - стали основными сотрудниками газеты и организовали ее "мозговой центр".

В газете работали и русские: Круминский, Шалфеев, Перов, Юрий Галич, Третьяков, Перфильев, Сабурова, Добросельский, Истомин, Смирнов, латыши: Р.Цельмс и Я.Калнынь, поляк Кершинский.

Как уже говорилось, в "Сегодня" печатались Куприн, Зайцев, Шмелев, Амфитеатров, Немирович-Данченко, Набоков, Тэффи, Аверченко, Бальмонт, Игорь Северянин, Чириков и др. В каком объеме? Амфитеатров - 338 публикаций, Бальмонт - более 200, Гиппиус - 48, Г.Иванов - 56, Кизеветтер - 151, Немирович-Данченко - 153, М.Осоргин - 82, Игорь Северянин - 185, Тэффи - 236. Часто перепечатывались произведения советских авторов: М.Зощенко, П.Романова, Пильняка, Ильфа и Петрова, Новикова-Прибоя, А.Толстого, Ю.Тынянова, М.Булгакова, В.Катаева и др.

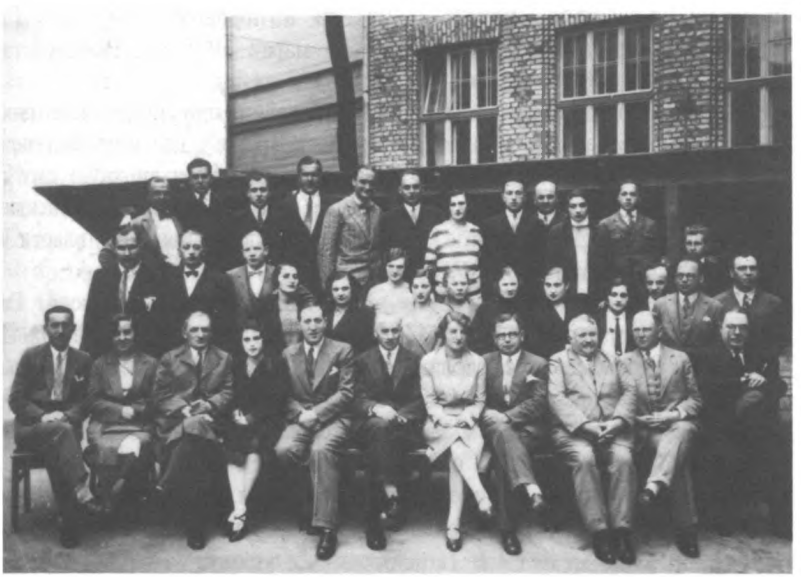
Как обычно, там, где есть еврейская сторона, должна быть и антиеврейская. Борьбу с "Сегодня" сразу же начала газета "Рижский Курьер" (1921-24), существовавшая на польские деньги, но тем не менее ратовавшая за интересы православного русского народа. Редакция этой газеты состояла из чрезвычайно мелкотравчатых личностей, которых, в сущности, не очень донимали евреи сами по себе. Просто им мешал удачливый и талантливый конкурент. Особенно отличался в поношениях по адресу "Сегодня" некий Леонард Король-Пурашевич - беспринципный и беззастенчивый петербургский



П.Пильский



М.Ганфман



Редакция газеты и ее технический персонал накануне переезда в новое собственное здание

журналист, перетащивший в Ригу глумливые нравы петербургской желтой печати. Кончились польские деньги – компания заварила газету "Вечернее Время" с теми же замашками. Но и эта газета, со своим отрицательным балансом, вскоре благополучно скончалась, вынужденная войти в большую ежедневную газету "Слово", которая, по замыслу, должна была выражать интересы исключительно русского населения и эмигрантского общества. Создавалась газета на деньги страхового общества "Саламандра", которым руководил респектабельный финансист Н.А.Белоцветов, а редактировал ее уже знакомый нам Н.Г.Бережанский, который, конечно же, не мог простить своего изгнания из "Сегодня". Открытых оскорбительных выпадов в адрес еврейского "Сегодня" "Слово" себе не позволяло, нет, оно напирало больше на плохое владение авторами конкурирующей газеты русским языком и на непонимание ими особенностей русской души. Не желая понять, что ориентация исключительно на один этнический элемент в условиях полиэтнического конгломерата обрекает дело на неуспех, издатели решили взять числом: в дополнение к своей газете "Саламандра" стала выпускать журналы – сразу три. Но у нее не было достаточной интеллектуальной и профессиональной базы. Да и русское купечество, в отличие от еврейского, не проявило большой заинтересованности в поддержке "Слова" (см. письмо Мильруда Амфитеатрову от 26 марта 1935 г.). В результате к 1929 году все эти издания закрылись.

В 1932 году неуемный Король-Пурашевич при поддержке князя Всес. Мансырева возобновляет "Вечернее Время", где начинает печатать роман "А/о "Сегодня"*, в котором рисует ненавистную ему газету как вертеп, притон и клоаку. От номера к номеру пасквиль становился все разухабистее и зловоннее, пока наконец власти не приказали прекратить это безобразие.

Но в 1933 году (в это время в Германии к власти приходит Гитлер) появляется газета "Завтра". И ведет ее все тот же Король-Пурашевич. Вот здесь все слова уже произносятся открыто, поскольку газета предстает как откровенно антисемитская (чего в Латвии еще не бывало!), с поношением как мирового еврейства, так и местного, рижского. И конечно же, основная мишень – "Сегодня". Из номера в номер печатаются обличения и карикатуры на сотрудников ненавистной газеты и недвусмысленно дается понять, что грядет Завтра,

---

* "Акционерное общество 'Сегодня'".

когда объединенный мир предъявит счет евреям за все их козни и злодеяния. И если "Рижский Курьер" делался на польские деньги, то "Завтра", очевидно, – на немецкие. Не случайно, наверное, и Мансырев и Король-Пурашевич в 1939 году уехали в Германию, хотя это удавалось не всем, кто старался вырваться из рук Москвы.

После переворота 15 мая 1934 года Карл Ульманис незамедлительно прикрыл все газеты, исполненные духом межпартийной борьбы, в том числе скандальные и бульварные. Так что "Завтра" на этом закончилась.

И уже в затушеванном виде выступил против "Сегодня" Ю.С. Ржевский, выпускавший еженедельную "Газету для всех" (1936-40). Делал он ее единолично, наполняя выдирками и выжимками из других изданий, материалом агрономического и хозяйственно-бытового плана, так как рассчитана была газета на крестьянское население Латгалии. В изобилии перепечатывались произведения советских писателей. Причастность Ржевского к советским спецслужбам была очевидна. И он активно подчеркивал, что его газета е д и н с т в е н н а я истинно-русская, тогда как "Сегодня" – еврейская, чуждая и враждебная русскому народу.

После установления советской власти, когда редакция "Сегодня" была разогнана, но еще не арестована, Ржевский был назначен редактором "Русской Газеты", которой наспех заткнули освободившееся место. Впрочем, подписал он всего 5 номеров. Больше советским функционерам не понадобилось: уже стало выходить "Пролетарское Знамя". Судьба "Сегодня" была горестной. Если ее издатели Брамс и Поляк сумели за пять минут до падения железного занавеса выскользнуть из Латвии, то вся редакция и многие авторы были репрессированы. Арестованы и увезены: Г.Левин-Лугин, Эдгар Махтус, Л.Мейрсон, А.Перов, И.Тейтельбаум, Б.Харитон, Р.Цельмс, С.Цивинский. Расстрелян в Двинской тюрьме М.А.Каллистратов. Пильского "спас" от ареста инсульт, вызванный обыском и изъятием его архива. Так и не оправившись, полупарализованный, он скончался уже при немцах в декабре 1941 года. С теми же, кто уцелел от рук чекистов, расправились нацисты. Среди них М.Вайнтроб, И.Кобылянский, Лев Максим, Г.Махтус, Б.Оречкин, Р.Рубинштейн, Ю.Фельзен, М.Цвик, Е.Шкляр.

На долгое время газета была заключена в спецхран, а перед этим (по рассказу старого библиотекаря) комплекты ее были выкинуты во двор. Спасла их обычная бестолковость советской исполни-

тельной машины: долго не находилось грузовика, чтобы отвезти толстые тома на размол (очевидно, все были заняты перевозкой арестованных). Дождь и снег толкнули библиотекарей на дерзостное нарушение приговора: они потихоньку перетаскали комплекты сначала под навес, а потом в помещение. А там ход событий вновь изменился: "Сегодня" оказалось на полках, только на полках специального хранения. И лишь редкие "допущенные" читатели знали о их существовании, да рижане-могикане помнили о газете времен молодости. По-настоящему изучением этой газеты никто не занимался. А она, конечно же, заслуживает фундаментального исследования, потому что на полосах ее осел изобильный культурный слой, который еще разбирать и разбирать. В заключение хочется привести провидческие стихи В.Клопотовского-Лери, постоянного сотрудника "Сегодня":

Настанет день – Бульвар Свободы
Увидит жителей других.
А мы сойдем под мрачны своды,
Свершив деяний круг своих,
И больше в Риге нас не будет,
Мы будем отдыхать в гробах,
И превратимся мы во прах,
Но нас потомки не забудут –
И знаю я – в урочный час
Потомки нашей жизни старой
Очередные мемуары
Составят тщательно о нас.
Придет в урочный час сей Некто,
Как Нестор будущих времен,
И озарит не без эффекта
И нашу жизнь со всех сторон,
И, как монах трудолюбивый,
Которого воспел поэт,
Он за столом засветит свет
И пыль веков стряхнет в архиве
С комплектов выцветших газет,
И в них уйдя с душой и с носом,
Он восстановит весь наш быт
И, ознакомившись с вопросом,
Дни нашей жизни воскресит...

("Сегодня", 1929, №333)

Приложение

Евреи - сотрудники и авторы газеты "Сегодня"

Азов (Ашкенази) Владимир Александрович (1873-1948). Бывший "сатириконец". Жил в Париже. Печатался: 1924-34.

Айзенштадт Михаил Константинович (1900-1970). Поэт. Уехал в Америку. Печатался: 1919-22.

Айхенвальд Юлий Исаевич (1872-1928). Литературный критик. Печатался: 1923-28.

Алданов (Ландау) Марк Александрович (1889-1957). Романист. Печатался: 1922-40.

Вайнтроб Марк Данилович (1895-1941?). Философ. Жил в Риге. Покончил с собой в гетто. Печатался: 1923-40.

Вишняк Марк Вениаминович (1883-1976). Редактор парижского журнала "Современные Записки". Печатался: 1936-39.

Гессен Иосиф Вдадимирович (1865-1943). Общественный деятель, публицист, один из столпов кадетской партии. Печатался: 1924-35.

Гец Файвел (Меир-Файвель) Бенционович (1850-1931). Публицист и педагог, корреспондент Вл.Соловьева и Л.Толстого. Жил в Риге. Печатался: 1925-26.

Гиршфельд Гарри (псевдоним Анри-Гри). (1904-?). Сотрудник редакции. Энергичный журналист. В 1937 г. уехал в Америку. Печатался: 1925-37.

Горный Сергей (Оцуп Александр Авдиевич) (1882-1949). Бывший "сатириконец". Прозаик. Жил в Берлине и в Париже. Печатался: 1921-35.

Грузенберг Оскар Осипович (1865-1940). Адвокат. Печатался: 1921-36.

Гутман Исидор Ефимович (1900-?). Родился в Либаве. Сотрудник редакции. Печатался: 1925-39.

Дионео (Шкловский Исаак Владимирович) (1882-1935). Лондонский корреспонедент "Сегодня". Дядя Виктора Шкловского. Печатался: 1920-33.

Изгоев (Ланде) Александр Соломонович (1872-1935). Публицист, известный еще по сборнику "Вехи". Постоянный сотрудник газеты. Жил в Эстонии. Печатался: 1926-35.

Кобылянская Елена Исааковна (1907-?). Сотрудник редакции. Печаталась: 1931-34, уехала в Израиль.

Кобылянский Израиль Давидович (1894-1941?). Сотрудник редакции. Погиб в гетто. Печатался: 1927-39.

Лазерсон Михаил Яковлевич (1887-?). Юрист. Приват-доцент. Представлял левое сионистское крыло. Эмигрировал в США. Печатался: 1922-33.

Ландау Григорий Адольфович (1877-1943?). Публицист. Жил в Берлине, последние годы в Риге. Печатался: 1922-40.

Левин (псевд. Лугин) Герасим Александрович (1900-1942?). Поэт, прозаик, переводчик. В 1940 г. арестован и погиб в заключении. Печатался: 1930-40.

Lolo (Мунштейн) Леонид Григорьевич (1867-1947). Поэт-юморист и драматург. Жил в Ницце. Печатался: 1920-39.

Лев Максим (Асс Максим Михайлович) (1874-1941?). Фельетонист. Жил в Риге. Очевидно, погиб в гетто. Печатался: 1923-35.

Махтус Герберт (1907-1941). Сотрудник редакции. Расстрелян нацистами.

Махтус Эдгар-Герберт (1903-1983). Сотрудник редакции. В 1941 г. арестован и сослан. После освобождения жил и умер в Соликамске. Печатался: 1924-33.

Мейерсон Леонид Соломонович (1893-1941?). Переводчик. В 1941 арестован и погиб в заключении. Печатался: 1924-36.

Неманов Лев Моисеевич (? – ?). Публицист-муждународник. Печатался: 1922-38.

Нуар Жак (Окснер Яков Викторович). (1888 – ?). Поэт-сатирик. Жил в Берлине. Печатался: 1921-31.

Оречкин Борис Семенович (1888-1943?). Сотрудник редакции. Представитель газеты в Литве. Очевидно, погиб в немецком концлагере.

Оцуп Николай Авдиевич (1894-1958). Поэт. Брат Сергея Горного. Редактор парижского журнала "Числа". Печатался: 1926-27.

Седых Андрей (Цвибак Яков Моисеевич). Род. 1902 г. Постоянный корреспондент "Сегодня" в Париже. Печатался: 1925-39.

Тасин Наум Яковлевич (? – ?). Венский корреспондент "Сегодня". Печатался: 1924-1939.

Тейтельбаум Израиль Абелевич (1901-1941?). Сотрудник редакции. Парламентский обозреватель. В 1940 г. арестован и погиб в заключении. Печатался: 1920-39.

Троцкий (Яковлев) Илья Маркович (? – ?). Датский корреспондент "Сегодня". Печатался: 1926-37.

Фельзен Юрий (Фрейденштейн Николай Бернардович). (1895-1943). Сын рижского врача. Прозаик. Жил в Париже, где был арестован немцами и погиб в концлагере. Печатался: 1930-31.

Харитон Борис Иосифович (1876- после 1941). Редактор выпуска "Сегодня вечером". Арестован в 1940 г., погиб в заключении.

Цвик (Миронов Михаил Миронович (1895-1941?). Поэт, романист. Жил в Либаве. Погиб в немецком концлагере. Печатался: 1919-39.

Черный Саша (Гликберг Александр Михайлович) (1880-1932). Печатался: 1920-30.

Шкляр Евгений Львович (1894-1942?). Поэт. Издатель "Балтийского альманаха". Жил в Литве. Погиб в немецком концлагере. Печатался: 1920-38.

Эйдус Танхут (Анатолий) (? – ?). Сотрудник редакции. Печатался: 1920-31.



Зарубежная русско-еврейская печать и литература в оценке коммунистической цензуры

(по материалам "Секретного бюллетеня Главлита" за 1923 г.)

Арлен Блюм
(Санкт-Петербург)

В тоталитарных государствах книги, журналы, газеты и иные печатные издания приходят к читателю не по мере их выхода в свет, а по мере их разрешения властями. Интервалы между первым и вторым актами единого культурного процесса могут быть различны – в прямой зависимости от смягчения или, напротив, ужесточения режима.

Это положение полностью относится к судьбе произведений, созданных писателями и журналистами из среды русско-еврейской интеллигенции, многие представители которой разделили судьбу участников первой волны эмиграции. Как известно, евреи-издатели, писатели и журналисты сыграли видную роль в культурной жизни Русского Зарубежья[1]. Занимаясь историей советской цензуры, автор этих строк обратил внимание на тот факт, что их имена встречаются в архивных документах 20-х годов буквально на каждом шагу.

В связи в введением НЭПа сложилась довольно своеобразная ситуация кажущегося сближения двух культур – эмигрантской и подсоветской. На первых порах особенно значительную роль играли в этом берлинские издательства (в том числе "Геликон" А.Г.Вишняка, "Слово" И.В.Гессена, издательство З.И.Гржебина и др.), выставлявшие на своих книгах помету "Берлин-Москва" или "Берлин-Петроград"[2] (с 1924 г. специальным цензурным циркуляром все без исключения книги с такой пометой были запрещены к ввозу в Россию). В книге "Идеология национал-большевизма" М.Агурский справедливо отмечает, что в 20-е годы (я бы сказал, что только в первой их по-

ловине) "...эмиграция не была отделена от Советской России железным занавесом: между ними существовала широкая двусторонняя связь. То, что печаталось в эмигрантских изданиях, быстро становилось достоянием советской прессы, хотя бы и в форме критики"[3]. Да, это так, хотя и не стоит преувеличивать "относительное вегетарианство" той эпохи, как склонны считать некоторые авторы. Многочисленные документы Главлита – Главного управления по делам литературы и издательств, созданного 6 июня 1922 г., – свидетельствуют, что уже с 1923 г. на пути проникновения русской эмигрантской печати в СССР стала создаваться жесткая, а затем и вообще непроницаемая система заграждений[4]. В специальном цензурном циркуляре Главлита в этом году предписывалось "не допускать к ввозу в СССР все произведения, носящие определенно враждебный характер к советской власти и коммунизму, чуждую и враждебную пролетариату идеологию, литературу, враждебную марксизму" и даже "детскую литературу, содержащую элементы буржуазной морали с восхвалением старых бытовых условий"[5].

Особый интерес для сюжета нашей статьи представляют бюллетени Главлита за март-апрель 1923 г., снабженные грифом "Совершенно секретно" и предназначавшиеся крайне ограниченному числу лиц из верхушки политического и идеологического руководства. Об этом свидетельствует такая надпись на титульных листах: *"Настоящий бюллетень разослан следующим товарищам: 1.Тов. Ленину. 2.Тов. Троцкому. 3.Тов. Сталину..."*[6] – всего 12 лицам. Один из этих машинописных экземпляров попал в Петроградское отделение Главлита (Петрогублит). На основе этого документа (120 с. машинописи) мною и была написана статья "Печать Русского Зарубежья глазами Главлита и ГПУ", опубликованная затем в нью-йоркском "Новом журнале"[4]. Однако в ней, за исключением упоминания о запрете к ввозу в СССР "Еврейской трибуны", я практически не касался цензурных судеб русско-еврейской печати и литературы, и сейчас имеет смысл восполнить этот пробел.

* * *

Контролем за ввозом в СССР зарубежной печатной продукции ведал тогда Иностранный отдел Главлита, материалы которого широко представлены в упомянутом выше "Секретном бюллетене", – в таких разделах его, как "Положение книгоиздательского дела в Германии", "Характеристики зарубежных издательств", "Отзывы о зару-

бежных газетах и журналах", "Сведения о важнейших русских литераторах, эмигрировавших за границу". Имена евреев – книгоиздателей, журналистов, писателей, принимавших активное участие в культурном процессе Русского Зарубежья, – встречаются в бюллетене постоянно, и о них пойдет речь в нашей публикации.

* * *

Из раздела *"Положение книгоиздательского дела в Германии"*: "<...> Из издательств, имеющих определенную политическую физиономию и поддерживающих те или иные органы и группировки, следует отметить: *издательство Зальцмана,* реакционное сионистское издательство, имеющее солидный сионистский журнал *'Сафрут'*; издательство *'Мысль'* (С.Кучеров, Гольденберг) – по характеру тесно связано с 'Голосом России' и теперь с газетой 'Дни' " (л.33).

Из раздела *"Русская печать во Франции"*:

"Еврейская трибуна". (1919).

"Еженедельник, посвященный интересам русских евреев, издается и на французском языке (раньше выходил и на английском). Издается при ближайшем участии Винавера, редактор – Ю.Делевский, секретарь редакции – правый эсер Руднев. Одно из заданий журнала – обелить в глазах европейской публики евреев от обвинения в симпатии к большевизму. Политическая программа – левокадетская. Сотрудничают в журнале: Миркин-Гецевич (Мирский), Познер, а также случайные гастролеры – Милюков, французский эллинист Соломон Рейнак, особенно резко клевещущий на Россию в предисловии к книге Мирского" (л.37)[7].

Весьма примечательно, что "Еврейская трибуна", напоминавшая скорее газету, чем журнал, и выходившая до 1925 г., попала в поле зрения составителя "Обзора иностранной и русской прессы"[8]. Во многом этот обзор перекликается с секретными бюллетенями Главлита. В частности, по поводу "Еврейской трибуны" в нем указано: "Орган еврейской эмигрантской интеллигенции и по политическим взглядам примыкает к левым кадетам. В связи с расколом кадетской партии произошло размежевание также и среди сотрудников 'Еврейской трибуны'. Из нее ушли такие сотрудники, как Пасманик, Слиозберг, Родичев, Карабачевский, В.Д.Набоков, гр. Нессельроде и др. Новейший круг сотрудников ограничивается лишь приемлющими 'новую' тактику. В настоящее время ближайшими сотрудниками состоят: Бор.Мирский, М.Винавер, А.Вольский, П.Рысс, Дионео (Шклов-

ский), С.Поляков и другие сотрудники 'Последних новостей' и 'Голоса России'"[9].

Из раздела *"Характеристики зарубежных издательств"*:

"<...> Главлитом, в области регулирования книжного рынка, помимо индивидуального рассмотрения книг, ведется работа по исследованию характера каждого отдельного издательства и, в связи с выяснением политической физиономии издательства, определяется к ним соответственное отношение. Так, Главлитом не пропускаются *целиком* все издания издательства *'Слово'* – в силу того, что 'Словом' руководит Иосиф Гессен, организовавший издательство на коммерческой основе с целью финансировать правокадетскую группировку и газету 'Руль'.

Издательство *'Файгенфельд и Ко'* в Берлине: новое крупное издательство. Кроме коммерсанта Файгенфельда, в издательство входят: издатель антисоветского журнала "Голос эмигранта" д-р Бейленсон, близкий к группе И.В.Гессена, некий Хаакия и О.Зелюк, который, по-видимому, будет играть руководящую роль в издательстве. Это – типичный нэпман с большими связями в Советской России. В Париже ему принадлежит издательство 'Франко-русская печать' " (л.58).

Как можно убедиться, содержание цензурных донесений правительству и обзора иностранной прессы Разведывательного управления Генштаба армии совпадают почти полностью, ставя одну цель: выяснить прежде всего "политическую физиономию" каждого издательства или органа прессы, причем особое внимание обращалось на состав сотрудников и их ориентацию. За кулисами "Министерства правды", если вспомнить учреждение, в котором работал главный герой романа Джорджа Оруэлла "1984", шла далеко рассчитанная игра, целью которой было внесение раскола и углубление разногласий в среде русской эмиграции, выявление "сочувствующих совласти" – особенно среди евразийцев и сменовеховцев. Впрочем, за исключением, пожалуй, Сергея Эфрона, согласившегося позднее выполнять некоторые "деликатные поручения" советской тайной полиции, такие игры в еврейской среде результатов не дали.

К 1923-1924 гг. уже полностью сформировано отношение к русским зарубежным издательствам и их продукции, в том числе и к тем, которые возглавлялись представителями еврейской интеллигенции. К этому времени круг зарубежных эмигрантских издательств, книги которых, хотя и с ограничениями, все же пропускались в Россию, существенным образом сужается. Запрещен был провоз всех

без исключения, независимо даже от тематики и политической направленности, книг издательства И.В.Гессена "Слово". По циркуляру Главлита от 18 апреля 1923 г. предписывалось органам цензуры "принять срочные меры к недопущению в дальнейшем ввоза из-за границы книг издательства *Гржебина* и распространению их в РСФСР".

Как известно, в январе 1920 г. З.И.Гржебин заключил контракт с Гослитиздатом на поставку изданных им книг в Россию. Но, как несколько меланхолически (и несправедливо!) сообщали в "годы застоя" историки книги, "к сожалению, в дальнейшем издательство отклонилось от реализации первоначального плана, намеченного М.Горьким: З.И.Гржебин перестал подходить к выбору книг с присущей ему принципиальностью (!). 1 марта 1921 г. Госиздат ликвидировал договор с ним, отношения фактически были прерваны"[10]. Это, кстати, нанесло Гржебину громадный материальный ущерб, ибо его продукция, в основном, была ориентирована на читателя "метрополии". Но если, минуя каналы Госиздата, до апреля 1923 г. гржебинские издания все же проникали в Россию, то теперь путь их был окончательно перекрыт цензурными инстанциями.

* * *

В разделе секретного главлитовского бюллетеня "Отзывы о новых зарубежных книгах" все издания были распределены по трем "разрядам": "разрешенные", "запрещенные к ввозу в РСФСР" и "разрешенные только для индивидуального пользования". По данным Иностранного отдела Главлита за август 1923 г., из 240 иностранных книг были разрешены 104, в том числе из 63 книг на русском языке – только 10. Но и этот жалкий ручеек стал постепенно пересыхать: в первом квартале 1927 г. петроградским отделением Главлита единственная привезенная из-за рубежа русская книга была запрещена, а в третьем квартале вообще не поступила на цензурный досмотр ни одна книга на русском языке, вышедшая за рубежом. Это и понятно: близился "год великого перелома" (или точнее – "перешиба"), а потому человеку, рискнувшему провезти эмигрантское издание, грозили большие неприятности.

Среди авторов книг, запрещенных к ввозу в Россию, – как на русском языке, так и на иврите и идише – постоянно встречаются имена евреев-писателей, философов и публицистов. Сейчас, учитывая специфику нашего сборника, я не касаюсь цензурных судеб книг на

иврите и идише. Из книг на русском языке, задержанных цензурным контролем на таможне, упомяну лишь известную книгу М.О.Гершензона "Судьбы еврейского народа", изданную в Берлине ("Эпоха", 1922). "Книга, – гласит главлитовская резолюция, – написана в религиозно-мистическом духе и проводит идею единства нации без классов и избранности еврейского народа"[11] (л.64).

* * *

В разделе бюллетеня "Сведения о виднейших русских литераторах, эмигрировавших за границу", встречаются имена Д.С.Мережковского, В.В.Набокова и других крупнейших писателей-эмигрантов. Из еврейских литераторов упомянут Б.С.Мирский, не раз привлекавший внимание цензуры своим активным участием в русских журналах и газетах:

"*Мирский Борис Сергеевич* (Миркин-Гецевич) – приват-доцент по международному праву Петроградского университета. До революции – сотрудник петроградских газет и журналов: 'Вечерний час', 'Новости', 'Сатирикон' и др. Осенью 1918 г. сотрудничал в киевской газете 'Наш путь'. В 1919 г. редактировал в Одессе газету 'Южное слово'. В январе 1920 г. уехал в Париж. Работает ближайшим сотрудником 'Последних новостей', 'Еврейской трибуны', 'Свободных мыслей'. Издал ряд литературных работ. Закончил книгу 'Критика религиозной и социалистической эсхатологии (первохристианство и большевизм)'. Работал над докладом для Общества Лиги Наций. Кончил книгу 'Россия и евреи'. К Соввласти явно враждебен. Принадлежит к активнейшей части правых кадетов. Группа П.Н.Милюкова".

Судя по этой характеристике, цензура (явно не без помощи ГПУ) располагала секретными сведениями, полученными, видимо, из агентурных разработок: указываются, в частности, еще *не вышедшие* книги и доклады, над которыми работал Мирский в момент составления бюллетеней Главлита в 1923 г.[12]

Таковы лишь некоторые цензурные отзывы и характеристики, помещенные в секретных цензурных сводках за два месяца работы Главлита. Вполне понятно, что по мере рассекречивания потаенных архивов верховного цензурного судилища сведения о запрещении и преследовании русско-еврейских зарубежных издательств, журналов, газет, так же как и отдельных авторов и их книг, могут существен-

но пополниться. В заключение, справедливости ради, все же отмечу, что явно антисемитские мотивы в цензурных отзывах пока отсутствуют – они появятся позднее. Коммунистический режим интересовался преимущественно не национальной, а *политической и идеологической* окраской тех или иных органов печати, издательской продукции и т.д. Но антисионизм, как можно убедиться, уже процветает в приведенных характеристиках. Как известно, разгром сионистского движения в советской России начался уже в 1919 г.: позже многие его деятели разделят трагическую судьбу узников и жертв ГУЛАГа[13].

Примечания

1. См., в частности, материалы 1-го выпуска сборника "Евреи в культуре Русского Зарубежья" (Иерусалим, 1992), особенно статью Л.Юниверга: "Евреи-издатели и книготорговцы Русского Зарубежья".

2. Об этом свидетельствуют многочисленные документы и воспоминания. Обширный материал по этому вопросу содержится в книге Л.Флейшмана, Р.Хьюза и О.Раевской-Хьюз "Русский Берлин. 1921-1923. По материалам архива Б.И.Николаевского в Гуверовском институте". (Париж, Имка-пресс, 1983).

3. Агурский М. Идеология национал-большевизма. Париж, 1980. С.158.

4. Подробнее см. в нашей статье "Печать Русского Зарубежья глазами Главлита и ГПУ" // Новый журнал (Нью-Йорк). 1991. Т.183. С.264-282.

5. Центральный гос. архив литературы и искусства в С.-Петербурге (далее ЦГАЛИ Спб.). Ф.31. Оп.9. Л.9.

6. ЦГАЛИ Спб. Ф.31. Оп.2. Д.13 (далее в тексте указываются только листы дела).

7. О "Еврейской трибуне" см.статью Веры Каплан в настоящем сборнике.

8. Дуцман В.Л. Обзор иностранной и русской прессы. М. Издание разведывательного управления Штаба РККА, 1922. С.118.

9. Упомянуты крупные деятели кадетской партии, в том числе В.Д.Набоков, и видные еврейские публицисты и писатели.

10. История книги в СССР. 1917-1921. М.,1985. Т.2. С.141.

11. Михаил Осипович Гершензон (1865-1925) не эмигрировал из России, но активно сотрудничал в ряде зарубежных русскоязычных издательств и органах прессы.

12. Упомянутые в цензурной характеристике книги не найдены.

13. На основе обнаруженных в архивах документов Главлита автором этих строк подготовлена сейчас специальная работа "Цензурные преследования литературы на иврите в СССР (20-е годы)".

Архивы и мемуары

Редактор Сима Векслер

В межвоенной Польше.
Воспоминания С.С.Дубновой-Эрлих

Публикация Виктора Эрлиха (США)

Переписка В.Е.Жаботинского с А.М.Горьким

Публикация Иосифа Вайнберга (Россия)

Возвращаясь к имени Зиновия Исаевича Гржебина
Неизвестное письмо А.М.Горького В.И.Ленину

Публикация Иосифа Вайнберга (Россия)

Из писем Зиновия Пешкова

Публикация Михаила Пархомовского (Израиль)



С.М.Дубнов

В межвоенной Польше
Воспоминания С.С.Дубновой-Эрлих*

Публикация и предисловие Виктора Эрлиха
(Хамден, США)

Софья Семеновна Дубнова-Эрлих родилась в 1885 году, в маленьком городке Минской губернии Мстиславе, в семье выдающегося еврейского историка Семена Марковича Дубнова. Свои гимназические годы она провела в Одессе, студенческие – в Петербурге. Если шумный и пестрый портовый город был чужд застенчивой, впечатлительной девочке, то Петербург начала века, очаг духовного, литературного и общественного брожения, стал для курсистки-"бестужевки" – и остался на всю жизнь – родным и незаменимым. Тяга к поэзии, привитая с детства отцом – ревнителем литературы, оказала влияние на всю ее жизнь, вылилась в лирическое творчество.

Первый сборник стихов С.Дубновой "Осенняя свирель" носил отпечаток влияния мастеров русского символизма, в особенности Валерия Брюсова и Александра Блока. Свой поэтический голос она обрела в цикле "Мать", который вышел в 1916 году и сразу же привлек внимание критиков – С.Дубнову поддержал тогда еще молодой Корней Чуковский.

В юные годы Софья Дубнова примкнула к русскому революционному движению, включившись в деятельность еврейской рабочей партии

---

* Публикуется часть воспоминаний и с небольшими сокращениями. Полностью воспоминания С.С.Дубновой-Эрлих готовятся к изданию отдельной книгой в С.-Петербурге. *(Ред.)*

"Бунд". Во время первой мировой войны она сотрудничала в антимилитаристском журнале "Летопись", выходившем под редакцией А.М. Горького.

В 1911 году С.Дубнова вышла замуж за Генриха Эрлиха, который был тогда восходящей звездой в еврейском социалистическом движении. Как лидер "Бунда" он играл видную роль в социалистическом лагере между февралем и октябрем семнадцатого года. Вместе с представителями эсеров и меньшевиков он резко протестовал против захвата власти большевиками на историческом заседании Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов.

В 1918 году политические и личные соображения побудили Эрлихов уехать на время в Польшу (Генрих Эрлих был уроженцем Люблина). Но положение социалистов-демократов ухудшалось в Советском Союзе из года в год, и Эрлихам пришлось остаться в Польше до начала второй мировой войны.

Человек, кровно связанный с русской культурой и русской общественной мыслью, Софья Семеновна Дубнова-Эрлих тяжело переживала разлуку с родиной. Тем не менее, в течение двадцати лет, прожитых в Польше, она не чувствовала себя эмигранткой. Блестяще овладев польским языком, она включилась в литературную и общественную жизнь независимой Польши, приобрела широкую известность как литературный и театральный критик, активно участвовала в еврейском социалистическом движении. При всем при том в Варшаве Софье Семеновне сильно недоставало общения с близкой ей русскоязычной средой. Отрадной интерлюдией была для нее работа в берлинском бундовском архиве в 1925-26 гг., которая дала ей возможность провести год с родителями и окунуться хотя бы на время в родную стихию русско-еврейской интеллигенции.

В 1939 году польский период жизни Софьи Семеновны подошел к концу. Варшаве грозили нацистские полчища. Как и многие другие деятели "Бунда", С.Дубнова-Эрлих вместе с двумя сыновьями, Александром и Виктором, устремилась на восток. Спасаясь от Гитлера, они попали под иго Сталина: в середине сентября по уговору с Германией советские войска захватили восточную Польшу. Генрих Эрлих был арестован советскими властями в Брест-Литовске, и все попытки жены и сыновей узнать о его положении оказались тщетными.

С.Дубнова-Эрлих вместе с сыновьями оказалась в советской Литве; несмотря на угрозу ареста, им удалось покинуть Литву и после многочисленных мытарств добраться в США через Россию, Японию и Кана-

ду. Это было осенью 1942 года. Здесь, в свободном и хорошо информированном мире, обрушились на Софью Семеновну два тяжелых удара. Выяснилось, что в декабре 1941 года, после захвата Риги немцами, от руки фашистского солдата погиб С.М.Дубнов. В феврале 1943 года тогдашний советский посол в США М.М.Литвинов сообщил лидеру американских профсоюзов Уильяму Грину, что Генрих Эрлих вместе со своим другом и соратником Виктором Альтером был расстрелян в Советском Союзе. Расстрел сопровождался чудовищным обвинением: по словам Литвинова, Эрлих и Альтер занимались пораженческой пропагандой в рядах Красной Армии. (В свете документов, недавно извлеченных из архива КГБ, сообщение Литвинова оказывается вдвойне лживым: в действительности, Эрлих покончил с собой в куйбышевской тюрьме в мае 1942 года.)

Эта двойная трагедия не сломила С.С.Дубнову-Эрлих. Духовная стойкость помогла ей вернуться к литературной деятельности. Свыше сорока лет, прожитых в Нью-Йорке, оказались одним из наиболее плодотворных периодов ее жизни. В 1951 году она закончила биографию отца "Жизнь и творчество С.М.Дубнова", проникнутую любовью, емкую и сжатую, книгу о большом ученом и человеке. (Написанная на русском языке, биография С.Дубнова переведена на идиш, иврит и английский.)

Приблизительно двадцать лет спустя при содействии сыновей Софья Семеновна выпустила маленький томик "Стихи разных лет"; в него вошли лучшие лирические стихотворения, написанные на протяжении многих десятилетий. Критики сочли книжку ценным вкладом в поэзию русского рассеяния.

В начале семидесятых годов С.Дубнова-Эрлих начала писать мемуары. Она работала над ними почти до конца своих дней (смерть пришла в мае 1986 года – на 101-м году жизни). Ей не было суждено закончить повесть о своей жизни. И все же она смогла рассказать о многих этапах своего на редкость долгого, трудного и значительного пути, где "жизнь стихом" тесно переплелась с общественным идеализмом, а глубокая преданность русской культуре с непоколебимым еврейским самосознанием.

Перед читателем проходят яркие картины юности С.Дубновой-Эрлих и ее зрелых годов – Вильно, Петербург, Париж, целая плеяда корифеев Серебряного века: А.Блок, В.Брюсов, З.Гиппиус, А.Белый, М.Волошин, дружба с К.Чуковским, встречи с В.Лениным и Ю.Мартовым в Париже, сотрудничество с Горьким в "Летописи" (Петроград, 1917

год), встреча на курорте под Варшавой с героиней бабелевского рассказа, волнующие беседы с еврейской рабочей молодежью польских провинциальных городков в тревожные дни роста фашизма и антисемитизма накануне Катастрофы.*

Литературное дарование, чуткость и вдумчивость позволили Софье Дубновой-Эрлих воссоздать на этих страницах атмосферу блистательной и роковой эпохи.

Один из лейтмотивов последней части мемуаров – неизбывная боль разлуки с родиной. На склоне лет С.С.Дубнова-Эрлих сказала об этом простыми словами: "Эмигрантка? Нет, просто дочь, / Разлученная с матерью..."

...Было невесело покидать Берлин, город, в котором свободно гудели ветры двадцатых годов нашего века (в тридцатых годах он стал иным), а особенно тяжело – расставаться с погрустневшим отцом и матерью.

Небольшим светлым этапом по пути к Варшаве был приморский поселок, одаривший нас солнцем и веселым балтийским ветром. Мы снова были вчетвером – Г.[1] вернулся из Америки с грузом впечатлений; сказал, что поездка была интересной, но жить в этой стране ему бы не хотелось. И он и дети радовались возможности побыть вместе – в лихорадке варшавской жизни это почти никогда не удавалось. А пока все мы жадно вбирали в себя, говоря пушкинскими словами, передающими морскую зыбь, "и блеск, и тень, и говор волн".

Варшава показалась мне съежившейся, ее тротуары – у́же, фонари – мутнее. Войдя в нашу квартиру, я сразу решила, что необходимо покрыть новой краской стены и выбросить все деревянные монстры. Проработав год в Берлине на скромном, но постоянном жалованье, я чувствовала себя после варшавских финансовых неувязок чуть ли не крезом, и в нашей квартире появилась простая и легкая мебель, а у меня оказался собственный письменный стол со светлым дубовым фанером и просторными ящиками.

Предстояло возобновить беседу с читателем о новом в литературе и новом в области быта. Я отдавала себе отчет в том, что газета, в которой я работала, являлась для огромного большинства чита-

---

* Отрывки из этой части воспоминаний опубликованы в 96-м и 97-м журналах "Время и Мы" за 1987 год. *(Примеч. ред.)*



С.С.Дубнова-Эрлих

телей единственным источником сведений о том, что происходит на свете: это обязывало. Жизнь подсказывала темы: одной из них был процесс ломки и переустройства форм быта, семейных отношений, способов воспитания. В среде польской прогрессивной, хотя аморфной политически, интеллигенции возникло течение, ставившее себе целью встряхнуть застоявшийся, консервативный быт, формировавшийся в течение ряда веков под крылом католического клира. Ряд талантливых писателей во главе с апостолом секулярной западной культуры Боем-Желеньским неутомимо ставил в порядок дня такие требования, как облегчение разводов, легализацию абортов, освобождение отношений между полами от обязательной регламентации. Общество "Świadomego Macierzyństwa"[2] добивалось ликвидации системы, превращавшей женщину в машину деторождения.

Перемены, происходившие у нас на глазах, настоятельно требовали анализа, и я неизменно возвращалась к этой теме и на столбцах "Фольксцайтунга" и в статьях, которые я писала, не нуждаясь в переводе (какое удовлетворение давала мне давно забытая привычка придирчиво работать над формой, над языком!) для "Nowego Pisma" – бундовского органа на польском языке. Редактор "N.P.", Виктор Альтер, настойчиво требовал от меня статьи для каждого выпуска – журнальной тетрадки небольшого формата.

Молодая журналистка Ирэна Кживицкая, преданный оруженосец и подруга Боя, нашла в моих статьях в "N.P." созвучную ноту и познакомила меня с деятельницами организации "Świadome Macierzyństwo". Я узнала от них о проекте организации ряда бесплатных консультационных пунктов для женщин из рабочей среды; один такой пункт предполагалось открыть в еврейском квартале. Я свела г-жу М., автора острых фельетонов, бичевавших мещанскую мораль, с активисткой бундовского женотдела Диной Блонд. Элегантная дама в парижской меховой накидке загорелась профессиональным любопытством, окунувшись в экзотику митинга еврейских работниц; потом она призналась мне, что особенное впечатление на нее произвела председательница – "маленькая женщина, прямо шагнувшая к нам из 1905-го года".

При обсуждении плана устройства консультационного пункта в еврейском квартале я высказала мнение, что среди работающего там медицинского персонала должен быть по крайней мере один человек, который мог бы свободно объясняться с пациентками на их родном языке. В ответ на это Будзиньска-Гулицка, врач-гинеколог, массив-

779) Только я узнала, что предсказание мне не обмануло. В августе ко мне Михаил позвонил мне, что он и сообщил, что Мишу арестовали в Крыму, в то самое время, где она обычно проводила с ним (Мишей) несколько недель. Его тоже сразу увезли, а ей прислали приказ немедленно вернуться в Польшу.

Спустя некоторое время пришло письмо от Е.П. Пешковой: она сообщала, что Миша Михаил приговорен к трехлетнему заключению в одной из московских Тюрем, и она взяла на себя (Мишину) заботу о нем. Было ясно, что Красный Крест не вмешивался.

Политическая атмосфера сгущалась и у нас, в стране, управляемой бесстрашным реакционным правительством, росли фашистские настроения. Двери в дома осаждали черные мысли, и я чувствовала, что спасение можно найти только в работе. Ох, как хотелось писать не для перевода, работать над формой, искать вариантов, черкать, перепечатывать набело... Наша в пору наших летних встреч

ная женщина с голосом полкового командира, разразилась возмущенной тирадой, явно заподозрив меня в шовинизме: "Тут вам, сударыня, не школа языков, а медицинская помощь!" Не знаю, убедило ли ее мое объяснение, что при контакте с женщинами из народа, стесняющимися разговоров на интимные темы, чужой язык – неодолимое препятствие.

Мои статьи о проблемах быта находили отклик прежде всего в среде молодых читателей. Вышедшая из народа молодежь – юноши и девушки, обучавшиеся в школах, работавшие на фабриках, в мастерских, в конторах, остро переживали разрыв с традиционным укладом жизни, нередко выливавшийся в тягостные внутрисемейные конфликты. Новые, свободные формы общения в партийной работе, в кружках, летних лагерях, самообразовательных и туристических экскурсиях, ломая воздвигнутые традицией преграды, вели к созданию новых правил морали, еще не вполне определившихся и требовавших обсуждения.

Меня пригласили на собеседование в один из кружков бундовской молодежи. Руководитель кружка, молодой партийный активист, сразу завоевавший мою симпатию сочетанием убежденности с мягкостью тона, объяснил цель собрания: борясь за переустройство общества на началах справедливости и человечности, молодежь сознает, что необходимо стремиться к осуществлению этих начал и в повседневном быту, в сфере личных, интимных отношений. Этому надо учиться, и мы должны сообща – по-товарищески, в откровенной беседе обсудить, как это делать.

Приятно было сознавать, что от меня ждали не реферата, не поучения, а простого товарищеского участия в обсуждении волновавших нас всех вопросов.

Мой контакт с молодежью вскоре принял форму бесед с глазу на глаз: все учащались посещения девушек, нуждавшихся в совете или практической помощи.

Одной из частых моих посетительниц была семнадцатилетняя Гутка, девушка большой энергии и общественного темперамента (спустя некоторое время жандарм во время демонстрации вырвал из ее рук знамя с надписью "Да здравствует красная Испания!" и уволок ее в тюрьму). Гутка тяжело работала и почти весь заработок отдавала нуждающейся семье. Она пришла поделиться тревогой: выяснилось, что она беременна. Я свела ее со знакомой женщиной-врачом, которая с большим для себя риском (аборты сурово карались)

неоднократно выручала девушек, попавших в беду. Есть женщины, у которых аборт вызывает временную депрессию и охлаждение к сексу, – Гутка, по-видимому, принадлежала к их числу. Когда ее друг стал категорически требовать возобновления прежних отношений, возмущенная его агрессивностью девушка потребовала разрыва: прежнее чувство угасло. Парень не угомонился и решил вынести свою личную драму на суд товарищей, утверждая, что поведение его подруги "подкосило его общественную энергию". Глотая слезы, рассказывала мне Гутка, что товарищи по кружку осаждают ее упреками и советами, считая вполне естественным вмешательство в ее личную жизнь: она просила, чтоб я открыто взяла ее под свою защиту. Я объяснила, что считаю недопустимым обсуждение в кружке деталей личной жизни, но постараюсь немедленно откликнуться на ее беду, посвятив статью в популярном и влиятельном органе бундовской молодежи "Iugnt-weker" теме отношений между личностью и коллективом.

Статья вызвала множество откликов. Редактор "Югнт-векера" благодарил меня за то, что я решила высказаться на тему, которой никто до сих пор не касался. В среде читателей шли споры. В кружке, где мне недавно довелось выступать, товарищ Зуска, как мне передавали, с большой горячностью защищал основную мысль моей статьи. Моя молодая приятельница, вернувшись в товарищескую среду, торжествовала победу.

А жизнь шла кругом нелегкая – и в ее повседневном, и в общеполитическом аспекте. Трудно было мириться с тем, что политический корабль двигался зигзагами ни шатко ни валко, по воле рулевого с ограниченным кругозором и неограниченным самомнением. Польша времен Пилсудского создала свой собственный доморощенный "культ личности", который, разумеется, ни в какое сравнение не шел с "культом" двух соседних деспотов, проливших моря крови, но тем не менее не мог не вызывать протеста: особенно возмущали репрессии, вызванные мелкой личной враждой. Протест в печати немедленно заглушался цензурой; газета, в которой я работала, систематически конфисковывалась, и Г., писавший по ночам свои передовицы, часто убеждался, что единственным его читателем является цензор-садист, награждающий газету белым пятном или конфискацией.

К этому времени относится первый самостоятельный политиче-

ский акт моего старшего сына. Он был в ту пору учеником седьмого класса гимназии – прежняя прогрессивная школа, к которой он был очень привязан, прекратила существование. Директор гимназии, пронырливый карьерист, явившись в класс, произнес патетическую речь о Юзефе Пилсудском и предложил "добровольно" подписывать фамилии под адресом, содержавшим пылкие верноподданнические чувства. Он вызывал учеников в алфавитном порядке; когда очередь дошла до Али, он заявил, что не может подписать адрес, так как не одобряет политику Пилсудского.

Мы встретились на улице, неподалеку от дома. Помахав рукой, [Аля] крикнул: "Мама, в школе подписывали поздравительный адрес 'Дзядку'[3] – я отказался!" Я сказала: – "И хорошо сделал".

Через несколько дней пришло послание от Педагогического Совета. Нас уведомляли, что наш сын лишается возможности посещать школу вплоть до рассмотрения Советом его "дела"; что обнаружилось его вредное влияние на класс, по-видимому, явившееся следствием его воспитания в нежелательном духе; высказывалось предположение, что мы можем предпочесть перевести сына в другую школьную среду. Мы с Г. решили, что Аля должен немедленно, не дожидаясь решения "дела", уйти из школы, и он с нами вполне согласился. На следующий день после получения письма я отправилась в школу. Директор был в замешательстве – он ждал материнских охов и вздохов (за его письменным столом уже плакали две другие матери), но я спокойно сказала, что хотела бы получить метрику и другие документы сына для передачи в другую гимназию. Глаза директора беспокойно забегали, и он растерянно забормотал: "Как же так, пани редакторова, ведь дело еще не рассмотрено, может быть, все уладится..." Я сослалась на письмо, содержащее недвусмысленный совет перевести ученика, воспитанного в кругу чуждых школе идей, в другую школьную среду. Спорить было не о чем. Директор заметался как мышь, долго копался в ящиках, терял очки и под конец вручил документы, ошарашив меня заявлением, что жалеет об уходе ученика, которого уважал за прямоту характера. Я развела руками.

Аля поступил в другую школу. До получения аттестата зрелости оставалось всего три семестра, и он уже чувствовал себя на пороге университета. Новая гимназия помещалась в одном из мрачных стандартных домов еврейского квартала; уровень преподавания был невысокий, учителя и ученики инертно тянули повседневную лямку, отбы-

вая скучную повинность. Живым человеком оказался, впрочем, заведующий школой, специалист по польской литературе и член социалистической партии. Он встретил мужа по-товарищески и сказал, что если единственным грехом нашего сына является нежелание подписывать верноподданнические декларации, он готов принять его в середине школьного года.

Оставалось решить вопрос и о школе для нашего младшего сына. Было ясно, что домашнему обучению должен вскоре прийти конец – мальчик нуждался в общении со сверстниками. Его здоровье, однако, продолжало внушать беспокойство – ряд серьезных болезней, следовавших одна за другой, ослабили сердце и дыхательные органы. Наш друг Анна Брауде-Геллер, заведывавшая еврейской детской больницей, часто заглядывала к нам в поздние вечерние часы, садилась молча у Витиной кровати и прислушивалась к затрудненному сонному дыханию мальчика (спустя много лет доктор Анна Брауде, отправив своего сына на "арийскую сторону", присоединится к своим больничным пациентам, угоняемым в Треблинку).

Как-то в доме друзей я познакомилась с четой Л., которые несколько лет назад увезли свою хилую, перенесшую много детских болезней дочку в лесной поселок Отвоцк, находившийся в сорока минутах езды дачным автобусом от Варшавы, и там отдали ее в школу. В течение нескольких лет девочка совершенно переродилась. Когда я рассказала моим новым знакомым о наших семейных заботах, они наперебой принялись меня уговаривать последовать их примеру, твердя, что два-три года в сосновом лесу могут поставить Витю на ноги.

Мы с Г. долго обсуждали этот план. Наш старший сын был на отлете – он готовился к поступлению в берлинский университет, где преподавание общественных наук велось крупными учеными. Г., загруженный, замотанный выполнением разнообразных партийных функций, не мог думать об отрыве от Варшавы. Оставался единственный исход: мне с Витей устроиться в Отвоцке на два учебных года, предваряющих получение аттестата зрелости.

Когда я об этом заговорила, в среде родни и в кругу знакомых вспыхнул бунт: кое-кто сгоряча твердил, что я в избытке материнских чувств обрекла себя на добровольную ссылку. Неизменную поддержку нашла я у нашей докторши Анны Брауде; помогать мне в осуществлении моего плана вызвался племянник мужа, студент варшавского политехникума, который обучал Витю математике, подолгу

живал у нас и дружил с обоими мальчиками.

Мы с ним съездили в Отвоцк. Школа стояла в сосновом лесу, расчищенные аллеи, спортивные площадки. Была переменка, мелькали издали здоровые, загорелые лица; густую смолистую тишину нарушал стук шаров на кегельбане. Директорша школы, явно гордившаяся системой совместного обучения девочек и мальчиков как признаком прогрессивности, приняла меня приветливо и деловито. Выяснилось, что Вите придется начать ученье с ближайшего осеннего семестра после краткого экзамена. Покончив с делами, мы с Витей ринулись в глубь леса и окунулись в запахи весенней воскресающей зелени.

Под конец лета я сняла в недавно выстроенном доме небольшую скромно меблированную квартирку с балконом, глядевшим в лес. Переезд в Отвоцк совпал с отъездом Али в Берлин, где он собирался поселиться у деда и бабки. Это была для меня первая длительная разлука с сыном, и я пыталась заглушить тоску хлопотами по устройству нового жилья. Когда мои рукописи очутились в ящике кургузого комода, я почувствовала, что я здесь дома.

Г., с трудом урывая время, приезжал в конце недели тряским нерегулярно ходившим дачным поездом и опрокидывал на наш обеденный (он же письменный) стол туго набитый портфель; он утверждал, что в деревенской, не прерываемой телефонами, тишине, ему особенно хорошо писалось. Мне тоже казалось, что здесь мне легче будет собраться с мыслями, сосредоточиться на чем-нибудь одном. Стихи я писала редко, и только так, как пишут дневник, когда начинает душить тоска; они мне не очень нравились, я смутно чувствовала, что стихи должны вырастать из чего-то другого: на камне ничего не растет.

Блуждая бесцельно по лесным тропинкам, никуда не ведущим, я чувствовала себя сосудом, в котором кипят мысли, образы, наброски сюжетов, отдельные звучные строчки, и мне хотелось сказаться словом, не только начертанным на бумаге, но и устным, прямо обращенным к людям, так, чтоб ощущать идущие от них токи. Но было ясно, что так говорить я могла бы только на моем языке, физически ощущая его четкость, его звучание, зная, что ждут меня находки в словосочетаниях... А кругом стояла глухая тишина, стынущая в лапах косматых елей...

Днем наш трехэтажный дом, населенный родней зажиточного хозяина, бизнесмена в отставке, казался почти нежилым; к вечеру тря-

ский паровичок привозил жильцов, работавших в городе, к их женам, прилежным домохозяйкам. В поздние вечерние часы в обширной хозяйской гостиной закипал страстный и шумный многоголосый картеж. Отзвуки ссор за картами доносились даже ко мне под крышу. Однажды наш хозяин, грузный седобородый старик, загородив лестничный пролет, стал упрекать меня в том, что я бойкотирую карточные сеансы. Услышав, что в картах я ни черта не смыслю и умею играть только в "подкидного дурака", он недоверчиво покачал головой и полусерьезно-полушутливо сказал: "Вот как – знал бы, так я бы, пожалуй, не сдал вам квартиру".

Днем я часто просиживала целые часы с книгой или тетрадкой на широкой каменной скамье неподалеку от входа в дом и оставалась в полном одиночестве. Но однажды моей соседкой оказалась высокая полная женщина, плотно закутанная в теплую шаль. Сидела она боком, опустив голову – казалось, не то дремала, не то погружена была в раздумье, – и мне видны были только черные шелковистые завитки на ее затылке. Когда она повернулась ко мне и подняла голову, я ахнула, увидав нежный овал, огромные темные глаза, тонко вылепленный профиль. Я не удивилась, когда спустя некоторое время Роза М. сказала мне, что Бабель при первой встрече с нею назвал ее "еврейской Анной Карениной". Огромные грустные глаза глядели теперь на меня вопросительно, и я объяснила, кто я такая. Она оказалась моей соседкой, живущей этажом ниже.

Мы разговорились и стали часто встречаться. Я узнала, что моя новая знакомая окончила консерваторию, прожила много лет в Петербурге. Нас обеих, уроженок окраин (она родилась в Польше), сблизила любовь к этому городу. Вскоре в нашей близости появилось новое звено: как-то, когда мы сидели вдвоем на балконе в солнечный морозный день, она положила мне на колени маленькую явно зачитанную книжку и спросила, помню ли я в бабелевской "Конармии" главу "Замостье". Услышав, что "Конармия" прочно утвердилась в моей памяти, она тихо сказала: "Так вот, мне захотелось сказать вам, что Марго – это я".

Летели дни и недели, и я целыми часами слушала горькую повесть о любви, о разлуке, о браке с заботливым и любящим, но нелюбимым человеком и, наконец, о неизлечимом недуге, который обрек Розу доживать последние годы в лесной глуши.

Маленький зимний курорт не обладал способностью спасать безнадежно больных, но он вливал эликсир здоровья в молодые хилые

тела. Мой сын день ото дня становился бодрее, энергичнее. В школе он стал звездой первой величины: великовозрастные провинциальные парни с первоклассной мускулатурой и туговатыми мозгами были ошеломлены его литературной эрудицией, а нескорая на похвалы преподавательница польской литературы (она же директорша) время от времени констатировала: "Разумеется, Эрлих – весьма начитанный мальчик".

Витя никому не отказывал в помощи и вскоре стал постоянной опорой для наименее преуспевающих из семиклассников, а наша квартира превратилась в некое подобие хедера. Когда я возвращалась домой с послеобеденной прогулки, уже на лестнице встречал меня слитный гул, стол в столовой завален был учебниками и тетрадями, и я с трудом находила для себя место возле кухонной плиты. Сквозь дверную щель я видела, как Витя шагает от одного ученика к другому, что-то им объясняя солидным учительским голосом.

Под конец школьного года сын стал неузнаваем. Я повела его к врачу, который осенью поставил неутешительный диагноз. Теперь, записывая фамилию, он вспомнил, что в сентябре посетил его какой-то другой Эрлих, но тот был очень хилый юноша. Трудно было убедить доктора, что перед ним стоит его прежний пациент.

Когда в квартиру ворвался приехавший на каникулы Аля, сразу стало тесно и весело. Аля был доволен Берлином, университетской наукой, новой средой (он вступил в организацию социалистической молодежи и носил на лацкане куртки ее эмблему – три стрелки). Он привез целый репертуар немецких революционных песен разного рода – в некоторых из них поминались Роза и Либкнехт. От рассказов о политической атмосфере, которая сгущалась с каждым месяцем, он переходил к более "уютному" домашнему эпосу, и мы помирали со смеху слушая, как мой отец, осуществляя толстовскую программу "опрощения", стирал свои рубахи на кухне под краном холодной водой, а мама застывала в дверях воплощенной укоризной.

Когда начался второй Витин учебный год, который должен был привести его к аттестату зрелости, ему пришлось делить свою комнату со школьным товарищем, ставшим нашим жильцом: у нас не было средств, чтоб платить за две квартиры. Это был послушный и способный, но неуравновешенный мальчик, выросший в тяжелой домашней обстановке. После того, как он принял участие в первомайской демонстрации, маршируя в отряде коммунистической молодежи, либеральный директор по требованию полиции вынужден был ис-

ключить его из школы, но выдал ему хорошее свидетельство с упоминанием о слабости здоровья. У нас мальчик чувствовал себя превосходно: наукой он себя не очень утруждал, так как рядом был Витя – живой источник всяких сведений.

На 2-3 месяца приехал к нам Г. – он взял партийный отпуск, чтоб подготовиться к экзамену и получить формальное право работать юристом (уезжая из Петербурга, он не захватил никаких документов, а реакционный адвокатский Совет в Варшаве чинил всяческие препятствия его вступлению в адвокатуру). В тишине нашего деревенского жилья он успешно одолевал материал, содержавшийся в монументальных кодексах, и в конце концов сдал трудный экзамен, пробираясь, как сквозь колючие сучья, через каверзные вопросы экзаменаторов-эндеков.

Мы прожили в Отвоцке два учебных года. Аля не довел до конца свои занятия в Берлине: он был исключен из университета как еврей и перешел в Варшавский Вольный Университет (Wolna Wszechnice). В тот же университет поступил Витя. Атмосфера на Вжехнице благоприятствовала занятиям: среди профессоров было немало людей с передовыми взглядами; Вжехница была единственным в Варшаве высшим учебным заведением, в котором не было антисемитских эксцессов.

Я вернулась из Отвоцка с твердым намерением переменить обстановку нашей городской жизни: от скучной улицы, лестницы с замызганными ступеньками, от облупленных стен кухни ложилась на душу серая пыль. Ожесточение придало мне энергии, и я совершила двойную сделку (в Варшаве за квартиры давалось отступное): продала нашу квартиру дантистке, прельстившейся бойким местом и первым этажом, а для нас приобрела квартиру на четвертом этаже в тихом районе, неподалеку от Лазенковского парка. Квартира была дороговата, и одну из комнат (очень нужную) пришлось сдать. По объявлению в популярной газете быстро нашлась жиличка – перезрелая девица в кудряшках, служащая в какой-то конторе. Спустя некоторое время она смущенно заявила, что не сможет у нас остаться. Я приняла это к сведению, но спросила, чем она была недовольна. Оказалось, что она ошиблась, приняв меня за польку, и очень разволновалась, когда брат объяснил ей, что фамилия на дощечке – еврейская и что надо немедленно уехать. Унося чемодан, она вздохнула: "Я знаю, что такой хорошей хозяйки нигде не найду, но не могу же я жить у евреев".

Я дала объявление в польско-еврейской газете, и у нас поселились два студента.

В Варшаве мне довелось время от времени выступать в кружках; но профессиональным лектором я стала только тогда, когда начала ездить в провинцию по приглашению общества "Культур-Лига" или местной бундовской организации. Языком моих лекций был польский, и это определило характер аудитории – среди слушателей преобладала молодежь. Вопросы задавались по-польски и по-еврейски, письменно или устно. Я обычно клала перед собой каллиграфически написанные тезисы – результат долгой обдумки – и ни разу в эту бумажку не заглянула – каждая лекция естественно становилась импровизацией.

Тему лекции и краткий план я обычно сообщала местным организаторам за несколько дней до приезда. Случалось, однако, что меня ждал сюрприз: как только я вышла из автобуса на базарной площади городка Nowy Dwor, мне бросились в глаза аршинные буквы афиши, извещавшие о лекции под названием "Liebe, Chasene, Familie"[4], и я очень удивилась, найдя на афише мою фамилию. Я скромно озаглавила лекцию "Новый быт в советской литературе", но новодворские товарищи сочли это название недостаточно эффектным.

Неудивительно, что зал был переполнен, и среди публики оказалось немало женщин среднего возраста. Одна из записок, написанная по-еврейски, гласила: "Что будут делать при социализме старые женщины?" Над ответом мне пришлось серьезно призадуматься...

Поездки в глубь страны обернулись путешествием в глубь времени. Местечко, затерянное среди нив и перелесков, могло называться Турек или Пжисныш, Конин или Маков; в памяти осталась одна и та же пропахшая дегтем и навозом базарная площадь, где останавливался расхлябанный автобус. С его подножки я сходила не только на заляпанные грязью булыжники, но чуть ли не в семнадцатый век, и только встречавшая меня оживленная группа юношей и девушек была частью современности.

Я приезжала обычно по пятницам, в предвечерний час, когда начинают громыхать засовы лавок и праздничная тишина обволакивает местечко.

Не отходить бы от низких окошек, где сейчас затеплятся субботние свечи, озаряя бедный уют, но уже зажегся фонарь над входом в здание вольной пожарной команды, и настает время перейти от ве-

ками устоявшегося быта к Горькому, Ромену Роллану, советской литературе. Навстречу мне зал гудит как улей, и меня одолевает желание найти слова, равнозначные нетерпению и требовательности, выросшим из нелегкой жизни. Я ищу эти слова у ревнителей правды, вооруженных даром прозрения, и ощущаю явственно, как между мной и слушателями вспыхивает искра понимания.

Наше общение не прекращалось, когда хмурый сторож гасил огни – оно замыкалось в более тесный круг. В чердачном помещении, куда приходилось карабкаться по витым ступенькам, звучали вперебивку взволнованные молодые голоса, потом где-то в углу вспыхивала песня, и до поздней ночи торжественные, грустные и загадочные звуки ударялись о дощатые стены...

Случалось и общение с глазу на глаз. Однажды утром в каморку постоялого двора, где я провела ночь за тонкой перегородкой, робко постучался незнакомый пожилой человек: оказалось, что это местный часовых дел мастер. Глухо кашляя, он объяснил мне, что провел бессонную ночь, размышляя о смущавшей Ромена Роллана проблеме соотношения между целями и средствами революции. Мне пришлось стряхнуть с себя остатки сна и окунуться в историю, потревожить тени Виктора Гюго и Анатоля Франса и признаться, что и меня смущает эта проблема.

В Варшаву я возвращалась усталая от многочасовой езды в расхлябанном автобусе, но освеженная общением с новыми людьми и ощущением их неожиданной близости. Это было возвращение из странного мира, где новое переплелось со стариной, в жесткую действительность современности. Польша переживала тяжелый период, и это особенно чувствовалось в столице. Миазмы человеконенавистничества и лютого шовинизма, шедшие из соседней Германии, отравляли атмосферу страны, управляемой бездарными и самоуверенными эпигонами пилсудчины; эти наследники "Дзядка" переняли его тяготение к произволу, но не унаследовали его своеобразной старошляхетской инициативности. Режим руководителей малого роста и непомерно раздутой самоуверенности превратил страну в арену беспорядочных полицейских репрессий; венцом этой анафемы было создание в Картуа-Береге лагеря, являющегося точной копией знаменитого Дахау, для особой категории политических преступников.

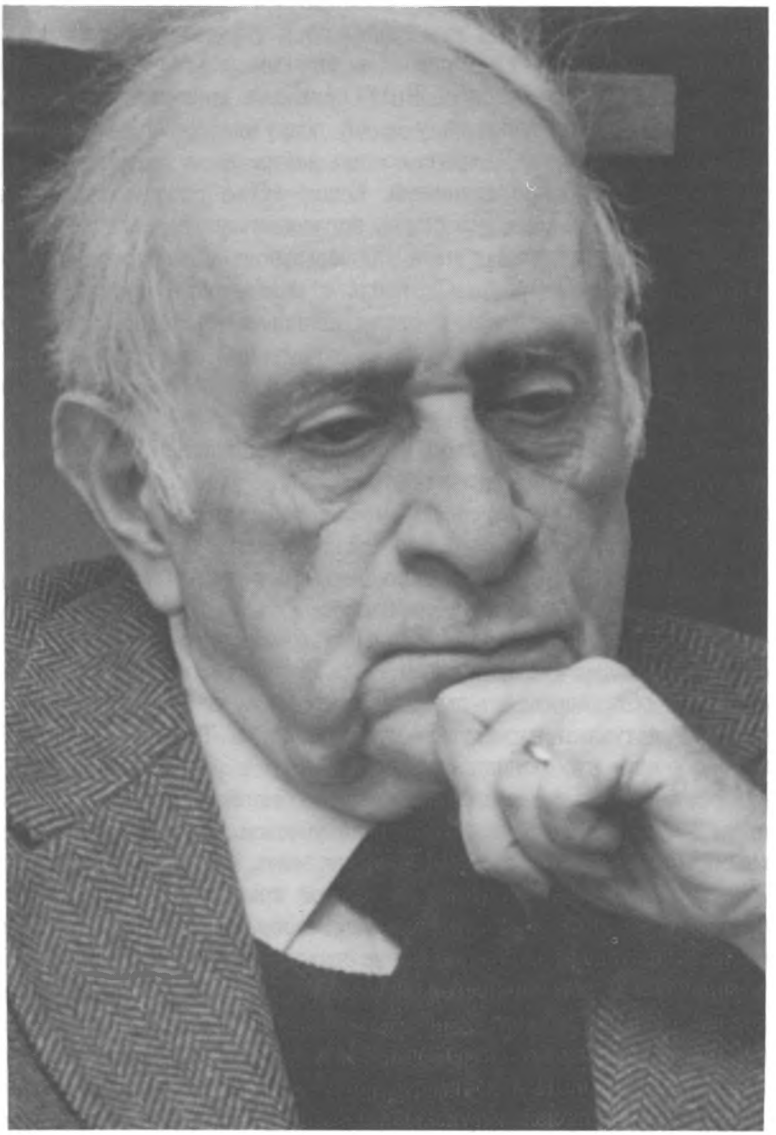
Невозбранно разлилась по стране стихия антисемитизма, вдохновлявшая деятельность ознеровцев[5], доморощенных молодых фашистов. Одним из очагов их активности стали высшие учебные заведения,

где они пытались заставить студентов-евреев занять особые, предназначенные для них скамьи, в стороне от христиан (т. наз. "ghetto lawkowe"[6]). Там, где эта попытка встречала отпор, возникали схватки, нередко кончавшиеся кровопролитием. Пассивное сопротивление состояло в том, что еврейские студенты, отказываясь садиться, простаивали на ногах долгие часы лекций.

Бесчинствам, ставшим обычным явлением, потворствовала безнаказанность агрессоров. Профессора, за немногими исключениями (Людвик Кживицки в Варшаве, Манфред Кридль в Вильне), не пытались противодействовать установлению "гетто"; администрация и полиция строго блюли политику невмешательства. Мне довелось, однако, встретиться с человеком из академической среды, который нашел способ воздействовать на инициаторов "гетто": это был профессор Шимановский, по убеждениям социалист левого крыла, преподававший биологию в ветеринарном институте. Он заявил с кафедры, что если в его аудитории начнутся попытки пересаживать евреев на особые скамьи, он отменит экзамены по биологии в конце второго семестра, и весь учебный год будет потерян. Слушатели струхнули не на шутку: это были по большей части великовозрастные провинциальные парни, не без труда одолевавшие скучную науку в нетерпеливой надежде дорваться до скромного, но верного заработка. Они злобно скрежетали зубами, но знали, что профессор не уступит и что его не запугаешь даже анонимными письмами, угрожающими жестокой расправой. При встречах со мной (я дружила с его женой, деятельницей П.П.-Совского женотдела[7]) он всегда возвращался к проблеме "гетто", резко обличал бесхарактерность своих академических коллег, не осмелившихся противодействовать самоуправству.

Оба наши сына посещали т.наз. "Вольный Университет" ("Wolna Wszechnica"): это была прогрессивная высшая школа, в царившей там атмосфере не было места антисемитским выступлениям. Эти выступления стали, однако, для меня не просто предметом волнующих сообщений, но частью жуткой наглядной действительности, когда у нас поселился студент политехникума. Звали его Соломон Д., его сожитель, начинающий архитектор, звался Моисей (Мейшке) С. Они были земляки, гродненцы, нередко говорили между собой по-еврейски и читали нашу еврейскую газету.

Случайное соседство, вызванное необходимостью (у нас не хватало денег на квартирную плату), вскоре превратилось в настоящую



Александр Эрлих

дружбу, которая становилась тесней день ото дня. Постоянному общению способствовало то, что я часто надолго оставалась дома одна. Г. по-прежнему все свои силы и время отдавал работе, которая становилась все более разнообразной и разветвленной. Аля поселился со своей подругой Шошкой в далеком районе и хотя забегал очень часто, но не надолго. Витя проводил дневные часы в университете, а вечера допоздна у своей подружки, жившей в отдаленном Жолибаже. Если Г. тоже поздно застревал в редакции, вечера казались мне особенно длинными. Одиночество рождало тревожные мысли: в нашем районе участились нападения хулиганов на евреев.

Случалось, что когда я начинала шагать из угла в угол, бесшумно приотворялась дверь, и С., войдя с книгой или чертежом, спрашивал разрешения подсесть к столу: длинные вечера приятнее коротать вдвоем. Заслышав скрип ключа во входной двери, он исчезал в глубине коридора. Меня неизменно трогала эта застенчивая заботливость.

Общение с Д. носило иной характер. Чем чаще и продолжительнее становились наши беседы, тем больше удивление вызывала во мне интеллектуальная зрелость моего собеседника и разносторонность его интересов и способностей. Однажды, когда мы об этом заговорили, он с горечью заметил, что предпочел бы разнообразным способностям одно подлинное дарование.

Оба моих друга были убежденными коммунистами, хотя у Д. изредка прорывалась нотка скептицизма. Встречи с моим старшим сыном редко обходились без пылких дискуссий в полутемном коридоре; спорщики петухами наскакивали друг на друга. Тем не менее, когда мне сообщили, что полиция задержала Алю с листовками у входа в университет, Д. немедленно вызвался мобилизовать "своих", чтобы "отбить" Алю по пути в полицейский участок. Я, разумеется, решительно отвергла этот план; Г. дал мне знать, что едет в участок, – через час Аля был свободен. Мне вскоре пришло в голову, что инициатор схватки с полицией сгоряча не сообразил, что готов был совершить непростительное нарушение партийной дисциплины.

Как-то наш дворник, огромная туша с хитрыми раскосыми глазами, остановил меня в подворотне и конфиденциально посоветовал "турнуть из дому высокого студента", которым якобы интересуется полиция. Сообщение оказалось своевременным, и мы с Д., хранившим нелегальщину под кроватью, до поздней ночи жгли в печке пачки папиросной бумаги.

Когда я стала знакомить мужа с нашим новым жильцом, выяснилось, что они знакомы. Встреча произошла в зале суда: Г. защищал молодую коммунистку, арестованную на первомайской демонстрации, а Д., тоже участвовавший в демонстрации, но ускользнувший от полиции, выступал в качестве свидетеля и оказал большую помощь защите. Рассказывая мне об этом, Г. сказал: "Хорошо бы иметь такого свидетеля и на других моих процессах".

С тех пор, как мы переселились на Нововейскую, я стала постоянной посетительницей Городской Публичной библиотеки, находившейся на расстоянии пяти минут ходьбы от нашего дома. Я всегда любила атмосферу библиотек, будь то в Петербурге или в Париже, любила тишину, нарушаемую только шелестом страниц, особый запах книжной пыли, уютный свет настольных ламп под зелеными абажурами. И теперь, проводя ежедневно несколько часов в этой атмосфере сосредоточенности и оторванности от "злобы дня", я не без усилия возвращалась к повседневности, переступая порог дома. Но сплошь и рядом за этим порогом ждали меня вести не просто о злободневном, а о проявлениях настоящей леденящей кровь человеческой ненависти.

Дело в том, что в политехникуме попытки втолкнуть еврейских студентов в "гетто" встретили решительное сопротивление; результатом схваток, кончившихся "вничью", часто были увечья и раны. Д. время от времени приводил к нам коллег, нуждавшихся в медицинской помощи, и вызывал по телефону товарища-врача: наш дом, благодаря соседству с ареной антисемитских бесчинств, превращался в эти часы в перевязочный пункт. Был, однако, случай, когда обычная помощь оказалась недостаточной. Произошло это в мое отсутствие: два мускулистых студента внесли на наш четвертый этаж тяжко изувеченного и потерявшего сознание товарища: немедленно вызван был больничный амбуланс. Д. потом рассказал мне, что особенную ярость ознеровской банды вызвало появление в рядах противников "гетто" поляка, сына известного эндековского деятеля.

Не прошло и нескольких дней после этой дикой расправы, как в наш дом снова ворвались отзвуки университетских бесчинств. Торопливо распахнув дверь на громкий тревожный звонок, я не сразу узнала в сгорбленной и как будто смятой фигурке бодрую и оживленную подружку моего младшего сына Изу Шнеерсон: искаженное болью лицо было залито слезами. Оказалось, что когда она направлялась к аудитории, где ей предстояло сдавать экзамен (она была

слушательницей 1-го курса юридического факультета), на нее напала банда хулиганов; узнав в ней еврейку, они столкнули ее с лестницы, и только чудом она не сломала кости.

Из соседней Германии веяли ядовитые ветры: страна все глубже погружалась в болото нацизма. Остро почувствовали это эмигранты, недавние энтузиасты веймарской демократии: русские социал-демократы легко снялись с ненасиженных мест и перекочевали в Париж. Отец понимал, что настала пора собраться в путь, но медлил: и ему, и матери трудно было расстаться с берлинским уютным уголком. Смущала и проблема выбора, пугал шумный Париж. В конце концов папа решил двинуться в тихую, полупровинциальную Ригу; он писал мне, что там надеется быть ближе к нам и к детям, находящимся в России (увы, близость к Яше и Оле была чисто географическая); соблазняла и перспектива жизни в привычной русско-еврейской общественной атмосфере.

В конце лета 1933 г. мои родители двинулись в путь с огромным багажом (многотомная библиотека и архив). Мама относилась к отъезду почти безучастно: ее силы с каждым днем убывали, и вскоре после приезда рижский врач поставил диагноз: в легких у мамы оказалась раковая опухоль.

Я узнала правду о болезни мамы только когда ее перевезли в больницу – и уехала в Ригу. Мама была очень слаба, но обрадовалась моему приезду и сказала, что ждет детей из России – им послана телеграмма (ни брат, ни сестра не получили выездной визы). Когда начались острые боли, врач объяснил мне, что избавить от них может только наркоз – последние недели своей жизни мама провела в дремоте. Я проводила дни в больнице, но она не узнавала ни меня, ни отца.

В книге об отце, написанной спустя десять лет после его смерти, я писала о маме: "Смерть, наступившая во сне, преобразила ее: разгладились глубокие морщины... и то тихое, целомудренное, девичье, что было сутью ее натуры, проступило в неподвижном облике. В маленьком синагогальном приделе она лежала строгая, бледно-восковая, с тонко очерченным профилем, удивительно похожая на снимок, сделанный в молодости. Ее хоронили 23-го января, в морозный солнечный день. На кладбище собрались чужие люди; в городе, куда она приехала умирать, у нее не было друзей... Торжественно прозвучала заупокойная молитва, и в чужую холодную землю опущен был маленький легкий гроб".

После похорон я осталась на некоторое время с папой. Потекли тихие дни. Папа простудился на кладбище под ледяным северным ветром и пролежал несколько дней в кровати. Мы проводили наедине долгие часы, вспоминая былое – людей, города, стихи. Я знала, что настанет пора, когда папа вернется к работе. И оно настало, это утро, когда я увидела его за письменным столом над рукописью, испещренной поправками, и поняла, что могу вернуться к семье.

Дома меня ждали письма из провинциальных городов – приглашения приехать с рефератами. Чем больше сгущалась общественная атмосфера, тем острее ощущался в среде интеллигентной молодежи, осужденной прозябать в провинции, интерес к литературе, неразрывно связанной с роковыми проблемами эпохи. Состав моих слушателей становился все более разнообразным. Члены местной бундовской молодежной организации окружали меня верной гвардией, чтобы после лекций увести на шумную товарищескую вечеринку ("ляму"), но в более отдаленных рядах появлялись иногда более солидные люди в рабочих куртках и высоких сапогах. Стали заглядывать и никому неизвестные молодчики в куртках полувоенного образца и надвинутых на брови картузах. Садясь в первом ряду, они сразу вынимали из бокового кармана записные книжки. Обнаружив присутствие такого непрошенного гостя, я обычно снимала очки, чтоб легче было его игнорировать.

Вскоре после того, как я вернулась из Томашова Мазовецкого, мне рассказал приехавший из Варшавы товарищ: в помещение, где ютился томашовский комитет Бунда, неожиданно ввалилась группа высоких мускулистых парней явно славянского типа. Тревога, вызванная появлением незнакомцев (они оказались фабричными рабочими и членами местной нелегальной коммунистической организации), улеглась, когда они заявили, что приходят поблагодарить за мой реферат. "Наши товарищи из центра – жаловались они – только инструкции привозят, а чтобы прочищать людям мозги, об этом заботы нет; так уж вы, пожалуйста, напишите вашей лекторше, что мы ее просим опять к нам приехать".

Мои лекции явно вызывали интерес в слушателях разного рода; молодчики в полувоенных куртках тоже кое-что мотали на ус. Я вскоре это сообразила. Мне предстояла поездка в Млаву, но из канцелярии воеводства получилось сообщение, что лекция запрещена как содержащая вредные идеи; в мотивировке имелось даже загадочное указание на "угрозу неприкосновенности границ государства". Я

недоумевала (ни разу мне не пришлось говорить о политике на окраинах), но гордилась: дошла до того, что стала "угрожать границам"! Было ясно, что молодчик в полувоенной куртке переусердствовал.

А впрочем, надо было скорее огорчиться, чем гордиться: в атмосфере растущей реакции (лагерь в Картуа-Береге функционировал вовсю, и туда попали даже некоторые бундовцы) моя карьера лектора становилась шаткой.

Однажды (это было, кажется, не то в Радоме, не то в Плоцке) беседа со слушателями затянулась, и мне напомнили, что пора кончать – в зале ожидался показ фильма. Между тем на моем столе лежали записки с рядом неотвеченных вопросов. Я всегда считала обязанностью лектора не оставлять без ответа ни одного вопроса; мне стало не по себе, и я заявила о готовности прислать анонимным авторам краткие письменные ответы.

Подбежавший ко мне смуглый худощавый юноша нашел лучший выход, предложив встречу на частной квартире. Спустя несколько минут мы с ним шагали по тихим закоулкам вдоль ряда сонных приземистых домов, и он объяснил, что пригласившая меня молодежь принадлежит к левой сионистской группе "Гашомер-Гацаир", в вопросах общего порядка занимающей позицию, промежуточную между вторым и третьим Интернационалом.

Меня встретили пением "Интернационала", не слишком стройным, но воодушевленным; пели стоя, кто на идише, кто по-польски; я подпевала по-русски. Когда началась наша беседа, меня поразила начитанность собеседников, они отлично знали Бабеля, Сейфуллину и многих других советских писателей.

Я старалась вести нашу беседу в рамках литературы – не хотелось даже отдаленно касаться моих неумолкавших сомнений насчет сочетания политического радикализма с сионизмом. Мое отношение к сионизму определилось уже давно – недаром я провела отроческие годы в среде, захваченной доморощенным "консервативным" нетерпимым палестинофильством девяностых годов (дом Дубновых был исключением). В ту пору наибольший протест вызывало во мне равнодушие большинства друзей нашей семьи к судьбам страны, в которой мы жили.

"Шомеры", с которыми я встретилась в Польше, ничем не напоминали моих одесских знакомых; впрочем, эта группировка пережи-

вала различные идейные кризисы – из ее рядов вышло немало коммунистов.

Вскоре после возвращения в Варшаву мне довелось снова встретиться с сионистской молодежью. Ко мне обратились представители сельской коммуны (Гахшара), обосновавшейся в поселке Юзефове под Варшавой, с предложением прочесть для них ряд лекций о литературе и театре. Молодежь готовила себя к сельским работам в палестинском кибуце и одновременно пыталась сорганизовать небольшую группу платных лекторов, преподававших еврейскую историю, географию Палестины и другие предметы. Мои взгляды были известны организаторам лекций, и когда я о них напомнила посетившему меня делегату, он усмехнулся: "Не думаю, чтоб Толстой или Ибсен имели какое-либо отношение к сионизму". Трудно было с ним не согласиться; впрочем, вскоре оказалось, что одна из моих литературных лекций вызвала бурные политические споры.

Зима в том году стояла славная. Раз в неделю маленький глухо дребезжащий дачный поезд увозил меня из города с его сырой снежной слякотью в деревенскую прозрачную тишину, в синеватую белизну сугробов. Я проводила несколько часов в жарко натопленной просторной избе, а потом руководитель группы, с которым у меня установились дружеские отношения, провожал меня к дремлющей под тусклыми фонарями маленькой станции, по пути декламируя с большим чувством стихи Есенина.

Прикорнув в углу промерзшего вагона, по пути домой, я отдавала себе отчет в том, какой душевный подъем вызывала во мне работа с молодежью, как будило мысль наше совместное воодушевленное общение с дарами литературы. Сообща думать вслух – какой это стимул для рождения новых мыслей! Много лет спустя, после того, как неистовый вихрь событий унес меня за океан, я вспоминала мою работу лектора со сложным чувством: пришлось понять, что устное слово, живое, непосредственное, роднящее с людьми, ушло из моей жизни навсегда...

Лекции в дачном поселке неизменно заканчивались обменом мнений. Темой одной из них был анализ последней повести Стефана Жеромского, писателя, в котором я ценила наряду с талантом художника горячность и отзывчивость борца. Эти свойства особенно проявились в мужественной повести "Przedwiośnie"[8], вызвавшей град нападок. Повесть появилась в начале 20-х годов, в пору, когда независимость, заставшая страну чуть ли не врасплох (популярность при-

обрела ироническая фраза "wybuchla niepodleglość"[9] [взорвалась независимость]), породила не столько естественную патриотическую удовлетворенность, сколько мутный прилив националистической самоуверенности.

В литературе своей эпохи Жеромский был одним из прямых наследников польского боевого романтизма, завещанного "wieszscami"[10]. Но когда ставший во главе государства Ю.Пилсудский дал понять, что он остановил поезд на станции "Независимость" и дальше, по пути социальных преобразований, вести его не намерен, Жеромский, многолетний бард независимости своей родины, нашел в себе силы заявить, что народу нужно не только собственное государство, но и социальная справедливость.

Анализируя эту повесть, я высказала убеждение, что перед нами не только художественное произведение, но и акт редкого гражданского мужества. И тут в бревенчатых стенах моего деревенского университета разгорелись горячие споры.

Состав сельской коммуны был пестрый: были среди моих слушателей социалисты, склонные к идеализации "кибуцничества" в его первоначальной фазе, были и просто политические сионисты, чей "поезд" останавливался на станции с надписью "Наша страна" и дальше не шел. Эта группа вступила в полемический бой с особенным пылом.

Перемирие наступило, когда на длинном дощатом столе появился ряд мисок с простоквашей и огромная кастрюля, наполненная доверху горячими картофелинами "в мундире". Я приглашена была разделить немудреную трапезу моих идейных противников. Взглянув на часы, я ахнула: мой поезд давно ушел.

Когда я около полуночи вернулась домой, Г. сидел у письменного стола. Перед ним лежал лист бумаги, но он не писал. Ни о чем меня не спрашивая и стараясь сохранить спокойствие, он сказал: "Я думал, что ты уже уехала в Палестину".

В начале весны мои слушатели стали собираться в путь. Прощались мы торжественно, с хоровым пением, со звоном стаканов и пожеланиями. Бурное одобрение вызвало выраженное руководителем коммуны пожелание, чтоб я, не откладывая в долгий ящик, приехала гостьей в кибуц.

Пришлось ответить, что в наше время трудно строить планы путешествий; это прозвучало убедительно – все мы начинали понемногу чувствовать, что почва колеблется под ногами.

Колебания почвы становились все явственнее, но мы не понимали, что они предвещают миллионам людей: чудовищную лавину нацистского варварства люди разглядели лишь тогда, когда она поглотила несметное количество жизней, а страшную правду о сталинском терроре узнали годами позже – из разоблачений Хрущева и солженицынского Гулага.

Двумя руслами – западным и восточным – катились разрушительные потоки, но в то время, как понемногу набирающие силу бесчинства нацизма совершались на виду у всего мира, между Россией и Европой выросла стена, напоминающая допетровские времена. Люди перестали получать письма от родных; поступавшие в библиотеки советские журналы стали гораздо беднее содержанием – я не находила в них многих знакомых имен, еще не догадываясь, что это означает. От брата не было вестей; вскоре выяснилось, что переписка с людьми, живущими на Западе, была официально объявлена нелойяльным актом. Брат, впрочем, сохранил за собой право на контакт с отцом: раз в месяц отец получал немногословное открытое письмо, содержавшее сведения о семье, и пересылал мне. Я пыталась читать между строк, но это мне не удавалось.

Раз в год доходил до меня живой голос моей родины: в середине декабря приезжал из Москвы на короткое время наш старый друг Михал Винавер. Приезжал он как представитель московского полулегального Красного Креста. Практической целью приезда была операция обмена польских коммунистов, приговоренных судом к 15- или 10-летнему тюремному заключению, на соответствующее количество поляков, сидевших в советских тюрьмах или лагерях. Личным стимулом к ежегодной поездке было желание повидаться с женой, вскоре после октябрьского переворота переселившейся в Варшаву, – советский строй был ей не по душе.

Михал вырос в Варшаве в культурной, ассимилированной еврейской семье, гордившейся патриотическими традициями (дед был сослан за участие в восстании 1863 года). Юноша воспринял революционное наследие, но вступил не в польскую партию, а в Бунд, как и его ассимилированные сверстники Славек Гроссер и Здислав Мушкат, из гуманитарных побуждений. Этой линии поведения он остался верен и в зрелые годы, избрав не совсем обычное поле деятельности.

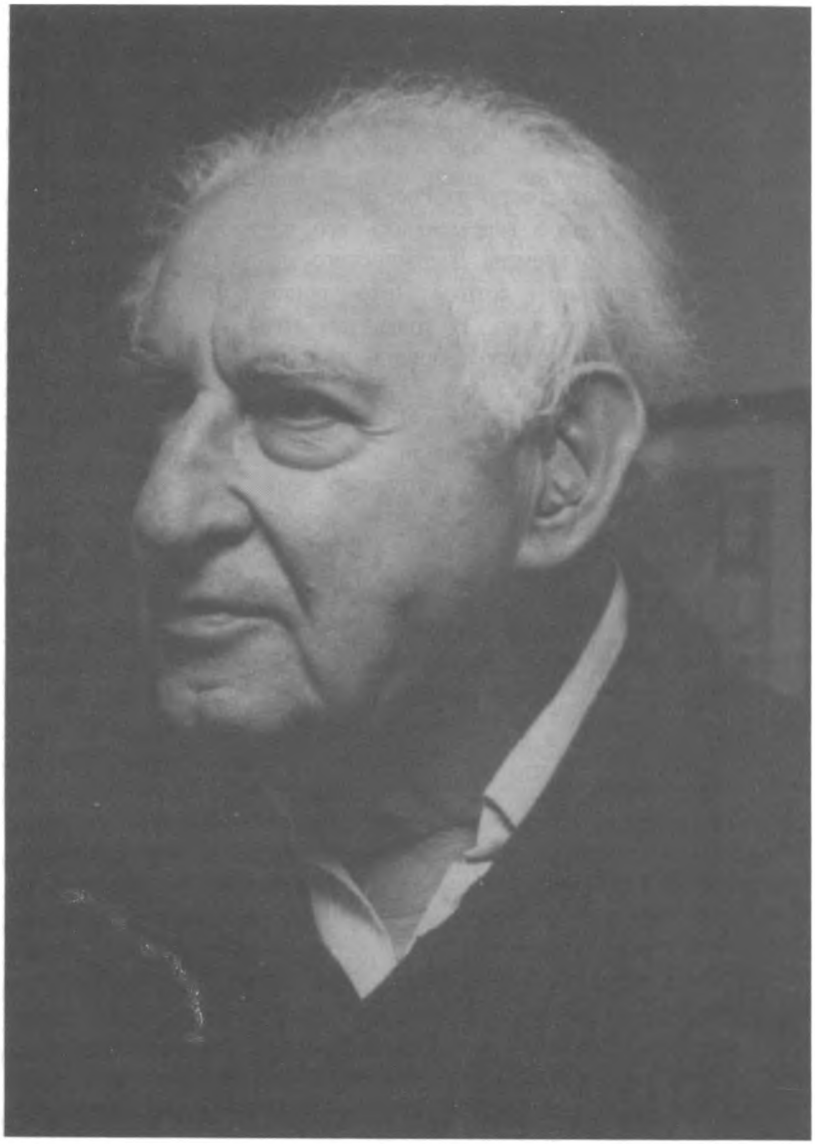
С Михалом познакомил меня Г., и мы сразу подружились. По окончании политехникума в Бельгии он поселился с женой в Мо-

скве, работал инженером на большом заводе, нередко навещал нас в Петербурге, внося в наш дом тепло и уют немногословной дружбы.

Уезжая в Польшу, я с ним не простилась – была уверена, что мы скоро вернемся; потом, встретив в Варшаве его жену, узнала, что Михал остался в Москве и работает в организации помощи политзаключенным вместе с Екатериной Пешковой, первой женой Горького. Встретясь в Варшаве, мы испытали странное чувство: судьба связала меня с его родиной, он сам связал себя с моей. Он объяснил мне, что мог бы в любой момент уехать в Польшу, остаться с женой (они не собирались разойтись), стать здесь полезным работником, может быть кооператором, но в Москве держит его сознание, что там он имеет возможность спасать людей. Было ясно, что эти слова не были преувеличением: в те хаотические послеоктябрьские годы, когда во главе Чека стоял Дзержинский, советскому Красному Кресту удалось помочь сотням тысяч людей, застрявших в России после войны, вернуться на Запад.

Приезжая, Михал привозил маленькие сборники стихов неизвестных мне молодых авторов, театральные программы, афиши фильмов. Он охотно и воодушевленно рассказывал о литературных вечерах, о новых постановках, о переменах в быту, но менее охотно говорил о политике; исключением были только две темы: индустриальные достижения (из кармана пиджака сразу вынималась записная книжка со статистическими данными) и Биробиджан. Впрочем, и эти две темы с течением времени были сняты с порядка дня. Г. сразу понял, что не следует задавать вопросы, и это создало некоторую натянутость в отношениях.

Крайнюю осторожность Михала, его вынужденную и тягостную лояльность полуофициального работника полулегальной организации можно было понять: постоянная забота об интересах "врагов народа" вкупе с ежегодными поездками на Запад была в тогдашних советских условиях чем-то вроде хождения по канату. Я понимала невозможность откровенности даже в дружеских отношениях. Но когда я теперь пишу эти строки, мне становится ясным другой "подтекст" частых умолчаний и пауз: Михалу было так же тяжело говорить о проявлениях жестокости и произвола (а кому, как не ему приходилось быть их свидетелем!), как подруге бандита рассказывать о деяниях своего любовника. Дело в том, что он, воспитанный в традициях польского патриотизма, не благоволившего к "москалям", полюбил "странной" (лермонтовской) любовью страну, изувеченную вой-



Виктор Эрлих

ной и захлестнутую революционной стихией, страну, где цитаты из Маркса сочетались с пугачевщиной. Перед его глазами были пятна террора на теле России, но он заставлял себя поворачиваться к тому, что внушало надежды на будущее. В этом он был не одинок: его друг и крымский сосед (в спокойные годы Михал приобрел летний домик в Крыму) Макс Волошин любил свою страну проклинающей и благословляющей любовью, но сказал об этом в стихах: это облегчало.

Перестав задавать гостю из России "опасные" вопросы, я следила за тем, как из года в год менялось его настроение: "Все труднее стало работать. Во времена Дзержинского мы могли помогать тысячам, при Менжинском – сотням. Потом пришел Ягода..." Он не продолжал – все было ясно. В тридцатые годы не было доступа в тюрьмы, изоляторы, лагеря – принимались только посылки, да и то не везде. Михал ездил в места ссылки – тут время от времени удавался личный контакт. Посетив Базарова в Сибирской ссылке, он застал его в больнице. Базаров просил об одном: довести до сведения "органов", что не стоит устраивать ему "показательный" процесс, потому что от него ни слова не добьются, так уж лучше просто списать на расстрел или повременить – доктор говорит, что он долго не протянет. Поручение было выполнено – смертный приговор не получил огласки.

В начале января 1937 г. Михал приезжал попрощаться с нами – наступал срок его отъезда. Г. был в редакции – Михал огорчился, но прощаться по телефону не захотел. Когда я сказала, как обычно, что буду ждать его в декабре, Михал, крепко обняв меня, проговорил вполголоса: "Ну что ж, до свиданья, или прощай". Оцепенев, я пробормотала: "Но если так... Ты все-таки едешь?" Он тихо ответил: "Мое место – там".

Мы мало знали о том, что творилось в России, – полную правду о "ежовщине", о роковом 1937 годе я узнала спустя ряд лет, но последние слова Михала долго звучали у меня в ушах. Спустя полгода я узнала, что предчувствие меня не обмануло. В августе жена Михала позвонила мне и сообщила, что он арестован в Крыму, в дачном домике, где она обычно проводила с ним летом несколько недель. Его после обыска сразу же увели, а ей прочли приказ немедленно вернуться в Польшу.

Спустя некоторое время пришло письмо от Е.П.Пешковой: она сообщала, что Михал приговорен к заключению в одной из москов-

ских тюрем, и она взяла на себя личную заботу о нем. Было ясно, что Красный Крест ликвидирован.

Политическая атмосфера сгущалась и у нас; в стране, управляемой бездарным реакционным правительством, росли фашистские настроения. Меня одолевали черные мысли, и я чувствовала, что спасение можно найти только в работе. Ох, как хотелось писать не для перевода, работать над формой, искать варианты, черкать, переписывать набело... Папа в пору наших летних встреч неизменно убеждал меня, что я должна приняться за писание романа из современной жизни: он пришел к убеждению, что в зрелые годы я стала психологом-сердцеведом. Во время наших бесед исчезала грань между поколениями, папа советовался со мной, объяснял свои литературные планы и однажды вынул из ящика рукопись, содержание которой было мне раньше неизвестно: в ней описывалось лето, проведенное в Полесье, и эпизод, который мог бы стать темой тургеневской повести. Папа не включил эту главу в свою автобиографию и советовался, включить ли ее во второе издание "Книги жизни". Я советовала этого не делать. Когда спустя ряд лет после смерти папы я стала писать его биографию, я осторожно коснулась этого эпизода, назвав его "сном в летнюю ночь".

А за роман я так и не принялась: я понимала, что интуиция психолога необходима для беллетриста, но одной ее мало. Притом меня не соблазняла перспектива писать "в стол" (так можно писать только стихи, если нельзя их не писать), и я объяснила, что печататься мне негде. Папа напомнил о "Современных записках" – парижском эмигрантском журнале. Литературный уровень "С.З." был ничуть не ниже уровня лучших дореволюционных журналов, но политическая окраска была для меня неприемлема (редакция – кадеты и правые эсеры), и я, не задумываясь, сказала, что журнал сугубо эмигрантский, и я печататься в нем не могу. Папу мой ответ удивил, и мне пришлось задать вопрос себе самой: а ты кто такая, сударыня, разве не эмигрантка? Ответ я дала через много лет, дожив до глубокой старости: мой сборник стихов, вышедший в 70-х годах в Америке, заканчивается словами: "Эмигрантка? Нет, просто дочь, разлученная с матерью".

Перейти к новому литературному жанру мне не довелось, но я убедилась, что владею русским литературным языком, став автором чужой книги. Начало этой работе положило одно из посещений Вильны – тихого, старого, грустного города, куда меня всегда тяну-

ло. Там ко мне обратилась пожилая дама из пользовавшейся в городе большим уважением семьи с предложением редактировать ее написанные по-русски воспоминания о студенческих годах: она была одной из первых бестужевок.

Я охотно взялась за работу, связанную с заработком: нам жилось тяжело, редакционная работа Г. оплачивалась скудно и нерегулярно, в суде ему нередко приходилось выступать почти бесплатно, а мне за рецензии и статьи газета платила гроши. Касса редакции часто почти пустовала, и бухгалтер Абрам Кастелянский, очень любивший наших детей, хватался за голову, когда я ему напоминала, что мне экстренно нужны три рубля, чтобы заплатить сапожнику за починку Алиных ботинок – иначе он не сможет пойти завтра в школу.

Отец писал мне, что недавно посетившая его Анна Шабад-Выгодская прочла ему ряд глав из обширной рукописи, которую собиралась сдать в печать. Отец нашел материал в высшей степени интересным, но нуждающимся в тщательной литературной обработке. В "сыром" виде – утверждал он – рукопись нельзя печатать.

Я прочла с большим интересом расс́каз о борьбе молодой еврейской девушки, пионерки-феминистки, с консервативной буржуазной средой второй половины 19 века. Но было ясно, что предо мной сырой материал и что книгу надо сделать.

Рукопись была обширная; я проработала над ней ряд месяцев и, понимая нетерпение автора, послала ей первые главы. В ответ пришло многоречивое послание, дышавшее отчаянием. "Меня нет, – говорилось в нем, – это книга Софьи Дубновой, от написанного мной не осталось камня на камне". Пришлось объяснить, что я ничего не уронила из содержания, ни одной существенной детали, но существуют требования литературной формы, которые необходимо соблюдать.

Вышедшая в свет книга Анны Выгодской ошеломила круг ее родных и многочисленных знакомых: талант, открывшийся в преклонном возрасте! Однако наибольшее удовлетворение авторскому самолюбию дала лестная рецензия, написанная самим Милюковым, редактором "Современных записок": она отмечала заодно как истóрически-бытовую ценность материала, так и его литературное оформление. Папа лукаво усмехался: "Ну что ж, наша Анна Григорьевна насчет оформления тоже примет, разумеется, на свой счет..."

Папа с обычным стоицизмом переносил одиночество, работая над дополнением своего десятитомного труда, печатавшегося в Риге в оригинале (все издание было потом уничтожено гитлеровцами), но я

знала, что он тоскует по семье, и старалась подольше оставаться с ним в лесном затишье. Г. с трудом вырывался из напряженной политической атмосферы, в которой уже явно чувствовалась угроза войны, чтоб провести с отцом несколько недель. Приезжали в каникулярное время и наши сыновья – их приезд молодил деда, с ними он распевал народные и военные песни. С воодушевлением пели они втроем занесенную ветром из России боевую песню, начинавшуюся словами "Если завтра война, если завтра в поход", пропуская строчку о Сталине. Но самой любимой песней папы был привезенный Алей марш бундовской молодежи "Mir kumen on"[11]: простые, волнующие слова говорили не только о мечтательной юности внуков, но и об его собственной юности...

Беспечно и воодушевленно пели мы о "завтрашней" войне, не предчувствуя роковой близости этого "завтра", не догадывались о тех страшных ударах, которые нанесет война нашей семье и всему миру. До 39 года мы были все неисправимыми и легкомысленными оптимистами.

Осень 1938 года началась невесело. Мой старший сын вдруг стал чувствовать крайнюю физическую слабость, которая парализовала мускулы и по временам лишала его голоса. Врачи высказывали различные предположения, но в ожидании окончательного диагноза требовали, чтоб больной был помещен в пригородный пансион санаторного типа.

Нашу тревогу разделяли друзья, в том числе и молодые соседи по квартире. Как-то вечером мое одиночество прервали легкие шаги: в столовую вошел наш жилец Мойше С. и положил передо мной книжку из сберегательной кассы. "Я знаю, – сказал он, – Алино лечение требует больших расходов. Так вот, видите – у меня есть сбережения – они мне теперь совсем не нужны. Завтра я их выну и принесу вам – хорошо?" Мне хотелось разреветься – так было это просто и трогательно: я знала, что мой молодой друг тяжело работает на постройке, простаивая часы в мокрой, холодной глине, – нелегко ему достались эти сбережения...

Я сказала, что мужу тоже удалось сделать небольшой заем – это была полуправда, – и обещала обратиться к нему, если будет необходимо. Оставшись одна, я стала вспоминать, как Аля и оба наши жильца, встречаясь в полутемном коридоре, петухами, налетали друг на друга в отчаянном споре.

Аля провел зиму в лесном уголке и вернулся после того, как

один из лучших местных врачей-диагностов после тщательного исследования отверг пессимистические гипотезы и предписал спокойный образ жизни, не утомляющий сердце.

Предписать спокойствие в 38 году было легче, чем оставаться спокойным. Всем было теперь ясно, что война стоит у ворот, и хотя люди наивно продолжали трактовать военную действительность в духе предыдущей войны, страна тревожно зашевелилась. Заговорили о всеобщей тренировке, включающей и женщин, о разных доступных мирному населению видах сопротивления врагу (войну все мы себе представляли продолжительной). Столбцы газет были наводнены патриотической риторикой, казенным оптимизмом (как горько, вероятно, все это вспоминалось в жуткую пору оккупации). По-иному прозвучал среди этой крикливой декламации сдержанно-мужественный голос Владислава Броневского, призывавшего в стихотворении "Bagnet na broń"[12] стать на защиту родной земли, хотя иным ее детям пришлось здесь отведать тюремный хлеб...

Я добросовестно ходила заодно с соседями по району слушать наставления насчет того, как обклеивать окна полосками бумаги и соблюдать правила затемнения. Аля ходил рыть окопы, Г. по целым дням пропадал на заседаниях, и мы почти не виделись.

Летом 1939 года я поехала к папе. Он держался бодро – Риге, казалось, ничто не грозило. Спокойное течение летних погожих дней прервано было телеграммой от Г.: он сообщал, что в Польше объявлена частичная мобилизация, и звал меня домой. Папа так погрустнел, что я обещала остаться еще на несколько дней, пока позволит виза, и пересекла границу в последнюю минуту.

В Варшаве напряженно ждали событий. Однако первые взрывы не вызвали паники: на углах улиц собирались группы любопытных, следивших за полетом вдруг появившихся в небе стальных птиц. Серьезность угрозы стала понятной только тогда, когда радио сообщило о первых жертвах бомбардировки – еврейских детях из загородного приюта.

Вскоре мы потеряли ощущение времени. Взрывы шли волнами с небольшими перерывами, которые возвещало радио, и немного утихали по ночам. Мы стали понимать значение слова Blitz-Krieg, и скоро всем стало ясно, что такой войны еще не было и что капитуляция Варшавы неизбежна.

5 сентября на городских перекрестках появилось обращение военных властей к населению: оно рекомендовало мужчинам призывного

возраста покинуть пределы города – при возможной сдаче столицы неприятелю им предстояло бы оказаться военнопленными.

На другой день над Варшавой в ранние утренние часы разостлалось безоблачное лучезарное небо. Под аккомпанемент почти не смолкавшей бомбардировки мы вытаскивали из разных углов старые чемоданы и рюкзаки и совали в них белье и кое-что из одежды (небольшие чемоданы оказались все же тяжеловаты для пешеходов, кое-что пришлось бросить в пути). Я видела, что Г. вложил в свой чемодан старую фотографию наших сыновей и мою; я не подошла к своему письменному столу, не вынула ни одной тетрадки – все личное, интимное, любимое вдруг отодвинулось от меня и ухнуло в пустоту...

Пришлось ждать, пока стемнеет и утихнет бомбардировка. Квартира осталась незапертой на ключ, не все ли равно – разграбят или разбомбят? Спустя много лет я узнала, что дом, где мы жили, был разрушен бомбами.

По затемненным улицам мы шли на далекую Прагу[13] к тому месту, где, как было условлено, нас должен был ждать грузовик. Оказалось, что грузовик перехватила другая группа беженцев. В автомобиле, в котором нас поджидали товарищи Г. по центральному комитету Бунда, были два места – для мужа и для меня. Мы почти силой втолкнули Алю и Шошку – они не в состоянии были пуститься в путь пешком. Когда шофер захлопнул дверцу и Аля отчаянно, почти по-детски, вскрикнул – "Мама"!, – у меня почти подкосились ноги: казалось, все можно вынести, лишь бы нам всем оставаться вместе. Но делать было нечего: мы втроем – Г., Витя и я вошли в медленно колыхавшуюся под сумеречным небом толпу пешеходов, направлявшихся к заставе. По булыжникам мостовой гулко тарахтели телеги, туго набитые людьми и мешками. Шла Варшава – город, который ввела в мою судьбу первая мировая война и из которого теперь выводила вторая. Двигались к востоку по следам отступающей армии; ставшие бездомными, люди шли в неведомое.

Примечания

1. Г. (здесь и далее) – Генрих Эрлих, муж С.Дубновой-Эрлих.

2. "Świadome Macierzyństwo" (*польск.*) – "Сознательное материнство".

3. "Дзядку" (*польск.*) – "Дедушка"; прозвище Юзефа Пилсудского (1867-1935), на протяжении многих лет руководившего Польшей.

4. "Liebe, Chasene, Familie" (*идиш*) – "Любовь, брак, семья".

5. Ознеровцы – члены надпартийной правительственной организации "Лагерь национального объединения" (ОЗН), созданной последователями Пилсудского в 1937 г.

6. "Ghetto lawkowe" (*польск.*) – "скамеечное гетто".

7. ППС – Польская социалистическая партия, основана в 1893 г.

8. Przedwiosne (*польск.*) – ранняя весна.

9. "Wybuchla niepodleglość" (*польск.*) – букв. "взорвалась независимость".

10. Wieszsce (*польск.*) – букв. "пророки"; так называют великих поэтов-романтиков А.Мицкевича и Ю.Словацкого.

11. "Mir kumen on" (*идиш*) – "Мы идем".

12. "Bagnet na broń" (*польск.*) – "Примкнуть штыки".

13. Здесь – восточная часть Варшавы, расположенная на правом берегу Вислы.



Переписка В.Е.Жаботинского с А.М.Горьким

Публикация, подготовка текста и примечания Иосифа Вайнберга
(Москва)

Настоящая публикация содержит 8 писем Вл.Жаботинского к Горькому и одно письмо Горького к Жаботинскому (еще одно письмо Жаботинского к К.П.Пятницкому печатается во вступительной заметке). Так что "перепиской" в полном смысле слова данную подборку – из-за ее односторонности – можно назвать лишь условно. Надо надеяться, что со временем обнаружатся недостающие ответные письма Горького. Они обогатят наше представление о роли и месте известного сиониста, героя Свободной Палестины, русского писателя, поэта, переводчика и публициста в культуре Русского Зарубежья.

Публикуемый здесь корпус писем Жаботинского хранится в Архиве А.М.Горького (ИМЛИ, Москва) и (как и письмо Горького) печатается полностью. Письма эти примечательны во многих отношениях. Они охватывают длительный период почти в четверть века – с 1903 по 1927 год. В них нашли отражение многие существенные моменты жизни и творчества Жаботинского (начало литературного пути, издание книги "Чужбина"), острые проблемы еврейской жизни того времени (еврейско-польский конфликт), факты сионистского движения (организация Еврейского легиона в Палестине), зарубежная деятельность и т.п. Во всех этих событиях Жаботинский выступает как непосредственный участник, инициатор или руководитель. И как каждая переписка, эта подборка приближает к нам Жаботинского-человека, открывает его внутренний мир, образ мысли, чувства и переживания, его пути-дороги с необычайно широкой географией: от Одессы до Базеля и Цюриха, от Петербурга до Парижа и Лондона.

Трогательно своей искренностью и беззащитной наивностью его

первое письмо к Горькому. К самому знаменитому тогда в России и европейски известному писателю обращается 23-летний молодой литератор, но у него уже солидный стаж журналистской работы. В 18 лет он стал корреспондентом двух одесских газет – сперва в Берне, потом в Риме. Вернувшись в 1901 году в Россию, становится ведущим фельетонистом "Одесских новостей" – ежедневной газеты, издававшейся с 1884 по 1917 г. Отличавшиеся злободневной тематикой фельетоны Жаботинского из жизни еврейской "черты" имели большой резонанс и тяготели к широким обобщениям. Но он чувствует в себе призвание писателя, тяготится газетной поденщиной, мечтает о серьезной литературной работе, надеясь, что некоторые из его "местных" фельетонов имеют более широкий масштаб и могут составить книгу. С этим предложением он и обращается к Горькому.

Мы не располагаем ответом писателя или редакции "Знания", не знаем мотивов, по которым издание было отложено, возможно, вообще отклонено. Во всяком случае в "Знании" книга не выходила. Может быть, переговоры состоялись при посещении издательства, так как вскоре, во второй половине этого же года, Жаботинский переехал в Петербург. Здесь он становится членом редакции сионистского журнала "Еврейская жизнь", а позже – журнала "Рассвет". В это время, как видно, завязываются его личные контакты с товариществом "Знание", которое объединило возглавляемые Горьким передовые силы современной русской литературы. И хотя мы многого еще не знаем о взаимоотношениях Жаботинского с Горьким и директором-распорядителем издательства К.П.Пятницким, сохранилось свидетельство, что Жаботинский в то время был не только причастен к их окружению, но и в чем-то содействовал этому демократическому издательству.

В Архиве А.М.Горького хранится письмо Жаботинского К.П.Пятницкому, до конца понять которое вряд ли удастся без дополнительных материалов. Но оно наглядно демонстрирует, что молодой одесский журналист уже с первого посещения "Знания" как-то приблизился к его интересам, делам.

"Многоуважаемый Константин Павлович, – пишет он Пятницкому, едва успев с ним познакомиться. – Простите великодушно, если спутал отчество: только один раз слышал его и нетвердо запомнил[1].

Очень рад, что Шарлотта Вам понравилась[2]. Быть у Вас во вторник, как видите, не успею; но скоро вернусь в СПб <Санкт-Петербург> и тогда приду к Вам.

Надеюсь, что из-за той цитаты из "Чернозема", о которой я Вам говорил, никаких неприятностей не вышло?

До скорого свидания. Уважающий Вас

Вл.Жаботинский

Адрес до 1-го июня: Вильно, склад Сегаля, для Вл.Евг.Ж."[3].

С вниманием относится к Жаботинскому горьковское окружение. Артистка Художественного театра М.Ф.Андреева, незадолго до этого связавшая свою судьбу с Горьким, в письме другу, литератору А.Н. Тихонову, считает нужным отметить: "Читали Вы 'Нашу жизнь'[4] от 1 декабря «1904 года»? Очень мило пишет там Жаботинский о своем аресте"[5].

Вскоре подоспели революционные события 1905 года. После декабрьского вооруженного восстания в Москве Горький вынужден был тайно покинуть Россию; за рубежом он становится одной из центральных фигур русской литературной и политической эмиграции. Жаботинскому Горький близок по духу, взглядам, делам своим. Как показывает переписка Жаботинского (этих лет и позднейшего времени), когда Жаботинский тоже эмигрирует из России, он настойчиво вовлекает Горького в орбиту своих интересов, проектов и даже бытовых забот (см. письма 7 и 8).

Необычайно содержательна и не потеряла своей актуальности их переписка по поводу книжки "Поляки и евреи" (см. письмо 3 и примеч.). Особенный интерес представляет отношение русского литературного зарубежья к пьесе Жаботинского "Чужбина", так "обрадовавшее и взволновавшее" автора (см. письмо 2). Об этой пьесе Горький впервые услышал от писателя А.В.Амфитеатрова, который жил в те годы, как и Горький, в Италии и поддерживал тесные отношения с Жаботинским. 20 августа 1910 года он писал Горькому:

"Читали Вы Вл.Жаботинского 'Чужбину'? Если нет, я Вам пришлю. Эта вещь меня страшно потрясла и заставила вновь пережить прилив острой жалости к еврейству русскому. Таких отчаяний самоотречения, кажется, еще ни одна раса не выделяла. Страшная книга. И так как слышен несомненный талант, то читать ее жутко"[6].

"Жаботинского – не читал, – немедленно отвечает Горький. Я не поклонник его озлобленного, истерического таланта, хотя, разумеется, понимаю причины озлобления и считаю Жаб<отинского> весьма талантливым. Милость будет – пришлите его книжку – возвращу"[7].

Амфитеатров выслал Горькому свой экземпляр пьесы и сообщил: "Жаботинский отказался от идеи публиковать свою пьесу – ка-

жется, под влиянием моего письма, в котором я ему указывал, что ему придется пьесу эту защищать от с<оциал>-д<емократов>, и от глупой части интеллигентного еврейства, а вряд ли он найдет орган печати, достаточно смелый, чтобы открыть свои страницы под защиту от двух таких сил. А 'Новое время'[8], которое далеко не дурак, искусственно влюбится в 'Чужбину', использует ее для травли 'жида' и потопит Жаботинского своими симпатиями. Ведь надо же сознать ясно: бытовые обличения 'Контрабандистов'[9], даже пьесы Юшкевича[10] и Ш.Аша[11], – детский лепет сравнительно с этим плачем Иеремии".

Ознакомившись с "Чужбиной", Горький в корне изменил свою оценку "озлобленного и истерического таланта" Жаботинского. "Хорошая книга, – пишет он о 'Чужбине' Амфитеатрову. – Наши эдак редко пишут и совсем не умеют писать так теперь, когда надо бы!" И далее: "Не попросите ли Вы Жаботинского – от моего имени – прислать мне 'Чужбину'? Я понял из Вашего письма, что в продажу книга эта не поступит, а иметь ее – необходимо! <...> Мне, знаете, жаль, что не выйдет 'Чужбина' в публику, жаль. Конечно, Вы правы, 'Н<овое> В<ремя>' – оближет ее своим гнусным языком, и многие другие сукины сыны ликовать будут, но – есть же где-нибудь на Руси здоровые, честные люди? Это книга – для них".

Горький вводит произведение Жаботинского в контекст общественно-политического развития страны, противопоставляя растущей консервативной тенденции в литературе:

"Вы посмотрите-ка, что пишет Вася Богучарский и как истолковывает его Вас.Розанов![12] Что, вообще, пишется Н.Минским, Гершензонами[13] и прочими – книга честного человека не может быть неуместной среди этого гнусного шепота могильщиков, которые поносят мертвых, но – боятся их"[14].

Видимо, Горький не единожды перечитывает присланный Амфитеатровым экземпляр. Не проходит и недели, как он вновь, потрясенный, пишет ему:

"Книга Жаботинского – хорошая книга, самая талантливая вещь из всей антиреволюционной литературы. Много в ней верного, еще больше такого, с чем я никогда не соглашусь, а спорить не стану из чувства глубокого уважения к автору – душе пламенной и полной гневной скорби. Талантливый он человек и – превосходный еврей, да пребудет таковым во все дни своя!

Читал – смеялся горько и почти ревел от ярости, от нестерпи-

мой жалости к Моте, Макару и другим, слишком хорошо знакомым мне людям. Сколько их, разбитых, проходит предо мною, и немалое число удаляются туда, 'иде же несть печалей'. Умирают они – виновато улыбаясь. Мученики – виновато улыбаясь!

Молчание. Тяжело говорить"[15].

Печаль и восторг переполняют писателя, он делится ими то с одним, то с другим адресатом. "Жаботинский написал превосходную книгу 'Чужбина' – жаль, не хочет ее издавать, – пишет он в эти же дни Е.П.Пешковой в Париж. – Книга – стонов и рыданий честного человека о горе народа своего"[16].

Писателю Н.Коржанскому сообщает: "...Прочел книгу Жаботинского 'Чужбина'. Та же тема, что и у Вас, и тоже искренно – до ужаса! Подобно плачу Иеремии, хотя названо 'комедией'"[17].

Вскоре Горький получил "личный" экземпляр книги с дарственной надписью автора: "Алексею Максимовичу Пешкову с глубоким уважением. Вл.Жаботинский. Одесса, 4/17.XI.1910"[18].

Впечатление от пьесы не изгладилось и через три года. Он пишет О.О.Грузенбергу: "Читали Вы комедию Жаботинского 'Чужбина'? Превосходная вещь и вообще Жаботинский удивительно интересный, умный, искренний человек в своих трудах.

Комедия его взволновала меня отчаянно, и я всем рекомендую ее как образец искренно написанной книги"[19].

К этому времени Горький смог лучше узнать Жаботинского, хотя уже в 1905 году привлек его к переводу стихов Бялика для издания в "Знании"[20]. В 1910-1911 годах, когда Амфитеатров при участии Горького организовал журнал "Современник", предполагалось поручить Жаботинскому формирование и редактирование еврейского отдела[21]. Редактор и большинство членов редакции находились за рубежом. Заграничная агентура доносила Департаменту полиции в Петербург 29 апреля/12 мая 1911 года: "Журнал 'Современник' <...> вновь возобновлен изданием в Петербурге. Издатель А.В.Амфитеатров. Сотрудники: М.Горький, А.Н.Толстой, Антонович, Артемьев, Богучарский, Боцяновский, Жаботинский, Качоровский, Кошелев, Кашинцев, Лопатин, Лукашевич и др."[22].

В первых книжках "Современника" (1911-1912), наряду со статьями Амфитеатрова, Горького, М.Антоновича, Германа Лопатина, Шолом-Алейхема и др., была помещена статья Жаботинского против развития националистического шовинизма. Публицистику Жаботинского (в том числе его статью о сб. "Поляки и евреи", см. п.3, 4 и

примеч. к ним) Горький с удовлетворением отмечает в письме редактору журнала "Современный мир" В.П.Кранихфельду. Критикуя содержание и характер ведения журнала, он обращает внимание редакции на необходимость "следить за всем, что творится в области национального самоопределения племен, входящих в состав империи". "Самоопределение" это, – провидчески, пишет Горький в 1912 году, – принимает такой характер, что наша внутриимперская распря племен обещает создать нам положение еще более горшее, чем то, каким судьба наградила Австрию. Мы – не немцы, не в такой степени тренированы для борьбы, и, если мы своевременно об этом вопросе не подумаем – наш неустойчивый социализм превосходно и надолго может захлебнуться национализмом".

В связи с этим и как пример активной борьбы с "имперской распрей" он приводит труды Жаботинского: "Я очень рекомендовал бы Вам присмотреться к превосходной работе украинцев, почитать внимательно белорусскую литературу, последить за статьями Жаботинского и других националистов-евреев в газетах юга, почитать прессу татар и вообще – оглянуться, куда мы идем?"[23].

С глубоким уважением и большим доверием относился и Жаботинский к Горькому. Только с такими чувствами в душе можно было обратиться к нему с ходатайством оказать содействие выезду в Палестину группы еврейских писателей во главе с Х.Н.Бяликом и Ш.Черниховским (см. письмо 6 и примеч.) или просить рекомендации к ряду известных европейских писателей во время работы по организации Еврейского легиона в той же Земле Обетованной (см. письмо 5) и т.п.

Конечно, они были людьми разных поколений, жизненных целей, во многом отличались по своему мироощущению и политическим взглядам. Но они были единомышленниками в отношении к главным, коренным и "вечным" вопросам. Оба были писателями-борцами, находились в гуще жизни. Их роднит приверженность к лучшим реалистическим принципам русской литературы, верность традициям национальной культуры и общечеловеческим идеям гуманизма, ненависть к деспотизму, любым формам человеческого угнетения и страстная жажда свободы и счастья своему народу.

Письма В.Е.Жаботинского печатаются по оригиналам-автографам, письмо Горького – по авторской машинописной копии (обычно писатель подписывал только первый, отправляемый адресату экземпляр, на котором, как правило, делал от руки прощальную (и иную) при-

писку. Тексты публикуются по современному правописанию, но особенности языка, своеобразие орфографии и пунктуации авторов сохраняются.

Примечания

1. За время подготовки настоящего сборника к печати письма Жаботинского к Горькому были опубликованы в "Вестнике Еврейского университета в Москве" (1992, №1). Нашу публикацию отличает наличие ранее неизвестного письма Горького к Жаботинскому, письма Жаботинского к К.П.Пятницкому, обстоятельный историко-литературный комментарий и вступительная статья к переписке, а также научная подготовка публикуемых текстов и их скрупулезная сверка с оригиналами.

2. Имя и отчество Пятницкого – Константин Петрович.

3. Речь идет о поэме Жаботинского "Бедная Шарлотта" – о Шарлотте Корде, убившей Марата. Когда поэма появилась в печати, "Горький восторженно отозвался о ней и даже дал указание издательству 'Знание' приобрести право на распространение всего тиража. К сожалению, была реализована только половина тиража, остальное конфисковали власти, усмотревшие в произведении поощрение террора" (см.: И.Недава. Зеев Жаботинский. Вехи жизни. Избранные статьи и речи. Иерусалим – Москва. 1991. С.22).

4. Письмо из Вильно от 24 мая 1904 г. (Архив А.М.Горького).

5. "Наша жизнь" – петербургская либеральная газета, выходившая в 1904 по 1906 г.

6. М.Ф.Андреева. Переписка, воспоминания, статьи, документы. М.1968. С.79.

7. Литературное наследство. Т.95. М. 1988. С.212.

8. Там же. С.213.

9. "Новое время" – ежедневная широко распространенная петербургская газета, выходила с 1868 по 1917 г. С 1876 г. издавалась известным журналистом и издателем А.С.Суворины. Отличалась реакционными взглядами и юдофобством, служила рупором черносотенцев.

10. "Контрабандисты" – скандальный антисемитский спектакль суворинского театра по пьесе В.Крылова и С.К.Литвин-Эфрон "Сыны Израиля" (см. об этом подробнее в кн.: В.А.Поссе. Мой жизненный путь. М.-Л. 1929. С.235-236; В.Левитина. Русский театр и евреи, кн.II. Иерусалим. 1988. С.13-36).

11. Имеются в виду пьесы Семена Юшкевича из жизни черты оседлости "Голод" (напеч. в VШ сб-ке "Знание" за 1906 г.), "Король" (1906 г., поставлена в Михайловском театре в Петербурге), "Miserere" (1910 г., шла в МХТе), "Комедия брака" (поставлена в Киевском театре) и др.

12. Речь идет о бытовых и исторических пьесах Шолома Аша "Бог мести" (1907), "Саббатай Цеви" (1907), "Амнон и Тамор" (1908) и др., шедших на сце-

не еврейских театров многих стран.

13. В статье "Тьма", опубликованной в 1910 г. на страницах "Нового времени" (4/17 октября), В.Розанов, критикуя работу историка народнического движения в России В.Я.Богучарского "Из истории политической борьбы в 80-е гг.", обвинял революцию и революционеров в "дикости и самой грубой азиатской элементарности".

14. Возможно, имеются в виду выступление поэта Н.Минского в газете "Киевская мысль" (1910, 5 января) о провокациях в революционных партиях, в частности о деле меньшевика Барита (В.Я.Батушанского) и статья М.О.Гершензона в сб-ке "Вехи" (см. примеч. к письму 4).

15. Литературное наследство. Т.95. С.217.

16. Там же. С.218.

17. "Архив А.М.Горького". Т.IX. М. 1966. С.101.

18. Письмо от сентября 1910 г. Архив А.М.Горького.

19. Личная библиотека А.М.Горького. Описание. Кн.I. М. 1981. Т953.

20. Литературное наследство. Т.95. С.1008. Письмо от 20 сент. 1913 г.

21. 14 марта 1905 г. Горький писал поэту и переводчику А.А.Лукьянову: "Еврея Бялика будет переводить Жаботинский, он знает древнееврейский язык" (Архив А.М.Горького). Когда книга Х.Н.Бялика "Песни и поэмы" вышла (авторизованный перевод с еврейского языка и введение Вл.Жаботинского. С.Петербург. 1911), Горький послал ее сыну Максиму с дарственной надписью. По воспоминаниям Е.П.Пешковой, Горький отозвался о Бялике как о "величайшем поэте, редком и совершенном воплощении духа своего народа", и выражал сожаление, что не знает древнееврейского языка и не имеет возможности читать стихи Бялика в подлиннике ("Архив А.М.Горького". Т.IX. С.333). В такой высокой оценке Горьким поэзии Бялика несомненная заслуга переводчика – Вл. Жаботинского.

22. См. письмо А.В.Амфитеатрова М.Горькому от 4 октября 1910 г. Литературное наследство. Т.95. С.220.

23. Там же. С.478.

24. Там же. С.691.

1. Жаботинский – Горькому

Одесса 28.7.1903

Многоуважаемый Алексей Максимович, после долгих колебаний решаюсь послать Вам как руководителю товарищества "Знание"[1] сборник моих фельетонов с просьбою издать их отдельно.

Я попал в газету и никогда, по-видимому, не вырвусь. Поэтому лица, прежде предсказывавшие мне хорошие вещи, теперь думают,

Максим М. Горький

8.1.21



EDEN-HOTEL
BERLIN
AM ZOOLOGISCHEN GARTEN

Многоуважаемый
Алексей Максимович,

Очень прошу Вас за Блюмкина. Он пропадается не за что; каким в Петербурге он нужен, каким поэт, а каким лучший из работников в области еврейского школьно-художественного дела. Рекомендовать со пред Вами было бы излишне, прибавлю только несколько слов: Одно могу прибавить: каково бы ни было отношение к еврейскому вопросу в России, в Палестине оно единодушный удар, объединяющий ашкеназов и сефардов. Будет как вернут его. Мне хотелось бы просить и за Горшмановского, и за многих других; но ведь больше помощи

перешлем на работу.

Прошу, что Крупского Вас. Несомненно Вы перешлем такими делами; но мне вопрос, что Вы это дело выдвинуте из ряда.

Примите заранее мою глубокую благодарность за все, что сделаете сделать.

Глубоко уважающий Вас
В. Жаботинский

75, Great Russell St.
London. ОТВ

Список высылаемых в Палестину!

что я погиб. Я не хочу так думать, потому что знаю, что на иные из моих фельетонов я просадил много страсти и бешенства. Мне было бы больно примириться с тем, что они за свое газетное происхождение обречены забвению. Не откажите пробежать некоторые из них: может быть, Вы тоже найдете это несправедливым.

Характерными считаю: "Древле", "Рыжик", "Два предателя", "Хуже Иуды", "Караморий". Вы их найдете вначале.

Я пишу впопыхах, накануне отъезда за границу[2]. Я не успел окончательно все просмотреть и устранить все слишком "местное" из этих статей. Но это легко было бы сделать в корректуре, если бы в принципе тов<арищество> "Знание" приняло сборник[3].

Прошу не отказать мне в ответе, по адресу: Одесса, Полицейская, 30, Терезе Евгениевне Жаботинской. Она перешлет мне, в Базель или в Рим.

Глубоко Вас уважающий Владимир Жаботинский (Altalena)[4], сотр<удник> "Одесск<их> Нов<остей>"

Примечания

1. "Знание" – книгоиздательское товарищество в Петербурге, организованное в 1898 г. и выпускавшее – на первых порах – преимущественно книги общеобразовательного характера. В сентябре 1900 г. в товарищество вступил А.М. Горький, занявший там руководящее положение, более десяти лет он был идейным руководителем издательства, душой всего дела. Он реорганизовал "Знание" как издательство главным образом художественной литературы, рассчитанное на широкие круги читателей, объединил вокруг него беллетристов демократического направления. В "Знании" вышли отдельные произведения, собрания сочинений и сборники избранного Горького, Л.Андреева, И.Бунина, Н.Гарина-Михайловского, А.Куприна, В.Вересаева, С.Юшкевича, Д.Айзмана и многих других писателей. Большой популярностью пользовались начавшие выходить с 1904 г. сборники товарищества "Знание", в которых печатались, наряду с Чеховым, Горьким и другими (уже названными и неназванными) авторами, западноевропейские, а также еврейские писатели (например, Шолом Аш).

2. Жаботинский отправлялся за границу на VI Сионистский конгресс, открывавшийся в Базеле. Здесь он впервые (и в последний раз) слышал основателя политического сионизма Т.Герцля, к которому относился с глубоким почтением.

3. Фельетоны Жаботинского в "Знании" не издавались. Впервые сборник его фельетонов (более позднего времени) вышел в 1913 г.

4. Altalena (*итал.* – качели) – псевдоним Жаботинского, которым он подписывал газетные фельетоны.

2. Жаботинский – Горькому

Новосельская, 91. Одесса, 4.XI.1910

Многоуважаемый Алексей Максимович,
Ал<ексанр> Вал<ентинович> Амфитеатров[1] передал мне через И.М.Хейфеца[2], что Вы выразили желание получить экземпляр моей пьесы[3]. Посылаю наименее помятый из немногих, которые у меня имеются. Вещь эта в свет не выйдет, так как многие из моих друзей нашли, что она в художественном отношении плоха, а провала в этом смысле я боюсь гораздо больше, чем брани политической.

Ваш отзыв сообщил мне Ал.Вал. Он меня очень обрадовал и взволновал, вызвал было искушение передумать, но нельзя было.

Большое, большое спасибо.

Глубоко Вас уважающий

В.Жаботинский

Примечания

1. Амфитеатров Александр Валентинович (1862-1938) – журналист, фельетонист, прозаик, переводчик и литературный критик, после 1917 г. в эмиграции. В 1902 г. на всю Россию прозвучал его фельетон "Господа Обмановы", в персонажах которого легко угадывались члены императорской семьи – Николай II, его отец Александр III и мать – вдовствующая императрица Мария Федоровна. Газета "Россия", напечатавшая фельетон, была закрыта, а автор в 24 часа был отправлен в сибирскую ссылку.

2. Израиль Моисеевич Хейфец – издатель, в 1910 г. ответственный секретарь, затем редактор газеты "Одесские новости", в 1912 г. соиздатель газеты совместно с Я.Г.Натансоном и Л.К.Гольденгорном. Хейфец находился в деловой переписке с Амфитеатровым, который сотрудничал в его газете. Через него Хейфец стремился привлечь и Горького, который, несмотря на недоразумения с очерком о Чехове (см. "Лит. наследство", т.95, с.186, 187, 191), послал ему рассказ "Праздник", напечатанный в "Одесских новостях" под новый 1911 год.

3. Речь идет о книге: Вл.Жаботинский. Чужбина. Комедия в 5-ти действиях. СПб., Ц.Крайз, 1910. Книга, по всей видимости, была напечатана небольшим тиражом (для автора), не имела цензурного разрешения и в то время в свет не вышла.

3. Жаботинский – Горькому

Одесса, 24.II.1911

Многоуважаемый Алексей Максимович,

Позволил себе распорядиться, чтобы Вам выслали изданную здесь брошюру "Поляки и евреи"[1] – сводку характерных откликов на польско-еврейский конфликт со стороны польской, еврейской и русской. Не откажите с ней ознакомиться. Мне кажется, что антисемитский поход польского общества вносит в российскую общественность какую-то еще неслыханную скверну, еще неслыханную деморализацию. Хотелось бы, по крайней мере, чтобы люди это знали. Глубоко уважающий Вас

В.Жаботинский

Новосельская, 91

Примечания

1. Речь идет о сборнике "Поляки и евреи. Материалы о польско-еврейском споре по поводу законопроекта о городском самоуправлении в Польше. Из статей и заявлений депутата Грабовского, Р.Дмовского, Н.Дубровского, Вл.Жаботинского, депутата И.Петрункевича и А.Свентоховского" (Одесса, 1911). Выходу этой книги предшествовала острая борьба и полемика в печати в связи с кампанией по выборам в IV Государственную Думу, разделившей польское общество и обострившей еврейский вопрос в стране.

Во время этих выборов перед еврейским населением стояла дилемма: либо отказаться от участия в них, либо слепо отдать свои голоса, под нажимом поляков, за кандидата – сторонника ограничения евреев в правах (причем не только национальных, но и гражданских); выдвинуть своего кандидата евреи не решились, но на избрание антисемита тоже не пошли. Они избрали поляка – социал-демократа. В борьбе за права евреев в Польше Жаботинский играл одну из ведущих ролей, в частности, он вошел в число авторов одноименного сборника статей, вышедшего два года спустя ("Поляки и евреи. Сборник статей А.Гартляса, А.Давидсона, В.Жаботинского, Я.Киршрота, Observer'a". СПб. 1913).

Горький – Жаботинскому

<Март, 1911 г. Капри>

Уважаемый Владимир Евгениевич!

Книжку "Поляки и евреи" до сего дня не получил, рецензий и объявлений о ней не вижу и выписать – не могу, а прочитать ее мне хочется и нужно.

Позвольте побеседовать с Вами.

Сказав "антисемитский поход польского общества вносит в русскую общественность какую-то новую скверну", – Вы, думаю, смягчили значение факта, мне кажется, можно сказать более определенно и резко: антисемитизм поляков постепенно вынуждает и русское общество обнажить свой скрытый до сей поры антисемитизм. Раньше наша интеллигенция более или менее успешно прятала эту язву на своем лице под сочувственными улыбками в сторону евреев, – Вы это знаете и, помнится, даже писали об этом. Надо было прятать – еврей шел и боролся рядом с нами, он был нужен как превосходный боевой материал, как дрожжа. Но – брожение кончилось, кое-что получено[1], нищие – довольны, и ныне когда многие, очевидно, искреннейше верят, что Россия достигла "правового порядка", – вчерашний товарищ боя "жид" стал лишним человеком, а продолжает оставаться дрожжей. Это – мешает тем, кто хочет покоя и порядка.

Разумеется, не вся интеллигенция играла столь фальшиво и постыдно, да и в этой ее части, наверное, многие не чувствовали себя антисемитами. А наступило пакостное "сегодня" и – чувствуют.

Однако скажу, что многие евреи сами кажутся мне невольными и косвенными возбудителями антисемитизма. В настоящее время среди евреев, работающих в прессе, разродилось немало бестактных людей. Иногда эта бестактность объясняется темпераментом, а порою, видимо, простым желанием угодить хозяину.

Когда, например, человек с фамилией Гершензон говорит о законном применении штыков в деле воспитания русского народа[2], – это не может быть принято русским народом как признак понимания его и уважения к нему. Весьма вероятно, что в Гершензоне ни капли нет еврейской крови и он самый обыкновенный жалостнейший русский интеллигент, но – ведь читатель судит по фамилии и пишет знакомому такие слова:

"А что Вы скажете о жиде, который участвуя в походе против демократии, штыками угостить ее просит? Как это понимать – месть за погромы или ассимилятор желает выслужиться у начальства?"

Участие евреев прессы в том натиске на демократию, который предпринят известной частью россиян, уверенных, что они уже стали европейцами, – должно было дурно отозваться на всех евреях, и вот – отзывается.

Еще пример: якобы "наивный" человек С.С.Юшкевич кричит: "Мы должны испортить язык Пушкина!"[3] Конечно, это только его манера обращать на себя внимание, но – русский человек доверчив и прямодушен как раз там, где этого не надо, и хоть Пушкина едва ли читал, однако – сердится, надувает губы и говорит: вот они ваши евреи! Таких бестактностей я могу привести не один десяток. Их запоминают, и в один безалаберный час россиянин вместо того, чтобы сказать раздражавшим его людям: вы – плохие люди! или – вы плохие литераторы! – говорит: вы – евреи, вы чужды нам и ничего не понимаете в русском быту![4] "Инцидент". Спокойные люди могли бы прекратить его в самом начале, но они этого не сделали, газеты – трещат, умные люди – подчеркивают все, что им выгодно, сознательно и хитро, молодые и честные делают это по велению темперамента, глупые же – по профессии; "инцидент" растет до размеров кошмара[5].

Все это – мелочи, но, мне кажется, что они способны создать и, пожалуй, создают уже скверное настроение, которое просачивается в демократию и сбивает ее с толку. Рост антисемитизма – явление пагубное для русского народа; пассивный по существу своему, он нуждается в активных силах, которые помогали бы ему перевоспитаться. Евреи – активны.

Уничтожение "черты"[6] необходимо и выгодно прежде всего для русского народа, и я думаю, что эта точка зрения достаточно "патриотична и национальна", – это эгоистическая точка зрения русского, искренно желающего своей стране всяческих успехов.

Извините за длинное письмо, его оправдывает поговорка – "у кого что болит, тот о том и говорит". И позвольте сердечно поблагодарить Вас за книгу Бялика, высланную мне, очевидно, по Вашему желанию[7]. Какой прекрасный поэт! Какая сила, нежность и неизмеримая глубина скорби!

У меня есть граммофон, подарок "коленопреклоненного друга"

моего[8], и пластинки, напетые Сиротой[9]. Я часто слушаю его волнующие песни, и стихи Бялика звучат для меня голосом Сироты.

Прошу Вас – будьте любезны, если вышла вторая часть "Агады"[10], в переводе Фруга, – укажите мне открыткой адрес склада издания.

Примечания

1. Имеется в виду Манифест 17 октября 1905 года ("Об усовершенствовании государственного порядка"), подписанный Николаем II в момент наивысшего подъема Октябрьской Всероссийской политической стачки. Манифест провозглашал гражданские свободы (слова, печати, собраний, вероисповедания), законодательную думу и пр.

2. Горький имеет в виду статью М.О.Гершензона "Творческое самосознание" в сборнике "Вехи" (М.,1909). Однако высказывание Гершензона, на которое ссылается Горький, имеет совсем иной смысл. Горький неоднократно (как впрочем и Ленин) обвиняет Гершензона (так писателю запомнилось) в том, что он оправдывает применение властями "штыков и тюрем" против "ярости народной". Гершензон же пишет совсем о другом: он обличает интеллигенцию, оторвавшуюся от народа, ту интеллигенцию, которой чужды народные интересы и общественные дела. "*Каковы мы есть,* – то есть интеллигенция, – пишет Гершензон – нам не только нельзя мечтать о слиянии с народом, – бояться его мы должны пуще всех казней власти и благословлять эту власть, которая одна своими штыками и тюрьмами еще ограждает нас от ярости народной" (с.88).

3. Об этом заявлении С.С.Юшкевича несколько ранее (в начале июня 1910 г.) Горький писал также Амфитеатрову: "Мне он кажется очень талантливым, но некультурен – убийственно. Может говорить – и яростно! – о необходимости 'преодолеть Пушкина'. Притворяется милым ребенком..." ("Лит. наследство". Т.95. С.202).

4. Хорошо известно непримиримое отношение Горького ко всем формам национального угнетения и неравенства. Мы знаем о его особых симпатиях к евреям и еврейству, защите их прав и свободы. Писатель всю жизнь развенчивал зоологический антисемитизм, под какими личинами он бы ни скрывался (достаточно сослаться на серьезный труд по этой теме М.Агурского и М.Шкловской – "М.Горький. Из литературного наследия. Горький и еврейский вопрос". Иерусалим, 1986). Именно поэтому писатель очень болезненно относился к любым фактам бестактности со стороны евреев ко всему тому, что могло бы вызвать неприязнь, недоброжелательное отношение к еврейскому народу, возбудить антисемитизм.

5. Горький имеет в виду выступление писателя Е.Н.Чирикова на чтении новой пьесы Ш.Аша "Белая кость" 18 февраля/3 марта 1909 г. Чириков высказался в том смысле, что еврейские критики поддерживают еврейские пьесы, но не

могут оценить русских бытовых пьес, так как не понимают их, и что, мол, вообще "большинство петербургской прессы – евреи". Чирикова обвинили в антисемитизме, его поддержал критик К.И.Арабажин. На следующий день об инциденте сообщила петербургская еврейская газета "Дер Фрейнд" (1909, 19 февр./4 марта). В ответ Чириков напечатал в "Русском слове" открытое письмо "Благодарю, не ожидал", где отвергал обвинения в антисемитизме (1909, 3/16 марта). Инцидент получил широкий резонанс, вызвал разноречивые оценки, тем более что репутация Чирикова до этого была безупречной. Подробнее о дальнейшем развитии инцидента см. в работе В.Левитиной "Русский театр и евреи", кн.II. Иерусалим. 1988. С.100-102, 174-195.

6. "Черта оседлости" существовала в России с 1791 по 1918 г. и являлась границей территории, на которой разрешалось постоянное жительство евреев. Она охватывала 15 окраинных губерний России – в Польше, Литве, Белоруссии, Курляндии, большей части Украины, Кавказа и Средней Азии.

7. Речь идет о книге Х.Н.Бялика в переводе Жаботинского (см. о ней в вводной заметке, примеч. 19); экземпляр этот не сохранился, но в личной библиотеке Горького хранится 6-е дополненное издание, выпущенное издательством С.Д.Зальцмана в 1922 году в Берлине, с дарственной надписью: "Дорогому Алексею Максимовичу Пешкову в знак глубокого уважения от издателя. С.Зальцман. Берлин, 20-12-2". Проникновенную статью о Бялике и его поэзии, полную восторга и любви, Горький напечатал в двойном юбилейном (по поводу 25-летия литературной деятельности поэта) номере "Еврейской жизни" (1916, №14-15, 3 апреля. С.21-22.). Эта статья перепечатывалась трижды, последний раз в упомянутой книге М.Агурского и М.Шкловской.

8. Имеется в виду получивший бурный резонанс инцидент в Мариинском театре 6/19 марта 1911 г. Как официально сообщалось, на спектакле "Борис Годунов", который "удостоили" своим присутствием "их величества государь император и государыня императрица Мария Федоровна", во время "коленопреклоненного исполнения" гимна хористами театра к ним присоединился Ф.Шаляпин. Консервативная и монархическая пресса, подхватив официальное сообщение, на все лады восхваляла патриотические чувства Шаляпина; либеральные газеты, напротив, в один голос выступили с обвинениями артиста в холопстве перед царем. При этом в шумихе, поднятой печатью в связи с этим инцидентом, была так затемнена истинная сущность этой истории (манифестация хора была вызвана отнюдь не "патриотическим" восторгом перед Николаем II, а стремлением привлечь внимание к своей петиции об улучшении материального положения), что создалось весьма преувеличенное представление о проступке Шаляпина даже в рядах передовой части русского общества.

9. Сирота Гершон (1874-1943; погиб в варшавском гетто) – известный исполнитель еврейских песен, кантор, пластинки с его записями были широко распространены в то время.

10. Агада (Аггада) – части Талмуда, не имеющие характера религиозной и юридической (семейной и гражданской) регламентации жизни евреев. Агада

включает притчи, легенды, сентенции, проповеди, философско-теологические рассуждения, поэтические гимны и т.п. Здесь Горький имеет в виду свод Агады, составленный по первоисточникам И.Х.Равницким и Х.Н.Бяликом, в кн.: Агада. Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей в 4-х частях. Авторизованный перевод на русский язык и введение С.Г.Фруга. Берлин. Б/г. Вышли лишь две части. Сборник переиздан изд-вом "Библиотека Алия" в 1980 и 1989 гг.

5. Жаботинский – Горькому

Гельсингфорс
26 - VIII - 1915

Глубокоуважаемый Алексей Максимович –

Так и не удалось нам повидаться. Жалею об этом по многим причинам; так как одна из них деловая, то позвольте дело изложить письменно.

Я еду в Лондон, Париж и т.д. в качестве корреспондента "Русских ведомостей"[1], но при этом имею в виду и сионистские задачи. Может быть, Вы читали о том, что в Египте из палестинских изгнанников мы устроили батальон, который теперь находится с англичанами в Дарданеллах; теперь я получил принцип<иальное> согласие английского военного министерства на образование еврейского контингента специально для участия в оккупации Палестины[2]. Если не случится ничего непредвиденного, то через месяц начнем вербовку в Англии, Франции и Америке. Дело имеет многих противников; если Вы в их числе, то вопрос исчерпан. Если же Вы этой идее сочувствуете, то буду просить у Вас моральной помощи. План такого легиона рассчитан, конечно, не на материальный количественный эффект, а на моральный; эта идея нуждается в patronage со стороны вождей общественного мнения – об этом Вас и буду просить. Если проект осуществится, нам необходима будет какая-нибудь манифестация внимания и сочувствия со стороны русского общества. Я прошу Вас быть тогда ее инициатором. Форма может быть разная – например, воззвание в печати. Обо всем этом будет еще подробно говорить с Вами С.Ан-ский (Рапопорт)[3].

Теперь, *независимо* от вопроса о "легионе", мне необходимо зондировать почву (по вопросу о будущности нашей колонизации в Палестине) у разных лиц Зап«адной» Европы. В том числе есть кате-

гория, к которой лучше всего открыло бы мне доступ Ваше письмо. Назову прямо имена: это Wells, Bernard Shaw, Анатоль Франс, Верхарн, Метерлинк и Д'Аннунцио. Не знаю, со всеми ли Вы знакомы, вернее нет; но для действительности Вашей рекомендации это значения не имеет. Если Вы согласны дать мне такие письма, то я Вас прошу указать в них на мое некоторое влияние в еврейском обществе; это необходимо, так как я не являюсь официально представителем сион<истской> организации.

Простите за то, что излагаю свою просьбу так asciutto* – от одной короткой встречи с Вами лет 11 назад у меня осталось впечатление, что тут лишних слов не надо. Если согласны, будьте добры прислать мне Ваш ответ и письма по адресу: W.Jabotinsky, Jewish Colonial Trust, 10 Walbrook, City, London. Во всяком случае буду ждать по этому адресу Вашего ответа.

Глубоко уважающий Вас

В.Жаботинский

Имя и отчество мое – Владимир Евгениевич

Примечания

1. "Русские ведомости" – ежедневная газета, выходившая в Москве с 1863 по 1918 г.; с 1905 года – орган кадетов. Разъездным корреспондентом этой газеты Жаботинский стал еще год назад и в этом качестве посетил Швецию, Норвегию, Англию, Бельгию, Францию, Италию, Испанию, Марокко, Алжир, Тунис, Египет и др. страны, сочетая журналистскую работу с задачами создания Еврейского легиона (см. ниже). Настоящее письмо было написано им во время последнего посещения России летом 1915 г. С Горьким ему не удалось повидаться, возможно, потому, что писатель в это время большей частью жил в Мустамяках (Финляндия).

2. Речь идет о создании еврейского воинского формирования в составе британской армии, чем усиленно занимался Жаботинский с конца 1914 г. Целью этого "Еврейского легиона" было освобождение Палестины от турецкого владычества и образование там еврейского государства. После длительных переговоров с английскими властями к весне 1915 г. было сформировано транспортное подразделение, известное как Отряд погонщиков мулов; оно выполняло вспомогательные функции на различных участках турецкого фронта (доставка боеприпасов, продовольствия, воды и т.п.). Это не удовлетворило Жаботинского, тем

---

* asciutto (итал.) – сухо, скучно, второпях.

более, что вскоре Отряд вообще был расформирован. В течение длительного времени – 1915-1916 гг. – он пытается добиться согласия стран Антанты на формирование Еврейского легиона. Против его идеи решительно выступали официальные сионистские круги, предпочитавшие в мировой войне соблюдать нейтралитет. Российские сионистские лидеры, с которыми встречался Жаботинский, когда в последний раз приехал на родину, тоже осудили идею Еврейского легиона. Вот почему, не найдя сочувствия даже в своих кругах, Жаботинский стремился заручиться помощью видных писателей и общественных деятелей Запада и обращается к Горькому за рекомендациями, откровенно предупреждая, что "не является официальным представителем сион. организации". В августе 1917 г. в Лондоне был в конце концов сформирован Еврейский легион. Жаботинский вступил в него добровольцем и был зачислен рядовым (потом его произвели в офицеры). Под названием "38-й батальон королевских стрелков" легион был в первых числах февраля 1918 г. отправлен в Египет, оттуда в Палестину, где вел тяжелые бои. Позже к нему добавились и другие добровольческие еврейские батальоны, вместе составившие Первый полк Иудеи. История "Еврейского легиона" описана Жаботинским на русском языке в книге "Слово о полку" (1928). (См.: В.Жаботинский. Повесть моих дней. Иерусалим. 1985).

3.С.А.Ан-ский – псевдоним еврейского писателя и фольклориста Рапопорта Семена Акимовича (1863-1920). Бывший народник, он в 1905 г. вступил в партию эсеров и активно работал в ней; в 1908-1909 гг. вел переписку с Горьким и "Знанием" по поводу издания своих произведений. Горький не высоко ценил его мастерство, но очень одобрительно отозвался о "культурном значении" повести "Пионеры", в которой "изумительное напряжение воли к жизни, довольно рельефно, с любовью" описано автором, и евреи изображены "не как только великомученики" ("Архив А.М.Горького". Т.IV. М.1954. С.236).

6. Жаботинский – Горькому

8.I.21

Многоуважаемый Алексей Максимович,

Очень прошу Вас за Бялика. Он пропадает ни за что; нам в Палестине он нужен как поэт и как лучший из работников в области еврейского школьно-издательского дела. Рекомендовать его пред Вами было бы излишне, приводить доводы тоже незачем. Одно хочу прибавить: каково бы ни было отношение к еврейскому языку в России, в Палестине это единственный язык, объединяющий ашкеназов и сефардов[1]. Пусть нам вернут его. Мне хотелось бы просить и за Черниховского[2] и за многих других; но хоть Бялику помогите вернуться к работе.

Простите, что беспокою Вас. Несомненно, Вы перегружены такими делами: но мне верится, что Вы это дело выделите из ряда.

Примите заранее мою глубокую благодарность за все, что сможете сделать[3].

Глубоко уважающий Вас

В.Жаботинский
75, Great Russel st.
London[4].

Примечания

1. Ашкеназы – евреи, выходцы из Германии, проживали преимущественно в Восточной Европе (Польша, Литва, Россия). Сефарды – выходцы из Испании и Португалии, жили как там, так и в арабских странах, небольшие их общины были в Западной Европе и в США.

2. Черниховский Саул (Шауль) Гутманович (1875-1943) – один из наиболее крупных поэтов (наряду с Х.Н.Бяликом и Ш.Залманом), писавших на иврите. Горький был знаком с его поэзией по сборнику переводов В.Ф.Ходасевича "Из еврейской поэзии" (Берлин, 1923); он предложил Черниховскому сделать подстрочник его поэмы "Свадьба Эльки", которая в замечательном переводе Ходасевича была вскоре напечатана в горьковском журнале "Беседа", издававшемся в Берлине (1925, Т4,5).

3. При содействии Горького в 1921 г. группа еврейских писателей получила разрешение на выезд из Советской России в Палестину. Выезд осуществлялся через Политический Красный Крест, который возглавляла Е.П.Пешкова. Всего выехало тогда двенадцать еврейских писателей, кроме Бялика и Черниховского в этом списке были: М.Виленский, Ц.Висловский, Б.Динур, А.Друянов, М.Клейман, Э.Иерусалимский, А.Литаи, И.-Х.Равницкий, А.Ха-Меири, А.Семятицкий. На письме рукой Горького красным карандашом помета: "Отвечено 21.X.21. Список выезжающих в Палестину!" – и черным карандашом: "Послан!"

7. Жаботинсий – Горькому

Влад. Евг. Жаботинский
6, Marie Davy
Paris (14)

1 июня 1927

Многоуважаемый Алексей Максимович,

Разрешите обратиться к Вам с личной просьбой. Мне нужен дубликат моего юридического диплома, выданного мне ярославским Демидовским лицеем в 1912 г.[1], подлинник пропал с прочими веща-

ми, которые жена во время страха германска в 1916 или 17 г. отправила из Петербурга в Москву на хранение. Я не знаю, к кому обратиться; откровенно говоря, и не решаюсь сделать это лично. Могли бы Вы мне в этом помочь?

Простите, что беспокою; если Вам неудобно, не буду в претензии, если можете содействовать, заранее спасибо.

Желаю Вам всего доброго.

Уважающий Вас глубоко

В.Жаботинский

Примечания

1. Как известно, выехав весной 1898 г. за границу, Жаботинский поступил на юридический факультет Бернского университета, через полтора года он переехал в Рим, чтобы продолжить учебу и прожил там три года, совмещая занятия с работой корреспондента одесских газет. Не закончив образования, вернулся в Россию и сразу окунулся в общественную, журналистскую и литературную работу, много разъезжал, в том числе и за рубежом, занимался урывками (например, в 1907-1908 гг. в течение полугода целые дни проводил в библиотеках Вены). Но в условиях того времени Жаботинскому необходим был диплом о высшем образовании. Впоследствии в "Повести о моей жизни" он вспоминал: "В 1912 году я поехал в Ярославль, губернский город, расположенный к северу от Москвы, где имелась старинная школа правоведения: я экзаменовался и получил университетский диплом, то есть право жительства в Петербурге, без того, чтобы изводить горы рублей на взятки дворникам и полицейским чинам, как прежде". (В.Жаботинский. Повесть моих дней. Иерусалим. 1989. С.92).

8. Жаботинский – Горькому

6, rue Marie Davy
Paris 14

9 июня 1927

Многоуважаемый Алексей Максимович,

Очень признателен за Ваше согласие помочь. Но, по-видимому, я неясно изложил дело. Подлинник диплома пропал, найти его невозможно. Можно только получить *дубликат*. Получить его можно только из канцелярии б<ывшего> Демидовского лицея в Ярославле. Для этого мне надо обратиться с прошением к начальству – и тут и начинается трудность. Если судить по аналогии с прошлым, когда в

таких случаях обращались к министру нар<одного> просв<ещения>, то теперь надо подать прошение Луначарскому. Если я к нему обращусь, он или откажет, или не ответит. Моя просьба в том, чтобы Вы, если не неудобно, поручили кому-нибудь из Ваших знакомых провести это дело. Так как я очень далек от мира вне своего кружка и не знаю отношений, то совсем не представляю себе удобна ли моя просьба. Если нет, то очень извиняюсь.

Диплом был выдан в 1912 г. кандидату юридических наук Влад<имиру> Евг<еньевичу> Жаботинскому (экстерн).

Глубоко уважающий Вас

В.Жаботинский

Примечание

1. Луначарский Анатолий Васильевич (1875-1933) с 1917-1929 гг. народный комиссар просвещения.

9. Жаботинский – Горькому

Париж

2 июля 1927

Многоуважаемый Алексей Максимович

Я был в Чехии, позавчера только вернулся и застал Ваше письмо. Большое спасибо за помощь. Если могу отслужить чем-либо в пределах моей возможности, прошу Вас располагать мною.

Всего доброго

Ваш *В.Жаботинский*



Возвращаясь к имени Зиновия Исаевича Гржебина
Неизвестное письмо А.М.Горького В.И.Ленину

Публикация Иосифа Вайнберга (Москва)

В особом фонде ленинского архива (в бывшем Центральном партархиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС) хранится непубликовавшееся письмо А.М.Горького В.И.Ленину, посвященное издателю Зиновию Исаевичу Гржебину и травле, которой он подвергался в первые послереволюционные годы. Документ этот примечателен во многих отношениях. Он передает атмосферу эпохи, дышит тем временем. В письме раскрыт душевный мир не только того, кому оно посвящено, но и автора письма. Оно служит еще одним подтверждением глубоко справедливого заключения замечательного историка-эмигранта Георгия Федотова: "Горький эпохи Октябрьской революции (1917-1922) – это апогей человека. Никто не вправе забывать того, что сделал в эти годы Горький для России и для интеллигенции". Одним из тех, кого Горький неизменно защищал, чью работу неустанно поддерживал, был Гржебин. В горьковском письме запечатлен живой, колоритный образ издателя, дана яркая характеристика этого деятельного человека, одержимо посвятившего себя служению русской книге. Обнажая истоки дальнейшей драматической судьбы Зиновия Исаевича, его трудной эмигрантской жизни, вновь открытое письмо Горького прекрасно дополняет мою статью и другие материалы о Гржебине, опубликованные в 1-м выпуске настоящего издания.*

Письмо печатается по машинописной (авторской) копии (2-й экз.), без подписи (РЦХИДНИ – Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории, ф.5, оп.1, д.982).

Датируется по содержанию.

---

* Евреи в культуре Русского Зарубежья. Иерусалим, 1992. С.169.

А.М.Горький – В.И.Ленину

<Около 19-20 июля, 1921, Москва>

Дорогой Владимир Ильич,

не удивляйтесь тому, что я снова говорю о Гржебине.

Когда в наше тяжелое время по адресу ответственных работников легко бросаются словами, какие были бы немыслимы еще 2-3 года тому назад, то это делается и без особого злого умысла и без особого ущерба для других. Всевозможные обвинения, дикие выходки, клеветнические непристойности – стали настолько обычным явлением, вошли в быт, что на это перестали реагировать – это развлекает только общество.

Иное дело – Гржебин.

Вот уже два года, как его травят самым отвратительным образом. Тут все: и клевета, и сплетня, и зависть, и злоба – и нет такого преступления, в котором бы его не обвиняли.

Меня удивляет его настойчивость, упорство и выдержка, с какими он, невзирая ни на что, продолжает свою ценную работу, слишком тяжелую при создавшихся условиях. Гржебин, постоянно рискуя, рискуя подчас жизнью, ибо клевета иногда доходит до чудовищных размеров, работает, как фанатик.

Я его хорошо знаю по ежедневной работе с ним за последние 16-17 лет. Вы, конечно, думаете, что меня легко обмануть, что я доверчив и т.д. Нет, не беспокойтесь, я людей знаю и знаю не хуже Вас. Гржебина знают Ладыжников[1], Тихонов[2], знают его Подвойский[3], Ганецкий[4], не говоря уже о целом ряде ученых, писателей, художников, с которыми он давно и глубоко связан.

Гржебин отказался от всякой личной жизни. Ему не безразличны его семья – а он почти не видит своих детей; он мог двадцать раз эмигрировать из России и жить спокойно, мог бы даже устроить какое-нибудь Издательство за границей – но он не может порвать с Россией.

Положительно, всю жизнь он отдает нашему Издательству, общему делу, которое я нахожу необходимым. Вы поймете лишь тогда, в чем состоит оно, когда внимательно просмотрите каталог-план Издательства.

Гржебин вышел из семьи, где не только не знали книги, но говорить по-русски не умели. Все его детство прошло в кошмарной нищете, невежестве, до 13 лет он не знал азбуки.

Это его чисто еврейское упорство и стремление "выйти в люди" меня больше всего восхищает. Он сумел перешагнуть через очень многое, жалкое, нищее – обо всем этом подробно не могу говорить в письме – и все это достойно уважения, а не преследования и травли. "Новая Жизнь" и многие другие литературные дела обязаны своим техническим и коммерческим успехом исключительно ему.

Я знаю также, что если бы ему теперь не мешали на каждом шагу, не подхватывали все те инсинуации, которыми пользуются клеветники-конкуренты его или просто завистники, – много ценного создал бы он.

Судите его по делам его, а не по разговорам Рубинштейнов[5], Лундбергов[6], Вейсов[7], Заксов[8], Мережковских, Гиппиус[9].

Содействуйте нашему Издательству – и Вы сами скоро убедитесь, какие значительные результаты получатся.

Теперь же все делается, чтобы сорвать его работу, сорвать Издательство:

Было постановлено ЦК, чтобы Госиздат в н е д е л ь н ы й срок установил список книг, их тираж и цены. *Прошло два с половиной* месяца, а "воз и ныне там" – в деле Гржебина Госиздат находит возможным не подчиняться постановлениям даже ЦК.

Чем опасен Гржебин?

Книги, которые он будет издавать за границей, будут приходить с маркой РСФСР.

Выбор книг устанавливает Госиздат.

Цены по договору с Госиздатом будет Внешторг устанавливать на месте.

Уплата будет производиться только по сдаче книг.

Никаких авансов Гржебин не требует.

В чем дело?

Еще ни разу ему не сказали, в чем его обвиняют, я же, повторяю, – я верю Гржебину до конца.

Могут быть те или иные ошибки – но считаться нужно с его главным, а не частностями.

И затем: из "дела" Гржебина постепенно создается дело Бейлиса – маленькое, но все-таки достаточно гнусное. Это последнее особенно возмущает меня.

Примечания

1. *Ладыжиков Иван Павлович* (1874-1945) – участник революционного движения конца 1890-х – начала 1900-х гг., по заданию большевистской партии организовал в Берлине книгоиздательство, выпускавшее марксистскую литературу, произведения Горького и близких к нему писателей группы "Знание". В 1914-1921 гг. – участник всех горьковских литературно-издательских начинаний (издательство "Парус", журнал "Летопись", газета "Новая жизнь", издательство "Всемирная литература"), в 1921-1930 гг. – один из руководителей акционерных обществ "Книга" и "Международная книга" в Берлине.

2. *Тихонов Александр Николаевич* (литературный псевдоним А.Серебров; 1880-1956) – литератор, друг и соратник Горького, принимал активное участие во многих литературно-издательских мероприятиях писателя, был соиздателем "Летописи", "Новой жизни", одним из инициаторов (наряду с Ладыжниковым и Гржебиным) издательства "Всемирная литература".

3. *Подвойский Николай Ильич* (1880-1948) – советский партийный и военный деятель, в дореволюционные годы участвовал в создании большевистского издательства "Зерно", газет "Звезда" и "Правда".

4. *Ганецкий Яков Станиславович* (1879-1937) – деятель российского и международного революционного движения, член ЦК РСДРП. Весной 1917 г. как член заграничного бюро РСДРП принимал участие в подготовке переезда Ленина и других большевиков из Швейцарии в Россию. После Октября занимал ответственные посты в Наркомфине, Внешторге, Наркомате иностранных дел.

5. *Рубинштейн Борис Николаевич* – сотрудник издательства И.П.Ладыжникова в Берлине; в 1912 г. ему были переданы права по издательству. После революции работал за границей в "Международной книге", издательстве "Книга" и др.

6. *Лундберг Евгений Григорьевич* – писатель, заведующий небольшим издательством научно-технического отдела ВСНХ в Берлине – единственного советского издательства, которому удалось обосноваться за границей в те годы.

7. *Вейс Давид Лазаревич* (1877-1940) – участник революционного движения, большевик. В 1920 г. был назначен заместителем, а затем временно исполняющим обязанности заведующего Госиздата РСФСР.

8. *Закс Самуил Маркович* (Гладнев; 1884-1937) – старый издательский работник, коммунист с дореволюционным стажем, в 1917 г. заведовал техническим отделом "Правды", в 1918-1920 гг. работал в коммунистической партии Германии, затем был референтом Совнаркома по вопросам культуры, членом Редакционной коллегии Госиздата, заведующим административно-техническим аппаратом издательства. "Известный гржебиноед", по определению А.В.Луначарского, Закс был назначен "книжным диктатором за границей". Выехал в Германию (как писал Горький Ленину еще в ноябре 1920 г.), "со специальной целью подорвать доверие" к издательской деятельности Гржебина.

9. *Мережковский Дмитрий Сергеевич* (1865-1941) и особенно его жена Гиппиус Зинаида Николаевна (псевдоним Антон Крайний; 1869-1945) крайне враждебно относились к литературно-организаторской деятельности Горького и к его издательским начинаниям; во всех мыслимых и немыслимых грехах Гиппиус "изобличала" также Гржебина: "Теперь он правая рука – главный фактор Горького".

Из писем Зиновия Пешкова



З.Пешков. Около 1920 г.
Публикуется впервые

Публикация, вступительная заметка и комментарии Михаила Пархомовского
(Бейт-Шемеш, Израиль)

Зиновий Алексеевич Пешков (Зиновий Михайлович Свердлов, а точнее – Ешуа Золомон Мовшев Свердлов; 1884-1966), крестник Горького, считавшийся его приемным сыном, и старший брат Якова Свердлова, прожил долгую и необыкновенную жизнь, полную приключений. Он дружил или был знаком с множеством людей, имена которых вошли в историю. Документальный рассказ об этой жизни содержится в моей книге "Сын России, генерал Франции" (М., 1989).*

Пешков оставил большое эпистолярное наследство. Значительное число его писем (около 90) – к М.Горькому, десятки писем – Е.П.Пешковой, Максиму Пешкову, М.Ф.Андреевой, К.П.Пятницкому и другим людям, близким Горькому, хранятся в Архиве А.М.Горького в Москве; письма к И.А.Бунину – в фондах Государственного музея И.С.Тургенева в Орле, причем о них говорится как о "первостепенных материалах к истории житейских связей Бунина, оставивших известный след в его творчестве" ("Литературное наследство", том 84. И.А.Бунин); по нескольку писем – в ЦГАЛИ и в ГПБ им. Салтыкова-Щедрина; из Архива МИД Франции я получил копии около 60 писем и донесений Пешкова из Китая во время его пребывания там в качестве посла Франции. Не меньшее количество корреспонденций находится в Архиве генерала де Голля и в других закрытых архивохранилищах Франции. Из многочисленных частных собраний наибольшее количество писем должно быть

---

* Так его имя было записано нижегородским чиновником; правильно: Йегошуа Залман.

у тех, кто унаследовал архив А.В.Амфитеатрова, у французской писательницы Эдмонды Шарль-Ру, которая была женой З.Пешкова в последние десятилетия его жизни, а также в архиве Эльзы Триоле и Луи Арагона – с ними З.Пешков был дружен в 50-е и 60-е годы.

Многие письма З.Пешкова представляют собой исторические документы эпохи и дополняют наши сведения о зарубежных очагах русской культуры: на Капри (1907-1913), в Берлине, Сент-Блазиене, Саарове (1921-1923), в Праге и, наконец, в Сорренто (1924-1933), создававшихся вокруг А.М.Горького; в Кави, Фецдано и Леванто (1908-1914), где жил А.В.Амфитеатров и где Пешков служил секретарем редакции сборников "Энергия", издававшихся Амфитеатровым; письма Пешкова из Парижа во время его многократных наездов в столицу Франции, а затем (после выхода на пенсию в 1946 г.), в период оседлой парижской жизни, также не лишены интересной информации о Русском Париже начиная со встреч Пешкова с Шаляпиным и кончая дружбой с Эльзой Триоле.

Нестандартно мыслящий, наделенный артистическими и писательскими способностями, тонким вкусом, мудростью дипломата, говоривший на многих языках, прекрасный рассказчик и собеседник, Зиновий Пешков был достойным представителем этих зарубежных центров русской интеллигенции.

Публикуемые 11 писем Пешкова к М.Горькому охватывают период с 1906 по 1934 год. Письма сверены с оригиналами и публикуются впервые. Приношу большую благодарность Архиву А.М.Горького (Москва, ИМЛИ) за содействие в подготовке настоящей публикации.

I

Oakland, California 13/XI 906.[1]

Дорогой Алексей!
Еще два дня я буду в Америке. В четверг пароход отходит в Новую Зеландию и возьмет нас[2] с собой. Я рад поскорее уехать отсюда – надоело. Надоело уже жить на одном месте. Все равно ничего я не делаю – так лучше уж шататься. Здесь все люди безумные. После землетрясения представился случай доллар нажить и вот все стараются нахватать их как можно больше. Богатые и рабочие – тоже. Жалованья платят большие. Союзы рабочие – сильны, устраивают стачки, повышают прибыль. Работает народ. С охотой работает. С



Встреча М.Горького с М.Твеном. З.Пешков выступает в качестве переводчика

раннего утра и до поздней ночи – побольше заработать только.

А думаешь живут лучше? Ничуть. Свиньи – и больше ничего. Все дорого безумно. Квартиры, продукты, – невиданное количество трактиров и домов терпимости. Здесь это разрешено – красные фонари и никаких. В субботу посмотрел бы ты, что делается на улицах, где дома эти! Веселится молодежь. Мальчишки, совсем маленькие – лет по 14-15. У всех денег много. Мальчишки получают около двух долларов в день. Интересно устроено внутри этих домов – я думаю все они или по крайней <мере> половина принадлежат одному человеку или компании какой-нибудь. Все поставлено на деловую ногу. Интересно, знаешь ли. Несколько физиономий я никогда не забуду, они навсегда врезались в мою память. Зал – видишь ли. Небольшая комната с низким потолком; окрашена красными обоями. По стенам стоят стулья. Фонограф заведен. Стоит на тумбе посреди комнаты и хрипит. В зале дожидаются... Двери завешены красными портьерами. Люстра посреди комнаты. Три газовых рожка желтым светом обнимают комнату. Душно, жарко. Курят, ругаются, хохочут, громко нарочно говорят и все это через небольшой промежуток времени покрывает одно слово "Next", что значит "следующий"...

Один по одному люди выходят и больше уже не возвращаются. Кому больше делать нечего в том доме, того выпускают из другого хода. Все делается скоро, строго, делово. Знаешь, Алексей, это удивительно отвратительно. Какие лица! Господи! Здесь нет человека и нет ничего человеческого, живого во всей этой толпе и во всем этом доме. Здесь помешанные, отравленные идиоты, которые бегут, куражатся, орут, падают, вновь подымаются и снова бегут. Видят доллары по дороге, на деревьях, домах, слышат, как они звенят в ушах, чувствуют, хватают их руками в пространстве.

Ты бы посмотрел, посмотрел на тот исковерканный, и изломанный, и искривившийся город – как в пыли, в обломках камня, железа, среди падающих и отваливающихся стен целый день копошатся люди. С раннего <утра> весь день без солнца. – Темно, зажигают факелы и при желтом грязном и клокочущем свете снова стучат, таскают, бросают, грохочут. А как они идут с работы – Алексей, это надо посмотреть. Я никогда этого не забуду. В этот город надо художникам ехать, музыкантам. Грига бы сюда. Все это скорее в музыке можно изобразить, чем словами, или на полотне.

В музыке! Мне музыки хочется, мне так больно, трудно. Я только словами не могу сказать, как мне тесно здесь, среди этой жизни. Это помойная яма, грязное отвратительное болото для меня с моими потребностями – и настоящая жизнь, благоустроенная жизнь для них, для всех. Куда идти, что делать? Я просыпаюсь ночью, подумаю и плачу, плачу долго уткнувшись в подушку, чтоб Николай не слыхал. Они Николая замучили, убили. Он забитый, усталый, голова у него книзу упала; я его не видел еще с поднятой головой. Он приходит домой поздно ночью. Валится на стул и говорит – "Мать иху – еще день! Сколько еще осталось до отъезда?"

Да, еще два дня, а там восемнадцать полных дней на океане. Когда Николай думает о том, что 18 дней не работать, плыть по океану, он бледнеет и глаза у него загораются – большая радость вспыхивает в них. Он любит океан, любит качку, шум волн. В Николае много забито. Он совсем не видел людей, не слышал музыки, не видал красоты, но чувствует, что все это есть, должно быть! Не может быть, чтоб этого не было! – О многом я с ним не могу говорить, во многом он меня не удовлетворяет; но ему бы только пожить с людьми, с настоящими людьми, только посмотреть, сколько красивого есть в жизни и настоящего.

Прощай, Алексей, теперь долго от меня письма не получишь.

Еще много тебе сказать хочу. Мне всегда говорить с тобой хочется, и то, что я тебе бы сказал, я никому другому не скажу; так я и коплю все в себе.

Прощай, не забывай, пиши.

Твой Зина.

Получил письмо от Грэйс[3] сегодня. Просила кланяться тебе.

Марии Федоровне[4] привет и любовь посылаю и целую крепко.

Евгеньичу[5] привет.

Когда-то я получу письма!?

Mr. Z.Peshkoff

General Delivery

Auckland, New Zeland

Примечания

1. В 1904 г. Пешков отказывается войти в труппу Московского Художественного театра, в школе которого он учился и на сцене которого выступал, и уезжает в Америку. Работает, где придется, бродяжничает. Весной 1906 года он встречает в Нью-Йорке М.Горького и становится его переводчиком и секретарем. Резкая антипатия Зиновия к американскому образу жизни совпала с "классовыми интересами" Горького, находившегося тогда под влиянием артистки МХТа Марии Федоровны Андреевой (1868-1953), "финансового агента Ленина", как она себя потом называла. Она стала второй женой писателя. Знаменитые памфлеты Горького ("Город Желтого Дьявола" и др.) были, по всей вероятности, созданы с помощью З.Пешкова, успевшего познакомиться с американским образом жизни. Настоящее письмо написано после отъезда Горького, но Пешков продолжает сообщать Горькому конкретные сведения об Америке и свои впечатления о ней.

2. Николай (Григорьев?), друг Зиновия, с которым он пробирался из Канады в США и обратно в 1905 г. В очерке "Без работы" Пешков о нем писал: "...поэт в душе, ненавидящий большой город и любящий высокой проникновенной любовью природу. В Америке он уже несколько лет, но английскому не выучился, ни к чему не пристроился. Работает в городе месяца три, потом уходит бродить. Облюбовав какое-нибудь особенно красивое место, он строит себе шалаш в лесу, ходит в ближайший поселок за провизией и живет так несколько дней, неделю. Днем спит, ловит рыбу, если река близко, ходит по лесу слушать пение птиц, которым насвистывает что-то <...> Ночью зажигает костер, радуется огню, кипятит воду и пьет чай. Он просиживает так ночами напролет, обняв колени руками и глядя на пламя костра." (Новое слово. 1911. Ноябрь. С.54-67).

3. Грэйс Латимор Джонс – учительница из Чикаго. В 1907 г. в качестве невесты приезжала к Зиновию на Капри.

4. См. прим. 1.

5. Николай Евгеньевич Буренин (1874-1962), деятель российского революционного движения, по профессии – музыкант; сопровождал Горького в его поездке в Америку, гостил у него на Капри.

II

Феццано, 24/V 913

Милый и дорогой Алексей,

Вот уже две недели с лишком как нет от тебя никаких известий. Очень беспокоюсь, здоров ли ты и не случилось ли с тобой чего... А<лександр> В<алентинович>[1] мне говорил, что он написал тебе по приезде своем – и тоже не имеет ответа на его письмо. Пожалуйста, напиши хоть две строчки о себе...

Хорошо, если ты приехал бы сюда на некоторое время. Погоды у нас чудные, и вообще здесь очень хорошо теперь. Два дня тому назад уехал Г.А.Лопатин[2], так что есть очень хорошая комната, где ты мог бы и работать. Г<ерман> А<лександрович> уехал и, кажется, надолго. Может быть, в последний раз видели его. Сейчас он направился во Францию, а потом, может быть, и в Россию... А здоровьем он уже не ахти как прыток. Несмотря на все – было очень, очень грустно расставаться с ним.

Все здесь много работают. А<лександр> В<алентинович> как приехал, так и за стол. Я целые дни занимаюсь библиотекой[3], пишу – но очень мало, хотя писать хочется да и есть чего. – Свободного времени мало. Вечером – гулять хочется; прямо невозможно какие чудесные вечера! Идешь вечером по дороге – так словно в сказке. Светляков миллионы! Словно золотая паутина; с гор такой аромат зелени и земли, поют соловьи во всю – словом, тянет гулять. Вот когда кончу с библиотекой, если будет возможность, засяду серьезно писать. Ты, наверное, видел – в "Киевской Мысли" напечатали два моих фельетона[4]. Денег до сих пор не прислали. Кстати, из "Дня"[5] тоже ничего нет. Не отвечают они А<лександру> В<алентиновичу>. Вообще – удивительный народ!

Девочка моя[6] очень поправилась и стала удивительно забавной и веселой. Все в доме ею восхищаются – и действительно существо

очень милое. Лида[7] тоже гораздо лучше себя чувствует и очень поправилась. Она тоже без дела не сидит. Шьет ребятушкам рубашечки, штанишки и т.д. Был тут недавно скульптор Эрьзя[8], тот, у которого ты был в Париже. Он живет в Баррафе. Привез снимки со своих работ. Есть несколько хороших вещей. Вообще очень подвинулся вперед за эти года! Ужасно время быстро летит. Не успеваешь оглянуться – пробегают дни, накопляются <неразб.> и т.д. Хорошо, если бы сутки имели по крайней мере часов пятьдесят! Тогда можно было бы успеть сделать что-нибудь. А так – уж очень быстро.

Уехал ли Константин Петрович[9] с Капри? Я все хочу тебя спросить об этом в каждом письме. И как налаживаются дела со "Знанием"? Пожалуйста, будь таким милым и добрым и напиши мне два словечка, прошу тебя. И еще раз говорю – хорошо, если бы ты приехал сюда отдохнуть немного.

Пока крепко тебя обнимаю и желаю много здоровья и всего лучшего

Твой Зина

P.S. Снимал ли тебя Пронин? Может быть, пришлешь свою фотографию?

Передай сердечный привет Екатерине Павловне и Максиму[10].

Примечания

1. Амфитеатров Александр Валентинович (1862-1938), писатель. За фельетон "Господа Обмановы" о царской семье был сослан в 1902 г. в Минусинск. В 1905 г. издавал в Париже журнал "Красное знамя", затем, в Италии – "Современник". Романы, повести и рассказы писателя были чрезвычайно популярны в дореволюционной России.

2. Лопатин Герман Александрович (1845-1918), революционный народник, друг Тургенева и Карла Маркса, первый переводчик "Капитала" на русский язык. С 1887 по 1904 г. находился в заключении в Шлиссельбургской крепости. После отъезда Лопатина З.Пешков переписывался с ним. Одно письмо к Герману Александровичу (от 10.12.15 г.) опубликовано в моей книге о З.Пешкове (с. 153).

3. У Амфитеатрова была колоссальная по тем временам библиотека, и приведение ее в порядок было одной из обязанностей Пешкова. Впервые Зиновий заведовал библиотекой в арзамасском доме Горького в 1902 г.

4. "На заработках в Канаде" // "Киевская мысль". 1913, 2 и 3 мая.

5. В 1906-1913 гг. Пешковым было опубликовано еще несколько очерков и

рассказов.

6. Дочь З.Пешкова Елизавета Зиновьевна Пешкова-Маркова (1911-1989). Во время неудачной поездки Пешкова в поисках заработка в Америку (1911-1913 гг.) к нему приехали жена с дочерью, которые там тяжело болели.

7. Лидия Петровна Бураго – первая жена З.Пешкова.

8. Эрьзя (наст. фам. Нефёдов) Степан Дмитриевич (1876-1959), мордовский скульптор. В 1906-1914 и в 1925-1950 жил в эмиграции.

9. Пятницкий Константин Петрович (1864-1939), директор-рапорядитель и основатель книгоиздательского товарищества "Знание". Несколько лет жил в доме Горького на Капри или по соседству с ним. Несмотря на большую разницу в возрасте, был очень дружен с З.Пешковым. В дневнике Пятницкого (Архив Горького в Москве) Зиновий упоминается чаще кого бы то ни было.

10. Екатерина Павловна Пешкова – первая жена Горького – и их сын Максим гостили в то время у Горького на Капри.

Ш

Париж, 29-го декабря 21[1]
Мой милый Алексей,

Только что получил твое письмо от 27-го с.м.

Очень рад, что ты получил книжку Деникина[2]; по всей вероятности, теперь и второй выпуск 1-го тома дошел до тебя.

Завтракал у Генриэтты Петровны[3] во вторник и все время, конечно, говорили о тебе. Фаррера[4] не было, он уезжал к Пьеру Лоти[5], кот<орый> очень болен и которому он повез Большой Крест Ордена Почетного Легиона, присужденный ему после смерти Сэн-Санса[6], только что похороненного очень пышно на кладбище Монпарнасс.

Относительно оказии переслать вещи, предназначенные тобою для Г<енриэтты> П<етровны>, – я подумаю, и если увижу какую-либо возможность доставить их в сохранности сюда, я тотчас же напишу тебе. Похлопочу и о Савостине[7] – только не скрою от тебя, что у меня мало надежды на успех. Мне сказали, что он обращался с просьбой похлопотать за него к князю Аргутинскому[8], и тот отказался это сделать. Господи, до чего нелепо запутана стала жизнь.

Всего хорошего, мой дорогой, поправляйся здоровьем, и от души желаю тебе счастья в наступающем Новом году.

Любящий тебя

Зина

Примечания

1. В 1914 г. З.Пешков вступил добровольцем во французскую армию, в 1915 г. в боях под Аррасом потерял правую руку. В 1916-18 гг. читал лекции о французском фронте в Италии и США, после чего возвратился на службу в иностранный легион Франции. Настоящее письмо написано во время отпуска.

2. Книга Деникина. Имеется в виду книга А.И.Деникина "Очерки русской смуты". Париж, 1921. Т.I.

3. Роджерс Генриетта Петровна, французская актриса, выступавшая в Петрограде в 1915-1919 гг. в Михайловском театре. По возвращении в Париж вышла замуж за Клода Фаррера.

4. Фаррер Клод (Farrere Claude; 1876-1957) – морской офицер, писатель-романист, ученик Пьера Лоти (см. ниже). Одна из его первых книг посвящена Северной Африке, где служил З.Пешков.

5. Лоти Пьер (Loti Pierre; 1850-1923) – писатель-романист, член Французской Академии. Бывший моряк, он много путешествовал и хорошо знал страны Востока. Из других писателей Франции, с которыми Пешков в те годы был хорошо знаком, следует назвать Андре Моруа, автора предисловия к книге Пешкова об иностранном легионе.

6. Сен-Санс Камиль (1835-1921), французский композитор, пианист, дирижер и музыкальный критик.

7. Савостин, по-видимому, М.М., которого Горький в 1919 году привлекал к экспертизе и оценке коллекций искусств в Петрограде.

8. Князь Аргутинский – личность не установлена.

IV

[Помета Горького: Для Ив<ана> Павл<овича Ладыжникова>[1]
Париж, 18-го января 922 г.

Мой милый и дорогой Алексей,

Сегодня получил от своего друга, одного из директоров крупной издательской фирмы в Америке, письмо в ответ на мою просьбу узнать, в каком положении находится продажа книги "Мать"[2] и кто за нее получает деньги, принимая во внимание то обстоятельство, что ты как-то мне сказал, <что> ничего из Америки не получаешь.

Позволю себе привести тут дословно перевод той части письма, которая касается издания твоих книг:

"Несколько лет до того, как я имел отношение к фирме 'Appleton & C°.'[3], она приобрела от 'Central News and Press Exchange' права М.Горького на произведение 'Мать'. Я отыскал все бумаги по этому

делу и нашел, что М.Горький передает свои права на издание книги 'Мать' фирме 'Central News and Press Exchange', которая тем самым является полным владельцем этого произведения.

Мы уплатили этой фирме девять тысяч долларов в счет будущего дохода этого издания. Несмотря на то, что эта книга пользуется большим литературным успехом и великолепными отзывами, она, все-таки, не оправдала тех ожиданий, кот<орые> наша фирма на нее возлагала и не только не дала дохода, но до сих пор еще не оправдала сумму, выданную при покупке права на издание книги.

Если бы М.Горький написал теперь книгу, описывающую с таким же мастерством и художественностью настоящую русскую жизнь, как написана 'Мать', нам очень было бы приятно издать ее.

За последние годы было издано большое количество книг о России, но ни одна из них не разошлась в достаточном количестве экземпляров. Я сомневаюсь, чтобы книга, описывающая экономическое и политическое положение России, могла иметь успех у широкой публики. Но совсем другое было бы, если бы то же экономическое и политическое положение России было бы описано в форме рассказов, романа, словом, книге придан был бы беллетристический характер, я полагаю, что спрос на нее был бы большой.

Дайте мне знать, какого рода книгу думает написать М.Горький. Если же он хотел издать ее в Америке, то я попросил бы его прислать <неразб.> вкратце содержание книги. Мы будем в состоянии судить по краткому изложению, какой интерес она сможет представить для нас с деловой точки зрения".

Прости за плохой перевод этого письма, но ты знаешь, что я очень плохой переводчик.

Если бы ты действительно захотел издать книгу в Америке, то я очень рекомендую тебе эту издательскую фирму, которая, я уверен, сделала бы максимум усилий для того, чтобы книга твоя разошлась в возможно большем количестве экземпляров.

Если тебе понадобятся какие-либо мои услуги, ты, конечно, всегда можешь рассчитывать на меня. Если ты вздумал бы, действительно, написать, какое содержание твоей будущей книги, и прислать бы мне рукопись по-русски, я постарался бы перевести ее на английский язык, т.е. попросить кого-нибудь знающего и опытного сделать это и переслать в Америку.

Пока всего хорошего.

Обнимаю тебя. Твой Зина.

Примечания

1. Ладыжников Иван Павлович (1874-1945) управлял крупнейшими издательствами, где выходили произведения Горького, с которым он был в тесных дружеских и деловых отношениях.

2. В 1900-1902 гг. З.Пешков был одним из самых активных нижегородских революционеров; уничтожив во время обыска две листовки, написанные М.Горьким, спас его от ссылки в Сибирь; Пешков послужил одним из прототипов героев повести "Мать".

3. В этом издательстве была выпущена (на английском языке) книга З.Пешкова об иностранном легионе.

V

Мекнес (Марокко), 15-го сентября 1922.[1]
Дорогой мой Алексей,

Вчера получил твое письмо от 28-го августа; спасибо, что написал.

Никак не могу разделить твой пессимизм. Не то, что не соглашался бы с тобою в твоей оценке современной жизни; все дело в ощущении. Я чувствую жизнь совсем иначе. Испытываю огромную радость и счастье жить, участвовать в том, что делается в мире и наблюдать изменение форм человеческого существования на земле. <Нет> страха и отчаяния. Могло бы быть и иначе, но раз так случилось, что мир пришел в некое смятение, нужно в этом смятении и одичании меньшинства или даже большинства различить также попытки людей внести спокойствие и равновесие. Зло может быть побеждено только добром, печаль – радостью, горе – счастьем и хаос спокойствием. Я немного знаю людей. Алексей, я не столько знаю, сколько чувствую всем своим существом, что народились люди с большой, всепоглощающей любовью и радостью в своем сердце и энтузиазмом, наполняющим их душу.

Ты говоришь: "...В Европе всё и все быстро сходят с ума, настроение – на общую драку... народные массы – рычат, и – надо ожидать, скоро будут крушить и громить все и вся".

Если старые политические деятели, – правые и левые, одинаково, – не могут справиться с новым элементом, вошедшим в жизнь за последние годы, после войны, и если их поступки безумны, то <это> еще не значит, что "всё и все сходят с ума".

Одни – правые старики – думают, что массы ничему не научились за последние десять лет, что вся политика и интересы всего мира сосредоточены в Европе, они не допускают и не хотят и физически не могут воспринять новый мир, ощутить его пути в будущем. Другие – левые – стараются доказать, что спасение и счастье человечества заключается в рабочем интернационале, ставя, таким образом, рабочий класс в корень человеческого развития. Но эти – левые – доказывают уже доказанное и идут в хвосте событий, делая всевозможные усилия, чтобы не отстать от быстрого темпа, которым идет изменение форм человеческого общежития. Думать же, что одна форма – совершеннее и прогрессивнее другой и что существует какой-то прогресс, устанавливаемый, сознательно, людьми – могут только люди, надевшие шоры и скрывшие нарочито от себя ширь вокруг них, или родившиеся слепыми. Есть и шарлатаны и демагоги, которым жажда власти над темными массами затемняет глаза, и они барахтаются в своей жалкой слепоте, бессильные подняться, выпрямиться – и страшатся взглянуть правде в глаза. Рабочий интернационал уже существует, но он – только малая часть существующих других интернационалов, гораздо более сплоченных, может быть, между собою. Интернационал финансов существует. Интернационал церкви существует, и – наконец – все мы перед Богом интернациональны, и пути Господни неведомы нам...

Два знамения дано людям, за последнее десятилетие – война и русская революция. И тот, кто способен проникнуться и внять этому знамению и воспылать любовью ко всему живущему без различия классов и народностей, тот человек спасется от разъедающей его сердце ненависти и злобы и поможет восстановлению спокойствия и равновесия и созданию такой атмосферы благожелания и симпатии, при которой созидательная работа станет возможной. Безумные те, которые заглушают в себе голос сердца своего. "Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не вошли и входящим воспрепятствовали", говорится в Евангелии (от Луки, гл. II, ст.52).

Ты пишешь: "угнетают меня чудеса мира сего, – процесс общего одичания и страшные факты одичания".

Я понимаю и чувствую, как такой человек как ты должен страдать, наблюдая и видя дикость и ожесточенность людей... И, позволь мне, родной мой, разделить твои страдания, сделай милость. Я тоже, ты не можешь себе представить до какой степени, страдаю. Иногда



Портрет З.Пешкова. Художник В.Шухаев

невыносимо больно всему моему существу, до скрежета зубовного, видеть скотство и разнузданность и звериную оголтелость людей... но я не могу не видеть и не ощущать в то же время, как животворяще действует на людей симпатия, ласка, любовь и доброта. В моей военной жизни мне близко приходится сталкиваться со всякими людьми, каждый день. Нужно, чтоб кристалл души нашей отражал в себе блеск и жар солнца, и тогда он пронзит самое твердое тело. А душа, пылающая любовью Божьей к человеку, и подавно пронзит самую твердую и ожесточенную душу... Только любовью может спастись мир! Миллионы людей были преданы на растерзание за эти годы, и если люди не одумаются – то мир погибнет и одичание людей дойдет до того, что они пожрут друг друга на обломках аэропланов, телеграфов, телескопов, микроскопов и реторт.

Но этого не будет. Надо верить. Я верю и ощущаю всем своим существом, что нарождаются и уже народились люди, которые внесут свет и успокоение в мир. Надо выйти на большую дорогу, пойти к людям всех народностей, всех цветов и всех рас и говорить о любви людей к людям и всех людей вместе – к Богу...

Очень, очень мне хочется повидаться с тобою и о многом поговорить и спросить твоего совета. Ты дал мне много любви и ласки; и много раз доброта твоя ко мне истинно умиляла и делала меня лучше, добрее и совершеннее. Я ничего не забыл и не забываю, Алексей, и чем больше живу, тем все ярче выступает прожитое. И вижу я некий перст Провидения в нашей встрече и во всем последующем... В прошлом у меня богатая, пестрая и красочная жизнь. Скольких людей я близко знал, сколько стран избороздил, и в какие только разнообразные условия жизнь меня не ставила. И вот, теперь, живя здесь в одиночестве, в военном лагере, в Африке, я выхожу ночью на холм, откуда виден, по другую сторону реки, старый город и откуда легкий, нежный ветер приносит звуки песни бедуина, тамбура, рожка и плачущей молитвы муэдзина, смотрю я на бархатное небо и яркие, яркие звезды, я проникаюсь такой любовью, такой печалью и – вместе – радостью, и так я люблю жизнь, и все, и всех, и такую я ощущаю необходимость поделиться со всеми и всем своею радостью бытия и верою в Божье Провидение и в лучшую жизнь людей на земле – что хочется уйти, раствориться в этой ночи, превратиться в ветер и нести людям благоухание животворящее любви и радости...

Скоро оставлю службу – подам в отставку. Может быть, еще до

весны придется терпеть. Все зависит от того, удастся ли достать денег на первое время. У меня вновь ничего нет. А кроме того, у меня дочь в Италии, которая растет умной и чудесной девицей. Ее письма доставляют мне истинное наслаждение и счастье.

А ты правда едешь на Канарские острова? Вчера посмотрел на карте, где они находятся. Климат там, должно быть, хороший. Нужно нам повидаться, все-таки. Когда ты думаешь ехать?

Оставив службу, я хочу поехать в Россию. Знаю, что мне будет очень трудно, предвижу все, что меня может ожидать при всяком режиме, но все-таки поеду.

Пока, до свидания, дорогой мой, прости за длинное и, может быть, несвязное письмо. Не умею я писать –

Крепко тебя обнимаю.

Твой Зина.

Где Максим? Кланяйся ему от меня и Надежде Алексеевне[2] тоже.

Мой адрес все тот же: <неразб.> Pechkoff
Etat-Major
Meknès
Maroc

Примечания

1. В настоящем письме Пешков излагает свои взгляды на послевоенный мир. Горький ценил рассуждения своего приемного сына, независимость его взглядов, называл Зиновия "человеком умным и зорким". По ряду высказываний видна нарастающая религиозность Пешкова. После второго ранения (в ногу, в 1925 г.) Зиновий даже принял решение уйти в монастырь, но (со слов Е.З. Пешковой) Горький его отговорил.

2. Надежда Алексеевна Пешкова (1901-1971), девичья фамилия Введенская, жена Максима Пешкова, художница.

VI

Париж, 26-го октября 1922
Дорогой мой Алексей,

Всю дорогу из Берлина в Париж только и думал, как хорошо и приятно было с тобою[1], и в душе моей такая теплота и любовь к тебе – и хочу сказать тебе большое, большое спасибо за ласку и

внимание, за добрые советы и вообще благодарю Бога, что он дал мне встретить тебя на трудном жизненном пути моем... Вчера с утра пошел хлопотать по своим делам. Главным образом, конечно, в настоящее время меня занимает вопрос: останусь ли я или нет в Париже. Только сегодня вечером мне дадут ответ на мою просьбу дать мне взаймы небольшую сумму денег, дабы я смог начать свободно, вне всяких влияний, ту работу, которой я хочу посвятить себя в начале своей новой, гражданской жизни. Если я не достану минимум денег, нужный мне на первое время, то я, все-таки, решу возвратиться в Африку. Разменяться на мелочи не хочется, и, думается, мне не следует этого делать. Сегодня же я тебе напишу, в каком состоянии мои дела после ответа, кот<орый> я получу.

Дядя Миша[2] посылает тебе письмо для пересылки по назначению. Ты мне обещал, что пошлешь его и что сам напишешь свое мнение о большом деле, которое начал дядя Миша. По газетам, Леонид Борисович[3] в Берлине. Не можешь ли ты оказать на него давление, чтобы он немедленно, без всякой канцелярской проволочки, перевел дяде Мише сумму денег для продолжения его работы. Прошу тебя, если ты хочешь помочь нам, то поговори *лично* с Л<еонидом> Б<орисовичем>, а не через кого-нибудь.

О результате сообщи по телеграфу, прямо дяде Мише.

Пока всего хорошего, крепко целую тебя. Кланяюсь всем милым жителям.

Твой Зина.

Примечания

1. В октябре 1922 г. З.Пешков гостил у Горького в Саарове, где обсуждал с ним свое намерение выйти в отставку и другие планы, о чем известно, в частности, из письма А.М.Горького Е.П.Пешковой: "На днях приезжал ко мне из Марокко Зиновий Пешков и сказал, что военная служба надоела ему и он хочет заняться культурной работой. Он уверен, что вместе с Михаилом Александровичем Михайловым он мог бы организовать Международную помощь русским школьникам. Помощь выразится в снабжении 30 млн. русских школьников учебными пособиями: карандашами, перьями, грифелями, тетрадями и вообще всем необходимым для обучения, кроме учебников, разумеется. Зиновий же хочет поставить дело широко, чего, вероятно, и добьется при его огромных связях в Европе – Франции, Англии и Америке. Он уже говорил об этом с дочерью Моргана и заручился ее помощью. Настроен он очень хорошо, никакого яда против большевиков у него больше нет. <...> Так как у тебя хорошая за

границей репутация, он просит осведомиться: вошла ли бы ты в это дело, в русский комитет?" (Архив А.М.Горького).

2. Дядя Миша – партийная кличка вышеназванного Михайлова Михаила Александровича, с которым З.Пешков познакомился на Капри в 1907 г. Живя после революции в Париже, Михайлов в течение 4 лет организовывал помощь большевистской России. Он был связан со многими общественными организациями и правительствами стран Европы, организовал отправку в Россию материалов на 1500 фунтов стерлингов. Его работа прекратилась в связи с отсутствием необходимой поддержки со стороны Ленина и Красина.

3. Красин Леонид Борисович (1870-1926), член КПСС с 1890 г., советский государственный деятель. Организовывал поездку Горького в США в 1906 г., гостил у Горького на Капри. С 1920 г. нарком внешней торговли, одновременно полпред и торгпред в Англии, а с 1924 г. – во Франции.

VII

Taghzirt, le 16 Fevrier 1924

Дорогой Алексей, все эти дни собирался написать тебе обстоятельное письмо и постараться удовлетворить твой интерес к тем русским людям, которые волею судеб разделяют со мною, каждый по-своему, африканскую жизнь. Вместо русских людей, исписал я несколько листов бумаги, изобразив как умел, прием у одного берберского каида. Описание, по-моему, вышло скучным и бесцветным и потому оставил его так, не переписав начисто и не послав его тебе. Потом занялся писанием на итальянском языке для своей дочери. Она у меня быстро растет, по-видимому, очень любит меня и считает меня хорошим человеком. Ей уже тринадцатый год пошел, и с некоторого времени она стала грустные письма писать. Надо ее подбодрить немного. И вот я описываю ей природу здешнюю, сады, поля, горы, ручьи быстрые и чистые, пишу о морях и вообще стараюсь ее приобщить к жизни, не пугая ее плохими людьми и не скрашивая плохое, стараюсь показать, что в каждом плохом человеке есть хорошее, только надо уметь найти это. Хочется лишь помочь ей и – вижу, по ее письмам, что я нужен ей. В последнем письме она мне говорит следующее: "Sai, papino adorato, sono trista e o una gran voglia di piangere, non so quello che ho. Non so, sai, ma ho perduto la mia allegrezza di prima. E quando mi viene questa tristezza adosso e sento la voglia di piangere io vado in camera mia, apro il banchetto dove tengo tutte le tue lettere, piglio quelle che mi piacciono di più e le leggo finchè non mi sono

un poco calmata. Tu parli cosi bene della natura e dei sentimenti dell'uomo, e mi dai dei buoni consigli, ma tu li dai cosi bene, e ti posso assicurare che io divento più buona quando leggo le tue care lettere..." (Знаешь, обожаемый папочка, я печальна, и мне очень хочется плакать, не знаю, что со мною. Но знаешь, я потеряла свою прежнюю радость. И когда ложится на меня эта печаль и когда является желание плакать, я ухожу в свою комнату, открываю сундук, в котором храню все твои письма, выбираю те, которые мне больше всех нравятся, и читаю их до тех пор, пока не успокаиваюсь. Ты говоришь так хорошо о природе и о человеческих чувствах, и ты даешь мне такие хорошие советы, и ты так хорошо их даешь, что я уверяю тебя, – я становлюсь лучше, когда читаю твои дорогие письма")[1]. Быть нужным кому-нибудь так приятно, а особенно ребенку. Очень я скучаю по ней!..

В моей роте около сорока человек русских. Когда я принял командование, то было не больше двадцати, но потом многие стали проситься ко мне. Есть у меня пять капралов русских и четыре сержанта. Среди капралов один с очень хорошим именем: Кареев (в то время, как пишу тебе в вечерней тишине, из открытого окна доносится писк обезьян – они во множестве тут) – очень воспитанный и умный молодой человек. Он недавно в роте, но пользуется уважением всеобщим. Большинство русских легионеров вступило на службу в 20-м и 21-м году, т.е. после эвакуации Деникина <из> Новороссийска и после эвакуации Врангеля <из> Крыма. Не пожелав оставаться в несуществующей больше армии и не захотев вести нищенскую, попрошайническую жизнь в Константинополе, или на островах Принцевых, или на о. Мудрость и Галлиполи, они вступили в ряды Французского Иностранного легиона. Были сначала отправлены для обучения и формирования в Париж, а затем присланы на службу в оккупационные войска в Марокко. Есть также русские в Тунисе, в Индокитае и в Сирии. Всего, я думаю, можно насчитать около трех тысяч на французской службе. В Марокко находятся также довольно много русских инженеров и топографов. Весь почти географический отдел при резиденции[2] в Рабате состоит из русских. Одному русскому, между прочим, поручена нивелировка всего протектората. Русские солдаты на хорошем счету, а инженерами и топографами Маршал Лиоте не нахвалится. Возьмем мою роту. Дисциплина у нас строгая, жизнь суровая, и нужно много выдержки и характера, чтобы изо дня в день нести службу. Чтобы поддержать необходимую

дисциплину, конечно, приходится людей наказывать. И вот, у русских, у большинства, но у огромного большинства, никогда никаких проступков. Немец, когда он напьется, – а ему немного надо, красное французское вино быстро охмеляет его, – он становится груб и нахален, русский, во-первых, трудно пьянеет, а если и во хмелю, то становится грустным и почтительным – он поет. У меня, между прочим, замечательный русский хор. Когда мы в походе и останавливаемся на отдых и ночлег, русские собираются по одну сторону образуемого войсками квадрата, немцы уходят – в другую сторону. И начинается пение. У немцев пение несложное, и мотив однообразен и скучен, напоминает он всегда протестантскую кирку; у русских-то пение сложное и в сложности своей высоко гармоническое. Здесь у меня есть вятичи и сибиряки, а также и кубанские и донские казаки, украинцы тоже. Они друг перед другом входят в соревнование, стараются свою песню лучше спеть и выказать. Есть и солисты. Два у меня тут солдата совсем не могут вклеиться в эту обстановку, один – барон Т... нежный блондин, мягкотелый, никак даже до капральского чина достукаться не может, поет цыганские песни, а другой длинный и худой молодой господин в очках, сын помещика Орловской губернии, поет песенки Вертинского: "Твои (в оригинале "Ваши" – ред.) пальцы пахнут ладаном", ты видишь эту картину... в горах Среднего Атласа, одетый в шинель легионера, закрыв глаза и раскачиваясь, кто-то поет с надрывом о пальцах, пахнущих ладаном... Русские также считаются самыми честными людьми. Воровство, особенно мелкое, очень развито. Когда приходим в какое-нибудь поселение, жители – берегись; а также тащат на продажу казенные вещи. За русскими этого не водится. Почти все сторожа при казначеях, <при> полковых и ротных магазинах – русские. У меня прошлым летом, когда моя рота шла отдельно от полка, бывало иногда до ста тысяч франков. Ни разу, ни одного сантима не пропало, мои личные небольшие суммы всегда разбросаны по всяким карманам, и пока никогда никакого недочета. Русские очень неразговорчивы, и трудно узнать, что они думают. Если задашь какой-нибудь вопрос, никогда прямо не ответят, а все как-то стороной. Между собой, конечно, посвободнее разговаривают, а со мною стесняются, а может быть и боятся. Но двое, стоящих близко ко мне, – один казак – мой верховой ординарец и другой – вятич, заведующий столом, иногда разговаривают. Хотя у меня имеется больше двадцати всадников – туземцев, с которыми я произвожу разъезды, но

всегда беру с собою казака. Во-первых, приятно говорить по-русски среди такой чуждой России обстановки, а затем он великолепно обращается с арабами. На каком он с ними языке разговаривает, я не имею никакого представления, он, правда, знает десятка два слов, но его они понимают, и он про них все знает. Он мне, например, рассказывает: – Вот этот, худущий, что с длинными волосами, лейтенанта моего спас, сам был ранен в ногу, но уполз от "шлехов" (Chleuh, или бербер). Только стал вино пить. Это арабам не годится, сопьется. Жена у него ушла. А вот тот старик с бородою на серой кобыле, так у него сколько медалей. Он, когда французы в Касабланку в 1907 году пришли, собрал шайку разбойников и набили (неразб.), потом сдался и служить им пошел... И вот так про всех он может кое-что рассказать...

Алексей, позволь мне прервать на этом листке. Почта уходит через час, а следующая будет через три дня. Хочу отправить тебе написанное. Только не уверен, что тебя интересует то, что я пишу тебе. Следующим курьером пошлю еще несколько страниц, если Бог даст...

Крепко обнимаю

Зина.

Примечания

1. Здесь и дальше перевод с итал. З.Пешкова.
2. С 1912 по 1956 Марокко было под протекторатом Франции. Главный штаб (зд. Резиденция) находился в Рабате.

VIII

35, Avenue du Bois de Boulogne
Passy 51–52
(Paris) 12.IV.1924.

Дорогой мой Алексей,

Вчера утром подписался для тебя на газету "Последние новости"[1], на срок в 6 месяцев, т.е. до 15-го Февраля. Тебе пришлют все номера, начиная от 15-го августа.

В этом письме посылаю тебе две вырезки о твоей книге, из парижских журналов. Статья в Monde nouveau[2] написана молодой фран-

цузской писательницей Christiane Fournier, очень моей хорошей приятельницей. Встретился я с нею первый раз в Америке, где она преподавала французский язык в Университете; после одной из моих лекций она подошла ко мне познакомиться. Впоследствии судьба нас столкнула в Министерстве иностранных дел[3], где она редактировала Бюллетень иностранной прессы. Два года мы с нею не встречались, а потом, тоже совсем случайно, встретились. Впрочем, зачем я все это рассказываю...

Судя по газетам, на всем Кавказе поднято восстание, в сегодняшних газетах это телеграммы о восстаниях на Волге – правда ли все это, я не знаю. Так много всегда документальных историй, что не знаешь, как и судить о том или ином событии.

У меня еще ничего не решилось. Как будто поездка в Америку налаживается, впрочем, ничего еще не известно.

После итальянского неба скучно и грустно под сизым небом Парижа. Здесь совсем (неразб.). Все отсырели, обмокли, всем нудно и скучно. А события (неразб.) кружатся вокруг уставших голов людей.

До свидания, дорогой Алексей, будь здоров и всего тебе хорошего! Целую и обнимаю крепко. Твой Зина.

Кланяйся всем. Макса поцелуй.

P.S. (Неразб.) твою я еще не получил.

Примечания

1. "Последние новости" – самая читаемая и долговечная из эмигрантских газет, издававшаяся в Париже с 1920 по 1940 год. Вначале редактировалась М.Л. Гольдштейном; с 1921 г. ее редакцию возглавлял П.Н.Милюков.

2. "Monde nouveau" – международный еженедельный журнал, издававшийся в Париже. В 1922-23 гг. выходил два раза в месяц.

3. Согласно личному делу З.Пешкова, он служил в МИД Франции с 1926 по 1930 г. До этого его служба в МИД, по-видимому, была негласной.

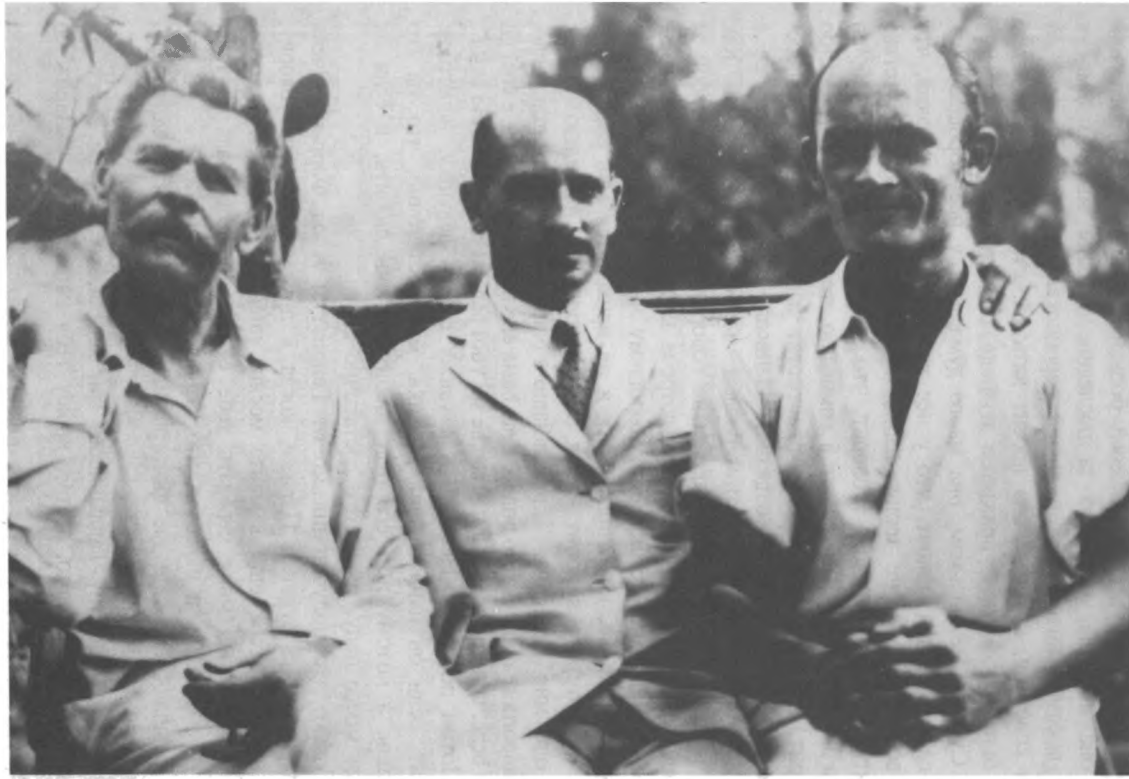
IX

Kasbah–Tadla, le 3 Juin, 1924.

Дорогой мой Алексей,

Получил твое письмо с неделю тому назад; не написал тебе сра-

зу, потому что ожидал получить бумагу об отпуске своем и разрешение – поплыть в Италию. И то и другое я получил вчера вечером. Следовательно, если буду жив и здоров, то выеду из Касабланки в Бордо 25-го июня и буду в Париже 1-го июля. Думаю пробыть в Париже, по всей вероятности, весь июль месяц. Нужно мне будет решить за этот месяц, что делать дальше. Имею отпуск всего на три месяца, и потому, до разъезда из Парижа всех своих друзей, нужно устроить свои дела. Мне трудно до своего приезда во Францию говорить о чем бы то ни было: приеду – увижу. Старая Европа, кажется мне, опасно больна, а что нужно для ее выздоровления – не знаю. Да и вообще не вижу, чтобы в каком бы то ни было уголке мира люди жили прилично. Из того, что слышно из России, по рассказам и чтению газет, даже тех, которые издаются, пишутся и печатаются по приказу и под руководством правящей в России партии коммунистов, жизнь там принижена донельзя, никто ни с кем не считается. Грубость и произвол физический и духовный царствует там, мне кажется, во всем своем уродстве и безобразии. Откуда придет Свет и зажжет Добром и Любовью сердца людей <?>. Всюду ненависть и ненависть, и даже самые лучшие из людей отравлены этим ядом и носят в груди своей злость и недоброжелание один по отношению к другому. Каждый считает себя лучше своего соседа, все уничижают друг друга и этим самым вытравляют остатки хороших чувств в своих сердцах. Многому можно поучиться здесь в Африке у арабов и берберов. Меня поражает и трогает до глубины души то внимание, такое прекрасное человеческое внимание и уважение, которое они оказывают один другому. Их спокойствие и возвышение над мелочами жизни меня восхищают, и их святое понимание и тихое восхищение перед красотою и величием природы всегда трогают меня до слез. Мне не раз приходилось долгими часами сидеть со стариками в их палатках и смотреть на склоняющийся к вечеру день и на заходящее солнце. Они молчаливы и особенно содержательно молчаливы, как все люди, живущие замкнутыми в себе и не отдающие попусту ценные свои переживания... Недавно четыре дня я провел в горах – незабвенные эти для меня дни, полные ласки тишины и счастья. Вся политическая злость и дребедень, соревнование городских людей, партий, революций, истерзанные городской жизнью люди, вся та сутолока, мишура – все это далеко, не нужно... Не знаю, отвык как-то я от людей европейских, и трудно мне будет снова к ним вернуться... Посылаю тебе маленькую фо-



Последняя встреча З.Пешкова с М.Горьким и М.Пешковым. Сорренто, 1929 г.

тографию. Я с другом своим – чудесным и мудрым простотою своею стариком...

Волнует меня встреча с моей большой девочкой. За последний год она выросла, особенно за последние месяцы мы находимся с нею в самой интересной и живой переписке. Стараюсь помочь ей теми советами, которые она просит дать ей, стараюсь в письмах к ней быть как можно правдивее и чище, не знаю, удается ли мне это. Судя по ее письмам, она много думает, и у нее хорошее пылкое сердце. Лидия[1] пишет, что у нее характер слишком резкий, что она вспыльчивая и не терпит лжи. Недостаток ее – это отсутствие памяти, учится она плохо. Говорит, что уроки готовит прилично, но когда на другой день приходит в гимназию, то все забывает. Доктор говорит, что слишком быстро она растет и что организм ее переутомлен. Авось, за лето отдохнет. Написал я ей, что повезу ее в Рим и в Неаполь и что потом поедем мы повидаться с тобой. Как мне ей сказать о тебе? Я никогда не говорил, что у нас с тобой за отношения. Расскажу ей все при встрече как можно проще и правдивее. Написал я, что поедем к хорошему человеку, которого очень уважаю и люблю, и который, хотя и не приходится мне родным отцом, но которого я почитаю как отца и ношу его фамилию. И вот, что она мне написала: "...poi andiamo a Napoli e io vedrò il mio nonno, non importa se non è il vero nonno, a me basta che tu gli voglia bene, e così gli vono bene, tanto bene anch'io, – perchè lui vuol bene al mio papa e ciò basta". (..."Потом поедем в Неаполь и я увижу своего дедушку, ничего не значит, если он ненастоящий дедушка, мне достаточно, что ты его любишь, а потому и я его буду любить, очень любить, и если он любит моего папу, мне этого достаточно"...).

Только что получил письмо от Генриэтты Клод Фаррер[2]. Очень я рад, что она будет в Париже, когда я приеду. Она мне говорит, что написала тебе еще в марте месяце письмо, но ты ей не ответил. Просит она меня передать тебе ее привет. Она рада за тебя, что ты в Италии, и надеется, что Сорренто тебе нравится.

Посылаю тебе еще две фотографии Тадлы. Сержант действительно хорошо снимает.

Так как я покину Тадлы через три недели, то вряд ли смогу получить от тебя письмо, потому прошу тебя напиши мне в Париж по следующему адресу:

Monsieur le Prince Jacques de Broglie[3]

pour Monsieur Pechkoff

35, avenue du Bois de Boulogne
Paris, France

Это мои хорошие и добрые друзья, у которых я проведу июль месяц.

До свидания, дорогой Алексей, напишу тебе, как только приеду в Париж.

Крепко обнимаю тебя. Твой Зина. Привет сердечный всем.

Примечания

1. Мать Лизы, первая жена З.Пешкова.
2. Генриетта Клод Фаррер – см. прим. №3 к письму III.
3. Бройль (Брольи), Жак де, князь (Broglie, Jacques de 1878– после 1965 г.), артиллерийский офицер, писатель, кавалер ордена Почетного легиона. О дружеских связях З.Пешкова с семьей князя Жака де Бройль можно судить по посвящению Пешковым книги об Иностранном легионе княгине Жак де Бройль.

X

25.II.1928

<Три почтовые открытки с видами Америки. Текст с продолжением, открытки были посланы в одном конверте.>

Дорогой мой Алексей – кончаю свое путешествие по Америке[1]. Зима была трудная, утомительная. Был в 43 городах. Видел очень много интересного. Был два раза у берегов Великого океана, в Калифорнии. Через неделю еду обратно на Восток к Нью-Йорку. Будут делать кинематографическую картину с моей книги[2], снимать виды в Алжире и Марокко. С этой целью я еду 17-го марта в Европу, проведу в Париже дней шесть и – прямо в Африку на 2 или на три месяца. Написал условие, бумагу, что приеду обратно помогать в постановке моей картины... Дал бы Господь здоровья!

Так я устал, что надо отдохнуть. Но, как всегда, стараюсь брать пример с тебя. Ты всю жизнь свою работаешь без устали. А, кроме того, нет другой радости в жизни, как забвение в труде. Часто, всегда вспоминаю тебя и думаю о тебе. Послал тебе сегодня утром фотографию дерева <Т>окка, – видел это дерево прошлое воскресенье. Будь здоров, дорогой Алексей. Любящий тебя Зина.

Примечания

1. В конце 20-х годов Пешков часто приезжает в США. В эти годы он служил в МИД Франции, и есть основания предполагать, что его миссии туда носили тайный – разведывательный и дипломатический – характер. По мнению А.Н.Рубакина, Пешков был французским Лоуренсом.

2. Речь идет о книге Пешкова "Иностранный легион в Марокко".

XI

Haut-Comissariat
de la
Rèpublique Française
en Syrie et au Liban

Le Conseiller administratif
du Liban Sud

Сидон, Ливан. 29.V.1934.

Дорогой мой и милый Алексей,

Вера Федоровна Шухаева[1] передаст тебе это письмо. Она мне переслала газетную вырезку о смерти Максима. Не хотел верить этому, так это ужасно и тяжело. Максим, милый Максик, – он остался для меня все тем же маленьким Максиком на Мартыновской улице в Нижнем Новгороде... Прошу тебя, Алексей, принять мои чувства самой глубокой симпатии и горя. У меня на душе такая безысходная тоска и печаль, что трудно тебе сказать. Я тоже только что потерял сына, рожденного 5 апреля и умершего 14 апреля... Я написал тебе о моей женитьбе много месяцев тому назад, но никогда не получил ответа, может быть, мое письмо не дошло до тебя.

Милый, милый мой Алексей, как мне хотелось бы быть возле тебя и сказать тебе все, что я чувствую, сказать тебе, как я люблю тебя и как ты мне близок, сказать также, что ты был и остался для меня самым близким, самым родным, самым милым человеком. Кроме тебя у меня никого нет на свете. Я часто говорю о тебе со своей женой, и она тоже тебя любит. Она знает тебя по твоим книгам. Мне так хотелось бы повидаться с тобою, ужасно, нестерпимо



Елизавета Зиновьевна Пешкова-Маркова. Рим, 1937 г.

хочется тебя видеть. Часто вижу твои фотографии в журналах, но тебя, твою близость мне хочется. Часто плачу от тоски по тебе и вспоминаю мою юность, годы, проведенные вместе. Верь мне, Алеша, что я остался таким же, каким ты меня всегда знал.

Еще хочу тебе сказать, что я так рад, что отношения между Россией и Францией улучшились. Я всегда верил, что этот момент настанет и что эти две страны будут дружественно работать для общего блага. Помни, Алексей, что я очень хочу тебя видеть, и если можно будет, в будущем году в апреле месяце я приеду в Европу и сделаю все возможное, чтобы увидеться[2].

Напиши мне, прошу тебя.

Любящий тебя бесконечно и глубоко. И как ты мне написал в книге в последний раз, когда я был у тебя в Sorrento, "с непоколебимым чувством близости".

Твой Зина.

Адрес мой: Commandant Pechkoff
Haut-Commissariat
Beyruth, Liban.

Примечания

1. Шухаева Вера Федоровна, жена художника-портретиста Василия Ивановича Шухаева (1887-1973), профессора петербургской Академии художеств, который с начала 20-х годов жил во Франции. Он был другом З.Пешкова, писал его портрет. В 1935 г. Шухаевы вернулись в Советский Союз, в 1937-47 гг. были в ссылке в Магадане. Последние годы прожили в Москве и Тбилиси, где Василий Иванович преподавал в Академии художеств Грузинской ССР.

2. По всей вероятности, Пешкову не удалось встретиться с Горьким. От покойной дочери Зиновия Алексеевича мне известно, что Пешков приезжал в Россию инкогнито уже после смерти Алексея Максимовича. Он встречался с Екатериной Павловной Пешковой, прилагавшей все усилия для помощи советским политзаключенным. Пешков просил помочь дочери: с весны 1938 года Елизавета Зиновьевна вместе со своим двухмесячным младшим сыном находилась в Бутырской тюрьме.

Русские евреи в Палестине

Редактор Виктор Радуцкий

Опаленные Россией,
или
Русские корни израильской культуры
Амос Оз (Израиль)

"Говорят, есть такая страна..." (Йоэль Энгель)
Яаков Сорокер (Израиль)

Пионеры Израильского кино
Яаков Гросс (Израиль)

Зеев Жаботинский-юрист
Яков Айзенштат (Израиль)



Лев Николаевич Толстой

Опаленные Россией или Русские корни израильской культуры

Амос Оз
(Арад, Израиль)
Перевод с иврита
Виктора Радуцкого

О моих отношениях с Россией – а они, я полагаю, характерны для большинства людей моего поколения и, пожалуй, для всей нашей культуры – об этих отношениях можно сказать так: "Мы обожжены!" И невозможно стереть признаки, стереть следы этой "обожженности", связанные со становлением и переживанием нашего несчастного, нашего трагического "русского романа", – мы им мечены, клеймлены, опалены.

И здесь я говорю не только о вещах очевидных, лежащих на поверхности, как, скажем, русские песни, иногда звучащие по-русски, а иногда – в их ивритском "одеянии". Я не буду останавливаться здесь на таких явлениях нашей культуры, как, например, поэты Авраам Шленский и Лея Гольдберг, издавшие в 1942 году на иврите "Антологию русской поэзии". Не буду касаться и великолепных переводов русской классики. Я хочу остановиться на некоторых аспектах того феномена, который я назвал выше нашим "русским романом".

Он, и в самом деле, "несчастный роман" – в аспекте политическом и идеологическом. Свидетельство этому – последние сто лет взаимоотношений евреев с Россией. Но в плане культуры его никак нельзя назвать несчастным: напротив, это роман, нас оплодотворивший. И не будь его – не стали бы мы теми, какие мы есть.

"Несчастный роман" не прошел бесследно, он тоже часть культурного оплодотворения, ибо даже безответная любовь формирует, закаляет человека, способствует кристаллизации его личности, а чувства, пусть и отвергнутые, – суть слагающие духовного мира. В конце концов в мире есть больше песен о несчастной любви, чем о любви счастливой...

Связь наша с Россией – фундаментальная, глубокая, духовная, культурно-литературная, обусловленная, среди прочего, и сходством темпераментов, – связь нашего общества и нашей культуры не вписывается в простую формулу: "они дали, а мы взяли". Наши отношения с Россией не похожи на взаимные связи между другими европейскими народами, к примеру, между Россией и Францией – хотя и русско-французские связи не столь уж просты и однозначны. Однако, при всей их амбивалентности, можно говорить, что это отношения равного с равным. Россия немало почерпнула у Франции, но, в свою очередь, Франция тоже получила от России нечто существенное. Франция пролила немало русской крови, но и русские в долгу не остались. Случалось и так, что обе эти страны были союзниками.

Наши же отношения с Россией не вписываются в подобную схему. Все намного сложнее. Мы – я имею в виду еврейский народ, а не евреев Эрец-Исраэль – всегда были для России "проклятым братом", тем братом, которого держат на задворках.

Еврейский народ немало дал России. И не только революцию, которую – правомерно это или нет – некоторые называют "детищем евреев". Мы вправе говорить о еврейском влиянии в самых разных аспектах – начиная от Библии и кончая повседневной жизнью. Ведь и о России можно сказать, что многое из того, что было достигнуто ею, – достигнуто не без участия живших в этой стране евреев. Но при этом они всегда были "братом", который оставался в тени, которому предназначалась не столбовая дорога, а убогий проселок.

И потому многие из них в разное время поднялись и оставили Россию. Они селились на этой земле, где не было тогда ничего, кроме песка, они осушали болота, они сгорали в знойных ветрах пустыни, они, словно ворочая многотонные глыбы, овладевали ивритом, они носили военную форму цвета хаки, они строили Тель-Авив, первый еврейский город в обновленной Эрец-Исраэль... Но куда бы они ни пришли – везде была с ними Россия, которую они привезли с собой...

Я бы хотел вернуться мысленно на сто с лишним лет назад – в восьмидесятые годы прошлого века. Для евреев России это было время великих надежд и великих разочарований. Надежды возлагались на реформы Александра II. Казалось, что дух Парижа – нетленного символа европейской культуры – вот-вот воцарится в Рос-

сии и на Украине, евреи получат гражданские права и русское общество примет их. В те годы еврейская интеллигенция лелеяла мечту о всеобъемлющем альянсе с интеллигенцией русской, я бы сказал, о неком мистическом браке. Нет, нет не ассимиляция, а тесное сближение: чтобы и мы влияли на общественные процессы, и чтобы в нашей среде испытывалось русское влияние. А главное – чтобы нас полюбили.

Потрясение, пережитое евреями России в связи с провалом реформ Александра II, убитого народовольцами в 1881 году, вызвало к жизни первые ПРАКТИЧЕСКИЕ мысли, обращенные к Иерусалиму, идеи, которые можно было бы назвать предтечами сионизма. Писатели, поэты и мыслители – Л. Пинскер, М. Лилиенблюм, П. Смоленскин, Л. Леванда и другие, не отвергавшие ассимиляцию в принципе и отстаивавшие идею культурной автономии в диаспоре, решительно пересмотрели свои взгляды, став убежденными сторонниками национального возрождения еврейского народа на его исторической родине – в Эрец-Исраэль. Правда, в гуще еврейских масс идея возвращения в Иерусалим никогда не умирала, другие возможности и не обсуждались: следует лишь набраться терпения и дождаться благоприятного стечения обстоятельств.

В 1881-82 годах разразились небывалые погромы, впервые в истории России носившие МАССОВЫЙ характер и охватившие значительные территории на юге и юго-востоке Украины. Евреи, опасаясь полиции и цензуры, даже придумали для этих погромов кодовое название – "Ураганы в Негеве". Напомню моим русскоязычным читателям, что пустыня Негев – южная часть Эрец-Исраэль.

Между погромами "Ураганы в Негеве" и погромами начала века – Кишиневским (6-7 апреля 1903 года), а также теми, что сопутствовали первой русской революции (1905-1907), – еврейская интеллигенция пережила долгий период весьма напряженных отношений с русской культурой, период "любви-ненависти". В своем обращении к украинским читателям, предваряющем публикацию моего романа "До самой смерти" в Киеве (1991 год), я назвал эти отношения "безответной любовью", или, если хотите, "разочарованием в любви". В еврейской интеллигенции долго не угасала какая-то надежда, обращенная не к власти предержащей – та поощряла погромы, поддерживала их и разжигала, – но была великая надежда, что те русские, в которых не умерла совесть, поднимут голос протеста, а к ним присоединится ВСЯ русская интеллигенция. И когда этого не про-

изошло, последовало глубокое разочарование и потрясение. Рухнули определенные пласты в сознании еврейской интеллигенции, обнажив сокрытые дотоле материки и континенты, – и взгляды ее устремились к Сиону, к Эрец-Исраэль.

Отдельные голоса протеста все же прозвучали. Были среди представителей мыслящей России те, кто сказал свое слово в защиту евреев. Но можно понять разочарование евреев, если вспомнить, что из литераторов и мыслителей ПЕРВОЙ шеренги, пожалуй, лишь М. Е. Салтыков-Щедрин и В. С. Соловьев высказались по горячим следам событий 1881-82 годов. Статья Щедрина "Июльские веяния" была написана в 1883 году: "...Мы, образованные христиане, – говорил великий русский сатирик, – вечно пишущие, толкующие и рассуждающие о еврейском вопросе, о еврействе и о еврейском народе, ровно ничего не знаем ни о первом, ни о втором, ни о третьем... Мы нравственно обязаны ближе и беспристрастно ознакомиться с условиями жизни, среди которых вращается еврейский народ... Тогда только мы будем вправе писать и рассуждать о еврейском народе, а не рубить о нем с плеч..." А вот отрывок из письма Соловьева к Ф. Гецу, еврейскому публицисту, под руководством которого замечательный русский философ изучал в свое время Талмуд: "Очень огорчило меня известие о новых погромах... Что же нам делать с этой бедой?" С этой бедой Соловьев пытался бороться во многих своих статьях, но его голос, так же, как и голос Щедрина, оказался гласом вопиющего в пустыне. Промолчали многие из великих мира сего, к словам которых прислушивалась вся Россия. Зато популярный публицист А. С. Суворин, редактор и издатель газеты "Новое время", напечатал статью, в которой задавался поистине гамлетовский вопрос: "бить или не бить?" Поддерживал погромы и выдающийся русский писатель С. Т. Аксаков...

Со временем выступления в защиту евреев значительно активизировались, но это произошло позднее, а не в те страшные погромные годы. Так, В. Г. Короленко, на протяжении всей своей жизни рыцарски защищавший евреев, считавший преследования их "позором для СВОЕГО отечества", в это время находился в ссылке. И высказывания Максима Горького, который не раз гневно осуждал антисемитизм, считая его наследственным грехом русского народа, порождением его рабской истории, – эти высказывания также прозвучат много позже.

Тем временем в народных массах нашелся свой ответ на погро-

мы – огромное число евреев покидало Россию. Их уже не интересовала ни позиция русской интеллигенции, ни грядущая революция, сулившая всеобщее избавление, ни реформы. Для многих выбор был однозначным – Америка. В среде интеллигентов "американский вариант" не был столь популярным. Актуальными стали поиски путей к национальному пробуждению, обсуждались все возможности – от Бунда до сионизма, вернее, тех идей, которые позднее вылились в сионизм.

Как известно, после погромов, весной 1882 года, были обнародованы "Временные правила", и положение евреев в России еще ухудшилось: существенно сократилась "черта оседлости", пред евреями практически наглухо закрылись двери высших учебных заведений.

Возникло и такое понятие, как "бескровный погром". На страницах столичных и провинциальных газет стали появляться статьи, разъяснявшие, что евреи САМИ накликали на себя беду, что погромы – это расплата за их образ жизни, за тот способ, которым они добывают себе пропитание, за их замкнутость, отчужденность, за то, что они – "не такие, как все".

Здесь мне хотелось бы сделать небольшое отступление. Антисемитизм – явление весьма сложное и неоднозначное. Спустя примерно полвека после "Ураганов в Негеве" был всплеск антисемитизма в Польше, который объясняли почти теми же причинами: евреи, мол, "не такие, как все", – они на нас не похожи, говорят не на польском, а на чужом языке, одеваются по-иному, едят по-иному, ведут себя по-иному... В то же самое время в соседней Германии, где антисемитизм также набирал силу, доводы антисемитов были прямо противоположными: евреи так похожи на нас, что уже трудно отличить их от немцев – они и одеваются, как мы, и выглядят, как мы, их поведение и манеры подобны нашим, они усвоили наш язык, да так, что присвоили его себе...

И в Центральной Европе отношение интеллигенции к евреям было амбивалентным. С одной стороны, евреи должны покончить со своей обособленностью, замкнутостью, стать такими, как и мы, – и тогда мы примем их. Но... если евреи "такие, как все", если они подобны нам, то как тогда отличить – кто же еврей! А если евреи не отличимы от нас – это конец: они все заполонят, все присвоят, все захватят...

Подобное отношение существовало и в России.

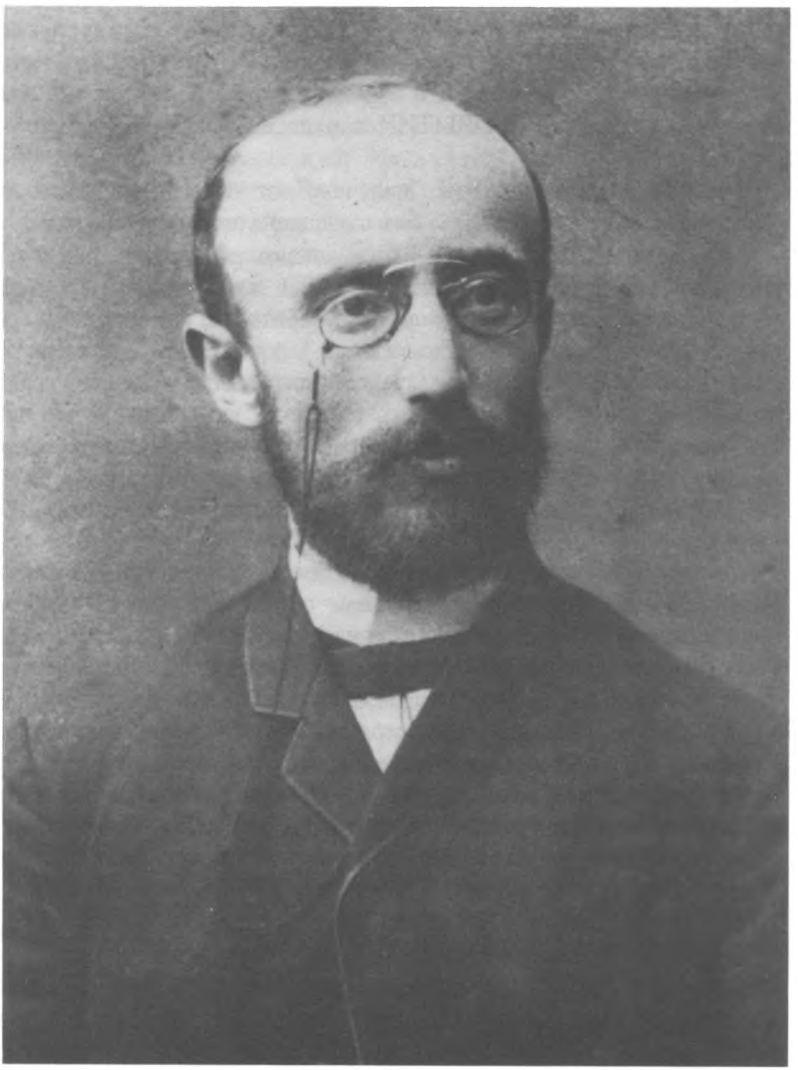
Стоит, наверно, вспомнить и о некоторых высказываниях русских революционеров конца девятнадцатого века, утверждавших, что погромы могут ускорить приход революции, послужить катализатором. В самом крайнем своем выражении это формулировалось так: погром – народное восстание, поднявшееся сначала против евреев, а затем – против царя. Народ взялся за топоры? Отлично! Наконец-то осуществился призыв: "К топору зовите Русь!" Может, и жаль, что громят евреев, но топор в руках народа – это явление положительное, это раздувает огонь революции, это – во имя общего справедливого дела.

И еще одно характерное явление заслуживает внимания. Личный опыт, приобретенный российским образованным евреем, даже тем, кто искренне намеревался ассимилироваться, свидетельствовал о том, что я бы назвал – нет, не антисемитизмом,- а отчуждением, неприятием со стороны русской интеллигенции. Впрочем, об этом писал в свое время В. Е. Жаботинский, определив это явление как "асемитизм": "Это не борьба, не травля, не атака: это безукоризненно корректное по форме желание обходиться в своем кругу без нелюбимого элемента".

И в самом деле, нельзя же назвать антисемитом образованного русского человека, который не любит приглашать к себе в дом евреев. Даже убежденные филосемиты как бы окружены невидимой непроницаемой стеной, и, горячо выражая свою приязнь евреям, они, тем не менее, не открывают им свои объятья.

Следует заметить, что подобный "синдром непроницаемости" был характерен не только для России. В той или иной форме схожие явления наблюдались и в Германии, и во Франции, практически во всех цивилизованных странах, за исключением разве что Соединенных Штатов Америки.

И это не могло не быть прочувствовано и осмыслено той частью еврейской интеллигенции, которая в силу своей интеллектуальной честности была обязана дать себе отчет в происходящем. Мне представляется, что сионизм провозвестника Еврейского государства Теодора Герцля, так же, как и других лидеров этого движения, в конечном счете, основывался на "чуждости" евреев тем странам, в которых они жили в диаспоре, а отсюда – и единственное решение – Исход. По-моему, именно так шло становление будущего сионистского лидера Владимира Жаботинского. Кто знает, как бы сложилась его судьба, если бы Россия открыла ВСЕ двери перед этим не-



Ахад-ха-Ам

обычайно талантливым человеком. Несомненно, он мог бы стать одной из самых ярких звезд на ее небосклоне. Но в 1903 году – год Кишиневского погрома – Жаботинский, уже познавший литературный успех, прерывает свои занятия словесностью и уходит в сионизм. В своей автобиографической книге "Повесть моих дней" он так определяет этапы своего духовного развития: "Сионистом я стал еще до того (то есть до Кишиневского погрома.- *Прим. пер.*), до того я уже думал об обороне, как и о еврейской трусости, которая проявилась в Кишиневе... Из СОБЫТИЙ нам нечему учиться..."

Еврейская интеллигенция "получила" от интеллигенции русской необычайный конгломерат – смесь национализма с либерализмом, народничеством, толстовством, коммунизмом. И даже – чуть-чуть анархизма, приправленного нигилизмом. И хотя еврейская интеллигенция сумела каким-то образом "переварить" и усвоить эту нелегкую духовную пищу, это не помогло ей открыть запертые двери. Ни один из "ключей", которым пытались воспользоваться, не подходил ни к одной двери! Так и осталась еврейская интеллигенция со связкой ключей в руках, а "русская дверь" – по-прежнему была заперта на семь замков. И тогда евреи приняли решение: "Мы создадим дверь, которая откроется НАШИМИ ключами. Мы построим СВОЮ дверь!"

С этого, по сути, начинается истинно сионистское мышление. Поначалу речь шла лишь о духовном обновлении – об обновлении политическом еще не думали. Созидание НАРОДА. Сначала – в России, а затем, быть может, во всей Восточной Европе, а там – и во всем мире!

В те времена еще не было столь острой дифференциации между Бундом и сионизмом. Один остроумный человек так определил их разногласия: "Кто такие бундовцы? – говорят сионисты. – Это те, кто боится морской болезни". А бундовцы отвечают: "Сионист – это еврей, делающий то же самое, что и мы, но утверждающий, что необходимо идти в Палестину. Он-то сам НЕ идет: он говорит, что НЕОБХОДИМО идти в Палестину".

В работах основателя "духовного сионизма" Ахад-ха-Ама (Ашера Гинцберга, 1863-1927) доминантной стала идея о "жажде национального существования", которой обуян народ, – в силу всеобщего инстинкта, присущего равно и отдельной личности, и целому народу.

Нетрудно уловить здесь нечто общее с идеями славянофильства

или даже пан-славизма: есть некая СУЩНОСТЬ, которая определяется не государственной принадлежностью – она превалирует над государственными институтами, не зависит от паспорта, сущность эта – нечто мистическое.

Схожие идеи появились и в еврейской среде: иудаизм – это не только религия, но еще и СУЩНОСТЬ. Такой подход явился, пожалуй, первым зерном, из которого проклюнулись ростки сионизма. И если зарождение сионистской мысли в России было "облучено" идеями, возросшими на явно славянской почве, то, скажем, еврейство Германии испытало влияние идей "фолькизма" (от немецкого folk – народ). Кстати, эта мистическая связь между религией и народом, воспетая славянофилами и воспринятая российским еврейством, была неприемлема ни для Герцля, ни для Жаботинского. Но сионистские лидеры, уроженцы России, внедрили аналогичные воззрения в духовную жизнь нашего общества: утверждения, что религия и народ – понятия неразделимые, звучат в нем и сегодня.

И еще об одной парадоксальной связи. Это кажется совершенно невероятным, но многие из деятелей культуры, начиная с писателей периода Еврейского просвещения ("Хаскала"), – во имя высших целей обновления народа – готовы были принять некоторые из расхожих антисемитских стереотипов. Вот что писал, например, Яков Гордин (1853-1909): "Верно, наше существование ненормально, мы добываем средства к существованию путем ненормальным, достоинство наше попрано, бесчестье – вот наш удел, мы – больные люди. Даже физически мы – раса, над которой нависла явная угроза дегенерации. Мы ОБЯЗАНЫ обновиться!" Когда в качестве рычага, с помощью которого пытаются перевернуть еврейский мир – пусть даже во имя самых благородных целей, – используются доводы антисемитов, это наносит народу непоправимый урон. Ведь если человеку постоянно твердят, что с ним что-то неладно (а антисемиты повторяют это нашему народу в течение тысячелетий), если всякий раз, когда он появляется на людях, взгляды всех устремлены на него, – в его голову закрадывается вполне естественная мысль: не может быть, чтобы я один был прав, а все остальные ошибались. Видимо, у меня и в самом деле не все "как у людей".

Еще одна идея, дошедшая до евреев разными путями и усвоенная ими с "русского голоса", – связь между коллективным здоровьем, самочувствием индивидуума и "простой жизнью". Всякий, кто оторван от земли, нравственно не здоров. Эта идея была весьма попу-

лярна в России в XIX веке. Жизнь в деревне идеализировалась русской интеллигенцией и противопоставлялась городской: по воззрениям славянофилов, город – это разложение; он загажен "немецкой грязью", испорчен "влиянием Запада". Подлинное, истинное, исконное – это деревня. Корни народа – в почве. У евреев такой "почвы" не было. Отсюда в сионизме – особенно русском – так силен мотив "возвращения на землю" в самом прямом смысле слова. Кстати, сионисты Запада об этом возвращении почти не говорили. Для сионизма же российского – вернее, протосионизма – все другие варианты были неприемлемы: все, что не связано с землей – болезнь и загнивание. Еврейскому народу необходимо вернуться на землю, вернуться к земле. А такое возвращение возможно лишь на СВОЕЙ земле – в Эрец-Исраэль.

Очевидно, что многие основополагающие воззрения российских идеологов сионизма формировались под влиянием русской литературы, русской идеологии предреволюционной эпохи, и потому романтика революции вовсе не чужда им. Не избежали они – вслед за определенными кругами ителлигенции русской – и идеализации образа "мужика": "Мы, евреи, вернемся на землю, и тогда весь мир узнает, чего мы стоим!"

Идея "возвращения на землю" породила еще одну мечту, которой были очарованы и Теодор Герцль, и Владимир Жаботинский, и Макс Нордау, философ, публицист, ближайший сподвижник Герцля, – мечту о "мускулистом еврействе". Речь шла о воспитании нового поколения, которое должно было уметь "пахать, стрелять и знать иврит". Еврейской интеллектуальности предлагалось потесниться, сузиться, сократиться – сильные мышцы должны были стать достоянием нового молодого еврейства. Нет, интеллектуальность не отвергалась вовсе, но физическому здоровью, возвращению к природе отводилось важнейшее место.

Трудно здесь не заметить влияния взглядов Льва Толстого. Как поступает интеллектуал, обуреваемый гамлетовскими терзаниями? Например, Левин из романа "Анна Каренина"? Он спасает себя тем, что поселяется в деревне, отринув трагизм, абсурд, неврозы жизни городской.

В июне 1882 года четырнадцать молодых евреев из России во главе с Исраэлем Белкиндом высадились в порту Яффо и вскоре стали работать в сельскохозяйственной школе Микве Исраэль. Эти

молодые люди, принадлежавшие к организации БИЛУ (ее название составлено из первых букв библейского стиха: *"Бейт Яаков лху венелха"* – "Дом Яакова! Вставайте и пойдем!" Исход, 2:5), своим переселением в Эрец-Исраэль не только выразили решительное неприятие той ситуации, которая сопутствовала погромам 1881 года. Они привезли с собой и тот комплекс идей, о котором я говорил выше, те веяния, что во многом определили духовную жизнь русского еврейства перед первой волной массовой репатриации – так называемой Первой алией (1882-1903). Именно тогда – во времена билуйцев – появились в еврейской среде споры и разногласия, которые длились не одно десятилетие, а быть может, продолжаются и по сей день.



Миха Иосеф Бердичевский (Бин-Горион)

Я утверждаю, что в основе этих разногласий лежат идеи, почерпнутые из русских источников. Для краткости и выразительности обозначу это явление так – спор Ахад-ха-Ама и Бердичевского. Хотя спор этот начался задолго до вступления в него выдающегося еврейского писателя и философа Ахад-ха-Ама и продолжается после его смерти. Равно как и имя Михи Иосефа Бердичевского (1865-1921), одного из основоположников новой ивритской литературы, в этом контексте – всего лишь метафора: взгляды, выразителем которых он в данном случае выступает, сложились задолго до того, как их сформулировал сам Бердичевский, а полемика с ними не завершена и поныне.

Ахад-ха-Ам утверждал: мы должны быть народом избранным – духовным, высокоморальным – в этом наше отличие от других народов.

Бердичевский заявлял: "Нормализация!" Все, что хорошо для дру-

гих народов, хорошо и для нашего.

Ахад-ха-Ам полагал, что вернуться нам надо к тем временам, когда расцветало великое духовное творчество нашего народа, когда создавались Мишна и Талмуд.

Бердичевский считал необходимым "возвращение к легендарным Маккавеям, к Иисусу Навину, к утраченным десяти коленам, возвращение к царству Израиля".

Ахад-ха-Ам говорил о НОВОЙ мутации СТАРОЙ культуры.

Бердичевский – о революции. Но и у революции, по Бердичевскому, – очень древние корни, уходящие глубоко в народную почву, в эпоху, предшествующую появлению Талмуда.

Стоит привести слова одного из сторонников школы Бердичевского – замечательного поэта, переведшего на иврит "Одиссею" и "Иллиаду", Шауля Черниховского (1875-1943), который призывал возродить сильное, здоровое еврейство: "Боже всемогущий! Покорители Ханаана, бурей пронесшиеся по земле, – опутаны ремешками филактерий!?" Кто же виноват в том, что мы опутаны по рукам и по ногам? По мнению Черниховского, – диаспора, изгнание, галут.

Ахад-ха-Ам говорил о ДУХЕ. Все, что было связано с силой, вызывало в нем отвращение и неприятие: "Это – удел других народов, а мы не такие".

Бердичевский, его сторонники и приверженцы большую роль отводили СИЛЕ. Они, пожалуй, первые в еврейской среде, кто заговорил о силе: нет и не может быть НОРМАЛЬНОГО народа, не обладающего СИЛОЙ. Сила вызывала у них восхищение. В этом восхищении – немало и от Ф. Ницше, и от русской витальности. О, эта русская укорененность, почвенничество, игра жизненных соков!

Ахад-ха-Ам и его последователи звались "стариками".

Бердичевский и его товарищи называли себя – "молодые".

Ахад-ха-Ам надеялся, что возродятся на земле Израиля великие Пророки. Не о государстве мечтал он! Вернуться в Эрец-Исраэль, чтобы возродить не государство, а тот еврейский мир, что существовал во времена Пророков.

Бердичевский призывал: "Мы освободим наши инстинкты". Евреи подавляли свои инстинкты свыше всякой меры, но возродятся славные Маккавеи, вновь возродятся и зелоты-ревнители, и землепашцы-хлеборобы.

Ахад-ха-Ам и Бердичевский сошлись в одном: оба стремились к тому, чтобы еврейство включилось в культурную орбиту Европы.

Оба они в один голос заявляли: "Мы – европейцы!" Но принадлежность к Европе каждый из них понимал по-своему.

Для Ахад-ха-Ама европейский дух – это гуманность, пацифизм, либерализм.

Для Бердичевского – это ницшеанство, витальность, инстинктивность, а если надо – то и ружье с револьвером.

Каждый из них – не признаваясь в этом – стремился стать тем духовным средоточием, которое окажет влияние на современную им еврейскую культуру. И у каждого были свои великие сторонники. Поэт Хаим Нахман Бялик (1873-1934), классик ивритской новой литературы, разделял взгляды Ахад-ха-Ама. Шаул Черниховский, которого я упоминал выше, и другой замечательный поэт и прозаик Залман Шнеур (1886-1959) поддерживали Бердичевского.

Ахад-ха-Ам надеялся, что обновление и возрождение сделают еврейство "светочем для всех народов".

Бердичевский утверждал, что нет никаких оснований называть себя иудеями: мы – евреи, еврейский народ, такой же, как все другие народы мира.

И вот уже на протяжении столетия – если мы сталкиваемся с теми, кто ставит ударение на слове ИУДЕЙ, можно не сомневаться, что перед нами приверженцы Ахад-ха-Ама.

Если же, говоря о нашем народе, употребляют слово ЕВРЕИ, или, как это принято в иврите – ИВРИМ, то, очевидно, перед нами сторонники Бердичевского – даже и тогда, когда они об этом не подозревают.

Возьмем, к примеру, "ханаанцев" (на иврите – кнааним. – *Прим. пер.*). Это имя получила группа молодых еврейских интеллектуалов в Эрец-Исраэль, называвших себя "Ха-иврим ха-цеирим" ("младоевреи"). Нетрудно проследить их идейные истоки: отталкивание от еврейской религиозной традиции, тождественной в их глазах психологии изгнания, рассеяния, галута. Это как раз тот взгляд, который так ярко выражен в произведениях Бердичевского и других писателей его направления. "Ханаанцы" выработали и свою культурно-политическую идеологию, главным положением которой было противопоставление формирующейся, по их мнению, в Эрец-Исраэль новой нации – ИВРИМ евреям галута – ИЕГУДИМ. Отметим, что активная деятельность этой группы, начавшаяся в начале 40-х годов нашего века, во многом опиралась также и на идеи А. Г. Хорона (Гуревича), уроженца России, который в конце 30-х годов изложил их

в серии статей.

Из всего сказанного выше, видно, что в противостоянии "Ахад-ха-Ам – Бердичевский" обе стороны прибегали к аргументам, которые основывались на истории и традициях нашего народа, и обе стороны гордились своей историей и своими традициями. Но и у тех и у других – быть может, в латентной форме – существовала связь с Россией, ее культурой, ее идеологическими схватками.

Ведь и в России было движение, стремившееся к духовности, проповедовавшее ненасильственные методы, пацифизм, открытость Западу, либерализм, толерантность, демократию. Было и другое течение – романтическое, устремленное к истокам, к корням, к СКИФАМ. Я не берусь с достаточной точностью обозначать на "духовной карте" России границы ее противоборствующих идей – для этого я недостаточно подготовлен. Но скажу так: если бы "Скифов" Александра Блока прочитал Бердичевский, то, несомненно, признал бы это стихотворение "своим". Ахад-ха-Ам бы его, разумеется, начисто отверг. Или, к примеру, И. С. Тургенев. Ахад-ха-Ам сказал бы: "Мне это нравится", а Бердичевский: "Не для нас".

Противостояние "Ахад-ха-ам – Бердичевский" было и остается не единственным в еврейской духовной жизни. Потрясение, вызванное погромами конца прошлого и начала нынешнего века, а также гражданской войной в послереволюционной России, – все это привело к обострению позиций и в еврейской среде, к решительному размежеванию между Бундом, призывавшим еврейские массы к политической борьбе в России, и сионизмом.

Шимон Дубнов (1860-1941), выдающийся еврейский историк, публицист, общественный деятель, писал о том, что стыдно, позорно пятимиллионному еврейству России просить о снисхождении: надо браться за оружие, создавать подполье, сражаться! Довольно выпрашивать милостыню, пресмыкаться и унижаться: САМООБОРОНА! А после Кишиневского погрома произошло нечто поразительное – даже Ахад-ха-Ам сказал: САМООБОРОНА! Евреи должны браться за оружие!

В 1903 году Одесский общественный комитет, возглавляемый Дубновым, посылает Хаима Нахмана Бялика в Кишинев для сбора документального материала в связи с погромом, всколыхнувшим весь мир своими зверствами. Поэт привез оттуда документ сокрушительной силы – поэму "Сказание о погроме". По цензурным соображе-

ниям это произведение было опубликовано под названием "Сказание о Немирове" – в память о жестокой резне, учиненной в этом городке казаками Богдана Хмельницкого в 1648 году. День Немировской резни – 20 сивана по еврейскому календарю – был объявлен днем траура и поста.

Приведу отрывок из поэмы Хаима Бялика в переводе Владимира Жаботинского:

Введу тебя в жилье свиней и псов:
Там прятались сыны твоих отцов,
Потомки тех, чей прадед был Иегуда,
Лев Маккавей, – средь мерзости свиной,
В грязи клоак с отбросами сидели,
Гнездились в каждой яме, в каждой щели –
По семеро, по семеро в одной...
Так честь Мою прославили превыше
Святых Небес народам и толпам:
Рассыпались, бежали, словно мыши.
Попрятались, подобные клопам.
И околели псами...

Это гневное презрение к покорной беззащитности вызвало необычайно острую реакцию среди еврейских читателей, особенно – молодежи. Возникла еврейская самооборона, из которой в Эрец-Исраэль выросли подпольные боевые организации: "Бар-Гиора", "Хашомер", "Хагана", ПАЛМАХ, ЛЕХИ, ЭЦЕЛ – вплоть до создания Армии Обороны Израиля. И поэма Бялика, быть может, сыграла здесь – в твердом решении евреев защищаться – роль важнейшего стимулятора.

Но... Сам поэт подразумевал нечто совсем иное! Главный аспект "Сказания о погроме" – метафизический: "Где же Бог!? Он нас оставил":

Цветут акации и льют свой аромат,
И цвет их – словно пух, и пахнут – словно кровью;
И назло в грудь твою войдет их сладкий чад,
Маня тебя к весне, и жизни, и здоровью;
И греет солнышко, и, скорбь твою дразня,
Осколки битого стекла горят алмазом –
Все сразу Бог послал, все пировали разом:
И солнце, и весна, и красная резня.

Бялик не верил, что СИЛА спасет нас. И Ахад-ха-Ам, который

говорил после погрома, что надо прибегнуть к СИЛЕ, не верил, что СИЛА – это спасение. Но верил он, что взяться за оружие – дело нашей ЧЕСТИ, даже если придется нам умереть. И если все равно предстоит нам принять смерть, то, по крайней мере, мы умрем достойно.

Приверженцы "школы Бердичевского" верили, что отыщется в мире место – конечно же, не в России, – где наш народ дождется мессианских времен, когда, по словам пророка Исайи, "волк станет жить рядом с агнцем". Только дожидаться этих времен мы будем "волком", а не "агнцем".

И даже известный пессимист, разочарованный скептик Иосеф Хаим Бреннер (1881-1921), один из основоположников ивритской литературы, даже он сказал после погромов: "Мы погибнем, но не "око за око" – а "очи за око". Мы погибнем, ибо нас мало, но погибнем в бою".

Повторю еще раз: оба описанные мною течения в духовной еврейской жизни вдохновлены были русскими источниками, и хотя различия между ними весьма существенны, не раз их позиции сближались.

Вот еще один пример такого сближения: подавляющее большинство еврейской интеллигенции утратило все иллюзии по поводу "простого русского человека". Сами эти иллюзии возникли под явным влиянием взглядов интеллигенции русской: дескать, власть – омерзительна, прогнила до основания, жестока, неумолима, а "простой человек" – хорош. Он, быть может, пьет слишком много, чересчур вспыльчив, его легко сбить с толку, но он – добр. Кровавые погромы поставили еврейскую интеллигенцию перед жестоким фактом: антисемитизм "простого русского человека" – рабочего, мужика, мещанина – мало в чем уступает антисемитизму власти предержащей. Непреложность этого факта трудно было вынести. Пока еврейская интеллигенция верила в "простой народ", в его моральное превосходство над властью, в его чистоту, наивность, неиспорченность, – была еще надежда, что безумие схлынет, исчезнет, сойдет на нет. Канет в небытие один царь, сойдет со сцены другой, а там и революция грянет, а уж после революции – рай земной, всеобщее братание. Когда же эта иллюзия рухнула, еврейская интеллигенция отправилась на поиски иного, так сказать, НАШЕГО "простого народа".

Этот извечный миф – а в это определение я вкладываю еще и целую систему ценностей и идеалов – евреи принесли и в Эрец-Исраэль. Но здесь миф обернулся комедией. Почему? Потому, что на местных арабов были перенесены прежние, российские представления. Пусть араб ходит в бурнусе, отрастил длинные усы, опален южным солнцем – это, мол, тот же представитель "простого народа".



В.Г.Короленко. Художник И.И.Бродский

И в определенных кругах новоприбывших из России заговорили с энтузиазмом: "Мы будем добры к этим простым людям, мы принесем им образование и прогресс, но и сами научимся у них, как жить простой, здоровой жизнью, как пахать землю. Мы сольемся с ними". Если МЫ оградим их от произвола местных помещиков-"эффенди", защитим от коррумпированной власти, оторвем от религии, приблизим их к себе, поделимся своими знаниями – они нам будут благодарны, примут нас, и совместными усилиями мы примемся за строительство прекрасного отечества и для НАС, и для НИХ. Одним словом, палестинская версия "хождения в народ", где в роли " простого народа" выступают арабы...

А вот и еще один миф: арабский земледелец-феллах – это "мужик", а кочевник-бедуин -"казак". На почву Эрец-Исраэль были опять-таки перенесены российские заблуждения: казак – добрый, в сущности, человек; если его не сбивают с толку, не подстрекают, не спаивают, он преисполнен доброты и тепла.

И когда случились первые столкновения между арабами и новоприбывшими из России, реакция последних была чисто "российской": это погром, антисемитизм, снова иноверцы-"гои" занимаются тем, в чем достигли высшего искусства, – резней. Такие чувства испытывали в основном представители Первой алии, которые были потрясены, растеряны, дезориентированы. Вновь зазвучал классический вопрос – что делать?

Попробуем представить себе, что должен был пережить, к примеру, писатель Моше Смилянский, переселившийся в Эрец-Исраэль в 1890 году. Одним из первых в новой ивритской литературе выводит он на страницы своих книг арабских персонажей. И свой псевдоним "Хаваджа Муса" он тоже выбирает не случайно – это заимствование из арабского: "хаваджа" – вежливое обращение к мужчине, Муса – это Моисей. Рассказы и повести Смилянского из жизни Эрец-Исраэль окрашены в романтические тона. Нетрудно догадаться, откуда черпал свое вдохновение этот писатель, идеализировавший простого феллаха-землепашца, честно и упорно обрабатывающего свой надел, свое поле, свою родную землю. М. Смилянский, так же, как и многие другие, пережил настоящий шок после первых столкновений с арабами.

Представители Первой алии еще не успели оправиться от этого шока, как накатила новая волна репатриантов – более 40 тысяч человек: Вторая алия (1904-1914), прозванная "социалистической", основавшая рабочее и кибуцное движение в стране.

Они привезли с собой идейный пыл, бурный темперамент революции 1905 года. Они не только пережили погромы, сопутствовавшие этой революции, но и впервые попытались организовать еврейскую самооборону, хотя попытки эти чаще всего оказывались неудачными. Однако этот российский опыт не пропал втуне – именно Вторая алия создала ядро еврейских вооруженных сил.

У этих первых боевых формирований было потрясающее сходство с русскими "источниками": совершенно явно ощущается влияние методов российского революционного подполья – те же приемы конспирации, то же сочетание коллективизма с индивидуализмом. Новые призывы зазвучали в Эрец-Исраэль: надо с оружием в руках встать против арабских погромщиков, но при этом не надо давать спуску и зажиточным еврейским землевладельцам-эксплуататорам.

В разговорах зазвучали такие слова, как "революция", "экспроприация", словно революция переместилась сюда, на Ближний Восток, и еврейским "кулакам-мироедам" из Петах-Тиквы и Зихрона придется держать ответ перед пролетариатом. Кстати, слово "кулак" именно в его русском звучании и смысле вошло в иврит, равно как и другие слова, привезенные из России в тот период, – самовар, рубашка, гармошка, балаган...

Группа участников самообороны из России организовала в 1907

году конспиративную организацию по охране и обороне, названную "Бар-Гиора" – в честь вождя антиримского восстания времен Второго Храма. Индивидуалисты, люди с непреклонным характером и твердыми убеждениями, члены этой маленькой подпольной ячейки действовали под глубоким воздействием идей и методов русской партии эсеров, о чем они сами неоднократно говорили и писали – достаточно прочесть их манифесты. В 1909 году "Бар-Гиора", расширившись, стала организацией "Хашомер", явившись тем ядром, из которого впоследствии развилась "Хагана" (1921), поставившая, в свою очередь, кадры первым Вооруженным силам Государства Израиль.

Политические страсти, столь привычные для российского еврейства, отныне кипели в Эрец-Исраэль. В 1906 году здесь были организованы первые рабочие партии – "Поалей Цион" (Рабочие Сиона) и "Хапоэль хацаир" (Молодой рабочий). Их члены полагали, что защита от арабских погромщиков и борьба против еврейских богатеев, обращавшихся с еврейскими батраками, как с рабами, – это и есть подлинная еврейская социалистическая революция.

В "Хапоэль хацаир" считали своей ведущей задачей завоевание рабочих мест для еврейских трудящихся, а "Поалей Цион" решила взять в свои руки дело охраны еврейских фермерских хозяйств. Упомянутая уже "Бар-Гиора" и была первым шагом на этом пути.

В литературе, создававшейся в Эрец-Исраэль в те годы – вплоть до начала 1-й мировой войны, – применение силы, индивидуальный террор признавались вполне допустимыми. Здесь сказывалось также влияние и анархистов, и нигилистов. Непримиримое отношение к сложившейся действительности, идеологизация истории, взгляд на роль личности в истории, убежденность, что небольшая авангардная группа активных деятелей способна изменить ее ход, – не правда ли, все это хорошо знакомо русскоязычному читателю?..

И еще один столь же знакомый мотив. Можно – а порою просто необходимо! – отбросить принятые моральные нормы, презреть, так сказать, призывы Ахад-ха-Ама. Почему? Потому что в революционную эпоху существует ВЫСШАЯ мораль, позволяющая преступить и закон, и моральные категории. Гуманизм может подождать до лучших времен. "Высшую" мораль, как известно, исповедовали и русские радетели за народ. Кстати, слово "народ" в те времена звучало в Эрец-Исраэль не реже, чем ивритское слово с тем же значением – "ам". Но понятие "народ" включало в себя лишь тех, кто

трудился на земле, и наши революционеры, говоря о народе, исключали, скажем, зажиточных еврейских поселенцев из Реховота: они – не народ. Народ – это те, у кого ничего нет...

Теперь я хотел бы более подробно остановиться на литературе периода Второй алии – периода взлета халуцианского движения ("халуц" – так называли на иврите пионеров-поселенцев, приехавших из России, чтобы работать на земле. – *Прим. пер.*)

...Тургеневская меланхолия чувствовалась в описаниях умирающих еврейских местечек, их неизбежного заката. В чеховские тона были окрашены рассказы о "маленьком человеке" из гущи еврейских масс, вечном неудачнике, вечном страннике, нигде не находящем своего места. Когда же еврейские писатели говорили о невероятной сложности нашей натуры – нельзя было не услышать голоса Достоевского. А стоило им заговорить о справедливости, о народе, о корнях, о земле, об опрощении, о природе – тут уж сам Лев Николаевич Толстой входил в комнату, и его присутствие можно было ощутить прямо-таки физически.

Так тень великой русской литературы XIX – начала XX века осенила ивритскую литературу эпохи ее становления.

Позднее, во времена Авраама Шленского (1900-1973), выдающегося поэта и блестящего переводчика, под чьим пером на иврите зазвучали и Пушкин, и Тютчев, и Ахматова, и Гумилев, – проявились и иные русские веяния: символизм, акмеизм, футуризм. Словно местный Маяковский, ходил по улицам Тель-Авива поэт Александр Пэнн (1906-1972). Он блестяще перевел знаменитого советского поэта и даже издал книгу его избранных стихов...

В период между двумя мировыми войнами русская культура, старая и новая, оказывала решительное влияние на культуру ивритскую. В некоторых произведениях того времени можно отыскать и марксистский детерминизм, и популистскую советскую романтику...

Но вернемся к литературе периода Второй алии. И познакомимся с одним из основателей, идеологом и духовным руководителем халуцианского движения в сионизме, движения, целью которого было еврейское заселение и освоение Эрец-Исраэль. Аарон Давид Гордон (1856-1922) смог осуществить свое желание жить на этой земле, когда ему было уже под пятьдесят. Он решил стать сельскохозяйственным рабочим и, приложив нечеловеческие усилия, начал трудиться с мотыгой в поле. Книги, которые он написал уже здесь, я

бы мог назвать анархистскими и религиозными в одно и то же время.



Лева Гольдберг

Взгляды Гордона сложились в основном под воздействием идей Льва Толстого. Путь к исправлению мира – в самоусовершенствовании человеческой личности, в признании ее непреложной ценности, в естественной простоте, в близости к природе. Человек должен работать на земле, ибо такой труд – наиболее естественный, он непосредственно удовлетворяет человеческие потребности. Его результатами надо делиться с ближним. Молиться следует не в синагоге, а на природе. Поклоняться горам, ветру, воде, свету – именно там и есть Бог. Жил Гордон с чувством аскета, который готов отказаться от всех благ и удовольствий жизни, чтобы дойти до истины, познать ее. Это пришло от Толстого, но имеет более глубокие русские корни.

Анархистские идеи Гордона проявились в его подходе к проблеме государственности. Он не верил в эффективность политической борьбы, без всякого восторга встретил декларацию Бальфура (2 ноября 1917 года), обещавшую "восстановление национального очага для еврейского народа в Палестине", он вообще не хотел государства. Ему казалось, что государство – это детские забавы, и пусть этим забавляются иные народы -"гои". По представлениям Гордона, Эрец-Исраэль должна стать некоей федерацией, не связанной жесткими узами, куда войдут маленькие кооперативные общины, объединившиеся по собственному желанию. Без государственного аппарата, без атрибутов власти, без паспортов и государственного флага. И для еврейского государства он не делал никаких исключений. Будучи убежденным противником частной собственности на землю и средства труда, он отвергал марксизм, равно как и любую другую идеологию. По мнению Гордона, утверждения, что бедняки и рабы хотят свободы, и стоит им добиться ее, мир станет раем, – эти утверждения ошибочны. Рабы хотят не свободы – они жаждут сами стать господами, чтобы другие были рабами вместо них. Поэтому недостаточно освободить ОБЩЕСТВО. Главное – это ЛИЧНОСТЬ. И исправлять, изменять нужно только личность, а не общество. Поэтому

нет смысла стремиться к созданию совершенного ГОСУДАРСТВА. В центре всех усилий – ЛИЧНОСТЬ, и вокруг нее и к ней устремлены идеи А. Д. Гордона. Добровольное приобщение к физическому труду послужит не только совершенствованию личности, но и средством интуитивного постижения, мистического восприятия Бога. Не случайно последователи Гордона определяли его мировоззрение как "религию труда".

Подобные взгляды – сочетание анархизма с религиозностью – непонятны ни одному западному мыслителю, но зато уроженец России легко проникается ими, хорошо представляя их истоки, берущие начало в русских идеях, русском бытии, русском духовном опыте. Я бы сказал, что воззрения Гордона – странный, а возможно, даже трагический брак русского начала с еврейской традицией.

Личность Аарона Давида Гордона, ее обаяние, сама его жизнь оказали огромное влияние на современное ему поколение созидателей страны. Его именем было названо всемирное молодежное движение – "Гордония", возникшее в 1923 году. Но вслед за гордонистами появились... марксисты.

Тут мне хочется повторить свое высказывание о марксистах, сделанное в одной из бесед с журналистами и имеющее прямое отношение к нашей теме. Я сказал, что эти люди поклонялись Сталину и лелеяли надежду, что в один прекрасный день он приедет к ним в кибуц. Тогда-то они покажут ему ВСЕ. Как водится, разгорится великая полемика о марксизме-ленинизме и всем таком прочем, и вот тут-то они Сталину докажут раз и навсегда, каков он должен быть – ПОДЛИННЫЙ марксизм-ленинизм. И тогда, надеялись они, Сталин, усмехнувшись в свои усы, скажет им: "Ну, жиды, вы построили социализм почище, чем в России, честь вам и хвала!" – а потом можно умереть от великого счастья... Вот как иногда скрещиваются русские идеи с реальным воплощением их в Эрец-Исраэль...

Но, пожалуй, самым интересным "перекрестком идей" оказался Иосеф Хаим Бреннер – и в своих художественных произведениях, и в публицистических выступлениях, и в своей жизненной позиции.

Бреннер был личностью очень еврейской, сказал бы я, – в своих страданиях, в стремлении к подлинной нравственности, в своем индивидуализме, в освящении жизни ЛИЧНОСТИ. В этом он походил на Гордона. Но в противоположность последнему, он относился к действительности с жестоким реализмом, исполненным крайнего песси-

мизма. С пессимизмом думал он об отдельном человеке, и об обществе в целом, и о еврействе, вернее о той ситуации, в которой оно находилось.

Он первым увидел с абсолютной бескомпромиссностью и предельной жестокой ясностью, что нам предстоит неизбежное столкновение с арабами. И вовсе не потому, что арабы плохи, злы или продажны, а потому, что они отнюдь не глупы и прекрасно понимают, что мы пришли сюда не для того, чтобы их жизнь стала легче. Мы готовы одарить их всяческими "пирожными" – прогресс, образование, здравоохранение, но эту землю заберем себе. И если эта земля станет еврейской, она уже не будет арабской – и арабы это отлично понимают! А раз так, то никакие сладкие пилюли не помогут – ни поднятие уровня жизни арабов, ни прогресс, ни образование. Предстоит столкновение – и к нему необходимо готовиться. Он не верил, что мы победим, но считал, что необходимо попытаться.

Вся суть мировосприятия Бреннера сконцентрирована вокруг идеи "вопреки всему, наперекор всему". Быть может, нет надежды на победу, но человек ОБЯЗАН попытаться. Поэтому он верил, что НАДО браться за оружие – вопреки мнению Гордона. Изучать военное дело, не превращая оружие в религию, в предмет поклонения, к чему, по его мнению, призывал Жаботинский.

Его оппозиция Жаботинскому носила брутальный характер, порой доходя до презрения. Он определял Жаботинского как человека, не вышедшего из детского возраста и продолжающего играть в бирюльки – государство, флаги, барабаны, трубы... Дескать, на нас штанов нет, а он занят большой политикой... В качестве примера приведу отрывок из полемической статьи Бреннера, направленной против Жаботинского.

Это отклик на статью Жаботинского, посвященную выходу в свет на иврите романа Г. Сенкевича "Огнем и мечом", в которой он, в частности, писал: "Нам необходима молодежь, которая умеет ездить верхом, взбираться на деревья, отлично плавать, владеть оружием..." Стремление Жаботинского придать высший смысл делу организации еврейской армии, создать из этого некий идеал, на котором будет воспитываться молодежь, – все это вызывало у Бреннера и непримиримую вражду, и ироническую усмешку. Он пишет:" Страны у нас нет. Работы – нет. Но зато мы играем в военщину..."

В равной степени Бреннер презирал и пацифизм, привезенный немецкими профессорами, считавшими, что, если мы "подставим дру-

гую щеку", то нас полюбят. Он не мог примириться с бессилием, податливостью и покорностью. Он непреложно верил в необходимость САМООБОРОНЫ, в право на самозащиту – когда нельзя не взяться за оружие и применить силу. Но ни в коем случае не создавать из силы РЕЛИГИЮ, не возвеличивать ее и не прославлять. "Тот, кто полагает, что наш идеал – агнец, глуп, как и тот, кто считает, что наш идеал – волк," – так писал Бреннер.

Он был убит арабскими погромщиками 2 мая 1921 года во время антиеврейских беспорядков в Яффо.

Его оппонент – Жаботинский, живший с 1920 года в Иерусалиме, предвидя опасность антиеврейских выступлений со стороны арабов, организовал в том же году первые отряды самообороны, за что был судим военным судом и приговорен к пятнадцати годам каторги. Бурные протесты общественности вынудили британскую администрацию Палестины сперва смягчить, а затем и вовсе аннулировать этот приговор.

Отголоски той полемики, что вели некогда Бреннер и Жаботинский, – эти два ярчайших представителя русского еврейства, духовный мир которых сформировался под воздействием русской культуры, – вы услышите в спорах, ведущихся в израильском обществе и в наши дни. Каковы границы применения СИЛЫ? Как, обладая силой, не потерять РАЗУМ?..

А сейчас я хочу перейти к теме, которой уже мимоходом коснулся. Я хочу поговорить о странном, сюрреалистическом периоде, когда часть еврейского населения Эрец-Исраэль была влюблена в Россию времен Сталина. Оговорюсь сразу: НЕ ВСЕ были влюблены. Та часть, о которой пойдет речь, была невелика, но весьма заметна и представительна в обществе.

Чтобы разобраться в этом эпизоде нашей истории, следует остановиться на обстоятельствах, ему сопутствующих.

Одним из главных таких обстоятельств было разочарование в британцах. Они обещали нам "национальный очаг" – и не сдержали обещания. Обещали нам государство – и слово свое нарушили. Переметнулись на сторону арабов – по крайней мере, так это выглядело внешне: репатриация евреев в Эрец-Исраэль была заблокирована британскими мандатными властями с помощью всевозможных ограничительных законов. Подобные законы затрудняли покупку земель. Еврейское население Эрец-Исраэль чувствовало, что британцы всяче-



Иосеф Хаим Бреннер с женой

ски сдерживают, тормозят развитие сельскохозяйственных поселений, промышленных и торговых предприятий.

У некоторых людей появилось ощущение, что освобождение от британцев придет лишь тогда, когда рухнет мировая империалистическая колониальная система. Кто в состоянии добиться падения мирового империализма? Сталин! Подобный взгляд был весьма популярен не только в Эрец-Исраэль.

Следует также напомнить: когда вспыхнула 2-я мировая война, Сталин позволил еврейским беженцам из Польши укрыться в СССР. Как он поступил с ними в дальнейшем, бросив часть в тюрьмы, сослав многих в Сибирь, – об этом здесь не было известно. Но хорошо было известно, что Сталин – единственный спаситель польских евреев, что он один стоит против Гитлера. Героика Сталинграда, романтический ореол вокруг мужественных людей, грудью заслонивших свою страну от захватчика, – все это было так близко и понятно большинству еврейского населения Эрец-Исраэль. Это понимание породило и солидарность: ведь если не Сталин, неминуемо придет сюда Гитлер! Евреи Эрец-Исраэль глубоко переживали поражение русских в начале войны, а затем бурно радовались победам Красной Армии.

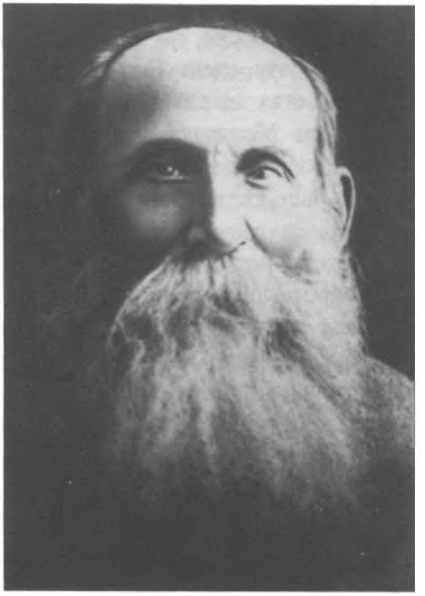
С британцами невозможно было солидаризироваться, далекая Америка была воплощением "мирового империализма". А если вспомнить, что в конце 1947 года Советский Союз проголосовал в ООН за создание Еврейского государства, то чувства евреев в Эрец-Исраэль легко понять. Многие думали, что наступили мессианские времена. Наконец-то прояснится трагическое недоразумение – заканчивается время абсурдного напонимания и разногласий между евреями и Россией. Россия, можно сказать, просит прощения! Россия как бы приносит свои извинения: сионизм прав, теперь-то мы это поняли. О, наивные евреи! Они думали, что все это происходит потому, что созданы кибуцы, построен социализм, и в России наконец-то поняли, что мы принадлежим к одной семье, и эта большая семья распахивает нам свои объятья.

Евреям, взявшимся за оружие, был понятен русский идеал НАРОДНОЙ армии, политизированной, вооруженной идеологией, – империализм можно победить, лишь создав именно такую армию, начав с подпольного партизанского движения. Некоторые из тех, кто сражался в России с нацистами, после провозглашения Государства Израиль, прибыли сюда. Большинство этих людей разделяли взгляды коммунистов, а часть – просто были коммунистами.

Книга о 28 героях-панфиловцах А. Бека произвела здесь огромное впечатление, и ее влияние на еврейскую молодежь того времени просто трудно описать. В этих краях звучали русские песни, которые стали неотъемлемой компонентой здешней жизни, – кстати, и по сей день это так. Очень популярен был и русский фольклор, который во время 2-й мировой войны коммунисты умело использовали. Тогда в СССР была проведена "всеобщая мобилизация" всех национальных символов и атрибутов, интернациональное на время как бы отошло в тень.

Поворот Сталина к "национальному" был с большим интересом воспринят в Эрец-Исраэль. Казалось, это может привести к примирению различных течений в сионизме, объединить их на общей основе. Если коммунизм не противостоит всему национальному, стало быть, он не противостоит и сионизму, он ПРИНИМАЕТ сионизм. Люди, которые лет за пятнадцать до того спаслись бегством от Евсекции, вдруг предположили, что Сталин отправит в Сибирь всю Евсекцию и признает сионистов. (Они и не подозревали, что многие из ретивых деятелей Евсекции именно в Сибири и пребывали в эти годы, а иные из них и головы не сносили). Надежды теснили грудь,

многие были едва ли не в экстазе, считая, что пришел конец не только непониманию между евреями Эрец-Исраэль и Сталиным, нет, завершился долгий период судьбоносных разногласий между русской интеллигенцией и еврейским народом – наконец-то мы поняты и приняты!



Ахарон Давид Гордон

Очевидно, что для всего этого не было ни малейших оснований, кроме телячьего восторга здешних евреев. Все действия Сталина в данном случае сводились лишь к тому, чтобы досадить Британии и Америке. Все было направлено на то, чтобы раздуть арабо-израильский конфликт и получить таким образом возможность вмешаться в ближневосточный кризис. И когда Россия открыто выступила в поддержку арабов, наступило великое отрезвление...

Вместе с освобождением от иллюзорной надежды, что коммунизм станет союзником сионизма, пришло и освобождение от объятий "русского медведя". Появились и антисоветские настроения, иногда перераставшие в антирусские: хотелось отринуть все – и песни, и танцы, и фольклор, отрешиться от этой особой "русской атмосферы".

Взгляды местных литераторов обратились к Западу. Русская поэзия – ни В. Маяковский, ни А. Ахматова, ни Б. Ахмадуллина – уже не была тем источником, из которого черпалось вдохновение. Отныне вдохновляли Томас Стернз Элиот, Роберт Фрост, французские символисты, представители других западных течений. Вдруг возникло сильнейшее желание разом покончить с "русскими связями", оборвать и отбросить все.

Таким настроениям способствовала и волна всеобщей антиидеологизации. Евреи, прибывшие в Эрец-Исраэль из Румынии, Польши

или, скажем, из Марокко, – не хотели ни социализма, ни равноправия, ни революции, ни идеологии. Они жаждали НОРМАЛИЗАЦИИ. (Помните эту идею Бердичевского?) Они не хотели, чтобы глава правительства целый день расхаживал в военной форме цвета хаки и ко всем обращался запросто: "Хавер" (товарищ). С "товарищем" покончено. Новоприбывшим хотелось, чтобы их премьер ходил в синагогу, был джентельменом, предупредительно открывал перед дамами двери и целовал им ручки. Они не стремились к эгалитаризму, они хотели респектабельности. Подлинным идеалом нового Израиля, абсорбировавшего огромную волну репатриантов, была Франция. Не Франция президента Миттерана, а Франция генерала Шарля де Голля. Может быть, даже Франция девятнадцатого века. Проникнутая национальным духом, слегка религиозная, но не чрезмерно, военная держава, не чуждая некоторой ксенофобии. Страна с отличными манерами и с сильной властью. Держава, заботящаяся, прежде всего, о собственных интересах. А потому Давид Бен-Гурион, первый глава правительства и министр обороны Государства Израиль, – это он ходил в хаки и любил обращение "хавер", – ушел из политической жизни, поселившись в кибуце в Негевской пустыне. А ему на смену – после нескольких промежуточных стадий – пришел Менахем Бегин. Костюм и галстук сменили военную форму...

Так и "русский сантимент", точнее – целая гамма сантиментов: сторонников революции и ее противников, приверженцев коммунизма и антикоммунистов, предтеч коммунизма и посткоммунистов – все это уступило место идеалам мелкой буржуазии, обществу, которое было в поисках иной, НОВОЙ своей личностной самоидентификации.

Но... В мире духа ничто не умирает. Только люди умирают. Чувства и ощущения не умирают. Мелодии не умирают. Идеи не умирают. Все возвратилось и, просочившись, напитало литературу. Читатель легко заметит это, открыв книгу стихов или углубившись в прозу последних лет.

И автор этих строк – не исключение. Все, что я написал, безусловно, имеет русские корни. У меня нет никакого чувства, будто русские – избранный народ, а русская культура – наивысшее духовное достижение. И я не думаю, что идеологические наши связи с Россией характеризуются чем-то таким необъяснимым, близким, чего нет в наших взаимоотношениях с другими странами и культурами.

И тем не менее...

В глубине души я осознаю и принимаю свои собственные рус-

ские корни. Корни духовные и душевные. Мне близки и русская мелодика, и даже русский темперамент. Ибо вне всякой связи с тем, каков он, облик России – до Сталина, времен Сталина, после Сталина, до погромов, во время погромов, после погромов, и Бог знает, может нам еще суждено пережить русские погромы! – есть один непреложный факт: наше прошлое и настоящее связаны тысячью и одним узлом с тем, что досталось нам от России.

Кое-что из полученного нами было навязано насильно, выжжено на нашей шкуре, словно тавро. Но ведь и насилие – один из параметров личностной самоидентификации.

Небольшое тавро можно спрятать под рубашкой. Мы же опалены Россией так, что скрыть это невозможно – ни от себя, ни от других. Потому и сказал я вначале: "Мы обожжены".

В этих заметках я сознательно уклонялся от того обилия ВНЕШНИХ признаков наших связей с Россией, которыми полна повседневная жизнь современного Израиля. И все же стоит, наверно, привести один-два примера.

Начнем с того, что в разговорном иврите имеется целый "русский" пласт. Это обусловлено рядом исторических причин. На протяжении столетия – с 1820 по 1920 – литература на иврите, ее основные, если можно так выразиться, модели создавались на славянской территории – в России и Польше. Так что славянское влияние на иврит было практически неизбежным. И когда в двадцатые годы центр ивритской культуры переместился в Эрец-Исраэль, это влияние оставалось интенсивным на всех уровнях языка: интонационные модели, синтаксические конструкции, множество слов... Эти "кальки" и в наши дни поражают новоприбывших. Достаточно напомнить, скажем, об уменьшительно-ласкательных суффиксах в таких словах, как "катанчик" (малыш), "бахурчик" (паренек), "кибуцник" и многих, многих других.

Забавная ситуация сложилась с использованием особого слоя русского языка. Когда советские торговые суда впервые бросили якорь в Хайфском порту, израильские докеры поразили прибывших моряков отличным владением русским матом (приходится признать, что в этой области иврит целиком живет на заимствованиях, где русская отборная брань сочетается с подобными структурами арабского). Когда же состоялся ответный визит израильтян в Одессу, один из наших моряков, уроженец Марокко, удивленно воскликнул, услышав

виртуозную брань портовых рабочих: "Неужели они русские? Ведь все эти ругательства они взяли у нас!"

Не так давно в Израиле гастролировал ансамбль песни и пляски Советской Армии, и молодые слушатели с таким же удивлением спрашивали: "Как же так? Половину песен они У НАС позаимствовали!"

Все это свидетельствует об укорененности русского влияния – о том, что его неосознанно испытывают даже те, кто уже не связан с Россией ни рождением своим, ни воспоминаниями...

Но вернемся к тем, кто прибыл из России. Поколение за поколением стремились новые репатрианты говорить на иврите, читать и писать на иврите, жить на иврите. Быть ИЗРАИЛЬТЯНАМИ. Но... Сны они видели на русском, мечтали, смеялись, плакали, бранились на русском... Эта "русская экспансия", проникшая в самые сокровенные уголки, в наши ткани и клетки, – одно из слагающих трагедии еврейско-русского романа.

На протяжении последних ста – ста пятидесяти лет евреи России предпринимали гигантские усилия, чтобы "вписаться", стать "самыми русскими". Еврейские либералы, коммунисты, антикоммунисты, диссиденты – все хотели принести максимальную пользу России, быть в первых рядах. При этом, думается, ими двигало одно желание – слиться с русским народом, быть принятыми им. Но цель эта оставалась недостижимой...

И были, конечно, евреи, которые это осознавали. Назову, к примеру, Оскара Грузенберга (1886-1940) – замечательного адвоката, добившегося оправдания Менделя Бейлиса на печально знаменитом процессе в 1913 году. (В том же году именем Грузенберга была названа улица в Тель-Авиве, а в 1951 году его прах был перенесен из Ниццы и захоронен в Израиле.) Этот незаурядный человек, немало сделавший для защиты чести и достоинства еврейства, беззаветно любил Россию. И все-таки, когда ему предложили преподавать в Киевском университете – при условии, что он примет христианство, Оскар Грузенберг это предложение отверг. Я думаю, он понимал, что даже принятие христианства не сделает его своим в России, которая всегда одной рукой приближала евреев, а другой отталкивала.

По-видимому, это не изменилось и по сей день. Не случайно сегодня можно услышать в России: "Три еврея разрушили нашу жизнь – Маркс, Ленин и Берия". Или другой вариант: "Еврейские интрига-

ны свалили Горбачева, провалили революцию, довели Россию до анархии". Мы виноваты всегда и во всем. И ничто нам не поможет...

Все наши попытки совместного проживания с народом России успехом не увенчались. Пожалуй, это квинтэссенция нашего исторического опыта, из которого сионизм сделал надлежащие выводы. И русско-еврейский опыт не уникален. Совместное проживание евреев с другими народами ни в одном уголке земного шара нельзя назвать гармоничным. И вовсе не потому, что евреи не стремились вписаться, приобщиться, усвоить, изучить, внести свой вклад! Кто был большим французом, чем Альфред Дрейфус, офицер французского генерального штаба? И кому неизвестно "дело Дрейфуса" – та разнузданная антисемитская кампания, которая была развернута в связи с ложным обвинением его в шпионаже в пользу Германии? А в Германии нашлись свои "предатели-евреи"... Любовь русских евреев к России – их вовлеченность в ее литературу, историю, философию, науку, политику, промышленность – подобна еврейско-немецкому симбиозу, еврейско-французскому, еврейско-польскому... Примеры можно множить до бесконечности.

У меня нет рационального объяснения, почему все наши попытки сближения с другими народами оказались обреченными на провал. И не это – наша тема. Важным мне представляется другое: сегодня мы на пороге новых еврейско-русских отношений. Я бы сказал так: завершен их пролог.

Что я имею в виду? То, что в еврейско-русском диалоге наступил период РАВНОПРАВНОГО партнерства. И это равноправие обусловлено не тем, что численно два этих народа равны, а прежде всего, историческими переменами, в результате которых каждый из нас САМ распоряжается своей судьбой. И русские и евреи вольны выбирать свой путь и свое будущее. Сегодня – это СВОБОДНЫЕ народы, и тем положен конец ДЕМОНИЗАЦИИ. Россия – не наш демон. И я очень надеюсь, что и мы навсегда перестали быть демоном России.

Покончено и с той невероятной АНОМАЛИЕЙ, когда евреи постоянно жили "в гостях". Случалось, что мы были желанными гостями, иногда – непрошенными. Бывало, что наши старания "быть, как все" вызывали смех. Происходили с нами вещи и похуже. Из своей длинной истории человечество вынесло один существенный урок, который усвоили еще первобытные люди, обитавшие в пеще-

рах: человек не создан для того, чтобы быть вечным ГОСТЕМ. Вечный гость – состояние парадоксальное, и многие века евреи пребывали в этом состоянии.

Но теперь у нас есть Израиль.

Сюда евреи России привезли накопленные ими духовные богатства. Но хочу особо подчеркнуть: наш Израиль – отнюдь не "реплика" России. Слава Богу, есть у нас и другие "гены", высокого качества, без которых наш национальный организм не смог бы успешно функционировать. Так, например, евреи Германии, массовая репатриация которых началась после прихода Гитлера к власти, – они, в известной мере, сбалансировали, редуцировали этот "русский р-размах", "русскую" меланхолию, "русскую" истерию. Неоценим вклад немецкого еврейства в становление израильской юриспруденции, судебной системы, законодательства, в организацию Высшего Суда Справедливости, без которого непредставима израильская демократия. Евреи – уроженцы Британии, США, Франции, Центральной и Восточной Европы, Северной Африки и иных стран прибыли сюда со своими традициями, и все этнические общины создают ПОЛИФОНИЧЕСКОЕ общество. В этой ПОЛИФОНИИ русская СКРИПКА – не балалайка!- русская еврейская скрипка – все еще ведущий инструмент, и я думаю, что так будет долго.

Но – и это крайне важно помнить: эта скрипка – не сольный инструмент. Мы – симфонический ОРКЕСТР. И в звучании этого оркестра у каждого своя значительная партия.

Наше общество унаследовало идеи Моше Мендельсона (1729-1786), еврейско-немецкого философа, и взгляды рабби Моше Хаима Луццатто (1707-1747), кабалиста, драматурга, поэта, уроженца Падуи, прибывшего в Эрец-Исраэль в 1743 году, и философскую глубину средневековой еврейской поэзии, расцветшей в Испании и Провансе, и сложную символику произведений Шмуэля Иосефа Агнона (1888-1970), классика ивритской литературы, лауреата Нобелевской премии, родившегося в Галиции, долго жившего в Германии, свои лучшие произведения написавшего в Эрец-Исраэль...

Все это – и многое, многое другое, не поддающееся даже краткому перечислению, – все это и создает ту полифонию, в которой – повторю это снова – "русской" скрипке отведена хотя и доминантная, но не исключительная партия.

Полифония – это плодотворный парадокс нашего национального бытия.

...В первые годы становления нашего государства иврит был, разумеется, официальным языком Израиля, на нем велось судопроизводство, он звучал в стенах Кнессета. Подавляющее большинство депутатов, как и большинство населения, не были уроженцами страны – и иврит объединял всех. И все же... Во многих парламентских комиссиях разговорным языком был идиш, на заседаниях правительства, когда накатывала усталость, переходили на русский, в совещательной комнате Высшего Суда Справедливости судьи общались по-немецки, большинство высших правительственных чиновников израильской администрации говорили по-английски...

Немало земель обошли мы в наших странствиях, и то, что почерпнули в скитаниях, внесли мы в национальную сокровищницу. Порою нам самим трудно очертить парметры нашей личностной самоидентификации, и внутренний мир многих из нас – поле сражений "гражданской войны". Пламя этой войны охватывает не только душу израильтянина, чей отец прибыл в страну, скажем, из Марокко, а мать – из Галиции, или того, чей отец – уроженец Йемена, а мать – "россиянка". Даже человек, просто прибывший из той же России (Англии, Франции и любой другой страны), ощущает это внутреннее борение, которое я и называю "гражданской войной". Еврей, уроженец России, чувствует себя евреем среди русских, но стоит ему попасть в среду евреев, выходцев из Северной Африки, к примеру, – и он тут же почувствует свою "русскость" так остро, как он и предположить не мог: ему будет недоставать русского языка, русских песен, он вдруг ощутит свою связь с Россией до боли в сердце. Видимо, такова наша судьба: и через тысячелетия проносим мы любовь к тем местам, где родились, сохраняем незримую связь с ними.

Такова наша общая судьба. Такова и судьба русского еврейства.

Но сегодня – я хочу это повторить снова – во взаимоотношениях евреев с Россией, в нашем "несчастном романе" завершен пролог. Отныне мы больше не живем в тени России.

Что же начнется отныне?

Будущее покажет...



Йоэль Энгель

"Говорят, есть такая страна..." (Йоэль Энгель)

Яаков Сорокер
(Иерусалим)

"Отсюда выносят кусок истории". Так сказал Эдуард Направник (автор популярной в свое время оперы "Дубровский") 23 октября 1906 года стоявшему рядом с ним Игорю Стравинскому на церемонии выноса тела Владимира Стасова.

Крупнейший русский искусствовед, этнограф, археолог, духовный отец "Новой русской школы" в лице Балакирева, Бородина, Кюи, Мусоргского и Римского-Корсакова, которых он окрестил "Могучей кучкой", был личностью столь же харизматической, сколь и противоречивой. Известно, что Стасов вдохновил многих композиторов на создание произведений, ставших шедеврами русской классической музыки. Среди них – Вторая (названная им "Богатырской") симфония Бородина, его же опера "Князь Игорь", "Хованщина" Мусоргского, (чьи гениальные новации мало кто, кроме него, Стасова, ценил в ту пору), симфоническая фантазия "Буря" Чайковского...

И, наряду с этим, – тенденциозные, порой на удивление лишенные вкуса суждения и сентенции о других классических творениях европейского и русского музыкального искусства. Скажем, о Гайдне и Моцарте (под видом неприязни к "закостенелому академизму"), о песнях Шуберта ("салонный стиль"), чуть ли не об итальянском оперном искусстве в целом ("итальянщина"). Своего единомышленника и друга юности А.Серова, оперного композитора и музыкального писателя, Стасов иронически (уж не намекая ли на его еврейское происхождение?) назвал "русским Мейербером"[1]. Прямолинейное и упрощенное понимание реализма в художественном творчестве привело Стасова к неприятию большей части наследия Петра Ильича Чайковского.

Удивительным представляется нынче то, что одним из нелицеприятных оппонентов маститого критика выступил мало кому известный тогда молодой музыкант и журналист Йоэль (Юлий) Энгель. Между

ними завязалась творческая дружба. И это вопреки многому, что их разделяло, – религии, национальному воспитанию, социальному статусу, наконец, разнице в возрасте – ни много ни мало – в 44 года. Дружба эта, длившаяся хоть и недолго (с 1901 по 1906 г. – до кончины Стасова), оставила глубокий след в сознании Й.Энгеля и во многом определила его жизненный и профессиональный путь.

Йоэль Давидович (Юлий Дмитриевич) Энгель родился 16/28 апреля 1868 года в Бердянске (Украина), в многодетной бедной семье. 22-х лет окончил юридический факультет Харьковского университета, а спустя два года – харьковское Музыкальное училище по классу фортепиано.

Там в начале марта 1893 г. ему довелось познакомиться с П.И. Чайковским, на которого музыкальная одаренность Энгеля и его стремление посвятить себя музыке произвели благоприятное впечатление. Великий композитор дал ему рекомендательное письмо, адресованное тогдашнему директору Московской консерватории (ныне Консерватория им. П.И.Чайковского) Василию Сафонову: "Дорогой Василий Ильич! Письмо это передаст тебе Юлий Дмитриевич Энгель, желающий поступить в Моск<овскую> консерваторию. Я имел случай в Харькове познакомиться с ним и его прекрасными способностями к музыке. Рекомендую его тебе с наилучшей стороны и прошу оказать всяческую помощь и сочувствие. Искренно преданный П.Чайковский"[2]. (Письмо написано 26 июля/3 августа 1893 г., за три месяца до смерти композитора).

Энгель был принят в класс С.Танеева. Позднее он напишет одну из первых – и лучших – биографий своего наставника – ученика Чайковского, замечательного композитора и теоретика музыки.

Еще будучи студентом, Энгель начал публиковать критические статьи и рецензии в "Новостях дня", "Русских ведомостях" (с 1898 в качестве заведующего музыкальным отделом), в "Русской музыкальной газете" и др. С годами он стал одним из авторитетнейших музыкальных обозревателей России. В роли корреспондента совершал поездки на концерты и спектакли в города России, Украины, Прибалтики и за рубеж (Париж, Вену и Байрейт).

В кругу коллег-студентов он пользовался славой компанейского доброго малого. Именно этот "остроумный и интересный, обаятельный, курчавый брюнет" – таким запомнился Энгель его однокашнику, жившему с ним в меблированных комнатах для студентов на Кузнецком мосту в Москве, – со свойственной юности непосред-

ственностью и прямотой, осмелился перечить мнениям "громовержца" Владимира Стасова. И это невзирая на то, что, как писал один современник, Стасов "не возражал противникам. Он хватал их за горло, бичевал, повергал ниц, уничтожал..."[3]

Стасов, придумавший наименование "Могучая кучка" (на Западе группу русских композиторов называют "Пятеркой"), упорно считал всех пятерых "могучими". Энгель же отважился открыто заявить то, о чем уже тогда многие думали, но сказать вслух не решались, а именно, что "пятерка" состояла по сути из трех "могучих" – Бородин, Мусоргский и Римский-Корсаков, с которыми остальные два несопоставимы. Был спор и в связи с Вагнером, которого, к неудовольствию Стасова, Энгель назвал "величайшим оперным композитором XIX века".

Но истинная "битва" разыгралась вокруг Чайковского. "В последние дни мне случилось прочитать целых две Ваших статьи по поводу Чайковского, – писал Стасов своему младшему коллеге, – и я, к величайшему сожалению своему, убедился, что между нами 'разногласия' и 'розни' по музыкальному делу еще гораздо больше, чем я прежде думал... Продолжая симпатизировать Вам во многом, я также в очень многом не симпатизирую Вашим мнениям и не могу находить их справедливыми... Вы несколько раз называете Чайковского 'величайшим русским симфонистом'. С этим, по моему мнению, никогда нельзя согласиться... Признавать его первым – могут только на Западе и только в настоящее время... Чем более будут подвигаться вперед музыкальные понятия и оценки, тем менее это будет возможно".

Непреходящая художественная значимость наследия Вагнера и Чайковского уже не является предметом споров. Но можно себе представить, какой уверенностью и смелостью надо было обладать молодому музыкальному критику, чтобы – в начале века – отстаивать свои убеждения, да еще перед лицом такого авторитета, как Владимир Стасов!

И все же именно Стасов, "в гроб сходя", благословил Энгеля на тернистый путь музыкального летописца: "Выше всех своих московских товарищей по музыкальной критике стоит, по моему мнению, Юлий Энгель, автор множества превосходных музыкальных статей и биографий... Он самый горячий поклонник всего великого и талантливого в музыке как европейской, так и русской, человек глубоко образованный по музыке, необыкновенно чуткий и вместе дарови-

тый". И в письме к Энгелю, за полгода до кончины: "Я по-прежнему Вас помню, знаю и уважаю, хотя иной раз не согласен с Вами. Но, как бы то ни было, а Вы все-таки парень знатный!"

Любопытным представляется нам и то, что Стасов напутствовал Энгеля на поиски и изучение корней еврейской музыки. Все началось весной 1901 года, когда "патриарх" впервые заговорил с "отроком" на эту тему. Затем вопросы еврейской музыки неоднократно возникают в их переписке. "Меня продолжает сильно радовать Ваше предприятие с еврейскими народными песнями – капитальная затея: мне всегда казалось, что очень-очень давно пора ввести еврейский основной капитал в историю и кладовую новой (христианской) музыки; все <...> христианские мелодии на добрую половину, а может быть и больше, стоят на еврейских фундаментах<...>. Я считаю, что солидное изучение еврейских национальных мелодий может оказаться одним из первых фундаментальных камней в изучении нынешней, новой европейской музыки<...>. И, по всему этому, я все радовался и радуюсь тому, что Вы задумали изучать и издавать доступные Вам народные песни семитские". Так писал Стасов Энгелю 11 февраля 1904 года.

Дочь Энгеля Ада Рогинская-Энгель вспоминает: '[Отец] рассказывал нам, как однажды оживленно беседовал с В.В.Стасовым о народной музыке. Дело было в Петербурге на пасху. Вдруг Стасов остановился и поднял палец: 'Вот послушайте, – воскликнул он. С улицы доносился пасхальный трезвон. – Слышите, – сказал Стасов, – сейчас во всех церквах поют 'Христос воскресе из мертвых'. Чудная эта мелодия, но я голову готов прозакладывать, что ее пели еще до Христа. Пели ее в Иерусалимском храме, и оттуда она пошла гулять по свету и до сих пор ходит и будет ходить' ".

Сказать, что деятельность Й.Энгеля в начале века была многогранной и плодотворной, значит сказать очень мало. Его престиж журналиста-критика, лектора, педагога, общественного деятеля возрос неимоверно. Он отдал щедрую дань изучению и популяризации русской классической музыки. Был первым, выпустившим (в 1904 году) для непросвещенного читателя книжку "Михаил Иванович Глинка, великий Боян земли русской".

Энгель уделяет достойное внимание одному из первых строителей музыкальной жизни России, великому пианисту и композитору Антону Рубинштейну (родившемуся, как известно, в семье, перешедшей в христианство), и впервые затрагивает проблему еврейских корней его

творчества. В статье, написанной по случаю 10-летия смерти Рубинштейна, он пишет: "Весь мир признал в нем гениального 'короля пианистов', замечательного композитора, а Россия, сверх того, и основателя русского музыкального просвещения. Но, кроме всего мира, кроме России, автор 'Демона' принадлежит еще и еврейскому народу, из среды которого вышел. И вот, является вопрос: что признает в Рубинштейне этот народ, чем обязаны оба друг другу?" И далее: "Если взять в свидетели не людей, а самые сочинения Рубинштейна, то не останется и тени сомнения в том, что в груди его дрожала струна, способная горячо откликаться на вопросы еврейской души. Было ли это сознательно или бессознательно, вольно или невольно – другой вопрос, но это было. И вот доказательства. Возьмем сюжеты некоторых крупных рубинштейновских сочинений – 'Моисей', 'Суламифь', 'Маккавеи'<...>, – разве эти три произведения не затрагивают трех важнейших эпох в истории евреев <...>, разве герои этих опер не герои еврейской религии, еврейской поэзии, еврейской истории?"[4] В своих "Очерках по истории музыки" (М., 1911) Энгель сравнивает "восточные" произведения (в частности оперу "Демон") с другими сочинениями композитора: "Здесь сказалась, быть может, еврейская кровь Рубинштейна, подсказывавшая его творческой мысли необходимые контуры, необходимые краски. Наоборот, русский национальный колорит выходил у Рубинштейна несравненно более бледным"[5].

Энгель был в числе первых толкователей и пропагандистов творчества Н.Римского-Корсакова, особенно последних, отмеченных знаком новаторства, опер композитора. "То, что Кашкин и Ларош <...> делали для раскрытия творчества Чайковского, Стасов – для Мусоргского, сделал Энгель для Римского-Корсакова", – справедливо замечает современный московский музыковед Иосиф Кунин.

Неоценим вклад Энгеля в российскую лексикографию. Он автор "первенцев" в этом жанре – "Краткого музыкального словаря" (М.,1907 и 1909), "Карманного словаря" (М.,1913), им осуществлена редакция русского перевода и написано около 800 (!) статей, посвященных русской музыке, для классического "Музыкального словаря" Х.Римана (Москва-Лейпциг, 1901), статьи в Энциклопедическом словаре братьев Гранат и многое другое.

Он едва ли не первый, кто положительно откликнулся на вызвавшие ожесточенные споры произведения выдающихся композиторов современности Скрябина, Стравинского, Прокофьева, Метнера.



И.Энгель с инструментальным ансамблем

Первый, кто по достоинству оценил величие Федора Шаляпина. Неудивительно, что Сергей Прокофьев, крайне скупой на похвалы, назвал Энгеля "лучшим московским критиком и очень уважаемым музыкантом".

Любопытна история "Постановления московских композиторов и музыкантов", обнародованного в бурный 1905 год. То был исключительный в своем роде манифест, где запечатлены сжато, но предельно точно, чаяния музыкантов-профессионалов тех лет: "Жизненно только свободное искусство, радостно только свободное творчество". И далее: "Мы – не свободные художники, а такие же бесправные жертвы современных ненормальных общественно правовых условий, как и остальные русские граждане, и выход из этих условий <...> только один: Россия должна наконец вступить на путь коренных реформ <...>"

Постановление подписали 29 виднейших московских музыкантов: Танеев, Рахманинов, Гольденвейзер, Шаляпин, Гречанинов, Глиэр, Д.Шор[6], Кашкин, Катуар, Конюс, Игумнов, Йоэль и Антонина Энгель и другие. К ним присоединился петербуржец Н.Римский-Корса-

ков. Инициатором Постановления и автором текста (в обсуждении которого участвовали Танеев, Рахманинов и Глиэр), как выяснилось сравнительно недавно, был Йоэль Энгель[7].

По всеобщему мнению, дарование и мастерство Энгеля – лектора и преподавателя – были из ряда вон выходящие. (Кстати говоря, среди его учеников был и Борис Пастернак, мечтавший о карьере композитора.) "Он имел способность просто и доверительно обращаться к неискушенному слушателю или читателю и одновременно давать нечто новое, интересное и музыкантам", – вспоминает его дочь Ада. Она же рассказывает и о множестве писем от благодарных слушателей и читателей. Но были и другие письма – враждебные, даже с угрозами: от печально известных членов "Союза русского народа"... "Причиной угрожающих писем, – поясняет Ада Энгель, – было постановление группы видных деятелей музыкальной культуры с требованием свободы и реформ, напечатанное в московских газетах весной 1905 года..."

Не станем доискиваться, почему именно Йоэлю Энгелю – из числа 29-ти подписавших Постановление – слали подметные письма и почему в советской публикации 1971 года не названа истинная причина угроз против него со стороны деятелей "Союза русского народа"...

Отец еврейской музыки

И вот молодой, подающий надежды и, казалось бы, вполне преуспевающий и пользующийся авторитетом в профессиональных кругах критик и музыальный деятель решает, пользуясь его же выражением, "устремиться в открытое море исканий", имя коему – еврейская музыка. Вооружившись фонографом с восковыми роликами – "крик" технической моды конца прошлого века, – Энгель, опередив многих фольклористов Восточной Европы, отправляется в черту оседлости – в города и местечки, чтобы записывать из первоисточников еврейские народные мелодии. В 1894 году он сочиняет и ставит в Москве первую в России двухактную еврейскую оперу "Эсфирь" на собственное либретто. Вскоре возглавляет группу энтузиастов (среди них Л.Саминский, Й.Ахрон, А.Крейн, Ш.Розовский, М.Гнесин, М.Мильнер) – пионеров изучения и распространения еврейской музыки в России. Почти все они были учениками Римского-Корсакова, который поощрял своих питомцев сочинять еврейскую

музыку, по его словам, "ожидающую своего Глинку".

В 1900 г. Энгель прочитал в Москве доклад о еврейской песне, иллюстрируя его образцами фольклора в собственной обработке. "Еще несколько лет тому назад, – сказал он, – сомневались в том, существуют ли у евреев вообще светские песни<...> Но еврейская песня действительно существует и представляет крупный самостоятельный интерес как этнографический, так и художественный. Те мелодии, которые сегодня будут исполнены, записаны лично мною".

В 1908 году в Петербурге (а годом позже и в Москве) возникло Общество еврейской народной музыки, первым почетным членом которого стал Й.Энгель. Отныне он отдает все больше времени, сил, таланта тому, что стало делом его жизни. Выходят в свет "Еврейские песни в обработке Энгеля" (М.,1905), его же "50 детских песен" (М.,1916) с текстами на идише и обложкой Леонида Пастернака (отца поэта). В 1912 г. он совершает с С.Ан-ским (автором "Дибука") еще одну этнографическую поездку по местечкам и селам Украины.

После Октябрьского переворота Энгелю поручают должность музыкального руководителя колонии еврейских детей-сирот в Малаховке (под Москвой). В ее работе участвовали выдающийся еврейский поэт Давид Гофштейн и драматург Иехезкель Добрушин. Учителем рисования назначили некоего... Марка Шагала! Когда в Москве открыли театр (на иврите) "Габима", Энгелю заказали музыку к "Дибуку". Оркестровая сюита на мотивы этого спектакля, популярная и поныне, многократно исполнялась в Москве и других городах.

Вспоминает зрительница одного из спектаклей: "В зале находились Станиславский и Шаляпин. Присутствовали многие большие артисты. Музыка начиналась до открытия занавеса. Это был стон отчаявшейся души, стремящейся ввысь; словно все, что наболело за столетия, вылилось в трагической мелодии скрипок. Я видела, как люди плакали".

Слушатели высоко оценили достоинства музыки. Все, кроме одного человека: самого автора. В числе музыкальных профессий, коими он овладел на самом высоком уровне, лишь одну он считал наивысшей – сочинение музыки. "То несравненное, великое чувство, – писал Энгель, – которое дается сознанием, что будто создал... лучше всего, что испытываешь в жизни".

Энгель, с его безупречным художественным вкусом, его скромностью и обостренной требовательностью к самому себе, сознавал

несовершенство, уязвимость своих творений. Он писал: "Еврей-композитор – явление достаточно частое. Но это вовсе не значит, что он еврейский композитор. Для этого он должен быть сыном своего народа – как в отношении языка, так и содержания им творимого"[8]. Он полагал, надеялся, что решить проблему еврейской музыки можно лишь у ее истоков – в Эрец-Исраэль. Но до того предстояла еще промежуточная станция.

В Берлине

В 1922 г. Энгель с женой Антониной Хейфиц – одаренной пианисткой и верной сотрудницей – покинул Россию. Официально отъезд именовался командировкой, выданной ему недавно созданным Государственным Институтом Музыкальной Науки (ГИМН; как тут не вспомнить оруэллово Министерство Правды!). Еврейское нотное издательство "Ювал"[9], созданное до революции в Москве, вскоре перекочевало в Берлин, и Йоэля Энгеля отрядили на подмогу новой администрации. Скрепя сердце пришлось заняться незнакомой и нелюбимой работой: переписка с потенциальными авторами и покупателями нотной продукции, поиски сравнительно дешевой нотопечатни, оплата по счетам и векселям и т.п. " 'Ювал' жив! – пишет Энгель Й.Стучевскому[10] 4/XI 1924 г. из Берлина. – Он слава Богу, не умирает, он только болен <...> повальной, свирепствующей вокруг болезнью: общее деловое замешательство, вызванное дороговизной производства, недостатком оборотных средств, оторванностью от рынков". И далее: "Больно, что так трудно приходится пробивать эту дорогу (издание и распространение произведений еврейской музыки . – *Я.С.*), но мы пробьем!". И в том же письме: "После некоторого перерыва в издательской работе намечается ее возобновление. Приступаем к печатанию большого труда (синагогальной композиции) Альмана".

Крупный деятель еврейской религиозной музыки, уроженец Украины Шмуэль Алман (1877-1947) пишет в своей "Автобиографии": "Я занялся сочинением еврейской литургической музыки и выпустил два тома под названием 'Субботние и будничные молитвы', предназначив их для хора Большой синагоги в Лондоне, в которой я служил дирижером хора. Книги вышли в свет (в 1925-38 гг. – *Я.С.*) благодаря содействию Йоэля Энгеля, редактора издательства 'Ювал' в Берлине. Они имели успех и получили признание во многих странах. Я был

знаком с Энгелем. Он побудил меня сочинить музыку к стихотворениям еврейских поэтов. И когда Энгель, уже живя в Эрец Исраэль, увидел мои первые песни, он написал мне большое письмо на русском языке, и в нем, среди прочего: 'Ура! Нашего – еврейских композиторов – полку прибыло! В Вашем стиле чувствуется сильная рука и свежесть. Пишите! Пишите!' "[11]

Утешительным для неискушенного нотоиздателя была возможность выпустить в свет немало собственных сочинений. Назовем некоторые, чтобы узнать кое-что о художественных интересах композитора тех лет: "Кадиш раби Лейви-Ицхока Бердичевского", "Гимн поэту" (Х.Н.Бялику в связи с его 50-летием; слова З.Шнеура), "Золотой павлин"[12] (Бялик), "Говорят, есть такая страна" (Ш.Черниховский), пять тетрадей "Еврейских народных мелодий" для фортепиано, песни, посвященные еврейским праздникам *Шавуот, Ханука, Пурим, Рош-Хашана* и *Суккот.*

Энгель исполнял также обязанности менеджера, о чем узнаем из того же письма: "Думал быть в Вене ради концерта, имел оттуда приглашение, но временем не сошлись. Еврейские концерты намечены теперь в Польше. 1-й из моих вещей (16/XI), потом Ахрон, Мильнер[13] и т.д. (всего 5 концертов). Я еду в Палестину недели через три..."

За песнями – в Эрец-Исраэль

В начале декабря 1924 г. Йоэль Энгель ступил на Землю Израильскую. 7 декабря газета "Хаарец" поместила приветственную статью под заголовком "К приезду Йоэля Энгеля". В тот же день он послал в редакцию письмо на весьма слабом иврите, простительном для нового *оле* с двухнедельным стажем: "Сердечно благодарю за дружеское ко мне отношение. То, что я прочитал о себе в вашей газете, – это гораздо больше того, что сделано, и гораздо меньше того, что надлежит мне еще сделать в стране. Но... будем стараться, будем трудиться. Разумеется, письмо это – частное и не для публикации. Простите за ошибки. С глубоким уважением, Й.Энгель"[14].

Началась воистину кипучая деятельность на поприще образования, композиторского творчества, просветительства, вдохновенного *халуцианского* труда. (По прибытии Энгель заболел свирепствовавшей в стране малярией. Он скрыл этот неприятный факт от жены, приехавшей вскоре вслед за мужем).

Энгель записывает и художественно обрабатывет местный музыкальный фольклор, выступает в роли пианиста и лектора, преподает теорию музыки в тель-авивской музыкальной школе "Шуламит", но охотнее всего сочиняет музыку. За два с небольшим года им написано множество песен на стихи Бялика, Черниховского, А.Хамеири[14], Элишевы, Шленского. Особо популярными стали уже упомянутая песня, выведенная в заголовок настоящего очерка, "Строй, халуц!" (слова А.Солтеса), "Ахат, штаим" (Бялик). Когда *сабры* вкушали первые выращенные в стране помидоры и ивритского их названия еще не существовало, Энгель сочинил на слова Й.Карни ставшую шлягером песню "Агваниот". Так и стали их называть. В последующие годы появились и поныне переиздающиеся сборники детских песен, вокальные и инструментальные пьесы. В книге "Мой путь к еврейской музыке" (см. о ней ниже) И.Стучевский пишет: "Песни Энгеля завоевали большую популярность в Палестине. Они распеваются наряду с народными песнями, став истинным народным достоянием". Последним его сочинением была музыка к постановке зародившегося тогда театра "Охел" ("Шалаш") "Вечера И.Л.Переца".

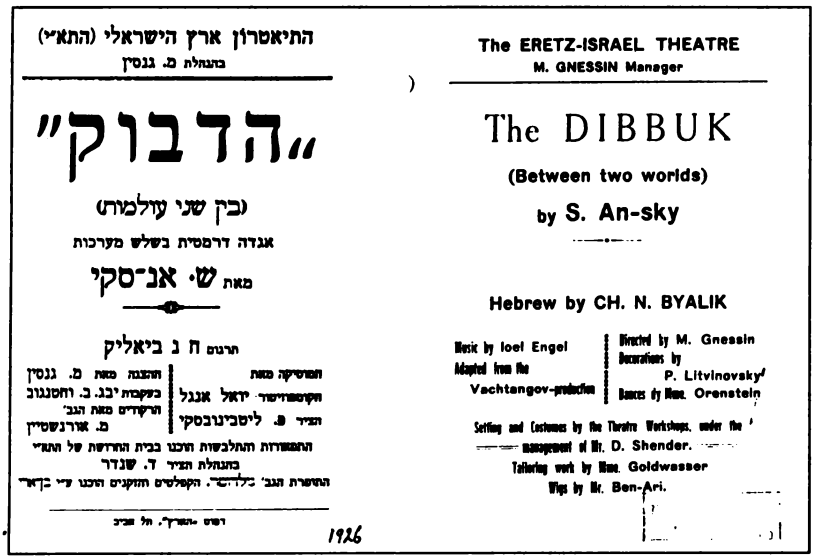
Йоэль Энгель умер от разрыва сердца 11 февраля 1927 года в Тель-Авиве. Авигдор Хамеири, работавший с ним до последних дней в театре "Охел", писал в некрологе: "Йоэль Энгель творил еврейскую музыку, и он же трудился на ниве ее распространения в народе. Театр 'Охел' стал его родным домом. Здесь, в театральном коллективе, он черпал силы и вдохновение. Здесь его сердце наполнялось радостью и неиссякаемым *халуцианским* оптимизмом. Здесь он сотворил свои последние мелодии возвышающиеся над всем, что было им создано прежде"[15].

Тель-авивским муниципалитетом в 1945 году учреждена ежегодная премия имени Й.Энгеля за лучшие произведения израильских композиторов и научные труды, посвященные проблемам еврейской музыки. Лауреатами премии стали композиторы П.Бен-Хаим, М.Лаври, М.Сетер, И.Каминский (сын звезды идишского театра Эстер-Рохель Каминской), И.Таль, И.Стучевский, Э.Партош, А.-У.Боскович, С.Натра, А.Маяяни и др., музыковеды Эдит Герзон-Киви и М.Горали.

Семья Энгеля

Он оставил жену и двух дочерей.

Жена – Антонина Константиновна, урожденная Хейфиц, – про-



התיאטרון ארץ הישראלי (התא"י)
בהנהלת מ. גנסין

„הדבוק"

(בין שני עולמות)

אגדה דרמטית בשלש מערכות

מאת ש. אנ־סקי

תרגם ח נ ביאליק

המוסיקה מאת	מ. גנסין
הקומפוזיציות מאת	בשקבות י.נ. ו.חסינגוב
הציור מאת	ש. ליסיצינסקי
התלבושות והכובעים מאת	מ. אורנשטין

התפאורות והתלבושות תוכנו בבית האופנה של התא"י
בהנהלת הציר ד. שנדר
התסרוקת הגב' בלוסר. הפאות והזקנים תוכנו ע"י בן־ארי

רשם "התורן", תל אביב

1926

The ERETZ-ISRAEL THEATRE
M. GNESSIN Manager

The DIBBUK

(Between two worlds)

by S. An-sky

Hebrew by CH. N. BYALIK

Music by Joel Engel	Directed by M. Gnessin
Adapted from the Vachtangov-production	Decorations by P. Litvinovsky
	Dances by Mme. Orenstein

Setting and Costumes by the Theatre Workshops, under the management of Mr. D. Shender.
Tailoring work by Mme. Goldwasser
Wigs by Mr. Ben-Ari.

фессиональная пианистка. Она окончила, по классу Павла Шлецера[16], Московскую консерваторию, получив звание "свободного художника" в 1895 г., совершенствовалась в Берлине у Эрнеста Едлички. Выйдя замуж, стала верной и квалифицированной помощницей Энгеля в концертно-лекционной, научной и публицистической (она владела несколькими иностранными языками) деятельности в Москве, Берлине и, наконец, в Тель-Авиве.

По возвращении в Москву после кончины мужа посвятила себя сбору и упорядочению творческого наследия Й.Энгеля – изданных во многих городах мира музыкальных сочинений, рукописей, музыковедческих трудов, писем и других архивных материалов. Все это было ею передано на хранение в московский Центральный музей музыкальной культуры им.М.И.Глинки, частично в Музей революции, а материалы, связанные с еврейской музыкой, – в существовавший до второй мировой войны киевский Институт еврейской культуры при Украинской академии наук.

Антонина Энгель вела переписку с И.Стучевским по возвращении в Москву из Тель-Авива. Речь шла об издании рукописных сочинений Энгеля, а также о возможной доработке и подготовке к печати неоконченных и даже оставшихся в виде эскизов работ.

Затрагивались и другие вопросы. Судя по ответу на одно письмо

(в данное время нам недоступное), корреспондент г-жи Энгель прислал ей свою книгу (на немецком языке) "Мой путь к еврейской музыке" (Вена, 1935). Книге предпослано такое посвящение: "Памяти Йоэля Энгеля, отдавшего годы жизни и творчества на благо развития самобытной еврейской музыки". Одна из глав повествует об Энгеле, его творческом пути, художественных позициях. Автор пишет: "Значение Энгеля для еврейской музыки – прежде всего в притягательной силе его идей. Он был не только музыкантом – он был *евреем, борцом*... В истории современной еврейской музыки, которую напишут наши потомки, ему обеспечено первое место".

Хотя выражения "сионистские идеалы" нет в тексте Стучевского но вполне ясно, что именно о них он ведет речь.

Вдова Энгеля в письме от 14 мая 1936 г. писала:

Дорогой г-н Стучевский!

Мое заболевание помешало мне ответить Вам сразу же по получению Вашей книги. Ваш подарок доставил мне большую радость и утешение. Большое спасибо за то, что Вы обо мне подумали. Статью об Энгеле (глава из упомянутой книги. – Я.С.) я целиком одобряю. Вы сказали о нем не слишком мало и не слишком много. Чувствуется, что каждое слово строго взвешено и написано с чувством ответственности, что вызывает полное доверие. Поскольку Энгель был для меня наилучшим и наилюбимейшим, то я считаю, что он достоин лишь одного – справедливости. А "слишком" было бы мне не по душе.

Лишь в одном Вы ошибаетесь: Энгель н и к о г д а не был сионистски настроен. Напротив, он был национально настроен, стоял за пробуждение национальной культуры так, как теперь у нас в СССР все большие и малые нации расцветают вместе со своей культурой.

Я внимательно <...> прочитала Вашу книгу. Она написана мудро и горячо. Это лучшее, что я читала на данную тему. В самом деле: она обращена ко многим сердцам и может пробудить всех еврейских композиторов, включая и тех, кто ступил на этот путь уже после смерти Энгеля.

Однако Вы сами сузили, умалили свой же великий призыв желанием, чтобы установка была взята на Палестину. Те многие миллионы евреев, которые никогда Палестину не видели и никогда ее не увидят и о ней не помышляют, которые живут и будут жить, сочинять стихи и музыку, иметь свой язык (нееврейский. – Я.С.), так же ими любимый.

Я понимаю глубокую боль, ужасные страдания западных евреев и

то, что они, как утопающие, ищут убежище и порой находят его в Палестине. Эта страна красива, также и язык ее. Можно эту страну построить, развить ее культуру (но сколько времени на то потребуется!) – это уже дело тех, кто там осядут. Но, чтобы это стало выходом для всего еврейства – такое быть не может! Народы шагают к высоким целям, их взоры обращены к национально-интернациональному. Они при этом вспоминают Ромена Роллана, равняются на него, заимствуют его убеждения. А миллионы евреев, не стремящиеся в Палестину, имеют ведь право на другое, соответствующее их пониманию, бытие и культуру. Разумеется, они обязаны с пониманием относиться к своим братьям и не считать лишь себя правыми.

Я пишу с т о л ь о с т р о, поскольку Вы проявили в своей книге р а з у м, темперамент, талант, воистину Вы можете быть лидером в данной области.

Меня очень интересует, где и каким путем осуществляется Ваша музыкальная деятельность. Выступаете ли Вы в концертах виолончелистом и т.п. Еще хотела бы я знать, что это за издательство Jibneh (венское музыкальное издательство 'Явне', выпускавшее преимущественно произведения еврейской музыки. – Я.С.)? <...>Новое ли это издательство? Где печатаются сочинения Энгеля – в издательстве Universal или каком-либо другом?

Прошу извинить за мой плохой немецкий язык – уже давно я на нем не писала.

Еще раз благодарю Вас и желаю Вам благополучия.

Антонина Энгель

Этим летом я буду на даче и поэтому прошу ответ писать снова по адресу Добрушина: Москва, Тверская ул.15, Х.Добрушину для А.Энгель[17].

Таково письмо вдовы Й.Энгеля, написанное спустя 9 лет после смерти мужа. Напомним место и время "действия": Москва, СССР, май 1936 год. Преддверие большого террора. Была ли Антонина Энгель, как и многие другие, ослеплена антисионистской пропагандой или же писала опасаясь органов, с особым рвением перлюстрировавших письма, отправляемые за границу? На этот вопрос пока ответить нет возможности.

Что касается личной судьбы самого Й.Энгеля, то нам впору произнести традиционно еврейское *"Барух даян хаэмет!"* и благодарить Всевышнего за то, что Энгелю посчастливилось уйти из мира сего

естественной смертью, а не (подобно множеству других деятелей еврейской культуры в СССР) насильственно, от рук советских палачей.

Старшая дочь Вера Добрушина-Энгель, археолог и специалистка в области истории искусств, была женой Х.Добрушина – брата Иехезкеля Добрушина (1883-1953), видного еврейского писателя, театроведа и педагога (сотрудничавшего с Энгелем в Малаховской детской колонии), арестованного по обвинению в "еврейском национализме" и погибшего в советских лагерях.

Младшая – Ада Рогинская-Энгель, художница, преподавала рисование в названной Малаховской школе, сперва самостятельно, а по приезде Марка Шагала помощницей великого живописца. Ее перу принадлежат "Воспоминания дочери", на которые мы неоднократно ссылаемся в настоящем очерке ("Воспоминания" опубликованы также на идише в московском журнале "Советиш хеймланд", 1986, №4. С.128-133).



У могилы Энгеля

Примечания

1. Среди предков матери Александра Серова были евреи. Его жена, композитор и музыкальный критик Валентина Серова-Бергман, – еврейка. Их сын Валентин Серов – крупнейший русский живописец.

2. Здесь и далее цитаты, источник которых не указан, приведены из книги: Энгель Ю.Д.. Глазами современника: избранные статьи о русской музыке. 1898-1918. Сост., ред., коммент. и вступит. ст. И.Кунина. М.,1971.

3. Каратыгин В.Г.. Избранные статьи. М.-Л.,1965. С.318.

4. Энгель Й. Памяти А.Рубинштейна // Восход. 1904. №27.

5. Энгель Й. Очерки по истории музыки. М.. 1911. С.180-181.

6. Давид Шор (1867-1942) – пианист, педагог, видный музыкальный деятель, профессор Московской консерватории. В 1926 г. репатриировался в Эрец-Исраэль.

7. См.: Советская музыка. 1963. 5. С.53.

8. Цит. по: Турэль-Гил'ад Тали. 100 лет музыки в Эрец-Исраэль. 1881-1981. (На иврите). Хайфа, 1981. С.20.

9. Издательство "Ювал" названо именем "первого музыканта", упомянутого в Библии: "Имя его было Ювал, он был отцом всех играющих на лире и свирели" (Бытие, 4:21).

10. Иоахим Стучевский (1891-1982) – крупнейший композитор, виолончелист, музыкальный писатель, уроженец Украины. С 1938 г. жил в Эрец-Исраэль, став одним из зачинателей израильской профессиональной музыкальной культуры и композиторской школы. Между ним и Энгелем завязалась творческая дружба. Став во главе берлинского издательства "Ювал", Энгель заказал Стучевскому ряд произведений на еврейские темы и способствовал их выпуску в свет.

Тут и далее цитируется письмо Й.Энгеля к И.Стучевскому, хранящееся в архивном отделе тель-авивской Музыкальной библиотеки (Фонд И.Стучевского. №174. 3/2/1.)

11. Рукопись "Автобиографии" Ш.Алмана (на идише) хранится в Архиве еврейской музыки им. А.Фридмана-Львова хайфского Музыкального музея "АМЛИ" (№69).

12. "Золотой павлин" – созданный народом и запечатленный в фольклоре восточно-европейского еврейства образ, а также символ еврейской поэзии и бессмертия народного духа.

13. Иосиф Ахрон (1886-1943) – скрипач и композитор, ученик Л.Ауэра и А.Лядова в Петербурге, активный член Общества еврейской народной музыки. Автор многих сочинений еврейской музыки в различных жанрах. Моше-Михаэль Мильнер (1886-1953), кантор, дирижер и сочинитель еврейской музыки. Учился в Петербурге. Один из пионеров Общества еврейской народной музыки, заведующий музыкальной частью московского театра ГОСЕТ, Еврейского театра в

Харькове и др. Его произведения, посвященные еврейской тематике, подвергались советской печатью разносу за "национализм", "мистицизм", "реакционность" и т.д.

14. Авигдор Хамеири (Фойерштейн; 1886 [1890?]-1970), израильский поэт, переводчик и журналист, сионистский деятель. В 1921 г. вместе с группой российско-еврейских писателей, по ходатайству В.Жаботинского и благодаря хлопотам М.Горького, получил разрешение эмигрировать в Палестину. См. об этом в настоящем сборнике статью И.Вайнберга "Переписка В.Е.Жаботинского с А.М. Горьким".

15. Хаарец. 1927. 12 февр.

16. Павел Юльевич (Августович) Шлецер (1840?-1898) – известный пианист-педагог, ученик Листа. Его племянница Татьяна Федоровна Шлецер стала женой великого русского композитора Александра Скрябина, а их дочерью была Ариадна – поэтесса, павшая в рядах борцов французского Сопротивления под конспиративной кличкой Режин (Регина).

Ариадне Скрябиной и ее мужу поэту Довиду Кнуту посвящены содержательные очерки и статьи, в иных публикациях они упоминаются (см., например: Бахрах А. Ариадна – Сара – Режин // Русская мысль (Париж). 1979. 19 апр.; Моргенштерн А. Потомки Скрябина живут в Израиле // Наша страна (Тель-Авив). 1987. 20 марта; Цигельман Я. Здравствуйте, Довид Кнут! // Евреи в культуре Русского Зарубежья. Вып.1. Иерусалим, 1992; Б.Носик. Такой забавник – умница Бахрах! Там же. Вып.2. Иерусалим, 1993.

Представляется уместным сообщить некоторые доныне не опубликованные, либо малоизвестные сведения о семье Шлецеров и их потомках Ариадне Скрябиной и ее матери Татьяне Федоровне Скрябиной-Шлецер.

Предки Шлецеров были эльзасскими евреями. Борис Федорович Шлецер – музыкальный писатель, философ – брат Т.Ф.Скрябиной (он дружил с Александром Скрябиным, посвятил ему статьи и исследования и, как принято считать, оказал влияние на великого композитора-новатора). Павел Шлецер, у которого училась Антонина Энгель, был дядей Бориса и Татьяны Шлецеров.

Еврейское происхождение семьи Шлецер подтверждает известная исследовательница жизни и творчества А.Скрябина Варвара Павловна Дернова (1906-1989). Отвечая на вопрос автора, она писала: "Шлецеры были полностью или частично евреи". В другом письме: "Они евреи, не знаю только в первом ли поколении. М[ожет] б[ыть] они то, что называется 'выкресты'". "Был профессор Московской консерватории П.Ю.Шлецер; Татьяна Федоровна – жена Скрябина и мать Ариадны – его племянница. Был у Т.Ф. брат Борис Федорович. Это один из окружавших Скрябина декадентов. Он <...> писался 'де Шлецер', т.е. не допускал даже мысли, что он не имеет права на эту дворянскую частицу и уж, конечно, 'не еврей'. В среде высокой русской интеллигенции было не принято спрашивать национальность, что же касается евреев, то <...> вообще такие разговоры считались дурным тоном. Не думаю, чтобы в семье Скрябина кто-нибудь даже думал, что Т[атьяна] Ф[едоровна] может быть еврейка!" (пись-

ма соответственно от 4 янв. и 2 апр. 1988 г.).

Ариадна Скрябина была трижды замужем и всегда за евреями. Первый муж – Лазарюс, от которого родились две дочери (одна из них – Батия боролась в рядах французского Сопротивления). От второго брака с Магеном (по-французски Маженом) родился сын Эли, репатриировавшийся в Израиль, по профессии гитарист, служил в Военно-морском флоте (внук Скрябина – израильский матрос!). Разошедшись с Магеном, Ариадна, с целью выйти замуж по законам *Галахи,* перешла в иудаизм. (Видимо, она не знала, что в этом нет нужды, ибо по законам *Галахи* дочь еврейки считается еврейкой). После церемонии *гиюра* она стала рьяной прозелиткой, называлась Сара, соблюдала *кашрут* и т.д. Вышла замуж за Довида Кнута – поэта-еврея, писавшего по-русски. У них родился сын Иоси, как и его сводный брат Эли, репатриировавшийся с отцом Д.Кнутом в Израиль в 1949 г.

Ариадна-Сара под кличкой Режин пала смертью храбрых в июле 1944 г.: ее убили французские фашисты. Посмертно награждена медалью Сопротивления и Военным Крестом. Ей воздвигнут памятник в Тулузе.

17. Оригинал письма Антонины Энгель-Хейфиц к И.Стучевскому (на нем. языке) хранится в архивном отделе тель-авивской Музыкальной библиотеки (Фонд И.Стучевского. №79. 3/1/1.)

Словарь использованных ивритских слов и выражений

Ахат, штаим – раз, два (тут – припев песни).

"Барух даян хаэмет" – "Благословен Всевышний, вершитель правды".

Галаха – законы, регламентирующие семейную и гражданскую жизнь евреев.

Гиюр – церемония перехода нееврея в иудейскую веру.

Кадиш – прославление Бога, также евр. заупокойная молитва.

Кашрут – дозволенность (в том числе и пищи), с точки зрения Галахи.

Оле – буквально – восшедший, репатриант в Страну Израиля.

Сабра, также *цабар* – уроженец Израиля.

Халуц – буквально – пионер; так называли первых репатриантов в Эрец-Исраэль (Палестину).

Пионеры израильского кино

Яаков Гросс
(Иерусалим)
Перевод с иврита Виктора Радуцкого



Первым еврейским фильмом, созданным в Эрец-Исраэль и сохранившимся до наших дней, принято считать документальную ленту, снятую в 1911 году Мюрреем Розенбергом, богатым коммерсантом-сионистом из Англии. Лента эта, относящаяся еще ко временам турецкого владычества, так и называется – "Первый фильм в Палестине".

Киносъемки в Палестине велись и прежде – начиная с 1896 года. Первыми прибыли сюда братья Люмьер, а вслед за ними – съемочная группа американской студии "Эдисон", которая в 1903 году выпустила фильм "Танцевать в Иерусалиме". Немецкие и английские кинооператоры снимали здесь документальные ленты. Был даже сделан художественный фильм в цвете (с помощью особых технических средств) о жизни Иисуса.

В 1901 году Биньямин Зеев Герцль, провозвестник Еврейского государства, направил в Эрец-Исраэль полный комплект оборудования для производства там фильма. Руководил этим начинанием доктор Гилель Яффе, уроженец Симферополя, видный сионистский деятель, снимал фильм оператор из Австрии Коган. К сожалению, судьба этой ленты неизвестна.

В 1913 г. в Эрец-Исраэль прибыла еврейская съемочная группа компании "Мизрах" из Одессы, которой руководил Ноах Соколовский. Результатом их работы стал полнометражный фильм, демонстрировав-

шийся в России, Америке и Польше. Отдельные его части хранятся в Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов в городе Красногорске под Москвой.

Годом позже Акива Вайс, уроженец Гродно, один из инициаторов строительства первого в современном мире всецело еврейского города – Тель-Авива, зарегистрировал в Эрец-Исраэль кинокомпанию "Ора хадаша" ("Новый свет"), создал студию и лабораторию. Он снимал фильм для Еврейского национального фонда. До нас эта лента не дошла – она пропала во время 1-й мировой войны.

Примерно в это же время в Иерусалиме пытался наладить производство фильмов фотограф Яаков Бен-Дов.

В декабре 1917 года, в праздник Ханука, Яаков Бен-Дов вышел с кинокамерой на улицы Иерусалима, чтобы запечатлеть встречу английского генерала Эдмунда Алленби, чей корпус, в состав которого входил и Еврейский легион, освободил Иерусалим...

Так был создан фильм "Освобожденная Иудея".

Так началось становление израильского кинематографа.

Яаков Бен-Дов – один из трех мастеров, стоявших у его колыбели. Так же, как Натан Аксельрод и Барух Агадати, он прибыл из России. Уроженцами Росии были и их сподвижники: продюссер Иерушалаим Сегал, режиссеры Александр Пэнн и Хаим Халахми.

Думается, у нас есть основания утверждать, что во всех начинаниях зарождающегося израильского кинематографа приняли участие выходцы из России. Только в тридцатые годы отряд киномастеров пополнился новоприбывшими из Германии, Польши, Венгрии, Америки, Англии. Но и они не избежали влияния советского кинематографа.

Стоит напомнить, что в двадцатые-тридцатые годы в советском кино работала целая плеяда выдающихся мастеров, оставивших заметный след в мировом искусстве, и среди них мы можем назвать немало еврейских имен: Григорий Козинцев, Илья Трауберг, Александр Разумный, Авраам Роом, Григорий Рошаль, Михаил Ромм, Иосиф Хейфец, Марк Донской, Юлий Райзман, Дзига Вертов, Эсфирь Шуб и многие, многие другие. Одно из первых мест в этой блистательной шеренге принадлежит Сергею Эйзенштейну (сыну крещеного еврея), чей "Броненосец "Потемкин" открыл новую эру в мировом кинематографе и до сих пор удерживает свои позиции в первой десятке "киношедевров всех времен и народов".

Влияние советского кино на пионеров кинодела в Эрец-Исраэль

сомнений не вызывает. Но пути этого влияния не всегда прослеживаются с достаточной степенью определенности, поскольку они – как это нередко бывает в творчестве – не всегда однозначно очевидны: порой и сам мастер не сознает, что его творческие устремления явственно перекликаются с открытиями другого художника. Если Барух Агадати прямо говорил о том впечатлении, которое произвели на него произведения Сергея Эйзенштейна и Всеволода Пудовкина, если Натан Аксельрод, приехавший в Эрец-Исраэль из Советской России в 1926 году, "увез" с собой и, хотел он того или нет, привнес впоследствии в свои кинохроники некую романтическую приподнятость, обусловленную идеей служения стране и народу, то Яаков Бен-Дов не испытал прямого влияния советского кино, поскольку свои технические навыки и приемы работы он заимствовал у кинофирм Франции и Германии, поддерживая с ними постоянные связи. Поэтому особенно интересно проследить, как путь Бен-Дова смыкается с путем одного из известных советских киномастеров, насколько сходны их становление, идеи, кинопочерк, хотя жизненные и творческие дороги этих двух людей никогда не пересекались.

В то самое время, когда в Иерусалиме Яаков Бен-Дов снимает свою "Освобожденную Иудею", в Петербурге живет Денис Аркадьевич Кауфман, студент-медик, поэт-футурист, поклонник Владимира Маяковского. Яаков Бен-Дов изменил свою жизнь и свое прежнее имя – Ласутра, когда в 1907 году прибыл в Эрец-Исраэль. Денис Кауфман тоже изменил свою жизнь и свое имя – он сделал это десятилетие спустя и стал называться Дзига Вертов. Под этим именем он навсегда вошел в историю русского и мирового кино.

Поначалу Бен-Дов "опередил" Дзигу Вертова в технике съемок, а также в подходе к документальному кино как к искусству. Скорее всего, на данном этапе ни один из этих незаурядных мастеров не был знаком с идеями другого. Но в середине двадцатых годов сходство творческого подхода становится достаточно явным, просматриваются определенные параллели.

В фильмах "Шагай, Совет" и "Шестая часть мира" (1926), "Человек с киноаппаратом" (1929), "Симфония Донбасса" (1939) Дзига Вертов реализует свою теорию "киноглаза", провозглашающую точное – без инсценировок и вымысла – отображение действительности, воплощающую принцип "жизнь врасплох". Авторское отношение к реальности выражается только с помощью специфических средств кинематографа – ритма, ракурса, монтажа. И отношение это, как

правило, – оптимистическое, служащее определенной позитивной идее.

Приведем – для сравнения – некоторые из высказываний Яакова Бен-Дова того периода: "Я всегда показывал жизнь такой, какая она есть, без подделок, в ее последовательности, достойным образом, верными средствами выражения..." Своей работой в кино Бен-Дов стремился, по его словам, отразить "позитивные настроения в народе".

Мы еще обратимся к подобным совпадениям в подходе этих двух киномастеров к своим творческим задачам. А пока укажем лишь на тот факт, что новые репатрианты из России, прибывшие в Эрец-Исраэль с волной Третьей алии (напомним, что началась она после 1-й мировой войны, продолжалась до 1923 года и принесла с собой около 35 тысяч человек, в большинстве своем – из России), привезли с собой, среди прочего, и киноидеи, высказанные в статьях и воплощенные в первых фильмах Дзиги Вертова, а также проявившиеся в работах других советских кинодеятелей того периода. Эти идеи не могли не оказать своего влияния на становление и развитие израильского кино, и в частности, на тех, кого мы называем его основоположниками и чьи творческие биографии хотим предложить вниманию читателей.

Яаков Бен-Дов



Яаков Бен-Дов

Яаков Бен-Дов (1882-1968) родился на Украине. Учился в одесском Императорском художественном училище. Увлеченный идеями сионизма, он в пятнадцать лет уезжает в Эрец-Исраэль и становится одним из тех стражников, которые охраняли новые еврейские поселения и цитрусовые плантации. Затем он поступает учиться в Академию художеств "Бецалель", основанную в 1906 году скульптором Борисом Шацем. В академии он участвует в создании отделения фотографии. Дома у него – небольшая фотостудия, где он печатает открытки с видами Эрец-Ис-

раэль и готовит диапозитивы для "волшебного фонаря", зарабатывая таким образом на жизнь.



В 1912 году он вступает в переписку с компанией Эрендмана в Дрездене по поводу приобретения оборудования для производства фильмов и одновременно обращается с просьбой о ссуде к руководителю Еврейского национального фонда доктору Артуру Рупину. Можно предположить, что толчком к этому стала встреча с Мюрреем (Моше) Розенбергом, снявшим, как мы уже упоминали выше, "Первый фильм в Палестине". Розенберг посетил "Бецалель". Это посещение вызвало в академии живейшую дискуссию, в которой приняли участие художники, чьи имена составляют сегодня славу израильского искусства – Борис Шац, Абель Пан, Меир Гур-Арье. Было задумано создать компанию по производству фильмов "Менора" ("Семисвечник"). Спустя семь лет эту идею воплотил в жизнь Яаков Бен-Дов.

Во время 1-й мировой войны Бен-Дов неоднократно обращается в различные сионистские организации с просьбой о закупке кинематографического оборудования и материалов. Но поддержка неожиданно пришла совсем с другой стороны. Чтобы остаться в Эрец-Исраэль и не быть интернированным как подданный России, Бен-Дов вступает в одно из подразделений австрийской армии, дислоцировавшееся в Иерусалиме. И австрийские друзья – в знак признания его ревностной службы – помогают Бен-Дову приобрести съемочную кинокамеру "Пате Фрер".

2 мая 1917 года Яаков Бен-Дов пишет Яакову Тоону, руководителю отдела Еврейского Агентства в Эрец-Исраэль: "Я хотел бы предложить нечто новое – распространение кинематографических картин об Эрец-Исраэль и местной жизни. Я вполне владею искусством производства подобных работ, у меня также имеется хорошая киноаппаратура. Я пришлю вам образцы своих работ (в мирное время), а вы время от времени будете присылать мне пленку, которую я отсниму и проявлю здесь, вышлю вам негатив, а вы у себя напе-

чатаете позитивы, для продажи и для проката".

...В тот исторический миг, когда начало сбываться предвидение о возрождении еврейского народа на своей земле – со вступлением в Иерусалим британских войск под командованием генерала Алленби, – родилось и израильское кино: Яаков Бен-Дов вышел на улицу с кинокамерой. Жена пыталась удержать его: как солдат враждебной армии он мог быть задержан и репрессирован британскими оккупационными войсками. Но ничто не могло остановить Яакова Бен-Дова...

Первый фильм, который мы вправе назвать израильским, хотя до создания Государства Израиль пройдет еще немало времени, – "Освобожденная Иудея" – был сделан без всякой финансовой поддержки со стороны официальных еврейских организаций. 18 октября 1918 года была объявлена его премьера, приуроченная к годовщине завоевания Эрец-Исраэль британцами.

Судьба этой ленты неясна. Иехуда Этин, глава еврейского комитета города Хайфы, приобрел фильм для проката. Картина демонстрировалась в Польше, России, Англии и Америке. Сионистская организация Лондона отправила его в Южную Африку, откуда он был возвращен в Эрец-Исраэль после долгой юридической тяжбы. А в 1924 году фильм исчез. В 1930 году Яаков Бен-Дов писал, что фильм был направлен в Америку, где и затерялся. Копии некоторых его фрагментов, в частности тех, что запечатлели вступление Алленби в Иерусалим, дошли до наших дней.

Первые шаги Бен-Дова по созданию еврейского кино совпадают по времени с началом работы на поприще кинодокументалистики Дзиги Вертова, который в том же восемнадцатом году создает первый советский киножурнал "Кинонеделя", стремясь в нем точно и без инсценировок отобразить действительность. И хотя, как уже было сказано выше, у нас нет оснований говорить о прямом воздействии на Бен-Дова того стиля, который был утвержден Дзигой Вертовым в его знаменитых выпусках киножурналов "Кино-Правда" (1922-1925) и оказал свое влияние на все мировое кино, нельзя не отметить, что первые фильмы Бен-Дова ставили перед собой такие цели, словно их сформулировал Дзига Вертов.

К концу 1918 года британская армия завершила освобождение всей Эрец-Исраэль. Яаков Бен-Дов, пригласив компаньона Мордехая Шварца и зарегистрировав кинокомпанию "Менора", приступает к съемкам своего второго фильма "Освобожденная Эрец-Исраэль". Из

этого фильма до нас дошли кадры, запечатлевшие и Еврейский легион, и выдающегося лидера сионистского движения В. Е. Жаботинского, по инициативе которого этот легион был создан, и многие другие волнующие моменты нашей новейшей истории.

В ноябре 1919 года Хаим Вейцман, будущий первый президент Государства Израиль, президент Всемирной сионистской организации, так оценил деятельность Яакова Бен-Дова: "...Здесь в Иерусалиме создана первая еврейская кинокомпания и внесена в правительственный реестр. Компания выпускает картины, посвященные историческим событиям, имеющим большое значение для национальных устремлений и пропаганды сионистских идей".

Третья картина Бен-Дова "Возвращение в Сион" впервые демонстрировалась в январе 1921 года. Современники высоко оценили ее. Хаим Вейцман: "Успех в показе труда, пронизанного творческим духом". Борис Шац: "Иди, мой друг, этой дорогой, дабы грядущие поколения увидели живую картину времен строительства и страданий, предшествующих приходу Мессии". Британский министр труда лорд Альфред Монд назвал Бен-Дова пионером производства кинофильмов в Эрец-Исраэль. Пришли письма с выражением благодарности и восхищения от художника Абеля Пана, известного ученого профессора Отто Варбурга и многих других представителей еврейской общественности. Фильм демонстрировался в Иерусалиме, причем были организованы особые сеансы для религиозных кругов. Улучшенная версия картины была послана в Карлсбад для показа на Сионистском конгрессе. (Именно эта версия была обнаружена в 1989 году в киноархиве Чехии в Праге.) После некоторых изменений и добавлений лента была куплена Еврейским национальным фондом и показана в Берлине под названием "Возрождение Эрец-Исраэль". На этот раз фильм подвергся суровой критике – главным образом из-за низкого технического качества ленты. Провал фильма в Берлине вызвал конфликт между Еврейским национальным фондом и Бен-Довом, но в конце концов стороны пришли к соглашению.

В 1923 году Яакову Бен-Дову улыбнулось счастье. В Эрец-Исраэль прибыл американский еврей Вильям Топкис, имевший опеделенный опыт в организации кинодела. Целью Топкиса было – привлечь на Святую Землю еврейских туристов, а для этого – снять фильм, рассказывающий о ней. "История американского туриста в Эрец-Исраэль" – так называлась картина, сделанная Бен-Довом, первая его картина "с сюжетом". Джон Блумберг, турист из Америки, прибыва-

ет в порт Яффо и в течение суток под руководством опытного гида знакомится с жизнью евреев в Эрец-Исраэль: большое впечатление производят на него новые поселения, учебные заведения, молодежь, уверенная, что именно здесь, на этой земле, еврейство Восточной Европы сможет решить свои наболевшие проблемы. Джон Блумберг возвращается в Америку, внеся свой взнос в Еврейский национальный фонд. Правда, в другом варианте фильма – показанном в Германии на иврите – турист обещает вернуться в Эрец-Исраэль, чтобы поселиться здесь навсегда. В эпоху немого кино варианты фильмов менялись без особого труда: достаточно было поменять титры... В дневнике Вильяма Топкиса читаем, что Яаков Бен-Дов – "великолепный мастер".

В 1926 году национальные учреждения задумали создать сюжетный пропагандистский фильм. Бен-Дов противится такому подходу: "Я никогда не создавал и не описывал вымышленных героев... Я всегда показывал жизнь такой, какая она есть..."

В этой точке снова "скрещиваются" взгляды еврейского и советского мастеров. Дзига Вертов тоже выступил против "кинематографических драм", чем вызвал недовольство своих коллег. В то время его позиция была принята партией, и это упрочило его положение. Однако придет 1949 год, начнется компания против "космополитов", и хрестоматийный Дзига Вертов будет "разоблачен" и замолчит навсегда...

Но вернемся в Эрец-Исраэль и попробуем заглянуть в кинолабораторию Яакова Бен-Дова. Его творческие секреты и приемы работы почти неизвестны современным исследователям. Мне удалось познакомиться с некоторыми из этих приемов, отыскав в Соединенных Штатах одного из сотрудников Бен-Дова. Вот как выглядел, по его рассказам, производственный процесс. Печатание фильма проводилось в определенные часы после обеда, когда солнечный луч пробивался через отверстие в ставнях на окне, выходящем на запад. Электричества не было, зато солнца – в избытке, и надо было только умело его использовать. Проявленные в ванне кинопленки сушили на прямоугольных деревянных рамах. Тут же находился кинопроектор, позволяющий видеть результаты проявочных работ...

Вот в таких условиях создавал Яаков Бен-Дов свои произведения.

В 1927 году появился ретроспективный фильм "Десять лет истории", с восторгом встреченный и в Эрец-Исраэль, и в странах рассеяния.

В статье "Сон наяву" доктор Ольга Шац писала: "Господин Я. Бен-Дов, воплотивший на экране историю нашего поколения, показал нам замечательным образом, какое будущее ожидает нас. Ему оказалось под силу передать в своих фотоработах всю таинственную глубину нашей жизни, и это – великий дар грядущим поколениям".

Газета "Ежедневная почта" так рекомендовала фильм: "Стоило бы в эти дни, дни кризиса и душевного упадка, дни отчаяния и уныния, – стоило бы, чтобы все евреи отправились посмотреть этот интересный фильм и вспомнили те дни, далекие-близкие, дни воодушевления и труда, чтобы поднялся дух их, обретая силы для продолжения строительства земли с новой энергией".

Ободренный успехом, Бен-Дов обращается к Сионистскому конгрессу за финансовой поддержкой – с целью выпуска регулярного киножурнала. Но в то же время он отказывается от предложений крупных зарубежных фирм: "Никаких дел с иностранными компаниями новостей, потому что они цензурируют содержание и режут существенное".

В начале 1929 года Я. Бен-Дов отправляется в Австрию и Германию, чтобы познакомиться с новинками кинотехнологии и закупить аппаратуру. В течение двух месяцев он изучает новую технику звукового кино. За год до того, как в тель-авивском кинотеатре "Эден" был показан первый в Эрец-Исраэль звуковой фильм, Бен-Дов предлагает создать "звуковую культурно-просветительную поэтическую картину" и обращается к известному поэту Яакову Фихману с предложением выступить в качестве сценариста. Он признает и роль профессионального режиссера – "для упорядочения и наилучшей подачи сюжета съемок". В его планах – сотрудничество с известным немецким режиссером Вилли Прагером. Но замыслы эти не были реализованы.

В большинстве своих фильмов Яаков Бен-Дов продолжает придерживаться своего постоянного принципа: киносъемки – это фиксация фактов. Он не вмешивается в происходящее перед кинокамерой, предпочитая широкий угол съемки и снимая сюжеты, которые кажутся ему достойными внимания. Только в редких случаях изменяет он этому принципу. Подобный случай – съемки в 1930 году фильма "Кфар еладим" ("Детская деревня"), в котором рассказывается об одном дне обитателей этой деревни. По-видимому, это была первая еврейская художественная короткометражная лента.

Не оставляя попыток добыть средства на создание звукового

фильма, Бен-Дов продолжает снимать немые ленты. В 1932 году он создает "Журнал Эрец-Исраэль". К этому времени уже существовало два киножурнала – "Дневник Родины" Иерушалаима Сегала и Натана Аксельрода и журнал "АГА" братьев Баруха и Ицхака Агадати. Это начинание – последняя попытка Бен-Дова остаться независимым художником. В пятидесятилетнем возрасте тяжело ему начинать сначала: он четко сознает, что эпоха немого кино завершилась, а на производство звуковых лент средств у него нет. Отчаявшись преодолеть препятствия, чинимые ему чиновниками национальных учреждений, Бен-Дов обращается с жалобой на прекращение финансовой поддержки еврейскому кино к Менахему Усышкину, возглавлявшему Еврейский национальный фонд. В полученном им ответе говорилось: "Как вам хорошо известно, число кинофирм в Эрец-Исраэль увеличилось за последнее время, и все это стало чистым бизнесом. Огромные инвестиции, произведенные национальными фондами в создание фильмов в Эрец-Исраэль, проложили путь для развития этой отрасли, и нам нечего стыдиться своего участия в этом".

Еще какое-то время Яаков Бен-Дов снимает по заказу рекламные ролики, делает титры на иврите к зарубежным фильмам, работает оператором на съемках фильма "Мечта моего народа" компании "Кол ор"... Но он уже сознает, что "сходит с круга". К тому же и зрение мастера, по свидетельству его ассистента Гдалии Сегаля, начинает подводить его. Яакову Бен-Дову, открывшему эру еврейского кино, приходится уступить свое первенство молодым, динамичным соперникам, которые видят в нем лишь художника, вышедшего из моды...

Свой киноархив Яаков Бен-Дов предлагает приобрести Национальной библиотеке. Он оценивает его в 2000 фунтов, с тем, чтобы выплата этой суммы производилась отдельными платежами. Два года длится бесплодная переписка с официальными учреждениями, и в конце концов доведенный до отчаяния Бен-Дов продает свою коллекцию всего лишь за 100 фунтов. Купил ее Барух Агадати. Отдельные важные фрагменты фильмов Бен-Дова он включил в свою картину "Вот она, эта земля" (1935), не потрудившись, однако, выразить в титрах благодарность их автору.

В середине семидесятых годов Архив современного еврейского фильма, носящий имя Стивена Спилберга, приобрел "коллекцию Агадати", куда входили и уцелевшие фрагменты лент Яакова Бен-Дова. Так обрели они свое достойное место в одном из зданий На-

циональной библиотеки на горе Скопус – именно там, где хотел поместить их сам мастер сорок пять лет назад.

Натан Аксельрод

1926 год – веха в истории еврейского кино. В этот год в Эрец-Исраэль репатриировался из Советского Союза Натан Аксельрод (1905-1987).

Родом Натан Аксельрод из Белоруссии. Его дядя, Павел Борисович Аксельрод, русский революционер, один из лидеров меньшевиков, известный оппонент и противник В. И. Ленина. Детство будущего основоположника израильского художественного кино прошло в местечке Дубровно. Война и погромы вынудили семью двинуться на юг, так Аксельроды оказались в Полтаве, где продолжили свое семейное дело – фармацевтику. Способности и силу характера Натан проявил очень рано. Уже в двенадцать лет сказались его предприимчивость, изобретательность и... любовь к кино: завязав дружеские связи с человеком, демонстрировавшим немые фильмы, он получал от него обрывки лент и "демонстрировал" их с помощью кинопроектора, сделанного собственными руками. В шестнадцать лет он руководил лабораторией в аптеке, принадлежавшей семье, и под его началом работало двадцать человек. По словам самого Аксельрода, в этой лаборатории он изучил основы оптики и фотопроцессов. Через три года он снова сделает попытку войти в мир кино: соберет драматический кружок и начнет снимать любительские фильмы. Но к этому времени главным в его жизни станет участие в молодежном сионистском движении, это поглотит его полностью, и все иные увлечения придется временно оставить...

Первые практические связи Натана Аксельрода с кинематографом – перевод титров на украинский язык. В 1925 году он побывал в Москве и впервые увидел киностудию и оборудование для производства фильмов. Именно в это время Сергей Эйзенштейн снимал там "Броненосец "Потемкин". Аксельроду удается запастись киноматериалами, и он задумывает снять фильм "Сорочинская ярмарка" по повести Н. В. Гоголя.

Осуществлению этого замысла помешал арест. За сионистскую деятельность Аксельрод был приговорен к трем годам ссылки в Сибирь. И здесь опять-таки проявился его характер: в знак протеста



Натан Аксельрод

он объявил голодовку. Времена еще были относительно либеральные – ссылку в Сибирь заменили высылкой из Советского Союза. Через два месяца после своего ареста Натан был освобожден и вполне легально покинул Советский Союз.

"Прибыв в Эрец-Исраэль, я наивно полагал, что здесь существует развитая кинопромышленность, но такого плачевного положения дел я и представить себе не мог, – вспоминает Натан Аксельрод. – Молодежь прибыла сюда, чтобы обрабатывать землю, и когда я рассказал, что хочу сделать фильм, – надо мной просто смеялись. Вскоре выяснилось, что в Иерусалиме есть фотограф Яаков Бен-Дов. Я поехал к нему и нашел на иерусалимской улице Яффо маленькую фотомастерскую, увешанную фотографиями. К счастью, Я. Бен-Дов говорил по-русски, но по части производства фильмов был весьма скептически настроен. Я же думал о производстве сюжетных, а не документальных фильмов. Я. Бен-Дов уверял, что для успешного проката необходимо, по крайней мере, 40 миллионов зрителей...

– Вот Британия – это империя, Франция и Германия – великие державы, у России и у США – развитая кинопромышленность, но у маленьких европейских стран нет своего кино – как же снимать 'игровое кино' для еврейского населения Эрец-Исраэль, не насчитывающего и четверти миллиона? – спрашивал меня Я. Бен-Дов".

Натан Аксельрод ушел от Яакова Бен-Дова разочарованным, но пыл его был остужен лишь на короткое время.

Поселившись в Реховоте и примкнув к группе "Шахар" ("Заря"), члены которой готовились стать сельскохозяйственными рабочими, Натан не оставляет своего замысла – снять фильм. Он даже пишет сценарий: молодой человек, приехавший в Эрец-Исраэль и собирающийся работать на земле, любовный конфликт, вынуждающий его оставить кибуц, жизнь в городе – без работы, на пороге нищеты и голода... И счастливый конец – герой остается в кибуце со своей любимой.

Аксельроду удается убедить своих товарищей из "Шахара" присоединится к этому "киноприключению". Недоставало самой малости: съемочной камеры, лаборатории и – денег. И тут пришла удача: ему вызвался помочь его родственник Иерушалаим Сегал, который одним из первых начал сопровождать переводом демонстрацию иностранных фильмов. "Иерушалаим Сегал согласился, – вспоминал впоследствии Аксельрод, – выдать мне 10 фунтов стерлингов, если я докажу свои возможности получить движущееся изображение".

Воодушевленный этим обещанием, Натан стал разыскивать кинокамеру. Ему удалось найти любительскую камеру "Эрендман" – всего лишь за три фунта.

Из воспоминаний Натана Аксельрода:

"Я увидел, что смогу использовать камеру не только для съемок, но и превратить ее в приспособление для печатания фильма. Пробная лента была снята с великим воодушевлением, и первую печать я осуществил при помощи сильного света от керосиновых ламп. В то время в Реховоте не было электричества, не было и кинотеатра, но в соседнем поселении Ришон-ле-Цион был кинотеатр 'Неэман', электрогенератор снабжал его энергией. Мы всей группой поехали туда на 'премьеру': ликование присутствующих не знало границ, а я был близок к обмороку, видимо, от избытка чувств".

Начались съемки художественного фильма "Халуц" (этим ивритским словом – пионер-поселенец – называли молодых людей, прибывших осваивать новые земли в Эрец-Исраэль).

Режиссером фильма стал Александр Пэнн.

Стоит сказать здесь несколько слов об этом незаурядном человеке, которого современные израильтяне знают как знаменитого поэта (в этом качестве А. Пэнн знаком и русскоязычным любителям поэзии – в середине шестидесятых сборник его стихов был издан в Москве под редакцией Давида Самойлова). Он родился в 1906 году в Якутии. Детство его прошло в доме деда, рыбака и охотника. С 1920 года Александр живет в Москве. Учится в Государственном институте слова, увлекается поэзией Маяковского, Есенина, Пастернака, посещает Государственный техникум кинематографии, занимается боксом (он был, кстати, одним из первых тренеров по боксу в спортивном обществе "Ха-Поэл" в Тель-Авиве). В 1927 году Александр Пэнн прибыл в Эрец-Исраэль. Он деятельно участвовал в создании в 1929 году первой в Израиле киностудии "Моледет" ("Родина"), пытался организовать при студии киношколу...

Этот человек и стал первым наставником Натана Аксельрода.

Иерушалаим Сегал, продюсер фильма – впрочем, тогда еще и слова такого не существовало, – видя, что фильм "пожирает" больше денег, чем предполагалось, стал занимать Аксельрода всякими другими работами – и тому пришлось снимать титры переводных лент, делать короткометражные рекламные ролики, которые обычно демонстрировались в кинотеатрах в конце двадцатых годов.

Фильм, съемки которого начались на столь оптимистической но-

те, завершен не был.

Натан Аксельрод, пересмотревший множество фильмов, предпочитал, по его словам, стиль американского кинематографа. Но в действительности его окружение, посвятившее себя служению сионистской идее, оказало решающее влияние на большинство сделанных им картин. "Халуц", его первый фильм, был задуман вполне в духе времени, но окружающие не поняли намерений Аксельрода. В ходе съемок разыгрывалась сцена, в которой безработный герой бродит у магазинных витрин, с вожделением глядя на роскошные витрины, и в конце концов падает в голодный обморок. На следующий день в газетах появились сообщения о неких антисемитах, стремящихся очернить дело сионизма. Случай этот значительно усложнил условия работы, в самой съемочной группе возникли разногласия по поводу концовки фильма – и все это привело к тому, что съемки были свернуты.

Версия Сегала такова: придя к выводу, что у фильма нет шансов на успех, и партнеры зря растрачивают его деньги, он прекратил субсидировать производство. С этого момента завершение съемок стало невозможным...

Прежде, чем мы расскажем о следующих попытках Натана Аксельрода снять свой фильм, остановимся, чтобы поближе познакомиться с человеком, которому он обязан своим (пусть и закончившимся столь неудачно) первым прорывом в мир кино, и с которым его на годы вперед свяжет совместная деятельность.

Иерушалаим Сегал – руководитель первой израильской киностудии "Моледет", созданной в 1927 году. Свое необычное имя он получил, видимо, потому, что родился в 1898 году, вскоре после первого Сионистского конгресса, и его родители мечтали совершить алию из Иркутска, где они жили, в священный город Иерушалаим. Путь семьи в Эрец-Исраэль растянулся во времени и проходил через Ковно и Вильно, где мальчик учился и где он впервые попал в кинотеатр. Поезд на экране, двигавшийся прямо на него, так напугал юного Сегала, что в последующие десять лет он ни разу не был в кино. Его интерес к кино зародился в Египте, где в конце 1-й мировой войны он служил солдатом в Еврейском легионе. Этот интерес нашел поначалу свое выражение в его работе в качестве первого в Эрец-Исраэль переводчика иностранных фильмов, работе, которая позволила ему завязать обширные связи в мире кино. Около семи лет руководил Сегал студией "Моледет", однако производство

демонстрирована будетъ извѣстная картина

Шедеверъ Кинематографич. искусства

Жизнь евреевъ — въ ПАЛЕСТИНѢ

въ 6 частяхъ 3000 метровъ

Картина состоитъ изъ 250 картинъ

1. Жизнь евреевъ въ Палестинѣ, 2. Поѣздка въ Палестину, 3. Дорога между Одессой и Яффой, 4. Яффа и Тель-Авивъ, 5. Семинарія и женская школа, 6 Яффская гимназія и Прогулка учащихся, 7. Песахъ Тиква и Эйнъ-Ганимъ, 8 Уборка апельсиновъ въ Петахъ Тиквѣ, 9. Колонія Хадера, 10. Зихронъ-Яковъ въ Субботу и будни, 11. Работа на виноградникахъ, 12. Хайфа вершина, 13. Строющійся Техникумъ въ Хайфѣ, 14. Ферма Кинеротъ, 15. Типъ Хеймлица, 16. Тиберія, 17. Гробница Ешеботъ раббн Меиръ-балъ-несъ, 18. Гробница Моисея Маймонида, 19. Московская ферма „Мигдалъ", 20. Колонія Рошъ-Пина, 21. Сборъ миндаля 22. Саведъ, 23. По дорогѣ въ Іерусалимъ, 24 Іудейскія горы и Пещера Самсона, 25 Іерусалимъ 26. Башня Давида, 27. Стѣна плача, 28. Видъ Гробницъ Симеріона и Шимона Цадика, 29. Ядъ Авишоломъ. Гробница пророка Захарія и мѣсто ссылки прокаженныхъ, 30. Мечетъ Омара, 31. Учащіеся школы „Евра", 32. Бецалелъ, 33. Гробница Рахили, 34. Хевронъ, 35. Источники царя Соломона, 36. Гробница праотцевъ, 37. Вадъэль-Келтъ, 38. Старый Іерихонъ и источникъ пророка Элиша, 39, Новый Іерихонъ, 40 Мертвое Море и Іорданъ, 41. Ришонъ-ле-Ціонъ и винные погреба Кармель, 42. Колонія, 43. Вадъ-Ханинъ, 43, Пчеловодство въ Колоніи Вадъ-Ханинъ, 44. Празднованіе въ Колоніи „Катра" 30-лѣтіе колонизаціи Палестины, 45. Піонеры колонизаціи (Билуйцы), 46. Колонія Зихронъ, 47. Празднованіе Пасхи въ Палестинѣ.

НАЧАЛО ровно въ 6 часовъ

ЦѢНЫ МѢСТАМЪ: I-ое 40 коп., II-ое 30 коп., Учащіеся и дѣти платятъ 15 коп.

Печатать дозволено

фильмов в ней опиралось в основном на профессионализм и талант Аксельрода. Сам Сегал также снимал фильмы, и среди них есть несколько, запечатлевших события и явления большой исторической важности: основание новых поселений, в частности города Натании, отношения соседствующих евреев и арабов... Но большинство его лент носили коммерческий характер: торговая реклама или документальные ленты, сделанные по заказу заинтересованных лиц.

В доме Иерушалаима Сегала, стены которого пострадали от землетрясения 1927 года, Аксельрод создал лабораторию для проявления и печати киноматериалов. Эта лаборатория служила ему многие годы, и Сегал, снимая свои фильмы, также пользовался ее услугами.

Натан Аксельрод перенес свою кинематографическую деятельность в Тель-Авив, так как в Реховоте тогда не было электричества. Однако очень скоро выяснилось, что и в тель-авивском квартале Монтефиоре нельзя полагаться на бесперебойную подачу электроэнергии. В затемненной комнате, где проявлялась отснятая пленка, Аксельрод собрал самодельную гальваническую батарею, дававшую ток красной лампочке. Он изобрел способ печати кинофильмов с помощью зеркал, передающих солнечный свет на печатающее устройство, сооруженное на базе его первой камеры. Впрочем, и на солнце не всегда можно было положиться – облакам нет дела до кинооператоров с их изобретениями, – и был нанят мальчик, в обязанности которого входило наблюдать за облаками и предупреждать об их появлении. "Он знал иврит, а я – нет, – вспоминал впоследствии Аксельрод, – а поскольку русского этот мальчик не знал, то говорили мы на идише, и звучало это так: *'Нох цэн минутн а волкн!'* ('Через десять минут – облако!')"

В конце двадцатых – начале тридцатых годов был предпринят еще ряд попыток создать в Эрец-Исраэль полнометражный художественный фильм. Все они потерпели неудачу. К некоторым из них был причастен и Натан Аксельрод.

В 1932 году он предпринимает новую попытку. Написав сценарий "И было во дни...", он полон решимости снять по нему фильм.

Вспоминает Натан Аксельрод: "Иерушалаим Сегал не желал выступить партнером и внести свой денежный пай в производство, но не возражал против использования лаборатории и аппаратуры. Я показал написанный по-русски сценарий режиссеру Хаиму Халахми из театра 'Мататэ'. По моей смете съемки обойдутся в 15 фунтов. Эта сумма была собрана посредством личного займа каждого из компа-

ньонов – в размере трех фунтов. Займы помог устроить родственник Х.Халахми, известный экономист Шенкар, впоследствии занявший должность директора крупнейшего в стране банка 'Апоалим'".

Хаим Халахми, изучавший театральное и кинодело в двадцатые годы в Берлине, привлек к участию в съемках не только профессиональных актеров, таких, как Моше Хургель, Элина Страницка, Иехезкиэль Фридман, Барух Хадари, но и немало любителей. Партнеры официально зарегистрировали свою фирму под названием "Ф. Э. И" – Фильм Эрец-Исраэль, Хаим Халахми и К°".

Первый фильм киностудии"Ф.Э.И." – "И было во дни..." (в названии использованы первые слова Мегилат Эстер – Книги Эсфири) – это комедия в двух частях, сделанная в стиле коротких комических немых лент. Герои ленты – три супружеских пары: первая – новые поселенцы, вторая – коренные жители Эрец-Исраэль, третья – американские туристы. Все они оказываются вовлеченными в забавные ситуации во время празднования Пурим в Тель-Авиве.

В течение двух недель этот фильм демонстрировался в кинотеатре "Эден", и Натан Аксельрод лично менял пластинки и следил за показом. Картина окупила вложенные в нее небольшие средства и доставила большое удовлетворение ее создателям. Еврейская публика встретила это оригинальное местное произведение с интересом и одобрением. Тем не менее критик Шломо Бен-Исраэль в заметке, опубликованной в журнале "Колноа" ("Кинематограф"), писал с нескрываемой издевкой: "... публика приняла фильм доброжелательно, однако все отдавали себе отчет в его многочисленных недостатках".

Натана Аксельрода эта критика отнюдь не привела в отчаяние. Он по-прежнему стремится к реализации по-настоящему значительного проекта – созданию полнометражного художественного фильма. С большим энтузиазмом и с весьма скромными средствами партнеры по кинокомпании начинают новое дело: съемки картины "Одед-скиталец".

"Принесли мне, – рассказывет Аксельрод, – детский рассказ Цви Либермана, уроженца Украины, прибывшего в период Второй алии (1904-1914), – и тесть Х. Халахми был готов вложить 250 фунтов в производство фильма именно по этому сценарию! Я прочел рассказ, мне он просто-напросто не понравился, по-моему, в нем не было ничего интересного. Выбора большого, однако, у меня не было – я мог либо взяться за дело, либо отказаться от шанса снять полнометражный фильм".

Аксельрод и Халахми переписали рассказ заново, ввели в него новых персонажей. И приступили к съемкам первого еврейского полнометражного художественного фильма – пока еще немого, хотя за рубежом к тому времени звуковые ленты выпускались уже в течение шести лет. Часть денег, полученных от тестя Халахми Агарона Спивака, пошла на реконструкцию кинолаборатории и на приобретение новой кинокамеры.

Съемки велись в сельскохозяйственном поселении Нагалаль, где жил автор рассказа Цви Либерман. Он привлек к участию в фильме не только все окрестное население, включая тамошних учителей и их учеников, но и коров, кур и прочую живность. Все это позволило создать живой реалистический фон для приключений мальчика, который отправляется с друзьями в поход, но сбивается с дороги. Его встречи в пути, великолепные пейзажи – вот наполнение фильма.

Авторы решили показать свою работу представителям сионистских организаций – в надежде, что те возьмут на себя распространение картины. В ответ они, как вспоминает Хаим Халахми, услышали: "Фильм – он, конечно, есть фильм, но много в нем 'пустого пространства'. А где же строящаяся и возрождающаяся Эрец-Исраэль, где поселенцы-первопроходцы, цветущие цитрусовые плантации и оросительные устройства?"

Компания "Ф. Э. И." отправилась доснимать фильм. "Плантации" были вставлены где надо и где не надо. Но и после всех мытарств представители Национального фонда не взялись за распространение фильма.

Тем не менее картина была хорошо встречена и публикой и прессой. Особых похвал удостоились режиссура Хаима Халахми, операторская работа Натана Аксельрода и игра Менахема Гнесина, замечательного актера, одного из основателей театра на иврите.

После восьминедельного аншлага в тель-авивском кинотеатре "Эден" создатели фильма решили "сделать деньги". Они связались с американским предпринимателем, занимающимся кинопрокатом в Египте, и заказали копии для демонстрации картины за рубежом. Увы, все это обернулось горьким разочарованием и убытками, разорившими фирму: через несколько дней после получения денег за копии, предприниматель сообщил, что негатив утерян...

В 1935 году Натан Аксельрод начал снимать кинохронику в новой фирме "Кармель-фильм". Владелец одного из тель-авивских ки-

нотеатров обязался еженедельно приобретать выпуск киножурнала, и Аксельрод с увлечением принялся снимать для этих выпусков сюжеты во всех уголках Эрец-Исраэль. Его кинохроника включала в себя явную и скрытую рекламу, и это давало ему некоторую финансовую поддержку для того, чтобы иметь возможность в течение двадцати лет делать свое дело.

В конце тридцатых годов на киностудии "Кармель-фильм" каждые два-три месяца создавался также специальный выпуск – небольшой документальный фильм с определенным сюжетом: еврейская авиация, развитие долины Звулон, новое поселение Маале Хамиша, жизнь еврейских рыбаков и. т. п. В большинстве своем эти выпуски субсидировались официальными еврейскими организациями, о чем можно судить по сохранившейся обширной переписке с ними Аксельрода. Правда, скептики замечают, что эти организации не только протягивали дружескую руку, но, бывало, и подставляли ножку.

Что касается британских мандатных властей, то они не слишком доброжелательно относились к выпуску еврейской кинохроники, как и к любому иному явлению, могущему нарушить, по их мнению, равновесие между евреями и арабами. Поэтому британская цензура неоднократно вмешивалась в работу еврейских кинохроникеров, запрещая те или иные сюжеты.

С началом 2-й мировой войны прекратилась поставка материалов, необходимых для съемок, и вплоть до 1944 года кинохроника Натана Аксельрода перестала существовать.

Отснятые им хроникальные кадры остались не только в киноархивах. Сегодня они воспринимаются как важнейший документальный материал по истории Эрец-Исраэль времен британского мандата и первых лет Государства Израиль.

Мы уже упоминали о том, что Натан Аксельрод успел "вдохнуть воздуха" советского кинематографа первых послереволюционных лет и не избежал его "политизирующего" влияния. Надо сказать, что социально-политические идеи были доминантными в литературе и публицистике Эрец-Исраэль того времени. Они же определили направленность фильмов тридцатых годов, таких, как "Работа" Гельмара Ларского, "Новая жизнь" Иехуды Лихмана, "Вот она, эта земля" Баруха Агадати. Кинохроника Натана Аксельрода, вне всякого сомнения, также была поставлена на службу национальным идеям, но не будучи приверженцем социализма, Аксельрод избегал производства социально-политических фильмов в духе В. Пудовкина, и "рабочий

класс" не стал героем его произведений.

В 1938 году Аксельрод приступает к работе над звуковым фильмом "Поверх развалин", действие которого происходит во втором веке нашей эры, во время иудейского восстания против Рима под предводительством Бар-Кохбы. Это повесть об обезлюдевшей еврейской деревне, жители которой либо изгнаны, либо убиты римлянами. В живых остались только дети – и они восстанавливают все заново. Сценарий был написан на основе рассказа того же Цви Либермана, автора "Одеда-скитальца". Исторический покров – лишь способ создать фильм, насыщенный социально-политическими и национальными проблемами. Но преломленные через детское восприятие, проблемы эти выглядят упрощенными и смягченными.

Режиссером фильма был приглашен Альфред Вольф, который в то время ставил в театре "Огель" "Трехгрошовую оперу" Б. Брехта. Аксельрод подружился с ним, готовя рекламный ролик об этом спектакле, вошедший в один из его киножурналов. Все, чего Вольфу удалось добиться от актеров-любителей, среди которых были и дети, – это лишь патетическая декламация, подменявшая подлинный накал чувств.

Не могло не сказаться на съемках и время, когда создавался фильм, – время арабских беспорядков 1937-38 годов.

Обратимся еще раз к воспоминаниям самого Натана Аксельрода: "Когда начались съемки в арабской деревне близ Гедеры, то весьма скоро стало ясно, что это место опасно и нужно немедленно уносить ноги. Родители забрали своих детей и запретили им участвовать в съемках. Тогда мы начали работу с новой группой около Дгании, но и тут через два дня пришлось свернуть съемки и бежать... А вскоре после этого в деревне Шуни близ Биньямины ночью был убит сторож..."

Ситуация складывалась так, что стоило съемочной группе появиться в каком-либо месте, как ее тут же настигали арабские волнения, и приходилось вновь и вновь менять юных исполнителей. Бюджет фильма, составлявший всего лишь тысячу фунтов, не мог выдержать подобных передряг. Можно предположить, что столь скудная смета стала одной из основных причин провала съемок.

Неудача, однако, и на этот раз не сломила Аксельрода. Как мы уже говорили, он обладал тем бойцовским характером, который необходим первопроходцу в любом деле, – неукротимым энтузиазмом и волей, не отступающей перед трудностями. И потому, несмотря на

то, что работать ему приходилось практически всегда в тяжелейших условиях и творить буквально "из ничего", именно он стал одним из главных зачинателей израильского кино. Множество кинокомпаний появилось и исчезло в Эрец-Исраэль до основания Государства Израиль. Но лишь Натан Аксельрод и его "Кармель-фильм" выжили и продолжали выпускать кинохронику, документальные и даже художественные фильмы уже после провозглашения государства.

Разумеется, при тех ограниченных средствах, которыми располагал Аксельрод, при той устаревшей лаборатории в квартале Монтефиоре, в которой он проработал столько лет, трудно ему было конкурировать с новыми современными киностудиями, процветавшими в Гиватаиме и Герцлии. Но он все-таки осуществил свою давнюю мечту – делать художественные фильмы: в 1957 году он снял детскую кинокартину "Дон Кихот и Саадия Пансо", а еще через несколько лет – комедию "Везите девушек в Эйлат".

В 1962 году Натан Аксельрод, Иоэль Зильберг и Ури Зогар смонтировали из кадров старых выпусков кинохроники Аксельрода лирико-документальную ленту "Орел или решка". Фильм этот привел в восторг любителей кино, имел заслуженный кассовый успех, и многие израильтяне вспоминают его до сих пор...

Барух Агадати



Когда Барух Агадати решил всерьез заняться киноискусством, он был уже известным актером, снискавшим славу и в Эрец-Исраэль, и за рубежом. Достаточно сказать, что снятый им киножурнал представлял публике Меир Дизенгоф, первый мэр города Тель-Авива...

Барух Каужинский родился в 1895 году в бессарабском городе Бендеры. Ему было всего пятнадцать, когда он прибыл в Эрец-Исраэль и поступил учиться в академию "Бецалель". Его зажиточные

родители не разделяли сионистских устремлений юного художника, и тот добывал себе средства к жизни, работая на цитрусовых плантациях или в бригаде, прокладывающей дороги. Каждый год на летние каникулы ездил он в Россию. Разразившаяся летом 1914 года 1-я мировая война отрезала его от Иерусалима, поскольку Турция не только не позволяла русским подданным вернуться в Эрец-Исраэль, но интернировала значительную часть из них как граждан враждебной державы.

Барух перебирается в Одессу, где в тот период бурлила еврейская культурная жизнь и сионистская деятельность. Стремясь реализовать переполнявшие его художественные идеи, он начинает учиться в балетной школе-студии при оперном театре. Выдающийся еврейский поэт Хаим Нахман Бялик ищет в это время художника, способного оформить спектакль, в основе которого – его стихи. Ему представляют Баруха. В ответ на вопрос Бялика, как зовут молодого художника, поэт Яаков Фихман, рекомендовавший Баруха, отвечает с юмором: "Барух Агадати (Легендарный)".

Так родилось новое имя...

Только в конце 1919 года удалось Баруху и его брату Ицхаку добраться до Эрец-Исраэль. На сей раз Барух Агадати решил посвятить себя еврейскому танцу. Он собирает вокруг себя в Тель-Авиве артистов и организует труппу под названием "Хевре Траск". Его выступления собирают переполненные залы, его танцевальные композиции вызывают бурное восхищение публики. Еврейские танцы, покинув пределы Эрец-Исраэль, покоряют Париж, Берлин, Вену, Варшаву и другие европейские столицы. Триумфальные зарубежные гастроли Баруха Агадати длятся четыре года. Когда же он возвращается домой – с новыми современными танцами и революционными идеями в этой области искусства, – его новации не встречают понимания: консервативная публика принимает их довольно холодно.

И тогда этот разносторонне талантливый человек решил выразить себя в самом новом, самом молодом из искусств – в кино.

Барух Агадати "заразился" кино еще в России. Он приобрел кинокамеру, начал снимать. Поначалу это было любительское увлечение, со временем оно стало профессией – как живопись, как танцы.

Первая его попытка войти в мир кино относится к 1927 году и связана она с Натаном Аксельродом, который увлек Баруха идеей создать фирму по производству фильмов. К ним присоединились Иерушалаим Сегал, Ицхак Кац и Ицхак Хазин. Ицхак Кац, секретарь

Меира Дизенгофа, хорошо помнит тот день, когда он отправился регистрировать фирму под названием "АГА" (таким было шутливое прозвище Баруха), фирму с уставным капиталом в 20 фунтов – по пять фунтов на каждого компаньона. Компаньонов было пять, но у Натана Аксельрода не было не только денег на внесение пая, но даже приличного костюма (о чем свидетельствует снимок пайщиков), и он был включен в число "основателей фирмы" только благодаря своим профессиональным заслугам.

Фирма вскоре развалилась, не успев ничего создать. Но Барух Агадати уже не мог забыть о кино. И в 1931 году он решает, что пришла пора оставить танцы и всерьез заняться кино. Вместе с братом Ицхаком, взявшим на себя техническую и организационную часть дела, они создают у себя дома небольшую лабораторию и приступают к производству киножурнала "АГА" – конкурента "Дневника Родины", выпускаемого Н. Аксельродом и И. Сегалом на студии "Молодет".

"Кинотеатр "Муграби" платил нам четверть фунта за недельный прокат, да и то с трудом," – вспоминает Ицхак, полноправный партнер во всех начинаниях брата, отодвинутый в тень бурной славой Баруха.

Киножурнал "АГА" выходил на протяжении четырех лет, выпуски не были регулярными, как и выпуски "Дневника Родины".

Два пионера израильского кино – Натан Аксельрод и Барух Агадати любили рассказывать друг о друге разного рода истории. Так, Аксельрод утверждал, что Агадати обещал научить его латиноамериканским танцам, если он, Аксельрод, посвятит его в тайны киноделa. В результате – "никто из нас так ничему и не научился".

"Агадати рассказывал, что за границей он изучал режиссуру, поэтому мы и решили создать кинофирму... Мы решили провести пробные съемки ночью в Тель-Авиве. На бульваре Ротшильда установили софиты. Агадати устроил короткое замыкание, во всем городе вылетели пробки. Техники "Электрической компании" с ног сбились, пытаясь установить, куда же "убежало" напряжение... На следующее утро у всех были воспаленные глаза от мощного света прожекторов. Начались ссоры, пришлось расстаться..." – из воспоминаний Натана Аксельрода.

Каждый из них пошел своим путем, и дух соперничества, дух конкуренции не покидал их на протяжении всего жизненного и творческого пути...

В 1932 году в Эрец-Исраэль прибывает группа специалистов с дорогой съемочной аппаратурой, сумевшая привлечь инвеститоров, согласившихся вложить деньги в создание фильма об Эрец-Исраэль, интерес к которой в странах рассеяния все возрастал. Кинокомпания под названием "Офек" ("Горизонт") приступила к съемкам художественного фильма. Режиссером его был один из зачинателей венгерского кино Лазар Лайош. Однако инвеститоры вскоре пришли к выводу, что стоимость картины во много раз превысит запланированную и значит – надежды на получение прибыли весьма сомнительны. Финансирование съемок тут же прекратилось. Компания обанкротилась. Баруху Агадати удалось купить за гроши дорогое кинооборудование разорившейся компании "Офек".

Эта неожиданная удача приблизила его к воплощению давнего замысла – создать полнометражный игровой фильм.

Фильм вышел в 1935 году. Назывался он "Вот она, эта земля". Сценарий написал поэт и писатель Авигдор Хамеири. В главных ролях снимались актеры Моше Хургель, Рафаэль Клячкин, Шмуэль Роденский.

Как уже упоминалось, Барух Агадати купил у Яакова Бен-Дова собранный им киноархив. В свой фильм он включил отрывки из киножурналов Бен-Дова, фрагменты из ранее созданных собственных документальных лент – все это придало киноповествованию особую достоверность и убедительность.

Картина повествует о жизни в Эрец-Исраэль. Ее исторический стержень – пятьдесят лет поселенческой деятельности, начало которой восходит к появлению в Эрец-Исраэль первой группы "билуйцев" – четырнадцати молодых евреев из России во главе с Исраэлем Белкиндом, которые в июне 1882 года прибыли в Яффо и вскоре стали работать на земле (БИЛУ – начальные буквы библейского стиха: *"Бейт Яаков лху венелха!"* – "Дом Яакова! Вставайте и пойдем!"). История строительства новых еврейских городов Ришон-ле-Циона и Тель-Авива подана в фильме в двух временных ракурсах. С разных точек зрения показана и жизнь "халуцим". Фильм рассказывает об их проблемах, идеологических спорах, о сложном процессе вживания в новую среду. Тяжелый климат, малярия, борьба за рабочие места, отчаяние, бегство...

Несмотря на свою беспощадную правдивость, а может, именно благодаря ей, фильм привлек сердца еврейских зрителей – и в Эрец-Исраэль, и в странах рассеяния. Различные его версии с большим

успехом демонстрировались во всем мире. Однако люди, вложившие деньги в его производство, и в частности сам Агадати, не заработали ни гроша...

Барух Агадати неоднократно подчеркивал влияние Владимира Маяковского и футуризма на его деятельность в искусстве – и как танцора, и как художника, и как кинорежиссера. С другой стороны, он на практике реализовал принципы киномонтажа Сергея Эйзенштейна, знакомые ему по фильму "Броненосец "Потемкин", и стремился воплотить новаторские идеи и подражать приемам оператора Эдуарда Тиссэ, ближайшего сподвижника Эйзенштейна.

Съемки фильма "Вот она, эта земля" велись с учетом современных технических достижений мирового кино. Уже после премьеры в Тель-Авиве монтаж ленты был произведен повторно – в Будапеште. Эта новая редакция отличается высоким профессионализмом. Виртуозные построения в монтаже сочетаются с экспрессионистскими находками. В фильме явственно просматриваются установки и приемы, характерные для русской школы кино, и в частности, советского кино двадцатых годов. Черты социалистического реализма доминантны в молодом искусстве Эрец-Исраэль, и фильм "Вот она, эта земля" – одно из наглядных тому подтверждений. И в то же время он несет на себе неповторимый отпечаток взглядов, стиля, творческого почерка самого Баруха Агадати.

Своеобразие его индивидуальности, помноженное на мастерство постановщика, обусловило удивительный контакт между зрительным залом и происходящим на экране.

Фильм "Вот она, эта земля", протянув нить из прошлого к настоящему, как бы устремлялся в будущее.

Его сопровождал авторский манифест, который начинался такими – несколько высокопарными, на наш сегодняшний взгляд, – словами:

"Не представление, не остросюжетный рассказ с драматическими перипетиями – а сам сгусток жизни, в высшей степени драматичной, чьи герои решили преобразовать застывшую, мертвую природу в цветущую, животворящую, в мощном взаимодействии души и тела – по следам великанов духа – навстречу новой судьбе народа, рассеянного и изнуренного, насчитывающего семнадцать милллионов во всем мире..."

Так они чувствовали, так воспринимали мир – люди, которые были зачинателями израильского кино. Им было трудно, они вына-

шивали замыслы, которые редко могли воплотить в жизнь, они работали в условиях, в которых, казалось бы, невозможно ничего сделать, но они делали невозможное, они пробовали и ошибались, терпели крах и не отчаивались, шли по пути, проложенному мастерами мирового кино, чаще всего советского, потому что были выходцами из России, и искали свою дорогу, создавали свое – еврейское кино. И, похоже, всегда ощущали, как выразил это в том же своем манифесте Барух Агадати, что "улыбающаяся надежда мира обращена к вечному народу".



Зеев Жаботинский – юрист

Яков Айзенштат
(Иерусалим)

Мое поколение – поколение зачинателей, и нам создавать государствоведение Израиля от алеф до тав.

Зеев Жаботинский

Редкой талантливости Зеева Жаботинского воздавали должное даже его непримиримые противники. Один из них так откликнулся на его кончину: "Разбилась многострунная арфа".

Действительно, на этой арфе струн было много. И разные струны привлекали внимание тех, кто писал о Жаботинском. Писали о его литературном таланте, журналистских и ораторских достижениях, о его драматургии и публицистике, о его военной и политической деятельности, писали, конечно же, и о Жаботинском – сионистском лидере.

Вне внимания писавших остался Жаботинский-юрист, с жаром боровшийся за права евреев и еврейское государство, юрист с большим интересом к вопросам государства и права. И в изданных биографиях и энциклопедических статьях о нем даже не упоминается, что Жаботинский имел высшее юридическое образование и защитил диссертацию на звание магистра юридических наук.

Именно об этом автор и намерен рассказать в предлагаемой статье.

В статье использованы архивные материалы, любезно предоставленные автору музеем Зеева Жаботинского в Тель-Авиве.

Частое цитирование в статье печатных и устных высказываний Жаботинского объясняется тем, что его русский язык так ярок, что во многих случаях не хотелось излагать его взгляды, а предпочтительнее было предоставить слово ему самому.

I

Зеев Жаботинский начал изучать юриспруденцию в Бернском университете на отделении права весной 1898 года.

Через несколько месяцев он переехал в Рим и там три года занимался на юридическом факультете Римского университета.

Вспоминая учебу в Риме, Жаботинский рассказывает, что на него большое влияние оказал профессор университета Энрико Ферри. Официально курс в университете назывался "Уголовное право", то есть был посвящен учению о преступлении и наказании, но лекции Ферри отличались поистине энциклопедической широтой, охватывая ближнее и дальнее, явное и тайное, общество, душу, наследственное право, материю и дух, переустройство общества, литературу, искусство и музыку. Жаботинский отмечает: "Энрико Ферри благодаря своему ораторскому искусству властвовал над нами, считался одним из десяти лучших ораторов в Европе своего поколения, собратом Жореса по гениальности в этой области".

Летом 1901 года Жаботинский приехал из Рима в Одессу, но был намерен вернуться в Италию и закончить курс обучения на юридическом факультете Римского университета.

Однако ему была предложена интересная журналистская работа, и он не устоял перед этим искушением, отказался от диплома, от карьеры адвоката, от любимой Италии и остался в Одессе.

В связи с этим у многих возникло представление, что Жаботинский не завершил своего юридического образования, не стал юристом, и такое неправильное представление отразилось во многих публикациях о нем.

В действительности же этот отказ носил временный характер. В 1912 году Жаботинский поехал в Ярославль, губернский город, расположенный к северу от Москвы, где тогда было старинное высшее юридическое учебное заведение – Демидовский лицей. Там Жаботинский экстерном сдал экзамены за полный курс юридического факультета, получил университетский диплом, защитил диссертацию на тему "Самоуправление национальных меньшинств", и ему была присвоена ученая степень магистра юридических наук.

Университетский диплом дал Жаботинскому право жительства вне "черты", и конкретно в Петербурге, и избавил его от необходимости тратить деньги на взятки дворникам и полицейским чинам, как ему приходилось это делать до получения диплома.

В 1916 или 1917 году подлинник диплома пропал, и в письме из Парижа от 1 июня 1927 года Жаботинский обратился к М.Горькому с просьбой о содействии в получении дубликата диплома. Горький согласился помочь, но ему не было ясно, в чем конкретно должна была состоять помощь. 9 июня 1927 года Жаботинский пишет Горькому более подробное письмо, где объясняет, что ему надо было бы обратиться к Луначарскому (тогда Народному Комиссару просвещения), а он, по мнению Жаботинского, откажет или не ответит.

Горький помог получить дубликат диплома, и тогда последовало письмо Жаботинского Горькому от 8 июля 1927 года с благодарностью. В нем говорилось: "Большое Вам спасибо за помощь. Если могу отслужить чем-либо, в пределах моей возможности, прошу располагать мною"*.

Мне очень хотелось познакомиться с диссертацией Зеева Жаботинского, защищенной им в 1912 году в Ярославле. В музее Жаботинского в Тель-Авиве и в других местах диссертации не было. Тема диссертации "Самоуправление национальных меньшинств" весьма интересна, и мне представлялось, что Жаботинский не мог не опубликовать ее, ибо широко публиковал в те годы то, что писал.

Мне удалось установить, что в 1913 году в журнале "Вестник Европы" им была опубликована большая статья "Самоуправление национальных меньшинств". Ознакомившись с ней, я убедился, что по стилю и содержанию это не журнальная статья, а главные фрагменты диссертации. Публикация изобилует юридической терминологией, ссылками на труды видных юристов, содержит рассуждения, характерные для юридических исследований и диссертаций.

Высшее юридическое образование, начатое Жаботинским в Берне и Риме, а затем оформленное получением диплома в Ярославле, дало ему очень много. Во всех статьях и выступлениях, посвященных борьбе за права евреев и еврейское государство, чувствуется, что автор владеет методикой юридической аргументированной полемики как в печатных, так и в устных выступлениях. Все это умножалось литературным талантом и ораторскими способностями Жаботинского.

---

*Переписку В.Е.Жаботинского с А.М.Горьким см. в рубрике "Архивы и мемуары" настоящего сборника.

II

В еврейском государстве Жаботинский видел спасение для евреев, живущих в России и других странах. Но он придавал серьезное значение и борьбе за права евреев в галуте, в тех странах, где они пока проживают.

Гельсингфорс (Хельсинки), столица Финляндии, стал важнейшей вехой в жизни Жаботинского. Это было в 1906 году. В Гельсингфорсе собрались посланцы сионистских организаций со всей России, и после обсуждения приняли предложенный 26-летним Жаботинским документ, вошедший в историю под именем "Гельсингфорской программы". Программа включала 7 пунктов:

1) демократизация России на основе национальной автономии и парламентаризма; признание всей полноты прав всех национальных меньшинств;

2) полное равноправие евреев;

3) участие национальных меньшинств на равных правах во всех выборах;

4) признание всей полноты национальных прав евреев как автономной нации;

5) основание национальной организации для евреев России;

6) гарантированное право пользования национальными языками в судах, школах, общественных учреждениях;

7) право евреев на выходной день в субботу вместо воскресенья.

На протяжении всей своей дальнейшей жизни Жаботинский обращался к этой программе. Он выступал против еврейской ассимиляции и четко ставил вопрос о гражданских правах евреев, проживающих в России. Жаботинский писал: "Я националист и вовсе не ощущаю себя при этом гражданином второрго сорта. Я имею в этой стране такие же права, как и русский. Я хочу говорить, писать, учиться, судиться на своем национальном языке. Я не намерен приноравливаться ни к кому и ни к чему и, наоборот, требую, чтобы государство примерялось к моим национальным требованиям в той же мере, в какой оно обязано примеряться к требованиям русских, украинцев, поляков и т.д."

Такого идеального положения в отношении прав евреев достигнуть в России никогда не удавалось. Реальным выходом было лишь создание еврейского государства, где могут быть обеспечены права евреев. Но реальным было и то, что при любой успешной реализа-

ции сионистских идей, при создании и успехах еврейского государства галут будет существовать еще долго, и сформулированная Жаботинским программа сохраняет свою актуальность и сегодня.

III

Жаботинский считал себя сионистом от рождения. Он вспоминал, что в семилетнем возрасте задал матери вопрос: "Будет ли у нас, евреев, своя страна?" Мать ответила: "Будет конечно же, дурачок!" Она знала, что будет страна и туда поедут евреи.

"Это не было 'мировоззрением', это было естественным делом – таким же, как мытье рук и тарелка супа в обед" – вспоминал Жаботинский.

С 20 лет это стало для Жаботинского мировоззрением. Живя в Италии, он убедился в том, что в либеральной стране, где итальянцы составляют почти 100% населения, царило спокойствие, не было шовинизма, никто никого не задевал и не притеснял. "Сионизм, – писал Жаботинский, – это так же естественно, как вода и воздух. Человеку достаточно просто окинуть взглядом Божий мир. А как называется данный уголок Божьего света – Италия, Англия или Франция, – неважно".

Жаботинский пришел к выводу, что национальное возникает не только на почве воспитания, а лежит в "крови" человека, в его физически-расовом типе, в его психике.

Каждому этническому коллективу удобнее жить в такой социальной обстановке и атмосфере, которая отвечает его вкусу. Идеальным условием для этого является своя земля и собственная государственность. Жаботинский подчеркивал, что главным в такой национальной обстановке и атмосфере является не язык и не литература: главное, в чем сказываются национальные оттенки духа и темперамента – "психика" нации, есть государственный строй и хозяйство.

Еврейскую государственность Жаботинский мыслил восстановить в Эрец-Исраэль. Были, однако, деятели, которые считали возможным создать еврейское государство на другой территории.

Приверженность к Эрец-Исраэль у Жаботинского возникла из понимания национального единства евреев, которое придавало смысл всей их истории. Он писал: "До Палестины мы не были народом и не существовали. На почве Палестины возникло, из осколков раз-

ных племен, еврейское племя. Почва Палестины взрастила нас, сделала гражданами; создавая религию единого Бога, мы вдыхали ветер Палестины, и борясь за независимость и гегемонию, дышали ее воздухом и питались злаками, рожденными из ее почвы. В Палестине выросли идеологии наших пророков и прозвучала 'Песня песней'. Все, что есть в нас еврейского, дано нам Палестиной, все остальное, что в нас имеется, не есть еврейское. Еврейство и Палестина – одно и то же. Там мы родились как нация и там созрели. И когда буря выбросила нас из Палестины, мы не могли расти дальше, как не может расти дальше дерево, вырванное из земли. И вся наша жизнедеятельность свелась к охране той нашей индивидуальности, которую создала Палестина".

Жаботинский интересовался проблемой морального облика евреев в связи с тем, что ставился вопрос об "аморальности" строительства еврейского государства в Палестине из-за нарушения интересов арабского населения. Он доказывал, что передача Палестины еврейскому народу для заселения и возрождения еврейского государства вещь идеально справедливая, идеально нравственная. "Я не принадлежу к тем, которые считают в наше время лишним и наивным заботиться об этической стороне в политике. Еврейский народ не должен и не может покидать в своих выступлениях и требованиях почву права.

Мы стоим на этой почве, когда требуем от мира передать в наши руки страну нашего будущего, во имя всей нашей истории, всех наших страданий, во имя всей той безмерной вины перед нами, которую мир несет на своей совести". Жаботинский заявил: "Мир, в котором нет у еврейского народа своего государства, – это мир грабителей и разбойников, дом позора, не достойный существования, даже если все остальные проблемы решены наилучшим образом".

Жаботинский считал, что еврейский народ может добиться создания своего государства политическими средствами, но всегда придавал большое значение военному аспекту. Он приложил грандиозные усилия для подготовки еврейских военных формирований в первую и вторую мировые войны с тем, чтобы еврейский голос был услышен на мирных конференциях и было бы принято международное решение о создании еврейского государства.

Жаботинский обращался к еврейским массам, далеким от оружия, с призывом: "Учитесь стрелять!" И пояснял свой призыв так: "Из всех условий возрождения государства умение стрелять, к сожалению, сейчас самое главное". Эта необходимость вытекала подчас из-

за арабского окружения, а иногда из отношений с английской администрацией.

Англичане запрещали Жаботинскому въезд в Эрец-Исраэль, но он из Европы руководил национальной военной организацией (ЭЦЕЛ). В 1936 году ему было присвоено звание Командующего ЭЦЕЛ, и это звание было сохранено за ним до конца его жизни.

IV

Жаботинский раньше других понял, какая смертельная опасность грозит евреям Европы со стороны нацистов, и уже в 1931 году выдвинул лозунг "Эвакуация!" Он объяснял, что план эвакуации касается миллионов евреев, которым грозит опасность. Этот план провозглашается евреями, как суверенной нацией, которая должна искать средства к спасению.

Жаботинский обращался со своими призывами об эвакуации в 1931, 1936, 1939, 1940 годах. На митинге в Варшаве в мае 1939 года он говорил: "Самое страшное – это то, что я вижу у многих и многих евреев Восточной Европы: равнодушие, этакий фатализм. Люди ведут себя так, словно они приговорены. Такой покорности судьбе еще не знала история, даже в романах я ничего подобного пока не встречал. Как будто бы усадили в телегу небольшую группу – каких нибудь 12 миллионов – и пустили телегу к обрыву. Телега себе едет к обрыву, а люди – кто плачет, кто курит, кто газету читает, кто молится, и никому в голову не приходит взяться за вожжи и повернуть телегу. Как будто под наркозом люди".

В заключительной части этой своей речи Жаботинский сказал: "Я пришел к вам с последней попыткой. Я зову вас, проснитесь! Попробуйте остановить телегу, попробуйте спрыгнуть с нее, как-то заклинить ее колеса, не идите как стадо на бойню! Даже овцы, когда волк задерет вторую-третью из стада, пытаются убежать. А тут, Господи, да тут какое-то огромное кладбище!"

Спустя год-два Восточная Европа действительно превратилась в огромное кладбище для евреев, не захотевших услышать его предостережений и призывов.

Создаваемое еврейское государство, Палестину Жаботинский считал "спасительным островом". Он писал: "И мы ставим наши паруса и верим, что буря – страшный тайфун антисемитизма – погонит ко-

рабли к спасительному острову".

Однако, когда на европейское еврейство обрушилась катастрофа, корабли к спасительному острову не допускали. Произошла величайшая трагедия, унесшая жизни одной трети еврейского народа. Эта трагедия стала одним из факторов, способствовавших созданию еврейского государства спустя несколько лет.

V

Каким же должно быть еврейское государство? Жаботинский многократно и подробно излагал, каким он видит его.

Во главу угла он ставил индивидуума, считал, что любой конкретный человек есть не кто иной, как венец творения, царь, равный по достоинству ближнему своему, который, в свою очередь, является таким же царем. Ради блага отдельного индивидуума должно существовать общество и государство.

Подчинение законам государства есть выражение свободной воли и согласия отдельного гражданина. Концепция эта по самой своей сути антитоталитарна.

Жаботинский считал, что подлинная демократия – это прежде всего свобода. Что же до власти большинства, то она вполне может оказаться и тиранической по отношению к отдельным лицам или группам людей. В еврейском государстве общественное устройство должно быть таким, чтобы меньшинство в нем не осталось беззащитным. Цель демократии – гарантировать меньшинству возможность влиять на происходящее в стране. В конце концов, из кого состоит меньшинство, как не из индивидуумов.

В 1935 году Жаботинский сформулировал проект Основного закона создаваемого еврейского государства и внес его на рассмотрение конгресса Новой сионистской организации в Вене. Там было сказано: "Цель сионизма – избавление Израиля и его земли, возрождение его языка и государства, укоренение святых принципов Торы в жизни нации. Пути к достижению этого: создание еврейского большинства в Эрец-Исраэль, воссоздание еврейского государства на принципах гражданской свободы и социальной справедливости в духе Торы Израиля, возвращение в Сион всех любящих его и конец рассеянию. Провозглашается равный приоритет интересов личности, общества и классов".

Его упрекали за слова "об укоренении принципов Торы". Жаботинский писал, что это не значит отказ от современной науки, но "мы постараемся показать, что источник всех истиных достижений науки в области этики, морали, исправления мира – в нашей традиции, и то, чему мы научились у других, – не что иное, как толкование того, чему они сами научились у нас". "Именно это я имел в виду – писал Жаботинский, – внеся в предложенный мною в Вене проект слова 'укоренение священных принципов Торы в жизни нации'".

На Жаботинского и его сторонников пытались наклеить ярлык фашистов, для которых государство – это все, а личность – ничто.

Отвечая на эти обвинения, он писал: "Как и абсолютному большинству моих товарищей, – так и мне свойственна просто слепая ненависть к идее 'государство – это все'. И равно чужды нам и коммунизм и фашизм. Мы верим только в парламентаризм, который зачастую так неудобен и неповоротлив".

Жаботинский считал необходимым использовать западные формы государственного устройства. Он писал: "Во Франции управляет 'Кабинет'. В Америке – президент. И обе республики демократичны от темени до пят".

Он понимал сложность построения еврейского государства, ибо длительное пребывание в галуте отразилось на еврейском народе весьма печально. Он ставил задачу: "сформировать тип еврея, который необходим народу, чтобы как можно быстрее и лучше решить задачу построения государства. Другими словами – создать 'нормального' или 'здорового' гражданина этого государства. И здесь скрыта огромная трудность, ибо ныне еврейский народ 'не нормален', 'не здоров', и жизнь в галуте со всеми ее прелестями мешает нам воспитать 'нормального' и 'здорового' гражданина. За две тысячи лет галута наш народ утратил цельность, готовность сплотиться вокруг общенациональной задачи, разучился защищать себя с оружием в руках перед лицом опасности; он привык к разговорам, а не к делу; в его жизни воцарилась дезорганизация, безалаберность возведена в принцип".

Он писал: "Когда перед поколением, или несколькими поколениями подряд стоит всепоглощающая историческая задача – создать государство, тогда мы требуем от этих поколений: отбросьте все другие мечты, служите только одному идеалу".

В целях построения еврейского государства Жаботинский прида-

вал большое значение воспитанию в еврейском народе самодисциплины. Он писал: "Когда мы слушаем оркестр, беспрекословно повинующийся палочке дирижера, и у нас создается впечатление абсолютного единства, это значит, что каждый из оркестрантов вложил огромный труд в достижение такого единства... Руководителем, дирижером, архитектором может быть один человек, может быть 'комитет', – обе формы равно демократичны – до тех пор, пока в силе наша доверенность, данная им или ему".

Многие предначертания Жаботинского, но далеко еще не все, воплощены в существующем уже почти полвека еврейском государстве.

VI

Жаботинский говорил, что еврейское государство – не конечная цель сионизма. Оно – первый шаг к цели. Затем последует второй шаг – возвращение из галута в Сион. И третий, последний шаг – это то, ради чего, по сути, и существуют нации, – создание могучей национальной культуры.

На протяжении десятков лет Жаботинский проявлял заботу о возрождении в новом еврейском государстве еврейской национальной культуры.

Живя вне Израиля, он вошел в состав подготовительного Комитета по созданию в Иерусалиме университета, разработал план созыва съезда еврейских ученых для составления технической терминологии на языке иврит и поручил профессору Самуилу Айзенштату подготовить юридический словарь, основанный на Библии и Талмуде.

Жаботинский стремился к тому, чтобы в еврейском государстве сосредоточились самые выдающиеся деятели национальной культуры.

8 января 1921 г. он отправляет письмо Горькому, в котором просит оказать содействие в выезде из России Бялика и указывает, что "нам в Палестине он нужен как поэт и как лучший из работников школьно-идеологического дела".

Жаботинский высоко ценил Бялика и писал о его произведениях: "Это не только будут читать, этому учиться будут у Бялика – доколе будет светить солнце, доколе будет жива молодость в нашей земле и доколе в устах нашего народа будет звучать этот изумительный язык – переливающийся, как калейдоскоп, твердый, как железо,

сверкающий, как золото, бедный словами, но богатый понятиями, жестокий во гневе, едкий в насмешке, нежный, как колыбельная, язык, слова которого иногда грохочут, как камни при горном обвале, а иногда – шелестят, как трава весенним утром, язык неповоротливый, с медвежьими когтями и крыльями жаворонка, язык Десяти заповедей и Исайи, язык проповедей и 'Песни песней', язык 'Песни дождя' и Иеремии, язык забытый и незабываемый, похороненный, но вечно живой – язык Бялика". Уместно вспомнить здесь превосходные переводы Бялика на русский язык, сделанные Жаботинским, и признание Горьким Бялика великим поэтом, воплощением духа своего народа.

Возникала и проблема, какой характер будет носить культура еврейского государства – восточный или европейский. Жаботинский выступал за европейский характер. И аргументировал свою точку зрения так: "Мы не только давно живем в Европе, не только многое у нее переняли. Мы, евреи, были и остаемся народом, внесшим крупнейший вклад в формирование и развитие европейской культуры. Эта культура сформировалась 'на базе' нашей религии, у нее она переняла основную идею – незавершенности этого мира, необходимости его исправлять... А затем, в последние восемьсот лет, т.е. с момента появления первых проблесков зари Возрождения, пробуждения Европы от средневековой спячки, представители еврейского народа стали вносить огромный 'персональный' вклад в европейскую культуру – философы, поэты, музыканты, финансисты, ремесленники, политики. Евреи 'вложили' в общеевропейскую культуру не меньше, чем итальянцы, немцы, французы, англичане, у нас не меньше 'авторских прав'. И в Эрец-Исраэль мы продолжаем эту работу – теперь уже в чисто национальной, еврейской форме".

По Жаботинскому, создание еврейского государства означает продвижение европейской культуры на Ближний Восток.

VII

В разработанной им концепции еврейского государства Жаботинский отводил весьма значительное место арабскому вопросу. Он много говорил и писал на эту тему на протяжении всей своей деятельности. Особо примечательны в этом плане его статьи 1923 года "О железной стене" и "Этика железной стены" и его книга "Фронт

борьбы еврейского народа" (1940 год).

Жаботинский указывал, что "Эрец-Израиэль – территория вполне достаточная для миллиона арабов и миллиона их потомков... для миллиона евреев – и для мира".

Он часто касался и этической стороны заселения Палестины евреями. Когда высказывались сомнения по этому поводу, то Жаботинский писал: "Земля принадлежит не тем, у кого ее слишком много, а тем, у кого ее нет. Отсудить участок у народа-латифундиста для того, чтобы дать очаг народу-скитальцу, есть акт справедливости. Если народ-латифундист этого не хочет – что вполне естественно, – то его надо заставить. Правда, проводимая в жизнь силой, не перестает быть святой правдой".

Вместе с тем Жаботинский категорически выступал за то, чтобы в будущем еврейском государстве арабы, которые в нем останутся проживать, не притеснялись, а пользовались всеми гражданскими правами. Он писал, что вытеснение арабов из Палестины, в какой бы то ни было форме, считает абсолютно невозможным, что в Палестине всегда будут два народа. Он гордился принадлежностью к той группе, которая формулировала Гельсингфорскую программу не только для евреев, а для всех народов, и основа этой программы – равноправие наций. Жаботинский заявлял, что готов "присягнуть за нас и за потомков наших, что мы никогда этого равноправия не нарушим и на вытеснение или притеснение не покусимся".

Естественно, что Жаботинский подробно рассматривал вопрос о том, как заключить соглашение с арабами, как, опираясь на еврейскую силу, на "железную стену", прийти к мирному сосуществованию бок о бок с арабами. Жаботинский писал: "Покуда есть у арабов хоть искра надежды избавиться от нас, они этой надежды не продадут ни за какие сладкие слова и ни за какие питательные бутерброды, именно потому, что они не сброд, а народ, хотя бы и отсталый, но живой.

Живой народ идет на уступки в таких огромных, фатальных вопросах только тогда, когда никакой надежды не осталось, когда в железной стене не видно ни одной лазейки. Только тогда крайние группы, лозунг которых 'ни за что' теряют свое обаяние, и влияние переходит к группам умеренным. Только тогда придут эти умеренные к нам с предложением взаимных уступок; только тогда станут они с нами честно торговаться по практическим вопросам, как гарантия против вытеснения, или равноправие, или национальная само-

бытность; и верю и надеюсь, что тогда мы сумеем дать им такие гарантии, которые их успокоят, и оба народа смогут жить бок о бок мирно и прилично. Но единственный путь к такому согласию есть железная стена, т.е. укрепление в Палестине власти, недоступной никаким арабским влияниям, т.е. именно то, против чего арабы борются. Иными словами, для нас единственный путь к соглашению в будущем есть абсолютный отказ от всяких попыток к соглашению в настоящем".

Эти взгляды Жаботинского, изложенные более полувека тому назад, сохраняют свою актуальность и при решении многих вопросов арабо-израильских отношений сегодня.

VIII

Вторая мировая война застала Жаботинского в Лондоне. Он выдвинул идею создания еврейской армии в 100 000 человек для сражений на всех фронтах войны. Это должно было дать право еврейскому народу на мирной конференции поставить вопрос о создании еврейского государства. В марте 1940 года Жаботинский прибыл в Нью-Йорк и занялся реализацией своего плана. Но 4 августа 1940 г. от внезапного сердечного приступа он умер.

В своем завещании Жаботинский указал: "Хочу, чтобы меня погребли там, где меня застигнет смерть; мои останки не следует перевозить в Эрец-Исраэль иначе, как по указанию еврейского правительства этого государства, которое будет создано".

Правительство Израиля во главе с Леви Эшколом в 1964 году выполнило волю Жаботинского. Его прах и прах его жены покоится на горе Герцля в Иерусалиме.

Имя Жаботинского останется в веках, как имя корифея русской культуры, ставшего одним из талантливейших лидеров борьбы за права евреев, за создание и расцвет еврейского государства и культуры еврейского народа.

Основные источники

1. Зеев Жаботинский. Повесть моих дней. Иерусалим, 1989.
2. Зеев Жаботинский. Избранное. Иерусалим, 1990.
3. Зеев Жаботинский. Самсон Назорей. Иерусалим, 1990.
4. Зеев Жаботинский. Пятеро. Иерусалим, 1990.
5. В.Жаботинский. Еврейское государство. Тель-Авив, 1974.
6. Д-р Иехуда Бен Ари. Зеев Жаботинский. Биографический очерк. Тель-Авив, 1982.
7. Зеев Жаботинский. Биографический очерк. Тель-Авив, 1988.
8. Архивные материалы музея Жаботинского в Тель-Авиве.
9. Письма Зеева Жаботинского Максиму Горькому. Вестник Еврейского университета в Москве. 1992. №1.
10. Зеев Жаботинский. Опыт автобиографии. Вестник Еврейского университета в Москве. 1993. №3.
11. Иосиф Недава. Вехи жизни. Зеев Жаботинский. Избранные статьи и речи. Иерусалим, 1991.
12. Моше Бела. Мир Жаботинского. Издание Свободного еврейского университета в Москве. 1992.

Искусство

Редактор Марина Генкина

Александр Бахрах
Монпарнасский "Улей" (По памяти, по записям... II)

Публикация Григория Поляка (США)

Дар Берты М. Ципкевич
О коллекции Л.Бакста в Музее Израиля (Иерусалим)

Марина Генкина (Израиль)

Мане-Кац, художник из Кременчуга

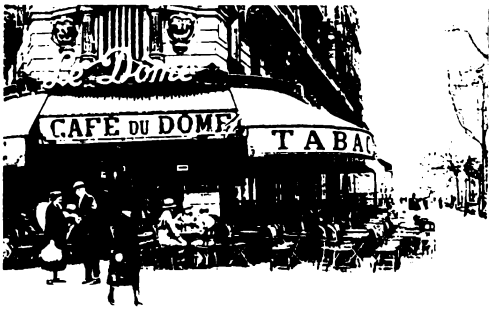
Любовь Латт (Израиль)

Наум Габо (1890-1977) и Антуан Певзнер (1886-1962)

Дора Коган (Израиль)

Савелий Сорин в Крыму и Закавказье в 1917-19 гг.

Джон Боулт (США)



Александр Бахрах
Монпарнасский "Улей"
По памяти, по записям...
II

Публикация
Григория Поляка
(Нью-Йорк)

Александр Васильевич Бахрах по праву занимает особое место в литературе русской эмиграции. Прожив долгую и насыщенную событиями жизнь (1902-1985), он в течение полувека оставался свидетелем и летописцем того литературного процесса, который становится теперь достоянием миллионов читателей России. Бахрах родился в Киеве, но очень скоро переехал в Петербург, где провел годы юности. Затем эмигрировал в Варшаву, откуда в 1920 г. перебрался к деду в Париж. В Париже учился в Сорбонне, а с конца 20 по 23 год жил в Берлине, который в те времена был центром литературной жизни эмиграции. Затем снова возвратился в Париж и прожил во Франции до конца своих дней. А.В.Бахрах знал почти все европейские языки, был одним из близких друзей Бунина, дружил и переписывался с Ходасевичем, Ремизовым, Цветаевой, встречался с Есениным, Маяковским, Шкловским, Бабелем, Эренбургом, провел многие дни на Монпарнасе в среде русских художников, составляющих гордость мировой культуры XX века.

Я познакомился с А.В.Бахрахом в Париже в 1975 г., когда собирал материал для книги о Чаянове – Бахрах одно время был секретарем Чаянова. Это был высокий, красивый, умевший великолепно держаться парижанин, оставлявший после себя яркое впечатление. Позже мы довольно долгое время переписывались, у меня сохранилось более тридцати его писем, многие из которых представляют собой интересные свидетельства эпохи.

Известный поэт и литературный критик проф. Ю.П.Иваск в предисловии к первой книге "По пямяти, по записям" писал: "Бахрах хорошо знает – что может и хочет делать и чего не может, да и не хочет. Не творит он мифов, как Андрей Белый или Марина Цветаева, стремившаяся показать поэтов во весь рост, или даже высший замысел о них. Цветаевой это куда лучше удавалось, чем Белому, но она иногда

очень уж изменяла облик своих героев-героинь. А Бахрах не мифотворец. Он просто пишет свои портреты или эскизы – меткие, живые, непритязательные".

По просьбе Ю.П.Иваска в начале 1982 г. я приступил к подготовке второй книги Бахраха "По памяти, по записям" (первая была выпущена в 1980 г.). Выход второй книги предполагалось приурочить к 80-летию со дня рождения Бахраха, но, в силу ряда обстоятельств, она так и не появилась. В настоящем сборнике публикуется ряд фрагментов из этой книги.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить вдову писателя Кристи Бахрах, с любезного разрешения которой публикуются эти материалы.

* * *

В Париже, в районе Монпарнаса, в переулочке, получившем имя Данцигского, очевидно, чтобы напомнить о вступлении наполеоновской армии в этот балтийский город в 1807 году, обращала на себя внимание странная постройка. Была она совершенно круглой и долгое время служила складом каким-то виноторговцам. Они свозили туда свои бочонки, ни о чем дальнейшем не заботились, и здание находилось в весьма упадочном состоянии. Но в 1900 году, сразу после закрытия нашумевшей парижской Всемирной выставки, отмечавшей начало "века прогресса", скульптор Альфред Буше, составивший себе имя и вдобавок завидное состояние бюстами коронованных особ, по дешевке приобрел никого не прельщавшее, полузаброшенное здание. Заодно он соблазнился и массивной чугунной оградой павильона "Британской", как она тогда официально именовалась, Индии. Ограду Буше пристроил к дворику, окружавшему его новое приобретение, а само здание кое-как отремонтировал. Это было необходимо, чтобы оно окончательно не развалилось.

Затем предприимчивый Буше разбил свою покупку на 80 небольших ателье, внизу в два света для скульпторов, наверху для живописцев и граверов, а во дворе пристроил целый ряд клетушек, которые сам окрестил "сотами". Вскоре он приступил к сдаче внаем всех своих помещений, установив незыблемое правило: его жильцами могли быть исключительно люди искусства – художники, ваятели, граверы, редко когда поэты. Кроме того, Буше пристроил еще большой зал, куда по его приглашению ежедневно приходили натурщики

и натурщицы, позировавшие его жильцам. Словом, Буше хотел создать своего рода "художественный монастырь", который и получил название "Улей" и составил яркую страницу в истории молодого французского искусства начала века.

После того, как художественный центр Парижа стал понемногу перебираться с высот Монмартра, постепенно терявшего свою былую "богемную" прелесть, поближе к Монпарнасу, именно в этом квартале стало с гораздо большей отчетливостью чувствоваться пульсирование художественной жизни. "Улей" в некотором смысле и стал его центром, и кто только в нем ни жил: Дерэн и Фужита, Шагал и Цадкин, Кислинг и Леже, Кремень, Сутин, Паскин, Ван-Донген – всех не вспомнить. Можно только сказать, что большинство художников той эпохи, чьи полотна и скульптуры разбросаны теперь по лучшим музеям мира или составляют гордость частных собраний, были – хоть в какой-то период своей жизни – жильцами "Улья".

В парижском музее Жакмар-Андре этому "Улью", его быту, его расцвету и, главное, его "маленькой жизни" была посвящена ретроспективная выставка, и во мне лично – да не осудят меня читатели! – она вызвала грустные и меланхолические воспоминания. Скольких обитателей этого круглого здания я знавал примерно полвека тому назад, со сколькими за чашкой кофе, часто единственной (вторая была не по карману!), я болтал в монпарнасских кафе до последнего метро, со сколькими проводил бессонные ночи за покером, со сколькими ходил на вечеринки или костюмированные балы, которые еще в то время были в моде.

"Иных уж нет, а те далече". Нет, строка Саади в данном случае не отвечает действительности. Из жителей "Улья" в живых не осталось больше почти никого, а те немногие, которые еще уцелели, те, действительно, "далече". Париж стал им казаться неприветливым и холодным, Монпарнас утратил свое очарование, став достоянием туристов с "кошельками", и они предпочли перебраться к южному солнцу, коротать оставшиеся дни в тени пиний и кипарисов Лазурного берега.

Однако, отбрасывая личные переживания и даже извиняясь за них, хочу отметить, что ретроспективная выставка "Улья" знаменательна. Может быть, не столько самим подбором холстов и скульптур, частично полученных из частных собраний, сколько другой своей стороной. Да, здесь можно лицезреть прелестный голубой пор-



Портрет Х.Сутина работы А.Модильяни

трет Сутина, изображающий лучшего его друга, скульптора Оскара Мещанинова; ранние гуаши Шагала 1913 года; "Портниху" Леже, кубизм которой он как бы противопоставлял "Авиньонским барышням" Пикассо, считая их слишком сентиментальными; наброски Модильяни или рисунки Паскина, легкие почти "как пух в устах Эола". Но все это можно при желании увидеть в соответствующих хранилищах. Зато в залах музея Жакмар-Андре замечательно то, что устроители выставки пытались воссоздать атмосферу "Улья", которая с большой остротой, чем в картинах, ощущается в письмах, записных книжках, альбомчиках с карандашными зарисовками рядом с такими на вид "грошовыми" каталогами первых выставок "ульевцев", которые были еще выставками незнакомцев, почти анонимов. Не менее интересны фотографии, индивидуальные и групповые, снятые в ателье или на костюмированных вечеринках. Витрины с такого рода экспонатами, вероятно, следует признать гордостью выставки.

Помимо того, присматриваясь ко всему этому интимному "скарбу", к фотографическим снимкам, диву даешься: поражает молодость всех обитателей "Улья". Неужели когда-то "были и мы рысаками"? Поражает и то, что ведь было на моей собственной памяти время, когда люди, чьи имена уже давно стали известными всему миру, утром не знали, сумеют ли они вечером пообедать, приходили в одно из монпарнасских кафе с непросохшим холстом под мышкой и с надеждой на очередное "чудо" – загнать этот холст случайно забредшему "меценату". Возможно ли это? Не сказка ли, что именно эти "полубездомные" обитатели "Улья" содействовали эволюции художественного вкуса – не в одной только Франции, но за ней и во всем мире?

Я применил слово "бездомные". Но оно должно быть правильно понято. Те, кто осел в "Улье", часто не покидали его годами и

даже десятилетиями, и домовладелец всегда проявлял к своим жильцам максимальную терпимость. С ножом к горлу никогда не приставал. Но слово, которым я воспользовался, имеет другой смысл. В "Улье", действительно, сошлись "беспризорные" из самых различных стран, из самых разнородных кругов общества, самой разной эстетической веры и тем не менее, пока они жили под одной крышей, нашли между собой какой-то общий язык, "Улей" их объединял. А это было очень важно – и для них, и для искусства. Это было также важно в эпоху фиакров и запряженных парой битюгов омнибусов, довозивших их до монпарнасского вокзала, как было бы важно и в век самолетов, летающих быстрее звука!

В те годы, которые с такой отчетливостью вырисовываются на фоне выставки, Париж был подлинным магнитом для художников всех стран. Многим из них – может быть, и не без основания – казалось, что не пройдя парижской выучки не столько в буквальном смысле, сколько без того, чтобы не подышать парижским воздухом, не насладиться его серо-жемчужными сумерками, они упрутся в мертвую точку, не сдвинутся с места. Мало было рассмотреть у Щукина или Морозова или где-то еще несколько полотен Сезанна. Их непременно надо было "пощупать" глазами на фоне парижской сутолоки, хотя бы той, которая сегодня вызвала бы только нашу улыбку.

* * *

Самое начало двадцатых годов – это первые годы моей парижской жизни. Они совпали с послевоенным расцветом богемного Монпарнаса, с эпохой, когда само понятие "Монпарнас" переросло наименование квартала и, собственно, стало синонимом особого стиля жизни. Обстановка этого сравнительно небольшого мирка, который был рассадником стольких будущих знаменитостей, с его двумя главными кафе "Ротондой" и "Домом", как бы одухотворявшими монпарнасскую атмосферу, еще оставалась почти такой, какой была в его "героические" времена. Неоновое освещение, бары, снобистские танцульки, комфортабельные сиденья и прекращение фамильярного обращения "гарсонов" с посетителями – все это пришло позднее. В те годы эти кафе были, скорее, подобием клубов, в которых почти все друг с другом были знакомы, встречались чуть ли не ежевечерне, часами просиживали на одном диванчике за одной чаш-

кой кофе.

Со сколькими я в ту далекую пору перезнакомился! Увы, если оглядеться окрест, можно с огорчением заметить, что из монпарнассцев того периода почти никого в живых не осталось. А тогда – вижу точно сквозь туманную завесу – все еще были удивительно, почти непостижимо молоды, и жизнь казалась легкой и многообещающей. Многие из тогдашних знакомцев мне хорошо запомнились, кое с кем надолго сохранились теплые отношения, другие быстро выпали из поля моего зрения.

Но вот среди посетителей террасы "Дома" мне отчетливо вспоминается рыжеватый, неряшливо одетый молодой человек. Ему тогда было неполных тридцать лет. Фамилия его была *Сутин,* имя – Хаим. Он был как будто застенчив и не очень общителен, неохотно ходил в гости, еще неохотнее принимал у себя. Постоянно ерзая на своем стуле, говоря одновременно то с тем, то с другим, он казался дичком, создавал впечатление зверька, очутившегося тут помимо своего желания. Приходил он чаще всего со своим приятелем Мещаниновым и подчас можно было подумать, что его насильно выволокли из его берлоги. Он одновременно от себя отталкивал и к себе притягивал, потому что в его глазах с поволокой нередко проступала какая-то нежность. Говорил он по-французски, как и по-русски, с заметной картавостью, с явно выраженным еврейским акцентом, но зато знал наизусть чуть ли не всего Пушкина, который был для него богом. Пушкина он любил цитировать кстати и некстати, русским и иностранцам. Это его пристрастие как-то мало вязалось с его обликом, тем более, что о России, о своих молодых годах, проведенных в белорусском местечке, он вспоминать не любил, на вопросы о детстве отвечал неохотно. Уж очень он настрадался в лоне семьи, где его прирожденная и непреодолимая тяга к рисованию не только не была оценена или даже понята, но всячески преследовалась морально и физически.

Кто из его близких мог предположить, что "их" Хаим станет одним из тех мастеров, которыми теперь гордится история живописи первой половины XX века и чьи полотна висят во всех главных музеях современного искусства, да еще в некоторых наиболее изысканных частных собраниях?

Однако в тот период имя Сутина широкой публике было еще сравнительно малоизвестно, хотя среди собратьев по ремеслу его мастерство, его исключительность уже всеми признавались. Мне хоте-

лось бы тут же, как бы в скобках, отметить, что художники, как и актеры, народ, в общем, завистливый и ревнивый к чужой славе. Но к почти внезапному признанию Сутина они в один голос отнеслись как к чему-то закономерному, чему-то должному.

А ведь странным образом звезда его по-настоящему засияла, действительно, "с вечера на утро". Известный американский коллекционер Барнс случайно увидел в небольшой картинной галерее прислоненный к стенке холст Сутина. Он был этим холстом настолько потрясен, что немедля отправился на поиски художника и сразу приобрел у него всю его продукцию, находившуюся в ателье, – чуть ли не около двухсот полотен. Кстати сказать, Сутин впоследствии от этой своей ранней продукции пытался открещиваться, уверяя, что она перестала соответствовать его художественному идеалу. Что из того?

Что бы он ни говорил, именно благодаря щедротам Барнса имя Сутина стало сразу же достоянием газет и журналов. Одновременная покупка такого количества полотен известным коллекционером, да еще у художника, чье имя ничего не говорило ни "профанам", ни журналистам и чьи картины, скорее, способны были "отпугивать", вызвала подлинную газетную шумиху.

Насколько я мог заметить из случайных бесед с Сутиным, характерный для него "культ уродства", тяга к изображению окровавленных бычьих туш,



Х.Сутин. Горничная

ощипанной дичи или каких-то скользких рыбин, подавляя зрителя своей живописной силой и этим превращая уродство в красоту, был как бы его второй природой. Эта тяга вместе с довольно резким отрицанием всякой беспредметности, каким бы именем она ни прикрывалась, совмещалась в нем с подлинным культом Рембрандта, с преклонением перед Шарденом или Курбе. Он рассказывал, что нередко, словно совершая некий обряд, часами простаивает в Лувре перед полотнами своих любимцев, учится у них, а затем сразу уезжает поближе к природе, чтобы взяться за кисть и приняться за писание пейзажей с деревьями и домами, словно готовыми сорваться с холста и улететь в неземное пространство. Сутин утверждал, что умеет писать только с натуры, но его натура была не та, которую видели бы мы, стоя рядом с ним.

Разговаривая о том, о сем, Сутин чаще всего возвращался к эпизодам, связанным с его покойным другом Модильяни. Упоминая это имя, Сутин едва сдерживал слезы, и можно было легко почувствовать, что у этого уроженца местечка Смиловичи, лежащего на берегах Березины, не было в жизни человека, более ему близкого, более его понимающего, чем тот уроженец Ливорно.

Тщедушный с виду, Сутин, как ни странно, мог подолгу говорить о боксе и, кажется, посещал все главные спортивные состязания, хотя сам едва ли каким-либо спортом занимался. Зато он иногда с большой долей юмора вспоминал какие-то штрихи, относящиеся к его неосуществившейся военной карьере. Сутин безвыездно жил во Франции с 1910 года, и, когда вспыхнула 1-я мировая война, он со своим приятелем и коллегой Кикоиным записался в какое-то ополчение. Иностранцев тогда принимали только в Иностранный легион, а где было Сутину тягаться с легионерами, какими он их себе воображал. По состоянию здоровья его вскоре и из этого второразрядного ополчения изгнали, и это не переставало его огорчать; ему еще продолжало казаться, что его оскорбили.

Периодами Сутин посещал Монпарнас ежевечерне, иногда же куда-то проваливался, исчезал на месяцы, а то и дольше, пока вновь не появлялся, свежий и загоревший. Пропадал он обычно на юге, который когда-то, по его словам, "преобразил" его. Юг Франции, в его глазах, был раем, который ему никогда и не мерещился. Появлялся он уже в сопровождении неизменной спутницы, которая, ввиду его полной житейской непрактичности, в буквальном смысле стала его ангелом-хранителем. Отнюдь не шуткой было, что из ее имени

– Герда – Сутин составил анаграмму и дал ей кличку "Гард", то есть "хранительница".

Мне кажется, что в предвоенные годы он на Монпарнасе был уже редким гостем, а может быть, это впечатление создалось у меня оттого, что я сам бывал там уже урывками. О дальнейшем знаю только, что годы оккупации трагически отразились на судьбе "неарийца" Сутина. Он вынужден был скрываться, сперва в Бургундии, потом в самом Париже. Известная французская артистка Симона Синьоре в своих воспоминаниях рассказывала, как в эти мрачные годы Сутин прибегал к ее помощи для приобретения тюбиков сиенской охры, необходимых ему для завершения какой-то начатой работы. Сам он опасался попасться на глаза владелицы магазина красок, хотя и был долгие годы ее клиентом. Очевидно, у него, человека доверчивого, были для этого какие-то основания.

Его ангел-хранитель Герда была задержана при какой-то облаве и погибла. Самого же Сутина свела в могилу язва желудка, не переставшая обостряться под влиянием внешних обстоятельств. Умер он в августе 43-го года. Похороны, как мне рассказывали очевидцы, были немноголюдны, идти за гробом художника-еврея было в те времена небезопасно. Известно, однако, что за катафалком одним из первых шел Пикассо, а прикованный к постели Матисс, узнав о смерти Сутина, тотчас приобрел одно из его полотен и повесил в своей спальне.



Р.Фальк. Молодой живописец (Лев Зевин)

* * *

В течение ряда лет *Роберт Фальк* был завсегдатаем террасы кафе "Дома", посещал ее летом, посещал ее зимой, когда она отапливалась жаровнями с краснеющими в них "булетами" кокса. Приходил туда, точно на службу, отчасти, чтобы поболтать, отчасти, чтобы узнать результаты очередных аукционов (его очень

волновали астрономические по тем временам цены, по каким проходили полотна Матисса, которого он недолюбливал), а может быть, чтобы отвести душу и поплакать в чей-нибудь жилет. Соотечественники его уважали, и его стенаний никто не перебивал, хоть они уже давно набили оскомину.

Странный это был человек. Впрочем, эпитет "странный" я выбрал неподходящий и малоубедительный, потому что к кому только он ни приложим, особенно среди племени живописцев, и лишь теперь, чуть ли не четверть века после его кончины, я более выпукло ощущаю в нем те черты, которые это прилагательное продиктовали.

Вспоминаю, что были у него две излюбленные темы, которые он изо дня в день развивал перед своим слушателем, кем бы тот ни был. Первая вызывалась его непреходящей уязвленностью, его обидой на все и всех, на того, кто с ним сидел, и заодно и на его соседа, за то, что он, в Москве такой, мол, прославленный и знаменитый художник, ученик самого Серова, профессор Вхутемаса, здесь очутился чуть ли не у разбитого корыта. В колыбели и кормилище художников никто на него не обращает должного внимания, и свою художественную карьеру он должен начинать с нуля. Для чего же нужно было ему прилагать невероятные усилия, чтобы с превеликим трудом исхлопотать десятилетнюю "творческую командировку" для изучения французского искусства?

Закончив эту часть своей огненной речи, он – и это опять-таки было изо дня в день – переходил на изъявления любви к Парижу. Он рассказывал о том, как много путешествовал, как когда-то, за отсутствием "разменной монеты", пешком исходил пол-Италии – Тоскану с Умбрией, Венецию с Римом, но более прекрасного города, чем Париж, нигде не приметил. При этом он неизменно добавлял, что Париж в этом отношении сравним с одним только Петербургом, и он не знает, кому отдать предпочтение, и свой панегирик всегда заканчивал словами: "Оба лучше".

Любопытно, что ему нравилась не столько французская столица в целом, сколько каждый парижский округ, взятый "сам по себе", и он настаивал на том, что ни один из них не похож на соседний, что в каждом своя особенная душа и своя жизнь. Этим и объясняется, что за время своего пребывания в Париже он переменил чуть ли не полтора десятка обиталищ, причем каждое из них находилось в другой части города.

Он, поистине, боготворил Сезанна, а из своих современников, ка-

жется, питал глубокое уважение к одному только Сутину, что, по его же словам, по-видимому, не было взаимным. Но, как известно, Сутин в каком-то смысле был медведем и скуп на комплименты, а Фальк любил профессорским тоном – педагогические навыки он не мог изжить – объяснять своим слушателям, вероятно, и Сутину, в чем величие Сезанна, словно он в нем открыл что-то, о чем его собеседники не могли и подозревать, что лучше сезанновского "Мальчика в красном жилете" он ни одной картины не видал, и при этом добавлял, что сверкание сезанновских красок только показывает, в каком болезненном состоянии находится современное искусство.

Фальк рассказывал, что специально ездил в Прованс, чтобы присмотреться к тому пейзажу, который прельщал его кумира, увидеть своими глазами прозрачность того света, который на своих полотнах сумел передать Сезанн, но со скорбью в голосе признавался, что специфический свет и аромат Прованса, как он ни старался, ему передать не удалось.

Фальк, который начинал свою художественную карьеру, примкнув к группе "Бубнового валета", в зрелые годы всячески отрекался от каких-либо крайностей в искусстве, от абстрактной живописи, уверяя, что все эти модные "наваждения" в лучшем случае ведут к случайной удаче, но исповедующие эти теории художники остаются глухими к цвету. Я вспоминаю, как при мне он однажды чуть не рассвирепел, когда кто-то, возражая ему, назвал его представителем изобразительного искусства. С не свойственной ему резкостью он оборвал своего собеседника, прошипев: "Я ничего не изображаю, я творю".

Он проводил резкую границу между рисунком хорошим и рисунком грамотным, и такое разграничение было, конечно, мудрым, но, если быть вполне искренним, то нелегко определить, к какой из этих двух категорий отнести его собственное творчество. В искусстве Фалька было много ремесла, много мастерства, но чего-то все-таки не хватало. Его полотна периода жизни во Франции, набережные Сены с угольными баржами или грузами овощей на самой реке или тихая парижская улочка в ее серебристом освещении, как и берега Бретани или пейзажи Тулона или Экса, объективно хороши, но в них нет той свободы, которая дается только "великим" (хотя бы в кавычках) живописцам, нет того, чего уже не было раньше. "Чем больше живешь в Париже, тем больше нравится жить в нем", – писал где-то Фальк, но я охотно представляю, что, вернувшись в Мо-

скву и показывая там свои полотна, он слышал упрек в том, что живопись его "непарижская", что в ней нет того оптимизма, тех цветистых огней и бульваров с гуляющей публикой, которые видишь у импрессионистов и невольно ждешь от "парижан". Между тем Эренбург, который с юношеских лет знал Париж как свои пять пальцев, говорил, что когда он работал над своим романом о Париже, его вдохновлял пейзаж Фалька, который висел в его кабинете. Не знаю, были ли эти слова данью дружбе, но, к сожалению, эренбурговский роман "Падение Парижа" был отнюдь не из удачных. Все же не будем за это возлагать вину на Фалька.

"Мне парижские улицы нравятся больше любого пейзажа", - признавался Фальк; однако, несмотря на это и на то, что он провел в своей необычной командировке больше десяти лет, он в Париже всегда чувствовал себя гостем. Он любил Париж, все в Париже любил, но с Парижем сжиться не сумел.

Хотя в предвоенные годы я его больше не встречал, да он и покинул Францию, кажется, в 1937 году, но мне рассказывали что, вернувшись в Москву, он красноречиво повествовал об "экономическом кризисе", царившем якобы во Франции, уверял, что Париж опустел, что все иностранцы из него испарились и что ателье, которых раньше было днем с огнем не сыскать, пустуют.

* * *

В конце двадцатых, а может быть, в самом начале тридцатых годов Монпарнас стал "перерождаться", и художники, в первую очередь те, которые задавали тон, дезертировали из приевшейся им "Ротонды". Точно сговорившись, один за другим стали они перебираться на другую сторону широкого бульвара в кафе "Дом" или в блещущую еще непривычными неоновыми огнями более барственную "Куполь", едва ли не накануне отпраздновавшую свое открытие.

Среди завсегдатаев этих кафе одним из наиболее постоянных был *Кислинг,* художник, которому уже тогда были посвящены богато иллюстрированные монографии и в холсты которого, словно в акции какого-нибудь нефтяного предприятия, вкладывали свои денежки не только ценители современного искусства, но и те, кто считал, что такого рода приобретения принесут им со временем соответствующий дивиденд. Едва ли они ошиблись: имя Кислинга попало на стра-



Моше Кислинг. Брат и сестра

ницы малого энциклопедического Ларусса, а это, как-никак, было немалым признанием.

В те далекие дни светло-серую бархатистую шляпу с большими полями и Кислинга под ней можно было почти ежевечерне встретить на террасе одного из этих кафе за рюмкой, наполненной цветной жидкостью. Чаще всего он появлялся в обществе какой-нибудь хорошенькой женщины либо девицы, не считавшейся с предрассудками своего друга, либо модели или артистки, выступавшей в одном из монпарнасских ночных кабачков. Вкус у Кислинга был отменный, и победы давались ему легко.

Но так бывало по вечерам. А в предобеденное "аперитивное" время его можно было застать там же, но уже в спорах с несколькими коллегами по ремеслу, причем каждый из них был, вероятно, другой национальности. Впрочем, времена были такие, что происхождение никого не могло интересовать, все на равных правах были гражданами Монпарнаса.

Кислинг был неотъемлемой частицей этого мирка, из которого, в

сущности, только малому числу избранных удалось по-настоящему выйти в люди. Но уже приобретя имя и будучи непременным участником всех более или менее значительных выставок и Салонов, он не поднимал носа кверху и оставался неизменным посетителем самых скромных монпарнасских вечеринок, почему-то особенно полюбил маскарады, нередко их у себя организуя, хотя такого рода увеселения давно вышли из моды. Впрочем, "маскарад" – слово тут слишком пышное. Ведь достаточно было обмотать свою шею каким-нибудь красным платком, чтобы это уже считалось костюмом апаша.

Кислингу было как-то несподручно взяться за кисти, если вечер накануне он просидел дома. Ему для работы было необходимо, хоть на короткий срок, отойти от привычной домашней обстановки, и в его сознании сидение у себя дома превращалось в "мещанство", которое менее всего способно было вдохновлять. Недаром один из известных французских поэтов, описывая пробуждение парижского утра, писал: "Встает, наконец, солнце: домой возвращается Кислинг".

Но это была только одна сторона медали. Что бы ни было позади, какими бы треволнениями не была заполнена предыдущая ночь, с педантической точностью, проглотив одну-другую чашку крепчайшего кофе, художник с девяти часов утра стоял у своего подрамника.

Живопись Кислинга, хоть и легко из общей массы отличимая, была все же характерна для того течения молодых, или сравнительно молодых, которые, с одной стороны, стремились преодолеть постимпрессионизм и фовизм, а с другой, подойдя почти вплотную к кубизму, не удовлетворились его декоративной рассудочностью и не оказались загипнотизированными полугениальными измышлениями Пикассо или Брака. Чтобы не стать эпигонами, им предстояло найти что-то, что, отходя от шаблонов, отражало бы какую-то новую реальность, способную прельстить зрителя. Во имя этих устремлений и создалась почти сама собой и без каких-либо организационных сборищ та группа, которой было присвоено громкое имя "Парижской школы". Одним из ее пионеров оказался именно Кислинг.

В этом был кажущийся парадокс. Основатель "Парижской школы" был уроженцем Кракова и в этом древнем городе провел все свои молодые годы. Его жизнь в краковском гетто (конечно, это слово не имело тогда того смысла, который оно получило впоследствии) не прошла для него бесследно. Она была ощутима даже в

его позднейшей "офранцуженной" живописи. Не напрасно, как он рассказывал, он дышал краковским воздухом до того счастливого для него дня, когда "профессор" живописи местного художественного училища, громко именуемого "академией", угадав призвание и талант своего ученика, нашел путь, чтобы отправить его в Париж. Мудрый польский педагог не без основания считал, что без того, чтобы окунуться в парижскую художественную атмосферу, живописцу не созреть. В Париже Кислинг сравнительно быстро обрел свой стиль: четкость композиции, какую-то остроту и вырисованность, которая льстила и зрителю, и критикам и которую отчасти можно объяснить его генеалогией, то есть помесью атмосферы узких улочек краковского гетто с польской бесшабашностью. Он был твердо убежден, что природа и красота – синонимы, и потому его портреты, его "ню" каждым штрихом говорили о его преклонении перед жизнью, а пестрые колориты его безбурных пейзажей становились неким синтезом света и цвета.

Между тем ощущение непреходящей улыбки и отчасти упрощенности, которая проскальзывает с холстов Кислинга, часто обманчиво. Так, иные из его "ню", как и портреты худощавых жалких девушек, неких вариантов Сони Мармеладовой, наполнены чувством подлинного трагизма, который, казалось бы, Кислингу непривычен.

Обретя на берегах Сены вторую родину, он вскоре добровольно принял боевое крещение в грохоте соммских полей. А еще так случилось, что в последний раз, когда мне довелось встретить его на Монпарнасе, он, точно по инерции, сидел за какой-то рюмкой, несмотря на свои пятьдесят лет уже облаченный в военную форму и, видимо, ею гордящийся. Что было дальше, мне в точности неизвестно. Знаю только, что в годы оккупации он оказался по ту сторону океана, но вернулся в Париж едва это стало практически доступно.

Я как-то – тому давно – пытался из его уст услышать какие-нибудь дополнительные штрихи, касающиеся его молодости, анекдоты из его биографии, почти всегда более красноречивые, чем самые острые комментарии. Он позвал меня к себе, и я припоминаю, как, подымаясь в его ателье, едва ли не самое светлое во всем Париже и наименее загроможденное всяким художественным хламом, я задержался на лестнице, чтобы поближе разглядеть карикатуры и надписи, подписанные громкими именами, коими были испещрены стены. Могли ли они сохраниться? Были бы украшением любого музея.

Кислинг встретил меня у дверей ателье и, чтобы подчеркнуть

свою светскость, будто бы по-русски произнес: "Милости прошу" с ударением на "о". Но на мои вопросы он не ответил. "Что мог бы я сказать, чего вы не знаете? Разве житейские факты существенны для оценки художника? Разве нужен ему какой-то паспорт (тут Кислинг жестоко ошибался: через небольшой промежуток времени оказалось, что "хороший " паспорт очень нужен)? Вы видели мои картины, могу показать вам еще одну-другую из прислоненных к стене, но мне нечего к ним добавить, красками я лучше выражаюсь, чем словами". Несомненно, он был глубоко прав. И тут же, не переводя дыхания, добавил: "Лучше я вам расскажу, как вчера ночью в 'Жокее'- (это было популярное в те дни монпарнасское кабаре) Кики, певшая свои полупохабные песенки, снова не на шутку подралась с кем-то из публики. Мы еле их разняли. Характер у нее стал невозможный, а ведь когда-то (это "когда-то" означало – до 1-й мировой) какая была превосходная модель, какая женщина, какой темперамент". И пошла плясать губерния, его уже было не остановить.



Дар Берты М. Ципкевич Париж
(О коллекции Л.Бакста в Музее Израиля, Иерусалим)

Марина Генкина
(Иерусалим)

В коллекции Музея Израиля в Иерусалиме сегодня насчитывается около семидесяти произведений Леона Бакста[1]. Наряду с эскизами костюмов и декораций в коллекции есть и гораздо менее известный, во всяком случае широкой публике, Бакст: рисунки, пейзажи, портреты, академические штудии.

Все эти работы экспонировались на выставке произведений художника в Музее Израиля летом 1992 года. Приблизительно за год до открытия выставки, когда началась подготовка к ней, неожиданно обнаружилось, что происхождение двадцати восьми экспонатов, которые положили основу коллекции, никому неизвестно. На все остальные работы Бакста, принадлежащие музею, имелись соответствующие документы: что было подарено, когда и кем; что куплено музеем, когда и у кого; каким образом эти вещи попали к их предыдущим владельцам – словом, документация соответствовала обычной музейной практике, принятой во всем мире. Но двадцать восемь произведений без документов – почти половина музейной коллекции! Случай совершенно беспрецедентный – даже частные коллекционеры предпочитают точно знать историю принадлежащих им вещей, не говоря уже о музее с мировым именем. Да и речь шла не об археологических древностях, которые, как известно, нередко добываются сомнительными путями и проходят через множество не слишком чистых рук, – речь шла о Баксте, жившем и работавшем, в сущности, не так давно и о котором так много написано. Известны практиче-

ски все владельцы крупных коллекций и аукционы, на которых его работы продавались; к тому же, подлинность работ в данном случае не вызывала сомнений.

Собственно, в том, как работы попали в Иерусалимский музей, загадки не было: они были переданы сюда из Национального музея "Бецалель"[2] в 1965 году в том виде, как они там хранились, – в большом пакете, на котором было написано имя отправителя: "M-me Tsipkevitsch. Paris. 1948". Но как они попали в "Бецалель"? Кто эта женщина? Почему она решила сделать Иерусалиму такой подарок? И откуда у нее были работы Бакста?

Если в момент передачи и существовали какие-то сопроводительные документы, то установить спустя почти тридцать лет, где они, уже не представлялось возможным. Оставалось только одно: начать поиски.

И по причине, указанной выше. И потому, что существует старая еврейская традиция – благодарить за подарок; в том же Иерусалимском музее буквально на каждом шагу – таблички с именами дарителей и жертвователей; неважно, картина это, археологический экспонат или лифт, построенный на чьи-то деньги. И это именно старая традиция – множество предметов иудаики, экспонирующихся в музее, снабжены табличками, на которых выгравированы, вышиты, вытканы или написаны имена дарителей; они были сделаны одновременно с изготовлением и органически входят в ткань произведения.

И наконец, подбор работ совершенно очевидно был неслучайным. Конечно, в 48-му году самые значительные произведения Бакста уже находились в крупнейших музеях мира. Но собрание, поступившее в "Бецалель", было отобрано опытным человеком, хорошо знавшим творчество художника, и давало представление о *многообразии* этого творчества.

Естественно, бóльшая часть работ – эскизы декораций и костюмов: восемнадцать листов, выполненных в самых разных техниках, – акварель, карандаш, тушь; есть среди них и "греческие" эскизы костюмов – знаменитая идея Бакста, которая, как и другие его идеи, оказала влияние не только на театральный дизайн, но и на хореографию. И тут же – "рабочие" эскизы, с надписями и заметками (например, лист эскизов к "Саломее", датируемый 1912 годом). Такого рода работы не всегда привлекают внимание широкой публики, но бесценны для специалистов.

Театральными работами коллекция не ограничивается. Мы видим

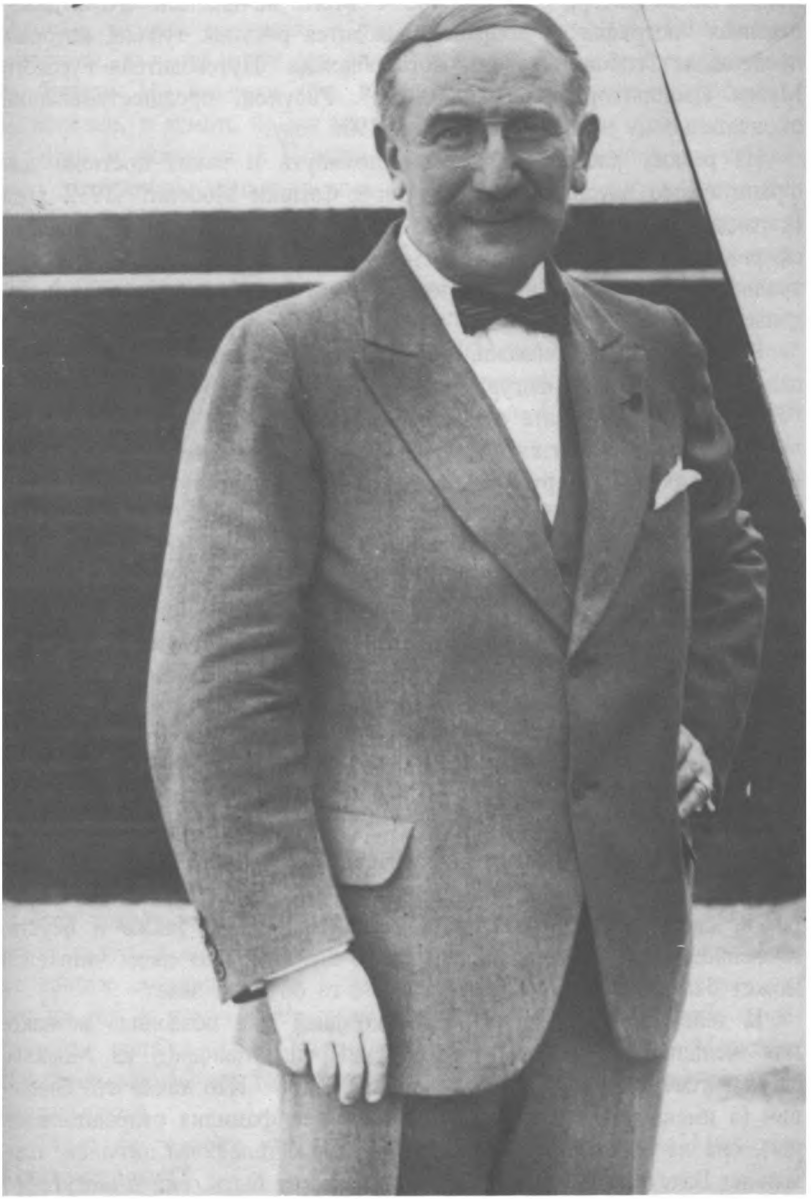


Фото Л.Бакста из семейного альбома, подписанное "Дядя Льова"

Бакста-иллюстратора – а именно с этого начиналась его художественная биография: в собрании находится рисунок тушью, который представляет собой нижнюю часть обложки "Путеводителя Русского Музея Императора Александра III". Рисунок, предшествовавший окончательному эскизу, выполнен в 1906 году.

Из редких работ необходимо упомянуть и эскиз костюма для французского журнала "Fantasie sur le Costume Moderne" 1912 года (карандаш и акварель). Это было время, когда Бакст очень увлекался разработкой моделей современной одежды – обычной, а не театральной – созданные им костюмы весьма ценились парижскими модельерами.

И кроме того, пейзажи, карандашные портреты, академические штудии – наброски фигур, рук; небольшой жанровый набросок – "Удящий мальчик" (дата создания неизвестна).

Даже из этого беглого перечня видно, что человеку, который отправлял работы в Иерусалим, было из чего выбирать.

Итак, следовало установить, кто эта женщина, приславшая в 1948 году в "Бецалель" работы Бакста, почему она решила сделать такой подарок Иерусалиму, и откуда у нее были работы Бакста?

Куратор выставки Ева Шнайдерман написала в Лондон – известному коллекционеру и историку искусства Н.Д.Лобанову[3], который много занимался Бакстом и был знаком с его парижскими родственниками; старалась рассказать о своих поисках как можно большему числу людей, справедливо полагая, что чем больше сеть, тем больше вероятности, что в нее что-нибудь попадется.

И метод себя оправдал. Сведения в конце концов были получены, и не из одного, а сразу из нескольких источников.

В конце января 1992 года в газете "Звенья" была опубликована моя статья о готовящейся выставке, о Баксте и "Русских сезонах". По просьбе работников музея я рассказала в ней также о неустановленном происхождении коллекции в надежде, что среди читателей может оказаться человек, который что-то об этом знает.

И действительно, через несколько дней мне позвонила незнакомая женщина и сказала, что она – Ирина Манфред, из Москвы, здесь в гостях, – внучатая племянница Бакста. Кто такая эта Зипкевич (а именно так была прочитана в музее фамилия отправительницы), она не знает, но может дать адреса и телефоны тетушек, племянниц Бакста, живущих в Париже, – может быть, они помогут.

Случилось так, что я в это время собиралась ехать в Париж. Я

с благодарностью взяла у Ирины адреса и телефоны, не очень, впрочем, надеясь на успех, – столько лет прошло, тетушки весьма немолоды, да и не могут они знать всех, у кого были когда-то работы Бакста. Но все-таки хоть какая-то ниточка, стоит попробовать. Я, конечно, и думать не могла, что все окажется так просто.

Итак, я оказалась в Париже, но, прежде чем звонить по указанным телефонам, начала искать среди знакомых кого-нибудь, кто "вхож в дом" к сестрам. Русская эмиграция в Париже, и первая и последняя, ревниво оберегает свою клановость и замкнутость; первый вопрос, который вам задают, – с кем вы знакомы. Но чем-чем, а знакомствами мы, в нашем московско-ленинградском, почти полностью уехавшем из России "круге", обижены не были. И не успела я приняться за поиски "связей", как обнаружилось, что Катя Барсак[4], с которой мы встречались в доме моей близкой московской подруги, – дочь одной из сестер, племянниц Бакста. Я позвонила Кате. Оказалось, что ее мама сейчас больна, и лучше обратиться к тетушке, Марии Марковне Константинович, старшей из сестер; несмотря на преклонный возраст – ей сильно за 90 – она прекрасно все помнит и с удовольствием рассказывает о любимом дяде Леоне. Тем более, что именно она всю жизнь посвятила памяти дяди, хранила его архивы и, конечно, скорее всех что-то знает. "А что, собственно, вас конкретно интересует?" – спросила Катя. И я, понимая, что это, в общем-то, просто светский вопрос, все-таки рассказала в двух словах всю историю и спросила, не знает ли она случайно, кто такая эта Зипкевич? И услышала изумленный Катин ответ: "Как же я могу не знать, когда это тетя Беба! Берта Марковна, третья сестра, ее уже нет в живых. Только она была не Зипкевич, а Ципкевич. Да, она послала когда-то работы Бакста в Израиль. Но тетя лучше вам все это расскажет, она знает все подробности".

Вот так просто и никаких загадок. И, как это всегда бывает, стало казаться совершенно непонятным, как можно было прочесть английское сочетание букв в начале фамилии как "з" и почему никто из тех, к кому обращались, не услышал, что это просто фонетическая ошибка. (Как выяснилось впоследствии, Берту Марковну Ципкевич многие из тех, у кого наводили справки, знали хотя бы понаслышке.)

Стоит ли говорит, что я немедленно позвонила Марии Марковне Константинович?

– Что вы, голубушка, – сказала она мне в этом первом телефон-

ном разговоре, – какие встречи. Мне же сто лет. Что? Ну, правда, немножко меньше. Но в моем возрасте это уже неважно. Так что поговорите лучше с моими сыновьями, они от меня много слышали обо всем.

Все это было сказано отнюдь не дрожащим старческим голосом, как можно было бы ожидать, а твердо и энергично, с той замечательной забытой русской интонацией, которая сохранилась, кажется, только у старых русских эмигрантов.

И я встретилась с сыновьями, архитекторами Никола и Пьером, в их прекрасном доме в Медоне, одном из самых красивых и респектабельных пригородов Парижа; и потом мы все-таки спустились к маме, которая живет в том же доме, и разговаривали – о Баксте, обо всей семье и о Берте Марковне Ципкевич, и смотрели семейные альбомы; и Мария Марковна сдержанно сказала: "Очень хорошую книгу написала И.Пружан[5]. Она была у нас, смотрела, слушала, как вы сейчас. Но одну ошибку она все-таки сделала: наш дедушка не держал ссудную кассу; он был ученый, талмудист, а вовсе не ростовщик". А на стенах висели эскизы Бакста.

Это был замечательный день, и не покидало странное ощущение: начало века, такая давняя история... И вот я сижу здесь и разговариваю с людьми, для которых все это – не история, не искусствоведение, а воспоминания о собственной жизни, семейные воспоминания.

Но визит мой не мог продолжаться бесконечно долго. Я откланялась, оставив листок с некоторыми вопросами, на которые не удалось сразу получить ответ. Уже вернувшись в Иерусалим, я получила – и продолжаю получать – письма от мсье Никола, с которым мы стали добрыми друзьями. Именно благодаря его любезности я располагаю сейчас сведениями обо всей семье – мсье Никола Константинóвич подробнейшим образом рассказал мне в письмах и о Берте Марковне, и обо всех родственных связях их большого семейства. В дальнейшем я, с его позволения, процитирую эти письма*.

Как я уже сказала, сведения о дарительнице, которые никак не удавалось отыскать, начали поступать из разных источников.

По возвращении из Парижа я узнала, что за это время было получено письмо от Н.Д.Лобанова, в котором он сообщил то, что ему

---

*Мы благодарны М.М. и Н.Константинович за это разрешение и за предоставленную возможность опубликовать фотографии из их семейного альбома, а также Н.Д.Лобанову за разрешение опубликовать его письмо и за содержащиеся в нем ценные сведения (автор и редакция).

было известно. В каталоге музея, вышедшем в связи с выставкой, об этом упомянуто не было, и, по просьбе автора, я привожу его письмо в музей целиком[4].

апрель 1992

Н.Д.Лобанов, Лондон

Родственники Леона Бакста в Париже

(Заметки для Израильского музея в Иерусалиме)



Берта Ципкевич

У Бакста были три племянницы, сестры, жившие в Париже, и племянник, м-р Клячко. После смерти Бакста его произведения были поделены на 4 части – трем племянницам и племяннику. По причинам, которых я не помню, его сын Андре не унаследовал работ, но ему было оставлено ателье отца на ул. Лористон, Париж 16; тел. 704.44.31. Проход к нему через двор, повернуть направо по 8-й лестнице, 4-й этаж, дверь прямо перед вами. Его вдова все еще жила там вплоть до 1989 года, когда я разговаривал с ней по телефону, и, возможно, он по-прежнему там.

Берта Марковна Ципкевич (Мадам Никола, как ее называли в доме, где она жила – по имени ее мужа Николая Ивановича). Она жила на ул. Лафайетт, 103, Париж 10; тел. 526.89.78, вход Б, 5-й этаж, налево от лифта. Когда в 1965 году я в течение шести месяцев жил в Париже, я впервые посетил сестер. Миссис Ципкевич принадлежала самая большая, по сравнению с другими наследниками, часть произведений Бакста. Картин было так много, что часть, принадлежащая м-ру Клячко, хранилась в основном на балконе, покрытая пластиковой пленкой, и многие работы пострадали от сырости. Я видел по крайней мере 50 рисунков костюмов, частично пострадавших от водяных пятен. В 60-х годах интерес к произведениям Бакста вновь начал возрастать. Так, в 1964 году когда я разговаривал с ней по телефону, двое покупателей

уже побывали там и приобрели лучшие работы. Один был коллекционер из Нью-Йорка Говард Ротшильд, коллекция которого, в соответствии с его волей, была передана после его смерти в 1989 году Гарвардскому театральному музею. Второй, профессор Эмилио Бертонати, совладелец галереи Леванте, Виа Спига 1, Милан, и Виа Джорджиана 5 в Риме. Бертонати готовил представительную выставку русского искусства и в связи с этим позвонил миссис Ципкевич. Его выставка, которая была одной из первых на эту тему – "Вклад русских в авангардное искусство", открылась в сентябре 1967 года и сопровождалась серьезным каталогом.

Между 1966 и 1969 годом я приобрел 13 произведений у миссис Ципкевич по ценам от 40 до 150 ам. долл. Она предлагала к продаже около 300 произведений, но мои средства не позволили мне купить больше.

В 1948 году миссис Ципкевич подарила произведения Бакста Музею искусства "Бецалель" (Израиль) по двум соображениям:

а) В то время произведения Бакста не представляли коммерческого интереса, а работы загромождали дом;

б) Несмотря на то, что у Бакста были противоречивые чувства по отношению к своему еврейству, была логика в том, чтобы передать картины именно туда, тем более, что ведущие музеи Парижа уже владели выдающимися произведениями этого великого мастера театрального искусства.

Миссис Ципкевич хранила альбом репродукций всех произведений Бакста, надеясь использовать их когда-нибудь для публикации в систематическом каталоге. Я не знаю, где они сейчас, как и все остальные документы (хранились в чемодане), которые у нее были и куда все это делось после ее смерти[6].

Мария Марковна Константинович (известная как мадам Констант) закончила свою жизнь в доме у своей дочери на ул. Анри Савиньяк 26, Бельвю пар Медон (пригород Парижа), 92190, Франция[7]. *Раньше она жила на ул. ген. Гальени 205, Булонь-Бийянкур, где я посетил ее в 1964 году. Ее коллекция работ была меньше, главным образом работы небольшого размера, которые хранились в чемодане. У нее я также приобрел несколько рисунков костюмов и декораций. В 1980, когда она переехала в Бельвю, у нее были в основном большие акварели с изображением тканей. Они стоили очень дорого, и видимо поэтому остались непроданными.*

Мила Марковна Барсак ул. А.Барсак, Париж 8. Она жена известного французского театрального ражиссера Андре Барсак. Они жили в боль-

шой, элегантной, тихой квартире, и у них было всего несколько работ Бакста на стенах. Возможно, это потому, что м-р Барсак тоже был театральным художником.

Она редко продавала принадлежавшие ей дядины работы, поскольку, в отличие от сестер, не нуждалась в деньгах. В 1970-х и 1980-х годах, когда цены на Л.Бакста резко подскочили, она продала на Сотбис, Лондон, несколько картин и рисунок Пикассо, изображающий Бакста, сидящего на стуле.

* * *

Итак, личность дарительницы была установлена. Однако мотивы, по которым м-м Ципкевич передала работы Бакста в музей "Бецалель" не исчерпывались указанными Н.Д.Лобановым, и семейное предание дополняет сведения Никиты Дмитриевича. Передаю эту историю со слов Марии Марковны Константинович и ее сына, Никола Константиновича.

Первым мужем Берты Марковны был некий Жорж Разаматт, за которого она вышла в 1925 году. Семейная жизнь оказалась очень неудачной во всех отношениях. В числе прочего, муж Б.М. попытался, несмотря на протесты семьи, объявить себя единственным хранителем и распорядителем всего художественного наследства Бакста, хотя он ни к Баксту, ни к его наследству не имел ни малейшего отношения. Когда это не удалось, он начал потихоньку продавать работы, а вырученные деньги тратил только на собственные нужды. В семье об этом говорят неохотно, и в разго-



Эскиз из коллекции Б.Ципкевич

воре со мной только повторяли все время, что "она была такая добрая и такая замечательная, а он был непорядочный человек, он ее обкрадывал и издевался над ней, это был очень, очень неудачный брак". В конце концов Б.М. рассталась с Разаматтом и вышла замуж за Николая Ципкевича, который "был превосходным инженером и не интересовался искусством"[8].

Но это произошло позже, а в период своей жизни с Разаматтом Б.М. работала у парижского врача Леона Фильдермана ассистенткой – семья бедствовала, и оставить работу после замужества Б.М. не имела возможности. Леон Фильдерман, преуспевающий врач и вполне ассимилированный еврей, остро ощущал свое еврейство, разделял идеи сионизма и очень повлиял в этом смысле на Б.М. Так что ее решение подарить работы Бакста Израилю было продиктовано не только – а может быть, и не столько – тем, как она понимала отношение Бакста к своему еврейству, но и тем, что она сама думала о своем еврейском происхождении, о сионизме и Израиле.

Была еще одна причина. "По настоянию Любы, жены Фильдермана, и по ее советам Б.М. решила передать в Израиль картины Леона Бакста, которые ей принадлежали, чтобы спасти свое имущество, поскольку она чувствовала опасность и угрозу со стороны своего первого мужа Разаматта, который вел себя так же, как в то время, когда они были женаты"[9].

В заключение я хочу привести выдержки из письма мсье Никола Константиновича, поскольку никакие изложения не могут сравниться с рассказом человека, который был свидетелем событий или, по крайней мере, семейных обсуждений этих событий.

Париж, 24 июня 1993

Берта Марковна была второй дочерью моей бабушки Софьи Самойловны Клячко, урожденной Розенберг, братом которой был Л.Бакст.

Леон Бакст и его сестра, а также четверо ее детей, Маруся (моя мать), Берта (Берта Марковна), Мила (мать Катерины) и Поль (Павлик) уехали из России в 1913 году в Швейцарию, где Бакст лечился от высокого давления.

Вначале он хотел взять с собой сестру и мою мать. Он боялся, что остальные дети будут утомлять его, но Софья Самойловна убедила его взять всю семью.

В 1920 г. Леон Бакст обосновался в Париже, бульвар Мальзерб, 112, где он приютил всю семью в ателье живописи, в котором он работал вплоть до самой смерти. Он умер в декабре 1924г. в клинике Мальмезон.



Отец Льва Бакста Самуил Розенберг. Фото из семейного альбома

Дети начали работать. Моя мать – у модистки на бульваре Мальзерб, Берта Марковна – ассистенткой у доктора Фильдермана, женой которого была Люба; отец Любы был братом отца Жоржа Разаматт, первого мужа Берты Марковны, за которого она вышла в 1925 г. У них была дочь Аня.

В 1942 году, измученная поведением своего мужа Жоржа Разаматт, Б.М. вышла замуж во второй раз, за Николая Ципкевича, инженера, с которым они жили в Париже на улице Лафайетт.

Берта Марковна (тетя Берта) после смерти своего мужа Николая Ивановича Ципкевича в 1979 году перебралась к Анне и помогала всей семье.

Она была человеком редкой доброты. Мама говорит о ней: "Берта была самая лучшая из четырех детей. Самое большое удовольствие для нее было счастье других". Именно она много раз собирала в свой день рождения всю нашу семью.

Она постоянно общалась с моей матерью и помогала нам при каждом удобном случае.

Ее дочь Анна, которая обожала ее, трогательно заботилась о ней до самой ее смерти.

В детстве мы раз в неделю ходили обедать к тете Берте, и это очень укрепляло наши семейные узы. Теперь это делают Соня и Элен (внучки Б.М., дочери Анны – М.Г.), чтобы не потерять друг друга из виду и продолжить традицию Берты Марковны, для которой семья была так важна. Из всех четырех детей Софьи Самойловны Берта Марковна была самой трогательной в своей преданности; моя мама всю жизнь прожила, восхищаясь танцами и Леоном Бакстом; Мила пользовалась большим успехом благодаря живости характера; Поль был талантливым карикатуристом и очень добрым человеком, как и его сестра.

Именно Берта Марковна всегда помогала всей семье: нам, когда мой отец потерял работу, Миле, которую она взяла к себе, когда ее муж Барсак умер, моей матери, здоровье которой всегда ее беспокоило, и брату Полю, которого она очень часто принимала у себя и положение которого нередко было не из легких"[10].

...В каталоге музея, выпущенном в связи с выставкой, стало возможным напечатать одну строчку: "Дар Берты М. Ципкевич. Париж".

Примечания

1. Леон Бакст (Лев Самойлович Розенберг), 1866-1924. Родился в г.Гродно, Белоруссия. Семья вскоре переехала в Петербург. Склонность к рисованию обнаружилась еще в раннем детстве. Окончив гимназию, он, по совету Антокольского, видевшего его рисунки, поступает в Петербургскую Академию Художеств, но не заканчивает ее, так как его не устраивают консервативные методы преподавания. В 1890 году знакомится с художниками, братьями Бенуа, а через них – с петербургской художественной элитой (А.Бенуа, С.Дягилев, Д.Философов, К.Сомов, Е.Лансере и др.). Вместе с А.Бенуа становится одним из основателей "Мира искусства". Работает в императорских театрах Петербурга, где начинает свой путь театрального художника, занимается книжной иллюстрацией, пишет картины. В 1906 году по приглашению С.Дягилева оформляет выставку "Два века русской живописи и скульптуры" в Париже, успех которой был предвестником будущих "Русских сезонов". С начала "Русских сезонов" в 1909 году Бакст становится одним из ведущих театральных художников в спектаклях, организованных С.Дягилевым.

С 1909 года жил преимущественно в Париже, где и умер в декабре 1924 года. Псевдоним "Бакст" принял, когда впервые участвовал в выставке в 1889 году, взяв фамилию своей бабушки по материнской линии.

2. Национальный музей "Бецалель" – возник при основанной в Израиле в 1906 г. Борисом Шацем художественной школе Бецалель. В 1964 году, в связи с открытием нового Музея Израиля, влился в него и прекратил свое существование.

3. Лобанов Никита Дмитриевич, род. в 1936 в Софии. Ученый, искусствовед, коллекционер. Подробная биографическая справка о нем – см. 1 выпуск данного издания (Иерусалим, 1992).

4. Дочь Андре Барсака. Барсак Андре, 1909-1973. Родился в Феодосии. Известный французский театральный художник и режиссер.

5. См. список литературы.

6. Н.Константинович рассказывал мне, что у его матери много лет хранился чемодан с письмами Л.Бакста и другими материалами. Однако, когда по моей просьбе он попытался найти его, чтобы опубликовать письма, в доме чемодан обнаружить не удалось, а спрашивать у матери он не решился, чтобы не волновать ее – Мария Марковна много лет надеялась, что кто-нибудь всем этим заинтересуется. Ни в Национальную библиотеку, ни в какой-нибудь музей Парижа эти материалы переданы не были – из всех мест, куда были посланы запросы, пришли отрицательные ответы. Возможно, что речь идет о том самом чемодане, о котором говорит Н.Д.Лобанов. Однако так это или нет, следы и тех и других материалов на сегодняшний день утеряны.

7. Здесь вкралась ошибка: М.М.Константинович пребывает в добром здравии, она живет в доме своих сыновей, но никогда не имела дочери.

8. Письмо Н.Константиновича ко мне от 2 июня 1992 года.
9. Письмо Н.Константиновича от 24 июня 1993 года.
10. Там же.

Список литературы (составлен И.Пружан)

Бенуа, А. Русская школа живописи. Спб, Р.Голике и А.Вильберг, 1904.

Пожарская М.Н. Русское театрально-декорационное искусство конца XIX начала XX века. М., "Искусство", 1970.

Пожарская М.Н. Русские сезоны в Париже. М., "Искусство", 1988.

Пружан И.Н. Лев Самойлович Бакст. Л., "Искусство", 1975.

Léon Bakst. Painting and stage design. Art and stage in 20th century. Ed. by Hennig Rischbieter. New York, Graphic Society, 1968.

On Stage: The Art of Léon Bakst. Theatre Design and other Works. Catalogue of the exhibition, The Israel Museum, Jerusalem, Summer 1992. By Eva Sznajderman.

Dana Souhami. Bakst, The Rotschild panels of "The Sleeping Beauty". London, Phillih Wilson, 1992.

Charles Spencer. Léon Bakst. London, Academy Editions, 1973.



Мане-Кац. Портрет работы П.Пикассо

Мане-Кац, художник из Кременчуга

Любовь Латт
(Иерусалим)

Двадцатый век, родившись в муках погромов и революций, выплеснул из своих глубин, как океан после бури, семейство драгоценных жемчужин – блестящую плеяду художников-евреев, среди которых такие всемирно известные, как Марк Шагал, Амедео Модильяни, Хаим Сутин, Реувен Рубин, Хана Орлова, Жюль Паскен (Юлиус Пинхас), Иссахар Бер Рыбак и многие другие. В этом же ряду стоит и яркий самобытный мастер – живописец, скульптор и рисовальщик Мане-Кац, выходец из России, учившийся в Киеве, Париже, Петрограде, деливший свою жизнь между Францией и Эрец-Исраэль, изъездивший весь мир и закончивший свои дни в Израиле, художник с мировым именем, чьи работы хранятся во всех крупнейших музеях.

Мануэль Кац родился 5 июня 1894 года и был седьмым ребенком в семье благочестивого Лейзера Каца, занимавшего скромную должность *шамеса* (самый низший чин в синагогальной иерархии) в городе Кременчуге на Днепре. Был он еще и *баал-коре* – читающим Тору, и исполнял много других обязанностей, отнимавших массу времени, но не приносивших доходов. Отец мечтал о карьере ребе для сына. Какой же шамес не хочет, чтобы сын его стал ученым раввином? И маленького Мануэля, едва ребенку исполнилось четыре года, отдали учиться в *хедер*. Через несколько лет у него обнаружились недюжинные способности к рисованию, а в шестнадцать Кац расстается с иешивой и вступает на тернистый путь художника. Отец, хоть и разделял взгляды ортодоксального еврейства на искусство, не чинил сыну препятствий, но и не мог снабдить его деньгами на до-

рогу. Спустя много лет, став знаменитым, Мане-Кац с присущим ему юмором рассказывал, как он добирался до Вильно с двумя рублями в кармане, когда билет стоил восемь. Но ни в Вильно, ни позднее в Миргороде молодой художник не находит себе места. Наконец в 1911 году он попадает в киевскую Школу изящных искусств, где учится около двух лет. В 1913 году его новый знакомый и покровитель г-н Гуревич советует молодому художнику ехать в Париж. И он с двумя рекомендательными письмами – к барону Гинцбургу и скульптору Нахуму Аронсону – приезжает в столицу мирового искусства – художественную Мекку двух континентов.

Девятнадцатилетний юноша из Кременчуга поступает в Национальную школу изящных искусств к профессору Фернану Кормону, известному главным образом тем, что у него учились Ван Гог и Тулуз-Лотрек. Профессор был типичным академистом и писал картины на исторические и религиозные сюжеты. Это его хотел застрелить Ван Гог, а Тулуз-Лотрек называл самым уродливым человеком в Париже. К этому же мэтру, но двумя годами ранее попал и Хаим Сутин. Мане-Кац всей душой потянулся к товарищу, который был старше всего на год.

Считая уроки профессора бесполезными, молодые люди наверстывали упущенное посещением Лувра. Оба боготворили Рембрандта за его интерес к человеческой душе, за теплый свет, разлитый в его картинах. Увидев в Люксембургском музее Гогена и Сезанна, Мануэль вначале пришел в восторг; но потом разочаровался в Сезанне: "Ему все равно, что писать, яблоко или тело". С современным искусством знакомились в частных галереях.

А вечера... вечера были посвящены Монпарнасу. Здесь бурлила художественная жизнь. Ожесточенно спорили. О том, например, кто значительнее – Матисс или Пикассо. Рисовали, лепили не отходя от столиков, дымили папиросами и были доброжелательны друг к другу. Но 28 июня 1914 г. прогремел выстрел в Сараево и положил всему этому конец. Захваченный всеобщим энтузиазмом, Мане-Кац тоже хотел вступить в Иностранный легион, но его не приняли "из-за невоенного сложения".

Он направился в Россию и с невероятными трудностями добрался до нее. Однако и здесь его воинский порыв не был оценен, к счастью для искусства. Благодаря этому и могли появиться в Петрограде в 1916 году на выставке Еврейского общества поощрения искусств его работы "Автопортрет" и "Портрет Скульптора".



Мане-Кац. Человек и столица

На "Автопортрете" Мануэль выглядит несколько старше своих двадцати лет, охвачен невеселым раздумьем, смотрит мимо зрителя, хоть и повернул голову в его сторону. Веки покраснели из-за бессонных ночей, которые не согнали, однако, румянец с молодого лица, обрамленного бакенбардами (курчавые пейсы он отрезал еще в Париже).

Тонкая разработка сине-розово-сиреневых оттенков его обыденного костюма сочетается с плоским, но беспокойным фоном, напоминающим театральный занавес. Этот интимный погрудный портрет так же, как и "Портрет Скульптора", – работы уже сложившегося художника, знакомого с достижениями современной живописи.

На этой выставке были представлены 150 произведений живописи, скульптуры и графики. Среди участников – Марк Шагал, Натан Альтман, Б.Маймон, И.Бродский и другие. Мане-Кац познакомился со знаменитым Мстиславом Добужинским, который привлек его к

рисованию в Школе изящных искусств графини Гагариной.

Пребывание Мане-Каца в Петрограде совпало с активной деятельностью еврейских просветителей, благодаря которым еврейская культура переживала небывалый подъем, поистине возрождение. Еще в конце прошлого века В.В.Стасов, поощрявший развитие национальных школ, издал совместно с бароном Давидом Гинцбургом великолепный альбом "Древний еврейский орнамент по старинным рукописям". Деятельность еврейских просветителей привлекла внимание художников к народному творчеству, и вот, Натан Альтман делает зарисовки средневековых надгробий в Шепетовке, а друг Мане-Каца по киевской Школе изящных искусств Иссахар Рыбак, совместно с Эль Лисицким, копирует росписи в старинных синагогах Правобережной Украины. Но самый глубокий след, надо полагать, оставил в памяти нашего художника Еврейский национальный музей, открывшийся в русской столице в 1915 г. Здесь экспонировалась иудаика – предметы религиозного культа – и светские объекты, служившие в быту. Бесценные находки были сделаны в результате этнографических экспедиций, организованных одним из лидеров еврейского культурного движения Ан-ским (псевдоним А.Раппопорта). Это вдохновило и частных владельцев пополнить собрание предметами из своих коллекций.

Три года, проведенные в российской столице, сыграли большую роль в формировании творческой личности художника. И страсть к коллекционированию старинных предметов искусства, думаю, зародилась у Мане-Каца именно здесь. Этот факт прошел мимо внимания западноевропейских исследователей, которые объясняли ее только впечатлениями детства в религиозной среде и возникновение его богатейшей коллекции связывали с ностальгическим желанием перенести в свой дом то, от чего он в свое время бежал. Все это может быть и так. Но понять непреходящую ценность и историческое значение предметов еврейского искусства, ему, покинувшему свое местечко и мучительно порывавшему с традиционным укладом жизни, – осознать это помогли еврейские просветители. Впоследствии, где бы Мане-Кац ни находился, он собирал иудаику. Многие современники, которым посчастливилось посетить его мастерскую на бульваре Распай в Париже, поражались необычности его коллекции. Писатель Хил Аронсон, оставивший свои воспоминания о еврейских художниках Монпарнасской школы, писал об ателье Мане-Каца как о единственном в своем роде, какое ему довелось когда-либо видеть.

На стене висел старинный ковер, вытканный в Иерусалиме. В

специальном помещении, приспособленном для коллекции, можно было видеть бархатные завесы, вышитые золотом, некогда висевшие перед *арон-кодеш* (священный шкаф, где хранились свитки Торы). С потолка свисали медные светильники. Мерцали серебряные, позолоченные и прочеканенные Короны Торы. Футляры для свитков Торы, ароматницы, великолепные пасхальные тарелки. Особое место занимает коллекция ханукиёт (ханукальных подсвечников) и другие предметы, представляющие собой настоящие произведения искусства. Это уживалось с романской и готической каменной скульптурой, изображающей христианских святых. И здесь же – музыкальные инструменты, которые можно увидеть в его картинах о еврейских праздниках, свадьбах, играющих музыкантах...



Мане-Кац. Портрет Переца Маркиша. Берлин, 1923 год

Но все это будет позже, а теперь Октябрьская революция вернула его в родной Кременчуг, где он начал было преподавать рисование. Но вскоре город стал ареной жестокой борьбы и переходил из рук в руки – от красных к белым и наоборот. Было не до искусства. Даже назначение художника профессором в харьковскую Академию художеств не спасло его от разочарования. Мануэль понял, что он никогда не сможет осуществить свои художественные замыслы в России, и в 1921 году он навсегда покинул ее.

Начался второй парижский период, который длился более тридцати лет. Париж тоже пострадал от войны, но не настолько, чтобы потерять свое лицо. Кафе "Дом", где собирались еврейские художники, стало еще более многолюдным. В основном здесь бывали моло-

дые люди от двадцати до тридцати лет из стран Восточной Европы. Они жили в бедных кварталах на левом берегу Сены, работали вместе, делились студиями и влились в ту отдельную группу во французском искусстве, которую называют еврейской школой. Как отмечала критика того времени, все они, оставив религию своих семей, относились к искусству, как к религии. Экспрессивность, эмоциональность были отличительной чертой стиля, в котором они работали. Этот стиль и получил название экспрессионизма. Экспрессионизм Мане-Каца, хоть и развивался под сильным воздействием Хаима Сутина, отличается от стиля последнего ярко выраженными элементами юмора и оптимизма. Разорванным контурам и деформированности фигур Сутина он противопоставляет монументальность своих образов. Но сближает художников то, что главное внимание они уделяют колориту.

Вскоре по приезде в Париж двадцатишестилетний художник встретился с идишистским писателем и переводчиком Лупусом Блуменфельдом, страстным пропагандистом классической литературы на идиш, познакомившим французское общество с ее лучшими образцами. Блуменфельд поощрял интерес Мане-Каца к еврейской тематике, возникший еще в Кременчуге.

Глубокий интерес к еврейской теме проявлялся и у таких известных художников, как С.Юдовин, Й.Пен, С.Гершов, И.Рыбак и др., но у них большое место занимает изображение сцен быта, тогда как Мане-Кац отражает духовную жизнь своего народа, то богатство внутренней культуры, которое позволяло возвыситься над унизительной повседневностью и нищетой. На его холстах ученики иешив, усердно штудирующие Священные Книги ("Урок Талмуда", 1923, "Студент", 1928, "Раздумье", 1934), маленькие мальчики с пейсами, всегда одухотворенные и опоэтизированные, с нежными или аскетическими лицами, с вопрошающими глазами. Подумать только, в этом так называемом "захолустном местечке" четырехлетний малыш уже приобщался к знаниям!

В искусствоведческой литературе отмечалось значение Мане-Каца как летописца своего народа, запечатлевшего то, что скоро могло стать лишь достоянием истории. Но, пожалуй, еще большее значение, чем историческое, имели "картины еврейской жизни" для самих же евреев, способствуя пробуждению самосознания в противовес идее ассимиляции.

Среди излюбленных сюжетов живописца – свадьбы, народные му-



"Ам Исраэль хай!"

зыканты-клезмеры. Свадьба – большое радостное событие в еврейской действительности, событие не только частной, но и социальной жизни. Со свадьбой связано множество ритуальных обрядов, традиций, уходящих в далекое прошлое. На свадьбе звучит веселая музыка, под звуки которой танцуют национальные танцы. Классическим примером картин такого рода являются "Музыканты" (1931). Художник не строит мизансцену. Картину не назовешь жанровой, в ней нет повествовательности, скорее перед нами обобщенные образы, типы. Самый дух праздника выражен экспрессивным цветом. Накаленно-красный контрабас дан в смелом сопоставлении с желтым костюмом его владельца. Рядом широкоскулый старик-скрипач в темном, а над ним – трубач. Фанфарный зов его золотой трубы, кажется, звучит исступленно, как кульминационный момент мелодии "Фрейлехс".

Есть у Мане-Каца ряд картин, которые с первого взгляда могут озадачить зрителя. "Шут" (1932). Кто он, этот карлик с большой головой – при шляпе, в сюртуке, талите и цициот, высовывающимися из-под жилета? Он на стуле с красной обивкой, но непонятно, стоит или сидит. Зачем художник написал его – чтобы радовать антисемитов? Но всматриваясь в это лицо, замечаешь, что оно умное и доброе, что физическая неполноценность не озлобила человека – он улыбается широкой и сердечной улыбкой. В этом произ-

ведении Мане-Кац – гуманист. И, подобно Веласкесу, создавшему серию портретов шутов испанского двора, показывает мужественное человеческое достоинство в физически уродливом карлике.

* * *

Мане-Кац считал своим священным долгом, миссией быть поэтом своего народа, но местом постоянного проживания избрал Париж. Здесь он находил ту художественную среду, которая так необходима для творчества. В Париже, как он говорил немного позднее, было то нервное напряжение, без которого не мог осуществляться его творческий процесс.

В первой половине двадцатых годов Мане-Кац написал два превосходных женских портрета. Они полярны по своему характеру. "Портрет жены Эстер" (1924), впоследствии г-жи Баршан, выполнен пастелью и выдержан в мягкой приглушенной гамме. Нежное лицо блондинки. Прекрасные грустные голубые глаза. Легкая зеленая накидка прикрывает плечи. Что-то затаенное, недосказанное есть в этом образе. "Портрет женщины в красном переднике" (1925) – весь на контрастах звучного синего и красного, без тонких переходов, вызывает в памяти живопись фовистов. Резкие черты лица испанского типа с чувственным ртом и ярким румянцем щек дышат энергией. Оба произведения – жемчужины собрания Музея Мане-Каца в Хайфе.

Друг и покровитель Мане-Каца – Лупус Блуменфельд помог ему войти в артистический мир и организовал его встречу со знаменитым критиком Вальдемаром Жоржем. В этом мире мнение последнего было законом весь межвоенный период. Специалист высокого класса оценил работы молодого художника, помог устройству его первой выставки в галерее Персье в мае 1923 года и сам написал предисловие к ее каталогу. Это был первый успех. Выставку посетил Пабло Пикассо и внимательно рассматривал каждую картину. Через два года в той же галерее Персье была вторая выставка Мане-Каца, и Пикассо не просто посетил ее, а прислал знаменитого маршана, который по совету Пикассо приобрел четыре полотна Мане-Каца. В 1925 году великий основатель кубизма, спрашивая мнение Мане-Каца о своих выставленных работах, сказал, что его мнение для него дороже, чем оценка "всех этих знатоков". Спустя семь лет Пикассо сделал карандашный портрет Мане-Каца. Этот портрет с надписью "Мане-Кацу от Пикассо" (1932) находится те-

перь в Музее современного искусства Хайфы.

* * *

В 1928 году художник из Кременчуга впервые посещает Палестину. О своих впечатлениях он рассказал в письме, напечатанном в газете "Рассвет", издававшейся в Париже под редакцией В.Е.Жаботинского: "Что больше всего удивило меня, это насколько все здесь напоминает жизнь маленького еврейского города в России... я вспоминал свое детство... Тель-Авив удивительно поэтичное место. Он – город и одновременно пригород с виднеющимися полями, дюнами и редкими деревьями... Приближается канун субботы. Город замирает, прекращается движение. Вы можете увидеть субботние свечи, зажженные в открытых окнах. Благостная тишина простирается над городом... Я снова думаю о своем детстве". И заканчивается письмо восторженным обращением: "Тель-Авив! Ты – молод, ты – прекрасен!" (23 сентября 1928 года).

Путешествуя по стране, он на всю жизнь сохранил в памяти впечатления первых дней. Его палитра стала богаче и ярче. Большую роль стал играть свет. Но, возвратившись во Францию, он написал картину "Слава Парижу!" (1930 г., 225 x 196 см., Музей Мане-Каца). У самого левого ее края изображен еврейский юноша лицом к зрителю, в талите и тфиллин, на фоне парижского пейзажа с Эйфелевой башней. Название картины дало основание исследователям видеть в ней символ религиозной и политической свободы в Париже. Я же не могу отделаться от другого впечатления. Холодный зеленовато-синий колорит определяет эмоциональный настрой. Герой, хоть и вписан в пейзаж, но оттеснен им в сторону. Да, он свободен в своей вере, но остается одиноким и затерянным. Веки молящегося опущены, он не смотрит на зрителя, и потому не может возникнуть связи между ними. Над ним, как недоступный мираж покоя и гармонии, – легкое жемчужно-серое парижское небо.

Пройдет четверть века, и пятидесятилетний художник снова обратится к той же теме в картине "Человек и Столица" (1954 г., 207 x 235 см., Музей Мане-Каца). Колорит изменился. Исчезли холодные краски. Но опять перед нами панорамное изображение Парижа, видимое на этот раз из широко распахнутого окна мастерской. За столом – художник. В нем сразу узнается автопортрет Мане-Каца с нимбом седых волос и лицом ребенка, отчего он кажется беззащит-

ным и трогательным. Художник и Столица существуют в разных измерениях. Живописец зажат в двухмерном микропространстве, его фигура помещена на плоском белом фоне, который сменяется наверху такими же пятнами красного и серого. Палитра, стол, город подавили художника, пленили его. Контраст мертвенно белого фона и черного костюма человека – эмоциональная кульминация монументального холста.

Невольно сравниваешь эти две очень разные и в чем-то очень похожие картины. Тема еврея и Парижа, человека и города, осталась прежней, хотя и другим стал художественный язык. Музыкальный ритм динамичных мазков, образующих единую художественную среду в первом произведении, сменился новым, скорее фовистским отношением к пространству, которое становится уплощенным при экспрессионистском нарушении относительных масштабов окружения и фигуры.

Мотив одиночества часто звучит в полотнах Мане-Каца, в том числе и в картинах из жизни галутного еврейства ("Одиночество", 1960 г. и другие). Создается впечатление, будто это его, Мануэля, настигает одиночество после шумных успехов выставок, дружеских встреч в промежутках между дальними странствиями.

А на людях это был необычайно подвижный, изящного сложения человек, приветливый, с улыбкой, озаряющей доброе лицо с голубыми глазами и ореолом пышных волос, поседевших в старости. Появляясь в кафе, он с легкостью передвигался от одного столика к другому, от старого приятеля к новому знакомому. И всегда у него был неисчерпаемый запас забавных историй, которые он часто придумывал на ходу, и сам же первым начинал смеяться. Потом опять надолго исчезал – пускался в далекие путешествия, о которых говорил, что они отвлекают его от невеселых дум. Одни находили его похожим на Эйнштейна, другие – на Чарли Чаплина... Мане-Кац был склонен к юмору, умел посмеяться над собой. Может быть, так и возникло сокращение его имени "Мануэль" – "Мане". Ибо существуют Мане Эдуард, Моне Клод, а он – Мане-Кац.

Как большинство художников XX века, Кац любил цирк. Он изображал наездников, клоунов как бы издали, со скамьи зрителя. Но "Клоуна" (1938 г., 160 х 89 см.) он писал приблизившись к модели. Вряд ли это портрет конкретного человека, скорее обобщенный образ. Сочетание красок – черного, серого на желтом и охристом фоне наводит на мысль о трагическом. На нем еще клоунский

наряд, но он уже без маски, и потому глубоко в душу западает выражение его глаз. Губы сомкнуты в сдержанной иронической полуулыбке. Но больше всего поражают экспрессивные руки с преувеличенно длинными тонкими пальцами, поднятыми вверх в жесте, который заставляет задуматься о его многозначительности. Думается, в литературе о мастере это глубокое произведение еще не получило достойной оценки.

* * *

Круг общения Мане-Каца был необычайно широк. В 1922 году он отправляется в Берлин, в то время центр русско-еврейской эмиграции. Там встречается с Перецем Маркишем, Ильей Эренбургом, художником Иссахаром Рыбаком, своим другом со времен обучения живописи в Киеве, и многими другими.

Поэт Перец Маркиш был тогда в зените славы. Он был молод, и о нем говорили, что "он красив, как полубог". Это можно почувствовать и в рисунке Мане-Каца, чисто линейном, почти не моделированном, передающем классический тип лица поэта. Только густые вьющиеся волосы он выполнил светотенью.

Там же художник написал и портрет маслом Ильи Эренбурга. Он изобразил автора "Необычайных похождений Хулио Хуренито" в вязаном джемпере и с вызывающе торчащей изо рта трубкой. Сидя за столом, он держит еще не исписанный лист бумаги. Этот портрет художник очень любил и расстался с ним только спустя пятнадцать лет из-за денежных затруднений. В 1938 году в Лондоне он рисует знаменитого французского поэта Поля Валери, а в Мехико – известнейшего виолончелиста Пабло Казальса.

Не порывались и его связи с Россией. Свидетельство этого – обнаруженное в архиве художника письмо из Ленинграда от 1939 года, написанное доктором Баршанским, с просьбой употребить свое влияние и уговорить Марка Шагала дать согласие на перемещение его произведений в Одесский художественный музей, где, как он напоминает, находятся также работы Мане-Каца.

Эти связи не случайны и не формальны. Через всю жизнь Мане-Каца проходит элегическая мелодия русско-украинской деревни. Это картины-воспоминания с горьким привкусом ностальгии. Серебристо-белый снег контрастирует с кроваво-красным заходящим солнцем – образ, присутствующий во многих украинских пейзажах ("Зимний пейзаж", "Пейзаж Украины", 1957). Они выполнены в стиле, напо-

минающем русское народное искусство. В отличие от этих медитативных, как бы застывших и немного примитивистских произведений, картины, написанные в эти же годы, но далекие от воспоминаний, отличаются бурлящей динамикой накаленных красок, кипящей радостью жизни. Таковы прежде всего его натюрморты с цветами ("Цветы в кувшине" и "Тележка близ улицы Ламп", 1950).

После первого посещения Палестины в 1928 году появляются многочисленные вариации картины "У Стены Плача". Развиваясь и видоизменяясь, эта тема приведет к созданию полотна, за которое он получит Золотую медаль на Всемирной Парижской выставке 1937 года ("У Стены Плача", 1936, частное собрание).

Вслед за этим холстом, в котором сказался скорее туристский подход к экзотике Страны Народа Книги, появляется монументальное полотно, где видно более глубокое понимание проблем Эрец-Исраэль. Я имею в виду картину "Ам Исраэль хай!" ("Народ Израиля жив!", 1938). Композиция как бы распадается на три части: в правой – молодые пионеры-халуцим, строители новой жизни, среди них юноша с бело-голубым флагом, на котором надпись, давшая название картине, и молодая женщина с обнаженной грудью. Эти двое вызывают в памяти "Свободу на баррикадах" Делакруа (один из любимых художников Мане-Каца), но в пародийно-героическом стиле. В левой части картины вышагивают бодрым шагом бородатые хасиды в талитах и меховых шапках. Эти две группы не связаны между собой и не смотрят друг на друга. Они направляются в разные стороны – их пути никогда не сойдутся. Как старое и новое.*

Блестящее мастерство колориста в этой картине проявилось с особой силой. Три звонких цветовых акцента, соответствующих построению трех групп – ярко-синее справа, интенсивно-зеленое слева, красное и желтое в центре внизу, – объединены общим золотистым тоном. Это солнце, которое художник выплеснул на молодежь и детей, окутав дымкой горы и небо.

Как видим, Мане-Кац не отрицает классическую традицию, наоборот, перекличка с классиками в еще большей степени расставляет акценты, усиливая выразительность его произведений, идущих в ногу со временем. Здесь в первую очередь надо упомянуть "Современную Мадонну" (1936, масло). Ассоциация заключена уже в самом названии. На голове женщины покрывало, как у Сикстинской

*Так объясняет эту картину куратор Музея Мане-Каца Н.Таршиш (прим. автора).

Мадонны Рафаэля. Это сопоставление-противопоставление. Мадонна Рафаэля доверчиво несет своего сына Миру. Современная Мадонна застыла от ужаса и горя при виде крови, пролитой озверелыми погромщиками. Белокурый младенец Христос склонился к своему черноволосому еврейскому брату, окровавленному, лежащему на талите. Оттого страдальчески сдвинуты брови Мадонны, застыли глаза и раскрыты безмолвные губы.

Художник не прибегает к экспрессионистической деформации. Его героиня не кричит. Молчаливое горе. Гордо величавое страдание. Строгость и сдержанность и в колорите с его скупой изысканной гаммой бутылочно-зеленого и серого. Это произведение – ретроспекция. И одновременно – пророчество. Уже пришли к власти фашисты в Германии. Уже насыщен воздух ядовитыми парами "окончательного решения еврейского вопроса". Началась вторая мировая война. Мане-Кац как французский гражданин (с 1927 года) был мобилизован рядовым в военную школу в Париже. Оказавшись со своей частью в Руане, он попал в плен к немцам, но сумел бежать и ценой неимоверных усилий добрался до Америки. С 1940 года и до окончания войны жил в Нью-Йорке. В 1945 году первым из художников вернулся в Париж.

В Нью-Йорке он впервые обратился к скульптуре и на вопрос о причине с обычной находчивостью ответил: "Потому что в Нью-Йорке нет кафе, в которых я проводил вечера в Париже". Но шутка Мануэля всегда скрывала серьезное. Здесь он исполнил "Моисея, бросающего скрижали" (1943). Его Моисей совсем не традиционный, более похожий на узника концентрационного лагеря, чем на библейского пророка. Он полуобнажен, бросает скрижали порывистым движением, усиленным благодаря экспрессивно удлиненным пропорциям.

Обращение к теме Катастрофы было совершенно закономерным для Мане-Каца. В 1941 году он приближается к ней произведением "Беженцы", а все военные годы работает над полотном "Катастрофа". Он изобразил скорбно торжественную процессию людей, идущих на смерть. Старики облачены в молитвенные плащи. Кто-то несет менору. Многие произносят молитву. Идут с достоинством. Может быть, верят в чудо, которого ждут от Бога. Среди идущих – лица, знакомые по картинам живописца. Справа – оркестр, с невозмутимым спокойствием исполняющий свой последний марш, отчего у зрителя мурашки пробегают по коже. Обращает на себя внимание юноша с поднятым ружьем – символ начинавшейся борьбы.

Современная действительность диктовала сердцу художника новые темы, и, вернувшись во Францию, он создает на одной из стен Молитвенного дома в Нанси эпическое творение "Сопротивление. Восстание в Варшавском гетто" (1946). Прежние кроткие юноши, сошедшие с картин Каца, взяли в руки ружья, чтобы защитить гетто в Варшаве. Справа подросток в состоянии душевного подъема протягивает руку с Книгой, как бы говоря о непобедимости Народа Книги. Сила духа героев Варшавского Сопротивления ставит их в один ряд с героями восстания Маккавеев.

Летом этого же года художник едет в Палестину. Это было третье посещение Страны Предков. Между вторым и третьим визитом прошло девять лет. Мастер писал: "Это была другая Палестина. Это был город борьбы, горячих резолюций... Мое сердце было полно гордости". А спустя два года, в самый разгар Войны за Независимость, Мане-Кац привозит шестьдесят своих работ в Музей Тель-Авива. Организаторам экспозиции эта идея в новых условиях показалась неосуществимой. Но выставка художника-патриота, несмотря на обстрелы, всегда была полна народа. Мане-Кац покорил публику как своим искусством, так и своею самоотверженностью.

С этого времени вечный странник каждый год прибывал к палестинскому берегу. Он снова отмечает: "Характер Палестины – в ее величии, более, чем красивости«...» гармония «...» наводит на мысль о божественном присутствии".

Пейзажи, выполненные в Израиле, сближают художника с наследниками фовизма, не случайно он преклонялся перед Дереном, и некоторые искусствоведы определяют его поздний стиль как постфовистский. Часто большие поверхности покрыты ярким интенсивным чистым цветом. Впечатление гладкого письма, вопреки кажущейся простоте, создается втиранием в холст темпераментных длинных энергичных мазков. Они подчинены музыкальному ритму. Подчас деталей нет, но тем сильнее ощущение целого (в "Тивериадском озере" и монументальном пейзаже "Залив Хайфы с Горы Кармель", 1962, Музей Мане-Каца). Простейшими приемами он представляет необъятное пространство, обозримое с горы. Ему подвластны космические масштабы, от которых захватывает дух. Где-то внизу по-муравьиному маленькие домики с красными крышами и небольшие суда у берега. Синее море разбавлено белыми вкраплениями, а голубизна неба переходит в золотой мираж с деликатной нюансировкой жемчужно-серых и серебристо-серых тонов. Чувство приподнятости,



восторга, радости бытия вызывает эта картина. Совсем другое настроение возникает при взгляде на вторую картину с тем же названием, созданную в том же году. Она, кажется, отражает другую грань жизни художника, может быть, предчувствие надвигающегося конца. Здесь удары чистого цвета – как аккорды – красного, золотисто-желтого, интенсивно-синего, а вдали расползлось белое облако, словно фантастическое существо из сюрреалистического сна.

Он уехал в Париж и вернулся смертельно больным. 9 сентября 1962 года Мане-Каца не стало.

В 1958 году, еще при жизни мастера, было достигнуто соглашение с муниципалитетом города Хайфы о строительстве дома и мастерской для живописца в обмен на завещание передать Хайфе все его произведения и собранную им уникальную коллекцию. Здесь он провел последний год своей жизни. Дом-музей, носящий его имя, с чугунной решеткой ворот, выполненной по его рисунку, расположен в живописном месте над морем с восхитительным видом, открывающимся глазу.

Использованная литература

1. Амишай-Майзельс, Зива. Влияние Катастрофы на изобразительное искусство. Оксфорд, 1993.
2. Аронсон, Хил. Сцены и образы Монпарнаса. Париж, 1963. (Идиш).
3. Арье, Р.С. Мане-Кац. Полное собрание произведений в 2-х тт. 1970, 1972.
4. Вернер, Альфред. Мане-Кац. Тель-Авив (год не указан).
5. Еврейские свадьбы. Выставка из частных собраний. Музей Мане-Каца. Хайфа, 1979.
6. Мане-Кац. Ретроспективная выставка. Музей современного искусства. Хайфа, 1965.
7. Мане-Кац. Рисунки. Музей Мане-Каца. Хайфа, 1987.
8. Мане-Кац. Скульптура. Каталог. Музей Мане-Каца. Хайфа (год не указан).
9. Мане-Кац – Иссахар Рыбак. Связи. Музей Мане-Каца. Хайфа 1993.
10. Париж Мане-Каца. Каталог. Музей Мане-Каца. Хайфа, 1989.
11. Рагон, Пьер. Мане-Кац. Париж, 1960.
12. Тридцать четыре работы Мане-Каца из собрания Рене Лавинь. Иллюстрированный каталог аукциона. Лондон, 1987.
13. Эрец-Исраэль Мане-Каца. Каталог. Музей Мане-Каца. Хайфа, 1988.



Наум Габо (1890-1977) и Антуан Певзнер (1886-1962) – скульпторы-конструктивисты*

Дора Коган

(Иерусалим)

Наум (Нехамия) Габо и Антуан (Антон) Певзнер – родные братья (Габо – псевдоним Нехамии). Признанные и знаменитые на Западе как основоположники конструктивизма в скульптуре, они мало известны у себя на родине, в России. Главная причина состоит в том, что на Западе прошла бóльшая часть их творческой жизни и развернулся весь их творческий путь. На Западе они удостоились не только европейского, но и мирового признания как художники-новаторы, основатели нового направления в искусстве – конструктивизма. Но их связи с Россией, с традициями русской культуры сыграли свою роль в формировании их творчества. Не случайно первую выставку своих работ на Западе они назвали "Русские конструктивисты" (Париж, галерея Персье, 1924).

Братья родились в многодетной ассимилированной еврейской семье, далекой от ортодоксального иудаизма (мать была христианкой, православие исповедывал и старший брат – Антон). И если родителей, людей достаточно обеспеченных, не волновало религиозное воспитание детей, они заботились об их образовании, их профессиональном будущем. Поэтому Антон, с детства проявлявший художественные наклонности, был отправлен после окончания гимназии в Киевское художественное училище. Нехамия-Наум поехал в Мюнхен учиться медицине, которую оставил ради естественных, а затем точных наук – физики, химии, инженерии. Но в итоге сила художественного таланта победила, и он стал художником.

---

* Выражаю признательность за помощь в работе над этой статьей Джону Боулту и Илье Родову (автор).

Антон с трудом учился в Киевском художественном училище, не принимая академическую систему обучения. Он выдержал лишь год учебы в Петербургской Академии Художеств, в которую поступил после окончания училища. Его притягивали художественные явления, с которыми он мог познакомиться в Москве в частных галереях С.Щукина и И.Морозова, обладавших замечательными коллекциями нового западного авангадистского искусства. В оппозиционных настроениях зажигали, внутренне поддерживали молодые художники общества "Бубновый валет", отвергавшие с пылом и дерзостью молодости традиционное искусство.

Притягивал Запад, Париж куда и устремился Антон, бросив Академию. Он не был разочарован художественной жизнью Парижа. Его захватили кубисты, с которыми он вскоре познакомится через своих новых друзей – А.Архипенко и А.Модильяни.

Габо в этом отношении прошел тот же путь, что и Певзнер, – видел выставки кубистов в Париже, посещал галереи Щукина и Морозова в Москве. Пора их юности в искусстве, выбора пути совпала с признанием и распространением новых пластических идей – кубизма и футуризма. Братья, всем своим творческим сознанием органически расположенные к этим идеям, приняли их.

Едва в России произошла Февральская революция, Габо и Певзнер возвращаются на родину (Габо – из Осло, где он прожил несколько военных лет, Певзнер – из Франции). С революционным вихрем, охватившим страну, они связывали большие надежды. Молодые, талантливые, они были по всему своему творческому складу революционерами и ощущали в себе волю к свершению революции в искусстве. Их души были исполнены утопических мечтаний – они верили во всеобщее братство и равенство, в мировую революцию, которая станет очистительной бурей для жизни человечества и мировой культуры.

Братья были втянуты в водоворот художественной жизни. Они приобщались к самым скрупулезным исследованиям в области законов восприятия и свойств изобразительного языка: цвета, линии, формы, ритма, художественных качеств различных материалов. Их творческое сознание, углубленное, сосредоточенное на раздумьях о судьбах искусства в новом столетии, в новом мире, было связано с новыми представлениями о пространстве и времени.

Несмотря на потоки крови, заливавшие страну, надо сказать, что едва ли не самые гениальные идеи в области новых авангардных ху-

дожественных течений рождались тогда в России. Супрематизм К.Малевича (особое направление в области геометрической абстракции) и контррельефы В.Татлина (новый вид кубистической абстракции в реальном пространстве) не имели аналогов на Западе.

В конце лета 1920 года в Москве, в оркестровой яме на Тверском бульваре, состоялась выставка произведений Габо и Певзнера (с ними выступил ученик и последователь К.Малевича – Г.Клуцис). Выставка имела теоретическое сопровождение – "Реалистический манифест". Тогда трудно было удивить кого-либо дерзким тоном, вселенским размахом идей. И в этом отношении "Манифест" вписывался в поток такого рода деклараций. Но вызывающе пышная, помпезная фразеология отнюдь не исчерпывала содержания текста. В нем были важные мысли и предначертания на будущее развитие художественного творчества братьев.

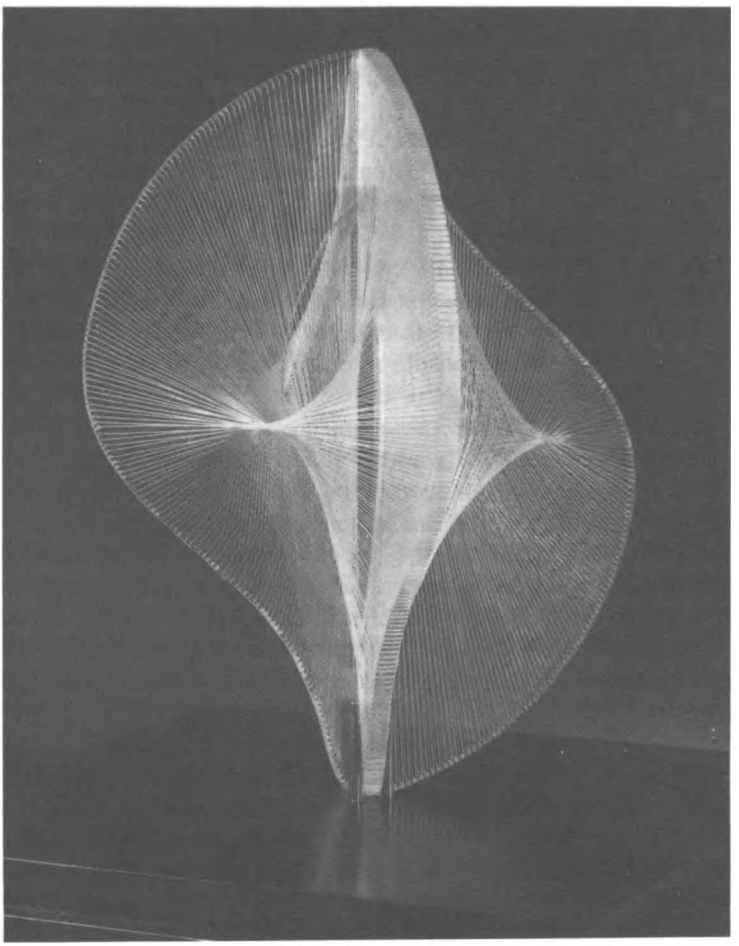
В начале творческого пути кубизм и футуризм послужили "стартовой площадкой" для формирования творческих принципов Габо и Певзнера. Теперь они резко выступают против обоих художественных направлений. По их мнению, опыты кубистов ведутся на поверхности искусства, не задевая его основы... "В результате получается все та же графичность, декоративность плоскости, что и в старом искусстве"... Такой же критике они подвергли футуризм: "Футуризм можно было бы приветствовать в его время за освежающий размах им возвещенной революции, за уничтожающую критику прошлого..." Но "каждому ясно, что простой графической записью о с т а н о в л е н н о г о движения не воссоздают самого движения... стоит спросить любого футуриста, как он представляет себе движение, и на сцену появится весь арсенал бешеных автомобилей, грохочущих вокзалов, перепутанной проволоки, лязга, стука, шума, звона, вертящихся улиц..."

Братья же, имея в виду феномен движения в "чистом виде", пишут: "Посмотрите на солнечный луч: тишайший из тишайших сил пробегает 300 000 километров в секунду. Наше звездное небо. Слышит ли кто его? А ведь куда нашим вокзалам до этого мирового вокзала, куда нашим поездам до этих торопливейших мировых поездов".

Манифест провозглашает:

Реализация наших мироощущений в формах пространства и времени – вот что является единственной целью нашего изобразительного творчества.

Мы знаем, что каждая вещь обладает одной ей положенной сущностью.



Н.Габо. Линейная конструкция в пространстве №2

Стул. Стол. Лампа. Телефон. Книга. Дом. Чайник – все это вселенные со своими особыми ритмами своих особенных орбит.

Вот почему мы, изображая вещи, срываем с них ярлыки их обладателей, все случайное и местное, оставляя им только их реальное и постоянное, выявляя скрытый в них ритм сил. И вот почему:

1. Мы отвергаем в живописи цвет как живописный элемент. Цвет есть идеализированный этический лик вещей. Наружное поверхностное впечатление от них. Цвет случаен и не имеет ничего общего с внутренним содержанием тела.

Мы утверждаем Тон тела, т.е. его светопоглощающую материальную среду единственной его живописной реальностью.

2. Мы отвергаем в линии ее начертательную ценность.

В реальной жизни тел нет начертательных линий. Начертание есть случайный след человека, но на предметах оно не связано с основной жизнью и постоянной структурой тела. Начертание – элемент графики, иллюстрации, декорации.

Мы утверждает л и н и ю только как н а п р а в л е н и е скрытых телестатических сил и их ритмов.

3. Мы отвергаем объем как изобразительную форму пространства. Нельзя мерить пространство объемами, как нельзя мерить жидкость аршинами. Посмотрите на наше реальное пространство, что оно, если не одна сплошная глубина.

Мы утверждаем глубину как единственную изобразительную форму пространства.

4. Мы отвергаем и скульптурную массу как скульптурный элемент.

Каждому инженеру уже давно известно, что статическая сила тел, их материальная сопротивляемость не зависят от количества массы...

А вы, скульпторы всех оттенков и направлений, вы до сих пор придерживаетесь предрассудка, будто объем нельзя освободить от массы. Вот мы берем 4 плоскости и из них строим тот же объем, что из 4-х пудов массы.

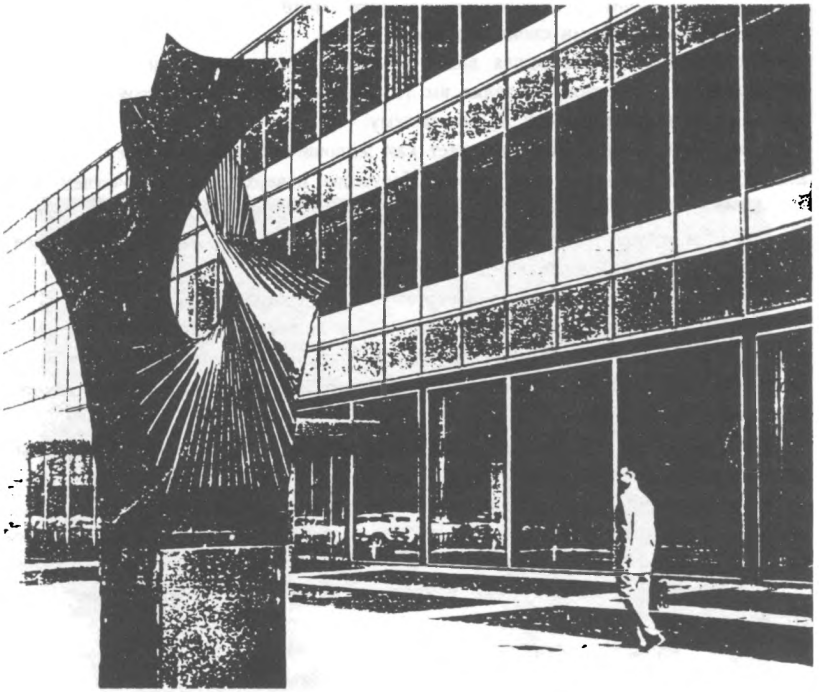
Этим путем мы возвращаем скульптуре похищенную у ней вековым предрассудком линию как направление. Этим путем мы утверждаем в ней г л у б и н у как единственную форму пространства.

5. Мы отвергаем тысячелетнее египетское заблуждение искусства, считающее статические ритмы единственными элементами изобразительного творчества.

Мы утверждаем ... кинетические ритмы как основные формы наших ощущений реального времени.

Вот они пять непреложных принципов нашего творчества, нашей конструктивистской техники.

Важнейшим явлением тех лет, перекликающимся с творческими исканиями Габо и Певзнера, в частности с "Реалистическим манифестом", стала длительная дискуссия ВХУТЕМАСа и ИНХУКа в области исследования элементов художественного языка, пространства и формы. Новое понимание пространства, движения ярко выразилось



А.Певзнер. Разворачивающийся столп свободы

в созданных в эти годы Габо проекте радиостанции для Серпухова и Кинетической модели. В кровавом хаосе трагической жизни России, в опустошенной Москве конструкция Габо – проект радиобашни – выглядела материализовавшейся поэтической мечтой-образом организованного и разумного голоса. В этом проекте Габо целеустремленно сводит массу к минимуму, основывая конструкцию на выступающих в пространство плоских пластинах, улавливающих рассеянный в нем звук и направляющих его по определенному руслу. Открытая форма, обладающая тенденцией к полному растворению, рассеиванию в пространстве, тяготеет к слиянию с кругом, стремится целиком отдаться в его власть.

Кинетическая модель – одно из самых примечательных произведений того времени, положивших начало целому направлению кинетического искусства, – представляла собой стальное лезвие, укрепленное на вращающемся моторе. В процессе вихревого движения лезвие как бы истаивало, заражая движением пространство. Движе-

ние осмыслялось как хаотическая категория, выражающая внутреннюю жизнь пространства. В зрительном образе этой модели на глазах совершался процесс обесплочивания, уничтожения материи, превращения ее в энергию.

Габо не был полностью удовлетворен Кинетической моделью, этой зависимостью движения от мотора. Он уже тогда мечтал воплотить "чистое движение", если и зависимое от чего-либо, то не от материальных субстанций.

В 1922 году Габо и Певзнер представляли свои произведения в известной галерее Galerie de Jan Diemen. Здесь состоялась первая выставка русского искусства, прибывшая из России. Ее устраивал отдел изобразительных искусств Наркомпроса и возглавлял художник Давид Штеренберг.

Выставка отражала все направления, существовавшие в то время в искусстве России, – от махровых реалистических до крайне левых.

Наиболее примечательным стал отдел нового искусства, представляющий прозведения крайне левых течений, принадлежащие кубизму, футуризму и абстракционизму. Они убеждали Запад в том, что искусство России не отставало от европейского в новаторских художественных идеях, в движении к абстракции. Мало того, в составе отдела были произведения, не имевшие аналогов в европейском искусстве, композиции, названные К.Малевичем супрематическими, – итог провозглашенного им похода против мирового искусства, началом которого было создание "нуля" форм – черного квадрата на белом фоне, – и контррельефы В.Татлина, исследующего взаимоотношения различных материалов в конкретном пространстве. Абстрактные композиции Габо имели внутренние точки соприкосновения с идеями Малевича и Татлина.

Во время этой выставки братья завязывают отношения с представителями новых течений на Западе и решают не возвращаться в Россию. Это решение было отчасти продиктовано культурной политикой большевиков. Новому режиму эстетические установки "бесполезного" беспредметничества были противопоказаны. Искусство должно было непосредственно служить делу мировой революции, стать частью жизни и быта пролетариев. Это никак не согласовывалось с творчеством братьев, стремившихся к созданию произведений, которые смогли бы стать органическими участниками человеческой жизни, таких же естественных и не заинтересованных в непосредственной пользе, как сама природа.

В этот период Певзнер создает произведения в смешанных техниках и порой отдает дань разным направлениям. В портрете Марселя Дюшана грубые рубленые формы, сочетание живописи и предметных частей рождает "объемный" образ знаменитого художника и поэта-дадаиста.

Пока пути братьев идут рядом. В 1929 году они совместно оформляют балет "La Chatte" ("Кошка") в антрепризе С.Дягилева, поставленный балетмейстером Ж.Баланчиным – одним из великих реформаторов искусства балета XX века. Стилистика балета, его язык формировались в тесной связи с идеями авангардного искусства. Обобщенная фигура богини, стоящая на подиуме над танцевальными группами, входящие в хореографические композиции кольца и прямоугольные рамы, которыми манипулировали танцоры, включались в хореографические композиции и обогащали их. Оформление балета раскрыло лирические возможности, заложенные в конструктивистском искусстве братьев.

Творческое различие их как художников стало очевидно в конце 20-х годов на интернациональных выставках машинного искусства во Франции и США. Певзнер разделил увлечение эстетикой машин, охватившее многих художников в это время, и создал произведения, представляющие художественный образ машины, из тяжелых металлических частей, скрепленных болтами. Габо смог откликнуться только реминисценциями радиобашни для Серпухова. И, напротив, именно в это время он проектирует совместно с архитектором Гуго Херингом проект праздника для Бранденбургских ворот, в котором главным, точнее единственным, героем и средством была бесплотная материя цветного света. Материальная субстанция исчезала в пучках цветных лучей, вспыхивающих на небе по определенной, разработанной партитуре и воплощающих "музыку сфер".

Певзнер создал в 1933 году свой образ неба в большом полотне "Рождение универсума" – образ тяжелый, материальный... Вселенское событие, связанное с вечностью, понято и истолковано художником как глубоко драматическое. Одновременно в композиции и особенно в колорите – в сочетании багровых и сине-сизых красок ощущается предчувствие грядущих катастроф, современником которых стал художник.

Раздумывая о различии творчества братьев, о его сущности, прежде всего обращаешь внимание на их отношение к пространству.

В соответствии с одним из тезисов "Реалистического манифеста",



Антуан Певзнер (слева) и Наум Габо (крайний справа)

утверждавшим высшим смыслом скульптуры воплощение таящейся в ней энергии, Габо и Певзнером была создана особая структура, где объем прочерчивался линиями, воплощающими энергию и токи, таящиеся в нем. В скульптурах Певзнера эта энергия резко гасится. В прозрачных формах Габо она уходит в пространство, сливается с ним.

В скульптуре Габо "Кручение" сгусток прозрачного целлулоида в процессе вращения вытягивается, образуя фигуру вращающегося штопора. Фигура эта настолько бесплотна, прозрачна, невесома, что кажется, она соткана из "идеальной" материи, пространства и лишь выносит на свет таящиеся в нем законы гармонии, строящие его, и мироздание. Законы эти Габо ощущает как человек серьезно причастный, знакомый с открытиями физики XX века. Скульптура воплощает и таящееся в пространстве движение. Такова и "круглая конструкция", в которой в таких же отношениях с пространством находятся и полукруги, очертаниями подобные тончайшему графиче-

скому рисунку, и прикрепленные к ним тонкие прозрачные плоскости, совместно овладевающие пространством, отдающиеся ему. Полукруги и плоскости совместно пунктиром прочерчивают фигуру шара.

Скульптура Певзнера в форме воронки*, казалось бы, также могла решать тему вращения. Но он создает образ противоположного характера, не имеющий никакого отношения к пространству и вращению. Воронка самодостаточна как предметная форма, и всей ее структуре движение противопоказано. Внутреннее движение и энергия массы, воплощенные в прочерчивающих объем линиях, гасятся резким обрезом края скульптуры.

Красноречиво сравнение работ, исполненных для одного и того же конкурса: проектов композиций для увековечивания памяти неизвестных политических заключенных. Проект Певзнера основан на замкнутом кольце, сложно пересеченном тросами, ассоциирующемся с образом тюремной решетки. Проект Габо представляет собой две истаивающие кверху стеллы, оберегающие, как ладони свечу, стоящий между ними столб. Форма открыта пространству... Оба проекта братьев были удостоены второй премии.

Не менее показательно сравнение проектов аэропорта. У Певзнера конструкцию составляют треугольные лопасти, напоминающие сцепленные между собой крылья птиц, которые не могут взлететь и крутятся на месте. Какая-то сила приковывает их к земле. Форма – закрытая, статичная, самодостаточная.

Проект Габо представляет собой комбинацию из трех квадратов: черного, белого и прозрачного, диагонально установленных по отношению друг к другу и к земле. Они вдохновлены квадратами Малевича. Прямое цитирование этого художника не случайно – пространственная концепция Габо во многом родственна концепции создателя супрематизма, его постулатам о законах земного и околоземного пространства, воплощенных искусством. Конструкция Габо связана не с конкретным местом, а с пространством "безмерной глубины", которая провозглашена в "Реалистическом манифесте" как его главный признак.

Показательно пристрастие Габо к форме кристалла. Из всех ипостасей "единицы" – клетки материального, вещественного, кристалл особенно поражает своей правильной стереометрической формой и

---

* Видимо, имеется в виду "Проекция в пространстве" (38-39 гг.) или "Разворачивающаяся поверхность" (38 г.) *(примеч. ред.)*

поэтому, возникая в физических и химических процессах, кажется порождением интеллекта и тем самым демонстрирует близость материального и "идеального".

Габо принадлежит открытие для Запада русского художника Врубеля, в чьем творчестве поиски нового образа пространства соединились с созданием новой живописной структуры, в которой кристалл составлял как бы молекулу. Габо считал Врубеля первооткрывателем кубизма и утверждал его равнозначность Сезанну.

Для Габо примат пространства над предметной формой несомненен. Примечательно с этой точки зрения его пристрастие к материи определенного рода – текучей, непреодолимой, противоречащей жесткому оформлению.

Габо писал: "Каждое произведение – действие, которое включает жизнь, добавляет к ней что-то в направлении движения и роста, расширения и развития, является конструктивным. Думаю, что образ моей работы – есть образ добра – не зла. Это образ порядка – не хаоса, образ жизни, а не смерти. Это все содержание, относящееся к моим конструкциям. Это все, что ведет к моей идее конструктивизма".

Габо хотел сделать свои произведения соприродными земле, жизни, миру, Вселенной. Он испытывал благоговение по отношению к ее высшему, не познанному до конца порядку.

Каждый по-своему, Габо и Певзнер, своими произведениями вносили гармоническую меру, подобную "золотому сечению" в "порядок" окружения человека. В этом их вклад в мировое искусство XX века.

Избранная библиография

1. Antoin Pevsner. Catalogue. Musée National d'Art moderne. Paris. Dec. 1956 – Mars 1957.
2. Butler, B. Antoin Pevsner in Paris. // Arts (N.Y.). V.31. №5. P.25-27.
3. Gabo, Naum. Of divers Arts. N.Y., 1962.
4. Giedion-Welcer, C. Antoin Pevsner. Neuchatel. Griffon, 1961.
5. Forge, A. An appreciation of Naum Gabo. Biddenden, Kent, 1985.
6. Naum Gabo. Sixty Years of Constructivism. Catalogue raisonné of the Construction and Sculpture. Munich, 1985.
7. Naum Gabo. Neuchatel, Griffon, 1957.
8. Naum Gabo. Centenary Exhibition. London, Annely Juda Fine Art, Jun.-Sept. 1990.
9. Pevsner, A. Naum Gabo et Antoin Pevsner. Zwinenburg, 1968.

От редактора

Дора Коган умерла, когда статья еще не была набрана.

Отдавая мне последний машинописный вариант с рукописными вставками, Дора сказала: "Я закончила. Вы поймете, что я хотела сказать, а то, что не сможете прочесть, вычеркните".

И я старалась сохранить авторский текст.

Юдифь Зислин



Савелий Сорин. Автопортрет. Около 1920 г. Публикуется впервые

Савелий Сорин в Крыму и Закавказье в 1917-19 годах

Джон Боулт
(Лос-Анджелес)

С формальной точки зрения, нужно, по-видимому, пересмотреть даты отъезда в эмиграцию некоторых россиян, которые прежде чем попасть на Запад спасались от большевиков и гражданской войны в странах, отделившихся от России при первой возможности. К таким странам относилась Грузия – независимая до февраля 1921 года, когда ее "освободила доблестная Красная Армия". Сорин, Судейкин, Рафалович и некоторые другие художники и поэты, о которых написал Джон Боулт, переехали в Тифлис не менее чем за год до отъезда во Францию. Следовательно, события, описанные в настоящей статье, в значительной степени относятся к эмигрантскому периоду их жизни.

Работая с горьковедческой литературой, я несколько раз встречал материалы о художнике Савелии Сорине, которые запомнились. Знакомство с ним Горького произошло во время драматических событий в жизни молодого Сорина. В 1901 г. Янина Берсон, дочь крупного петербургского банкира, порвала с семьей и уехала в Нижний Новгород. Бежала она прямо с бала в вечернем платье. Ее сопровождал жених – Савелий Сорин. Побег был организован Скитальцем, он же помог Янине войти в дом к "Буревестнику революции". Пешковы приютили девушку, и она некоторое время жила у них. Между прочим, участвовала в благотворительных концертах, которые организовывали Алексей Максимович и Екатерина Павловна, – Янина играла на скрипке. Савелий, естественно, был завсегдатаем дома. Но между молодыми людьми произошел разрыв, и Сорин пытался покончить жизнь самоубийством. Вскоре Пешковы пригласили его к себе в Арзамас, где Горький отбывал ссылку. Там Сорин написал портрет Алексея Максимовича (в настоящее время портрет находится в Музее Сан-Франциско, США). Учи-

тель Сорина И.Репин высоко оценил эту работу. В Арзамасе же Сорин писал и Екатерину Павловну. Ее портрет воспроизведен в изданном в 1986 г. "Описании художественных материалов Музея А.М.Горького в Москве". Сорин стал одним из первых иллюстраторов произведений Горького (рассказы "Старуха Изергиль", "Бывшие люди", "Проходимец" и "Дружки"). В 1909 году Сорин приезжал к Горькому на Капри. С добрым чувством вспоминает Е.П.Пешкова о случайной встрече с Сориным во Флоренции приблизительно в 1930 г. (Е.П.Пешкова. Савелий Абрамович Сорин и портрет А.М.Горького его работы. Машинопись. 3 окт. 1956 г. Музей А.М.Горького).

И в Париже, и в Нью-Йорке Сорин слыл одним из лучших портретистов. Он бескорыстно помогал бедствующим коллегам. До последнего дня поддерживал, например, художника Судейкина, заботился о нем. С большой благодарностью за помощь вспоминал Сорина Александр Бенуа. Во время второй мировой войны Савелий Абрамович посылал советским художникам краски и деньги (об этом см.: Щербакова Г. Мастер портрета. "Огонек". 1974. №22. С.8.). В начале 70-х годов вдова Сорина – Анна Степановна – привезла в дар советским музеям коллекцию его произведений.

Зимой 1987-88 годов в Москве в только что построенном Грузинском культурном центре на Арбате была организована выставка "Грузия в произведениях русских художников". Достойное место на ней занимали соринские портреты: Мелиты Чолокашвили, жены поэта С.Рафаловича, и Елизаветы (Элисо) Иосифовны Дадиани, светской красавицы, музы известных поэтов и художников; она жила с мужем – английским подданным Арнольдом Зарбом во Франции, где погибла во время автомобильной катастрофы. Мне удалось переснять и вывезти фотокопии этих портретов Сорина, которые мы здесь воспроизводим.

Статей о Сорине написано немного, нет о нем ни книг, ни монографий, тем ценнее присланное Джоном Е. Боултом содержательное сообщение об этом художнике. Основной текст статьи переведен мной с английского; стихи и выдержки из дневника были присланы в оригинале.

Михаил Пархомовский

Публикуемые ниже портрет и 4 стихотворения взяты из крымского и закавказского альбома Веры Артуровны Судейкиной (урожд. Боссе, по первому мужу Шиллинг, более известной как Вера Стравинская, жена великого композитора; 1888-1982[1]). Альбом заполнял-

ся в основном в 1917-1919 гг. во время ее поездки на Юг – из Петрограда в Москву, Крым, Тифлис и Баку и затем в 1920 г. в Париж[2]. Она выехала из Петрограда в апреле 1917 г., а затем, соединившись с Сергеем Юрьевичем Судейкиным (1882-1946), прибыла в Крым летом. Они поселились в Алуште, на берегу моря, потом переехали в Ялту (в сентябре 1918 г.), а в декабре – в Мисхор. В середине апреля 1919 года они отправились морем в Батум (через Новороссийск) и в конце месяца прибыли в Тифлис. Из Тифлиса в декабре 1919 года переехали в Баку. В марте 1920 они вернулись в Тифлис, а через два месяца отправились в Париж (через Батум и Марсель), куда прибыли 20 мая.

Среди вкладчиков альбома Константин Бальмонт, Иван Бунин, Юрий Деген, Николай Евреинов, Сергей Городецкий, Борис Григорьев, Ладо Гудиашвили, Михаил Кузьмин, Осип Мандельштам, Григорий Робакидзе, Савелий Сорин, Михаил Струве, сами Судейкины, Максимилиан Волошин и многие другие представители Серебряного века в России и Закавказье. Ниже приведены также выдержки из дневника Судейкиной, который она вела в период между 1(14) январем и 14(27) августом 1919 г., и корпус случайных и несистематизированных записок, большей частью не датированных и отнесенных нами к разделу Varia.

Созданный в Крыму и Грузии в 1918-1919 годах автопортрет Савелия Абрамовича Сорина (1878-1953)[3] и поэтические дифирамбы его таланту говорят нам, что, несмотря на военные события и постоянные переезды, физические лишения не сломили этих представителей Серебряного века России, блиставших в салонах Петербурга и Москвы: их творческая жизнь продолжалась в Ялте, Тифлисе и Баку. На Юге оказались ведущие символисты и кубофутуристы России. Сергей Городецкий, Вячеслав Иванов, Василий Каменский, Алексей Крученых, Сергей Маковский, Осип Мандельштам, Сорин, Судейкин, Максимилиан Волошин продолжали публиковаться, читать лекции, писать картины, полемизировать. Элегантные портреты, создававшиеся Сориным, его талант собеседника и учителя сделали художника ведущим в этом "сентиментальном путешествии".

Сорин был постоянным спутником Судейкиных в С.Петербурге, Ялте, Мисхоре, Тифлисе и Баку. В записках Веры Артуровны Сорину уделяется много места. Она называет его "настоящим другом"[4] и "просто очень приличным человеком"[5], даже в записях, в которых она высказывает сомнения в его таланте художника. Сорин и Судей-

кины иногда делили одно и то же жилье, принимали участие в одних и тех же выставках, например Сергея Маковского "Искусство в Крыму" в 1918 г. У них были общие знакомые и ученики, и ничего удивительного нет в том, что Сорин написал портрет Веры Артуровны.

Ставший известным в своей стране благодаря серии портретов светских красавиц и балерин, Сорин был близок петербургскому высшему свету, который покровительствовал также Льву Баксту, Вильгельму Эберлингу и Валентину Серову. Как и они, Сорин учился в Российской Академии Художеств, отдал долг классическим традициям и отказывался от анархических идей авангарда. В то же время Сорин был постоянным посетителем "Бродячей собаки" и "Привала комедиантов" – двух кабаре, в которых поощрялся эксперимент в литературе и изобразительном искусстве, определялся характер санкт-петербургского модернизма 1910-х гг.

Находясь под влиянием его космополитического окружения, Сорин, по-видимому, мало интересовался собственным происхождением и вообще еврейскими корнями культуры. Рассказывая, например, о музыканте Мироне Якобсоне, Сорин говорил, что его "талантишек ниже среднего, /но/ он умеет хорошо рассказывать еврейские анекдоты'[6].

С другой стороны, как в случаях Бакста и Пастернака, Сорин часто становился жертвой дискриминации, типичной для России.

Подобный случай описан в дневнике Веры Судейкиной: "Браиловские рассказывают об обиде, нанесенной Сорину офицером, собиравшим этюды для лотереи в пользу офицеров <...> было сказано Сорину, что он как нерусский человек, конечно, не может понять чувств русского офицера – другими словами – 'Вы жид, будьте поосторожней'"[7]. Даже просвещенный Судейкин не был щепетилен в моменты раздражения и напряжения. Еще один рассказ из дневника Веры: Сорин принес сенсационное известие об убийстве Ленина и о взрыве в Одессе. "Если Троцкий один останется, вот будет мстить за жизнь Ленина", – говорит Сорин. Сережу (Судейкина) это выводит из себя и он нападает на евреев: "Чтобы один жид управлял Россией..."[8]

Несмотря на политическую и социальную нестабильность 1917-19 годов, Сорин, по-видимому, был чрезвычайно счастлив в Крыму и Грузии. Возможно, что неопределенность и отсутствие режима придавали жизни богемный характер, и, во всяком случае, после жестоких и холодных зим военного времени в Петрограде и Москве зали-

тый солнцем Крым казался раем. В эти годы здесь жили многие друзья Сорина. Не последними из них были художники Билибин, Леонид и Римма Браиловские, Судейкины (в Ялте они жили с Сориным в одном доме), Маковский и Волошин. Судейкина записала многие из встреч, во время которых возбужденные благоуханием южных вечеров и крепким вином, они обсуждали судьбу России и Украины. Например, она записала ответы на вопрос: "Положение Крыма в ближайшее время?", обсужденный в понедельник 8 апреля 1918 г. в студии Браиловского.

Сорин: "В Крым немцы не придут, и Крым будет советским".

Римма Браиловская: "Немцы с украинцами придут в продолжение апреля".

Леонид Браиловский: "Крым будет принадлежать или немцам, или союзникам, и немцы придут в скором времени".

Вера Судейкина: "Немцы будут через неделю"...

Сорин просит добавить, что сказанное им произойдет, если мир с большевиками не будет нарушен[9].

В 1917-20 годах в Крыму было много петербургских и московских художников, так что неудивительно, что в Ялте, "Всероссийском санатории"[10], произошел целый ряд важных событий в художественной жизни. Одним из них стала "Первая выставка картин и скульптур Ассоциации объединенных художников", открывшаяся в декабре 1917 г. в женской гимназии Ялты. Среди 41 участника были Билибин (10 работ), Браиловский (6), Сорин (3), Судейкин (4). Каталог включал также Бакста, но это оказалось ошибкой[11] – он в выставке не участвовал, и Анну Белокопытову, представленную портретом Паллады; оба были завсегдатаями "Бродячей собаки".

В Тифлис Сорин прибыл летом 1919 года и сразу занял значительное место в художественной жизни города, написав несколько элегантных портретов представителей местной знати, как, например, княгини Елизаветы Дадиани, упомянутой Нимфой Любомирской и Файнбергом в публикуемых нами стихотворениях. Сорин часто бывал в "Фантастическом кабачке" и "Химериони" – главных очагах вечерней культурной жизни Тифлиса, привлекавших Алексея Крученых, Игоря Терентьева, Татьяну Вечорку и многих других интеллектуалов, выброшенных на Юг революцией. С помощью Судейкина Сорин расписал любимое кабаре богемы – "Ладью аргонавтов", кабаре, в котором бывали Александр Черепнин, Евреинов, Нимфа Любомирская и Сергей Рафалович. Сорин посещал Театр оперы и балета,

Театр миниатюр; внес значительный вклад во вторую выставку Малого круга в мае 1919 г. вместе с Раисой Флоренской (сестрой о. Павла Флоренского), Судейкиным, Валешевским, Александром Зальцманом и другими. Сорин возглавлял также студию искусств – Класс №7 – вместе со скульптором Яковом Николадзе и Судейкиным, давал уроки Ксении Деген, Юрию Долгушину, Татьяне Вечорке и другим. Однако и такой бурный Тифлис не мог долго удовлетворять Сорина-космополита, и он, по-видимому, чувствовал себя достаточно далеким от изысканной международной среды, в которой вращался.*

В 1919 году Сорин едет в Баку. Там он – как и Моисей Альтман, Евреинов, Крученых, Михаил Струве и многие другие русские и русско-еврейские писатели – посещал ночной клуб и кабаре "Веселый Арлекин", где обычно собиралась местная интеллигенция. "Веселый Арлекин" существовал только несколько месяцев, его традиции были возрождены в декабре 1920 года частью труппы "Летучая мышь", которая не поехала с Никитой Балиевым в Париж и организовала Сатиро-агит-театр. В 1923 году он был переименован в Бакинский рабочий театр.

В апреле 1920 г. Сорин возвращается из Баку в Тифлис. Вместе с княгиней Александрой Меликовой (Меликян) и ее мужем, князем Александром Меликовым (первым офицером связи Грузия-Британия), полковником Хаскелем (американский комиссар в Закавказье), с женой и Судейкиными Сорин отплывает на французском судне "Сура" из Батума в Марсель.

Двадцатого мая 1920 года они прибыли в Париж[12].

Нимфа Бел-Кон Любомирская[13]
С.А.Сорину (1920)

Певец старинной красоты,
Путеводитель душ печальных.
Твои портреты как цветы
Растут в долинах погребальных.

---

* По-видимому, это была не единственная причина отъезда Сорина во Францию. Потеря Крыма и другие поражения белых армий в гражданской войне были явными признаками приближающегося захвата Закавказья Красной армией *(прим. переводчика)*.



Мелита Чолокошвили. Париж, 1927. Жена поэта С.Рафаловича

Истин ушел аристократ
И руки женщин огрубели.
Но этот мир твой зоркий взгляд
Живописал нежнее свирели.

Взойдешь к тебе и снятся сны,
Глядит так скорбно Дадиани[14]
И, полн порочной глубины,
Тигриный взор орловый ранит[15].

Потомок вековых колец
Князь Оболенский мнет перчатку[16],
И зрителя берешь ты в плен,
Маня в былое, как в загадку.

Но чтоб от думы отдохнуть,
Зовешь к пейзажу голубому,
В какой-то лучезарный путь,
В затихший парк, в лесную дрему.

Совсем ты с Нестором несхож,
Но все же летопись ты пишешь
И долго будут чуять дрожь,
Которой ты в портретах дышишь.

март, 1920, Баку

Жену Сергея Городецкого Любомирскую ценили не столько за поэтический дар, сколько как хозяйку литературного салона в С.-Петербурге.

Георгий Иванов вспоминал: "...дымящиеся гарднеровские чашки. В окружении литературных дам жена Городецкого, "Нимфа", сияя несколько тяжеловесной красотой, разливает пухлыми пальчиками чай"[17]. Приблизительно в это же время Городецкий тоже опубликовал стихотворение под названием "Сорин"[18].

Иван Радин. Без названия[19]

Пускай в грядущий том годин
Взойдет в искусстве много зерен,
Судейкин будет лишь один
И Сорин будет неповторим.

7 марта, 1920.



Княжна Элисо Иосифовна Дадиани. Тифлис, 1919 г.

Татьяна Вечорка[20]
С.А.Сорину (ок. 1919)

В снегу из ватманских экранов
Наметен мех и жемчуга
Сангвина тусклых губ – легка
Хрусталь махровых глаз – заманит.
Спокойно, скальпель кисти светской
Бесплотной силой ворожил
Когда художник, нерв души,
Открыл почтительно и дерзко.

Вместе с Саломеей Андрониковой, актрисой Софьей Мельниковой, Ниной Васильевой и, конечно, Верой Судейкиной, Вечорка была одной из видных представительниц тифлисской интеллигенции, лихорадочно пишущих и декламирующих стихи[21]. Она была главной вдохновительницей культурной жизни "Фантастического кабачка". По ее инициативе здесь была организована лекция Алексея Крученых в декабре 1918 года[22]. Вечорка стала первой участницей альманаха "Фантастический кабачок"[23].

Поэт Александр Порошин записал свои впечатления о ней в таких поэтических строках:

Вечорка грустью нас пленит,
Бессильной нежностью согретой,
Иль опрокинутым сонетом
Тебя нежданно поразит.
А может быть, друзьям в усладу
Прочтет наивную балладу[24].

Как пишет Порошин, Вечорка была поэтом разноплановым и легко перемещалась от романтики 19 века к "зауми"[25]. Подобно курьезно легкому совмещению стилистической дислексии, Вечорка так же легко воспринимала и ценила традиционную живопись Савелия Сорина и Судейкина, с одной стороны, и далеко ушедшие от реальности работы группы "41 градус", с другой. Ее стихотворение, помещенное здесь, выглядит странно банальным по сравнению с ее воинственной поддержкой футуризма и ее близостью к Хлебникову и Крученых, стихи которых она так ценила[26].

По-видимому, Татьяна Вечорка сделала свою запись в ожидании занятий в Классе №7 в Тифлисе, где оба – Сорин и Судейкин (а также Яков Николадзе) преподавали летом 1919 года.

А.Файнберг[27]
Сорину (ок. 1919)

Портрет княжны грузинской Дадиани[28]
Нездешний лик часовенных Мадонн.
Линейных дум прозрачный сон.
Тропа небесная божественных
скитаний...

Чуть движный шелест бархатных
ресниц:
Скользящий луч молитвенных
сияний...
Земной поэт упал безмолвный ниц,
Плененный тайной глаз невинных
Дадиани...

Примечания

1. О Вере Судейкиной см.: Igor and Vera Stravinsky. A Photograph Album 1921 to 1971, London, 1982; Dearest Babushkin. The Correspondence of Vera and Igor Stravinsky, 1921-1954, with Excerpts from Vera Stravinsky's Diaries 1922-1971, London, 1985; I.Stravinsky and R.Craft: Stravinsky in Pictures and Documents, New York, 1978; Fantastic Cities and Other Paintings. Paintings by Vera Stravinsky, Boston, 1979.

2. Альбом Судейкиной, ее крымские и грузинские дневники и другие материалы хранятся в частной коллекции. Приводимые здесь отрывки публикуются впервые. Издательство Пристонского университета готовит аннотированное факсимильное издание Альбома под редакцией Джона Е.Боулта.

3. Сорин Савелий (Савий, также Завель) Абрамович (Израилевич), художник-портретист.

Родился в 1878 г. в Полоцке, умер в 1953 г. во Франции. В 1894 г. поступил в Одесскую школу искусств, где учился под руководством Кирьяка Костанди. В 1899-1907 учился в С.-Петербургской Академии Художеств у Ильи Репина, Василия Савинова и Ивана Творожникова; специализировался как портретист. В 1908 году получил стипендию Академии для поездки во Францию и Италию. В 1916-17 гг. посетитель "Привала комедиантов". В 1917 покидает Петроград и отправляется в Крым. Участник "Первой выставки картин и скульптур Ассоциации объединенных художников" в Ялте. Там же в 1918 г. участвует в выставке "Искусство в Крыму". Весной 1919 переезжает в Тифлис, где участвует в выставке "Малый круг". Вместе с Судейкиным расписывает кафе "Ладья аргонавтов". В декабре 1919 переезжает в Баку. В марте 1920 возвращается в

Тифлис, а в мае уезжает во Францию. В 1921 г. участвует в парижской выставке "Русское искусство". Участник "Осенних салонов" 1922 и 1923 гг. В Париже был в тесных дружеских отношениях с Александром Бенуа. В 1923 – персональная выставка в Лондоне. В этом же году переехал в США. Участник "Выставки русских художников и скульпторов" в Бруклинском музее Нью-Йорка. В 1924 г. участвовал в Международной выставке Института Карнеги (Питтсбург), где его работы получили высокую оценку. В 20-30-е годы главным образом работал над портретами аристократов, художников, актеров и танцоров, таких как Александр Бенуа, Михаил Фокин, Анна Павлова.

О Сорине см. также:

Маковский С. Портреты Сорина // Жар-птица (Берлин). 1922. №8. С.2-6.

Львов Л. Русское искусство за границей. Портреты С.Сорина // Иллюстрированная Россия. 1927. №34. С.16-17.

Schang et al. (eds.): Russian Artists in America. N.Y. 1932. P.215.

Salmon A. S.Sorine. Portraits. Berlin. 1929.

Exhibition of Paintings by Sorine. Catalog of Exhibition at Wildenstein and Co. N.Y. 1934.

Опалов Л. В студии Савелия Сорина // Русская жизнь. Н.-Й. 1943, 6 ноября.

Произведения живописи и графики, переданные А.С.Сориной в дар музеям СССР. Каталог выставки в ГТГ. М.,1973.

Сарабьянов А. (ред.). 1978. Художественный календарь: Сто памятных дат. М.,1977. С.124-126.

4. Дневник Веры Судейкиной (Стравинской) за 9 мая 1919 г.

5. Там же, 12 мая 1919 г.

6. Там же, 9 июня 1918 г.

7. Там же, 20 июня 1918 г.

8. Там же, 3 сентября 1918 г.

9. Запись Веры Судейкиной, озаглавленная "Кто что обещает" и датированная 8 апреля 1918 в разделе "Разное".

10. Врангель Л. Воспоминания и стародавние времена. Вашингтон. 1964. С.63.

11. В каталоге Лев Бакст обозначен вместо Льва Зака. Об этой путанице между двумя русско-еврейскими художниками см. Дневник за 22 декабря 1917 г.

12. Bechhofer. In Denikin's Russia. London, 1921. P.322.

13. Любомирская (Козельская), Нимфа Бел-Кон (Анна Александровна). Писала стихи и прозу. Родилась в 188(?), умерла в 1945 г. В 1908 г. стала женой Сергея Городецкого. В 1910-е годы жила в Петербурге. В 1918 г. – член тифлисского Цеха поэтов. В 1919 г. работала в журнале "Орион" в Тифлисе. В 1920 г. жила в Баку.

14. Княжна Елизавета Иосифовна Дадиани (1903-1944), чей портрет Сорин писал в Тифлисе в 1919 г. Ныне портрет в Третьяковской галерее в Москве, где он был репродуцирован в "Произведениях живописи и графики, переданных

А.С.Сориной в дар музеям СССР": Каталог выставки ГТГ. М., 1973. Без пагинации. Вероятно, Файнберг в нижеприводимом стихотворении упоминает тот же портрет.

15. Станс 3, строка 4 ("Тигриный взор орловый ранит") – нарочитая игра слов; правильнее: "Тигровый взор орлиный ранит".

16.Упоминание князя В.А.Оболенского (1869-1938) связано с тем, что Сорин часто встречался с ним в Крыму в 1917 и 1918 гг. и написал портреты нескольких членов его семьи. Портрет князя С.П.Оболенского Сорин включил в выставку "Малый круг" (Тифлис, 1919), в каталоге которой он указан под №68; портрет княгини Л.П.Оболенской (1917) – в выставку "Искусство в Крыму" (Ялта, 1918). Там портрет числился под №180 и с указанием, что он – частная собственность князя А.А.Оболенского. Этот портрет был репродуцирован в "Новом русском слове" (1980, 20 авг. С.3). Об Оболенских в Крыму см.: Оболенский В. Моя жизнь. Мои современники. Париж. 1988. С.574-751.

17. Иванов Г. Петербургские зимы. Н.-Й., 1952. С.89.

18. Городецкий С. Сорин. Братство (Тифлис). 1920. №1. С.31.

19. Личность Ивана Радина не установлена. По некоторым источникам, он был журналистом. Судя по упоминаниям Сорина и Судейкина, он был одним из их бакинских друзей.

20. Вечорка (также Вечерка) Татьяна Владимировна. Псевдоним Татьяны Владимировны Толстой. Поэтесса, новеллистка, переводчица. Родилась в 1892 г. в Баку, умерла в 1965 г. в Москве. Получила образование в начале 1900-х гг. в С.-Петербурге. В 1918 г. уехала в Тифлис. Член Цеха поэтов Юрия Дегена. Находилась под влиянием Велимира Хлебникова. Была связана с группой "41 градус"; в 1919 г. участвовала в сборнике "Фантастический кабачок". Организатор группы "Альфа-Лира". В 1920 г. переезжает в Баку. С 1923 г. – в Москве, где становится журналисткой и начинает писать рассказы. В 1925 г. участвует в сборнике Сергея Городецкого "Стык" (Москва).

Ею написаны также:

Беспомощная нежность. Тифлис. 1918 (рукопись).

Магнолии (стихи). Тифлис, 1918.

Соблазн афиш (поэмы и стихи). Тифлис, 1918.

Соблазн афиш. Три книги стихов. Баку, 1920.

Бука русской литературы. В соавт. с Д.Бурлюком, С.Третьяковым и С.Рафаловичем. М.,1923. Переиздано с включением текста Бориса Пастернака под названием: Жив Крученых! Треть души. Стихи. М.,1927.

О самой Т.Вечорке ничего существенного не было опубликовано. Некоторая информация содержится в сборнике: Magarotto L. et al. L'avangardia a Tiflis. Venice. 1982. H.314.

21. Два своих стихотворения она читала на Вечере поэзии и музыки 23 окт. 1918 г. в Тифлисской консерватории. См. ее статью "Вечер поэзии и музыки" в "Курантах" (Тифлис). 1918.№1. С.22.

22. Крученых уже говорил о ее поэзии в своей лекции 2 июня 1918 г. ("О

женской поэзии и многом другом").

23. Здесь она опубликовала цикл своих стихов под названием "Соблазн афиш". См.: Софии Георгиевне Мельниковой. Фантастический кабачок. Тифлис. 1919. С.17-26. Содержание этого альманаха дает представление о деятельности писателей и художников Ладо Гудиашвили, Крученых, Григорий Робакидзе, Терентьева, братьев Зданевичей в "Фантастическом кабачке" в Тифлисе в 1917-19 гг. В 1918 г. был напечатан 1-й том этого альманаха, но в продажу он не поступил. В ссылках его называют "Фантастический кабачок I".

24. Из А.Порошина. Фантастический кабачок (1918) // L'avangardia a Tiflis. Venice. 1982. (См. прим. 20). Все стихотворение с комментариями опубликовано на с.318-320.

25. В дальнейшем Вечорка опубликовала несколько работ о М.Ю.Лермонтове. См., напр., ее издание: Лермонтов М.Ю.. Стихотворения. Песнь о купце Калашникове (М.,1936.), ее книгу "Детство Лермонтова" (М.,1957), которая была переведена на чешский язык.

Во время своего пребывания в Тифлисе Вечорка экспериментировала с "заумью" и даже подготовила для публикации "Книгу зауми" (она не была напечатана).

26. См. книгу стихов "Мы и остальное". Баку, 1920, в которой она выступает в соавторстве с Хлебниковым и Крученых.

27. Личность А.Файнберга не установлена, но исходя из того, что он написал в Альбом стихотворения, посвященные Сорину и Судейкину, в июле 1919 г. он, по-видимому, был одним из студентов Класса №7 в Тифлисе.

28. См. прим. 14.

История
Общественные деятели

Редактор Михаил Хейфец

Максим Винавер

Эдуард Капитайкин (Израиль)
Глава из книги "Имена"

Иосиф Гессен: юрист, политик и журналист

Валерий Гессен (Россия)

Роза Гинцберг-Осоргина – дочь Ахад-ха-Ама

Нина Елина (Израиль)

"Звезды все еще звезды..."

Очерк В.Е.Жаботинского о Г.Б.Слиозберге
Публикация Самуила Шварцбанда (Израиль)

"Предводимые евреем-революционером"

(О русских добровольцах во Франции)
Михаил Пархомовский (Израиль)



Памяти Эдуарда Капитайкина

Театровед Эдуард Самуилович Капитайкин уезжал из Ленинграда не по сионистским убеждениям и не потому, что его выталкивали обстоятельства. Историк и книжник, он увлекался не столько премьерами, сколько прошлым театрального Петербурга – Петрограда – Ленинграда – его музеями, архивами, знаменитыми династиями костюмеров, гримеров, бутафоров. Капитайкин считался лучшим знатоком МХАТа 2-го, возникшего в 1924 году из студии Московского Художественного театра и закрытого во время партийного погрома искусства в 1936 году. Другой темой творчества Капитайкина были студийные театры двадцатых и начала тридцатых годов, закрытые вместе с запретом на эксперимент в искусстве.

Идея репатриации возникла после отъезда в Израиль в дни октябрьской войны 1973 года близкого друга Капитайкина художника Марка Байера: он показал, что существует возможность выбора. Этой идеей были захвачены десятки тысяч людей, которых привело в Израиль не только и даже не столько национальное чувство, сколько великий соблазн свернуть с проторенного пути и самому стать хозяином своей судьбы. И одновременно, как у многих тогда, возникла мечта о возвращении к корням, к истокам на материале наиболее доступном и близком – русско-еврейской культуры. В 1977 году Эдуард Капитайкин с семьей переехал в Израиль.

Плата за соблазн оказалась жестокой – он попал в страну другой культуры, где, как ему казалось, для него нет места. К профессиональной неустроенности прибавились бытовые сложности, и Эдуард не выдержал испытания – началась тяжелая депрессия.

"Кому нужен в Израиле русский театральный критик?" – с болью и надеждой спрашивал Э.Капитайкин в статье, напечатанной в одном из русских журналов. На эту статью обратили внимание: ни этот вопрос, ни судьба автора не оставили людей безразличными, и факультет славистики Иерусалимского университета дал ему годичную сти-

пендию на работу о постановке бабелавского "Заката" во МХАТе 2-м – знаменитом спектакле режиссера Б.Сушкевича с участием С.Бирман и А.Чебана. Потом появилась постоянная работа – в русской редакции радиостанции "Голос Израиля", и речь Капитайкина, вдумчивую и интеллигентную, оценили слушатели в России.

Постепенно тема, к которой он стремился, стала для него основной. Он писал статьи о еврейском театре в России и его создателях А.Грановском и С.Михоэлсе, русско-еврейских художниках, со многими из которых был дружен, театре на идиш сегодня ("Король умер. Да здравствует король!"), знаменитом спектакле "Диббук" в постановках Е.Вахтангова и А.Вайды, о творческой близости и схожей судьбе создателей двух национальных театров – украинского и еврейского ("Лесь Курбас и Соломон Михоэлс"), физически уничтоженных гонителями культуры в Советском Союзе. Как никто другой, Эдуард Капитайкин почувствовал связь еврейского театра с русскими и другими национальными театрами на территории СССР. Он печатал рецензии на спектакли и книги в "Русской мысли", "Новом русском слове", в израильской периодике, а московский журнал "Театр" опубликовал его статью о русском репертуаре на израильской сцене. Его волновала тема русско-еврейской культуры. Статья об одном из первых еврейских писателей, писавших по-русски, Д.Айзмане, начиналась вопросом: "Что такое русско-еврейская культура?" В 1987, 1988 и 1991 годах вышли три небольшие книги Э.Капитайкина "Имена" из серии "Евреи в мировой культуре". Всего Эдуарду Капитайкину принадлежит около пятисот опубликованных работ, многие из которых имеют непреходящую ценность.

Больше, чем кто-либо другой, он тосковал по России и родному городу. И в 1988 году, как только это стало возможным, полетел через Копенгаген и Хельсинки в Ленинград. И там ощутил, что возвращение невозможно: связь с Россией в той форме, в какой она существовала раньше, кончилась, и началась связь с Израилем в той форме, в какой ее раньше не было. В радиоинтервью, прозвучавшем, как исповедь, и вызвавшем множество откликов, Эдуард произнес слова, которые могли бы показаться выспренными, если бы не шли от сердца: "Только в Ленинграде я понял, что у меня есть мой народ, моя родина, мой дом, и я этим счастлив". Процитировав известные строки Иосифа Бродского "Ни страны, ни погоста не хочу выбирать, / на Васильевский остров я приду умирать", добавил: "Я не поеду умирать на Васильевский остров." Капитайкин воспользовался близким ему образом знаменитого

русского поэта, ленинградца и еврея, но отверг этот образ для себя. Впрочем, это же сделал впоследствии и сам поэт: "Нельзя войти в одну реку дважды, даже если это такая великая река, как Нева".

Первый том книги "Евреи в культуре Русского Зарубежья" вышел с публикацией Эдуарда Капитайкина о русско-еврейском драматурге Семене Юшкевиче и со статьей о Я.Л.Тейтеле – русско-еврейском общественном деятеле, которого Горький назвал веселым праведником.

Капитайкину – автору работ о евреях в русской культуре – идея книги была очень близка, и он охотно помогал редактировавать 1-й сборник. Очень больно, что Эдик (он именно так просил себя называть) не увидел вышедшую книгу и свое имя в ней.

Его похоронили в самом красивом месте Иерусалима – на Масличной горе, напротив стен Старого города. Зихроно левраха – Да будет благословенна его память.

В память об Эдуарде Самуиловиче Капитайкине мы публикуем главу из его книги: Эди Капит. Имена. Иерусалим, 1987. Т.1. С.23-28.

Редакция

Максим Винавер

Эдуард Капитайкин

(Иерусалим)

Имя Максима Моисеевича Винавера в современной России уже почти ничего никому не скажет. Из ее истории оно насильственно вычеркнуто. Вычеркнуто потому, что Винавер был одним из основателей конституционно-демократической партии – партии кадетов, членом ее Центрального комитета, депутатом первой Государственной Думы от Петербурга, а после Октябрьской революции – эмигрантом, активным сотрудником газеты своего друга Павла Николаевича Милюкова "Последние новости", издававшейся в Париже[1].

Партия "Народной свободы", или кадетская партия, была партией российской интеллигенции. Ее представляли профессора Милюков, Муромцев, Кокошкин, экономист и публицист Петр Струве, либеральный деятель Набоков[2], отец знаменитого писателя, адвокат Винавер. Кадеты были единственной русской партией, которая выдвигала в Государственной Думе еврейский вопрос: как в законодательном порядке, так и в форме запросов правительству.



Среди членов кадетской партии было немало евреев, которые ощущали себя в ее рядах представителями своего угнетенного народа. Первым среди них должен быть назван Максим Моисеевич Винавер.

Он родился в Варшаве в мае 1862 года. В 1881 году окончил варшавскую гимназию, а в 1886 году – университет. После завершения образования в университете Максим Винавер переехал в Петербург, где началась его адвокатская деятельность, не прекращавшаяся в течение тридцати с лишним лет.

Первые пятнадцать лет из них он вынужден был оставаться в звании помощника присяжного поверенного, так как евреи в то время выше не допускались. Но, несмотря на это, Винавер очень быстро занял выдающееся место в русской адвокатуре и юридической науке.

Один из друзей Винавера, адвокат Гольденвейзер, писал впоследствии: "Обычно посмертная слава адвоката, как и посмертная слава артиста, основана лишь на преходящих воспоминаниях слушателей. Но Винавер был адвокатом не только говорящим, но и пишущим. Его юридические статьи, в особенности его 'Гражданские хроники', украшавшие каждую книжку издававшегося им 'Вестника гражданского права', будут читаться и грядущими поколениями русских юристов".

"Характеризуя Винавера, – продолжал Гольденвейзер, – чаще всего выдвигают его ум. Однако сказать о нем, что он был человеком необыкновенного ума, или, как иногда говорили, 'умнейшим человеком России', – значит дать беспомощную характеристику, которая ничего не уясняет. В динамической и волевой натуре Винавера ум был только орудием производства. Сдержанная страстность и литературный блеск его писаний питались не из холодного разума, а



М.М.Винавер. Портрет художника О.Э.Браза

из источников эмоциональных... Его, либерала и демократа, увлекал 'пафос дискуссии' – свободная борьба идей и столкновение мнений..."[3]

Еврейская общественная деятельность Винавера началась в Обществе для распространения просвещения между евреями в России (так это общество полностью именовалось). Финансировал общество и покровительствовал ему барон Гораций (Герц) Гинцбург[4].

Винавер вместе с писателем Ан-ским (Семеном Акимовичем Раппопортом), автором знаменитой пьесы "Диббук", возглавлял историко-этнографическую комиссию, собиравшую исторические материалы о евреях России[5].

В разные годы Максим Моисеевич участвовал в редактировании еврейских журналов на русском языке – "Восход", "Еврейская старина" и др., которые выходили в Петербурге. Забегая вперед, скажу, что в Париже, в эмиграции, он основал журнал "Еврейская трибуна", активно боровшийся с антисемитизмом[6].

Любопытная подробность: в редакции "Восхода" Винавер поселил бездомного, голодного девятнадцатилетнего юношу, прибывшего в Петербург из Витебска без права жительства, – Марка Шагала. Потом он отправил его на свои деньги учиться в Париж. Но это уже другая история...

Винавер выступал адвокатом на судебных разбирательствах после погромов в Кишиневе, Гомеле, Белостоке[7]. И его имя было тогда не меньше известно в России, чем имена его товарищей по партии, тоже блестящих правозащитников, Владимира Маклакова и Оскара Грузенберга – адвокатов Бейлиса[8]. Винавер был среди основателей и руководителей Союза для достижения полноправия еврейского народа России[9].

При первой же встрече, – пишет известный еврейский историк Дубнов, – Винавер сразу произвел на меня впечатление политического вождя по призванию"[10]. "Он умел привлекать и организовывать людей на общей работе", – вторит ему другой видный еврейский деятель той поры, Слиозберг[11].

Вскоре после назначения графа Витте премьер-министром его посетила еврейская депутация во главе с бароном Гинцбургом, чтобы довести до сведения нового премьера пожелания российского еврейства и предъявить требования об уравнении в правах. Выслушав барона, Витте ответил, что предоставление евреям равноправия может быть сделано лишь постепенно и что для того, чтобы он мог поднять этот вопрос, евреи должны усвоить себе "совсем иное поведе-

М. М. ВИНАВЕРЪ

и

РУССКАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НАЧАЛА XX ВѢКА

Сборникъ статей П. Н. Милюкова, В. А. Маклакова, кн. В. А. Оболенскаго, Н. П. Юренева, П. Н. Самойлова, С. В. Познера, З. Н. Гиппіусъ, Г. В. Адамовича и М. Л. Кантора



ПАРИЖЪ
1 9 3 7

5-Й ГОДЪ ИЗДАНІЯ

1 ноября 1927 г.

ЗВЕНО

Ежемѣсячный журналъ литературы и искусства

основанный М. М. ВИНАВЕРОМЪ и П. Н. МИЛЮКОВЫМЪ

Редакторъ: М. Л. КАНТОРЪ

№ 5

ние, нежели то, которому они следовали", то есть отказаться от участия в общей политической деятельности.

"Это не ваше дело, – заявил граф Витте делегации, – предоставьте это русским по крови и гражданскому положению, не ваше дело нас учить, заботьтесь о себе".

"Барон Гинцбург, – говорит в своих "Воспоминаниях" Витте, – заявил, что он совершенно разделяет мое мнение. Остальные же присутствовавшие евреи не соглашались с моими увещеваниями. В особенности возражал Винавер, заявивший, что теперь настал момент, когда Россия добудет все свободы и полное равноправие для всех подданных, и что поэтому евреи должны всеми своими силами поддерживать русских, которые этого добиваются и за это воюют с властью"[12].

Недаром свою речь в Думе о Белостокском погроме Винавер закончил такими словами: "Нас (евреев) очень мало, и у нас есть один союзник – это исполненный истинной человечности весь русский народ..."[13]

Февральская революция застала Винавера в числе наиболее видных лидеров русского либерализма. Временное правительство не преминуло использовать его не только как ближайшего участника политических совещаний, но и как юриста. Он вошел в президиум комиссии по выработке закона о выборах в Учредительное собрание. В ноябре 1917 года, после октябрьского переворота, Винавер, несмотря на грозившие ему преследования со стороны советской власти, принял участие в предвыборной кампании и был избран в Учредительное собрание по списку партии "народной свободы". Однако в день выборов ему пришлось покинуть Петроград под угрозой ареста и шесть месяцев скрываться в Москве, что не помешало Винаверу участвовать в работе московского нелегального съезда партии кадетов[14].

В ноябре 1918 года он вошел в качестве министра внешних сношений – иными словами, министра иностранных дел – в Крымское правительство. За короткий период деятельности этого правительства Винаверу удалось наладить деловые дружеские отношения с представителями Франции и Англии[15].

В мае 1919 года, после трагической эпопеи Крыма, Максим Моисеевич Винавер эмигрировал во Францию, где и умер в 1926 году[16].

Возрождение еврейской Палестины, ставшее возможным после декларации Бальфура, искренне радовало его. Он не стал сионистом,

его принципиальный взгляд на разрешение еврейской проблемы в общечеловеческом плане не претерпел изменения, но еврейское заселение Палестины было реальностью, и он не считал возможным для себя относиться к этому несочувственно.

Этот короткий рассказ о Максиме Моисеевиче Винавере я закончу несколькими отрывками из воспоминаний Зинаиды Николаевны Гиппиус, напечатанных в сборнике его памяти, изданном в Париже в 1937 году.

"Наши отношения, начавшись уже в эмиграции, с литературы, быстро сделались дружественными, – писала Гиппиус. – Думается, он чувствовал мое возрастающее внимание к нему как к человеку, подчас изумление перед его тонким пониманием вещей, которых никто, казалось, не понимает. И... особенно поражал меня тогда неуловимый, никакими словами не объяснимый 'запах' свободы: он чувствовался в каждой строке его письма (о чем бы, даже о самом реальном, ни шла речь), в каждом разговоре с ним (какова бы ни была его тема).

...Из многих бесед у нас втроем (с Мережковским) вспоминаются две, особенно интересные по разности тем. (Максим Моисеевич иногда, в последнюю свою зиму, даже больной, приходил к нам для таких 'неделовых' бесед.) Одна – его долгий подробный рассказ о Южном правительстве (первых большевистских годов), в котором он принимал деятельное и близкое участие. Рассказ захватывающий, ибо чувствовалось, что это – не как в книгах пишут: что этот человек говорит всю правду до конца, при ощущении полной внутренней свободы.

Другая беседа была... о Псалмах. Максим Моисеевич утверждал, что мы, христиане, не слышим их подлинного тона. Он кажется нам мягким, почти нежным.. Но не таков грозный голос псалмопевца... Неизмерима ценность каждого настоящего человека, да еще обладающего, как Винавер, таким редким даром понимания жизни и свободы..."[17]

Примечания

1. Политический путь М.М.Винавера, основными вехами которого были, в частности, деятельность по созданию осенью 1905 г. конституционно-демократической партии, непременное членство в ее ЦК во все годы его существования, работа в 1-ой Государственной Думе (1906), подробно освещен в очерке П.Н.

Милюкова "М.М.Винавер, как политик", вошедшем в изданный к 10-летию со дня смерти Винавера сборник "М.М.Винавер и русская общественность начала XX века" (Париж, 1937).

2. Муромцев Сергей Андреевич (1850-1910) – юрист, публицист, с 1905 г. член ЦК партии кадетов, председатель 1-ой Государственной Думы. Кокошкин Федор Федорович (1871-1918) – юрист, депутат 1-ой Государственной Думы. Памяти Ф.Ф.Кокошкина, убитого матросами-анархистами после разгона Учредительного собрания, посвящен очерк Винавера "Трагедия русского парламентария" (см.: Винавер М.М. Недавнее. Воспоминания и характеристики. Изд. 2-е, доп. Париж, 1926). Струве Петр Бернгардович (1870-1944) – член ЦК партии кадетов, депутат 2-ой Государственной Думы. В 1909 г. Винавер полемизировал со Струве по "еврейскому вопросу" (см. его "Открытое письмо П.Б.Струве" в сб.: По вехам... Сб. статей об интеллигенции и "национальном лице". М.,1909). Набоков Владимир Дмитриевич (1869-1922) – товарищ председателя ЦК партии кадетов, редактор-издатель ее органа "Вестник партии народной свободы", депутат 1-ой Государственной Думы, впоследствии участвовал вместе с Винавером в деятельности Крымского правительства (министр юстиции).

3. Гольденвейзер А.А. Адвокат Божьей милостью. Воспоминания о М.М.Винавере // Он же. В защиту права. Статьи и речи. Нью-Йорк, 1952. С.217-218. Любопытно, что М.М.Винаверу принадлежит мемуарный очерк об отце А.А. Гольденвейзера А.С.Гольденвейзере, киевском адвокате (см.: Винавер М.М. Недавнее. С.218-223).

4. Гинцбург Гораций Осипович (1833-1909) – банкир, еврейский общественный деятель, меценат. С 1878 г. возглавлял Общество для распространения просвещения между евреями в России, основанное в 1863 г. его отцом Е.Гинцбургом.

5. Ан-ский С. (псевд., наст. имя С.А.Раппопорт; 1863-1920) – писатель и фольклорист, в 1911-1914 гг. возглавлял Этнографическую экспедицию при Еврейском историко-этнографическом обществе (1908-1929), созданном на базе Историко-этнографической комиссии при Обществе для распространения просвещения между евреями в России и возглавлявшемся Винавером с момента создания до конца 1917 г. В частности, во время экспедиций в деревнях Волыни и Подолии С.Ан-ским был собран материал для его пьесы "Диббук". В посвященном С.Ан-скому очерке "Революционер и фольклорист" Винавер вспоминал о "Диббуке" – "он читался по-русски автором, еще до напечатания, у меня, в Петербурге, в кругу литературных друзей" (Недавнее. С.289).

6. В издании журнала "Восход" (1881-1906) Винавер участвовал с весны 1902 г. как издатель (при официальном редакторстве Л.А.Сева). "Еврейская старина" – журнал Еврейского историко-этнографического общества. "Еврейская трибуна" – журнал, издававшийся Винавером в Париже в 1919-1924 гг. на русском, английском и французском языках; редактировался им до осени 1921 г.

7. Имеются в виду выступления Винавера, защищавшего интересы потерпевших на судебных процессах после погромов в Гомеле (1903), Кишиневе (1905)

и Белостоке (1906).

8. Владимир Алексеевич Маклаков (1869-1957) – с 1906 г. член ЦК партии кадетов, депутат 2-ой Государственной Думы, автор воспоминаний о парламентской работе Винавера "В 1905-1906 году" в сборнике "М.М.Винавер и русская общественность начала XX века". Оскар Осипович Грузенберг (1866-1940) – в 1917 г. сотрудничал вместе с Винавером в Правительственном Сенате, возглавляя уголовный департамент. Оба – участники со стороны защиты в процессе обвиненного в ритуальном убийстве Менахема Менделя Бейлиса (1874-1934), проходившем в Киеве 25-28 сентября 1913 г.

9. "Союз для достижения полноправия еврейского народа в России" был основан на съезде всех еврейских партий и групп России, проходившем под председательством Винавера 25-27 марта 1905 г. в Вильне (Вильнюс, Литва).

10. Дубнов С.М. Книга моей жизни. Рига, 1935. Т.II. С.22.

11. Слиозберг Г.Б. Дела давно минувших дней. Париж, 1934. Т.III. С.134.

12. Витте С.Ю. Воспоминания. Берлин, 1924. Т.2. С.286-287.

13. Цит. по статье С.В.Познера "Борьба за равноправие" (М.М.Винавер и русская общественность начала XX века. С.177). Выступления Винавера в Государственной Думе были собраны и изданы отдельной книгой (см.: Винавер М. Речи. СПб, 1907).

14. Имеется в виду съезд кадетов, проходивший 13-15 мая 1918 г. в Москве. Об участии в нем Винавера см. в воспоминаниях П.П.Юренева "В 1918 году" в сб. "М.М.Винавер и русская общественность XX века".

15. Об истории Крымского правительства Винавер подробно написал в своей книге "Наше правительство. (Крымские воспоминания 1918-1919 гг.)" (Париж, 1928), опубликованной посмертно его сыном Е.М.Винавером.

16. Оказавшись в мае 1919 г. во Франции, Винавер не оставил активной общественной деятельности – политической и культурной. Вместе с П.Н.Милюковым он был учредителем демократической группы партии кадетов и основателем газеты "Последние новости". В 1921 г. основал (вместе с А.И.Коноваловым и Н.Д.Авксентьевым) "Совет членов Учредительного Собрания". Винавер, наряду с М.И.Ростовцевым и Б.Э.Нольде, был инициатором создания Русского Университета при Сорбонне, в котором он читал курс русского гражданского права. В 1923 г. Винавер и Милюков основали "Звено" – журнал литературы и искусства, выходивший до 1927 г. еженедельно, а с 1927 до 1928 г. ежемесячно. "Уже прикованный до конца жизни к постели, он создал журнал под символическим названием "Звено", – вспоминал П.Н.Милюков – звено между прошлым и будущим в цепи русской культурной традиции" (М.М.Винавер и русская общественность начала XX века. С.52). В последние годы жизни Винавер работал над вторым, дополненным изданием своих воспоминаний "Недавнее" и над книгой о Крымском правительстве, вышедшей посмертно.

17. З.Н.Гиппиус. Правда М.М.Винавера // М.М.Винавер и русская общественность начала XX века. С.191-192.



Иосиф Гессен: юрист, политик и журналист

Валерий Гессен
(Санкт-Петербург)

Введение

Насколько мне известно, этот очерк – первая попытка собрать воедино рассеянные по земному пространству сведения о жизни и деятельности Иосифа Владимировича Гессена. В России основные документы находятся в архивах Санкт-Петербурга и Москвы. Возникшие в последнее время сложности общего характера не позволили мне полностью изучить ту их часть, которая хранится в Государственном архиве Российской федерации и относится, в основном, к так называемому "Пражскому фонду", т.е. к собранию материалов деятелей российского Зарубежья, вывезенному в СССР из Праги в 1945 г. и лишь сравнительно недавно освобожденному от грифа специального хранения.

В США документы, относящиеся к И.Гессену, хранятся в архиве Гуверского института войны, революции и мира – там, в основном, находятся его письма, например к Н.Берберовой. В Бахметевском архиве Колумбийского университета (Нью-Йорк) – около сотни писем к И.Гессену многих известных лиц: Ф.Родичева, П.Милюкова, А.Даманского, М.Карповича и др. К сожалению, имеющаяся там информация осталась за пределами очерка, так же как сведения из находящихся в США личных архивов потомков и наследников И.Гессена, В.Д.Набокова и его сына В.В.Набокова (Сирина).

Все-таки некоторые материалы из Гуверского института были мною получены, за что приношу прославшим искреннюю благодарность.

1. Родословная

Исследовать корни рода Гессен помогает сама фамилия – явно германского происхождения. Видимо, в средние века этот род жил на территории нынешней Германии, на земле Гессен. Возможно, Гессены пришли туда из Испании после изгнания иудеев в конце XV века: в пользу этого соображения говорит часто встречающееся в роду имя Муниш, близкое, как считают некоторые специалисты, к испанскому Муньес. Но это, конечно, только предположение.

Судя по документам, в XVIII веке в г. Балта (тогда это была территория Речи Посполитой) жил мещанин Ицик Гессен[1]. Известно, что у него был сын Муниш, который является прадедушкой И.Гессена. После очередного раздела Польши в 1793 Балта вошла в состав Российской империи, а ныне она расположена в Одесской области Украины.

Муниш Гессен в самом конце XVIII века переехал в недавно образованный на месте Османской крепости город Одессу, где с 1808 г. числился купцом 3-ей гильдии. От первой жены Азы у него был сын Иуда (в документах его называют также Юдко и Юлием). От второй жены Муниш имел трех сыновей, которые после его смерти в 1838 г. вместе с матерью переехали в Тирасполь. Потомки их были троюродными братьями И.Гессена, его друзьями и помощниками.

Иуда Гессен занимался перепродажей скупаемого у помещиков зерна иностранным покупателям. Он сделался купцом 2-й гильдии и почти 10 лет был публичным нотариусом Одесского коммерческого суда, активно участвуя в жизни еврейской общины и синагоги. Чаще всего его имя упоминается в печати 50-60-х гг. XIXв. в связи с Одесской Талмуд-Торой – общинным еврейским училищем для бедных и осиротевших мальчиков. Великий русский медик и педагог Н.Пирогов, будучи попечителем Одесского учебного округа (1858-1860), обратил внимание русской общественности на то, что стараниями попечителей этого учебного заведения (среди них самым долголетним был Иуда Гессен) Талмуд-Тора стала образцом не только для еврейских, но и для христианских школ. По представлению губернатора Иуда Гессен был награжден царским указом золотой медалью (с надписью "За усердие") для ношения на шее за "особую заботливость его о Талмуд-Торе"[2].

И.Гессен в воспоминаниях напишет о деде: "Я не знаю, когда и

откуда фамилия Гессен появилась в Одессе. Мы генеалогией не интересовались. Очень плохо помню и деда по отцу, он умер, когда я еще не отдавал себе отчета в окружающем, а сейчас не могу отдать себе отчета, помню ли я его образ по фотографии или по непосредственному восприятию. К памяти его относились с большим уважением, и 'Еврейская энциклопедия' причисляет его к купцам, известным своей общественной и торгово-промышленной деятельностью"[3].

Еврейский писатель Бен-Ами, описывая жизнь в Одессе в те годы, отмечает: "Реб Иделе Гессен, родоначальник всех теперешних Гессенов, был человеком маленького роста, узкоплечий, с очень смуглым, изрытым оспой лицом, черными волосами, всегда низко остриженный, с маленькой, острой бородкой и сильно утолщенным носом. Но поразительно: несмотря на эту неказистую внешность, во всем его существе было что-то хорошее, что привлекало и внушало уважение. Наш мудрый литературный 'дедушка' Менделе сказал, что в еврее нечего искать внешней красоты: его еврейство есть его красота"[4]. "Такая красота была и у реб Иделе Гессена ... с его горячей любовью ко всему еврейскому, с его доступностью для всякого нуждающегося, словом с его истым еврейским демократизмом".

У Иуды Гессена было четыре сына, из которых третьим был Шауль (Шоель, Шевель, Савелий, 1833-1894) – отец И.Гессена, преуспевающий торговец. Его сын вспоминал: "Отец, а также и все его братья и мужья сестер так или иначе тоже были прикосновенны к хлебной торговле. Отец получал на комиссию огромные партии зерна, грузившиеся скупщиками <...> в днепровских портах, и продавал их в Одессе заграничным экспортным фирмам<...> Лет с восьми отец стал нас брать с собой в синагогу на наиболее торжественные моменты. Там у него, как у старшины, было почетное место, чем мы очень гордились"[5].

Шауль Гессен много времени и средств отдавал общественной деятельности: он был избран в 1870 г. в число поверенных еврейской общины города и переизбран в 1874 г.[6]

Много позднее И.Гессен отметил: "Когда проведение Екатерининской железной дороги переместило центр тяжести торговли в захудалый Николаев, а Виндаво-Рыбинская железная дорога, построенная по инициативе одного из моих двоюродных братьев, отвлекла много грузов к балтийским портам, Одесса захирела"[7]. Пришли в упадок и торговые дела Шауля Гессена, он обеднел, продал дом. О его жене известно только, что ее звали Шейва, или Софья Пантелеймоновна

(1845-1904), что ее родители были из Екатеринослава, где отец считался весьма богатым человеком. В отличие от маленького и щуплого мужа, Шейва была "высокой, пышной, черноволосой, белотелой и очень красивой"[8].

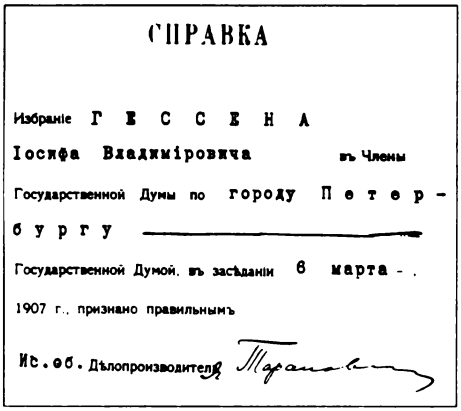
В семье насчитывалось восемь детей. Иосиф, родившийся 14 апреля 1865 г., был третьим. Старший брат Муниш имел в Одессе аптеку, затем переехал в Москву. Брат Иегуда работал в банках Санкт-Петербурга. Судьба младшего брата Гирша неясна.

2. Учеба и ссылка

И.Гессен вспоминал, что в 1871 г. в Одессе был погром, "... но мне было пять лет и я ужасов его не испытал и не видел"[9]. "Этот погром был, по утверждению 'Еврейской энциклопедии', явлением случайным, в отличие от позднейших, организованных сверху". Иосиф закончил 3-ю гимназию. В 1883-1884 гг. учился в Новороссийском университете: один год на естественном факультете и один на юридическом[10]. Из университета он был исключен по официальной версии за "оскорбление товарища", но Иосиф считал это обвинение необоснованным: во время студенческой стычки, к которой не имел отношения, он не вовремя попался под руку бдительному и весьма недоброжелательному начальству, которое сочло его соучастником беспорядков[11].

Впоследствии он писал: "Активного участия в революционном движении я не принимал, но у меня завязались связи с народовольцами, квартирой моей пользовались как явкой, приходилось хранить подпольные издания"[12]. В кружок, где высказывались антиправительственные взгляды, Гессен вступил еще в 1881 г. (во время учебы в гимназии), когда Вера Фигнер – одна из руководителей революционно-террористической организации "Народная воля" – жила в Одессе и создавала там молодежные группы[13]. В 1884 г. И.Гессен ездил в Харьков за тиражом народовольческого журнала для распространения его в Одессе. Там он впервые встретил В.Фигнер, о высоких человеческих качествах которой говорил с восторгом многие годы. Хорошо был он в те годы знаком и с революционным деятелем народнического толка Л.Штернбергом, студентом последнего курса университета в Одессе, впоследствии ставшим видным этнографом и еврейским общественным деятелем.

После исключения И.Гессен подвергался негласному полицейско-



СПРАВКА

Избраніе Г Е С С Е Н А

Іосифа Владиміровича въ Члены

Государственной Думы по городу П е т е р -

б у р г у

Государственной Думой, въ засѣданіи 6 марта - .

1907 г., признано правильнымъ

Ис. об. Дѣлопроизводителя

му надзору, прекращенному в 1885 г. в связи с поступлением на первый курс юридического факультета Санкт-Петербургского университета[14]. Здесь продолжалось его увлечение революционной деятельностью: он вступил в кружок, занимавшийся подготовкой пропагандистских материалов, и по его заданию написал и анонимно опубликовал свою первую и единственную брошюру, посвященную революционным идеям – защите движения народников от нападок русского марксиста Г.Плеханова в статье "Наши разногласия"[15]. Литературный дебют И.Гессена не прошел вовсе не замеченным, но имя автора для читателей осталось неизвестно. В конце 1885 г. полиция провела у него обыск, при этом был обнаружен гектограф и брошюра Гессена. Его арестовали и по постановлению Особого совещания выслали в Вологодскую губернию на три года. В Вологду его под конвоем доставили 26 февраля 1886 г. Однако через некоторое время у одного из народовольцев нашли зашифрованный адрес Гессена и тогда-то появилась в постановлении о высылке грозная приписка: "в отдаленнейший уезд", в связи с чем он был переведен в Усть-Сысольск (ныне Сыктывкар), в то время самый глухой район[16].

В ссылке он усиленно занимался юридическими науками. Через три года был освобожден – с запрещением жить в ряде крупных городов России. В феврале 1889 г. Гессен приехал в Одессу, где в том же году сдал экзамены за полный курс юридического факультета Новороссийского университета и получил диплом I степени. Руководство факультета возбудило ходатайство о приглашении его преподавать на кафедре гражданского права, но чиновники министерства народного просвещения отказали в этом ввиду "неблагонадежности".

3. До 1917 года: расцвет деятельности

После завершения образования начались поиски работы. Он служил юристом в ряде частных компаний в Одессе и других городах –

каждый раз временно. В эти годы Гессен сходится с Анной Исааковной Штейн, племянницей известного в Кишиневе доктора Блюменфельда, которая рано лишилась родителей и была отдана замуж за пожилого и нелюбимого человека. В том браке у нее уже было трое сыновей. Порвав с мужем, она навсегда связала свою жизнь с И.Гессеном. Для получения возможности усыновить Сергея, родившегося у Иосифа в ссылке от христианки, и для доступа на государственную службу Гессен принял крещение и сменил отчество на Владимирович.

В 1891 г. он обращается в Департамент полиции с просьбой дать ему благоприятный отзыв, необходимый для службы в юридических учреждениях. Ходатайство удовлетворили, и в 1894 г. он получил назначение в Тулу в окружной суд. Здесь И.Гессен обратил на себя внимание творческим отношением к работе, сделал ряд предложений по улучшению судопроизводства. К этому времени относится прекращение негласного полицейского надзора за ним. Все это способствовало переводу Гессена в столицу на службу в Министерство юстиции. Там он был вначале определен в малопрестижную Пенсионную часть, возглавлявшуюся одним из находившихся в министерстве евреев – известным общественным деятелем Я.Гальперном. Но уже вскоре И.Гессен приступил к работе по составлению и редактированию "Журнала Министерства юстиции", разработал ряд проектов государственных юридических актов и был переведен в Юрисконсультскую часть, наиболее значимую в этом учреждении.

Между тем И.Гессена все более захватывала публицистическая деятельность. Она началась с организации им совместно с группой прогрессивных юристов (А.И.Каминка, В.М.Гессен, Н.И.Лазаревский, В.Д.Набоков, Л.И.Петражицкий) еженедельника "Право". Он писал: "Для меня, и я думаю для всех членов редакционного комитета, создание 'Права' навсегда осталось самой одухотворенной, самой насыщенной и самой счастливой полосой жизни"[17]. По отзывам современников, это был наиболее серьезный юридический орган в России, выступавший против нарушения законов и за их совершенствование, за национальное равноправие, в защиту евреев. Так, в 1903 г. в нем была опубликована статья "Кишиневская кровавая баня", за которую ее автор В.Д.Набоков был уволен с государственной службы и лишен придворного звания камергера.

В 1903 г. И.Гессен покинул министерство, вступил в санкт-петербургскую адвокатуру, стал присяжным поверенным. Его успехи на

этом поприще общеизвестны. Однако сам он считал, что это занятие для него "побочное". Возвращение в политику началось, когда он принял предложение руководителей организации "Беседа" участвовать в ее работе. В "Беседу" входили представители земских либералов и городской интеллигенции. И.Гессен возглавил подготовку и выпуск их сборников, посвященных конфликтам между местными властями и правительством. Таких сборников известно два: "Мелкая земская единица" и "Нужды деревни". Гессена избрали директором-распорядителем издательской фирмы "Общественная польза", занимавшейся как публикацией этих сборников, так и других книг. Сотрудничество указанных общественных групп облегчило организацию в 1903 г. Союза освобождения, в котором И.Гессен стал членом Исполнительного комитета. В 1904 г. он получил предложение обеспечить редакционное руководство газетой "Сын отечества". Это дало ему возможность почти в течение года знакомить читателей со взглядами Союза.

В 1904-1905 гг. его не раз приглашали к премьер-министру России С.Ю.Витте вместе с другими деятелями для консультаций по политическим вопросам. Критические по отношению к самодержавию статьи Гессена, предупреждения по поводу готовившейся расправы над шествием народа к царю 9 января 1905 г. спровоцировали арест 10 января (вместе с группой прогрессивных журналистов). В этом же 1905 г. черносотенцами был составлен список из 43-х особенно ненавистных им деятелей, которые были приговорены ими к смерти. В этом списке И.Гессен занимал не последнее место[18].

В октябре 1905 г. он участвовал в создании кадетской (конституционно-демократической) партии и вошел в ее Центральный комитет. С февраля 1906 г., оставаясь редактором "Права", главное внимание стал уделять органу партии – газете "Речь", соредактором которой был рядом с П.Милюковым. И хотя ее тираж уменьшился после 1907 г., она оставалась в России одним из самых значительных органов печати – была силой, с которой считались власти.

В феврале 1907 г. И.Гессен был избран от Санкт-Петербурга во II Государственную Думу, где являлся одним из лидеров кадетской фракции, председателем юридического комитета, руководил подготовкой одного из наиболее важных законов, рассмотренных Думой этого созыва, – о реформе местного судопроизводства.

Основным стимулом его деятельности всегда считалась борьба за законность. По свидетельству И.Гессена, и газета "Право" политиче-

ских задач первоначально себе не ставила. Как он говорил, "сползание" в сторону политики произошло под давлением неумолимого хода событий.

Почти незаметно для редакторов лозунг законности с конца 1904 года стал лозунгом борьбы с самодержавием. По этому поводу М.-Карпович отмечал: "Тот же ход событий привел И.Гессена сначала к участию в Союзе освобождения, а затем в Центральный комитет кадетской партии, в редакцию 'Речи' и в Государственную Думу. Так родился он как политический деятель и публицист"[19].

Перу И.Гессена принадлежат многочисленные статьи, печатавшиеся в 1898-1917 гг. в различных изданиях и посвященные юридическим и социальным темам. В их числе такие серьезные работы, как "Судебная реформа", "Реформа местного суда", "История русской адвокатуры" и др. Он постоянно выступал за национальное равноправие народов России. Характерно, что в анкете члена Государственной Думы он писал: вероисповедание – "православное", национальность – "еврейская"[20]. Последняя запись была воспринята как демонстрация, так как он по закону мог считаться и русским. Гессен опубликовал ряд работ о правах евреев: "Закон 3 мая 1882 г. и его применение", "Сборник законов о евреях" (совместно с А.Фридштейном), сборник "Накануне пробуждения" (совместно с М.Ратнером и Л.Штернбергом).

Во время первой мировой войны И.Гессен был выбран председателем Общества редакторов газет. Он не верил в способность России одновременно справиться и с войной и с внутренними переворотами и потому не приветствовал Февральскую революцию 1917 г. Гессен вообще был известен как противник революций любого вида и по этой причине, несмотря на высокий авторитет, не получал высоких назначений от Временного правительства. По этому поводу он написал: "Революция меня не искала"[21]. Наиболее существенным был пост председателя Комитета по реорганизации правительственной прессы и телеграфного агентства.

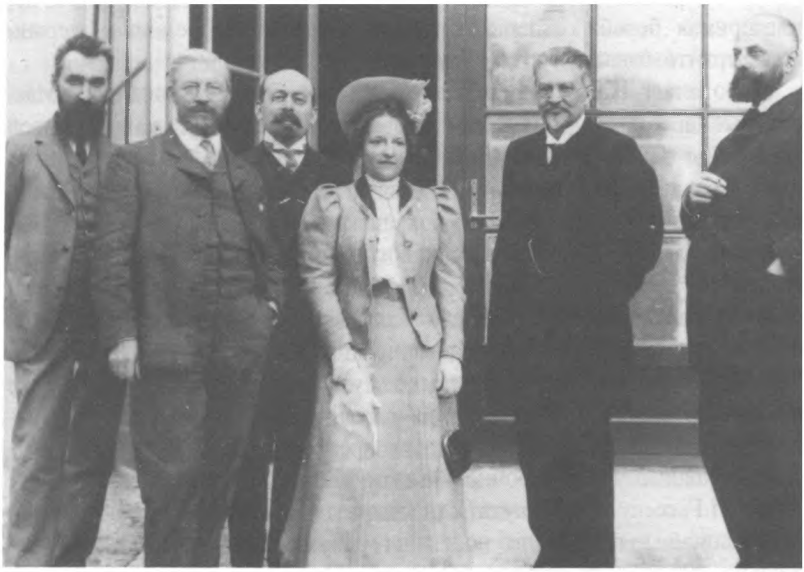
Воскресные вечера в квартире Гессена привлекали многих выдающихся деятелей русской культуры, некоторые из них сотрудничали в "Речи"[22]. Особенно тесная дружба возникла у него с В.Д.Набоковым, которому в своих воспоминаниях он уделил немало теплых строк. Интересно, что именно о В.Д.Набокове Немирович написал в дневник К.И.Чуковского в 1916 г. пророческие строки:

Почтит героя рамкой черной
И типографскою слезой
П.Милюков огнеупорный.
И будет Гессен сиротой[23].

4. Большевистский переворот

После октябрьского переворота начались преследования небольшевистских деятелей. Уже 28 ноября в специальном декрете властям предписывалось арестовывать и предавать судам ревтрибуналов членов руководящих органов кадетов как "партии врагов народа". Предвидя такие события, еще в ночь переворота П.Н.Милюков уехал в Москву; В.Д.Набоков был на короткое время арестован, после этого он уехал в Крым; бежал в Ростов-на-Дону близкий друг И.Гессена В.М.Гессен. Затем он, правда, вернулся и в 1920 г. умер от тифа, не дождавшись новой волны арестов. Виднейшие деятели кадетской партии А.Шингарев и Ф.Кокошкин были зверски убиты анархиствующими матросами.

И.Гессен в это время жил не дома (не мог уехать из-за тяжелой болезни жены) и редакции газет посещал украдкой. Только 15 декабря 1917 г. он смог вывезти жену с двумя сыновьями в Финляндию, в Иматру. В первые месяцы после захвата власти большевики преследовали только часть оппозиционной прессы и конфисковали лишь некоторые типографии. Однако вскоре они запретили печатание в газетах платных объявлений, что сократило финансовую базу тех, кто не пользовался поддержкой компартии. Практически сразу после переворота И.Гессен стал настаивать на прекращении выпуска газеты "Право". В последнем ее номере он написал, что "переворот подорвал все основы правопорядка, отменив все законы, упразднив суды, заменив правосудие не только фактически, но и формально провозглашенным 'усмотрением' и произволом. При этих условиях, когда право заменено силой, когда ни законов, ни судов не существует, когда вся гражданская жизнь превращена в бесформенный хаос, 'Право' вынуждено умолкнуть. Задачи, которые оно себе ставило и разрешению которых посильно способствовало, лежат вне той плоскости, на которой разыгрывается борьба за власть. Таким образом, 'Право' удалось похоронить с честью, хотя далеко не по первому разряду"[24]. Как было сказано, в августе 1991 г. министром юстиции РСФСР, "конец "Права" стал началом эры бесправия".



И.В.Гессен (третий слева) в группе делегатов Всероссийского съезда журналистов. Второй слева П.Н.Милюков

В Иматре, ожидая выздоровления жены и одновременно краха большевиков, И.Гессен писал воспоминания[25]. Он немало общался тогда с Н.Рерихом, проникся симпатией к его творчеству и философским идеям, пронес ее через многие годы и в Берлине в 20-х годах выпустил одну из книг художника.

Вернулся он в Петроград в апреле 1918 г. Газету "Речь" большевики закрыли сразу после переворота, но через некоторое время вновь разрешили выпускать[26]. Практически она тогда уже не имела прямого отношения к кадетской партии, так как ее ЦК был разогнан, а из активных в прошлом кадетов в редакции оставались только А.Изгоев и К.Соколов (замещавший отсутствовавшего редактора И.Гессена М.Ганфман формально не был даже членом партии). Однако во избежание излишних осложнений газету начали выпускать под другим названием – "Наш век" (хотя оно не было постоянным). Газета запрещалась несколько раз и окончательно была закрыта в августе 1918 г. Все эти месяцы И.Гессен жил вне города, каждый день опасаясь ареста. Тем не менее ему удалось написать и издать в июле 1918 г. работу "Искания общественного идеала", позже переизданную им в Берлине. Основная ее мысль заключалась в том, что

между смертным человеком и бессмертным человечеством идет непримиримая борьба, соперничество, в котором попеременно одерживает верх то одна, то другая сторона.

Положение И.Гессена в Петрограде все более ухудшалось. Масштабные аресты кадетов были проведены властями в канун первой годовщины переворота. Опасался он ареста и в отмечавшуюся годовщину Кровавого воскресенья 22 января 1919 г., так как вывел закономерность: массовые аресты большевики приурочивали к праздникам и памятным датам. В своих воспоминаниях он отметил исторический парадокс: герой этого события, арестованный царскими властями на следующий день после Кровавого воскресенья, он вынужден был прятаться в его годовщину при новом строе в качестве контрреволюционера, ибо ленинское указание гласило: "Нельзя не арестовывать, для предупреждения заговоров, всей кадетской и околокадетской публики... Преступно не арестовывать ее"[27].

Необходимо было срочно бежать. Близкий (неназванный) друг помог И.Гессену найти путь к продажным советским чиновникам, и за большую взятку были получены документы на выезд. Еще несколько ночевок в разных квартирах Петрограда – и в тайне от всех знакомых и близких И.Гессен с женой и двумя детьми выехал в Финляндию. Опять казалось, что ненадолго. Поэтому было оставлено все имущество, богатая библиотека. Кстати, в дневнике К.Чуковского 12 февраля 1920 г. записано: "Звонил Штейн: нельзя ли спасти библиотеку уехавшего Гессена. И я спасал, сражался за каждую книгу"[28]. (Речь идет о пасынке И.Гессена С.И.Штейне, который в то время еще не выехал из России и по его просьбе пытался вывезти библиотеку. Удалось ли это ему, неизвестно.)

5. В изгнании: организатор прессы

Перебравшись в Гельсингфорс (Хельсинки), И.Гессен нашел там эмигрантские организации, занимавшиеся в основном добыванием средств для организации наступления генерала Юденича на красный Петроград. Сочувствуя их целям, он однако прямого участия в их деятельности не принял. Установил связь с руководителями международной компании, строившей пулеметный завод в Коврове (юрисконсультом ее он был в России несколько лет), и выехал для переговоров в Стокгольм, а затем в Копенгаген. Там он встречался с вдовой бывшего премьер-министра России графа С.Ю.Витте, умерше-

го в 1915 г. С 1907 по 1912 г. граф писал воспоминания, в основном урывками, без хронологической последовательности. Одну главу из написанного он показал И.Гессену в 1910 г. во время их встречи во Франции, на курорте в Биаррице. После смерти Витте царские власти проявили большой интерес к написанному, но вдова заблаговременно переправила бумаги мужа во Францию. В эмиграции она продала права на их издание одной американской фирме, которая в дальнейшем осуществляла как финансирование подготовки воспоминаний С.Ю.Витте к печати, так и саму публикацию.

В конце 1919 г. вдова Витте передала эти материалы Гессену, который в течение нескольких лет вместе со своим пасынком, историком С.Штейном, приехавшим из России, провел обработку рукописи. Воспоминания были полностью изданы в трех томах в Берлине в 1923-1924 гг. Во вступительной статье Гессен писал о больших трудностях, связанных с подготовкой к изданию разрозненных записей, о необходимости их перегруппировки – для обеспечения последовательности изложения и ликвидации повторов.

По какой причине именно И.Гессену вдова Витте оказала честь готовить к печати труды ее мужа? Ответ, вероятно, один: это был не ее собственный выбор, такова была воля ее покойного мужа: Витте знал И.Гессена много лет и не раз упоминал его в воспоминаниях, причем с самыми лестными эпитетами. Современники, да и последующие исследователи ставили в заслугу Гессену это издание как чрезвычайно важное для изучения истории России конца XIX – начала XX в.

В Берлине И.Гессен был приглашен крупнейшей в то время немецкой издательской фирмой Ульштейн к работе над выпуском литературы на русском языке. Переговоры закончились в середине 1920 г. подписанием договора о создании издательства "Слово", в котором фирма ведала коммерческой частью, а Гессен со своими сотрудниками – издательской. Он получил кабинет в главном здании фирмы, согласовал план деятельности, включавший переиздание русских классиков, публикацию книг современных писателей, научных трудов. Конечно, не весь этот план был реализован, но многое он успел сделать. В последующие годы издавались произведения А.С. Пушкина, Н.В.Гоголя, Ф.М.Достоевского, выпущены книги М.Алданова, подготовленные А.Каминкой несколько томов "Трудов русских ученых за границей".

В планы входило и издание альманахов "Архив русской революю-

ции" – под маркой издательства "Слово" и непосредственно от имени И.Гессена, но без упоминания Ульштейна. Как писал И.Гессен, "удалось собрать и напечатать немало ценных мемуаров и документов, относящихся и к последним годам царского режима, и к обеим фазам революции, и к гражданской войне. Много лестных похвал довелось выслушать даже от лиц, не жаловавших меня благоволением. А объективным свидетельством серьезного значения 'Архива' являются многочисленные ссылки на него, без которых не обходится ни один русский или иностранный труд, посвященный изучению причин и смысла революции"[29]. И.Гессен отмечал, что статьи из "Архива" перепечатывались в России большевистскими изданиями (заметим от себя, что при этом не забывали поносить его составителя). "Архив" вызвал множество подражательных изданий, не привлекавших, однако, большого общественного внимания и вскоре прекративших существование.

Первый номер "Архива русской революции" был выпущен в 1921 году и открывался предисловием составителя "Задачи Архива". В нем И.Гессен писал: "Всякая революция, – в том и заключается внутренний смысл ее, – нарушает установленный ход государственной и общественной жизни, она стремится разбить те формы, без которых социальная жизнь по самому существу своему обойтись не может и которые тем более стесняют ее, чем прочнее они сами отвердевают и чем дальше от них уходит непрестанно стремящаяся вперед жизнь. Русская революция зашла в этом направлении, пожалуй, дальше, чем все предыдущие, и освободившаяся от всяких форм жизнь безудержно разлилась по всему необъятному пространству великой России"[30]. Он подчеркивал: "Задача заключается в том, чтобы сохранить письменный след развертывающихся перед нами трагических событий, так как многие свидетельства являются неповторимыми и могут пропасть бесследно, не будучи своевременно записаны; издание журнала будет служить делу выяснения исторической истины без всякой партийной предвзятости, в нем будут публиковаться мемуары, дневники, письма, различные документы, касающиеся событий в Советской России, в белых армиях, в поддерживавших их иностранных силах". И эти задачи 22 тома "Архива" безусловно выполнили.

В первый год издания их вышло три, в 1922 г. – четыре, в 1923 г. – пять, в 1924 – три. В последующий период альманахи выходили не каждый год, а последний том увидел свет в 1937 г. и не в Берлине, а в США, в издании Стэнфордского университета. Еврейская



Редакция газеты "Речь": В.Д.Набоков, И.В.Гессен, П.Н.Милюков, И.И.Петрункевич

тема тоже была затронута в ряде публикаций этого издания, причем это в основном касалось бедственного положения еврейского населения, оказавшегося в районе военных действий во время первой мировой и последовавшей гражданской войны. Специально этому посвящена подборка документов, собранных в 1914-1917 гг. Коллегией еврейских общественных деятелей (Л.Брамсон, А.Браудо, М.Винавер, О.Грузенберг и др.) при евреях-депутатах IV Государственной думы (М.Бомаш, И.Гуревич, Н.Фридман)[31]. Для описания жизни самого издателя "Архива", конечно, наиболее ценен последний том, где напечатаны его воспоминания.

Следует упомянуть наличие в VIII томе весьма интересных заметок известного еврейского этнографа, писателя и общественного деятеля С.Ан-ского (Ш.Раппопорта), посвященных периоду между большевистским переворотом и созывом Учредительного собрания, на которое общественность России возлагала столько надежд.

В 1922 г. совместно с фирмой "Ульштейн" для поддержки издательства "Слово" было создано акционерное общество "Логос", занимавшееся реализацией напечатанных книг. Гессен был избран председателем Наблюдательного совета "Логоса".

Другим важным общественным делом Гессена была организация

газеты "Руль". 5 ноября 1920 г. был подписан договор с "Ульштейном" об образовании общества с ограниченной ответственностью, директором-распорядителем которого был избран А.Каминка, а на И. Гессена возложили редакционные дела. Большую роль в становлении "Руля" сыграл В.Д.Набоков, заместитель редактора. После его убийства в 1922 г. его место занял Г.А.Ландау, двоюродный брат А.Каминки, сын известного в начале века в Петербурге еврейского писателя и издателя А.Ф.Ландау. Характеризуя его, И.Гессен написал, что он "большого ума и исключительной образованности, благороднейший и приятнейший товарищ"[32]. После разгула нацизма он бежал из Берлина в Ригу, где в июне 1941 г. был арестован советскими карательными органами как единственный из евреев – "русский монархист", сотрудничавший в газете "Руль" и в рижской газете "Сегодня"[33]. Первый номер "Руля" вышел 16 ноября 1920 г., через день после получения известия о разгроме в Крыму армии барона Врангеля – последней надежды Белого движения, – и потому вместо праздничного настроения был окрашен в довольно мрачные тона. Однако, несмотря на поражения, "Руль" в последующем старался вселить в читателя уверенность в том, что военные успехи большевиков носят временный характер, что "недалек тот день..." и т.д. С сегодняшних позиций многое кажется наивным, но тогда в это верили или хотели верить. Во всяком случае, газета морально поддерживала очень многих и пользовалась популярностью.

В эмиграции члены некогда единой кадетской партии постепенно разбились на несколько групп. При этом на левом фланге были кадеты, разделявшие взгляды П.Милюкова, считавшие себя выразителями республиканско-демократического направления. "Другие, – как писал П.Милюков, – цепляются за отжившие методы белого движения, выражая настроения монархических и классовых земледельческих тенденций"[34]. К этим "другим" относился коллектив "Руля", а с ними И.Гессен, занимавший по отношению к большевикам абсолютно непримиримую позицию. Недаром Г.Зиновьев в период раздувания "мирового пожара" назвал это издание "самой злой газетой". Она выступала против каких-либо соглашений с большевиками и вела активную борьбу против возвращения в Россию эмигрантов, заклиная их не верить посулам московских правителей. Вероятно, многие вспоминали потом об этом, находясь в застенках ОГПУ-НКВД, как, например, троюродный брат И.Гессена Юлий Исаакович, стремившийся привлечь иностранный капитал для восстановления и развития

народного хозяйства СССР и получивший за это смертный приговор.

Политические позиции "Руля", по мнению многих, весьма реакционные, оказались совершенно неприемлемы для ортодоксальной части русских монархистов-националистов. Последние не только выступали в печати против И.Гессена и редактируемых им изданий, но и, так сказать, физически нападали на помещение редакции, на ее сотрудников, в частности на Г.Ландау, да и на самого Гессена.

Значительное место в газете занимали новости культуры, различные сведения о концертах музыкантов и драматических артистов, о писателях и художниках. Печатались стихи М.Волошина, К.Бальмонта, В.Сирина (Набокова), стихи и рассказы И.Бунина. Помещались рецензии на выходившие книги, литературоведческие статьи о А.Герцене, Л.Толстом, Ф.Достоевском и др. Публиковались отрывки из воспоминаний графа С.Ю.Витте, некоторых деятелей эпохи гражданской войны, позднее полностью напечатанных в "Архиве русской революции".

Укрепление СССР, стабилизация большевистского режима ослабили интерес читателей к "Рулю". Тираж газеты стал сокращаться и в 1926 г. упал до такого уровня, что выпуск ее для фирмы Ульштейн стал убыточным. Произошел разрыв И.Гессена с фирмой. Для продолжения издания газеты ему, а также А.Каминке пришлось вкладывать собственные средства. С большим трудом удалось продлить выпуск еще на несколько лет, но в конце 1930 г. вышел последний номер. Возникли трудности и с реализацией продукции издательства "Слово". Во многом это было связано с усилением нацизма в Германии и антисемитской политикой, что не могло не отразиться на И.Гессене и его соратниках. В 1933 г. был выслан из страны Г.Ландау, поселившийся в Риге. Позднее туда же уехал А.Каминка. Покинул Германию и М.Ганфман.

Ненавидевший всякий политический экстремизм, И.Гессен считал, что германский фашистский эксперимент представляет "лишь новое обличие российского"[35]. Он писал: "Для меня ужас тоталитарного режима в том, что он рисуется ярким выражением новой эпохи, и мучительно сознавать, что, обильно орошенный кровью и усеянный миллионами трупов, путь к этому режиму в Европе проложен из моей родины, что таковым окажется новое слово, тот свет, которого мессиане ждали с востока"[36].

Духовная связь российского коммунизма и фашизма в Германии была для И.Гессена несомненна, и в этом своем мнении он был еди-

нодушен с высказываниями еврейского историка Дубнова, жившего в эти годы также в Берлине. В дневниковой записи 24 апреля 1925 г. С.Дубнов отметил, что при обсуждении доклада приехавшего из России проф. Сперанского о положении евреев, который, как он считал, был малосодержателен и сопровождался "юдофильскими излияниями", выступил Бикерман, возложивший всю ответственность за большевизм на евреев, а "ряд оппонентов, и среди них редактор 'Руля' Гессен, сочли нужным заявить что им неприятен филосемитизм, как и антисемитизм"[37].

И.Гессен входил в Берлинский комитет по чествованию Милюкова в связи с его 70-летием, а в Пражский комитет – его сын С.Гессен, занимавшийся библиографией трудов Милюкова. На торжественном заседании в Берлине И.Гессен отметил, что хотя они "друзья-противники", он может сказать о юбиляре много хорошего, о его постоянной бодрости, "приятии жизни", свободе от привычек, бесстрашии и честности[38]. В указанном сборнике помещена статья И. Гессена "П.Н.Милюков как журналист". Верный своему принципу не превращать малосущественные различия в политических взглядах во вражду, он и здесь прежде всего подчеркнул то общее, что объединяет их, отодвинув разногласия на второй план: "Личные чувства к П.Милюкову, как к человеку исключительному, остались нетронутыми со времени нашей первой встречи", а расхождения, возникшие в начале 20-х годов, посчитал эфемерными[39].

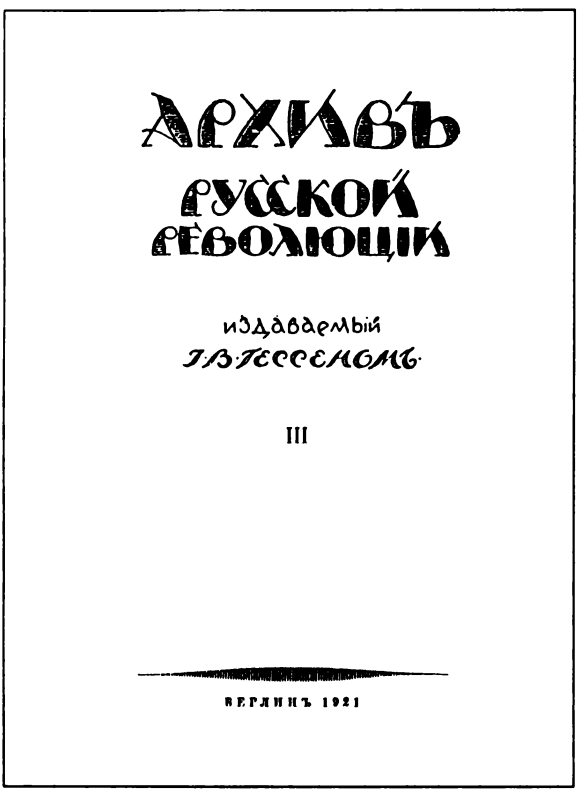
Надо сказать, что проявляя неуступчивость в политических спорах, П.Милюков продолжал относиться к И.Гессену весьма уважительно. Так, например, он писал, что "у Гессена своя писательская манера, отражающая строго юридический склад ума. Он исследовал общественное явление в лице точно им выбранной жертвы и старался поразить противника его же собственным оружием"[40].

6. С любовью к искусству

Жизнь И.Гессена за рубежом во многом характеризуют описания, приведенные в книге его сына Владимира: "По примеру Санкт-Петербурга, в Берлине возобновились воскресные 'журфиксы'. В начале 20-х годов германская столица была центром российской эмиграции, и кто только ни побывал на приемах в нашем доме. Неизгладимое впечатление оставила встреча с деятелями московского художественного театра: Станиславским, Качаловым, Германовой, Массали-

тиновым и др. В их честь у нас дома состоялся торжественный обед. Часто гостили О.Гзовская с Гайдаровым, вместе изображавшие митинг коммунистического интернационала. Бывал Южин – создатель и директор театра 'Синяя птица'. Бывала Анна Павлова, а С.Дягилев приводил своего ученика Лифаря, начинавшего делать головокружительную карьеру танцовщика'"[41]. И далее: "Кроме артистов, навещали все приезжавшие писатели. Помню Бунина, возвращавшегося из Стокгольма после получения Нобелевской премии. Он на день остановился в Берлине, обедал у нас <...> Перед отъездом А.Толстого <...> в нашей квартире состоялся в его пользу и находившегося тогда в Берлине Б.Пильняка большой вечер, на котором писатели читали свои произведения. Часто бывал у нас С.Прокофьев".

Отдельной темой в исследовании жизни и деятельности И.Гессена являются его отношения с Набоковыми: Владимиром Дмитриевичем и его сыном Владимиром, публиковавшимся под псевдонимом Сирин. О первом Гессен в свое время писал, что связан с ним двадцатилетней совместной и согласной общественной деятельностью и "все крепнущей безоблачной" дружбой. В своих воспоминаниях Гессен подробно описывает трагический день, когда во время лекции П.Милюкова в Берлине на него было совершено покушение и В.Д.Набоков смело бросил-


АРХИВЪ
РУССКОЙ
РЕВОЛЮЦІИ
ИЗДАВАЕМЫЙ
ІЪ.ГЕССЕНОМЪ
III
БЕРЛИНЪ 1921

ся на одного из нападавших, сбил его, получив пулю в спину от другого террориста.

Гессен первым из издателей заметил и оценил растущее мастерство В.В.Набокова, его писательский талант. Это дало ему право сказать: "Больше всего горжусь тем, что 'Слово' было крестным отцом Сирина, сразу привлекшего к себе внимание, выдвинувшегося в первые ряды"[42]. А вот слова Набокова-Сирина, обращенные к Иосифу Владимировичу: "С редким благоволением, переходящим почти в попустительство, Вы принимали потоки моих юношеских стихов, количество которых Вас несколько удивляет теперь, когда Вы <...> просматриваете умащенные уже летами томы 'Руля'. Редактор, издатель, советчик, друг – вот как, в преломлении моей личной судьбы, постепенно яснеет Ваш образ". Гессен говорил, что ему посчастливилось встретить в жизни двух гениев: С.Прокофьева и В.В.Набокова, причем последний "исключительный избранник Божий".

Имеется фотография с подписью: "Русская колония Берлина отметила приезд лауреата Нобелевской премии по литературе И.Бунина публичным чествованием. На эстраде знаменитого писателя приветствует И.Гессен, бывший руководитель кадетской партии и редактор газет 'Речь' в России и 'Руль' за рубежом. Аплодируют: справа – поэт С.Кречетов, слева – талантливейший из молодых зарубежных русских писателей В.Сирин"[43].

По этому поводу в воспоминаниях И.Гессен писал: "И еще позже, уже при гитлеровском режиме, поднявшем на поверхность беженский шлак, о котором никто и не подозревал, когда было объявлено чествование Бунина, общественный деятель, издатель и собственник больших гаражей в Берлине Парамонов по-приятельски рекомендовал воздержаться от речей, так как в 'шоферских кругах' решено не допустить выступления 'жида и полужида' (под последним подразумевался Сирин, женатый на еврейке). Но и на этот раз, считая, что положение обязывает и что нельзя дать хулиганству торжествовать, мы не склонились перед угрозой и поступили правильно..."[44]

7. Последние годы

В 1936 г. Гессен был вынужден уехать из гитлеровской Германии. Он поселился в Париже[45]. Здесь он по мере возможности занимался литературной деятельностью, в его квартире продолжали бы-

вать многие представители Русского Зарубежья. В эти годы им был написан второй автобиографический труд – "Годы изгнания. Жизненный отчет", так же как и первый неоднократно использованный в данном очерке. Этот труд в виде отдельной книги был издан примерно через 40 лет после написания, и можно только догадываться, сколь сложный и опасный путь проделала рукопись за эти десятилетия. В предисловии к ней публикатор, скрывшийся под нерасшифрованными нами инициалами В.А., писал: "Обо всем – о годах изгнания, поиска, труда – эта книга. Горькая, как горек беженский хлеб, но и очищающая, ибо ничто так не очищает, как исповедь перед совестью"[46].

К сожалению, эта книга воспоминаний И.Гессена, как и предыдущая, имеет один существенный для историка недостаток: в ней много недоговоренностей, имена ряда лиц не раскрыты. Конечно, это делалось преднамеренно, чтобы не усложнять и без того трудную жизнь в СССР его знакомых и родственников. Ведь одно упоминание имени, а тем более наличие даже самых отдаленных родственных связей, ставило многих в крайне опасное положение. При допросах арестованных следователи прежде всего выясняли степень этой связи, обосновывая ею жестокие приговоры.

При наступлении гитлеровцев в 1940 г. Гессен бежал в ту часть Франции, которая вначале не была оккупирована, жил в Лиможе. Впоследствии его сын писал: "Во время войны в Париже пропал весь архив И.Гессена, все фотографии с посвящениями выдающихся артистов и музыкантов, начиная с Ф.Шаляпина и кончая Анной Павловой, которыми были увешаны стены отцовского кабинета в берлинском издательстве 'Ульштейн', издававшем 'Руль'[47]. Затем пришлось бежать еще дальше, в деревню, находившуюся в районе Тулузы. В конце 1942 г. все эмигранты из России были арестованы, включая Гессена, но вскоре отпущены. Все это заставляло искать путь бегства из Франции.

Он приехал в Нью-Йорк в конце 1942 г. и весьма скоро – 22 марта 1943 г. там скончался. Гессен писал в середине 30-х годов: "Страстной остается только одна мечта и жгучим только одно желание: перед смертью еще раз увидеть Родину и там умереть"[48]. Не сбылись ни его мечта, ни его желание, и в некрологе было сказано, что он умер "далеко от родины, в чужой для него стране, к которой, за время короткого в ней пребывания, он присматривался с характерным для него живым, почти юношеским интересом и к кото-

рой он относился с теплым чувством признательности. Судьба, не баловавшая его за последние годы жизни, напоследок послала ему одно утешение: подышать перед смертью воздухом свободы"[49]. Автор некролога писал, что в его памяти "остались такие черты И.Гессена, как мягкость и благожелательность, живой и острый ум, добродушный юмор с подтруниванием над собой, огромный интерес ко всем проявлениям жизни и, в частности, к новым талантам в литературе и искусстве". И далее: "В личных рассказах и напечатанных воспоминаниях меня поражает широкий диапазон жизненного опыта И.Гессена, его духовных интересов. Кого только он не знал в своей жизни, и из каких разнообразных кругов! И разве не неожиданно, что политик и публицист был специалистом по 'Гамлету' и мог проливать слезы, слушая 'Мейстерзингеров' Вагнера? Такой же широтой отличалась и вся его деятельность в эмиграции". В связи с этим подчеркивалось, что газета "Руль" была не только политическим, но и литературным органом, и, наряду с этим, памятником культурной деятельности И.Гессена останутся двадцать два тома "Архива русской революции" и изданные им драгоценные для истории мемуары Витте.

Он написал статью с собственной трактовкой образа Гамлета еще в 1903 году. Она была в то время принята журналами, и ею очень интересовался артист В.Качалов. Весьма сомнительна справедливость одного дневникового замечания К.Чуковского, сделанного им после получения в Петрограде известия о гибели В.Д.Набокова, о том, что "...Гессен забавно тянулся за ним, тоже ходил в балет, сидел в опере с партитурой в руках"[50]. Представляется, что это был результат не подражания, а некой внутренней потребностью.

В заключении некролога отмечалось, что "... в последние дни своей жизни, больной и усталый <...> И.Гессен все еще носился с мыслью о написании большой работы о кризисе современного правосознания. Он говорил, что его еще со студенческих времен не покидала мысль об известном неразрешимом противоречии между индивидуумом и коллективизмом". "В последнее наше свидание, – писал автор некролога, – он снова вернулся к своей работе, говорил о том, что понемногу собирает для нее материалы, и просил меня прислать ему из нашей университетской библиотеки нужную ему книгу Зиммеля, которую он не мог достать в Нью-Йорке. Мы расстались на том, что я исполню его просьбу при первой возможности... Через неделю его не стало".

8. Семья

Теперь немного о семье И.Гессена. Его жена Анна Исааковна была врачом. С начала 900-х годов она все больше сил отдавала благотворительной деятельности, была учредительницей в Санкт-Петербурге Нарвской бесплатной амбулатории для рабочих, также бесплатных школы и столовой. Она умерла в Берлине 1 декабря 1930 г. Как писал И.Гессен, "делать добро людям было для нее такой же непреодолимой потребностью, как утолить физический голод, и это не воспринималось как исполнение обязанности, а как ощущение высшего наслаждения"[51]. М.Ганфман после ее смерти отметил, что "петербургские писатели, журналисты, художники, музыканты, общественные деятели, которые собирались по воскресеньям в доме редактора 'Речи' И.Гессена, не забыли хозяйку этого дома, вливавшую такую интимность в пеструю среду гостей, принадлежавших к разным лагерям"[52].

У нее с И.Гессеном было два сына: Владимир и Георгий, закончившие в Санкт-Петербурге Выборгское коммерческое училище. С ними учились дочь П.Милюкова, сыновья П.Струве, дети лидера эсеров В.Чернова, дочь Л.Троцкого Нина Бронштейн. Владимир Гессен стал литератором, был участником сопротивления гитлеровцам во Франции, описанного им в ряде рассказов, в книге "Герои и предатели". Его книга воспоминаний "В борьбе за жизнь" имеет большое значение для изучения жизни И.Гессена и его близких и широко использована в очерке. Из Франции он переехал в США в 1946 г., где более 20-ти лет работал в редакции газеты "Новое русское слово". В 1955 г. один из его рассказов был напечатан в московском журнале "Родина". Умер Владимир Гессен в начале 80-х годов в Нью-Йорке. Его брат Георгий прибыл в США в 1942 г. Он был принят на службу в секретариат ООН, где работал переводчиком до смерти, последовавшей 8 октября 1971 г.

О сыне И.Гессена Сергее (1887-1949?) известно, что он в 1904 г. вступил в Союз учащихся средних школ в столице России, имевший отношение к антиправительственной деятельности. За это он подвергся полицейским преследованиям, в квартире был произведен обыск, затем последовало исключение из училища, экзамены за полный курс которого он сдал экстерном. С целью выведения из революционной среды и облегчения получения высшего образования Сергей был отправлен отцом в Гейдельбергский университет, который

окончил с отличием. В дальнейшем С.Гессен вернулся в Россию, стал известным знатоком философии и педагогики, автором ряда научных работ, членом многих научных обществ[53]. В 1914-1916 гг. он заведовал кафедрой философии в Томском университете, в 1917-1921 гг. был доцентом Петроградского университета. В 1923 г. С.Гессен выехал из России к отцу в Берлин, заведовал кафедрой философии в Пражском университете. В Праге в 1923-1929 гг. выпускал журнал "Русская школа за рубежом", в 1925-1928 гг. – "Логос" – международный ежегодник по философии культуры (совместно с Ф.Степуном и Б.Яковенко). Затем переехал в Варшаву, где также преподавал в университете. В Польше пережил немецкую оккупацию, вместе с университетом эвакуировался в Лодзь, где и умер. Его сын Евгений был талантливым поэтом, погибшим в гитлеровском лагере смерти[54].

Примечания

1. Государственный архив Одесской области Украины (ГАОО). Ф.2. Оп.II. №1. Л.19, 20-24.

2. Информация. // День (Одесса) 1870. №6. См. также: Пирогов Н.И. Одесская Талмуд-Тора. Одесса, 1858.

3. Гессен И.В. В двух веках. Жизненный отчет. // Архив русской революции. Берлин, 1937. Т.XXII. С.10, 11. Упоминания Иуды Гессена в какой-либо Еврейской энциклопедии не обнаружено.

4. Бен-Ами (М.Я.Рабинович). Воспоминания о старой Одессе // Еврейская старина. СПб, 1914. Вып.I. С.71-72; Вып.II. С.259-260.

5. Гессен И.В. В двух веках... С.10.

6. ГАОО. Ф.2. Оп.1. Т899.

7. Гессен И.В. В двух веках. С.10. Здесь у И.Гессена неточность. Это был не двоюродный, а троюродный брат Юлий Исаакович Гессен, в будущем видный коммерсант, финансовый деятель белого движения, умер в московской тюрьме в 1931 г. Он мог быть инициатором сооружения не всей Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги (она начала строиться, когда он только родился), а лишь ее последнего участка, давшего выход к порту на Балтийском море.

8. Там же. С.13.

9. Там же. С.19.

10. Там же. С.41.

11. Там же. С.55.

12. Там же. С.41.

13. Smith N. Gessen, Iosif Vladimirovich (1866–1943) // Modern Encyclopedia of Russia and Soviet History. New York, 1979. С.167-170. См. также: Фигнер В.Н. Ав-

тобиография. Деятели СССР и революционного движения в России. М.,1989.

14. Карпович М.М. Памяти И.В.Гессена. // Новый журнал. Нью-Йорк, 1943. Вып.VI. С.386-388.

15. Гессен И.В. В двух веках... С.184.

16. Деятели революционного движения в России. Био-библиографический словарь. Гессен Иосиф Саулович (Савельевич). М.,1934. Т.III. Вып.III.

17. Гессен И.В. В двух веках... С.185.

18. Союз русского народа. По материалам чрезвычайной следственной комиссии Временного правительства. 1917 г. М.-Л., 1929. С.86.

19. Карпович М.М. Памяти И.В.Гессена.

20. Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург). Ф.1278. Оп.1. №103. Л.3.

21. Гессен И.В. В двух веках... С.363.

22. Чуковский К.И. Дневник. 1901-1929. М.,1991. С.38, 41, 356.

23. Там же. С.206.

24. Гессен И.В. В двух веках... С.397.

25. Там же. С.383.

26. Архив русской революции, издаваемый И.Гессеном. Берлин, 1923. Т.X. С.13.

27. Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.51. С.52.

28. Чуковский К.И. Дневник. С.140.

29. Гессен И. Годы изгнания. Жизненный отчет. Париж, 1979. С.91.

30. Архив русской революции. 1921. Т.1. С.5.

31. Там же. 1928. Т.XIX. С.245.

32. Гессен И. Годы изгнания... С.138.

33. Министерство безопасности Латвийской республики. Дело Ландау Г.А. Арестован в Риге 9 июня 1941 г. и по постановлению, утвержденному наркомом внутренних дел ЛССР капитаном госбезопасности Шустиным, приговорен к высылке за пределы республики вместе с женой. Все ценное имущество изъято в пользу НКВД, а остальное оставлено родственнику А.Каминке для реализации в 10-дневный срок. Умер 15 ноября 1941 г. от миакардита. Похоронен на кладбище поселка Сурмог Соликамского района Пермской области РСФСР. Как сказано в письме начальника Учреждения АМ-244, "точное место захоронения установить невозможно за давностью лет". Остался только отпечаток пальца умершего и его лагерный номер – 60727.

34. Милюков П.Н. Россия на переломе. Большевистский период русской революции. Т.1. Происхождение и укрепление большевистской диктатуры. Париж, 1927. С.III.

35. Гессен И. Годы изгнания... С.255.

36. Там же. С.261.

37. Дубнов С.М. Книга жизни. Рига, 1940. Т.3. С.40.

38. Милюков П.Н. Сборник материалов по чествованию его 70-летия (1859-1929). Ред. С.А.Смирнов, М.А.Алданов, Г.Б.Слиозберг и др. Париж, 1929.

39. Гессен И. Годы изгнания... С.123.

40. Гессен И.В. В двух веках... С.104.

41. Гессен В.И. В борьбе за жизнь (Записки эмигранта). Нью-Йорк, 1974. С.35.

42. Гессен И. Годы изгнания... С.93.

43. Два поколения русской литературы. Чествование И.А.Бунина. // Рубеж. 1934. 8 апр., №15. И.А.Бунин получил премию 9 ноября 1933 г.

44. Гессен И. Годы изгнания... С.70.

45. Smith N. Gessen I.V. С.170.

46. Гессен И. Годы изгнания... С.1, 2.

47. Гессен В.И. В борьбе за жизнь. С.70.

48. Карпович М.М. Памяти И.В.Гессена. С.386.

49. Там же. С.388.

50. Чуковский К.И. Дневник. С.205.

51. Гессен И.В. В двух веках... С.104.

52. Там же. С.281.

53. Гессен С.И. Свобода и дисциплина. Пг., 1917; См. также: Политическая свобода и социализм. Пг., 1923. Проблемы правового социализма. Париж, 1926.

54. См.: Гессен Е.С. Стихотворения. // Новь. Таллинн, 1935. Сб.8.



Роза Гинцберг (слева), Нюня Перельман (сидит) и Эстер Перельман (справа). Рим, 1905-1906 гг.

Роза Гинцберг-Осоргина – дочьАхад-ха-Ама

Нина Елина
(Иерусалим)

Долго, наверное, вспоминала солидная супружеская чета забавный случай, приключившийся в поезде, следовавшем из Швейцарии в Италию. Не успела стечь вода с их насквозь промокших зонтов (в Цюрихе они попали под проливной дождь), как дверь купе отодвинулась и на пороге появилась маленькая девушка в большой шляпе.

"Простите, пожалуйста, – смущенно обратилась она по-французски, – вы не могли бы мне сказать, куда мы едем? То есть, мм... куда идет наш поезд?" – тут она совсем смешалась и замолчала. Сквозь неудержимый смех почтенный супруг вежливо ответил: "Как, мадемуазель, разве вы не знаете? Мы едем из Цюриха в Геную". Покраснев и пробормотав: "Большое спасибо", девушка выскочила в коридор. Вернувшись в свое купе, она накинулась на подруг, которые с нетерпением ждали ее.

"Вот, вы всегда так! Думаете, если я говорю по-французски и по-немецки, я должна всякие глупейшие вопросы задавать? Попадаю из-за вас в дурацкое положение!" – "Но ты же сама сомневалась... Говорила, что Арон сослепу, да еще под таким ливнем, мог нас не на тот поезд посадить", – возмутилась одна из подруг. "Так все же куда мы едем?" – спокойно спросила вторая. "В Геную", – услышали они уже менее раздраженный ответ.

Собственно ехали они не в Геную, а в Неаполь, в Генуе нужно было пересесть на пароход. Но если бы они могли заглянуть в будущее, то две из них увидели бы, что на самом деле едут они навстречу своей Судьбе.

Кто же были эти три девушки, откуда они ехали и почему в Неаполь? Что они не туристки, было видно с первого взгляда; впрочем, такие молодые туристки в те времена – был конец августа 1905 года – еще не путешествовали самостоятельно.

На девушках были темные длинные до пола юбки и светлые застегнутые наглухо, до самого горла, блузки с полустоячими воротничками. Так одевались русские курсистки. Но и курсистками они не были, потому что были иудейского вероисповедания и жили в черте оседлости, где Высших женских медицинских курсов, равно как и юридического отделения на Курсах гуманитарных наук, куда они стремились, не было. Получить желанную многим еврейским девушкам профессию врача (или юриста) можно было лишь поступив в какой-нибудь заграничный университет, куда принимали всех, не глядя на пол и вероисповедание.

Наши пассажирки собирались стать студентками Неаполитанского университета. Они были первыми, решившимися учиться в Италии. Центрами притяжения для российских евреев, хотевших получить высшее образование, была прежде всего Швейцария, затем Германия, реже Франция. Казалось, именно Швейцария должна была привлечь наших девушек, никуда за пределы Одессы и близлежащих городков не выезжавших: там уже учился Арон, старший брат одной из них (тот самый провожатый, который совершенно напрасно вызвал их недоверие).

Но они направились не в Швейцарию, а в экзотическую страну, где у них не было ни родственников, ни друзей. Повлиял на этот "странный" выбор молодой итальянский корреспондент газеты "Одесские новости", подписывавшийся псевдонимом "Альталена", – Владимир Жаботинский. Когда он приезжал в Одессу, его тотчас же окружала молодежь, и он с увлечением, сверкая ослепительно белыми зубами на смуглом лице, рассказывал о замечательной стране Италии, где хорошо относятся к иностранцам, где нет антисемитизма, где люди приветливы, а жизнь дешевле, чем в других европейских странах. И уговаривал будущих абитуриентов ехать туда, к Средиземному морю, родственному их Черному.

Немногие последовали его совету: все же итальянские университеты не пользовались такой блестящей репутацией, как швейцарские. Но три слушательницы вняли ему и срочно начали изучать итальянский язык по знаменитому роману Мандзони "Обрученные".

Это были Неха (по-домашнему Нюня) и Эстер Перельман, тетка

и племянница (ровесницы), и их подруга Рахель (Роза) Гинцберг. Они близко дружили с детства, вместе учились в школе Рашкович для еврейских девочек, носили одну и ту же форму, вместе готовили уроки, если одна нечаянно ставила кляксу в тетрадь, то и другая сажала такую же в свою тетрадь, чтобы подруге не было обидно. Но разница между ними все же была: только у одной из них – Розы Гинцберг – отец занимал выдающееся место в истории еврейской мысли и еврейского национального движения.



Ахад-ха-Ам (Ашер Гирш Гинцберг)

Ашер Гирш Гинцберг, философ и публицист, издававший свои статьи под псевдонимом Ахад-ха-Ам, был уже в начале 900-х годов широко известен в кругах интеллигентного еврейства. Он был человеком переходного времени, и оно наложило трагический отпечаток на его личность и судьбу. Родился он в правоверной хасидской семье, и с отцовской, и с материнской стороны хасидское миропонимание передавалось от дедов к внукам. Склонность к мистицизму и погружение в священные книги не мешали, однако, развитию деловых способностей у некоторых членов этих семейств. Отец Ашера – Исай был наделен ими в достаточной мере, это помогало ему – сыну многодетной вдовы, энергичной и властной женщины, выбиться в люди: стать богатым торговцем, промышленником, а с 1868 г. арендатором большого имения в деревне Гопчице, вблизи городка Сквиры, одного из хасидских центров Украины (неподалеку от Бердичева – "волынского Иерусалима"), где в 1856 г. и родился Ашер.

Несмотря на состоятельность родителей, детство Ашера, единственного сына в семье, было отнюдь не радостным. С трех лет он с раннего утра, часто голодный, дотемна просиживал в хедере, изучая Талмуд. Детских игр не знал, друзей не было. Очень рано в душе мальчика начал зреть протест против жестокого семейного уклада. В три года он возмутился тому, что учитель нарушил условие, которое Ашер поставил, и заставляет его заучивать больше трех строчек в день. Когда ему минуло 8 лет, он начал по дороге из хедера домой тайком учить по вывескам русские буквы, что было запрещено ("Чужие буквы грязнят глаза", – говорил дед); впоследствии он также тайком изучал алгебру, и тот же дед, обнаружив это, счел алгебраические знаки колдовскими, греховными письменами, и самостоятельные занятия алгеброй прекратились.

Казалось, жизнь в деревне, куда его привезли в двенадцатилетнем возрасте, даст ему свободу: он получил прекрасную отдельную комнату, мог покупать

книги и самостоятельно заниматься, а учитель ходил к нему домой.

Кругом была мягкая, привольная украинская природа, цветущий сад заглядывал в его окна, ему часто приходилось идти полем, он купался в реке, кое-как, но все же ездил на лошади. А природу не любил. "Я был захвачен учением и чтением и не обращал внимания на красоты природы", – пишет он в своих воспоминаниях. И свободу он не почувствовал. Дни и ночи искал он истину: вначале в религиозных сочинениях, затем в философских, переходил от одной философии к другой и страдал от одиночества. В 16 лет его женили на ровеснице Ривке, девочке из ученого раввинского рода. Ни он, ни даже его родители до свадьбы ее не видели. "Славная родословная так ослепила моих родителей, что они даже не поехали и никого не послали в дом к невесте посмотреть, не слепая ли она или однорукая...". К счастью, невеста оказалась нормальной еврейской девушкой, воспитанной в строго религиозном духе. "Чего еще можно было желать", – грустно-иронически добавляет Ашер. Оба выполняли свои супружеские обязанности, но духовной близости не было. Ашер не бунтовал против родителей – был в курсе дел отца, в его отсутствие управлял имением, но затаил горечь, ненавидел образ жизни, который вынужден был вести, и мечтал вырваться из тесного, душного мирка. Он самоятоятельно занимался немецким и русским языком (русский язык он 18-летним юношей изучал по случайно купленным "Протоколам Российской Академии наук", а затем уже по произведениям русской литературы), а также латынь и другие гимназические предметы в надежде поступить в какой-нибудь русский университет. Но побоялся не сдать экзамены на аттестат зрелости, с их формальными требованиями, и в 1882 г. поехал в Вену, убедив родителей, что хочет усовершенствоваться в немецком языке. Однако пробыл он там всего две-три недели. Мешало приобщиться к студенческой жизни неверие в свои силы. В следующем году он опять пробовал заниматься в Берлине, Бреславле, Вене и снова возвращался домой, куда его призывали письма родных, совершенно не понимавших его внутренних стремлений и метаний: из хасида он превратился в "миснагда", а затем увлекся просветительской литературой (в частности Писаревым) и отошел от религии, хотя и признавал ее этическую ценность.

В 1884 г. перед ним открылся просвет: с женой и пятилетней девочкой Леей-Деборой он приехал в Одессу, в 1885 г. в Киеве родилась вторая дочь Рахель (Роза). А еще через год произошел настоящий перелом в его жизни. По новым российским законам, отец его лишился права арендовать имение, и всей семьей пришлось из деревни окончательно уехать. Ашер с женой и с детьми прочно обосновался в Одессе. "Так, наконец, я смог оставить тюрьму, где я провел 18 лет, лучших лет человеческой жизни, и которая грызла меня заживо и разрушала те естественные дарования, которые у меня были. Я вошел туда 12-летним мальчиком, вышел 30-летним мужчиной с женой и детьми. Я вошел туда с чистой душой и полный надежд, вышел разочарованный, с болью в сердце". Разочарование, однако, не помешало ему не только продолжить свое образование (в Одессе он успешно изучал философию и французский и английский

языки), но и проявить свой общественный темперамент, литературное дарование и глубину мысли.

Скромный провинциал превратился в известного еврейского деятеля, публициста философского склада. Он сблизился с палестинофилами, во главе которых стоял доктор Пинскер, был в дружеских отношениях с Клаузнером, Лилиенблюмом, Равницким, Бяликом и вскоре начал играть в этом движении руководящую роль. В 1889 г. основал общество "Бней Моше", просуществовавшее восемь лет, с 1896 г. стал издавать журнал "Ха Шиллоах", поставивший задачу возродить еврейскую культуру и духовную сущность еврейства. В 1889 г. он выпустил в свет под псевдонимом Ахад-ха-Ам (Один из народа) свою первую статью "Не тем путем" и вслед за ней опубликовал целый ряд принципиально важных статей и заметок. Последующие 17-18 лет оказались очень плодотворными для него. В эти годы полностью сформировалась и получила выражение его философско-политическая доктрина, подкрепленная знакомством с бытом колонистов Палестины, где он несколько раз побывал.

На рубеже двух веков, когда Герцль провозгласил идею создания еврейского государства и начал бороться за претворение ее в жизнь, Ахад-ха-Ам, которому сама идея не была чужда, выдвинул в противовес политическому сионизму Герцля сионизм духовный.

История поставила этих двух людей рядом, но в те годы они являли собой разительный контраст. Высокий, мужественный, красивый, чернобородый Герцль – блестящий, уверенный в себе оратор, талантливый литератор, превосходно знавший не только свой родной немецкий, но и французский и английский языки, и плохо иврит, настоящий европеец, который вдруг под влиянием дела Дрейфуса, этого взрыва антисемитизма, почувствовал себя евреем. И маленький, тщедушный, широкоскулый, рыжеватый, с тихим голосом и нарочито скупой жестикуляцией, владевший и идишем и ивритом во всех его тонкостях и говоривший на европейских языках с заметным акцентом, – настоящий еврей черты оседлости, которому не надо вспоминать о своем еврействе, ибо он плоть от плоти его.

Один представлял западное еврейство, другой – восточное.

Первый высокомерно отмечал провинциализм, узость и косность второго, а второй всей силой убежденности обрушивался на пренебрежение западного собрата национальной культурой, основу которой составляет иудаизм. В отличие от Герцля, который стремился основать еврейское государство, если невозможно в Палестине, то на любой другой территории, даже в Уганде, и шел к этой цели путем дипломатии и практической деятельности, Ахад-ха-Ам ставил перед собой задачу создать национальный духовный центр именно в Палестине, возродить еврейскую духовную жизнь и любовь к Сиону. Это мистическое чувство любви, исходящее из глубин хасидизма, сочетается у него с рациональным утверждением приоритета национальной этики – ядра иудаизма. В национальной этике, подчеркивал Ахад-ха-Ам, главное это избавление от себялюбия ("нароста галута"). Задача истинного националиста в том, чтобы подчинить свою личность

нравственному императиву. Приверженцы национальной идеи "должны серьезно отнестись к истинной национальной этике" и постараться "согласовать с ней свою личную жизнь". Но не только наиболее преданные народу люди или люди, сохранившие религиозную веру, должны следовать велениям национальной этики, существуют "духовные, национальные обязанности, имеющие силу для всех, верующих и неверующих одинаково". С этими общими требованиями связаны и частные вопросы. Как относиться к смешанным бракам? "Не представляет ли подобный брак в том состоянии рассеяния и разрозненности, в котором мы теперь находимся, серьезную опасность для существования народа? А если так, то не лежит ли на националисте нравственный долг охранять существование своего народа и ради этой цели пожертвовать даже своим личным счастьем?".

Таковы взгляды Ахад-ха-Ама, и вся его жизнь в течение двадцати с лишком лет была попыткой утвердить их в окружающем его мире. В этом мире жила и его семья. Богатство ее постепенно таяло, но благодаря деловым связям, в частности с известным чаеторговцем Высоцким, в нужду она не впала, и дать своим детям образование Ахад-ха-Ам смог. Помня, с каким трудом – самоучкой пробивался он к постижению современных наук, он хотел, чтобы они выросли всесторонне образованными людьми. Сын Залман (Сема) наряду с религиозным традиционным обучением проходил гимназические предметы. Дочери Лея (Лиза) и Роза получили светское образование, более полное, чем большинство их сверстниц. Гимназический курс наук дополняли гувернантки, обучавшие девочек французскому и немецкому языку (впоследствии дети изучили и английский, а Роза и Сема итальянский язык). Дома у Ахад-ха-Ама была большая библиотека, расширявшая их кругозор. Когда девушки решили ехать за границу учиться, Ахад-ха-Ам отнесся к этому очень одобрительно. С детьми, когда они стали взрослыми, он сблизился. Способная, образованная, умная Роза сделалась его любимицей, он гордился ею (старшая дочь Лиза, несколько неуравновешенная, к облегчению родителей довольно рано вышла замуж за Певзнера, талантливого, энергичного человека, переселившегося с ней в 1905 г. в Хайфу). Опасения, что самостоятельная жизнь за границей может поколебать устои младшей дочери, Ахад-ха-Ама не тревожили. Он был в ней уверен.

В промежутке между гимназией и поступлением в университет Роза и Нюня были членами дружеского кружка – в него входили трое молодых людей и три девушки. Кружок они называли "коммуной": была общая касса на мелкие расходы, но главное – они вместе ходили в театр, обсуждали прочитанные книги, гуляли в парке,

ели мороженое, невинно флиртовали. Из членов "коммуны" только двоих, Нюню и студента Новороссийского (ныне Одесского) университета, связывали глубокие чувства, между остальными были веселые дружеские отношения.

У Розы был жених Филипп Гурвич, живой, остроумный, хороший рассказчик, но он не был одесситом, в "коммуну", естественно, не входил и встречался с Розой во время своих каникул и коротких наездов в Одессу. У Эстер жениха не было.

Благополучно добравшись до Неаполя, новоявленные студентки сняли захудалую комнату у старушки-горбуньи, смотревшей на них с некоторым подозрением – приехали три молодых девицы, одни, из какой-то далекой страны, где все покрыто снегом и льдом. Где, по их словам, не носят зонтиков (на самом деле на троих был один Розин кружевной зонтик, а на дворе уже стоял сентябрь, а деньги из дома запаздывали). Когда они вошли в лекционный зал Университета, все головы повернулись в их сторону и раздался тихий гул. Лекцию слушали плохо. Потрясение было такое, как если бы в лекционном зале очутились сирены с волшебного острова Армиды, а не три скромно и вполне современно одетые девушки. И немудрено! В стенах Неаполитанского университета, существующего с 1224 года, впервые появились *студентки!* Да еще из России, о которой студенты знали немногим более, чем старушка-горбунья. Девушки оказались живыми и общительными, принимали участие в студенческих празднествах, ездили со своими однокурсниками за город, поднимались с ними на Везувий во время извержения. Но напрасно пылкие итальянцы надеялись вступить с ними в более тесные отношения. Скоро они поняли, что хотя рядом с молодыми иноземками нет отцов и братьев, охраняющих их честь, завязать с ними любовную интрижку невозможно. Помимо достаточно твердых внутренних устоев у девушек неожиданно оказался эскорт. Шла, как уже упоминалось, вторая половина 1905 года. Многие русские студенты были замешаны в беспорядках и исключены из российских университетов, часть поехала за границу, и какая-то группа осела в Неаполе. Образовалась русская колония. Русские студенты плотным кольцом окружили своих соотечественниц, энергично охраняя их от домогательств итальянских "соблазнителей". И лишь немногие, кто питал вполне серьезные намерения и предлагал не только сердце, но и руку, пробился через этот эскорт. Однако и сам эскорт в какой-то мере был для наших девушек чужеродной средой. Еврейских студентов в Не-

аполе не было, новые знакомые были русские. На родине девушки с русскими сверстниками почти не соприкасались, только в гимназии с соученицами, но и с ними домами не встречались. В дружеские кружки вроде "коммуны" русские юноши и девушки не попадали. Был общий язык (все гимназисты хорошо говорили по-русски), общая культура, но грань между сообществами переступали лишь те, кто шел в революцию, или сознательно хотел избавиться от груза еврейства, или, наконец, следовал велению сердца, но таких было немного.

Среди русских студентов были люди разного возраста, в большинстве старше наших девушек и, во всяком случае, опытнее. Принадлежали они к разным социальным слоям: от классических разночинцев до выходцев из аристократической среды (один из них, сын русского посла в Италии, был племянником Григория Александровича Пушкина). Но всех их очень заинтересовали три подруги. С одной стороны, было в них нечто российское, а с другой – они были terra incognita. Это странное сочетание своего-чужого, усиленное обаянием девушек, волновало и привлекало.

Из трех подруг Роза была самая серьезная, самая образованная, остроумная и уверенная в себе. Но как ни странно, эти ее черты отпугивали поклонников, что, впрочем, не нарушало общую атмосферу влюбленности, воцарившуюся в этом кругу. К подругам зачастили гости, приходили компанией, компанией шли в синематограф, покупали билеты сразу в два зала, принадлежавшие одному хозяину, и бежали из одного в другой, стараясь успеть к началу сеанса. Новые впечатления, новые люди, красивая природа – все это кружило голову, но какое-то время действовал запрет: с "гоями" не сближайся, это смерти подобно. Держаться помогали дружба и совместная жизнь. Но через год-полтора стали обозначаться трещинки. Трещинки разного свойства. Розу перестал удовлетворять Неаполитанский университет, экскурсии, беготня по кинозалам. Она захотела стать настоящим юристом и к 1907 г. перевелась в римский университет, где преподавание велось серьезнее. Эстер же совсем запустила занятия медициной, перед ней уже обозначилась ее Судьба. Устояв перед натиском влюбленного в нее молодого волжанина, она поддалась ухаживанию "хитроумного грека", обосновавшегося в Италии в качестве журналиста, и после недолгой внутренней борьбы вышла за него замуж. Бросила университет и осталась в Неаполе. На родину она приехала лишь в 25 году, когда отец накануне внезапной смерти

наконец примирился с ее браком. (Дальнейшая судьба Эстер была трагической: перед второй мировой войной она, к тому времени бездетная вдова, переселилась в Грецию, затем бежала в Англию и погибла в Лондоне во время бомбежки.)

Вслед за Розой перевелась в Рим на медицинский факультет и Нюня. Казалось, их дружба еще больше окрепла. Вместе осматривали римские достопримечательности, вместе ездили во Флоренцию, Сиену и другие старинные города. Появились общие новые подруги, новые знакомые. Неизвестный скульптор даже изваял их вместе на барельефе. Но эта совместная жизнь длилась недолго.

В 1907 г. Ахад-ха-Ам вынужден был переехать в Лондон. Литературным трудом он жить не мог, и Высоцкий предложил ему должность в английском филиале своей фирмы. Помочь родителям устроиться на новом месте вызвалась Роза. Она поехала в Лондон, сняла там в тихом районе хорошую квартиру и меблировала ее. В Лондоне она пробыла довольно долго: отец после переезда впал в депрессию, расставание с Одессой казалось ему концом его творческой жизни. Своей энергией, живостью, остроумием и пониманием его душевного состояния она помогла ему обрести равновесие. Только после приезда брата она вернулась в Рим, а там ее поджидала ее Судьба.

В Риме тоже была русская колония, но другая, чем в Неаполе, не студенческая, а эмигрантская. Нюня с эмигрантами не сблизилась, она вошла в круг своих коллег – итальянских студентов. Роза чувствовала себя чужой среди студентов-юристов, которые пошли по стопам своих отцов и дедов, составлявших в итальянском обществе почтенную с отдаленных времен профессиональную касту. Такого тесного общения, как у веселых студентов-медиков, у юристов не было.

Но один юрист встал на Розином пути и резко изменил спокойное течение ее жизни. На самом деле в момент их знакомства он уже юридической практикой не занимался и к сословию юристов фактически не принадлежал. Это был литератор, публицист, русский дворянин Михаил Андреевич Ильин, писавший под псевдонимом Осоргин.

Где они встретились? Может быть, движимый профессиональным интересом бывшего юриста, он зашел на факультет права послушать лекцию известного профессора, может быть, в читальном зале, куда приходили русские газеты, может быть, в музее. Может быть, в

доме каких-нибудь общих знакомых. Мало ли где могли случайно встретиться российские соотечественники.

Михаил Андреевич был старше Розы на семь лет, но до встречи с ней прожил такую насыщенную жизнь, что разница по существу была больше.

Родился Осоргин в Перми. Родители его были старинного, но обедневшего дворянского рода. Отец был судебным деятелем и владел бездоходным имением, так что семья, где было пять человек детей, жила довольно скромно. Михаил Андреевич был младшим, и ему пришлось труднее, чем его сестрам и братьям, так как отец умер, когда он еще был гимназистом. Тем не менее общее воспоминание писателя о детстве и отрочестве удивительно светлое. Он горячо любил своих родителей и любил землю, на которой вырос. В автобиографических рассказах он пишет о них, не сдерживая своих чувств: "Помню и знаю по отзывам других, каким отец был привлекательным, общительным, веселым и милым человеком, какой любовью и уважением пользовался в обществе". О матери он с нежной благодарностью вспоминает: "Мать не только всех нас подготовила к гимназии, не только помогала готовить уроки, но и лечила всех сама простыми и испытанными средствами... и утешала в детских обидах и огорчениях". И заключает свои воспоминания: "Сыновним чувством, проснувшимся в этот светлый день, в осенний день моей жизни, я соединяю могилы тех, кому обязан великим счастьем жизни в творчестве". Отец знакомил его с ранних лет с природой, и она тоже стала его непреходящей любовью: "Я тебя люблю, земля, меня родившая, и признаю тебя моей величайшей святыней". Описания уральской природы в рассказах Осоргина исполнены истинной поэзии. Он ощущает себя коренным русским человеком, потомком давних варягов, осевших на востоке, на границе с Сибирью, и радуется и гордится, "что родился в глубокой провинции, в деревянном доме, окруженном несчитанными десятинами, никогда не знавшими крепостного права", и что голубая кровь его отцов "окислилась <в нем – *Н.Е.*> независимыми просторами, очистилась речной и родниковой водой, окрасилась заново в дыхании хвойных лесов и позволила <ему – *Н.Е.*> во всех скитаниях остаться простым, срединным, провинциальным русским человеком, не извращенным ни сословным, ни расовым сознанием, сыном земли и братом любого двуногого".

Так представляет он в поздних сочинениях себя и свою землю.

Как все мальчики его круга, он окончил классическую гимназию. Как и Ахад-ха-Ам, рано полюбил книги, стал самостоятельно заниматься и рано начал писать, но в отличие от мальчика из черты оседлости не мучился поисками истины и рано стал публиковаться. Окончив гимназию, естественно, без всяких помех, поехал, как когда-то его отец, учиться в Московский университет на юридический факультет. Москву он впоследствии называл своим родным городом. В студенческие годы молодой литератор писал в уральские газеты и был захвачен общественным движением, усилившимся на рубеже двух столетий. По-

сле участия в студенческих волнениях его выслали в Пермь, и он год прожил у матери.

В 1902 г. Осоргин благополучно закончил Университет и получил звание помощника присяжного поверенного Московской судебной палаты и ряд других званий длинных и пышных, но особых доходов не дававших: у него была "куча малюсеньких дел, десятирублевых доходов, толстый с вензелем портфель". Такую же легкую ироническую и веселую зарисовку он набрасывает в двух других строках: "Имею небольшие усы, фрак, жену, пишущую машинку, штемпеля: 'копировано', 'с совершенным почтением'". Возникает силуэт веселого, легкомысленного, обаятельного в своем мальчишестве человека, пока еще не изведавшего глубоких и сильных чувств: жена, о которой он между прочим упоминает, стоит в одном ряду с фраком и пишущей машинкой. Впоследствии он вспоминал о дешевом колечке, купленном на базере, колечке, которым "шутя и серьезно" обручился "с будущей женой". Колечко это оказалось не очень прочным, а о владелице его мы ничего не знаем.



Михаил Андреевич Осоргин

Легкое и веселое отношение к жизни не помешало Осоргину принимать участие в революционном движении, он стал, как и многие люди его происхождения и возраста, членом партии эсеров (крестьяне ему были ближе, чем рабочие, а тяжеловесные материалистические марксистские концепции отталкивали). Свою революционную деятельность Осоргин оценивает не очень высоко: был "незначащей пешкой, рядовым взволнованным интеллигентом, больше зрителем, чем участником ...; больше, чем я сам, деятельное участие в революции пятого года принимала моя квартира". Квартира, а также дача Осоргина действительно принимали самое непосредственное участие в революционных событиях: там не только устраивались многолюдные собрания эсеров и эсдеков, но заседал Московский комитет партии социалистов-революционеров, хранилась агитационная литература, шрифт подпольных типографий, оружие и "конфетные коробочки" с бомбами, скрывались организаторы крупных террористических актов. Охранка, а вслед за ней жандармерия оценили деятельность молодого юриста выше, чем он сам. Осоргина арестовали, заключили в Таганскую тюрьму, ему грозил смертный приговор. Но он не падал духом, перевел с французского книгу Э.Долеанса "Роберт Оуэн", читал, писал дневник. Самое тяжелое потрясение он испытал в

тюрьме, когда ему вручили письмо о смерти матери. А затем, затем судьба ему улыбнулась. Смертный приговор заменили пятилетней ссылкой, но и ее не пришлось отбывать: следователь, по недоразумению, отпустил его в мае 1906 г. под залог. Он оказался на свободе и через Финляндию бежал в Италию.

Сначала Осоргин поселился в Генуе, в эмигрантской коммуне, а затем переехал в Рим. Средства к жизни давали ему многочисленные корреспонденции, которые он посылал в газету "Русские ведомости".

Италию и итальянцев он полюбил, страну – за красоту пейзажей и величие архитектуры, народ – за отзывчивость, внимательность, сердечность. "Я жил в Риме жизнью обывателя, интересами города и страны, как свой, не как чужестранец", – писал он впоследствии. И тем не менее он тосковал по России: "Лучшие годы молодости я прожил в Италии. Жил там вынужденно и томился по России, куда вернуться было нельзя. Томился, и все же, как теперь с отдаленья вижу, – был счастлив".

И в этот странный период томления и счастья рядом с ним была Роза Гинцберг. Поехала ли с ним в Италию его первая жена, с которой он так легко соединил свою жизнь, он нигде не упоминает. Во всяком случае в "итальянских" рассказах она никак не фигурирует. Зато в рассказе "Мой бедный Кокко" есть намек на встречу с Розой, встречу, перевернувшую его жизнь. "Мне приходится пропустить последний год нашей совместной (со слугой-приятелем Кокко – *Н.Е.*) жизни, так как жизнь моя в то время была слишком полна личных переживаний, делиться которыми с моим другом я не мог". И дальше: "Колесо моей жизни повернулось настолько круто, что даже простые встречи с моим бедным Кокко сделались редкостью".

О том, как завязались их отношения, как влекло к сближению людей совершенно разного склада, из совершенно разной среды, людей, за которыми стояли поколения и поколения совершенно чуждых друг другу предков, можно только догадываться. Сначала, наверное, встречались в компании "третьих лиц", затем, очень скоро, он начал приглашать ее одну. Они бродили по улицам Рима, который он знал лучше, чем она. Заходили в музей, в старинные церкви на малолюдных улицах, в маленькие траттории. Сначала днем, если было не очень жарко, а затем вечерами, когда луна ярко освещает руины древнего Рима и его барочные храмы, где рядом со стенами ложатся черные тени. И однажды, когда он провожал ее домой, на темной лестнице, возле ее двери, он не выдержал и поцеловал ее. А на другой день пришел и сказал, что любит и жить без нее не может.

И она почувствовала, что больше притворяться перед собой нельзя и что пришел час, когда надо решать: принять или отвергнуть Судьбу. Что она влюблена в него без памяти, она уже понимала. Да и немудрено. Она встретилась с талантливым, живым, одаренным человеком, привязанным к своему родному краю и народу и восприимчивым к жизни чужих краев и народов. Человека с чисто русским обаянием, с широтой души, соединяющей насмешливость и мягкий юмор с глубокой лиричностью, озорное мальчишество с достаточной зрелостью мысли. С человеком, не знающим ущемленности, горького скепсиса и одержимости. И к тому же еще красивого, высокого, мужественного. Недостатков его, которые обнаружились позднее, она не замечала.

Гораздо труднее понять, чем привлекла она его. Маленькая, худенькая еврейка, с довольно правильными чертами лица, которому, однако, недоставало ярких красок и девичьей свежести. Живой, быстрый ум в сочетании с легкой склонностью к назидательности вызывал интерес собеседников, но не привлекал поклонников (недаром неаполитанская хозяйка, грустно покачивая головой, говорила: "А вот, чтобы синьорина Роза вышла замуж, нужна рука Божия"). Ее недолгая помолвка с Филиппом Гурвичем не перешла за рамки юношеского платонического чувства, и когда она распалась, особых страданий девушка не испытала.

Осоргин был, по-видимому, первым, кто разглядел в ней женщину. Быть может, его поразил контраст между внешней бойкостью и внутренней нетронутостью умной, образованной и совершенно не искушенной девушки. Быть может, привлекло жадное внимание, с каким она его слушала, и ее неожиданные и остроумные реплики. Быть может, страстный темперамент, скрытый под наружной сдержанностью, вызвал в нем сильное и бурное чувство. Она совсем не походила на русских девушек и женщин, которых он к тому времени уже достаточно хорошо знал. Он не был ловеласом или безответственным юнцом и понимал, что так или иначе ломает жизнь двух женщин: своей жены и девушки из чужого племени. Но угрызения совести и колебания были не очень долгими и мучительными. Юдофобии он был лишен. Об этом свидетельствует не только дружба с Сашей Черным и Жаботинским, но и прекрасный рассказ "Кости еврея", и заметки, написанные гораздо позднее, во время нацистской оккупации Франции. Так что в этом отношении для него, по крайней мере осознанно, преграды не было.

Зато преграда была перед ней, и очень серьезная. Она отдавала себе отчет, какой страшный удар нанесет отцу, которого не только уважала, но и любила до встречи с Осоргиным больше всех. Помнила она и о старом обычае оплакивать ушедших к "гоям" мужчин и женщин как покойников... Мысли об отступничестве и особенно об отце терзали ее. Недаром в начале 1908 г. она подарила Эстер, уже перешагнувшей роковую черту (а не Нюне, с которой больше дружила), книжку итальянско-еврейского писателя Алессандра Коэна "Когда падает снег". Сборник грустных легенд и новелл о современных евреях, начинающих забывать древний закон Моисея, и о тех, кто давно ушел под землю, оставшись верным ему. Особенно должна была поразить ее воображение легенда "Железная собака", мистический рассказ о видении огромной собаки – символе несчастий еврейского народа, – удержавшей от падения (бегства с "гоем") еврейскую девушку.

И, оказавшись между двумя мужчинами, отцом – евреем и возлюбленным – "гоем", столь различным и по происхождению, и по жизненным обстоятельствам, и по облику и натуре, она выбрала возлюбленного и нарушила старый запрет. После размолвок и примирений, ее отказов и его уговоров они сошлись, поселились вместе, и к концу 1908 г. она стала его незаконной женой. Нелегко ей давалась их совместная жизнь. Осоргин несомненно любил ее, это сквозило даже в том, что он придумал ей новое имя – Рери, очень ей подходившее. Но она боялась потерять его и прилагала все силы, чтобы всегда нравиться ему. Он получал приличные гонорары, она подрабатывала переводами, так что в деньгах они не нуждались. И она, обладая хорошим вкусом, старалась одеваться, пыталась (иногда наивно) приблизиться к его внутреннему миру. Напевала русские песни и романсы. Но он посмеивался, и когда она выводила "Не шей ты мне, матушка, красный сарафан", поддразнивая ее, громко подхватывал "красный сарафанчик". Хуже, однако, было другое: часто она не могла скрыть свое дурное настроение, поводов для которого было достаточно. Смущало положение незаконной жены, а главное, мучило, что приходится утаивать свое сожительство с "гоем" от отца, то есть фактически обманывать его. Осоргин же не совсем понимал (или не хотел понимать), почему она впадает в уныние, и недовольно замечал: "Я люблю, чтобы в доме настроение было на пятерку, а у нас оно выше тройки не поднимается".

Чем дальше, тем труднее было Розе скрывать от семьи радикаль-

ную перемену в своей жизни, тем более, что в 1910 г. она окончила университет и не было причины задерживаться в Риме. Первым узнал правду младший брат Сема, приехавший из Парижа (он учился в Сорбонне) навестить сестру. Он не был ни религиозным человеком, хотя кончил одесскую иешиву, ни "истинным националистом". Но его смущало двусмысленное положение сестры, и он стал настаивать, чтобы брак был оформлен. Осоргин проникся к Семе симпатией и прислушался к его настояниям, к тому же в глубине души у него, наверное, все же шевелилась мысль, что Розе роль любовницы тяжела и оскорбительна. Он согласился оформить развод с первой женой и, главное, после некоторых колебаний, согласился принять гиюр, чтобы брак с Розой был узаконен во всех отношениях. И "веселый безбожник", как он себя называл, действительно принял гиюр у реформистского раввина. В 1912 г. брак был заключен. Мать уже знала, что дочь связала свою жизнь с "гоем". Ривка придерживалась ортодоксально-религиозных взглядов, но она была женщиной и матерью, и ее сердце не могло отторгнуть дочь, она примирилась со свершившимся фактом.

Иначе воспринял то, что произошло с его любимой дочерью, Ахад-ха-Ам, когда сын, набравшись духа, раскрыл ему глаза. Удар был если не смертельным, то очень тяжелым. Ведь отрицание смешанных браков вытекало из принципов национальной этики, которую Ахад-ха-Ам так настойчиво и с такой убежденностью провозглашал. Его коробило, что сын Макса Нордау был женат на христианке, еще резче он осуждал поэта Черниховского за подобную же женитьбу, а когда дочь историка Дубнова Ольга, подруга Розы, тоже вышла замуж за русского, он прямо написал старому другу, что, по его мнению, тот должен с дочерью порвать. И вдруг такое несчастье постигло его самого! Он счел это жесточайшим позором, крушением всей системы нравственных ценностей. Смешанные браки несут гибель еврейскому народу, и если его любимая дочь пренебрегла этим и не устояла, то он – Ахад-ха-Ам – больше выступать ни устно, ни письменно не может. Это крах семьи и дела всей его жизни. Он сразу же отрекся от Розы, и когда друзья пытались его смягчить, отвечал: "Так издавна поступали все отцы, не от жестокосердия, а от глубочайшего горя". (Он вспомнил в эту минуту древний обычай, от которого как будто должен был, по своим просвещенным взглядам, отойти.) Друзья уговаривали его, что сердцу не прикажешь, но он, с такой горечью вспоминавший о своей "безлю-

бовной" женитьбе, твердо стоял на своем и ничего не хотел слышать (личность должна пожертвовать своим счастьем ради народа). Не подействовали и уговоры Хаима Черновича – главы одесской иешивы, прибегнувшего, казалось бы, к убедительному доводу – принятию Осоргиным гиюра. Ахад-ха-Ам не считал Осоргина настоящим гером, а формальный гиюр в его глазах ничего не значил, не говоря уже о том, что брак с "гоем" он рассматривал не как религиозное, а как национальное отступничество. Он запретил дочери появляться в его доме, не хотел слышать ее имени. Уступил только в одном: не мешал жене и двум другим детям общаться с ней (мать и брат даже ездили к Розе в Италию). Душевная драма так надломила Ахад-ха-Ама, что он надолго замолчал. Не было сил писать. Нетрудно себе представить, как Роза перенесла это отлучение, рана была глубокая, а делиться своими переживаниями гордость не позволяла. Внешне все обстояло благополучно. Она стала законной женой, приняла фамилию Осоргина. Но внутреннего покоя не было.

Прошло два года, началась первая мировая война. И Осоргин не находил себе места. Он, русский человек, должен в трудный момент не разгуливать по Риму, а быть со своим народом, в России. Но на самом деле ехать было нельзя, судимость с него не сняли, получить официальное разрешение он не мог, а без него ему грозила ссылка, если не хуже... И все же он рискнул и нелегально – через Францию, Англию, Норвегию, Швецию и Финляндию – вернулся, и с ним вместе Роза. Его не арестовали, благодаря заступничеству одного из депутатов Государственной Думы и общей неустойчивой обстановке в стране в последний предреволюционный год. Несмотря на полулегальное положение, он сразу бросился вплавь в безбрежное российское море. Сначала побывал в волжских городах, потом присутствовал на открытии университета в Перми, затем съездил на Западный фронт. После Февральской революции стал печататься в нескольких журналах и газетах, сотрудничал какое-то время в комиссии, разбиравшей материалы охранки, и выпустил в 1917 г. книгу "Охранное отделение и его секреты", начал публиковать беллетристические произведения. После октябрьского переворота, который он, как и большинство интеллигентов, воспринял как разгул безобразной стихии, приведшей к смене одного рабства другим, заниматься публицистикой, оставаясь честным человеком, стало практически невозможно. Он сблизился с московским кругом писателей, отчасти знакомым по Италии, и принял деятельное участие в основании Книжной лав-

ки писателей, которая не только как-то кормила пайщиков, но и стала культурным центром, где встречались люди, не утратившие духовных интересов, и вели литературные и философские споры. Словом, хотя иногда ему хотелось укрыться от уродливой, грязной и кровавой повседневности в деревенском уединении, он жил живой жизнью. А как жила она, его жена Роза Гинцберг? Ни в одном из своих автобиографических произведений он о ней не упоминает.

Она выросла в южном интернациональном городе, затем жила в Италии и ездила в Англию, из черты оседлости вышла через одесские ворота в Западную Европу. Россию же знала только по художественной литературе, и теперь очутилась в чужой стране, в чужом городе, пораженном страшным бедствием. И оказалась чужой человеку, ради которого пожертвовала любовью к отцу и преданностью своему вечно гонимому народу, преданностью, спасавшей его от исчезновения с лица земли.

Как и другие женщины, она ходила на знаменитую Сухаревку и меняла платья и вещи на мерзлую картошку, что-то пыталась стрянать на вечно дымившей буржуйке, а когда в 1919 г. Осоргина арестовали "по недоразумению" и держали месяц на Лубянке, не предъявляя никакого обвинения, носила ему передачи. Но это не сближало их, они все больше отдалялись друг от друга.

В 1921 г. кончилась гражданская война, и Роза получила продовольственные посылки от матери. Там, в далеком Лондоне, и мать, и молчавший отец неотступно думали о ней. А ей в душу стала закрадываться мысль, не уехать ли туда, к ним. Но 21 год принес Осоргиным новые тяжелые испытания. В Поволжье свирепствовал страшный голод, и в конце июля был образован Комитет помощи голодающим. В Комитет, возглавляемый Каменевым и Рыковым, вошли известные представители московской интеллигенции, что помогло ему завоевать доверие и среди не совсем еще разоренных "российских граждан", и у иностранных общественных деятелей (в первую очередь у Нансена). Осоргин сразу же стал членом этого Комитета. За месяц интенсивной деятельности удалось начать снабжение голодающих областей. И вдруг это благородное дело было прервано: в конце августа Комитет был распущен, а большинство его членов, в том числе и Осоргин, были обвинены в "контрреволюции". Осоргин провел на Лубянке, во внутренней тюрьме, два с половиной месяца. "Опух, отек, стал кашлять: и вообще в те дни надломил надолго здоровье", – писал он в своих воспоминаниях. Че-

рез два с половиной месяца его выпустили совсем больного и отправили в ссылку в Царево-Кокшайск (ныне Йошкар-Ола). Но дальше Казани он ехать не смог, и ему разрешили там остаться. В Казани он пришел в себя и стал, несмотря на положение ссыльного, заниматься общественно-литературными делами: помогал устроить книжный магазин, публиковался под чужим именем в "Литературной газете", иногда посещал Казанский университет. И рядом с ним была его верная и нелюбимая помощница, которая все так же тянула на себе домашнюю работу и поставила его на ноги.

Весной 22 года Осоргину разрешили вернуться в Москву. В Москве наконец наступил и для Розы светлый день. Ее разыскал юридический советник при Литовском посольстве Реувен Рубинштейн, позвонил по телефону и сообщил, что получил для личной передачи ей письмо от отца. Роза так разволновалась, что за письмом поехала не она, а Осоргин. Сквозь сдержанную манеру письма она почувствовала всю силу отцовской любви, продиктовавшей ему строки полного примирения. После этого письма, через Рубинштейна, переписка с родителями наладилась. Они собирались в Эрец-Исраэль, где давно уже жила их старшая дочь Лиза, и звали с собой Розу. Но не так легко было последовать их зову.

Летом 22 года Осоргин поселился в подмосковной деревне Барвихе вместе со своим добрым приятелем философом Бердяевым, наслаждался "светлой рекой и заповедным лесом", Россией "в самом лучшем ее образе". На сей раз Роза с ним не поехала. Но однажды, возвращаясь из леса, он издали увидел грузовик с чекистами, подъехавший к его дому. Недолго думая, он ушел в соседнюю деревушку и провел там несколько дней. Понимая, однако, что там его вскоре найдут, он решил вернуться в Москву: "Моим приютом будет в Москве частная хирургическая лечебница, где для меня уже готова койка в отдельной комнате и милый прием у владельца лечебницы, старого знакомого", – так напишет он в воспоминаниях. Он только не добавил, что в клинике доктора Бакунина, в самом сердце дворянской Москвы, на Остоженке, он надеялся увидеть дочь доктора, красивую молоденькую девушку Таню, – воплощение русской женственности, идеал которой жил в его душе.

В клинике он скрывался несколько дней, а затем нервы не выдержали: он сам позвонил в Чека, переименованное в ГПУ, следователю, который вел его дело, и, к удивлению последнего, заявил, что он в Москве и готов к нему явиться. Все на той же Лубянке ему

дали заполнить анкету, где на вопрос, как он относится к Советской власти, он ответил: "С удивлением". Перед этим ему сообщили приговор, без предъявления обвинения: высылка из России на три года, что согласно устному разъяснению означало навсегда; выехать под угрозой расстрела надо было в течение недели.

Через несколько дней Осоргины с большой партией других представителей московской и петроградской интеллигенции отплыли на пароходе в Германию.

В Берлине они прожили до осени 23 года. За это время он ездил в Италию читать лекции, писал очерки об итальянских портовых кабачках и грустил о том, что стал чужим в Италии, а она встретилась со своими родителями. Они приехали из Тель-Авива в Германию: мать – лечиться, отец – по делам фирмы Высоцкого, а главное, должно быть, чтобы наконец повидаться с дочерью. И после многолетней разлуки вернулась прежняя близость.

Из Берлина Осоргины перебрались в Париж. А через некоторое время туда приехали Бакунины, тоже эмигрировавшие из России. И брак с Розой стал для Осоргина тяжелой, связывавшей его цепью. В середине 20-х годов он распался.

В своем последнем посмертно изданном сочинении "Времена" писатель (он из публициста превратился в писателя довольно поздно, уже после революции) пишет: "В моей зрелой жизни я умышленно пропускаю целую большую область чувств, обманчивых или значительных, не раз эту жизнь осложнявших. Она изжита и зачеркнута одним, поздним чувством, с которым я закрою глаза. В кольцах цепи осталось и останется только одно грошовое колечко с каплей красного сургуча, вместо драгоценного камня; всему остальному почтительный поклон; его я не потревожу напрасными строками". Вот этим почтительным поклоном, адресованным неясному безликому "остальному", от которого совсем ничего не осталось, и закончился брак Розы Гинцберг с Михаилом Осоргиным.

Почему Роза, когда стало ясно, что Осоргин ушел к другой женщине, не уехала в Палестину, где к тому времени собралась вся семья, мы не знаем. Скорее всего, мешали наизжитая боль, смутная надежда и самолюбие. Боялась, что отец, если не вслух, то про себя скажет: "Гой остается гоем". Юридическая профессия давала ей заработок, от Осоргина материально она не зависела. В эмигрантских кругах у нее были знакомые, и здесь чужой она себя не чувствовала, вернее в Париже все они были чужими... Были ли у нее увлече-

ния? Одно, как будто, было, только, вероятно, не увлечение, а попытка заглушить душевную боль и успокоить уязвленную гордость. Так или иначе, но она медлила. В 27 году Ахад-ха-Ам умер, а она все еще жила в Париже. И только в 1932 г. после формального расторжения брака с Осоргиным, уехала в Эрец-Исраэль и поселилась в Тель-Авиве.

В Тель-Авиве она сдала экзамен, дававший право заниматься юридической практикой, и стала сотрудницей своей невестки Розы Гиносар (эту фамилию принял после приезда в Эрец-Исраэль сын Ахад-ха-Ама Залман Гинцберг) – первой женщины-юристки в Палестине, которая открыла юридическую контору, преодолев сопротивление английской администрации.

Английские чиновники проявили известную прозорливость: кроме обычных операций контора в лице двух юристок без лишнего шума помогала еврейской репатриации в Палестину, которой всячески противились англичане. В годы нацизма и после его крушения евреи, вырвавшиеся из-под колес страшной машины уничтожения, наталкивались на стену холодного, если не враждебного, равнодушия, которую обойти было очень и очень нелегко. Надо было или внести довольно большую сумму, или доказать, что есть родственники в Палестине. Этих родственников, большей частью мнимых, разыскивали и "находили" наши юристки. Таким образом им удалось спасти не одну человеческую жизнь.

В 1949 г. Роза Гиносар вместе с мужем, получившим должность израильского консула в Италии, уехала из Тель-Авива, и контору возглавила Роза Гинцберг.

Кроме профессиональных, проявились у нее и другие способности, в частности умение руководить, она стала председателем еврейской женской организации ВИЦО. Привлекала окружающих светлым умом, остроумием, красноречием и настойчивостью. Работала много и с увлечением, как когда-то ее отец. О прошлом не вспоминала, оно осталось далеко. А она жила сегодняшней, напряженной жизнью своей страны. До тех пор, пока тяжелая болезнь не свалила ее с ног и не дала больше подняться... В 1957 г. Роза Гинцберг, дочь Ахад-ха-Ама, скончалась.

* * *

У Ашера Гинцберга не было внуков, и теперь лишь немногие

люди еще помнят Розу. Я ее не знала, но фотография барельефа, где она запечатлена вместе с моей матерью Нюней Перельман, висит у меня на стене в старом доме на узкой улочке в центре Иерусалима. И глядя на эту фотографию, я думаю о странной судьбе женщины, оторвавшейся, казалось, от своего народа, с которым крепкими корнями был связан ее отец, и вернувшейся уже в зрелом возрасте обратно, к истокам, давшим ей некогда жизнь.

В очерке использованы:

Воспоминания о Розе Гинцберг-Осоргиной Надежды Филипповны Елиной (урожд. Нехи Перельман).

Воспоминания о Розе Гинцберг-Осоргиной Шуламит Лясков.

Сведения, полученные от зав. Библиотеки Ахад-ха-Ама в Тель-Авиве Иоханана Армона.

Reminiscences. In: Ahad-ha-Am. Essays, Letters, Memoirs. Translated from the Hebrew and edited by Leon Simon. Oxford, 1946.

Эстер Гинцберг-Шимкин. Ахад-ха-Ам в доме его родителей в деревне Гопчице. 24.04.1941 г. (воспоминания сестры, архивный материал).

Leon Simon. Ahad-ha-Am. Asher Ginzberg. London, 1960.

Гольдштейн Й. Ахад-ха-Ам. Иерусалим, 1992 (на ивр.).

Рамба А. Сыновья ели кислые плоды. Тель-Авив, 1973 (на ивр.).

Ахад-ха-Ам. Избранные сочинения. Иерусалим, 1991.

Клаузнер И. Духовный сионизм и его главный представитель. С.-Петербург, 1900.

Макс Нордау об Ахад-ха-Аме. (Статья Макса Нордау Ahad-ha-Am ueber Altneuland). Белосток, 1903.

Осоргин М.А. Из маленького домика. М, 1917-1918.

Осоргин М.А. Там, где я был счастлив. Рассказы. Париж, 1928.

Осоргин М.А. Времена. Предисловие М.Алданова. Париж, 1955.

Осоргин М.А. Сивцев Вражек. Роман. Повесть. Рассказы. Сост., предисл., коммент. О.Ю.Авдеевой. М., 1990.



В.Е.Жаботинский

"Звезды все еще звезды..."

Очерк В.Е. Жаботинского о Г.Б.Слиозберге

Публикация, вступительная заметка и примечания Самуила Шварцбанда
(Иерусалим)

Предлагая вниманию читателя одну из малоизвестных работ Жаботинского – очерк о Г.Б.Слиозберге, мы надеемся, что публикация позволит нам вспомнить не только это светлое имя, но и "живую душу" автора очерка – классика русско-еврейского зарубежья: поэта, романиста, переводчика и политика.*

Значительную часть автобиографических "Записок русского еврея" Г.Б.Слиозберг написал в 1919 г., еще находясь в России. Однако только в конце 1932 г. в Париже Комитет по организации чествования Г.Б.Слиозберга в связи с его семидесятилетием "наряду с учреждением фонда имени глубокоуважаемого юбиляра" и в "целях поощрения еврейских научных работ" принял решение "издать также первые два тома его автобиографических записок". В издательском предисловии Комитет отметил, что, к "несчастью, русское еврейство ныне вынуждено безмолвствовать" и в силу этого оно не может принять широкое участие в чествовании юбиляра.

В.Е.Жаботинский, изгнанный английскими властями из Эрец-Исраэль в 1930 г. и снова ставший "парижским европейцем", не только вошел в состав Комитета, но и дал согласие на то, чтобы "снабдить книгу вступительной статьей". Казалось бы, в этом желании вождя ревизионистского движения в сионизме и профессионального писателя

---

* Жаботинский В.Е. // Слиозберг Г.Б. Записки русского еврея. Париж, 1933. Т.1. С.IX–XIV.

нет ничего удивительного и из ряда вон выходящего. Но, вспомнив политическую и житейскую ситуацию, в которой оказался изгнанник, насильственно вырванный из "дела своей жизни", не трудно разглядеть во вступительной статье о Г.Б.Слиозберге мудрое провидческое лицо самого Жаботинского – "народного заступника и печальника".

*Сетования М.Осоргина на то, что сионизм лишил русскую литературу выдающегося писателя В.Е.Жаботинского**, были, кажется, несколько драматизированы, ибо политическая деятельность и творчество в его жизни не взаимоисключались и не противоборствовали. Более того, они являлись теми равноправными стихиями жизни, без которых не было бы ни художника, ни политика. Это соединение ума и сердца в образе политика и писателя лучше всего и отражает публикуемый очерк.*

Напомним: резня, устроенная арабами в Хевроне в 1929 г., привела к созданию Национальной военизированной организации "Эцель", которую вскоре возглавил Жаботинский, а события, связанные с убийством Хаима Арлозорова в мае 1933 г., обернулись "кровавым наветом" рабочей партии на своих политических противников. Таковы вехи того кризиса в сионизме, который вылился в длящийся до сегодняшнего дня раскол между "социалистами" и "ревизионистами". И пожалуй, самый замечательный факт биографии президента Исполнительного комитета новой сионистской организации – то, что сложнейший политический период 1929-1933 гг. оказался только сердцевиной в "писательском десятилетии": в 1926 г. Зеев Жаботинский написал свой роман "Самсон Назорей", в 1928 г. "Слово о полку", а в 1936 г. закончил работу над романом "Пятеро". За четыре года до написания вступительного очерка к воспоминаниям Г.Б.Слиозберга Жаботинский в "Слове о полку" рассказал о своей встрече в конце 1914 г. с Максом Нордау, который скептически относился к идее создания еврейского контингента для участия в боевых действиях на восточном фронте. Жаботинский процитировал понравившуюся ему мысль известного философа о логике, которая "есть искусство греческое, и евреи терпеть ее не могут", поскольку еврей "судит не по разуму – он судит по катастрофам". Признавая, что "каждый фронт ведет к Сиону", Жаботинский подробно рассматривал *в "Слове о полку" те* факторы давления, *которые он сам создавал, чтобы* вынудить *те или иные власти сдаться.*

**См.: "Новое русское слово". Н.-Й., 1940, 27 октября; "Евреи в культуре Русского Зарубежья", Иерусалим, 1992. Вып.1. С.81.

В своих "Записках русского еврея" Слиозберг вспоминал о народных заступниках – "штадлоним". Жаботинский воспользовался этим образом и, возможно, даже неожиданно для себя, в будничной и лишенной какого бы то ни было романтического ореола жизни Слиозберга обнаружил пафос героизма. "Задача 'штадлона' – вызвать перемену настроения в самом власть имущем, склонить его лично в пользу данного требования... Задача политической 'борьбы' – собрать, сосредоточить и выявить перед власть имущим такие факторы давления, которые вынудили бы его сдаться, совершенно независимо от того, изменилось ли к лучшему его собственное отношение или осталось по-прежнему враждебным. Политическая работа Слиозберга принадлежит ко второй категории". Поэтому и "огромная сумма крупных и малых и мельчайших достижений" юбиляра, жизнь в "десятилетиях муравьиного рытья под землею" – представилась ему отнюдь не "штадлонством", а борьбой.

Не случайно в 1928 г., работая над собственными автобиографическими записками ("Повесть моей жизни"), Жаботинский исходил из постулатов, которые затем сформулировал во вступительной статье к "Запискам русского еврея" Слиозберга. Жаботинский называет свою статью "опытом характеристики человека". "Опыт" ему удался. Но эта вступительная статья больше, чем характеристика человека, – здесь дана оценка одного общественного деятеля другим – писателем и политиком. Эта оценка получилась исторически верной и почеловечески справедливой.

Г.Б.Слиозберг

Во вступительной статье к автобиографическим запискам неуместно давать биографический очерк. Эта заметка – опыт характеристики человека, а не рассказ о конкретных событиях его жизни. Но есть в этих событиях одна сторона, которая кажется мне, именно для характеристики *человека*, еще важнее, чем его всем известные, едва ли поддающиеся перечню общественные заслуги. Именно эту сторону всегда забывают люди, когда видят перед собою собрата, в духовном складе которого нет ни одной капли злопамятства или горечи, который никогда ни на что не жалуется, у которого на каждый новый приказ совести, как бы ни был тяжел этот приказ и как бы ни устала душа, есть один только ответ, и опять с улыбкой: готов, постараюсь. Видя перед собою такого собрата, людям в голову

не приходит главное: что жизнь этого человека, в сущности, состоит из длинной цепи лишений.

Я говорю не только (пожалуй, меньше всего) об этом детстве в Полтаве, полном суровой борьбы за материальное существование, когда вся серая земная тяга, ответственность за хлеб и кров целой семьи, годами целиком лежала на отроческих плечах; ни об этой молодости на фоне петербургского университета, знающей только книгу, да ту же гирю заботы о хлебе для себя и для оставшейся в провинции семьи, но не знающей ни одного часа молодого разгула. Гораздо больше поразило меня то, что и после университета заря самостоятельной жизни началась для Слиозберга с разочарования, с полного крушения надежд. Он был по природе домосед и ученый, мечтал о библиотеках и кафедре, а не о речах перед судом и не о торге за крохи справедливости с сильными мира сего. В адвокатуру его толкнуло собственное бесправие, невозможность университетской карьеры для еврея; после того, общее наше бесправие заставило его стать общественным борцом и заступником. Человек долга, во всяком положении честно и до конца проводящий то, что англичане называют playing the game, он в это жизнью навязанное дело вложил всю душу; и не жалуется, и с благодушной улыбкой говорит и о Полтаве, и об университете, и о каждой уступке, которую удалось ему в жизни вырвать для нас у слепых безумных пастырей, ведших к пропасти Россию и самих себя. Но верно кто-то сказал: призванием человека называется то, что не сбылось, и о чем он на склоне жизни тоскует. Только надо прибавить: если так, то свято не призвание – свято служение.

Г.Б.Слиозберг свято отслужил свое служение, со спокойной вдумчивой добросовестностью, для которой нет в начатом деле несущественных мелочей – все существенно, за каждой мелочью слышится живой человеческий стон. Меткое слово на эту тему услышал я однажды от него самого, слово трогательной, почти наивной скромности и, вместе с тем, большой житейской глубины. Шел один из съездов Союза еврейского полноправия[1], и он был не в том лагере, в котором боролся я. Возражая нам, он сказал: "Я вам завидую, для вас еврейский вопрос есть мечта о будущем; но для меня и статья такая-то Устава о винной торговле – тоже большой кусок еврейского вопроса". Г.Б.Слиозберг, вероятно, не представлял себе, что в ту ночь, после заседания, мы, его противники, и именно молодежь нашего лагеря[2], долго беседовали между собою[3] об этой фразе: проза-

ическая, канцелярская, произнесенная без задора, она нас поразила; напомнила нам о страшном трагизме обыденщины, о том, что в трех строках казенного текста иногда кроется почти смертный приговор над сотнями тысяч, об огромной идеалистической ценности реализма.

Со вздохом покорился человек, рожденный для тихой книжной работы в четырех стенах, указанию судьбы и стал заступником бесправного еврея и борцом против бесправия. В этом отношении – хотя сам он в записках ставит на первое место другого замечательного человека с тем же складом души, барона Г.О.Гинцбурга, – народное сознание "первым" считало Слиозберга. 1891 год: обследование черты оседлости[4] с американской комиссией Вебера и Кемпстера, результатом которого был доклад сенату в Вашингтоне о причинах еврейской эмиграции. 1900: дело Блондеса[5]. 1903: подготовка дела о Кишиневском погроме[6]. 1904: подготовка дела о Гомельском погроме[7]. Первые годы Плеве[8]: временщик добивается нового дополнительного выселения евреев из деревень, но "Гинцбург и Слиозберг отстояли". 1905: комитет помощи жертвам ста погромов. В канцеляриях столицы намечается другой погром, политический, – исключение евреев из числа избирателей в Государственную думу[9], но опять удалось "отстоять", и народная молва опять поминает те же два имени. Потом: подготовка дела Бейлиса[10]; ЕКОПО[11], одна их крупнейших организаций самопомощи в нашей истории; помощь выселенцам и беженцам в годы великой войны, глава о борьбе с катастрофой тоже[12], кажется, беспримерной со времен Фердинанда и Изабеллы[13], и, наконец, в 1915 – указ о "временной" отмене черты оседлости[14]. Во всех этих делах работало много ценных тружеников; но ни один из них, рассказывая о тогда пережитом и созданном, не забудет в первых же словах, одним из первых или часто первым, назвать имя Слиозберга.

Это – несколько точек из того, что знала молва, что вошло в массовую легенду о Слиозберге, но что может знать молва, когда речь идет о работе, по существу своему закулисной и анонимной? Озабоченная жизнь эта прошла в десятилетиях муравьиного рытья под землею. Огромная сумма крупных и малых и мельчайших достижений – но я сомневаюсь, чтобы и Слиозберг сам их мог перечислить. Здесь удалось в новый закон включить еще одно слово, прямо или косвенно облегчающее еврейское ярмо; еще чаще (и еще трудней это запомнить) удалось вычеркнуть из нового распоряжения строчку, грозившую новым ударом: что-то похожее, хоть и беру это



Г.Б.Слиозберг

сравнение из далекой и совсем не сродной области, на роль сторожа при маяке над бурунами – сколько он лодок провел в гавань, сколько спас от утесов, – а числа их и названий ведь никто не записал.

Знаю, из людей моего поколения и образа мыслей иные, прочитав эти последние строки, пожалуй, усомнятся и спросят: за все это можно и нужно воздать благодарность – но вправе ли вы называть это "борьбою" за право? Мы привыкли называть метод правовой защиты того времени другим именем: "штадлонус". – Совершенно напрасно создалась такая "привычка". Если употреблять термин "штадлонус" не как бранное слово, а добросовестно[15], то он имеет свое строго-определенное значение и содержание. Оно совсем не в том, что действовать приходилось за кулисами, без помощи парламента, митингов и народных манифестаций. Разница между "штадлонством" и "борьбою" другая. Задача "штадлона" – вызвать перемену настроения в самом власть имущем, склонить его лично в пользу данного требования; все равно, пущены ли в ход ради этой цели доводы или просьбы, или "протекция" или подкуп. Задача политической "борьбы" – собрать, сосредоточить и выявить пред власть имущим такие факторы *давления*, которые *вынудили* бы его сдаться, совершенно независимо от того, изменилось ли к лучшему его собственное отношение или осталось по-прежнему враждебным. Политическая работа Слиозберга принадлежит ко второй категории. Ее главными орудиями, кроме доводов разума и справедливости, была ссылка на закон, искусное противопоставление тенденции одного правящего ведомства тенденциям другого, экономические интересы страны; притом почти всегда, высказанное прямо или намеком, слышалось за этой аргументацией напоминание об общественном мнении за границей и о влиянии еврейства на этот мировой фактор. Г.Б.Слиозберг не "влиял", а именно боролся. Если бы в России был тогда парламент и свобода печати, все основные документы этой борьбы могли бы с честью быть использованы, без существенных изменений, как речи с думской трибуны.

Считаю долгом совести оговорить: это я пишу не потому, что хочу "оправдать" автора мемуаров или кого бы то ни было от укора, якобы таящегося в слове "штадлонус". В исторической перспективе никакого оно не содержит укора. Было время, когда "штадлонство" являлось единственным возможным для нас институтом политической самообороны. Еще придет время, когда в национальных музеях у нас будет зала портретов с надписью золотом над

дверью: Штадлоним; и будут там, между прочим, портреты и тех старателей, о которых с таким уважением вспоминает Г.Б.Слиозберг в XV главе своих записок[16]. Только автора этих мемуаров там просто не будет – его портрету место в другой зале с надписью: Борцы.

...А может быть – весь этот длинный список заслуг совсем не так важен, как важна хорошая человеческая душа. Хорошая, в полном смысле слова, и в самом полновесном смысле ч е л о в е ч е с к а я. Нечто гораздо лучшее, чем "доброе сердце": знаем мы людей с добрым сердцем, которым так больно глядеть на людское горе, что они зажмуривают глаза. Тут иное: тут бесконечное неутомимое внимание к ближнему. Слиозберга не нужно "растрогать", да, кажется, и нельзя: он совершенно не сентиментален, всегда полон юмора и какой-то особенной благодушной хитрецы, – всегда знает, что почти в каждой повести о беде есть сто преувеличений. Слиозберга нельзя обмануть: он видал виды и, выслушивая плачущего, нисколько не сомневается, что тот, когда подымался к нему на квартиру по лестнице, не плакал, – словом, что по большей части "все это не так страшно". Но что ему за дело? "Страшен" уже сам по себе тот факт, что человеку приходится просить другого человека о помощи или заступничестве; плачет ли он потому, что иначе не может, или потому, что так выйдет, по его мнению, убедительнее, – это не важно. Раз есть в корне дела беда, надо помочь. – Почему "надо"? почему всегда я, а не другой? – Вряд ли Г.Б.Слиозберг сам когда-либо ставил себе такой вопрос или пытался на него ответить; что-то непохоже на его простую, домашнюю манеру речи, чтобы он даже пред самим собою произносил тирады о "долге". Просто надо, и кончено; такая натура, иначе не умеющая.

Большой ум, и в культурном смысле, и в житейском и в то же время черта, которую многие назовут наивностью, – коренная, первобытная (или первозданная?) вера в те скрижали, где начертаны истины основные и вечные. С первых глав его записок это поразит читателя: странный человек, до сих пор говорит о кривде с негодованием и не стыдится почтительно произносить такие слова, как святость правосудия или польза просвещения. Мы от этого отвыкли, стали обиходными авгурами; кто ныне посмеет без иронии воскликнуть: свобода, равенство, братство! Il faut baisser la voix, quand on parle d'Etoiles. Но для Г.Б.Слиозберга звезды все еще звезды, храмы – храмы, и, входя во храм, он свой обычный всепроникающий юмор оставляет за дверью.

И еще одна черта: большой дворянин духа. Это еще в старину я слышал у людей, от него так или иначе зависевших. "Если Слиозберг о чем-нибудь с вами сговорился, он будет толковать сговор так, как в ы его толкуете, щедро, без мысли об отговорках". – "С ним легко, – говорили мне самые робкие, – он-то сам не в халате вас принимает, но вам как будто сразу предлагает: вообразите, что вы в халате, и давайте разговаривать, как два старых однокашника". Гобино[17] где-то сказал, что во всех сословиях попадаются люди, которым пристало называться "сынами шаха": все те, о которых можно рассказать такую сказку, чтобы стоило ее послушать и передать детям; где они выросли, не важно, может быть на чердаке, но Бог так устроил, что чердак был дворцом. Их можно узнать по двум признакам: их слово прочнее пергамента, – и босяк, стоя пред ними, чувствует себя тоже боярином.

"Еврейские" ли все эти черты? Право, не знаю; никогда не задумывался о том, национальна ли сущность этической нашей природы, и не собираюсь задуматься. Когда Натану Мудрому кто-то[18] в восторге сказал: "Вы – истинный христианин", старик ответил (Поссарт[19], произносил это с легкой лукавой улыбкой): "Wohl uns! Denn was mich Euch zum Christen macht, das macht Euch mir zum Juden...[20]". Но и того нельзя забывать, что, если сказываются на нас, и тяжело, века внешнего унижения, то не могут не сказаться и века духовной муштры, которая, по всенародности своей, даже в Китае себе не видала подобной. Когда предки древнейшей из династий Европы еще не знали облика буквы, наши деды с малолетства переживали спор Гиллеля с Шаммаем. Даром и это не проходит, семьдесят поколений тренировки духа над проблемами добра и зла, совести и права. "Сыны шаха" есть у всех народов; у нас реже, говорят, чем у других – но, в сущности, если бы не трагедия внешней нашей истории, у нас-то им, собственно, и место.

В гражданской душе Г.Б.Слиозберга есть одна сторона, о которой я судить не компетентен: культ отечества и самое понятие отчизны мы переживаем по-разному. Я, впрочем, знаю не мало твердых сионистов, которые могли бы взять у него с пользой урок теплого и родного отношения к коллективному подвигу, совершающемуся в Палестине; и с еще большею пользой – урок понимания сути и размаха сионистской идеи. Но дело не в этом. Чувство родины есть не признание и не симпатия, а стихийная эмоция, с которой спорить невозможно; и даже обсуждать ее не

может человек, магнитный полюс которого лежит в другой широте. Россия для Г.Б.Слиозберга – основная субстанция всех его помыслов и мечтаний в сфере общественного и государственного бытия; притом она, в его представлении, не есть и никогда не была творением одного только русского народа, – весь секрет и залог ея величия в том, что она – Commonwealt of Nations, община народов, для которых так же бесмысленно было бы "слиться", как было бы гибельно разойтись; и, в частности, он не мыслит России без еврейского вклада и для себя не приемлет еврейского будущего вне ее сферы. Все это человеку моего строя так же трудно оценить, как с той стороны трудно проникнуть в обратную концепцию: что величайшие страны мира, грандиознейшие наши переживания там, неоценимейшие взносы наши в их цивилизацию – что все это лишь эпизоды на пути нашем от древней своей государственности к новой собственной государственности, – "только песчинки у берега Чермного моря, где раскинул Израиль свои золотые шатры". История скажет, которое из двух этих пониманий "красной нити" еврейской судьбы глубже и действительнее. Но пусть при этом скажет история, что это различие двух умонастроений нам не мешало чтить высокие качества сердца и духа и верную службу народной нужде.

В.Жаботинский.

Примечания

*1. **"Союз еврейского полноправия"** создан в марте 1905 г. Жаботинский в "Повести моей жизни" вспоминал: "С начала 1905 года мы начали проникать в Петербурге в беспартийные круги: мы провели собрание врачей, адвокатов, собрание торговцев, ремесленников и т.п. и всем предложили девиз: 'гражданское и национальное полноправие' (слово 'полноправие' вместо обычного 'равноправие' почиталось очень дерзким нововведением)... Центр по развертыванию всего этого движения находился в нашей редакции... Фракция Винавера и Слиозберга, разумеется, не примкнула к нам. Они созвали отдельную конференцию в Ковно и там основали другую организацию. Но в конце концов две эти организации слились и стали называться длинным именем 'Союз для достижения полноправия еврейского народа в России', и я был выбран в его центральный комитет".*

*2. **...молодежь нашего лагеря** – о "халястре" Жаботинский вспоминал: "Остальные столпы нашего ежемесячника – пятеро студентов: Соломон Гепштейн, Александр Гольдштейн, Арье Бабков... Арнольд Зейдеман, Макс Соловейчик и инженер Моисей Цейтлин... Помимо корреспондентов, к центральным фигурам 'шайки' (так называли нас в Петербурге, используя для этого польское слово 'halastra') принадлежал Израиль Розов".*

*3. **...долго беседовали между собою** – эта беседа о словах Слиозберга состоялась до Гельсингфорсской конференции (Хельсинки, 4-10 декабря 1906), поскольку в ней из членов "халястры" участвовал кроме Жаботинского только А.Идельсон (1865-1921), который был уже отнюдь не молодым человеком.*

*4. **...обследование черты оседлости** – в "Записках русского еврея" Слиозберг вспоминал: "... в 1890 году... было предпринято подворное обследование Херсонских и Екатеринославских колоний... Бакст, живо интересовавшийся результатами произведенного Бинштоком обследования, посоветовал бар. Гинцбургу поручить обработку этого материала мне... Книга, содержавшая подворную перепись и обработку материалов, издана была в 1891 г. под названием 'Еврейские земледельческие колонии в Екатеринославской губ. в 1890 г.', причем авторство скрыто под псевдонимом Л.Улейникова (Биншток – 'улей')".*

*5. **...дело Блондеса** – кровавый навет, возведенный в 1900 г. в Вильно, в 1902 г. обвиняемый был полностью оправдан.*

*6. **...подготовка дела о Кишиневском погроме** – конец 1903 – начало 1904 гг.: дело рассматривалось сессией особого присутствия Одесской судебной палаты.*

*7. **...подготовка дела о Гомельском погроме** – судебный процесс проходил с октября 1904 г. по январь 1905 г., но был завершен только в ноябре 1906 г. На Гомельском процессе впервые судили не только погромщиков, но и участников самообороны (из 36 подсудимых-евреев более 10 человек было оправдано).*

*8. **Первые годы Плеве...** – здесь Жаботинский несколько смещает хронологию: начало антиеврейской деятельности В.К.Плеве относится к 80-м годам XIX в. Именно в эти годы он пытался "выселять" евреев из деревень. На посту министра внутренних дел и шефом жандармов Плеве пробыл с апреля 1902 г. по июнь 1904 г. 15 июня он был убит эсером Е.Сазоновым. Однако еще до своей первой встречи с Теодором Герцлем (август 1903 г.) В.К.Плеве в апреле 1903 г. разрешил евреям проживать в 101 деревне, которые находились в черте оседлости.*

*9. **В канцеляриях столицы намечается...** – После подписания в июле 1906 года 12-ю евреями-депутатами 1-ой Государственной Думы "Выборгского воззвания" антисемитские круги развернули кампанию по сокращению числа выборщиков, в результате чего во 2-ой Государственной думе (просуществовала с 20 февраля по 2 июня 1907 г.) еврейское население было представлено только 4-мя депутатами.*

*10. **...подготовка дела Бейлиса** – суд состоялся в Киеве с 25.IX по 28.X 1913 г.*

*11. **ЕКОПО** – Еврейский комитет помощи жертвам войны был создан в 1915 г. и финансировался Джойнтом.*

*12. **...глава о борьбе с катастрофой** – в результате инициативы начальника штаба Верховного главнокомандования Н.Янушкевича десятки тысяч евреев из прифронтовой полосы в 1915-1916 гг. были высланы во внутренние районы Российской империи.*

*13. **...со времен Фердинанда и Изабеллы** – эдиктом королевской четы от 31 марта 1492 г. испанским евреям было предписано до конца июля 1492 г. покинуть страну. Число изгнанников достигло 200 тысяч человек.*

*14. **...указ о "временной" отмене черты оседлости** – "черта постоянной*

еврейской оседлости" введена различными указами и правилами 1820-1830-х гг. в царствование Николая I.

*15. **...термин "штадлонус"** – "штадлан" (иврит): ходатай. Одним из первых "штадланов" был Иосеф бен Гершон из Росхейма (1478-1554), "предводитель всех евреев", как называли его соотечественники.*

*16. **...вспоминает в XV главе** – "еврейские печальники", как называет Г.Б.Слиозберг "штадлоним", представлены в этой главе именами: Меир Гордон (Вильно), Гирш Рабинович (Ковно), Л.И.Бродский, М.А.Гальперин, Д.Марголин, М.Е.Мандельштам, Н.Кацнельсон (Киев), М.Маргулис, Г.Вайнштейн (Одесса), В.М.Майданский (Екатеринослав), В.О.Гаркави, Л.С.Поляков, А.Л.Фукс, Я.И.Мазе (Москва), Л.Шалит, С.Вассерман (Рига), д-р Лунц и Поляк (Минск), А.Гринберг (Кишинев), И.Кулишер (Житомир), И.А.Вавельберг, С.С.Поляков, Л.С.Кацнельсон, Н.И.Бакст, Я.М.Гальперн, Д.Ф.Фейнберг, М.П.Фридлянд, Н.Ф.Весолер (Петербург) и др.*

*17. **Гобино где-то сказал** – Жозеф Артюр Гобино (1816-1882), французский дипломат, писатель и социолог. "Эссе о неравенстве человеческих рас" (1853 г.) – классическое произведение по расистской теории, в котором доказывалось преимущество арийцев над остальными людьми. "Сыны шаха", по Гобино, встречаются во всех сословиях "арийской расы".*

*18. **...кто-то сказал** – герой пьесы "Натан Мудрый" (1779) Готхольда Эфраима Лессинга (1729-1781) в 4-м действии (7-я картина) беседовал с послушником, который знал о происхождении "приемной дочери" Натана.*

*19. **Поссарт** – Эрнст Поссарт, Риттер фон (1841-1921), немецкий актер, режиссер, театральный деятель. "Ученик актера В.Кайзера, вначале П. выступал в любит. т-ре. В 1861 был приглашен в труппу Гор. т-ра в Бреславле, затем играл в Берне и Гамбурге<...> С 1864 он – ведущий актер, а затем режиссер и директор Мюнхенского придворного т-ра. В 1883 принял участие в организации Нем. т-ра в Берлине<...> Известность П. росла благодаря его постоянным гастролям по Европе и Америке (выступал в России с 1891 по 1900). В 1905 П. покинул сцену и в течение последних 15 лет успешно выступал на концертной эстраде. Лучшими ролями П. были: Натан Мудрый<...> Мефистофель<...> Франц Моор, Яго, Шейлок.." (Театральная энциклопедия. Москва. Т.4. С.450). По всей вероятности, Жаботинский мог видеть Поссарта в роли Натана Мудрого только во время гастролей актера в России, ибо в репертуаре концертных выступлений Поссарта пьеса Лессинга не значится (См. Ю.Юрьев. Записки. М.-Л., 1974. С.275).*

*20. **"Wohl uns! Denn was mich Euch zum Christen macht, das macht Euch mir zum Juden..."** – слова Натана Мудрого, сказанные им в ответ на восклицание послушника: "Nathan! Nathan! Ihr seid ein Christ! Bei Gott. Ihr seid ein Christ!".*

См. "Натан Мудрый" (перевод Н.Вильмонта):

Послушник: Натан! Клянуся, вы христианин
Из лучших лучший.
Натан: Благо нам! Что в ваших –
Христианином делает меня,
В моих глазах вас делает евреем.



"Предводимые евреем-революционером"

(О русских добровольцах во Франции)

Михаил Пархомовский
(Бейт-Шемеш)

В Военно-исторический архив СССР я получил доступ только в 1989 году, уже после выхода из печати моей книги о Зиновии Пешкове (брате Якова Свердлова). Поэтому в нее не вошли найденные в этом архиве упоминания о нем, а также любопытные документы из истории русских волонтеров во Франции в период первой мировой войны. Расскажу об этом здесь: материалы прямо относятся к теме наших сборников, хотя несколько выходят за ее временные рамки.

В 1914-15 годах добровольно воевать против германского милитаризма шли из многих стран. Значительное число волонтеров составили выходцы из России, по тем или иным причинам оказавшиеся во Франции: политэмигранты, студенты французских университетов, евреи, покинувшие черту оседлости после погромов. Одним из главных вдохновителей движения стал писатель Александр Амфитеатров, живший в то время в Италии. В ответ на письма русских патриотов и одновременно врагов царского правительства, спрашивавших, как поступить, Амфитеатров опубликовал пылкий призыв идти волонтерами в армию – если не пускают в русскую, то во французскую. Призыв поддержали патриархи русской политэмиграции – Георгий Плеханов и Герман Лопатин. Последний был завсегдатаем дома Амфитеатрова в Леванто, а Зиновий Пешков, будучи тогда секретарем редакции сборников "Энергия", выпускавшихся Амфитеатровым, жил в этом доме. Он откликнулся на призыв одним из первых.

Проследим на его примере этапы пути волонтера, хотя Пешкова встречали лучше других: он был "сыном" Горького и, как правило, располагал к себе людей.

Пешков отправился во Францию уже через несколько дней после

объявления войны. Французский консул в Женеве посоветовал ему поехать в Ниццу. Там Зиновий встретил военных в красных брюках. Они предложили ему: "Идем с нами". И вот он, тоже в красных брюках, на строевой подготовке на вершинах Семье – его временно зачислили в местный пехотный полк. 11 августа 1914 года Зиновий пишет Екатерине Павловне Пешковой: "Отношение ко мне в роте удивительное. В первый день завтракал с сержантами. На ужин был приглашен командиром роты"[1]. Ночует он не в казарме, а у знакомого – господина Фабриканта. Работает в канцелярии, приводит в порядок библиотеку для солдат.

"Сегодня был смотр резервистов, – рассказывает Зиновий в письме к Амфитеатрову. – Они уже в форме, т.е. одеты, вооружены и готовы к битве через 5-6 дней. Если бы Вы могли видеть, каким успешным был смотр: все было гармонично, превосходно. Я так хорошо здесь себя чувствую, единственно, чего боюсь – смогу ли остаться в этом полку, так как мне сказали, что все иностранцы должны быть организованы в отдельные легионы"[2].

Тревога Пешкова имела основание: выяснилось, что, согласно закону от 5 августа 1905 года, иностранцы не могли служить во французской армии. Когда Зиновий, в день начала приема волонтеров, пришел со своим командиром в рекрутское бюро, там объявили, что иностранцев принимают только в иностранный легион. Как командир ни просил коменданта, тот остался непоколебимым.

Зиновий попадает в Иностранный легион. Здесь 31 октября 1914 года будущему генералу Франции присваивается первое воинское звание – солдат 2-го класса.

"Я здесь уже шесть дней, – пишет он в следующем письме к Амфитеатрову. Здесь очень плохо. Только вчера дали ружья. И это все. Даже те, которые завербовались в самом начале, не имеют оружия и не практиковались с ним. Беспорядок и дезорганизация удручающие. Назначили ученья на 10 утра, перенесли на 12, затем на 2 часа, и только в 4 начали кое-чем заниматься. Должен Вам сказать, что я нахожусь в отряде для избранных. Все другие волонтеры с тремя или четырьмя сотнями русских и евреев, которые прибыли из Парижа, находятся в гораздо худших условиях, чем наши. Они живут в папском дворце, от которого остались лишь руины. Там просто ужасно. У них нет даже формы. Отвратительная грязь. Все больны. У кого уши, у кого дизентерия. Я видел, что они потеряли мужество, худые, бледные. Они проклинают все и всех. А большин-

ство этих людей прибыли сюда переполненные энтузиазмом, в патриотическом порыве, покинули свои семьи, родителей, работу. У нас случаются открытые бунты. Один пьяный капрал повел нас на ученье. Он начал нас оскорблять словами, смысл которых я не знал, а когда мне объяснили, я не хотел поверить. После бурного шума капрал попросил нас не говорить об этом никому ни слова"[3].

История добровольцев, пошедших с флагами и песнями защищать Францию, оказалась трагичной. В иностранном легионе, куда их направили, было много разноплеменных преступников, и там царили особые нравы. Волонтеры настаивали, чтобы их зачислили в обыкновенные французские полки; никто их не хотел выслушать.

Не помогло и обращение Амфитеатрова, в то время одного из известнейших военных корреспондентов, к влиятельным деятелям Франции. В обращении он цитировал письма Пешкова:

"Обратите внимание, что до поступления в легион он провел несколько недель в регулярном южном полку и был от него в восторге (письма 2 и 3). Здесь же – совсем другое дело. Очевидно, что добровольцев не считают серьезной силой и поэтому с ними так плохо обращаются, придавая им таких инструкторов, как описанный моим корреспондентом – только для видимости, а не для того, чтобы их чему-то научить. Это очень печально. Я не военный и я не осмеливаюсь судить военных. Может быть, с военной точки зрения волонтер действительно не настоящий солдат, но нравственное значение волонтерства и резонанс, который может вызвать волонтер в дружественных странах, огромны, и я очень сомневаюсь, чтобы он (резонанс) был благоприятным и стоил того, чтобы им так рисковать. Я не сообщаю Вам имен, не желая никому причинить вреда, я также ни в коем случае не хотел бы публикации этого письма, но Вы при желании безусловно найдете достойные способы, достаточно эффективные, чтобы оборвать зло на корню"[4].

В июне 1915 года добровольцы, взбунтовавшись, избили нескольких особенно грубых унтер-офицеров. Военно-полевой суд приговорил зачинщиков к расстрелу. Военный атташе русского посольства граф А.Игнатьев добился отмены приговора, но слишком поздно. Они умерли с криком: "Да здравствует Франция!"[5]

Вот как эти события отразились в докладе Игнатьева российскому военному министру 6 июля (23 июня) 1915 года:

"Телеграммой от 15-го мая №706 я докладывал об обостряющемся с каждым днем положении наших волонтеров, находящихся на



3 Пешков по дороге в армию. 1914 г. Дар Е.З.Пешковой-Марковой. Публикуется впервые

французском фронте в полках иностранного легиона, и испрашивал срочных приказаний, которые еще не получил. Назревшие беспорядки разразились в начале июня прискорбным инцидентом, имевшим последствием расстреляние по приговору военно-полевого суда восьми русских волонтеров. Хотя эти волонтеры, предводимые евреем-революционером (здесь и далее разрядка моя – *М.П.*), представляли самый нежелательный элемент[6], тем не менее, вследствие этого инцидента, Главнокомандующий совместно с Военным Министром постановили отпустить всех желающих русских волонтеров в Россию и отдали приказ о сборе их в полковых депо, где они уже поступили в мое распоряжение. Перед этим, командированный мной в иностранные полки по желанию генерала Жоффра полковник Ознобишин допросил всех 1200 русских и выяснил, что около 500 человек подали прошение о возвращении в русскую армию, большей частью запасные, не знающие французского языка и призванные в 1914 и 1915 г-х. Остальные 700 человек, пожелавшие сражаться в рядах французской армии, будут разбиты по регулярным полкам (т.е. достигнуто решение, которого добивались бунтовщики – *М.П.*), так что в иностранном легионе русских почти не останется. Как полковое, так и высшее начальство отзываются с высокой похвалой о храбрости наших волонтеров, которые, без различия национальности, доблестно сражались в упорных боях близ Арраса и потеряли более половины своего состава убитыми и ранеными. Предполагаю организовать отправку наших волонтеров воинскими командованиями постепенно на пароходах с нашими военными грузами на Архангельск"[7].

Дальнейшая информация почерпнута из отчета Комитета помощи русским добровольцам[8]. Отчет издан в форме брошюры, в Париже, на французском языке. Брошюра попала в ВИА в конце 40-х годов в составе знаменитого Пражского архива, печать которого украшает ее титульный лист. Те, кому приходилось работать в советских архивах, знают, что в правила большинства из них входит расписка исследователя в специальном листе, вкладываемом в папку с так называемой "единицей хранения". Моя подпись открыла эту страницу, и я полагаю, что содержащиеся в отчете сведения на русском языке не публиковались.

Из предисловия к отчету следует, что Комитет был основан группой русских эмигрантов, с самого начала войны постановивших помогать волонтерам-республиканцам. Руководил комитетом извест-



З.Пешков на французском фронте. Карандашный портрет однополчанина. Дар Е.З.Пешковой-Марковой. Публикуется впервые

ный эсер Виктор Чернов. Поначалу помощь осуществлялась посылками с теплой одеждой. Позже было принято решение помогать всем добровольцам. Но возможности были ограничены, и "Комитет обратился к знаменитому русскому писателю Короленко, который опубликовал в прессе красноречивый призыв к русскому обществу, и как следствие этого значительное число подписчиков передали Комитету сравнительно большое количество средств". Появилась возможность помогать и семьям добровольцев, в частности, давать деньги на оздоровление их детей.

В отчете скрупулезно указываются количество и вид посланных и переданных волонтерам носильных вещей и обуви, сигарет, ментоловых пастилок, шоколада, спиртных напитков, почтовых открыток и бумаги, журналов и книг на русском, польском и французском языках. Подробный финансовый отчет Комитета дан с указанием помесячных доходов и расходов (казначей М.С.Иванов).

Приводятся списки пожертвователей. Здесь много знакомых имен: Гоц, Гржебин, Куинджи, Левитан, Мечников, Павлова, Плеханова, Рубинштейн, Цетлин. В списках указаны и 18 франков Зиновия Пешкова: в сражении под Аррасом, о котором докладывал граф Игнатьев, Зиновию оторвало правую руку, и он в то время жил на пособие по инвалидности, однако слишком хорошо знал положение русского солдата-волонтера, чтобы не откликнуться на призыв о помощи.

Последние 5 страниц отчета (10-14) заняты статистическими данными о составе волонтеров в зависимости от возраста, дохода, семейного положения, партийной принадлежности, социального положения и специальности.

В каждой таблице 14 вертикальных граф, делящих волонтеров по национальности. И вот оказывается, что евреи не только возглавили бунт, которым добровольцы добились удовлетворения своих требований, – они составили большинство волонтеров: из общего списка в 1101 человек евреев было 606, в то время как русских по национальности – только 66.

Таким образом, среди русских подданных во Франции, посчитавших своим долгом жертвовать своей жизнью во имя России, *на каждого русского* приходилось *девять евреев.*

Эти цифры из истории Русского Зарубежья настолько красноречивы, что не нуждаются в комментировании.

Répartition selon leur situation de famille

	Juifs.	Polonais.	Petits Russiens	Grands Russiens.	Lettons.	Esthons.	Blancs Russiens.	Lithuaniens.	Provinces Baltiques.	Tartares.	Bashkirs.	Arméniens.	Géorgiens.	Divers.	Total.
Célibataires.....	378	102	38	35	30	4	2	3	1	5	4	5	4	2	703
Mariés.....	228	61	14	31	21	2	7	4	2	8	7	6	5	2	398
Mariés avec des Françaises...	18	22	3	12	12	1	»	1	1	—	—	2	2	1	75
1 enfant.....	15	3	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	23
2 enfants.....	54	2	1	8	3	1	1	2	—	2	1	2	1	1	79
3 enfants.....	57	3	3	9	6	—	2	1	—	3	1	1	1	1	88
4 enfants.....	46	1	—	1	4	—	1	—	—	2	—	—	—	—	55
Plus de 4 enfants.	17	6	2	2	—	—	1	—	—	1	2	—	—	—	31
Minimum.....	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1
Maximum.....	6	7	5	5	7	2	6	3	1	6	5	3	3	3	7
Moyenne des enfants.....	3	2	3	2	3	2	4	2	1	3	4	2	2	2	2
Nombre de ceux qui ont leur famille en France.....	165	45	9	26	15	—	3	1	2	—	—	3	—	2	271
En Russie.....	38	9	5	3	6	2	3	3	—	8	7	2	5	—	91
En Allemagne et en Autriche-Hongrie.....	8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10
En Angleterre....	2	3	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	8
Autres pays	15	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18
Sans enfants.....	39	46	7	11	7	1	2	1	1	—	3	3	1	—	122

Примечания

1. Архив А.М.Горького (Москва).

2. Российский государственный архив литературы и искусства. (РГАЛИ). Ф.34. Оп.2. Ед.хр.21.

3. Там же.

4. Там же.

5. Эренбург И.Г. Собр. соч. в 9 тт. М.,1966. Т.8. С.162.

6. "Нежелательными" для Игнатьева, по-видимому, были не только евреи-революционеры: в одном из донесений он делит волонтеров на две категории: истинных, представленных, как правило, "культурной" публикой, с первых дней объявления войны предложивших свою службу дружественной Франции, и многочисленных иных, как правило, малокультурных польских евреев, которые пошли в армию, по мнению Игнатьева, из-за бедности, обремененности большими семьями (!?) и страха остаться без службы (ЦГВИА, д.62, лл.49-52). Приводимая нами таблица не подтверждает мнения Игнатьева: большинство евреев-волонтеров были холостяками – 378 из 606.

7. Центральный государственный военно-исторический архив (ЦГВИА) СССР. Дело 62. Л.55.

8. Там же. Ф.391. Оп.2. Ед. хр.12.

"Плохо обстоит дело со статьей о шахматах"

Владимир Шлеев
(Киев)

<...>Плохо обстоит дело со статьей о шахматах. Я был шахматистом 1 категории еще в 1939-1940 годах, когда Савва Дудаков только что родился; к тому же я знал лично (а некоторых очень близко и хорошо) ряд лиц, упоминаемых в этой статье. Трудно мне сказать, где ошибается сам С.Дудаков, а где его подвела редактура или типография, но ясно, что Тигран Петросян не мог в 8-летнем возрасте играть вместе с Решевским и Флором в 1937 году в турнире в латвийском городке Кемери. В этом турнире играл тогдашний чемпион Латвии В.М.Петров. А с Т.Петросяном мне самому пару раз в Ереване в конце 1940-х годов приходилось играть.

Андрей Арнольдович Лилиенталь с 1935 года жил в Советском Союзе, где в 1938-1939 году мне не раз доводилось с ним встречаться, возить его, по поручению моего учителя Ф.И.Дуз-Хотимирского, на различные шахматные сеансы, играть с ним. В 1939 г. А.А.Лилиенталь официально принял советское гражданство, хотя с 1935 года не раз участвовал в турнирах в нашей стране. В 1937 г. даже в чемпионате СССР. Уехал он в Венгрию вновь, как сообщает энциклопедический словарь "Шахматы", в 1976 году. Поэтому утверждение, что "до II мировой войны он жил в Венгрии", по крайней мере, неточно. На с.453 город Схевенинген, который, быть может, и возможно называть и Шевенинген, но никак не Шевенген, а уж города Маннергейма, в котором будто бы проходили шахматные турниры (хотя финский военный и политический деятель Маннергейм действительно был), явно не существует, и речь должна идти о германском городе Мангейме. Трудно сказать, на каких основаниях С.Дудаков берется "предполагать" (а надо бы знать твердо и быть уверенным в этом прежде, чем писать), что известный уже до революции шахматный мастер Федор Иванович Дуз-Хотимирский (с.448) был чуть ли не антисемитом. Я на протяжении почти 30-ти лет хорошо его знал, учился у него игре в шахматы, встречался у него с московскими мастерами М.М.Юдовичем, А.И.Рабиновичем, однажды даже с гроссмейстером М.Талем, но ни одного худого слова о еврейских шахматистах от него не слыхал. А в своей книге, которую он мне подарил, – "Избранные партии", Ф.И. тепло отзывается и о Э.Ласкере, и о Симоне Винавере, и о братьях Яновских и о некоторых других шахматистах-евреях. А с Акибой Рубинштейном, у которого Ф.И. подчас в крупных турнирах выигрывал, он, по его словам, "подружился" еще в Лодзи. Зачем же оперировать "предположениями", лучше было бы прочесть внимательно книгу Ф.И.Дуз-Хотимирского.

"Статья Дудакова неточна и тенденциозна"

Игорь Пиндюра
(Иерусалим)

(печатается с сокращениями)

<...> В этом, не будем бояться высоких слов, уникальном издании подлинно интернационального духа ("Евреи в культуре Русского Зарубежья", вып. 1. – *Примеч. ред.*) все же не обошлось без своей "ложки дегтя". Я говорю о статье историка и шахматного мастера С.Дудакова "Об 'арийских' и 'неарийских' шахматах (Шахматисты-эмигранты из России между двумя войнами)".

Смысловым и композиционным центром статьи, что и отражено в названии, является анализ опубликованной в 1941 г. в нацистской газете "Паризер цайтунг" статьи А.А.Алехина "Еврейские и арийские шахматы". Статья насквозь фальшива и тенденциозна как по замыслу, – выведение особенностей творческого стиля из расовой принадлежности, понятно, в чью пользу, так и по подбору фактов. Этот, вне всякого сомнения, позорный, хотя и единственный, факт биографии великого шахматиста Дудаков использует на все двести процентов. Тут и несомненная связь с Вагнером и с до- и послереволюционными русскими антисемитами. Тут и вовсе бездоказательное заявление о службе Алехина в деникинской контрразведке в годы гражданской войны, в то время как общеизвестно, что Алехин, оказавшись в те годы в Одессе, служил следователем в ЧК, а потом в Москве переводчиком в Коминтерне. Тут и намеки на то, что Алехин, став чемпионом мира, играл матчи только с более удобным ему "арийцем" Е.-Боголюбовым, а не с более достойным А.Нимцовичем. Настойчивое же перечисление проигрышей Алехина "неарийским" гроссмейстерам вообще способно посеять сомнения в его соответствии чемпионскому званию, которого он добился, следуя той же логике, не иначе как путем некоего "антисемитского" заговора. Все эти утверждения чередуются с вполне аргументированной критикой положений алехинской статьи (хотя все выглядит настолько нелепо и беспомощно, не в пример другим алехинским писаниям, что, право, не стоит и снисходить до критики) и завершаются абсолютно справедливым постулатом о интернациональной сущности шахмат. Но, к нашему искреннему сожалению, критика Дудаковым антисемитской статьи, равно как и рассказ о судьбах представителей мировой шахматной элиты 20-30 гг. не выходит за рамки этой статьи, только с точностью до наоборот. Я вполне могу понять и разделить возмущение антисемитским поступком даже самой выдающейся личности и вовсе не считаю нужным стыдливо об этом умалчивать (как это имеет место в советской шахматной печати вплоть до конца 80-х гг.). Все же настойчивое стремление вырвать этот поступок из контекста далеко не простой жизни и сложившихся обстоятельств и поместить его в рамки своей концепции, не сообразуясь с действительными фактами, напоминает по своей структуре логику антисемитской книги А.Шафаревича "Русофобия", естественно, с обратным знаком.

Как же все происходило в действительности? Немного истории. Начиная с I Международного турнира в Лондоне в 1851 г. шахматы становятся вполне уважаемой обществом областью своеобразной творческой деятельности. Если раньше шахматными профессионалами являлись люди, играющие в кафе на ставку с состоятельными посетителями, то со временем появилась возможность зарабатывать на жизнь, выигрывая призы в международных турнирах, а также за счет комментирования партий в печати. Однако до нынешних экстра-гонораров было еще очень далеко, поэтому не каждый решался ступить на тернистый путь шахматного профессионала. Выиграв матч в 1921 г. в Гаване, Капабланка на турнире в Лондоне в 1922 г., собравшем почти всех ведущих гроссмейстеров мира, предложил подписать протокол, также обязывающий претендента обеспечить аналогичный призовой фонд, не включая остальные расходы. Именно этот "золотой вал" позволил Капабланке не сыграть за шесть лет ни единого матча (Нимцович даже не смог выслать задаток – чек на 500 долларов), пока Алехин не убедил правительство Аргентины выделить необходимую сумму. Выиграв в 1927 г. матч в Буэнос-Айресе и став четвертым чемпионом мира, Алехин не менял требований к претенденту. И Е.Боголюбов, с которым Алехин играл матчи в 1929 и в 1934 гг., и М.Эйве, которому Алехин проиграл матч в 1935 г. и у которого выиграл матч-реванш в 1937 г., не являлись на моменты матчей сильнейшими претендентами. Но они обеспечили себе финансовую поддержку. Боголюбову, женившемуся на немке и оставшемуся в годы войны в Германии, помогали богатые меценаты. Эйве же был кумиром Голландии и пользовался поистине всенародной поддержкой. Между прочим, такой же всенародной любовью пользовался в Чехословакии еврей Соломон Флор. В мае 1938 г. Алехин приезжал в Прагу для заключения договора с Флором о матче на мировое первенство. Мюнхенское соглашение помешало осуществлению этого проекта.

Как видим, "презренный металл" правил бал и в шахматах. Можно только сожалеть о том, что, вне всякого сомнения, достойнейшие претенденты А.Рубинштейн и А.Нимцович не реализовали свое право на матч с чемпионом. Но нет никаких оснований видеть в этом "антисемитские козни". Матч игрался там, где давались деньги. Например, все матчи Алехина проходили на "чужом поле". Даже договариваться на матч с Флором Алехин приехал в Прагу, а не наоборот. Почему Дудаков подчеркивает практицизм Алехина на фоне Нимцовича, а не на фоне Ласкера? Легко убедиться, что и в наше время материальные соображения превалируют в выборе места проведения матча, а также в выборе "курирующей организации". Вильгельм Стейниц был первым шахматным и последним непрактичным чемпионом мира.

Понятно, что весь фактологический материал Дудаков использует, как правило, некорректно с единственной целью – показать закономерность написания Алехиным антисемитской статьи. Я отнюдь не считаю это закономерным. Но сама статья была. И для правильной оценки личности Алехина нам необходимо разобраться в обстоятельствах появления на свет этого опуса.

Начало II мировой войны совпало с проходившем в Буэнос-Айресе Турнире

наций (впоследствии – Шахматная олимпиада). Факт для мировой истории незначительный, но отразившийся самым непосредственным образом на судьбах отдельных людей. Сборные стран, являвшихся противниками в войне, отказались играть друг с другом. Причем вовсе не по инициативе стран-агрессоров. От имени сборной Франции с соответствующим заявлением выступил лидер команды Алехин. После окончания командного первенства мира сборная Польши в полном составе во главе с М.Найдорфом осталась в Аргентине. Вряд ли кто осудил Алехина, поступи он так же. Однако чемпион мира возвращается в воюющую Францию (а вовсе не прямиком в Берлин, как ехидно замечено в статье, посвященной истории шахмат в Израиле, напечатанной в "Новостях недели" в этом году) и вступает в действующую армию в должности военного переводчика. После оккупации Франции гитлеровцы вполне могли отправить офицера армии противника в концлагерь. Но, видимо, Алехину была предложена сделка, одним из пунктов которой и являлась публикация статьи в поддержку расовой теории на шахматном материале. Также предусматривалось участие Алехина в турнирах, что само по себе вряд ли можно поставить ему в вину, т.к. это было единственным средством заработка. Продовольственные карточки Алехину выдавались лишь при продолжении его турнирной деятельности. Следовательно, главным пунктом обвинения остается статья "Еврейские и арийские шахматы".

В Советском Союзе эта статья была перепечатана в журнале "64 – Шахматное обозрение" в плане стирания "белых пятен" истории. Статью сопровождал комментарий, мнения шахматистов и историков, в т.ч. и столь полюбившаяся Дудаковым фраза С.Тартаковера об оппортунизме Алехина. Высказывались мнения, что нацисты только воспользовались беспомощностью и зависимостью чемпиона мира и поставили его фамилию. Известно письмо Алехина, отвергавшего свое авторство. Все же заключительный вывод, которого придерживаюсь и я, утверждает авторство Алехина. Самое первое мое впечатление от чтения этой статьи – боль и стыд за чемпиона. Вся аргументация этой статьи, что убедительно показано Дудаковым, абсолютно несостоятельна. Все же безэмоциональный, насколько это возможно, анализ свидетельствует, что Алехин, пойдя на сделку, старался не повредить шахматистам, живущим в то время.

Судьба не простила чемпиону измены своему моральному долгу. Вырвавшись в конце войны в Португалию, Алехин умер в 1946 г. в нищете, отвергнутый шахматным миром.

Повторим еще раз, у Алехина не хватило мужества отказаться от сделки, ценой которой была несвобода и, наверное, жизнь. Почему же Дудаков именно эту статью считает истинным выражением взглядов Алехина, а все предыдущие его высказывания как бы маскировкой? Почему он приводит отрицательное высказывание Тартаковера об Алехине и игнорирует панегирики Савелия Григорьевича о "гениальном русском маэстро"? Шахматы действительно интернациональны, и во все времена шахматисты писали о ходах и идеях друг друга а не о национальной принадлежности. Какое же развитие должна была получить у Дудакова "двойная оптика" любви и ненависти, чтобы все многообразие шахмат-

ной жизни 20-30-х гг. свести к отношению типа "семит – антисемит"!? Только наличием такой своеобразной оптики и можно объяснить абсолютно высосанное из пальца обвинение Алехина в гибели Эвенсона. Только этим можно объяснить толкование термина П.А.Романовского "файно-флоровский стиль" как эвфемизма "еврейских шахмат". Эту нелепость даже как-то опровергать неудобно. Вообще следует заметить, что специалисту, пишущему на специальные темы для неспециалистов, следовало бы тщательнее аргументировать свои тезисы. Безапелляционное утверждение о службе Алехина в деникинской контрразведке ничем не обосновывается. Обвинение же Романовского подтверждается ссылкой на номер газеты "64" от 1937 г. – поди найди ее в Израиле! К счастью, в книге, посвященной творчеству С.Флора (Москва, 1985), собраны его статьи раннего периода. Там мы находим статью С.Флора, тогда еще гражданина Чехословакии, озаглавленную "Еще о творческих тенденциях современности (Ответ на статью П.А.Романовского)", напечатанную в той же "64" №36 за 1937 г., и видим, что нет и намека на антисемитизм, а просто шла обычная дискуссия о творческих стилях. (В том же сборнике в статье, посвященной переговорам о матче с чемпионом мира, Флор отрицает мнение, что Алехин играет только с удобными противниками.) Так что "выявление специфических еврейских черт и приемов в шахматной игре... в СССР накануне II мировой войны" остается всецело на совести Дудакова. Более того, шахматы и после войны являлись, наверное, единственной сферой профессиональной деятельности в СССР (может, еще только ядерная физика), которая не была затронута борьбой с "безродными космополитами". Объяснялось это, конечно, не любовью Сталина и его присных к шахматам, а тем, что победы советских шахматистов, большинство из которых были евреями, представлялись советской пропагандой в качестве одного из проявлений преимуществ социализма.

Тенденциозность Дудакова сказалась и в других фактологических неточностях. Из шести охарактеризованных им гроссмейстеров эмигрантом, строго говоря, являлся только О.С.Бернштейн. А.И.Нимцович из Риги и А.К.Рубинштейн из Лодзи оказались на отошедших от Советской России территориях, и Советами в качестве эмигрантов не рассматривались. Это подтверждается фактом участия А.Рубинштейна, а также эмигрировавшего еще до войны С.Тартаковера в 1 Московском международном турнире в 1925 г. Дудакову явно не хватало материала, посему к эмигрантам он отнес и С.Решевского, только потому, что он родился в российской Польше в 1911 г., а больше ничего его ни с Россией, ни с русской культурой не связывало. Наоборот, он единственный из шахматистов-евреев соблюдал традиции и категорически отказывался играть в субботу. А.Лилиенталь же не эмигрант, а иммигрант в СССР. Дудаков упоминает о его книге "Жизнь – шахматы", но почему-то игнорирует приводимую в книге исключительно теплую характеристику Алехина и их дружеских взаимоотношений. Право, таких фактов гораздо больше.

"Статья Алехина в нацистском журнале лила воду на мельницу бредовых идей Гитлера"

Ответ Саввы Дудакова

В сборнике "Евреи в культуре Русского Зарубежья" (Выпуск 1) была опубликована моя статья о шахматах между двумя войнами. Так как в ней говорилось о времени, где ведущей фигурой был чемпион мира Алехин, то не без основания я должен был остановиться на его личности. При этом естественно, что исторические рамки были несколько раздвинуты, что было оговорено. Статья вызвала негативную реакцию у части читающей публики, в глубине души предвиденную мной, ибо согласиться с тем, что Алехин был антисемитом, психологически трудно. Но надо сказать, что большинство отзывов носило положительный характер, и если была критика, то частностей и опечаток.

Интеллектуальная добыча нацистской Германии была невелика, но она была. Престарелого Кнута Гамсуна норвежцы судили. Не украсила биографию Рихарда Штрауса сотрудничество с нацистами. В фашистском рейхе жил престарелый Герхардт Гауптман. Можно найти еще несколько имен – и это кажется все. Что же касается Алехина, то надо сказать, что он единственный выступил с декларацией, и наци прекрасно ей воспользовались. Напомню, что статья Алехина из "Pariser Zeitung" была перепечатана в "Deutsche Schachezeitung" и "Deutshe Zeitung in den Niederlanden". Можно спорить о степени подневольности Алехина, но, скажем, будучи в нейтральном Мадриде в сентябре 1941 года, он дал два интервью, в которых настойчиво повторял, что первым попытался рассмотреть шахматы с расовой точки зрения (отсылаю к статье Эдуарда Уинтера "Александр Алехин" – Шахматный вестник, №9, 1992 г. С.36-38). В своей статье я должен был остановиться на факте использования термина "арийские" шахматисты еще задолго до 41 года (речь идет о статье М.О.Меньшикова). При этом ориентиром Алехину, безусловно, служил путь, проложенный Рихардом Вагнером. Но даже статья Вагнера была не первой на эту тему: к вящей гордости славянского гения укажем на первоисточник: граф Соллогуб "Le comte Sollogub 'Les musiciens contre la musique'" A Paris, extrait du journal de Saint-Petersbourg. 1860. "Музыканты против музыки", Париж 1860 г.

Несколько добавлений к личности Алехина: был Александр Александрович масоном, членом парижской ложи "Астрея", где любил проводить время в обществе другого масона Осипа Соломоновича Бернштейна. Как стал Алехин масоном? Вопрос интересный. В воспоминаниях генерала Н.Белогорского говорится о том, что эмиграция считала масонство силой и хлынуло в ложи. И не без помощи "жидо-масонов" сумел Алехин сыграть матч с Капабланкой. Думаю, что только по своему масонскому прошлому не упомянул Алехин "жидо-масонский" заговор в шахматах, хотя и иными словами, но он наличествует в его статье: "Моя убедительная победа (над Эйве) ...означала по сути дела разгром еврейско-

го заговора". Мне кажется, критик невнимательно прочитал и статью Алехина, и статью Дудакова. В статье Алехина дана негативная характеристика и Капабланки и Эйве (который упомянут у меня в качестве чемпиона мира 35-37 гг.).

Приехав в Израиль, в библиотеке "Яд ва-Шема" я обнаружил "Паризер Цайтунг". Тогда же – в конце 70-х годов – Юлиус Телесин перевел ее на русский язык и предлагал нескольким израильским газетам и журналам для публикации, но от публикации издания воздержались. Я же процитировал Алехина еще в предисловии к книге М.Левидова "Вильгельм Стейниц", Иерусалим, 1987 г.

Да, быть чемпиону мира в руках немцев несладко, но мы знаем примеры иного толка: "ставленник мирового еврейства" Макс Эйве не играл в нацистских турнирах, а Пауль Керес, хотя и играл, но не занимался политическими декларациями и даже отказался играть матч на первенство мира с Алехиным, справедливо считая, что такой матч несвоевремен.

Говорить о слабости характера Алехина не приходится – дело не в этом. Один из эмигрантов, который был на "ты" с Александром Александровичем, отметил, что чемпион мира был человеком больших страстей, но с надрывом. Причины следует искать в крушении старого мира, к которому он принадлежал по рождению. Отсюда желание приспособиться – будь то кандидатская книжка в члены ВКП(б), масонская ложа, антисоветские высказывания, посылания приветствия советским шахматистам по поводу Октябрьской революции, наконец – сотрудничество с наци. "Алехин считал себя не только первым шахматистом, на что он имел все права, но и вообще человеком громадного, всеобъемлющего ума, которому, естественно, подобает возвышаться над прочими смертными. 'Такой человек, как я', 'при моих данных' и т.д. часто вырывались у него" (Лев Любимов. "На чужбине", М.,1963 г. С.178). Алехин человек своего времени, выросший на ницшеанской ниве начала века (романы Пшибышевского, Кнута Гамсуна и доморощенного Арцыбашева), вряд ли испытывал угрызения совести: палец о палец не ударивший, чтобы спасти "бедного Ландау и моего друга Оскама". Оскорбления, нанесенные, например, Эйве, могли быть объяснены даже не личным письмом, а каким-нибудь иным путем – за все четыре года им не было предпринято ни одной попытки извиниться или объясниться – посему послевоенную отписку Алехина голландский чемпион не принял. Другой современник писал, что победа Алехина в 1927 была воспринята русской прессой как национальный триумф, "но не следует забывать, что к чисто русским чертам своего характера Алехин приобщил то, что в противоположность 'славянской душе', принято называть западно-европейским реализмом. Отмечу с прискорбием, что реализм Алехина стал переходить в наивный оппортунизм. Это сослужило ему роковую службу во время последней войны..." (С.Г.Тартаковер. "Встреча с гигантами. Из шахматных воспоминаний" – Новоселье №42-44, 1950 г.С.181).

В свете этого легко проследить зигзаги Алехина по отношению, например, к Арону Нимцовичу. В книге "На пути к высшим шахматным достижениям" Алехин писал о почти 100-процентной победе Нимцовича в Дрезденском турнире 1926 года, где Алехин был вторым: "Я дал в Дрездене много ценного, но

Нимцович дал еще больше, – должно быть потому, что проявил еще больше воли к этому. Его великолепная победа заслуживает всеобщего признания и наряду с карлсбадской победой 1929 года является самым блестящим его достижением". Или вспомнить серию из шести статей, посвященных Карлсбадскому турниру 1929 г. и опубликованную в "еврейской столице мира" Нью-Йорке. Там Алехин делил шахматистов на две категории: играющие на результат, не считающие шахматы искусством (Капабланка, Мароци, Видмар, Эйве), и творческие шахматисты (Брейер, Рети, Боголюбов, Нимцович, Земиш, Колле). Что и говорить после этого: если сам Алехин признал права Нимцовича на матч с ним (см. "Нью-Йорк таймс" от 1, 20, 21, 25, 28, 30 августа 1929 года). И сравните с насмешками над "Арнольдом Нимцовичем", изготовившим визитные карточки с претензией: "Арнольд Нимцович, претендент на титул чемпиона мира" ("Еврейские и арийские шахматы"). Нравится нам или нет – Алехин, опубликовав статью в немецкой прессе, потерял право на звание порядочного человека. Мой критик не одинок. В век перестройки, в год 100-летия со дня рождения Великого Шахматиста (что не равно званию Гражданина), появилась апологетическая биография Ю.Н.Шабурова "Александр Алехин непобежденный чемпион". М., 1992, где автор недалеко ушел от книг покойного Александра Котова. Весь эпизод с публикацией практически не пересмотрен с 1956 года. Зато доказуется недоказуемое – не Лев Давидович спас жизнь великого шахматиста ("сплошной вымысел"), а кто-то другой...

Антисемитизм в шахматах есть лишь частность антисемитизма в культуре и в конечном счете антисемитизма общества. Антисемитизм в шахматах, и в частности в России, имеет давнюю историю. Вильгельм Стейниц, подобно рабби Иегуде Ливи, создал из ничего Голема, имя которого Михаил Чигорин. Стейниц боролся с Големом и победил его. Благодарность Чигорина не имела границ: призванный из ничего, он отблагодарил евреев-шахматистов тем, что создав новое "Шахматное Общество", в уставе от 28 января 1891 года зафиксировал неприятие в члены "лиц нехристианского вероисповедания". Вероятно, имелись в виду многочисленные буддисты, мусульмане и язычники, населяющие столицу империи. Реакция Стейница была мгновенной, и газета "New York Tribune" от 6 декабря 1891 года получила фальшивое уверение Чигорина в отсутствии антисемитизма в русском шахматном обществе. Причина очевидна: Чигорину грозил остракизм цивилизованного человечества – кормление у Суворинского "Нового времени" было недостаточным. Именно тогда Чигорин обзывал позиционных шахматистов халтурщиками, что на языке его времени называлось "бременские музыканты". Это Чигорин вопрошал Макса Вейса, сколько ничьих он сделал, забыв, что матч с ним завершился четырьмя ничьими. Отсюда – один "Суворинский переход" до Ф.И.Дуз-Хотимирского (учителя Алехина), перенесшего ту же неприязнь к позиционным шахматистам (например, к Алапину и Рубинштейну). "Мои встречи за шахматной доской с Алапиным всегда были до известной степени принципиальными, так как проходили в борьбе двух противоположных стилей: сугубо позиционного, приверженцем коего являлся Алапин, и комбинаци-

онного, к которому тяготел я" (Ф.И.Дуз-Хотимирский "Избранные партии". М.,1953. С .99. Любопытно, что книга вышла под редакцией В.Н.Панова). Или о Рубинштейне: "...играя с Рубинштейном, я тащил его в темный лес шахматного творчества, далеко от изученных дорог..." (Там же. С.104), намекая на шаблонную игру, якобы присущую "могучему Акибе". Федора Богатырчука трудно заподозрить в симпатии к советам и, вероятно, к евреям. В своих воспоминаниях, названных "Мой жизненный путь к Власову и пражскому манифесту", Сан-Франциско, 1978 (в "Пражском манифесте", писанном в самом конце 1944 года, на краю гибели нации, повторяются антисемитские высказывания – напоминание тем, кто возлюбил генерала Власова и ему подобных). Богатырчук писал об Алехине с большим уважением, но его он потряс дважды – в 1919 году, при демонстрации Ал.Ал. партийного билета: "...по тогдашней молодости был потрясен этим зрелищем пролетарского перевоплощения Алехина и второй раз в связи с публикацией статьи в нацистской прессе. Как и в первом случае, Богатырчук объясняет капитуляцию внешним давлением, но с оговорками: "Почему Алехин согласился уступить – никому неизвестно, и всякие догадки о мотивах были бы плодом досужей фантазии. Зная Алехина, я могу лишь высказать уверенность, что будучи любящим свободу космополитом, он никак не мог разделить гитлеровских расистско-тоталитарных тенденций". Можно закончить бесполезный спор словами Богатырчука: "Так или иначе, но его статья в нацистском журнале 'Евреи и шахматы' лила воду на мельницу бредовых идей Гитлера" (Там же. С.163). Тут ни прибавить, ни убавить. Следует закончить бесполезный спор.

Получив два серьезных критических письма по поводу статьи С.Дудакова "Об 'арийских' и 'неарийских' шахматах", опубликованной в нашем первом сборнике, я направил их (вместе с ответом С.Дудакова) мастеру спорта по шахматам и литератору Э.Штейну.

Ниже публикуется его ответ, которым полемика по статье Дудакова завершается.

Составитель

"Шлеев указывает на калейдоскоп нелепостей; Пиндюра прав в вопросе о шахматной элите, выброшенной из России; Дудаков прав в принципиальном"

Эммануил Штейн
(Оранж, США)

Спор о шахматной статье Дудакова. Я не последняя инстанция у Всевышнего, но мое мнение таково: полемика украшает любое издание, если она ведется на должном уровне. Опубликовать Вы ее должны (это мое мнение). Итак, Шлеев. По существу, автор прав. Он прав и по поводу Т.Петросяна, Лилиенталя,

Схевенинга, Дуз-Хотимирского и города Мангейм. Неужели Савва не проверил всего этого? Неужели подвела типография? Более чем уверен: Дудаков это сам прекрасно знает. Это письмо опубликовать просто необходимо, поскольку автор указывает на калейдоскоп нелепостей. Второе письмо: автор Пиндюра. Его письмо полностью справедливо по вопросу о шахматной элите, выброшенной из России. Прав Пиндюра, ошибается С.Дудаков. В самом же главном – Алехин и антисемитизм я на 100% на стороне Дудакова. Я сам опубликовал лет 12 тому назад ряд статей на эту тему, чем вызвал гнев приятеля Дудакова гроссмейстера Л.Шамковича, обвинившего меня в клевете на русского гения. Тогда меня поддержал мой старший друг Федор Парфентьевич Богатырчук, чемпион СССР 1927 года и идеолог Власовского движения (не пугайтесь только). Так вот, у меня есть письма от Богатырчука, в которых он неоднократно подчеркивает, что Алехин – перевертыш и за деньги готов был служить и Гитлеру, и черту. Таковы дела. Дудаков прав в принципиальном. Хорошо, что он ссылается на Богатырчука. Можете ему подсказать, что может сослаться на мою переписку с Богатырчуком, где, как я уже писал, все сказано четко. В своем ответе Дудаков допускает одну неточность, причем, принципиальную. Он утверждает: "Макс Эйве не играл в нацистских турнирах". Ошибка. В турнирах не играл, но в нацистском матче участие принял. В 1941 году в Карлсбаде (Карловы Вары) он встретился в матче с Е.Боголюбовым, служившим в Вермахте. Нацисты это состязание широко рекламировали. Победил в матче из 10 партий М.Эйве, а гитлеровская пропаганда глаголила об этом долго, поскольку продемонстрировала продолжение культурной жизни в своей уже Чехословакии.

Искренне Ваш, Э.Штейн

Об авторах сборника



Юрий Иванович Абызов, родился в 1921 г. Окончил Латвийский университет. Член Союза писателей Латвии. Перевел много книг латышских и польских писателей. Постоянный автор журнала "Даугава". Занимается историей русского прошлого в Прибалтике. Выпустил справочник "Русское печатное слово в Латвии. 1917-1944" в 4-х томах (Стендфордский университет, 1990-91). Председатель Латвийского общества русской культуры.

Я.И.Айзенштат – см. I выпуск нашего издания.



Арлен Викторович Блюм, 1933 г. рождения, доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного института культуры. Сфера научных интересов: история русской литературы XVIII–XIX вв., история журналистики, цензуры в дореволюционной России и СССР, история книги и библиофильства в России. Автор 8 книг и свыше ста статей.



Джон Е.Боулт, профессор славистики Университета Южной Калифорнии и директор Института современной русской культуры в Лос-Анджелесе. Учился во многих учебных заведениях США и за границей, жил в Советском Союзе, опубликовал множество работ по современному русскому искусству. В настоящее время готовит систематический каталог произведений художников русского театра собрания Нины и Никиты Дмитриевича Лобановых-Ростовских.

И.И.Вайнберг – см. I выпуск нашего издания.

Марина Генкина. Родилась в Москве в 1940 г. Окончила искусствоведческое отделение МГУ и аспирантуру Академии художеств



СССР (сектор западноевропейского искусства под руководством Ю.Д.Колпинского). Занималась выставочной работой, работала в Музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина, преподавала историю искусств. Составитель ряда каталогов. Параллельно с этим занималась журналистикой, писала рассказы, автор двух пьес.

В Израиле с 1990 г. Работает в Музее Израиля, публикует искусствоведческие и журналистские статьи, участвовала в подготовке серии передач на "Коль Исраэль", посвященных межкультурным различиям.

Живет в Иерусалиме.



Валерий Юльевич Гессен родился в 1927 г. в Ленинграде в семье Юлия Исидоровича Гессена (1891-1939) – историка еврейского народа в России. Окончил Ленинградский университет, политико-экономический факультет. Работал экономистом в проектных и научно-исследовательских организациях, преподавал. Кандидат экономических наук. Генеалогией рода Гессенов и историей евреев в России занимается более 15 лет, разрабатывая в основном архивные сведения. Напечатал ряд статей в газетах России, Украины, Литвы и в еврейском журнале, выходящем в Лондоне.



Яков Гросс. Родился в 1949 г. в Польше. В 1950 г. семья репатриировалась в Израиль. В школьные годы редактировал и выпускал ученические газеты и журналы, руководил клубом кинолюбителей. Был молодежным корреспондентом ряда центральных израильских газет. Во время учебы в университете активно участвовал в культурной жизни студентов, поставил спектакли в детском доме для слепых и в тюрьме с участием заключенных. В 1973 г. получил 2-ю степень в области истории искусства и истории театра. В качестве художника участвовал в ряде выставок. Автор двух романов и книги коротких рассказов и стихов. В 1974-79 гг. руководил Архивом фильмов в

Еврейском Университете. Основал архив фильмов им. С.Шпильберга. Тогда же создал одну из самых больших коллекций фильмов по еврейской тематике. Был консультантом многосерийного фильма "Огненный столб". Выпустил несколько документальных телевизионных фильмов, был инициатором показа исторических фильмов в Музее Израиля, Синематеках Иерусалима и Тель-Авива. В 1991-93 гг. опубликовал три книги, посвященные кинематографу Израиля. В 1992 г. организовал фестиваль "75 лет еврейского кино" и выпустил серию почтовых марок, посвященную этому юбилею. Преподает историю еврейского кино в Тель-Авивском университете.



Нина Генриховна Елина родилась в 1916 г. в Москве. В 1940 г. окончила Московский институт философии, литературы, истории (литературный факультет). В 1944 г. защитила кандидатскую диссертацию о народных английских балладах, а в 1974 – докторскую диссертацию о поэтике малых произведений Данте. Была профессором Московского государственного института иностранных языков и Московского государственного университета. Преподавала историю иностранной литературы и перевод с итальянского языка на русский. Опубликовала ряд работ по итальянской и английской литературе средних веков и Возрождения. В университете работала до осени 1991 г.

В 1992 г. переехала в Израиль. Живет в Иерусалиме.



Анатолий Сергеевич Иванов, 1941 г. рождения. Библиофил и исследователь творчества Саши Черного и авторов журнала "Сатирикон". Выпустил том избранной прозы Саши Черного в серии "Из литературного наследства" (М., 1991). Печатался в сборниках "Панорама искусств", "Книга. Материалы и исследования", в альманахе "Поэзия", журналах "Юность", "Подъем", газете "Русская мысль" (Париж) и др. Подготовил библиографию Саши Черного для Института славистики (Париж). Живет в Москве.

Вера Каплан. В 1978 г. окончила исторический факультет Ленин-



градского педагогического института им. А.И.Герцена. Работала учителем истории в школе, в 1988 г. защитила кандидатскую диссертацию, с 1989 г. преподавала в Высшей профсоюзной школе культуры (Ленинград). Автор ряда статей по вопросам школы и учительства в 1917 году. Занимается историей евреев России 1914-20 гг. С июня 1992 г. – в Израиле. Работает в Центре Каммингса по исследованию России и стран Восточной Европы (Тель-Авивский университет). Ведет рубрику, посвященную истории российского еврейства в газете "Пятница" (Тель-Авив).

Александр Константинович Клементьев окончил Ленинградский университет. Готовит работу по истории русской литературы и общественной мысли при Парижском университете. Автор ряда статей, рецензий и публикаций, посвященных преимущественно вопросам истории философии и литературы первой половины XX века. Основное внимание уделяет изучению творчества Л.П.Карсавина и Б.К.Зайцева. Разобрал архив парижской журналистки и переводчицы Евгении Каннак и подготовил к печати сборник ее рассказов, очерков и воспоминаний, выпущенный в 1992 г. издательством ИМКА-ПРЕСС.

Дора Коган родилась в 1923 г. в местечке Ново-Белица близ г. Гомеля. В 1949 г. окончила искусствоведческое отделение Московского Государственного университета. С 1951 по 1959 г. работала на передвижных выставках. В 1960 г. ушла на творческую работу. В разных советских издательствах опубликовала 6 книг: "А.Я. Головин" (1960), "К.А..Коровин" (1965), "Мамонтовский кружок" (1970), "Сергей Судейкин" (1974), "В.Бехтеев" (1978), "Врубель" (1980). Готовится к изданию последняя книга Доры Коган – о художнике С.Сапунове.



В Израиле – с 1990 г. Сотрудничала в Краткой Еврейской Энциклопедии на русском языке. В 1990 г. выступала на семинаре по еврейскому искусству с докладом "Тышлер как еврейский художник". В 1993 г. на конгрессе "Библия и восточно-славянские книжные

культуры XI–XX вв." в Иерусалиме представила доклад "Символ и символизм в конструктивизме Габо и Певзнера". Некоторые работы Доры Коган переводились на английский язык, а глава из книги о Врубеле – на иврит. В последние годы жизни, будучи человеком одиноким и тяжело больным, Дора Коган испытывала особые трудности и высоко ценила оказываемую ей помощь и поддержку. Предвидя, что статья, написанная для нашего сборника, ее последняя работа, Дора Зиновьевна просила опубликовать в нем следующие слова: "Выражаю признательность Министерству абсорбции, Иерусалимскому университету, проф. Д.Сегалу и проф. Зиве Амишай-Майзельс за материальную и моральную поддержку. Особенно благодарю проф. Майзельс за постоянную заботу обо мне".



Юрий Колкер родился в 1946 г. в Ленинграде. Окончил физико-механический факультет Ленинградского политехнического института (1969). Кандидат физико-математических наук (1978, математическая биология). В 1972 г. начал публиковаться в советских литературных журналах. С 1980 по 1984, находясь в отказе, работал оператором газовой котельной и участвовал в ленинградском самиздате. С 1981 г. публикуется на Западе. Был в числе основателей (1982) и первым литературным редактором Ленинградского еврейского альманаха (ЛЕА). Вместе с тремя другими составителями подготовил для самиздата антологию ленинградской неподцензурной поэзии Острова (1982). Издал первое комментированное собрание стихов Владислава Ходасевича (1983, Париж). С 1984 по 1989 г. жил в Иерусалиме и работал в лаборатории биофизики растений Иерусалимского университета. Издал три книги стихов: *Послесловие* (1985, Иерусалим), *Антивенок* (1987, Иерусалим) и *Далека в человечестве* (Москва, 1991). Основные публикации – в журналах *Нева* и *Звезда* (Ленинград), *Континент* (Париж), *Двадцать два* (Тель-Авив), *Грани* (Франкфурт-на-Майне), *Страна и мир* (Мюнхен), в газете *Русская Мысль* (Париж), в антологии *Русские поэты на Западе* (Джерси-сити). С 1989 г. живет в Лондоне.

О.Г.Ласунский – см. I выпуск нашего издания.

Л.Я.Латт – см. I выпуск нашего издания.



Олег Михайлович Малевич родился 24 июня 1928 г. в Ленинграде. Отец – Михаил Моисеевич Малевич, военный инженер. Мать – Людмила Михайловна Шмарова, учительница. В 1935 г. семья вернулась из Франции, куда отец был командирован военным представителем в торгпредстве. В 1936 г. отец был арестован и умер в лагере. Посмертно реабилитирован. Мать содержалась три месяца в тюрьме как жена "врага народа".

Провел в осажденном Ленинграде первый год блокады. В августе 1942 г. через Ладожское озеро эвакуирован вместе с матерью в Сибирь. Вернулся в Ленинград в 1944 г., закончил среднюю школу, в 1953 г. – филфак Ленинградского университета (чешское переводческое отделение). В 1954-1960 гг. работал учителем русского языка и литературы в школах Ленинграда. Там же в 1961 г. закончил аспирантуру (славянская филология) и был послан на стажировку в Прагу, на кафедру чешской литературы Карлова университета. По возвращении вновь работал в школе. В 1964 г. защитил кандидатскую диссертацию "Раннее творчество Карела Чапека". С 1964 г. занимался профессионально литературным трудом как переводчик и специалист по чешской и словацкой литературе. В 1968 г. был принят в Союз писателей СССР. Ныне член Союза российских писателей и Союза писателей Санкт-Петербурга. Автор книг "Карел Чапек" (1968, 2-е расширенное издание – 1989), "Владислав Ванчура" (1973) и более трехсот других публикаций (послесловия, предисловия, составление, комментирование, статьи, переводы и т.д.).

Почетный член Общества братьев Чапек (Прага).

Б.М.Носик – см. I выпуск нашего издания.



Амос Оз (Клаузнер) родился в 1939 г. в семье выходцев из России, прибывших в начале 30-х гг. в Иерусалим. Его отец, крупный библиограф, один из сотрудников Национальной библиотеки; брат деда Иосиф Гдалия Клаузнер – выдающийся историк, литературовед, лингвист, один из инициаторов возрождения национальной культуры на иврите.

В 1954 г. Амос покидает Иерусалим, поселяется в кибуце "Хульда", где заканчивает среднюю школу. Вскоре кибуц посылает его в Иерусалим для работы с молодежью. В 1961 г., после срочной службы в Армии обороны Израиля, возвращается в кибуц, работает на хлопковой плантации. В 1961-63 гг. печатает свои первые рассказы в журнале "Кешет".

В 1965 г., завершив образование в Еврейском Университете в Иерусалиме (ивритская литература и философия), вновь возвращается в кибуц, работает в поле, пишет, преподает в средней школе.

Опубликовал шестнадцать книг; произведения его переведены на 24 языка в 28 странах и стали бестселлерами. Самый популярный роман "Мой Михаэль" (1968) был экранизирован в Израиле.

Амос Оз широко известен как эссеист и публицист – он напечатал в израильской и мировой прессе около 300 статей по проблемам литературы, идеологии, политики. Лауреат многих литературных премий, израильских и зарубежных. Избран почетным доктором ряда университетов. С 1987 г. – полный профессор ивритской литературы в университете Бен-Гурион в Беэр-Шеве, заведует кафедрой современной ивритской литературы. Живет в городе Араде, в Негевской пустыне на юге Израиля.



Владимир Матвеевич Паперный родился в 1954 г. в Москве. Окончил филологический факультет Тартуского университета. Кандидат филологических наук. Автор работ по истории и поэтике русской литературы начала XX в., о творчестве Андрея Белого, о русской философии рубежа XIX–XX веков. В Израиле с весны 1990 г. Живет в Хайфе. Преподает русскую литературу в Хайфском университете.

М.А.Пархомовский – см. 1 выпуск нашего издания.

Григорий Поляк родился в 1943 г. Инженер по образованию, знаток русской литературы начала XX в.. Основал в конце 1978 г. издательство "Серебряный век", выпустившее книги А.Ремизова, К. Вагинова, В.Ходасевича, В.Аксенова, А.Чаянова, В.Яновского и др. С 1980 г. Г.Поляк – составитель и издатель альманахов литературы и искусства "Часть речи".



Нафтали Прат (Анатолий Михайлович Парташников) родился в 1935 г. в Киеве. С 1952 г. учился в Киевском медицинском институте. С 1951 г. вместе с группой единомышленников писал и распространял листовки с призывом бороться против тоталитарного режима. В 1956 г. был арестован и приговорен к 6 годам лагерей. Заключение отбывал в Мордовии. После освобождения в 1960 г. несколько лет работал санитаром на скорой помощи. В 1968 г. окончил с отличием вечернее отделение филологического факультета Киевского университета (романо-германское отделение). Самостоятельно изучал философию. Работал переводчиком научно-технической литературы. В 1971 г. репатриировался в Израиль. Поступил в докторантуру Еврейского университета в Иерусалиме и в 1978 г., защитив диссертацию о русской религиозной философии, получил звание доктора философии. Проводил исследовательскую работу в рамках Еврейского университета, а затем – Израильской Академии Наук на темы: философские течения в России перед революцией 1917 г., наука и философия в Советском Союзе (работы "От марксизма к идеализму" и "Философские течения в русском марксизме"). Несколько статей напечатаны в журналах "Время и мы", "Двадцать два". С 1979 г. научный редактор Краткой Еврейской Энциклопедии, в настоящее время – один из ее главных редакторов.



Виктор Авраамович Радуцкий, уроженец г. Киева (1937 г.). Обучался в Киевском Политехническом институте (радиоэлектроника), а после приезда в Израиль (1976 г.) – в Еврейском Университете в Иерусалиме (идиш – язык и литература). Журналист и переводчик (иврит, русский, украинский, идиш).

Опубликовал в Москве и в Киеве первый в России и на Украине перевод романа Амоса Оза "До самой смерти" ("Знамя", №8 за 1991 г., "Всесвіт", №3 за 1991 г.). Печатается в Израиле, в Европе, в Америке. Опубликовал серию проблемных интервью с выдающимися деятелями израильской культуры: А.Б.Иегошуа, Иоси Банаем, Аароном Амиром, Амосом Озом, Моше Шамиром, Аароном Апельфельдом и др.

Выступает на радио с передачами об израильской литературе. Живет в Иерусалиме.

Марк Раев родился в Москве в 1923 г., вывезен из России в 1926 г. Учился в Германии, Франции и США. В 1950 г. окончил Гарвардский университет и получил звание доктора философии. С 1961 г. преподавал историю, преимущественно русскую, в Колумбийском университете. Вышел в отставку в 1988 г. в звании Bakhmeteff Professor Emeritus of Russian Studies. Написал несколько книг, в их числе монографию Russia Abroad и множество статей, преимущественно по истории императорской России XVIII–XIX вв. и по некоторым аспектам истории Западной Европы XVII–XVIII вв.



Яков Львович Сорокер родился в 1920 г. в гор. Бельцы (Бессарабия). Музыкант-исполнитель (скрипач, альтист) и музыковед, доктор музыкологии. Получил образование в Московской консерватории и аспирантуре под руководством Д.Ойстраха. С 1976 года живет и работает в Иерусалиме.

Автор свыше 150 работ по истории, теории и практике музыкального искусства. В их числе монографии "Скрипичные сонаты Бетховена", "Йожеф Сигети", "Камерное творчество Прокофьева", "Давид Ойстрах" (на русском и английском языках), "Борис Гольдштейн" (на русском и немецком), биобиблиографический лексикон "Российские музыканты – евреи", статьи о творчестве М.Глинки, Д.Шостаковича, С.Прокофьева, Дж.Энеску, И.Стучевского (на русском, украинском, румынском, иврите и идише) и др.



Самуил Моисеевич Шварцбанд родился в Ленинграде в 1940 г. С 1946 г. по 1982 г. жил (с перерывами) в Риге. В 1965 г. закончил Даугавпилсский педагогический институт. Работал в вузах и школах. Кандидатская диссертация – "Системный анализ 'Повестей Белкина' А.С.Пушкина" (1971).

В 1982 г. репатриировался в Израиль и с 1984 г. – сотрудник Еврейского Университета в

Иерусалиме, затем старший преподаватель на кафедре славистики.

Автор более 50 научных работ по информатике, языкознанию и литературоведению. В 1988 г. в Иерусалиме вышла его первая монография "Логика художественного поиска А.С.Пушкина", а в 1993 г. – "История 'Повестей Белкина'".

В настоящее время работает над старославянскими рукописями XII–XVI вв. При этом его основные интересы связаны с разработкой принципов литературоведческого анализа и текстологической теории. Составитель и редактор изданий: сборники в честь профессоров И.З.Сермана (1989) и В.Д.Левина (1992), многотомная серия "Jews and Slaves" (Т.1. 1993) и "Русское Зарубежье" (Университет г. Лилля). Ученый секретарь Международного конгресса по взаимодействию культур.



Ирена Штительман, по мужу – Пархомовская, настоящее имя – Бронислава Александровна. Родилась в Ленинграде, откуда была вывезена в конце блокады. После эвакуации жила в Москве. Окончила Экономический институт. Работала по специальности, но постоянно интересовалась древней историей, историей России и евреев.

После переезда в Израиль (1990 г.) работает по организации культурного досуга репатриантов. Автор нескольких рассказов и статей в русскоязычных газетах Израиля и для радио. Одна из основательниц газеты на русском языке "Дом Солнца" (Бейт-Шемеш). Участвует в рецензировании, редактировании и корректуре всех статей сборников "Евреи в культуре Русского Зарубежья".

Дора Штурман родилась в 1923 г. в семье врача и учительницы (девичья фамилия – Шток; Штурман – девичья фамилия матери). Детство провела в г. Запорожье, куда переехали родители. После ранней трагической смерти отца вернулась с матерью и братом в Харьков. В 1944 г., в эвакуации, после II курса филфака университета, была арестована с группой студентов и осуждена по ст. 58-10-11 УК РСФСР (5 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах). Причиной ареста послужили попытки анализа теории коммунизма и советской системы, связанные с исследованием творчества нескольких поэтов и прозаиков. После освобождения учительствовала в сельских школах



Украины, в 1962 г. вернулась в Харьков. Университет закончила заочно, в 1952 г. После заключения тайно продолжала свои исследования. С 1968 г. часть работ Д.Штурман (по первому мужу – Кравченко) циркулировала в Самиздате под псевдонимом В.Е.Богдан. В 1977 г. со вторым мужем, докт. наук С.А.Тиктиным, с дочерью и ее семьей репатриировалась в Израиль. Часть работ удалось переправить в виде микрофильмов, часть получена только в 1992 г. (в том числе архив 1939-44 гг., изъятый при аресте). В Израиле, Западной Европе и России изданы в сотрудничестве, а в ряде случаев – и соавторстве с мужем, С.А.Тиктиным, более 300 статей на пяти языках и 13 книг (считая два переиздания). 14-я книга ("О вождях российского коммунизма", 850 с.) – готовится к изданию в Париже (изд. "ИМКА-ПРЕСС", под общей редакцией А.Солженицына). Исследования Д.Штурман признаны международной научной общественностью.



Виктор Эрлих родился в 1914 г. в Петрограде, детство и молодость провел в Польше. В 1932-37 годах изучал славянские литературы в Варшавском университете. В сентябре 1939 г. покинул Варшаву, которой угрожали немецкие войска, а три года спустя вместе с женой и матерью добрался до США. Вскоре был мобилизован в американскую армию, в рядах которой участвовал в боях с нацистами в Эльзасе и Лотарингии. После возвращения в 1945 г. продолжил изучение славистики в Колумбийском университете, где в 1951 г. получил докторскую степень. Преподавал русскую литературу в Вашингтонском университете в Сиэтле (1948-62 гг.) и в Иельском университете (1962-75 гг.). Автор ряда статей по русской литературе, теории литературы и книг о русской "Формальной школе", образе поэта в славянских литературах, Гоголе, русской прозе 20-х годов.

Леонид Юниверг – см. 1 выпуск нашего издания.

Извинительное слово

С огромным интересом прочитав первый выпуск сборника "Евреи в культуре Русского Зарубежья", я решил подготовить для выпуска второго небольшое эссе, выражающее мое отношение к теме. О чем тут же уведомил Михаила Ароновича Пархомовского.

Моя ретивость объяснялась просто – не так часто приходится держать в руках книгу, оценка которой свободна от всяких "но", "однако", "приходится заметить" и т.п. Книга просто, на мой взгляд, превосходная – и все тут. А второй сборник обещает быть еще лучше!

И все-таки без "но" не обойтись. Но относится оно не к содержанию книги, а ко мне самому. Я явно переоценил свои силы и свои резервы свободного времени. Не хватило не только времени выразить свои мысли. Не хватило самих мыслей – таких, которые могли бы заинтересовать читателей. И, как всегда, не хватило мужества сразу признать свое поражение в единоборстве с чистым листом бумаги. Теперь я делаю это.

Впрочем, одна мысль "имеет место". Печально, что первое издание по истории русско-еврейской культуры в зарубежье вышло не в Москве или Петербурге, а в Иерусалиме. Разумеется, я понимаю, что Израиль – признанный центр собирания иудаики. И все же было бы более естественно, если бы сборник подобного рода впервые появился в России. Надеюсь, что появление первого тома энциклопедии "Евреи в России" как-то успокоит мою совесть.

И хотя в свое оправдание ничего путного я сказать не могу, надеюсь все же, что г-н Пархомовский простит меня.

А.Бовин

Обращение к авторам

Уважаемые коллеги!

Редакция серии сборников "Евреи в культуре Русского Зарубежья" заинтересована в статьях, мемуарах, публикациях и эссе высокого профессионального уровня, содержащих непубликовавшиеся ранее материалы и (или) новые аспекты проблем, которым посвящены наши сборники. Редакция будет рада получению статей обобщающего и дискуссионного характера.

Направляемые статьи, по возможности, должны интересовать не только специалистов, но и более широкий круг читателей. Редакция просит учесть, что при всем ее глубоком уважении к сионизму и чисто еврейской культуре, предпочтение отдается статьям, посвященным роли евреев в РУССКОЙ культуре. Не приветствуются и материалы об антисемитизме: редакция полагает, что отношение между русской и еврейской интеллигенцией складывалось не столько из противостояния, сколько в сотрудничестве.

Ориентировочный объем работ – 10-20 стандартных машинописных страниц, однако допустимы и отклонения в ту и другую сторону. Статьи должны быть хорошо иллюстрированы. Авторов, впервые направляющих материалы в наши сборники, просим присылать биографию и фото для раздела "Об авторах сборника". Сборники выходят ежегодно осенью, и статьи для очередной книги просьба присылать не позднее 1 июня.

В 3-м и 4-м сборниках, посвящаемых периоду второй мировой войны и послевоенному времени, и 5-м и 6-м, охватывающих последние десятилетия, предположительно будут те же рубрики, что и во втором: 1. Литература, критика, языкознание; 2. Книжное дело и периодика; 3. Архивы и мемуары; 4. Русские евреи в Палестине (Израиле); 5. Искусство; 6. Философия; 7. История. Общественные деятели.

В дополнительных томах будут напечатаны непубликовавшиеся произведения русских евреев-эмигрантов.

Письма и статьи просьба направлять составителю и издателю Михаилу Ароновичу Пархомовскому по адресу:

M.Parkhomovsky
648#4 Mishlat Str.
Beit Shemesh.
ISRAEL
Tel.: (02) 917039

Обращение к читателям

Благодарю Вас за внимание к начатому нами делу – даже если Вы не купили книгу, а просто читаете ее или взяли полистать.

Мои товарищи и я с увлечением работаем и делаем все от нас зависящее, чтобы сборники ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ стали интересны и нужны Вам; хочется, чтобы они были в каждом русскоязычном доме.

Все расходы по изданию сборников идут из моей зарплаты – половины ставки амбулаторного врача, и при всей экономии мне с трудом удалось выпустить первые два тома. Правда, после издания первого я получил из Министерства абсорбции Израиля две тысячи долларов, что составляет около 8% затраченных мной денег. Но такую дотацию в Израиле дают только на издание первой книги. Вторая, по ряду причин потребовавшая значительно больших затрат, сделана только на средства моей семьи. Продажа первой книги компенсировала пока около $^3/_5$ затрат на ее издание. Отсутствие денег – это невозможность достойной оплаты труда авторов, редакторов, наборщиков, корректоров и других сотрудников, это отсутствие рекламы, это невозможность пользоваться международным телефоном, экспресс-почтой, факсом и т.п.

Я не прошу у Вас денег. Моя просьба, мне кажется, более приемлема для Вас – купите книгу: Вы можете оставить ее у себя, подарить друзьям, знакомым, отдать в библиотеку.

Подскажите, в какую организацию обратиться для поиска спонсора, оптового покупателя и т.п.

Спасибо

Михаил Пархомовский

Большое спасибо членам редакционного совета и авторам настоящей книги – без них ее бы не было.

Особую благодарность выражаю Яакову Сорокеру, Юдифь Зислин, Леониду Юнивергу, Феликсу Дектору, Валентине Либман: их эрудиция, опыт, доброжелательная помощь оказались незаменимыми в подготовке сборника.

Составитель

31.10.93

На обложке портрет Марии Самойловны Цетлин. Художник Валентин Серов.

Именной указатель к I и II тому

Составили Ирена Штительман, Михаил Пархомовский

Абель Ганс I 441
Абрамов С.А. I 129
Абрамович М.И. I 471, 474
Абрамович Р. (Рейн Р.А.) I 204, 235
Абрикосов, священник I 276
Абызов Ю.И. II 165, 221, 597
Аванесов В.А. I 178
Авдеева О.Ю. II 585
Авербух Ф.С. II 231
Аверченко А.Т. II 71, 232
Авивит Шошана II 204
Авксентьев Н.Д. I 9, 220-222, 224, 289; II 44, 519
Агадати Барух (Каужинский) II 393, 394, 401, 411, 413-418
Агадати Ицхак II 401
Агаджанян С.М. I 421
Агнон Ш.И. II 372
Агранов Яков I 212
Агурский Михаил I 82, 507; II 240, 246, 299, 300
Адамович Г.В. I 70, II 22, 25, 56, 63
Адлер Б. II 20
Азар Леонид I 437
Азеф Б.Ф. II 210
Азов (Ашкенази) В.А. II 237
Айзенштат М.К. II 237
Айзенштат Самуил II 428
Айзенштат Я.И. I 485, 507; II 339, 419, 597
Айзман Давид II 294, 510
Айхенвальд Н.К. I 45
Айхенвальд Ю.А. I 36
Айхенвальд Ю.И. I 10, 11, 35-54, 274, 276, 474; II 52, 56, 223, 237
Аквинат Фома II 132
Аксаков С.Т. II 344
Аксаковы II 95, 98
Аксельрод, архитектор I 352
Аксельрод Натан II 393, 394, 401-406, 408-411, 413-415
Аксельрод П.Б. I 176; II 402
Аксельроды II 402
Аксенов Василий II 603
Акулов И.А. I 210
Алапин II 594
Алданов М.А. I 8-11, 49, 54, 70, 93, 116-126, 219, 222, 223, 232, 296, 299, 302, 310-343, 438, 501; II 24, 44, 58, 203, 216, 219, 223, 237, 531, 535, 543, 565
Алданова Т.М. I 315, 322, 324, 326, 337, 340
Алдановы I 326
Александр I (Романов А.П.) I 281
Александр II (Наследник Цесаревич) I 269, 320; II 13, 142, 342, 343
Александр-Аронсон Л. I 432, 435
Александрова Вера (Шварц В.А.) I 213-218; II 34, 37, 39
Алексеев Г.Д. I 48
Алехин А.А. I 447, 449-454, 456, 458, 460, 461; II 588-596
Алленби Эдмунд II 393, 397
Алмазов С.Л. II 231
Алман Шмуэль II 382, 389
Альтер Виктор II 251, 254
Альтман Моисей II 498
Альтман Н.И. I 363, 368; II 467, 468
Альтшулер Мордехай I 519
Альфонсо XIII I 122
Алямский С.М. I 129
Амари –
см. Цетлин М.О.
Амир Аарон II 604
Амишай-Майзельс Зива II 480, 601
Амусин Марк I 97, 508, 519
Амфитеатров А.В. I 46, 147; II 228, 229, 232, 234, 287-289, 292, 295, 299, 312, 316, 317, 578-580
Андерсен Ганс Кристиан I 147
Андреев Л.Н. I 46, 143, 149, 424; II 71, 176, 294
Андреев Н.А. I 423
Андреева И. II 30
Андреева М.Ф. II 287, 291, 311, 315
Андреенко-Нечитайло М.Ф. I 393-395
Андроникова (Гальперн) С.Н. I 9, 229-241; II 502
Анисфельд Б.И. I 390, 393, 395, 396
Анисфельд Мара I 395
Анненков, юрист I 466
Анненков Ю.П. I 148, 153, 391, 393, 394, 397, 411, 436, 437, 440, 441, 446
Ан-ский (Раппопорт) С.А. II 301, 303, 381, 468, 514, 518, 533
Антик В.М. I 129
Антокольский М.М. I 22, 27, 421; II 463
Антониони Микельанджело I 439
Антонович II 289
Антонов-Овсеенко В.А. I 206; II 75
Анэ Клод II 224
Апельфельд Аарон II 604
Аполлинер Гильом I 366

Алшенек Ф. II 231
Арабажин К.И. II 300
Арагон Луи I 111, 297; II 312
Аракельян Акоп I 437
Аргутинский, князь II 318, 319
Ардов В.Е. II 214
Ари Иехуда бен II 432
Аристотель II 96, 106, 110, 136
Арлозоров Хаим II 567
Армон Иоханан II 565
Аронсон М. I 12
Аронсон Н. Л. I 11, 70, 421-435, 474; II 466
Аронсон Х. (Хил Арон) I 365, 388; II 468, 480
Артамонова Н. I 12
Артемьев II 289
Архипенко А.П. I 105, 363, 391; II 482
Арцыбашев М.П. II 593
Арье Р.С. II 480
Асеев Н.Н. I 113
Аскольдов-Алексеев С.А. I 279; II 145
Астахов, высланный в 1922 г. I 276
Атран I 342
Ауэр Л.С. I 445; II 389
Ауэр Миша (Уманский) I 439, 445
Ахад-ха-Ам (Гинцберг Ашер) II 347, 348, 351-354, 359, 507, 547-550, 553, 554, 559, 560, 564, 565
Ахмадулина Белла II 367
Ахматова А.А. I 44, 229, 231, 239, 279, 337; II 25, 360, 367
Ахрон И.Ю. II 380, 383, 389
Аш Шолом I 26, 27, 30; II 288, 291, 292, 299
Бабель И.Э. I 108, 451; II 58, 261, 272, 435
Бабков Арье II 575
Багров Л.С. I 194
Базаров II 278
Базыкин, крестьянин I 468
Байер Марк II 509
Байрон Джордж II 95
Бакст А.Л. I 399, 409; II 457
Бакст (Розенберг) Л.С. I 153, 288, 392, 393, 397-399, 407, 422; II 433, 451-464, 496, 497, 504
Бакст Н.И. II 577
Бакунин Алексей II 562
Бакунин М.А. I 15
Бакунины II 563
Балакирев М.А. II 374
Баланчин Ж. II 488
Балиев Никита I 409, 412; II 209, 498
Балтрушайтис Юргис I 52
Балтинь И. II 231
Бальмонт К.Д. I 8, 70, 98, 144, 270, 288, 503, 505, 516; II 13, 14, 45, 50, 204, 217, 232, 495, 535
Бальфур Артур I 122, 351, 353; II 361, 516
Банай Иоси II 604
Баранова-Россинэ В.Д. I 422
Баранова-Шестова Н. II 101, 130, 139, 140
Баратынский Е.А. I 48; II 17, 25
Барац Л.Г. II 216
Барбюс Анри I 434
Бар-Кохба II 412
Барнс, коллекционер II 441
Барсак Андре (Андрей) I 441, 445; II 458, 463
Барсак Лев I 445
Барсак Катя II 455
Барсак (дев. фам. Клячко) М.М. II 458, 460, 462
Баршанский, д-р II 475
Батушанский В.Я. (Барит) II 292
Баум Вики II 224
Бахметев П.А. II 101
Бахрах А.В. I 117; II 9, 51-64, 390, 433, 435, 436
Бахрах Кристи II 436
Башкиров В.Н. I 407
Башкирцева М.К. I 421
Бегин Менахем II 368
Бедный Демьян (Придворов Е.Ф.) I 213; II 211
Безыменский А.И. I 217
Бейленсон, д-р II 243
Бейлинсон, владелец типографии II 193
Бейлис Мендель I 491-494, 498, 500, 505; II 309, 370, 514, 519, 570, 576,
Бек А. II 366
Беккер (Бекер) Жак I 442, 443
Беккер К. II 231
Бела Моше II 432
Белинский В.Г. I 40, 42, 117
Белкина М. II 62, 64
Белкинд Исраэль II 350
Белогородский Н. II 592
Белокопытова Анна II 497
Белоцветов Н.А. II 234
Белый Андрей (наст. фам. Бугаев Б.Н.) I 42, 45, 53,104, 106, 113, 130, 179, 505; II 13, 14, 18, 20, 26, 29, 52, 130, 257, 435
Беляев, врач I 325
Бен-Ами (Рабинович М.Я.) II 522, 542
Бен-Гурион Давид I 386; II 368
Бен-Дов Яаков (Ласутра) II 393-401, 404, 416
Бенеш Эдвард I 327, 331
Бен-Исраэль Шломо II 409
Бенуа, братья II 463
Бенуа А.А. I 401; II 463, 464, 494, 504
Бенуа А.Н. I 144, 147, 148, 153, 156, 279, 288, 390, 393, 399, 400, 411, 421
Бенуа Н.А. I 393, 400, 401

Бенуа Пьер II 224
Бен-Хаим Пауль (Франкенбургер) II 384
Бень Е.М. I 54
Беранже Пьер-Жан I 147
Вахтангов Е.Б. II 510
Вашингтон Джордж I 424
Введенские II 95
Введенский А.И. I 282; II 95
Вебер Карл II 570
Ведринская, актриса I 279
Вейдле Владимир II 21, 23, 26, 29, 30
Вейнбаум М.Е. I 330, 332, 342
Вейнрейх Макс II 86
Вебс Д.Л. II 309, 310
Вейс Макс I 454; II 594
Вейцман Хаим I 80, 223, 470; II 398
Вейцман Ю.С. I 135, 136, 193-202; II 91, 93, 94, 185, 195
Векслер Сима II 247
Веласкез Родригес II 472
Велихов П.А. I 276
Венгеров С.А. I 28, 53, 179, 199; II 32
Веньямин, митрополит I 282
Вергилий I 232
Верди Джузеппе I 354
Вересаев В.В. I 48, 100; II 294
Верещагин В.В. I 421
Верковский А. I 461
Веркор (наст. имя Жан Брюллер) II 58
Верлен Поль I 98, 292
Верн Жюль I 440
Вернер Альфред II 480
Верни Диана I 409
Вернэ Анни I 440
Вертинский А.Н. I 255, II 58, 329
Вертов Дзиго (Кауфман Д.А.) I 442; II 393, 397, 399
Верхарн Эмиль II 302
Весолер Н.Ф. II 577
Вечорка Татьяна (наст имя Толстая Т.В.) II 497, 498, 502, 505, 506
Виго Жан I 442
Видмар Милан I 450, 452, 455, 456; II 594
Видхофт, рисовальщик I 370
Вийон Франсуа I 10
Вийяр Э. I 408
Вико Джамбаттиста I 123
Виленкин А.А. II 179
Виленский М. II 304
Вилинский, художник I 391
Вильберг А. II 464
Вильде Борис II 63
Вильнер Я.С. I 451
Вильсон Вудро I 122
Вильхельм Д.Г. I 476, 477
Винавер Е.М. II 519
Винавер М.М. I 469, 474; II 167, 170, 172, 212, 242, 507, 511-519, 533, 575
Винавер Михаил II 275, 276, 278
Винавер Симон II 587
Винд Эдгар I 237, 238
Виппер Р.Ю. I 282, 284
Вирт Карл I 284
Висловский Ц. II 304
Витте, жена С.Ю.Витте II 530, 531
Витте С.Ю. II 514, 516, 519, 526, 530, 531, 535, 540
Витязев П. I 140
Вишницер-Бернштейн Р. I 429, 435
Вишняк А.Г. I 8, 129, 134; II 240
Вишняк М.В. I 220-225, 269, 293; II 167, 168, 172, 178, 237
Вишняки I 299
Власов А.А. II 595
Водовозов В.В. I 153, 156, 180
Вознесенский А.А. I 401
Войков П.З. I 206
Войтинский В.С. I 176
Волков А., кинодеятель I 436, 438, 440
Волковысский Н.М. I 276, 284; II 223, 244
Володин, руков. балет. школы I 294
Волошин М.А. I 10, 98-100, 144; II 62, 251, 278, 495, 497, 535
Вольский А. II 242
Вольский Н.В. (псевдонимы Н.Валентинов, Е.Юрьевский) I 10
Вольтер I 171
Вольф Альфред II 412
Вольф Генрих I 450
Вольф М.О. I 129, 231, 236
Вольфсон (Давид?) I 508
Волынский А.П. I 39, 148
Воровский В.В. I 130, 171, 172, 174, 191
Воронова Т.П. I 262, 263
Ворошилов К.Е. I 211
Врангель Л. II 504
Врангель П.Н. I 14; II 173, 174, 176, 179, 328, 534
Врубель М.А. I 395; II 491, 600, 601
Вырубов В.В. I 236, 314, 315, 325, 326
Вырубова И.В. I 512
Высоцкая Беба I 302
Высоцкие I 9, 222, 291, 501
Высоцкий К.З. II 550, 553
Вычегжанин П.В. (Пьер Ино) I 416
Вышеславцев В.П. I 276
Гавэ Ф.П. I 474

Габо Наум (Нехамия) I 391, 422;
II 433, 481-491, 600
Габрилович Л.Е. II 117, 118, 121
Гавренек, лингвист II 78, 79
Гавриил Константинович, великий князь I 170
Гавронская А.О. (по мужу Фондаминская) I 293
Гагарина, графиня II 468
Газданов Г.И. (Гайго) I 49, 501
Гайдн Йозеф II 374
Галич Леонид I 94
Галич Юрий II 231, 232
Галкин А. II 140
Галлер М.Г. II 231
Гальперин М.А. II 577
Гальперн А.Я. I 9, 230-241
Гальперн С.Н. –
см. Андронникова (Гальперн) С.Н.
Гальперны I 234, 238, 239
Гальперн Я.М. I 236; II 525, 577
Гамзу Хаим I 361, 362, 383, 388
Гамсун Кнут I 56, 144; II 592, 593
Ганди I 119, 120
Ганецкий Я.С. II 308, 310
Ганф Ю. II 214
Ганфман М.И. II 223, 224, 231-233, 529, 535, 541
Гапон Г.А. II 210
Гарин-Михайловский Н.Г. I 466, 475; II 294
Гаркави В.О. II 577
Гартляс А. II 296
Гаршиш Н. II 476
Гегель Георг II 95, 103, 107, 108, 118, 136
Гейне Генрих I 265, 270
Гелеви Даниэль II 118, 121
Геллер Михаил I 273, 275, 276, 278, 284, 287
Гелумбовский И. II 231
Гельфман Геся I 320, 323
Генкина Марина II 433, 451, 597
Геннади Г.Н. I 199
Генс Борис II 201
Генс Б.И. II 188
Генс Залман II 201
Генс Иосиф II 201
Генс И.Ю. II 188, 189
Генс (в замуж. Брошинская) Люба II 201
Генс Л.Ю. II 183
Генс Носсон II 195, 201
Генс Ю.Б. I 194, 195, 199-201; II 165, 181-201
Генс Яков II 201
Гепштейн Соломон II 575
Гербарт Иоган II 96
Герберштейн С. II 186
Гергель П. I 482
Герда ("Гард"), подруга Х.Сутина II 443
Гердт Валеска I 445
Герзон-Киви Эдит II 384
Германова, актриса II 536
Герра Р. II 47
Герцен А.И. I 27, 498, 509, 518; II 95, 535
Герцль Теодор (Б.-З.) II 176, 346, 350, 392,
431, 549, 576
Гершензон М.О. I 7, 22, 27, 198; II 27, 52, 57,
122, 138, 163, 245, 246, 288, 292, 297, 299
Гершов С. II 470
Гершон Иосеф бен II 577
Гершонович Я.Ю. I 496
Герье В.И. I 213
Гессен Г.И. I 504; II 541
Гессен В.И. II 536, 539, 541, 544
Гессен В.М. II 525, 528
Гессен В.Ю. II 507, 520, 598
Гессен Е.С. II 542
Гессен И.В. I 8, 10, 11, 43, 46, 53, 54, 134, 474, 502;
II 57, 237, 240, 243, 244, 507, 520-544
Гессен Иегуда II 523
Гессен Иуда (Иделе) II 521, 522, 542
Гессен И.С. II 543
Гессен Ицик II 521
Гессен Муниш II 521, 523
Гессен Шауль (Шоэль, Шавель, Савелий) II 522
Гессен Шейва (С.Л.) II 522, 523
Гессен Ю.И. II 534, 542, 598
Гессены II 521, 598
Гете Иоганн Вольфганг I 120, 171, 251; II 145
Гефтман Григорий I 445
Гефтман Константин I 437, 445
Гец Ф.Б. II 237, 344
Гзовская О. II 537
Гидони А.И. I 148, 167
Гиллель II 574
Гиллерсон, д-р II 66, 67, 74
Гингер А.С. I 59, 73, 445; II 58
Гинзбург, экономист I 206
Гинзбург Евгения I 300
Гинзбург М.А. I 506
Гинек Карел II 75
Гиносар Роза II 564
Гинцберг Залман (Сема) II 550, 559, 564
Гинцберг Исай II 547
Гинцберг Л.Д. II 548, 550, 562
Гинцберг-Осоргина Роза (Рахель) II 507, 545-565
Гинцберг Ривка II 548, 559
Гинцберг-Шимкин Эстер II 565
Гинцбург Г.О. (Нафтали Герц) I 235;
II 466, 514, 517, 518, 570, 576

Гинцбург Д.Г. I 368; II 468
Гинцбург Е. II 518
Гинцбурги I 368
Гиппиус З.Н. (по мужу Мережковская) I 8, 10, 55, 182, 219, 223, 296; II 210, 223, 232, 251, 309, 310, 517, 519
Гирш М. де, барон I 476; II 176
Гиршфельд В.Г. I 135
Гиршфельд Г.С. (псевд. Анри-Гри) II 231, 237
Гирземан, антиквар II 190
Гитлер I 88, 120, 200, 238, 244, 305, 334, 473, 498; II 234, 250, 365, 372, 592, 595, 596
Гитович Сильва I 337
Гладков Ф.В. I 48
Глазунов И.С. I 401
Глассер (музыкальные курсы) I 514
Гли (наст. фам. Гликберг) II 32, 33
Гликберг-Черная М.И. I 292, 302, 303; II 34, 36
Гликберги II 37
Гликберг Я. II 32
Гликман Г. II 208
Глинка М.И. II 377, 381, 385, 605
Глизэр Р.М. II 379, 380
Глоуберман Э. II 132, 134
Глэд Сильвен I 413
Гнесин Менахем II 380, 410
Гобино Ж.А. II 574, 577
Гоген Поль II 466
Гоголь Н.В. I 137, 243, 251; II 12, 95, 402, 531
Гогоцкий С. II 94
Годар Жан-Люк I 439
Гозиасон Ф. I 422
Годовский Леопольд II 208
Голике Р. II 464
Голодный М.С. (Эпштейн) I 71
Гойя Франсиско Хосе де I 144
Голинкин М.М. I 347-360
Голинкина С.М. I 347
Голль Шарль де I 338; II 311, 368
Головин А.Я. II 600
Головин Ф.А. I 274
Голубева О.Д. I 191
Голубкина А.С. I 421, 423
Гольдберг Борис I 352
Гольдберг Д. II 173, 179
Гольдберг Лея II 341
Гольденберг II 242
Гольденбергер Г.А. I 134
Гольденвейзер А.А. I 473-475, 497, 500; II 512, 518
Гольденвейзер А.В. II 379
Гольденвейзер А.С. II 518
Гольденгорн Л.К. II 295
Гольдштейн Александр II 575
Гольдштейн Борис II 605
Гольдштейн Д. II 204
Гольдштейн Й. II 565
Гольдштейн М.Л. I 474; II 212, 216, 217, 331
Гольцев В.А. I 38
Гонзл Индржих II 72
Гончарова Н.С. I 222, 288, 296, 305, 306, 365, 391-393, 399, 401-403, 407, 412
Горали М. II 384
Горбачев М.С. II 371
Горбунов-Посадов И.И. II 175
Гордин Саша I 439
Гордин Яков II 349
Гордон А.Д. II 360-362, 367
Гордон Б.А. II 206
Гордон Меир II 577
Горев А.А. II 231
Горелов М. II 202
Горлин М.Г. I 11, 242-252, 257, 261-263
Горлина Дора I 245, 249, 250, 252
Горлины I 248, 251
Горный Сергей (А.А.Оцуп) I 46, 54, 243; II 229, 237, 238
Городецкий Сергей II 495, 500, 504, 505
Городисские М. и П. II 178
Горон, сыщик II 210
Горький А.М. (Пешков) I 6, 10, 12, 25, 48, 83-86, 88, 90, 91, 103, 141-192, 237, 239, 251, 300, 324, 326, 353, 424, 436, 437, 441, 466, 474, 475, 486, 490, 505, 507, 509, 510; II 5, 17, 18, 20, 21, 26, 27, 30, 75, 127, 182, 244, 247, 250, 252, 265, 276, 285-306, 307-310, 311-338, 344, 390, 421, 428, 429, 432, 493, 511, 578, 586
Гофман Э.Т. II 52
Гофман фон Фаллерслебен (Август Генрих) I 243, 246, 251
Гофштейн Давид II 381
Гоц II 584
Гоц А.Р. I 15, 218, 293, 300, 512
Гоц М.Р. I 300, 512
Грабарь И.Э. I 142; II 196
Грабарь Леонид I 215
Грабовский, депутат II 296
Гранат А.Н. I 129
Гранат, братья А.Н. и И.Н. II 378
Гранат И.Н. I 129
Грановский А. II 510
Гранофф Катя I 387
Гревс И.М. I 286
Гренцион (урожд. Чулкова) А.И. (Нюра) II 16-18
Гречанинов А.Т. II 379

Гржебин II 584
Гржебин А.З. I 158, 160, 167; II 240, 244, 247, 307-310
Гржебин З.И. I 8, 9, 129, 132, 135, 141-192
Гржебин Т.З. I 167, 181
Гржебина Е.З. (Капа) I 142, 145, 146, 149, 166, 167, 170, 182- 185
Гржебина И.З. (Буба) I 149, 152, 167, 519
Гржебина Л.З. (Ляля) I 149, 167
Гржебина М.К. I 167, 185, 191
Гржебина С.И. I 168
Гржебины Ш 165, 166
Грибоедов А.С. II 95
Григорьев Б.Д. I 10, 222, 390, 393, 403; II 204, 208, 495
Григ Эдвард I 56
Григорий, о. I 276
Григорьев К.Б. I 403, 404
Григорьева Е.Ф. I 403
Грин Уильям II 251
Гринберг А. II 577
Гринберг С.И. I 136, 181, 197
Гринкруг (прокат картин) I 441, 445
Грифцов Б.А. I 40, 52
Гробман Михаил I 519
Гродзенский С. I 451, 462
Громан В.Г. I 206, 483
Громцева М. I 441
Гросс Яаков II 339, 392, 598
Гроссер Славек II 275
Грот Н.Я. I 37; II 95
Грош Георг I 403
Грузенберг О.О. (Исраэль) I 11, 474, 485-500; II 237, 289, 370, 514, 516, 519, 533
Груннер Дов I 386
Грэвен (музей восковых фигур) I 422
Грэйс Л.Д. II 315, 316
Грюнфельд Эрнст I 452, 455, 456
Губерти Н.В. I 199
Гудиашвили Ладо II 495, 506
Гуковский А.И. I 220-224
Гуль Р.Б. I 9, 12, 49, 131, 132, 140, 141, 335
Гумилев Н.С. I 44, 126, 136, 147, 148, 231, 254, 279, 286; II 14, 360
Гурвич Аарон I 9
Гур-Арье Меир II 396
Гурвич И.С. I 392, 400, 403
Гурвич Филипп II 551, 557
Гуревич В.Я. I 176
Гуревич И. II 466, 533
Гуревич Э.Л. I 274
Гуссерль Эдмунд II 140
Гуткина С.Б. II 231
Гутман И.Е. II 222, 231, 237
Гутман Нахум I 378
Гутманович Саул (Шауль) II 305
Гучков А.И. II 219
Гюго Виктор I 117; II 265
Давид, царь Израильско-Иудейского государства I 267; II 105
Давидович Я.И. I 206
Давидсон А. II 296
Давыдов В.Н. I 279
Дадиани Е.И. II 494, 497, 503, 504
Дакен Луи I 438, 442, 445
Дали Сальвадор I 416
Далилеев В.Д. II 31
Далин Д. (Левин Д.Ю.) I 204, 205, 341, 342
Даманская А.Ф. I 148, 153, 167
Даманский А.Ф. II 520
Дамас Жак I 404
Дан Ф.И. (Гурвич) I 176, 203, 204, 213, 274, 328, 331
Данилевский Н.Я. II 98
Д'Аннунцио II 302
Данте Алигьери I 99, 424; II 599
Дантон Жорж Жак I 125
Дашевский П. I 486, 495, 496
Дворжак Антонин II 71
Деборин А.И. (Иоффе) I 212
Деген Ксения II 498
Деген Юрий II 495, 505
Декарт Рене I 120, 312; II 108, 152
Декобра М. II 224
Дектор Феликс II 610
Декуэн Анри I 442
Делакруа Эжен II 476
Делануа Жан I 445
Делевский Ю. II 242
Делоне (Терк) С.И. I 9, 392, 393, 404, 405
Демель Рихард I 171
Дементьев Р. II 231
Деми Жак I 439
Демулен Камилл I 125
Деникин А.И. I 451; II 173, 318, 319, 328
Денисов Д. II 178
Денфер А.И. II 231
Дерен Андре II 437, 478
Деренталь А. II 210
Державин Г.Р. I 64; II 22
Дерман А.Б. I 53
Дернова В.П. II 390
Деснос Робер I 111
Детайль Жан I 422

Джанумов Юрий I 243
Джойс Джеймс I 229
Дзержинский Ф.Э. I 210, 218, 477; II 276, 278
Дизенгоф Меир I 386; II 413, 415
Дикин Уильям I 234
Дикс Отто I 403
Динур Б.-Ц. II 304
Дионео-Шкловский И.В. II 223, 237, 242
Дмитриевский В.Н. I 357
Дмовский Роман II 296
Добиаш-Рождественская О.А. I 251-255, 257, 259-262, 286
Добролюбов Н.А. II 98
Добросельский А.К. II 231, 232
Добрушин Иехезкель II 381, 388
Добрушин Х. II 388
Добрушина-Энгель Вера II 388
Добужинский В.М. I 406
Добужинский М.В. I 135, 142, 143, 145, 147, 279, 391-393, 399, 406; II 467
Добужинский Р.М. I 406
Довгалевский В.С. I 184, 188, 192
Долеванс Э. II 555
Долгушин Юрий II 496
Доминик Жан-Франсуа I 308
Доминик Катрин I 308
Доминик (Аронсон Лев) I 445
Доминик Натали I 308
Домогацкий В.Н. I 423
Дон-Аминадо (А.П.Шполянский) I 10, 132, 140; II 204, 216
Донат Александр I 56
Донген Кес Ван I 363
Донской М. С. II 393
Дорошевич В.М. II 202
Достоевский Ф.М. I 114, 137, 147, 155, 179, 198, 440, 502; II 42, 113, 120, 122, 123, 128, 140, 224, 360, 531
Дояренко, проф. I 483
Драйзер Теодор I 434
Дрейфогель Е.П. II 231
Дрейфус Альфред I 37 120, 300, 380; II 371, 549
Друянов Альтер I 83-85; II 304
Дубнов С.М. I 466, 474; II 249, 251, 262, 271, 279, 280, 282, 354, 514, 519, 536, 543
Дубнов Я.С. II 270
Дубнова Ольга (О.С.) II 270, 559
Дубнова-Эрлих С.С. II 247, 249-284
Дубнова II 270, 272
Дубровский Н. II 296
Дудаков С.Ю. I 447, 448, 509, 519; II 587-589, 590-593, 595, 596
Дуз-Хотимирский Ф.И. I 448; II 587, 594-595
Думажевский А. II 193
Дурас Олдржих I 455, 456, 460
Дурново Е.П. I 269; II 78
Дурново Н.Н. II 70, 78
Дурново П.А. I 269
Дуров В.П. I 101
Дуссан И.В. II 216
Духан, д-р I 353
Духонин Н.Н. I 451
Дуцман В.Л. II 248
Дьбенко П.Ф. I 320, 323
Дьякова О. I 132
Дэвис Ричард I 145
Дюболь, министр I 321, 323
Дюбуа У.Э. I 230
Дюшан Марсель II 488
Дягилев С.П. I 7, 194, 196, 404, 406, 437, 438; II 463, 488, 537
Евгения Юдифовна – см. Рапп Е.Ю.
Евлогий, митрополит I 330, 506
Евреинов Н.Н. I 70, 403, 440, 510; II 219, 495, 497, 498
Евреинова А.А. I 403, 404
Евстигнеева, директор музея I 401
Ев. Фр. – см. Роговский Е.Ф.
Едличка Эрнест II 385
Ейтс Ф.Д. I 452
Елина Н.Г. II 507, 545, 599
Елина (урожд. Перельман Неха) Н.Ф. II 565
Елькин Б.И. I 336
Ерофеев Виктор II 141, 163
Есенин С.А. I 7, 22, 105, 257; II 273, 405, 435
Ефимовский Е.А. I 168
Ефройкин И.Р. I 58, 73
Ефрон И.А. I 8, 129
Жаботинская Т.Е. II 294
Жаботинский В.Е. (Зеев) I 13, 67, 75, 77-81, 139, 209, 376, 470, 486, 498; II 247, 285-306, 339, 346, 348-350, 355, 363, 364, 390, 398, 419-432, 473, 507, 546, 557, 566-568, 575-577
Жакмар-Андре II 437, 438
Жакоб Макс I 99
Жамм Франсис I 98
Жданов А.А. I 335, 337
Желеньский Боб II 254
Желябов А.И. I 320, 323
Жерар Франсуа II 24
Жеромский Стефан II 273, 274
Жид Андре I 109, 439; II 58, 59, 62, 63

Жид Эдуард I 439
Жильсон Этьенн II 107, 113
Жобер Морис I 443
Жордания Н.Н. I 209
Жорес Жан II 420
Жорж Вальдемар II 472
Жорж-Пико Нина I 513
Жоффр Жозеф Жак II 582
Жукова Лидия (урожд. Цимбал) I 206
Жуковский В.А. I 514
Забежинский Г.Б. I 135
Зайдлер Георгий I 442
Зайцев Б.К. I 8, 45, 46, 40, 54, 70, 150, 155, 156, 219, 296, 321, 324; II 9, 44-50, 52, 219, 223, 232, 600
Зайцева-Соллогуб Н.Б. II 45, 49
Зайцевы I 10
Зак Л.В. I 277; II 159, 504
Закс А.С. I 135, 177, 178, 182, 223
Закс-Абрамова Аяла I 380, 382
Закс С.М. (Гладнев) II 309, 310
Залкинд А.В. I 353
Залкинд Виктор I 91
Залман Ш. II 304
Зальцман Александр II 498
Зальцман С.Д. II 300
Замуэль Р.И. II 231
Замятин Е.И. I 101, 103, 106 147, 153, 155, 437; II 85
Зангвилл Израэль (Исраэль) I 469
Занд Жорж II 104
Заратустра I 103
Зарб Арнольд II 494, 501
Зарецкий Н.В. I 196
Зарудный А.С. I 333, 335
Заусайлова А.Ф. I 415
Захарченко Л. II 231
Заяицкий С.С. I 48
Збер-Зильберберг Ф. II 192
Звенигородский А.В. II 188
Зворыкин Н.Н. I 276
Зворыкины I 287
Зданевич Илья II 29
Зданевичи, братья II 506
Зевин Лев II 443
Зейдеман Арнольд II 575
Зеленин Д.К. II 80
Зелинский К.Л. I 254
Зелюк Орест I 328, 331; II 243
Земиш Фридрих I 450, 452; II 594
Зензинов В.М. I 9, 293, 340, 341, 500
Зеньковский В.В. II 101, 141, 158, 162-164
Зеринг Макс I 482
Зет В. II 231
Зив Вениамин II 222, 225, 231
Зик О.И. II 231
Зильберберг З.М. I 133
Зильберг Иоэль II 413
Зильберштейн И.С. I 166, 401
Земит-Зимин II 65
Зиммель Георг II 540
Зиновьев Г.Е. I 177; II 213, 534
Зислин Юдифь II 492, 610
Златовратский Н.Н. I 46
Змигродский И.И. I 197, 200
Зноско-Боровский Е.А. I 454, 462
Зогар Ури II 413
Зощенко М.М. I 48, 337; II 214, 232
Зубашев Е.Л. I 276, 286
Зуров Л.Ф. II 56, 62
Ибсен Генрик II 273
Иванов А.С. II 9, 31, 599
Иванов В.В. I 48, 108, 219 288
Иванов В.И. II 495
Иванов Г.В. I 136; II 24, 31, 232, 500, 505
Иванов-Козельский М.Т. I 121
Иванов М.С. II 584
Иванов-Разумник Р.В. I 53; II 127, 131
Иванов Сергей I 411
Иванцов-Платонов, философ II 95
Иваск А.А. II 192
Иваск У.Г. I 199; II 192-194
Иваск Ю.П. I 265; II 51, 52, 64, 435, 436
Ивенс Йорис I 442
Игнатьев А., граф II 580, 584, 586
Игумнов К.Н. II 379
Идельсон А. II 576
Иегошуа А.Б. II 604
Иерусалимский Э. II 304
Изабелла Кастильская II 570, 576
Извеков, священник I 197
Изгоев (Ланде) А.С. I 276; II 163, 224, 237, 529
Измайлов А. II 33
Изюмов А.Ф. I 276
Иисус Христос I 114, 255; II 121, 130, 131, 133, 153, 162, 377, 392
Иконников В.С. I 199
Илигсон Г. II 231
Иловайский Д.И. I 264, 265
Иловайский О.Д. I 265
Ильин В.Н. II 117, 121
Ильин И.А. I 44
Ильин И.И. I 276
Ильф И.А. II 214, 232

Ионов (И.И.?) I 160
Иофе Иуда II 86
Иоффе А.Ф. I 287, 480, 482, 484
Ирецкий В.Я. I 243, 276
Исаковский М.В. I 509
Истомин Н.П. II 231, 232
Ицхак А. бен II 28
Йетс У.Б. I 230
Кабаков И.О. I 394
Кавалеридзе И.П. I 422, 424, 431, 435
Кавальканти А. I 442
Кавелин К.Д. II 95
Каверин В.А. I 442
Каган А.С. I 8, 129, 134, 136, 197, 274, 276
Каган Виктор I 476, 510
Кадиш М.П. I 135
Казальс Пабло II 475
Казан Э. I 443
Казовский Г.И. I 368, 389
Кайзер В. II 577
Кайо Жозеф I 122
Кайятт Анри I 439
Калина Анна (Нюта) I 237, 239, 240
Калинин М.И. I 211
Каллистратов М.А. II 231
Калнынь И.И. II 231
Калнынь Я. II 232
Кальманович С.Е. I 167
Каляев И.П. I 15
Каменев Л.Б. I 210, 212, 218, 357; II 561
Каменецкий Б. –
см. Ю.Айхенвальд
Каменка Александр I 436, 438; II 208
Каменский Василий II 495
Каминка А.И. I 134; II 525, 531, 534, 535, 543
Каминская Эстер-Рохэль II 384
Каминский И. II 384
Кампанеец Яков I 437, 440-442
Кандинский В.В. I 391, 415
Каннак Евгения I 242, 252, 510, 511; II 600
Каннак Рене I 511
Капабланка Х.Р. I 447, 450, 452-454, 456, 458, 460; II 589, 592-594
Капитайкин Э.С. (Эди Капит) I 25, 511, 519; II 507, 509-511
Каплан Вера II 165, 167, 246, 599, 600
Каплан Я. II 201
Карабачевский, сотрудник "Еврейской трибуны" II 242
Карамзин Н.М. II 46
Карасик З.М. I 191
Каратыгин В.Г. II 389
Кареев, капрал II 328
Кареев Н.И. I 286
Каринский М.И. II 95
Карл Лысый I 245
Карлейль Томас I 348; II 57
Кармиц, кинематографист I 439
Карни Й. II 384
Карнэ Марсель I 443, 445
Карпов А.Е. I 454, 456
Карпович М.М. I 317, 321-323, 326, 342; II 520, 527, 543, 544
Карс Жорж I 364, 375, 383
Карсавин А.П. I 198
Карсавин Л.П. I 44, 267, 269, 276, 282, 283; II 600
Карсавина Т.П. I 10, 438
Карташов А.В. I 320, 323, 325; II 146, 147
Картье –
см. Тартаковер С.Г.
Каспаров Г.К. I 447, 454
Карцевский С.О. II 78
Кастелянский Абрам II 280
Катаев В.П. I 48, 451; II 232
Катуар Г.Л. II 379
Каужинский Ицхак II 414, 415
Кауфман Б.А. I 437, 442
Кауфман Д.А. (Дзига Вертов) I 442; II 394
Кауфман М.А. I 442
Каффа Мельхиор I 512
Кац Ицхак II 414
Кац Лейзер II 465
Кац Л.З. I 133
Каценельсон И. II 28
Кацнельсон Берл I 84
Кацнельсон Л.С. II 577
Кацнельсон Н. II 577
Качалов В.И. I 229; II 536, 540
Кашинцев И.Н. II 289
Кашкин Н.Д. II 378, 379
Кальманович С.Е. I 150, 167
Кельбер Михаил I 442
Кельнер В.Е. I 253, 511
Кемпстер II 570
Кеннан Джордж I 238
Керенский А.Ф. I 10, 222, 295, 305, 316, 317, 320, 323, 328, 331, 333, 334, 340-342; II 21
Керес П.П. I 452, 455; II 593
Кершинский Р.В. II 231, 232
Кессель Осип (Жозеф) I 442
Кживицки Людвик II 266
Кживицкая Ирэна II 254
Кибальчич Н.И. II 39

Кизеветтер А.А. I 274, 276; II 223, 232
Кизеветтеры I 286
Кики, натурщица II 450
Кикоин Михаил I 422; II 442
Киммель Н. I 196
Кин Р.Д. I 462
Киплинг Р. (Джозеф Редьярд) I 144
Кипнис Марк I 519
Киреевский И.В. I 27; II 95
Киркегард –
см. Кьеркегор
Кирсанов Дмитрий I 437, 440
Киршон В.М. I 213
Киршрот Я. II 296
Кислинг Моше I 363, 368; II 437, 446-450
Киссин С.М. (псевд. Муни) II 16, 17, 27
Кистяковский Б.А. II 163
Кишкин Н.М. I 274
Классен А. II 231
Классон Р.Э. I 212
Клаузнер И. II 549, 565
Клаузнер Иосеф Гдалия II 602
Клее Альфред I 473
Клейман М. II 304
Клеман Рене I 442, 445
Клемансо Жорж I 122, 123
Клементис Владимир II 83
Клементьев Александр I 242; II 9, 44, 600
Клеопатра I 396, 398
Климов М.Г. I 278
Клопотовский (Лери) В.В. II 231, 236
Клузо А.-К. I 445
Клуцис Г. II 483
Клэр (Клер) Рене I 438, 442, 443, 445
Клячкин Рафаэль II 416
Клячко, племянник Л.Бакста II 457
Клячко Л.М. I 129
Клячко (урожд. Розенберг) С.С. II 460
Кнебель И.Н. I 129
Книпович Н.М. I 173
Кнут Довид (Фихман Д.М.) I 10, 11, 55-73, 288, 298, 445; II 59, 390, 391
Кнут Иоси II 391
Князев Б.А. I 415
Кобергер Антон II 188
Кобленц А.Н. I 447
Кобылянская Е.И. II 231, 237
Кобылянский И.Д. II 231, 238
Ковалевская С.В. I 510
Ковалевский И. II 231
Коварский И.Н. I 13, 20, 23
Коган, кинооператор II 392
Коган А.Э. I 8, 135
Коган Дора II 433, 481, 492, 600, 601
Козаков М.Э. I 215
Козинцев Г.М. II 393
Козлов, философ II 95
Козлов Н. I 276
Козловы I 287
Козырев Н.Г. (псевд. Бережанский) II 221, 222, 234
Кокошка Оскар I 237
Кокошкин Ф.Ф. II 511, 518, 528
Кокто Жан I 443
Коларосси (частная Академия в Париже) I 422
Колкер Юрий II 9, 11, 29, 30, 601
Колле Эдгар I 450; II 594
Коллонтай А.М. I 320, 323, 326, 330, 331
Колодный Л. I 287
Колокольников, проф. I 212
Колосков И. II 175
Колпинский Ю.Д. II 598
Колубовский Я. II 99
Кольцов М.Е. I 84, 118
Коменский Я.А. II 85
Комиссаржевская В.Ф. I 424, 425
Кон Эрих I 448
Кондратьев Н.Д. I 477, 483
Коненков С.Т. I 365
Кони А.Ф. I 148, 466, 469
Коновалов А.И. I 337; II 519
Конрад Джозеф I 125
Константинов П. II 231
Константинович (Констант) М.М. II 455, 456, 458-460, 463
Константинович Никола II 456, 459, 460, 463, 464
Константинович Пьер II 456
Конюс Г.Э. II 379
Копелев Л.З. I 509
Копельман С.Ю. I 143
Копылов Л. I 216
Корба И. II 186
Корвин-Пиотровский В.П. I 243
Корде Шарлота II 291
Коржанский Н. II 289
Кормон Фернан I 422; II 466
Коровин К.А. I 392, 415; II 600
Короленко В.Г. I 37, 46, 192, 486, 490, 500; II 344, 357
Король-Пурашевич Л. II 232, 234
Корона А.А. I 413
Кортасар Хулио I 104
Корцов М. I 282
Корчной В.Л. I 458
Косма Жозеф I 443

Коссович А.В. II 231
Костаки Г.Д. I 418
Костанди Кирьяк II 503
Костиков В. I 287
Костич Б. I 452
Костров Т. I 212
Котов А.А. II 594
Кохен Г.Д. II 140
Кошко А.Ф. II 210
Козн Алессандр II 558
Козн-Цебек Э. II 201
Кравченко В.А. I 340, 341, 514
Крайз Ц. II 295
Крандиевская Н.В. II 58
Краних фельд В.П. I 52; II 290
Красин Л.Б. I 172, 177; II 326, 327
Краснов П.Н. I 503
Крауц Э.И. II 231
Кремень Пинхас (Пинкас, Пинхус) I 11, 422; II 437
Крестинский Н.Н. II 63
Кречетов С. II 538
Кржиоблоцкий Г. II 231
Кржиоблоцкий П. II 231
Кржижановский Г.М. I 210
Кривицкая Марина I 308
Кривицкая Мария I 306
Кривицкая Мишлин I 308
Кривицкая Софья I 306
Кривицкий Жан Ален I 306, 308
Кривицкий Поль I 303, 305, 308
Кривицкий Роман I 306
Кривицкий Саня I 306
Кривцовы, братья I 27
Кридль Манфред II 266
Криммер Б.Р. II 193
Кристи, аукцион I 397
Кристиан Жак I 445
Крог Пер I 107, 372
Кропоткин П.А. I 15
Кругликова Е.С. I 421
Крумбах Зинаида (Кромбах или Грумбах) I 88, 89, 95, 96
Крумминский А.В. II 231, 232
Крупская Н.К. I 432
Крученых Алексей II 76, 182, 495, 497, 498, 502, 505, 506
Крушеван Павалакий I 495
Крыленки II 66
Крыленко Н.В. I 212
Крылов В.А. II 291
Крючков П.П. I 163, 167, 186-190
Кугель А.Р. I 467
Кугель Р I 467
Кудрявцев В.М. I 276; II 95
Кудрявцев-Платонов В.Д. II 94, 95
Кузанский Н. II 156
Кузнецова Галина II 55, 63
Кузьмин (Кузмин) М.А. I 67, 134, 147, 148, 168, 254; II 495
Кузьмин-Караваев Д.В. I 276, 287
Куинджи II 584
Кулешов В.И. I 52
Кулишер И. II 577
Кулишер М.И. II 168
Кульпа Е.У. II 194
Кунин Иосиф II 378, 389
Купер Дафф I 237
Купер Мартин I 238, 240
Купер Фенимор I 147
Купер Эмиль I 278; II 206
Куперман М.Л. II 217
Куприн А.И. I 70, 106, 143, 147, 150, 154, 182, 296, 503, 505; II 59, 71, 204, 205, 212, 217, 223, 232, 294
Купченко Володя I 309
Курбас Лесь II 510
Курбе Гюстав II 442
Куртенэ Бодуэн де I 197
Кускова Е.Д. I 274, 276, 286, 310, 313-316, 318-322, 324-328, 330-342
Кустодиев Б.М. I 426
Куталевский, высланный в 1922 г. I 276
Кутепов А.П. II 214
Кучеров С.Л. I 134; II 242
Кшесинская М.Ф. I 294, 297
Кюи Ц.А. II 374
Кьеркегор (Киркегард) Серен II 100, 116, 123
Лавинь Рене II 480
Лавренев Б.А. II 214
Лаври М. II 384
Лавров Валентин II 56, 63
Лавров П.Л. I 15
Лагардель Ю. I 144
Лагерлеф Сельма I 144
Ладыжников И.П. I 137, 145, 156, 170, 181; II 308, 310, 319, 321
Лазарев А.М. II 100, 101
Лазаревский, проф. I 279
Лазаревский Б.А. II 38
Лазаревский Н.И. II 525
Лазарюс, первый муж А.Скрябиной II 391
Лазарюс Батия II 391
Лазерсон М.Я. I 500; II 238
Лайвенек Н.И. II 231

Лайош Лазар II 416
Лампен Георгий I 440, 445
Лангевец В.Ф. II 231
Ландау А.Ф. II 534
Ландау Г.А. I 46, 141; II 238, 534, 535, 543
Лансере Е.Е. I 143, 421; II 463
Лаплас П.С. I 312
Лапшин И.И. I 276, 279, 286
Ларин Б.А. II 78
Ларионов М.Ф. I 7, 222, 288, 293, 296, 305, 391-393, 399, 403, 406, 407; II 76
Ларский Гельмар II 411
Ласкер Эмануэль I 207, 208, 434, 447-449, 452, 453, 455, 456, 458, 460; II 587, 589
Ласунский О.Г. I 74, 193, 511; II 91, 93, 181, 601
Латт Л.Я. I 361, 512, 519; II 433, 465, 602
Лаурентис Дино ди I 439
Лацисы II 66
Лебедев В.В. II 214
Лебедева Наташа I 293
Лебедева Рая I 293
Леблон Александр I 514
Леванда Л. II 343
Левен (Левин) Шмарьяху I 469
Левенсон А.Г. I 134
Левенсон А.С. I 194
Леви А.И. II 231
Леви Иегуда II 594
Левидов Михаил I 217
Левидов (Левит) М.Ю. I 462; II 593
Левин Б. II 214
Левин В.Д. II 606
Левин (псевд. Лугин) Г.А. II 238
Левин И.О. I 141
Левин-Мишле Михаил I 437, 441
Левинсон А.Б. I 25, 133, 156
Левинсон А.Я. I 167
Левитан И. I 137, 140, 141
Левитан И.И. I 22, 27; II 584
Левитина В. II 291, 300
Левитский С.М. I 460
Леви-Стросс II 80
Левицкий С.А. II 145, 161, 163, 164
Леже, жена Ф.Леже I 408
Леже Фернан I 107; II 437, 438
Лейбниц Г.-В. II 149
Ле Корбюзье Ш.Э. I 105
Лекьер Жюль II 100
Леман Ю.Я. I 421
Ленау Николаус I 147
Ленин (Ульянов) В.И. I 15, 97, 122, 126, 153 172, 177, 178, 182, 191, 204, 208, 212, 218, 273, 274, 281, 328, 330, 334, 340, 391, 430, 432, 435, 466, 477, 484, 516, 518; II 52, 98, 213, 241, 247, 251, 299, 307, 315, 327, 370, 402, 496, 543
Леонардо да Винчи I 120
Леонов Л.М. I 108
Леонтьев К.Н. I 125
Лепкая А. II 231
Лермонтов М.Ю. I 155, 275, 279, 292, 518; II 95, 224, 506
Лернер Н.О. I 53
Лесгафт П.Ф. I 179
Лесков Н.С. I 147, 155
Лесман М.С. I 309
Лессинг Г.Э. II 577
Лещинский Я.Д. I 482; II 228
Либединский Ю.Н. I 48
Либер (Гольдман) М.И. I 176
Либерман Цви II 409, 410, 412
Либкнехт Карл I 320, 323, 331; II 262
Лидарцева Н. I 446
Лидин В.Г. II 198
Лидия Юдифовна – см. Рапп Л.Ю.
Лилиенблюм М.Л. II 343, 549
Лилиенталь А.А. I 455, 456, 460; II 587, 591, 595
Лилиенфельд А. II 231
Линкольн Авраам I 395
Листе, маршал II 328
Липинская Дэла I 445
Липшиц Жак (Яков, Х.Я.) I 107, 368, 422
Лисицкий Л.М. I 135
Лисицкий Эль (Л.М.) I 104-106; II 190, 468
Лисовский Н.М. I 199
Лиссим Симон I 418, 420
Лист Ференц II 390
Литаи А. II 304
Литвак Анатолий I 440, 442
Литвинов М.М. II 251
Литвин-Эфрон С.К. II 291
Лифарь С.М. I 7, 194, 296, 400; II 537
Лихман Иехуда II 411
Лице Р. II 231
Ллойд Джордж Дэвид I 122
Лобанов-Ростовский Д.И. I 512
Лобанов-Ростовский Н.Д. I 9, 390, 392, 512, 513, 519 II 454, 456, 457, 459, 463
Лобачевский Н.И. II 95
Лодыженский И.И. I 274, 276
Ло Гатто Этторе I 159
Лозинский Г.Л. I 134, 148
Лозинский М.Л. I 244, 252, 254
Локкарт Брюс I 239

Лопатин Г.А. II 289, 316, 317, 578
Лопатин Л.М. I 37; II 95,
Лосев А.Ф. II 163
Лосская В.К. I 264, 513; II 62
Лосский Б.Н. I 273-275, 514, 519
Лосский В.Н. I 282, 286
Лосский Н.О. I 198, 273, 274, 276, 279, 514; II 161
Лот-Бородина М.И. I 261
Лот Фердинанд I 260, 261
Лоти Пьер II 318, 319
Лоуренс Томас II 336
Лохвицкая –
см. Тэффи Н.А.
Лубянникова Екатерина I 309
Лукьянов А.А. II 292
Луначарский А.В. I 22, 147, 160, 174, 176, 177, 179, 180, 182, 191, 206, 210, 389, 429, 430, 432, 435; II 98, 144, 306, 310
Лундберг Е.Г. I 134; II 309, 310
Лунц, д-р II 577
Лунц Л.Н. I 48
Лурье В.Г. II 231
Лурье Евгений I 437
Лутохин Д.А. I 274, 276
Лутохины I 287
Львов Г.Е. I 237, 315
Львов Люллий II 208, 504
Львов Н.А. I 514
Любимов Лев II 593
Любич Эрнст I 442
Любомирская (Козельская),
Нимфа Бел-Кон (А. А.) II 497, 498, 500
Людвиг Эм. II 224
Людендорф Эрих I 122
Люксембург Роза II 262
Люмет Сидни I 443
Люмьер, братья II 392
Люси, жена П.Крога I 372
Лютер Мартин I 282; II 123, 132, 133
Лядов А.К. II 389
Лярусс II 447
Ляскос Шуламит II 565
Ляцкий Е.А. I 53
Маалями А. II 384
Маген (Мажен) II 391
Маген (Мажен) Эли II 391
Мад II 213, 215
Мазе Я.И. II 577
Мазон Андре I 245, 249, 250; II 68, 69, 87
Мазурин, рус. революционер I 15
Майданский В.М. II 577
Маймон Б. II 467
Маймонид (Моше бен Маймон) II 132
Макаржовский, лингвист II 78, 79
Макаров Н.П. I 477, 483
Маккавеи II 355, 378, 478
Маклаков В.А. I 231, 316, 317, 320, 323; II 44, 203, 204, 514, 519
Маковский С.К. I 426; II 495-497, 504
Мак-Эвой II 224
Максим Лев (наст. имя Асс М.М.) II 231, 238
Малевич К.С. II 76, 483, 487
Малевич М.М. II 602
Малевич О.М. II 9, 65, 602
Малишвецер Янкель I 467
Малкина Е.Р. I 254
Малченко А.Л. I 210
Малый Евг. –
см. Пти
Мальро Андре I 111
Мальцевич И. II 231
Малявин Ф.А. I 288, 429
Мамин-Сибиряк Д.Н. I 46
Манассеин, министр I 468
Мандельштам А.Н. II 172
Мандельштам М.Е. II 577
Мандельштам О.Э. I 100, 136, 167, 231, 288, 510; II 29, 495
Мане-Кац Мануэль I 422; II 433, 465-480
Мане Эдуард II 474
Мансырев В. II 234
Мануйлов В.А. I 276
Манухин И.И. I 182, 324
Манухина Т.И. (псевд. Т.Таманин) I 324
Манухины I 322, 324
Манфред Ирина II 454
Манэ-Катц М.Л. –
см. Мане-Кац Мануэль
Марат Жан-Поль II 291
Марголин Д.С. II 577
Марголин З.А. II 196, 198
Марголина О.Б. II 24, 27
Марголины II 198
Маргулиес М.С. I 155, 167, 176
Мария Ивановна –
см. Гликберг М.И.
Мария Федоровна (Романова),
императрица II 295, 300
Маркиш Перец II 469, 475
Марков А.И., сын Е.З.Пешковой-Марковой II 338
Марков Н.Е. II 176
Маркс Адольф II 210
Маркс Карл I 144, 208, 424, 508; II 143, 144, 278, 370

Маркус Р. II 140
Мароци Геза I 450, 452, 456, 461; II 594
Мартинсон А.Я. II 231
Мартов Лев (Цедербаум Ю.О.) I 15, 152, 155, 176, 197, 204, 230; II 251
Маршалл Фрэнк I 452, 456, 460
Масарик Томаш I 283, 286; II 83
Массалитинов К.И. II 537
Масютин В.Н. I 135
Матезиус Вилем II 72, 78
Матезиус Богумил II 72
Матиас Р. II 231
Матисс Анри II 61, 62, 443, 444, 466
Матусевич И.А. I 46, 53, 274, 276
Махе К.Г. II 82
Махтус Г.И. II 225, 231, 238
Махтус Э.-Г. II 231, 238
Мацулевич Л.А. II 231
Маццуола, скульптор I 512
Маяковский В.В. I 48, 104, 105, 161, 212, 288, 342, 510; II 71, 75, 81, 82, 86, 87, 182, 360, 367, 394, 405, 417, 435
Мееровича Дм. II 169, 179
Меерсон Лазарь I 437, 443
Межов В.И. I 199
Мезьер А.В. I 199
Мейербер Джакомо (Якоб Либман Бер) II 374
Мейерсон Л.С. II 238
Мейерхольд В.Э. 101, 105, 397; II 85
Меликов Александр II 498
Меликова (Меликян) Александра II 498
Меллер В.Г. I 418
Меллер Ракель I 444, 445
Мельгунов С.П. I 276, 317, 320, 323, 325, 327, 333, 335
Мельникова С.Г. II 502, 506
Мемлинг Ханс I 98
Менделевич А.М. II 113
Менделе Мойхер Сфорим (Абрамович) I 466
Менделеев Д.И. I 95
Мендельсон Моше II 372
Менжинский В.Р. II 278
Меньшиков М.О. I 448, 449, 461; II 592
Мережковский Д.С. I 10, 182, 219, 223, 296; II 44, 52, 71, 127, 210, 245, 309, 310, 517
Мериме Проспер I 444
Мерсье А. I 422
Метерлинк Морис II 302
Метнер Н.К. II 378
Мечников И.И. I 324; II 584
Мещанинов Оскар II 438, 440
Мещерский В.П. I 468, 469
Мизес Якоб (Жак) I 448, 452, 454, 455, 460
Миклухо-Маклай Н.Н. I 514
Миллер Е.К. II 214
Мильеран Александр II 121
Мильнер М.-М. II 380, 383, 389
Мильруд М.С. II 223, 224, 228, 229, 231, 232, 234
Милюков П.Н. I 10, 26, 27, 30, 70, 152, 224, 295, 305, 318, 320, 323, 334, 336, 466, 473, 486, 490, 498; II 21, 44, 175, 180, 204, 242, 245, 280, 331, 511, 518-520, 529, 533, 534, 536, 537, 541, 543
Милюкова (Лаврова) Нина Васильевна I 336
Минский (Виленкин Н.М.) I 179; II 288, 292
Минцлов С.Р. II 231
Миньковский Пинхас I 348
Мираев (псевд. Михаила и Раисы Горлиных) I 242
Миркин-Гецевич (Мирский) Б.С. II 44, 167, 177, 178, 180, 242, 245
Миронов М.П. II 202-205, 216
Митрохин Д.И. I 142
Миттеран Франсуа II 368
Михайлов М.А. II 326
Михайловский Н.К. I 15; II 98
Михалевич В.А. II 231
Михельсон А.М. I 297, 321, 323
Михельсон В.В. II 231
Михельсон Наталья I 299
Михоэлс С.М. II 510
Мицкевич Адам II 13, 23, 284
Моги (Могилевский) Леонид I 440
Могилевский В.А. I 151, 166, 167
Модильяни Амедео I 99, 107, 361, 363, 364, 375, 389; II 438, 442, 482
Мозжухин А.И. II 206
Мозжухин И.И. I 7, 436, 438, 440
Моисей (Моше) I 429; II 133, 358, 378, 477, 558
Моисей С. II 266, 268, 281
Молотов В.М. I 335, 336
Монд Альфред II 398
Моне Клод II 474
Монтень Мишель де I 118; II 51
Монтефиоре Моше II 408
Моос Георг I 383
Мопассан Ги де I 144, 327
Морган, миллиардер II 326
Моргенштерн А. II 390
Мордовцев Д.Л. I 121
Морозов И. II 439, 482
Морской К. I 445
Моруа Андре II 319
Мостовенко П.Н. II 74, 75
Мотвилло И. II 231
Моцарт Вольфганг I 423; II 374

Моэм Уильям Сомерсет II 224
Мстиславский С.Д. I 176
Мукаржовский Ян II 83, 88
Мунштейн Л.Г. (псевд. Lolo) I 474, 475 II 216, 238
Муратов П.П. I 45, 49, 158, 160; II 52, 57, 58
Муромцев С.А. II 511, 518
Мусоргский М.П. II 206, 374, 376, 378
Муссолини Бенито I 334; II 208
Мутэ, адвокат I 182
Мухина В.И. I 421
Мушкат Здислав II 275
Мяги К. II 182
Мякотин В.А. I 274, 276, 333, 336
Мякотины I 287
Набоков (Сирин) В.В. I 10, 12, 46, 49, 53, 54, 70, 219, 223, 243, 441, 502, 504, 505, 510, 514; II 25, 26, 52, 56, 64, 232, 245, 520, 527, 528, 535, 537, 538
Набоков В.Д. II 56, 170, 223, 242, 246, 518, 520, 525, 533, 534, 537, 540
Набоков Н.Д. I 238, 437, 438
Надсон С.Я. I 36
Найдич И.А. I 499
Найдорф Мигель I 455, 458, 461; II 590
Нансен Фритьоф I 317; II 561
Наполеон Бонапарт I 208, 312, 313, 334
Наппельбаум И.М. I 254
Направник Э.Ф. II 374
Наталья – см. Баранова-Шестова Н.
Натан Пауль I 469
Натансон (Натанзон) Яков I 442; II 295
Натра С. II 384
Невзорова Н.Л. II 231
Невиль, художник I 422
Невский В.И. I 178
Недава Иосеф II 291, 432
Незвал Витезслав II 72, 73, 76, 77, 80, 85, 87
Ней Мишель I 122
Нейман Р. II 224
Нейман С.К. II 71, 72, 74, 76, 85
Некрасов Н.А. I 117, 179
Неманов Л.М. II 223, 238
Немирович-Данченко В.И. I 38; II 232
Нессельроде К.В. II 242
Нетте Теодор II 65, 67
Нижинский В.Ф. I 438
Никанор, архиепископ II 95
Никитин Н.Н. I 48
Николадзе Я.И. I 362, 421; II 498, 502
Николаев Н.Н. II 231
Николаевский Б.И. I 141, 176, 194, 230, 235, 333, 335; II 246
Николай (Григорьев?) II 314, 315
Николай I (Романов Н.А.) I 269; II 577
Николай II (Романов Н.А.) I 149; II 295, 300
Нилус П.А. I 25
Нимцович А.И. I 447-453, 455, 456, 458, 460-462; II 588, 589, 591, 593, 594
Ницше Фридрих I 117; II 104, 113, 123, 128, 130, 134, 144
Нишри Цви I 362, 375
Нобель Эмануэль I 504, 506
Новак Арне II 85
Новиков М.М. I 276
Новиков-Прибой А.С. II 232
Новиковы I 286
Новомеский Лацо II 83
Новомейский Моше I 85
Новоселов Ю.Д. II 231
Нольде Б.Э. I 223, 232; II 170, 216, 519
Нордау Макс II 350, 559, 565, 567
Носик Б.М. I 436, 501, 514, 519; II 9, 390, 603
Носковский Сигизмунд I 348
Нострадамус (Мишель Нотрдамский) I 99
Нуар Жак (Окснер Я.В.) II 238
Нувель В.Ф. I 148, 167
Оболенская, княгиня I 234
Оболенская Л.П. II 505
Оболенские II 505
Оболенский А.А. II 505
Оболенский В.А. II 44, 500, 505
Оболенский С.П. II 505
Огарев Н.П. I 27
Оден, писатель I 230
Одинцов Б.Н. I 276
Одоевцева И.В. (Гейнике И.Г.) I 224, 254
Одоевский, князь II 98
Оз Амос II 339, 341, 602-604
Ойстрах Д.Ф. II 605
Олеариус А. II 186
Олеша Ю.К. I 215
Ольденбург С.Ф. I 147
Опалов Л. II 504
Оранская Изабелла I 98
Оречкин Б.С. II 225, 231, 238
Ормиан Аарон (Бен Шломо) I 347, 515
Орлова Хана I 11, 361-389; II 465
Ортега (Ортега и Гасет) Хосе I 117
Оруэлл Джордж II 243
Осейн Робер I 440, 442
Осоргин (наст. фам. Ильин) М.А. I 7, 13, 17-24, 45, 74, 131, 139, 140, 153, 154, 166, 193, 219, 223, 274, 276, 335, 474,

501; II 196, 232, 553-565, 567
Осоргина-Бакунина Т.А. I 166, 276, 504, 519; II 562
Осоргины II 563
Островский А.Н. I 40, 383, 510
Отан-Лара, кинооператор I 442
Оффюльс Макс I 442
Оцеп Николай I 440
Оцуп Н.А. (Г.А.?; псевд. Г.Раевский) I 148 II 238
Пабст Георг I 442
Павлов И.П. I 173
Павлова А.П. I 156, 294; II 504, 537, 539
Палмер-Судейкин Джин I 412, 413
Пан Абель II 396, 398
Панов В.Н. II 595
Пантелеймонов Б.Г. I 82-96
Панферов Ф.И. .I 216
Паперный Владимир II 91, 122, 140, 603
Парамонов Н.Е. II 538
Парнах (Парнак) В.Я. I 73
Пархомовский М.А. I 5, 219, 229, 237, 515, 516; II 3, 247, 311, 494, 507, 578, 595, 603, 608-611
Партош Э. II 384
Парчевский К.К. II 33, 34, 41
Паскаль Блез II 113, 114, 117, 118, 120, 121, 123, 130, 132, 133, 146
Паскен (Паскин) Жюль (Юлиус Пинхас) I 363, 364, 372, 375; II 437, 438, 465
Пасманик Д.С. I 141; II 178, 242
Пассит Гр. II 223
Пастер Луи I 182, 424
Пастернак Б.Л. I 105, 113, 229, 239, 270; II 84, 380, 405, 505
Пастернак Л.О. II 28, 52, 60, 381, 496
Пацевич, компаньон С.Н.Андрониковой-Гальперн I 232
Пашенная В.Н. I 440
Певзнер Антуан I 422; II 433, 481-491, 601
Певзнер Натан I 363
Пелагий, монах II 121
Пен Й. II 470
Перельман Арон II 545, 546
Перельман Нюня (Неха) II 545, 546, 550, 551, 553, 558, 565
Перельман Эстер II 545, 546, 551-553, 558
Перец И.Л. II 384
Перов В.Г. I 421
Перовская С.Л. I 320, 323
Персье Шарль II 481
Перуц Лео II 224
Пети (Балашовская-Пети) I 297
Петлюра С.В. I 100; II 173
Петр I I 281, 514
Петражицкий Л.И. II 525
Петрицкий А.Г. I 418
Петрищев А.Б. I 276
Петров В.М. II 587
Петров Е.П. II 214, 232
Петров-Водкин К.С. I 232
Петросян Т.В. I 456, 458; II 587, 595
Петрункевич И.И. II 185, 296, 533
Печерин В.С. I 27
Пешехонов А.В. I 490
Пешков А.М. – см. Горький А.М.
Пешков З.А. (Свердлов З.М.) I 232, 237, 515; II 247, 311-338, 578-581, 583, 584
Пешков М.А. I 167; II 292, 311, 312, 318, 325, 331, 333, 336
Пешкова Е.П. II 276, 278, 289, 292, 304, 311, 317, 318, 326, 338, 493, 494, 579
Пешкова (дев. фам. Введенская) Н.А. II 325
Пешкова-Маркова Е.З. II 316, 318, 327, 334, 337, 338, 581, 583
Пикар, министр I 123
Пикассо (Руис) Пабло I 99, 105, 363, 418; II 438, 443, 448, 459, 465, 466, 472
Пиленко А.А. II 176
Пилсудский Юзеф I 121-124; II 257, 258, 274
Пильняк-Вогау Б.А. I 108
Пильский П.М. (псевд. А.Хрущев) I 46; II 223, 231-233
Пиленко-Скобцева Е.Ю. (мать Мария) I 287
Пименов С. I 441
Пиндюра Игорь II 588, 595, 596
Пинес Р.Л. II 208
Пинкевич А.П. I 147, 173, 174, 177, 181
Пинскер Л.О. II 343, 549
Пиотровский В.П. – см. Корвин-Пиотровский В.П.
Пирогов, поручик I 487
Пирогов Н.И. II 521, 542
Пирц Вася I 455
Писарев Д.И. II 548
Плавильщиков В.А. II 96
Платон II 96, 133
Платонов А.П. I 113
Платонов С.Ф. I 254, 483
Плеве В.К. II 570, 576
Плевицкая Н.В. II 214
Плеханов Г.В. I 15, 144, 328; II 524, 578
Плеханова II 584
Плисс М.Л. II 231
Плотин, философ II 123, 133, 153
Поволоцкий Я.Е. I 132

Погодин Н.Ф. II 214
Подвойский Н.И. II 308, 310
Пожарская М.Н. II 464
Пожедаев Г.А. I 393, 407, 408
Пожедаева В.Я. I 408
Познер В.С. I 440, 442
Познер С.В. II 242, 519
Покровская О. I 441
Покровский Г. I 176
Покровский М.Н. I 313
Поленов В.Д. I 421
Полнер С.И. I 276, 286
Полнер Т.И. I 335
Полонский А. I 73
Полонский Я.Б. I 194, 317, 318, 331, 332, 335, 342, 343
Поляк Борис II 222, 231
Поляк Григорий II 433, 435, 603
Поляков-Литовцев С. II 180
Поляков Л.С. II 577
Поляков С.С. I 235; II 172, 174, 179, 577
Полянский В.В. I 53, 276
Поморска Кристина II 90
Поплавский Б.Ю. (псевд. Аполлон Безобразов) I 70, 73, 445
Поржезинский В.К. I 197
Португалов-сын (сын Португалова В.О.) I 332
Португейс С.О. (псевд. Ст. Иванович) I 7, 12, 25
Поссе В.А. I 475
Поссарт Эрнест II 574, 577
Порошин Александр II 502, 506
Постников С.П. I 276
Потресов А.Н. I 25, 176
Прагер Вилли II 400
Прат Н. (Парташников А.М.) II 91, 141, 604
Превер Жак I 443
Прегели I 306
Прегель А.Н. (девичья фам. Авксентьева, псевд. Avxente) I 289, 297, 301, 303-306, 308, 309
Прегель Б.Ю. I 289, 301-303, 306, 308, 309
Прегель С.Ю. I 243, 250, 306, 503
Присманова А. I 73
Прокопович С.Н. I 274, 276, 286, 310, 314-317, 325, 326, 330- 333, 335, 337, 340, 342
Прокофьев С.С. II 378, 537, 538, 605
Протазанов Я.А. I 438, 440
Пружан И.Н. II 456, 464
Прутков Козьма II 212
Пти Эжен (Е.Ю.) II 117, 121
Пугачев Емельян I 498
Пудовкин В.И. I 442; II 394, 411
Пумпянский Л.М. I 276
Пуни, вдова И.А.Пуни I 408, 409
Пуни И.А. I 392, 393, 408, 409
Пуринь А. II 231
Пуришкевич В.М. I 46
Пуркинье Я.Е. II 85
Пушкарев В.А. I 392
Пушкин А.С. I 14, 42, 48, 114, 120, 292, 505, 518; II 12, 13, 17, 22, 84, 95, 107, 108, 138, 298, 360, 440, 531, 598, 605, 606
Пушкин Г.А. II 552
Пшепюрка Давид I 461
Пшибышевский Станислав II 593
Пэнн Александр II 360, 393, 405
Пятницкий К.П. II 285, 286, 291, 311, 317, 318
Рабинович А.И. II 587
Рабинович Гирш II 577
Рабинович Григорий I 439
Рабинович И.М. I 418
Равницкий И.-Х. II 301, 304, 549
Рагон Пьер II 480
Радаков А. II 214
Радек Карл II 214
Радищев А.Н. II 85
Радлов Э.Л. I 280; II 94
Радонежский Сергий II 175
Радуцкий В.А. II 339, 341, 392, 604
Раев М.И. I 6, 7, 12; II 91, 100, 605
Раевская-Хьюз О. I 141; II 246
Радин Иван II 500, 505
Разаматт Аня II 462
Разаматт Жорж II 459, 460, 462
Разаматт Соня II 462
Разаматт Элен II 462
Разгон Александр I 13, 139, 515, 519
Разумный Александр II 393
Райзман Ю.Я. II 393
Ракинт В.Н. I 136, 197
Раковский Х.Г. II 214
Ран-Яновская (Голинкина) М. I 347, 349
Рамба А. II 565
Рапп Е.Ю. II 118, 120
Рапп Л.Ю. II 120
Рассел Бертран I 230, 238
Ратнер М. I 197; II 93, 527
Рафалович С. II 493, 497, 499, 505
Рахманинов С.В. I 70; II 379, 380
Рейзен М.О. I 515
Рейзин, художник I 369
Рейн Белла I 441
Рейнак Соломон II 242
Рейс Игнатий I 267
Рейснер С. I 12
Рейтблат А.И. I 35, 516

Ремарк Э.М. I 181; II 224
Рембо Артюр I 99
Рембрандт II 466
Ремизов А.М. I 8, 45, 49, 70, 87, 91, 92, 94, 104, 106, 147, 150, 153, 155, 156, 268, 503, II 52, 117, 121, 127, 435, 603
Ремизов Н.В. (псевд. Ре-ми) I 392, 393, 409
Ремизова С.П. I 148, 167
Ремюза (г-жа) де I 312
Ренуар Жан I 436-439, 441, 443, 445
Репин И.Е. I 421, 434; II 494, 503
Репнин Н.В. I 122
Рерих Н.К. I 416; II 529
Рети Рихард I 447, 449, 450, 452, 460; II 594
Решевский Самуэль I 452, 458, 461; II 587, 591
Решетников Ф.М. I 331
Рещикова В.А. (урожд. Угримова) I 287
Ривера Диего I 98, 222
Ризов, посол I 79
Риман Х. II 378
Римский-Корсаков Н.А. II 206, 374, 376, 378-380
Рисс, лингвист II 70
Ришелье Дюк де I 120
Робакидзе Григорий II 495, 506
Робеспьер Максимилиан I 313; II 66
Ровина Хана I 373
Рогинская-Энгель Ада II 377, 380, 388
Роговский Е.Ф. I 94, 316, 317, 325, 333, 336
Рогусский Станислав I 348
Роден Огюст I 362, 372, 385, 422, 512
Роденский Шмуэль II 416
Роджерс Г.П. (в замуж. Фаррер) II 318, 319, 334, 335
Родзевич К.Б. II 54
Родичев Ф.И. II 242, 520
Родов Илья II 481
Родченко А.М. I 101; II 76
Роже Вадим I 439, 440
Роза Васильевна, торговка I 148, 167
Роза М. II 261
Розанов В.В. I 52, 144, 198, 199, 213, 466; II 122, 140, 288, 292
Розанова М.В. II 61
Розенберг А. II 199
Розенберг В.А. I 276
Розенберг Мюррей (Моше) II 392, 396
Розенберг Самуил II 461
Розенберги I 287
Розенталь, ювелир I 503
Розенталь К. II 231
Розенцвейг Ф. II 153, 154, 158, 160, 163
Розов Израиль II 575
Розовский Ш. II 380
Роллан Ромен I 311; II 58, 265, 387
Романов Константин (псевд. К.Р.) I 213
Романов П. II 232
Романовский П.А. I 454, 462; II 591
Романовы, династия I 14
Ромм А.Г. I 368, 389; II 591
Ромм М.И. II 393
Россини Джоаккино II 206
Россиянский М.М. II 142, 163
Ростовцев М.И. II 170, 519
Ротбард С. II 231
Ротшильд, барон II 415
Ротшильд Хауард (Говард) I 399; II 458
Рошаль Г.Л. II 393
Роше К.К. II 36, 38, 39, 41
Роше Сергей II 39
Рощина-Инсарова Е.Н. I 440; II 204
Рубакин А.Н. II 336
Рубакин Н.А. I 194
Рубин И.И. I 206
Рубин Реувен I 378-380; II 465
Рубин Эстер I 378
Рубинштейн II 584
Рубинштейн А.К. I 447-450, 452, 453, 455, 456, 458-461; II 587, 589, 591, 594, 595
Рубинштейн А.Г. II 377, 378, 389
Рубинштейн Артур I 222, 265
Рубинштейн Б.Н. I 137; II 309, 310
Рубинштейн Ида I 396, 424; II 207, 208
Рубинштейн Р.Г. II 231, 235
Рубинштейн Реувен II 562
Рубинштейн Я.Л. II 172
Рудин А.К. II 231
Рудль П.Ф. II 231
Руднев В.В. I 220, 221, 223, 293; II 167, 242
Руднева В.И. I 293
Руднева В.М. I 300
Рудневы I 299
Руманов А. II 202
Рудольф Э. II 182
Рупин Артур II 396
Русанов Н.С. I 176
Рутенберг П.М. I 79; II 229
Рыбак И. бен II 465, 468, 470, 480
Рыжкина М.Н. I 254
Рыков А.И. I 206; II 214, 561
Рындина Марина II 14, 16
Рысс П.Я. I 153, 168, 325, 326, 332; II 167, 176, 180, 242
Рэй Николас I 443
Рябушинская Татьяна I 294

Саади II 437
Сабатье Огюст II 204
Савельева М.А. II 231
Савина М.Г. I 31, 424
Савинков Б.В. II 179, 214
Савинов Василий II 503
Савицкий П.Н. II 80
Савостин (М.М.?) II 318, 319
Садовский Б.А. II 30
Садуль Жорж I 438
Сазонов (Созонов) Е.С. II 576
Саксе Анна I 314-316
Саламсон Б. II 231
Саломон Андре I 105
Салтыков-Щедрин М.Е. I 36, 147, 155, 511; II 311, 344
Сальве Г.С. I 455, 460, 461
Саминский Л. II 380
Самойлов Д.С. II 405
Самокиш Н.С. I 421
Сандрар Блез I 107
Сапунов С. II 600
Сарабьянов А. II 504
Сартр Жан Поль II 58
Сафир, раввин I 469
Сафир М. II 31
Сафонов В.И. II 375
Сафра Михаил I 439, 440
Свентоховский А. II 296
Свердлов Я.М. I 15, 237; II 311, 578
Светлов М.А. I 71
Светловский В. I 332
Свидлер А.Л. II 231
Свифт Джонатан I 171, 217
Святополк-Мирский Д.П. I 267, 269
Сев Л.А. II 168, 518
Северянин И.В. II 232
Сегал Д.М. I 519; II 601
Сегал Иерушалаим II 393, 401, 404-406, 408, 414, 415
Сегаль Гдалия II 401
Седенко-Витязев Ф.И. I 130
Седмак Р. I 442, 445
Седых Андрей (наст. фам. Цвибак Я.М.) I 69-72, 92, 93, 117, 311, 441; II 45, 63, 205, 216, 219, 238
Сезанн Поль II 439, 444, 445, 466, 491
Сейферт Ярослав II 72, 76-78, 80, 85, 87
Сейфуллина Л.Н. II 272
Селиванов А.С. I 276
Селивановы I 287
Сельвинский И.Л. I 215
Семашко Н.А. I 432
Семятицкий А. II 304
Сен Виктор Поль де I 117
Сенкевич Генрик I 121; II 363
Сен-Санс Камиль II 318, 319
Сергеев-Ценский С.Н. I 211
Сергеенко А. II 175
Серебряков А.Б. I 393, 409-411
Серебрякова Е.Б. I 411
Серебрякова З.Е. I 232, 409, 411
Серебряковы I 391, 397, 411
Серов А.Н. II 374, 389
Серов В.А. I 143, 288, 308, 489; II 389, 444
Серова (урожд. Бергман) В.С. II 389
Серман И.З. II 606
Сетер М. II 384
Сигети Йожеф II 605
Сикейрос Давид I 98
Симеон Богоприимец II 148
Симонов К.М. I 300, 314, 315
Симпсон, гувернантка I 292
Синьоре Симона II 443
Синявский А.Д. II 61
Сирин –
см. Набоков В.В.
Сирота Гершон II 299
Скаруффи Эллен II 101
Скафтымов А.П. II 75
Скерст Оскар фон I 196
Скиталец С.Г. (наст. фам. Петров) I 466; II 493
Скобелев М.И. I 318, 323
Скоблин, генерал II 214
Сковорода Г.С. II 95
Скот Дунс II 108, 113
Скрябин А.Н. I 55; II 378, 390
Скрябина Ариадна (Сара, Регина, Режин) I 71-73; II 59, 60, 390, 391
Скрябина-Шлецер Т.Ф. II 390
Слиозберг Г.Б. I 469, 474; II 204, 242, 507, 514, 519, 543, 566-577
Словацкий Юлиуш II 284
Слоним М.Л. I 9, 265
Слонимский М.Л. I 48, 147
Смилянский Моше (псевд. Хаваджа Муса) II 358
Смирдин А.Ф. I 196; II 96
Смирнов Н.А. II 231, 232
Смирнов Н.П. I 199
Смирнов С.А. II 543
Смоленский П. II 343
Смит, гувернантка I 292
Смяткин Ф.С. II 212
Смыслов В.В. I 447
Собинов Л.В. I 294

Соболев С. I 196; II 93
Соколов К. II 529
Соколов Нахум I 470, 474
Соколов Н.Н. II 70
Соколовский Ноах II 392
Сократ I 430; II 96, 103, 108
Солженицын А.И. I 275, 510; II 607
Соллогуб В.А. II 592
Соловьев В.С. I 37, 46, 194, 198, 466; II 94-96, 100, 122, 140, 161, 163, 237, 344
Соловейчик Макс II 575
Сологуб Ф.К. I 131, 147, 148
Соломон, царь Израильско-Иудейского гос-ва II 189
Соломон Д. II 266, 268, 269
Солтес А. II 384
Соминский М.С. I 519
Сомов К.А. I 232, 390, 421; II 188, 463
Соня (жена Р.Якобсона) II 79
Сопиков В.С. I 199
Сорин С.А. I 422; II 109, 208, 433, 493-506
Сорина А.С. II 494, 505
Сорокер Я.Л. II 339, 374, 605, 610
Сорокин П.А. I 278
Соссюра Ф. де II 68, 69
Спаак Шарль I 438
Спасович В.Д. I 495
Спасский Б.В. I 456
Сперанский, проф. II 536
Спивак Агарон II 410
Спилберг Стивен II 401
Спиноза Бенедикт (Барух) I 125, 126, 288; II 103, 107
Сталин И.В. I 88, 122, 125, 210-213, 217, 240, 300, 328, 330, 335, 336; II 59, 241, 250, 281, 362, 364-367, 369, 591
Станиславский К.С. I 357; II 381, 536
Станкевич В.В. I 333, 336
Станкевич Н.В. I 27
Старевич Владислав I 441
Стасов В.В. I 368, 369; II 374-378, 468
Стейниц Вильгельм I 207, 208, 447, 449, 454, 458, 462; II 589, 593, 594
Стеклов В.А. I 173
Стенич Валя I 206
Степун Марта II 55
Степун Ф.А. I 40, 44, 52, 274, 276; II 542
Ст. Иванович – см. Португейс С.С.
Стипрайс В.Н. II 231
Столкинд А.Я. I 342 498
Стоюнина М.Н. I 276, 285, 286
Стравинская (дев. фам. Боссе, по первому мужу Шиллинг, по второму – Судейкина) Вера I 231, 239, 412; II 494-497, 502-504
Стравинский И.Ф. I 231; II 374, 378, 494, 503
Страницка Элина II 409
Стратонов В.В. I 276
Стратоновы I 287
Страхов Н.Н. II 98
Страхов Ф. II 175
Стрижевский Владимир I 438, 440
Стриндберг А.Ю. I 144
Строев В. (наст. фам. Десницкий В.А.) I 147, 173, 177
Струве Г.П. I 55, 86, 131, 140, 215, 225, 288; II 56
Струве М.А. II 495, 498
Струве П.Б.I 10, 286, 318, 322, 466, 474; II 21, 44, 143, 163 511, 518, 541
Ступницкий А.Ф. I 94, 321, 323
Стучевский И. II 382, 384-386, 389, 391, 605
Стучка П.И. II 221
Стюарт Мария I 98
Суворин А.С. I 448; II 291, 344
Суворов А.В. II 216
Сувчинский П.П. I 91, 267, 269, 270
Судейкин Джин – см. Палмер-Судейкин Джин
Судейкин С.Ю. I 392, 393, 409, 412, 413; II 493-498, 502, 506, 600
Судейкина, жена Судейкина С.Ю. II 495, 498
Судейкины II 495, 498
Сукеник Эльазар II 209
Сурков А.А. I 239
Сутин Хаим I 11, 70, 99, 363, 364, 368, 391, 422; II 437-443, 445, 465, 466, 470
Сушкевич Б.М. II 510
Суханов Н. (наст. фам. Гиммер Н.Н.) I 147, 155, 176, 179
Сухотин С.С. I 490
Сыркин А. I 197
Сырцов С.И. I 91
Сытин И.Д. I 43
Таганцев Н.Н. I 474
Таганцев Н.С. I 279
Таль И. II 384
Таль М.Н. I 447; II 587
Танеев С.И. II 375, 379, 380
Таня (дочь Г.Л.Сухотиной-Толстой) I 322
Тараканова Елизавета I 440
Тарраш Зигберт I 208, 450, 452, 456, 458, 460
Тартаковер С.Г. I 447-452, 455, 460-462; II 590, 591, 593
Тасин Н.Я. II 238

Тати Жак I 437, 440
Татлин В.Е. I 22; II 483, 487
Твардовский А.Е. I 509
Тверской Яков II 194, 202
Творожников Иван II 503
Тейге Карел II 73, 76-78
Тейтель Е.В. I 466
Тейтель Я.Л. I 424, 435, 465-475; II 511
Тейтельбаум И.А. II 231, 238
Тейхман Рихард I 448, 450, 452, 455, 456, 460, 461
Телесин Юлиус II 593
Теляковский В.А. I 349
Терапиано Ю.К. I 55
Терентьев Игорь II 497, 506
Терешкович К.А. I 422
Тертуллиан Квинт II 132, 133
Тигрид П. I 12
Тиканова-Тихонова Н. I 504
Тиктин С.А. II 607
Тименчик Р.Д. I 519
Тиняков А.И. II 27, 30
Типпет Михаил I 239
Тиссэ Эдуард II 417
Тихо Анна I 366
Тихон, патриарх I 281
Тихоницкий Е.М. II 231
Тихонов А.Н. (псевд. А.Серебров) I 145, 146, 170; II 287, 308, 310
Тихонов Н.С. I 48, 113, 397
Тихонова Н.А. I 149, 168
Тодоров Цветан II 86, 90
Тойнби Арнольд I 238
Толстая С.А. I 423
Толстая Т.В. II 121
Толстая (Сухотина-Толстая) Т.Л. I 322, 324, 326, 423
Толстой А.Н. I 48, 98, 104, 106, 113, 147, 155, 216, 219, 223, 232, 291, 300, 311, 340; II 52, 56, 58, 71, 232, 289, 537
Толстой И.Н. I 224
Толстой Л.Н. I 15, 46, 48, 121, 224, 229, 276, 311, 324, 423, 426, 429, 435, 490; II 104, 113, 122, 123, 127, 133, 134, 175, 224, 237, 273, 341, 350, 360, 361, 535
Томашевский Б.В. II 65
Томилина А.К (Ларионова) I 403, 407
Тон К.А. I 280
Тоон Яаков II 396
Топелиус Цакарнас I 56
Топкис Вильям II 398, 399
Тороков И.Г. II 231
Трауберг Илья II 393
Трегубов И. II 175
Тренев К.А. I 48; II 214
Третьяков С.М. I 213; II 505
Трики, лингвист II 78
Триоле Эльза II 58, 66, 70, 71, 75, 76, 86, 312
Трифонов Ю.В. I 300
Тронер, кинематографист I 443
Трохим, товарищ Тейтеля I 467
Троцкий (псевд. Яковлев) И.М. II 228, 238
Троцкий Л.Д. I 44, 99, 121, 122, 206, 212, 213, 284, 451, 486, 488, 490; II 214, 241, 541, 594
Труайя Анри (наст. имя Тарасов Лев) I 125
Трубецкие II 95
Трубецкой Е.Н. I 198
Трубецкой Н.С. II 66, 78-83, 87-89
Трубецкой Паоло I 423
Трубецкой С.Е. I 276
Трубецкой С.Н. I 37, 198
Трутнев И.П. I 422
Тулуз-Лотрек Анри де II 466
Тумаркин Р.С. I 305
Тумаркин С.Г. I 296
Тумаркина (девич. фам. Левина) Адель I 296
Тумаркина Ида I 305
Тургенев И.С. I 14, 29, 137, 424, 429, 510; II 224, 311, 354
Туржанские I 441
Туржанский Виктор I 438, 440-442
Турэль-Гил'ад Тали II 389
Тухман-Альберттштейн Хана I 386
Тынянов Ю.Н. I 300; II 25, 78, 82, 83, 89, 232
Тэн Ипполит II 57
Тэффи Н.А. (наст. фам. Лохвицкая, в замужестве Бучинская) I 87, 91-94, 222, 296, 333, 335, 503; II 58, 204, 210, 219, 232
Тютчев Ф.И. I 48, 292, 297; II 145, 360
Уайльд Оскар I 144
Угримов А.И. I 276, 284, 285
Уланова Г.С. I 229, 412
Ульманис Карл II 224
Ульштейн, издатель II 531-535
Ульянинский Д.В. I 199; II 94, 99
Ульянов Н.И. (Шварц-Омонский) I 116, 117
Унамуно Мигель де I 117
Ундольский В.М. I 199
Уолесс Э. II 224
Упмал Р. II 231
Успенский В.Е. I 213
Успенский Ф.И. I 46
Усышкин Менахем II 401
Уткин И.П. I 212
Ухтомский, князь I 279
Ушаков Д.Н. II 70, 75

Ушинский К.Д. I 424
Уэллс Герберт I 171, 239; II 302
Фабрикант Вл. II 579
Фаге Эмиль II 22
Файгенфельд, издатель II 243
Файн Ройбен I 452, 453, 458
Файнберг А. II 497, 503, 505, 506
Фальк Р.Р. II 443-446
Фарбман М.С. I 144, 148, 168
Фаррер Клод II 224, 318, 319
Фасмер Макс I 245, 251
Фастович Борис I 437, 441
Федер Ф. I 422
Федин К.А. I 113
Федоров Н.Ф. II 95
Федоров Н.Ф. I 198
Федорова 2-я (балерина) I 10
Федорова Зоя I 508
Федотов Г.П. I 219, 315, 317, 321, 324-327; II 307
Фейдер Жак I 107, 438, 443, 444
Фейертаг Э.И. II 231
Фейнберг Д.Ф. II 577
Фейхтвангер Лион I 434
Фельдман С.Н. II 75
Фельзен Юрий (наст. имя Фрейденштейн Н.Б.) I 445; II 239
Фердинанд II Арагонский II 570, 576
Ферри Энрико II 420
Фет А.А. I 424; II 39
Фигнер В.Н. I 222; II 523, 542
Филидор Франсуа I 458
Филипп Жерар I 440, 445
Филиппов А.И. I 153, 168; II 204
Филиппченко Ю.А. I 173
Филонов П.Н. I 395
Философов Д. II 463
Фильдерман Леон II 460, 462
Фильдерман Люба II 460, 462
Фихте И.Г. I 37; II 96, 118, 121
Фихман Яаков II 414
Фихтман Д.М. -
см. Кнут Довид
Фихтман Я. II 28, 400
Флег Мадлэна I 380, 382
Флег Эдмон I 380-382
Флейшман Л.С. I 141; II 246
Флобер Гюстав I 125, 126
Флор С.М. I 452, 455, 456, 458, 461; II 587, 589, 591
Флоренская Раиса II 498
Флоренский П.А. I 198, 199; II 94, 95, 147, 153, 498
Флоровские I 286
Флоровский А.В. I 276
Флямберг А.Д. I 460
Фокин М.М. Ш 395; II 504
Фондаминская А.О. I 502
Фондаминская Рая I 293
Фондаминские I 222, 299
Фондаминский И.И. (псевдоним И.Бунаков) I 9, 10, 219-223, 293, 299, 501, 502, 504, 505
Фонтенас Андре I 297
Форд Ф.М. I 161
Форш О.Д. I 48, 282; II 127
Фостер Людмила I 132
Франк Виктор I 243
Франк Л.С. II 142
Франк С.Л. I 11, 40, 44, 45, 52, 54, 198, 274, 276, 277; II 91, 141-164
Франс Анатоль I 117, 122, 126, 171; II 265, 302
Фрейд Зигмунд II 128
Фрейденберг Марен I 519
Фридлендер Г.М. I 52
Фридлендер И. II 190
Фридланд, кинематографист I 437
Фридланд М.П. II 577
Фридланд Н.Ф. II 66
Фридман Г. II 178
Фридман Иехезкиэль II 409
Фридман К. II 231
Фридман Н.М. II 168, 533
Фридман-Львов А. II 389
Фридштейн А. II 527
Фрост Роберт II 367
Фруг С. I 55, 466; II 299, 301
Фужита II 437
Фукс А.Л. II 577
Фуше Жозеф I 313
Хаджари Барух II 409
Хавкин Илья II 222, 231
Хазин Ицхак II 414
Халахми Хаим II 393, 408, 409
Хайек Ф.А. I 478, 482
Хайт Гильберт I 234
Хамеири Авигдор (Фойерштейн) II 304, 384, 389, 416
Хардин, земский деятель I 466
Харитон Б.И. II 223, 231, 239
Харитон С.С. I 276
Харламов А.А. I 421
Хаскель, комиссар II 498
Хатон, торговец I 420
Хвольсон О.Д. I 155
Хейфец Иосиф II 393
Хейфец И.М. II 295
Хейфец М.Р. I 203, 517, 519

Хейфец Яша II 208
Херасков И.М. I 318, 321, 322, 324
Херинг Гуго II 488
Хилсум Рене I 296, 297
Хлебников Виктор II 68
Хлебников В.В. II 71, 76, 80, 502, 505, 506
Хлебников Л.М. I 169, 176, 191, 288
Хмельницкий Богдан II 355
Ходасевич В.М. I 160, 161, 168; II 19
Ходасевич В.Ф. I 8, 10, 25, 42, 45, 49, 53-55, 70, 104, 106, 130, 150, 165, 168, 183, 222, 270, 296, 505; II 11-30, 75, 435, 601, 603
Ходасевич М.Ф. II 14
Ходасевич С.Я. (урожд. Брафман) II 13
Ходасевич Ф.И. II 13
Холлоши Ш. I 142
Хомяков А.С. II 95
Хорон А.Г. (Гуревич) II 353
Хоружий С. I 287
Хохлов Евг. II 217
Хрулева Роза I 309
Хрущев Н.С. II 275
Хургель Моше II 409, 416
Хьюз Роберт I 141; II 246
Цадкин О.Е. I 107, 363, 368, 391, 422; II 437
Цвейг Арнольд I 473
Цвейг Стефан I 158; II 224
Цветаева М.И. I 9, 56, 70, 104, 106, 130, 219, 231, 232, 264-272, 288, 309, 365, 502, 513; II 21, 25, 52-54, 56, 60-62, 64, 435
Цвик (Миронов М.М.) II 221, 222, 239
Цвикликер Кристофер I 395
Цейтлин Моисей II 575
Цельмс Р.К. II 231, 232
Цемах Нахум I 357
Церетели И.Г. I 10, 209, 230, 235, 342, 343
Цетлин II 584
Цетлин А.В. I 291, 294
Цетлин В.М. I 289, 308, 309
Цетлин Джемс I 305, 306
Цетлин Минда I 309
Цетлин М.О. I 9, 11, 219, 222, 223, 288, 290, 293, 295, 298, 300-302, 304, 311, 317, 321, 324, 502, 516
Цетлин М.С. I 9, 288, 293, 295-297, 300, 301, 308, 309, 503, 504, 516; II 63, 610
Цетлин О.С. I 291, 294, 300
Цетлин Сильвия I 309
Цетлин-Доминик А.М. I 288-309, 516, 519
Цетлины I 222, 288, 291, 505
Цивинский С.А. (Civis) II 223, 224
Цигельман Яков I 55, 516; II 390
Цимбал Марк I 207
Ципкевич Б.М. II 433, 451, 452, 454-458, 460, 462
Ципкевич Катерина II 460
Ципкевич Николай II 460, 462
Цурюпа (Цюрюпа) А.Д. I 281
Чаадаев П.Я. II 138
Чайков И.М. I 368, 422
Чайковский Н.В. I 311
Чайковский П.И. II 374-376, 378
Чалидзе В.Н. I 207
Чапек, братья II 602
Чапек Карел II 602
Чаплин Чарли II 474
Чарный, лектор II 228
Чарторыйский Адам I 122, 124
Чаянов А.В. I 477, 483; II 52, 435, 603
Челинцев А.Н. I 477
Челищев П.Ф. I 391-393, 413-415, 418
Чепик Сергей I 391
Черепнин Александр II 497
Черкесова А.Д. I 400
Черник Артур II 76, 77
Чернов В.М. I 176; II 98, 541
Чернович Хаим II 560
Черниховский Саул II 28-30, 290, 303, 304, 352, 353, 383, 384, 559
Черные I 302
Черный (наст. фам. Гликберг) А.М. I 8, 11, 70, 74-77, 289, 302, 505; II 9, 31-45, 50, 204, 216, 218, 223, 239, 557, 599
Черных Марфа I 291, 292
Чернышевский Н.Г. II 98
Чертков В.Г. II 175
Черчилль Уинстон I 122, 334
Четвериков Д. I 48
Чехов А.П. I 46, 179, 218, 300, 466, 490, 510; II 294, 295,
Чехонин С.В. I 391, 393, 415, 416
Чигорин М.И. I 448; II 594
Чинтер Эдуард II 592
Чириков Е.Н. I 466, 474; II 71, 232, 299, 300
Чичерин Г.В. I 206; II 67, 74, 95
Чичибабин А.Е. I 90, 92
Членов Е.В. I 470; II 249, 251, 527, 530, 540, 543, 544
Чолокашвили Мелита II 494, 499
Чуковский К.И. I 147-149, 153, 165, 486, 490, 509
Чулкова – см. Гренцион А.И.
Шабад-Выгодская А.Г. II 280
Шаброль Клод I 439
Шабуров Ю.Н. II 594

Шагал Ида I 418
Шагал М.З. I 7, 11, 70, 104, 106, 363, 368, 388, 391, 393, 415-418, 422; II 381, 388, 437, 438, 465, 467, 475, 514,
Шагинян М.С. I 44
Шайкевич В.В. (по мужу Тихонова) I 149, 168
Шалит Л. II 577
Шалфеев Б.Н. II 223, 224, 231, 232
Шалфеев Н. II 223
Шальников Александр I 279
Шаляпин Ф.И. I 70, 347-360, 508, 515; II 300, 312, 379, 381, 539
Шаляпина М.Ф. I 294, 440
Шамир Моше II 604
Шамкович Л. II 596
Шаммай II 574
Шамсон Андре I 111
Шануа Жан-Поль де I 439
Шапиро Яков I 58, 60, 61
Шарден Жан Батист II 442
Шарль-Ру Эдмонда II 312
Шарме Ж.Л. I 519
Шарро Пьер I 294
Шафаревич А. II 588
Шафаревич И.Р. II 61
Шафиров П.П. I 509
Шахатуни Аршавир I 437, 440
Шаховская З.А. I 275, 502, 504; II 64
Шац Борис I 369; II 395, 396, 398, 463
Шац Ольга II 400
Шварц Мордехай II 397
Шварц Семен (наст. фам. Момосзон) I 205
Шварцбанд Самуил I 519; II 9, 507, 566, 605
Шварцман – см. Шестов Л.
Швейцер Альберт I 514
Шевченко Т.Г. I 424
Шекспир Вильям I 124; II 104, 113, 123, 190
Шеллинг Фридрих Вильгельм II 95
Шепард Роберт I 395
Шер В. I 274
Шервуд В.О. I 512
Шестов Лев (наст. фам. Шварцман Л.И.) I 8, 11, 22, 132, 268, 269, 474; II 91, 100-140
Шефтель М.И. II 168
Шик (Александр?) I 297
Шик Г.И. I 292, 299
Шиманович Д. II 28
Шимановский, проф. II 266
Шимкевич В.М. I 173
Шингарев А. II 528
Шифрин Н.А. I 232
Шифрин Семен I 439, 445; II 208
Шкловская М. II 299, 300
Шишков В.Я. I 48, 147
Шкловский В.Б. I 48, 104, 106, 113, 148, 509; II 25, 74, 75, 79, 82, 83, 87, 237, 435
Шкловский И.В. (псевд. Дионео) I 80; II 587, 595
Шкляр Е.Л. II 239
Шлеев В.В. I 421, 517; II 587, 595
Шленский Авраам II 311, 360, 384
Шлехтер Карл I 448, 449, 454, 456, 460
Шлецер Б.Ф. II 118, 121, 390
Шлецер П.Ю. II 385, 390
Шлецеры II 390
Шмарова Л.М. II 602
Шмелев И.С. I 10, 46, 49, 54, 94, 154, 182, 474; II 50, 229, 232
Шмидт Л. II 231
Шмит (Шмидт) О.Ю. I 159
Шмурло Е.Ф. I 159, 168
Шнайдерман Ева II 454, 464
Шнеерсон Иза II 269
Шнейдерман Э. II 32
Шнеур З. II 28, 383
Шницлер А. II 224
Шовлен, торговец I 407, 416
Шолом-Алейхем (Рабинович Ш.Н.) I 466; II 289
Шолохов М.А. I 300
Шопен Фридерик I 424
Шопенгауэр Артур I 37, 40, 119
Шор Давид II 379, 389
Шостакович Д.Д. II 61, 605
Шоу Бернард II 302
Шошка II 268, 284
Шпенглер Освальд I 121
Шпет Г.Г. II 95
Шпильберг С. II 599
Шпильман Рудольф I 448, 452, 454-456, 460
Шредер А. I 8, 134
Шрейфельд И. II 231
Шрейфельд Л. II 231
Штайнзальц А. I 54
Штальберг Гидеон I 452, 455
Штейгер А.С. барон I 445, 502
Штейн А.И. II 525, 541
Штейн Эммануил II 595, 596
Штейн (Гессен) С.И. II 525, 530, 531, 541, 542, 544
Штейнберг Аарон II 127, 128, 131, 139, 140
Штейнберг И. I 8, 134
Штеренберг Д.П. II 487
Штернберг Л. II 523, 527
Штительман Ирена (Пархомовская Б.А.) I 519; II 606, 611

Штолл Ладислав II 77, 88
Штраус Рихард II 592
Штурман Дора (псевд. В.Е.Богдан) II 3, 606, 607
Шуб Эсфирь II 393
Шубарт Кристиан I 147
Шуберт Франц II 206, 374
Шувалова, графиня I 234
Шульгин В.В. I 153, 328, 331
Шуман Роберт II 206
Шурочка – см. Прегель А.Н.
Шухаев В.И. I 10, 232; II 323, 338
Шухаева В.Ф. II 336, 338
Щегловитов И.Г. I 469
Щеголев П.Е. I 206
Щекотихина-Потоцкая А.В. I 408
Щепкин Н.Н. I 274
Щербакова Г. II 494
Щукин С. II 439, 482
Эберлинг Вильгельм II 496
Эбютерн Жанна I 364, 365
Эвенсон А.М. I 451, 453; II 591
Эйве Макс I 447, 450, 452, 456, 458; II 589, 592-594, 596
Эйдук Э.К. II 231
Эйдус Танхут (Анатолий) II 222, 239
Эйзенштейн С.М. II 393, 394, 402, 417
Эйкерт К. II 231
Эйнштейн Альберт I 434, 473, 479-482, 484
Эйхенбаум Б.М. I 9, 12, 113; II 82
Экстер А.А. I 391, 393, 394, 407, 413, 418-420
Элиот Томас I 229; II 367
Элишева, поэтесса II 384
Элькин Б.И. I 54
Эльяшов Михаил II 222, 231
Энгель (дев. фам. Хейфиц) А.К. II 379, 382, 384, 386, 387, 390, 391
Энгель Йозль (Ю.Д.) I 353; II 339, 374-391
Энгельгардт В.П. I 197
Энеску Дж. II 605
Эр Альфред I 234
Эренбург И.Г. I 10, 12, 55, 56, 70, 97-115, 131, 225, 232, 288, 509, 510; II 52, 75, 84, 435, 446, 475, 586
Эрлих Александр II 250, 258, 260, 262, 263, 267-282, 284
Эрлих Виктор II 247, 249, 250, 259, 260, 262, 263, 277, 284, 607
Эрлих Генрих II 250-252, 257-260, 263, 268, 274-276, 278, 280-284
Эрлиш Жан II 204
Эрн В.Ф. II 147, 153
Эрнст О. I 400
Эрте (Ромен де Гиртов) I 407
Эрьзя (Нефёдов) С.Д. II 317
Эстер ,жена Мане-Каца II 472
Эстергази, граф I 120
Этин Иехуда II 397
Эткинд Е.Г. I 310, 518, 519
Эфрон А.С. II 49
Эфрон И.А. II 94
Эфрон С.Я. I 267-271; II 62, 243
Эфрон Я.К. I 269
Эфрос А.М. I 144
Эфрос Г. II 214
Эшкол Леви II 431
Юденич Н.Н. II 530
Юдовин С. II 470
Юдович М.М. II 587
Южин А.И. II 537
Южный Яша I 392
Юниверг Л.И. I 129, 145, 518, 519; II 165, 202, 246, 607, 610
Юревич В.М. II 231
Юренев П.П. II 519
Юркевич П.Д. II 95
Юркун Ю.И. I 148, 168
Юрковский, проф. I 483
Юрьев Ю.М. II 577
Юрьевский Е. (наст. фам. Вольский Н.В.) I 338, 340
Юстман Ари I 366
Юстман Ариана I 385
Юстман Эли I 383
Юшинский Андрей I 491, 492
Юшкевич С.С. I 11, 12, 25-27, 30, 31, 424; II 204, 213, 216, 217, 288, 289, 291, 294, 298, 299, 511
Юштин, агроном I 276
Яблоновский А.А. I 46; II 34, 36, 39-41, 204, 210
Яблоновский Я. II 223
Ягода Г.Г. I 210; II 278
Якобсон Мирон II 496
Якобсон Р.О. I 106, 234 246; II 9, 65-90
Яковенко Б.В. I 159, 168; II 542
Яковенко М. I 200
Яковлев Александр I 10, 222, 232; II 208
Яковлев Николай I 413, 415
Яновицкий, студент I 488
Янгфельд Бенгт II 65, 86
Яновский В.С. I 321, 324, 445, 502, 503; II 57, 63, 64, 603
Яновский Д.М. I 449, 453, 458, 461
Янсен Олаф II 85
Янушкевич Н. II 576
Ясинский В.И. I 276, 284
Ясинский И.И. I 48
Яффе Гилель II 392

Avxente - псевд.,
см. - Прегель А.Н.
Babushkin II 503
Bally Charles II 89
Baranoff N. II 101
Bechhofer II 504
Bessy Maurice I 446
Boussinot Roger I 446
Broglie Jacques de II 334, 335
Butler B. II 491
Cassou I. I 388
Champion Edouard I 87
Chirat Raymond I 446
Chvatík K. II 88
Clement C. II 88
Clouberman E. II 140
Dagon Y. I 388
Delbos Victor II 114
Diemen Jan II 487
E. de D. (г-жа) I 426
Forge A. II 491
Fournier Christiane II 331
Frankfurter A. I 388
Gerte K. I 426
Giedion-Welcer II 491
Ginzberg Asher II 565
Gottlib A. I 389
Grjebine Hélène I 141
Hardeman Hilde I 141
Hubbard E. I 389
Justman A. I 389
Kolb E. I 388
Kuncíř Ladislav II 89
Lesching Edvard II 87
Le-Traz I 327
Linhartova V. II 88
Lolo -
см. Мунштейн П.Г.
Magaratto L. II 505
Marcilhac F. I 389
Ollé Laprune Léon II 114
Oppenheimer S. I 388
Petiot I 308
Renski M. II 88
Rischbieter Hennig II 464
Sadoul Georges I 446
Salmon A. II 504
Schang II 504
Shein L.J. II 139
Simon Leon II 565
Smith N. II 542, 544
Souhami Dana II 464
Spencer Charles II 464
Weinreich Max II 90
Wernham J.C. II 139
Werth L. I 388
Wilson Phillip II 464
Winner Th. II 88

Содержание

Вместо предисловия. О многопринадлежности Homo Novus
Дора Штурман (Израиль).....3

Литература. Языкознание. Редактор Самуил Шварцбанд

Последний поэт старой России. *Юрий Колкер (Англия)*.....11
Потаенная биография Саши Черного. *Анатолий Иванов (Россия)*.....31
Автограф Саши Черного в архиве К.Б.Зайцева.
Публикация Александра Клементьева (Франция).....44
"Такой забавник-умница Бахрах". *Борис Носик (Франция)*.....51
Роман Якобсон в Чехословакии. *Олег Малевич (Россия)*.....65

Философия. Редактор Нафтали Прат

Юлий Вейцман. Русское любомудрие.
Публикация Олега Ласунского (Россия).....93
Лев Шестов. Материалы Бахметевского архива.
Публикация Марка Раева (США).....100
Лев Шестов и русская культура. *Владимир Паперный (Израиль)*.....122
Исполнил ли С.Л.Франк завещание деда? *Нафтали Прат (Израиль)*.....141

Книжное дело и периодика. Редактор Леонид Юниверг

"Еврейская трибуна" о России и русском еврействе
(Париж, 1920-1924 гг.). *Вера Каплан (Израиль)*.....167
Второе "я" Юлия Генса. *Олег Ласунский (Россия)*.....181
"Иллюстрированная Россия" как зеркало эмигрантской жизни
20-30-х годов. *Леонид Юниверг (Израиль)*.....202
Рижская газета "Сегодня" - кто ее делал, кто в ней печатался
и кто ее читал. *Юрий Абызов (Латвия)*.....221
Зарубежная русско-еврейская печать и литература в оценке
коммунистической цензуры (по материалам "Секретного
бюллетеня Главлита" за 1923 г.). *Арлен Блюм (Россия)*.....240

Архивы и мемуары. Редактор Сима Векслер

В межвоенной Польше. Воспоминания С.С.Дубновой-Эрлих.
Публикация Виктора Эрлиха (США).....249
Переписка В.Е.Жаботинского с А.М.Горьким.
Публикация Иосифа Вайнберга (Россия).....285
Возвращаясь к имени Зиновия Исаевича Гржебина.
Неизвестное письмо А.М.Горького В.И.Ленину.
Публикация Иосифа Вайнберга (Россия).....307
Из писем Зиновия Пешкова.
Публикация Михаила Пархомовского (Израиль).....311

Русские евреи в Палестине. Редактор Виктор Радуцкий

Опаленные Россией, или Русские корни израильской культуры.
Амос Оз (Израиль). Перевод В.Радуцкого.....341
"Говорят, есть такая страна..." (Йоэль Энгель).
Яаков Сорокер (Израиль).....374
Пионеры израильского кино.
Яаков Гросс (Израиль). Перевод В.Радуцкого.....392
Зеев Жаботинский – юрист. *Яков Айзенштат (Израиль)*.....419

Искусство. Редактор Марина Генкина

Александр Бахрах. Монпарнасский "Улей". (По памяти,
по записям... II). *Публикация Григория Поляка (США)*.....435
Дар Берты М.Ципкевич. О коллекции Л.Бакста в Музее
Израиля (Иерусалим). *Марина Генкина (Израиль)*.....451
Мане-Кац, художник из Кременчуга. *Любовь Латт (Израиль)*.....465
Наум Габо (1890-1977) и Антуан Певзнер (1886-1962) –
скульпторы-конструктивисты. *Дора Коган (Израиль)*.....481
Савелий Сорин в Крыму и Закавказье в 1917-19 гг.
Джон Боулт (США).....493

История. Общественные деятели. Редактор Михаил Хейфец

Максим Винавер. *Глава из книги "Имена"*
Эдуарда Капитайкина (Израиль).....511
Иосиф Гессен: юрист, политик и журналист.
Валерий Гессен (Россия).....520
Роза Гинцберг-Осоргина – дочь Ахад-ха-Ама.
Нина Елина (Израиль).....545
"Звезды все еще звезды..."
Очерк В.Е.Жаботинского о Г.Б.Слиозберге.
Публикация Самуила Шварцбанда (Израиль).....566
"Предводимые евреем-революционером" (о русских добровольцах
во Франции). *Михаил Пархомовский (Израиль)*.....578

Дискуссия о статье Саввы Дудакова.....587

Об авторах сборника.....597

Извинительное слово. *А. Бовин*.....608

Обращение к авторам.....609

Обращение к читателям.....610

Именной указатель к I и II тому
Составители Ирена Штительман, Михаил Пархомовский.....611

Table of contents

Preface. Homo novus, a man belonging to two or more cultures.
Dora Shturman (Israel).....3

Literature and Linguistics. Editor Samuil Shwarzband

The last poet of old Russia. *Yuri Kolker (England)*.....11
The secret biography of Sasha Chorny. *Anatoly Ivanov (Russia)*.....31
An autograph of Sasha Chorny from K.B.Zaitsev's archives.
Published by Alexander Klementiev (France).....44
"He has a lot of fun in him and he is a brain, that Bakhrakh".
Boris Nossik (France).....51
Roman Jacobson in Czechoslovakia. *Oleg Malevich (Russia)*.....65

Philosophy. Editor Naftali Prat

Yuli Veitsman. Russian philosophy and philosophers ("Russkoye lyubomudrie"). *Published by Oleg Lasunsky (Russia)*.....93
Lev Shestov. Materials of Bakhmetev's Archives.
Published by Mark Raeff (USA).....100
Lev Shestov and Russian Culture. *Vladimir Paperny (Israel)*.....122
Has S.L.Frank fulfilled the will of his grandfather? *Naftali Prat (Israel)*.....141

Book-Publishing and Periodicals. Editor Leonid Yuniverg

"Evreyskaya Tribuna" (Jewish Tribune) about Russia and Russian Jews (Paris, 1920-1924). *Vera Kaplan (Israel)*.....167
The second self of July Gens. *Oleg Lasunsky (Russia)*.....181
"Illustrirovanaya Rossia" (Illustrated Russia) as the mirror of emigrants' life of the 20th and 30th. *Leonid Yuniverg (Israel)*.....202
Riga's Newspaper "Segodnia": those who compiled it, who were its authors and readers. *Yuri Abyzov (Latvia)*.....221
The Russian-Jewish emigration press as appraised by the communist censorship (after the materials of the "Secret Glavlit Bulletin" of 1923). *Arlen Blum (Russia)*.....240

Archives and Memoirs. Editor Sima Vexler

The Interwar Poland. Memoirs by S.S.Dubnova-Erlich.
Published by Victor Erlich (USA).....249
The correspondence of V.E.Jabotinsky with A.M.Gorky.
Published by Iosif Vainberg (Russia).....285
Once again Zinovy Isaevich Grjebin (an unknown letter addressed by A.M.Gorky to V.I.Lenin). *Published by Iosif Vainberg (Russia)*.....307

Some letters from Zinovy Peshkov's correspondence.
Published by Mikhail Parkhomovsky (Israel).....311

Russian Jews in Palestine. Editor Victor Radutsky

Branded by Russia or Russian roots in Israel's Culture.
Amos Oz (Israel). Translated by V.Radutsky.....341
"They say such a country does exist..." (Yoel Engel).
Yakov Soroker (Israel).....374
The founders of the Israeli cinema.
Yakov Gross (Israel). Translated by V.Radutsky.....392
Zeev Jabotinsky as a lawyer. *Yakov Aizenshtat (Israel)*.....419

Arts. Editor Marina Genkina

Alexander Bakhrakh. The Montparnasse "beehive" of painters.
Published by Gregory Poliak (USA).....435
Bertha M.Tsipkevitsch's donnation. On L.Baxt's collection in the
Israel Museum (Jerusalem). *Marina Genkina (Israel)*.....451
Mane-Katz, painter from Kremenchug. *Lyubov Latt (Israel)*.....465
Naum Gabo (1890-1977) and Antoine Pevsner (1886-1962) as
sculptors-constructivists. *Dora Kogan (Israel)*.....481
Savelii Sorin in the Crimea and Transcaucasia, 1917-19.
John E.Bowlt (USA).....493

History. Public figures. Editor Mikhail Kheifets

Maxim Vinaver. *A chapter from the book "Names" by*
Eduard Kapitaikin (Israel).....511
Iosif Gessen: lawyer, politician and journalist.*Valery Gessen (Russia)*.....520
Rosa Gintsberg-Ossorgina, the daughter of Akhad-ha-Am.
Nina Elina (Israel).....545
"Stars are still Stars..." Essay on G.B.Sliosberg by V.E.Jabotinsky.
Published by Samuil Shwarzband (Israel).....566
On Russian volunteers in France. *Mikhail Parkhomovsky (Israel)*.....578

Discussion on the article of Savva Dudakov.....587

About the Authors of Collected Articles.....597
Some words of apology. *A.Bovin*.....608
A letter addressed to the authors.....609
A letter addressed to the readers.....610

Index of Names covering the first two volumes.
Compiled by Irena Shtitelman and Mikhail Parkhomovsky.....611

ЕВРЕИ В КУЛЬТУРЕ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Настоящий сборник, как и первый, изданный в 1992 г., посвящается периоду между двумя мировыми войнами.

В книге публикуются статьи, воспоминания и другие материалы об известных деятелях культуры Русского Зарубежья – И. Гессене, Х. Сутине, С. Франке, В. Ходасевиче, Саше Черном, Л. Шестове, Р. Якобсоне, а также менее знакомых русскоязычному читателю или незаслуженно забытых: литературном критике и мемуаристе А. Бахрахе, скульпторах - братьях Габо и Певзнере; адвокатах, общественных деятелях и публицистах М. Винавере и Б. Слиозберге, художниках П. Кремене, Мане-Каце, С. Сорине; Р. Фальке, композиторе и музыкальном критике Й. Энгеле.



Публикуются воспоминания С. С. Дубновой-Эрлих, статьи о периодических изданиях „Еврейская трибуна" (Париж), „Иллюстрированная Россия" (Париж), „Сегодня" (Рига); неопубликовавшиеся письма А. Амфитеатрова, М. Горького, графа А. Игнатьева, М. Мильруда, З. Пешкова, Р. Якобсона; заметки из дневника и альбома В. Судейкиной (Стравинской).

Книга богато иллюстрирована.

В сборнике приняли участие писатели и литературоведы, философы и культурологи, искусствоведы и журналисты Англии, Израиля, Латвии, России, США, Франции.

Надеемся, что он будет интересен как специалистам, так и широкому кругу читателей.

По всем вопросам о настоящем издании просим обращаться к составителю и издателю:

М. Пархомовский
ул. Мишлат, 648/4
Бет-Шемеш, 99000, Израиль
Тел.: (02) 917039

Similar to the first volume (1992), this book deals with the period between the 1st and 2nd World Wars.

The book includes articles, memoirs and other materials concerning well-known men of Russian culture who lived abroad: I. Gessen, S. Frank, V. Khodasievich, Sasha Chorny, L. Shestov, Kh. Sutin, R.Yakobson, as well as those less known or completely forgotten by the Russian reader with no good reason: art critic and memoirist A. Bachrach, sculptors brothers Gabo and Pevsner, advocates, social workers and publicists M. Vinaver and B.Sliosberg, painters R.Falk, P.Kremen,, Mane-Katz, S.Sorin, composer and musical critic Y.Engel.

The memoirs of S.S.Dubnova-Erlich, articles about the periodicals - "The Jewish Tribune" (Paris), "The Illustrated Russia" (Paris), "Segodnia" (Riga), unpublished letters of A.Amfiteatrov, M.Gorky, count A.Ignatiev, M.Milrud, Z.Peshkov, R.Yakobson and some notes from the album and diary of V.Sudeikina (Stravinskaya) are published.

The collected works are profusely illustrated.

Well-known writers, philosophers, art critics, journalists living in England, Israel, Latvia, Russia, USA and France have contributed to the collected works.

We are sure the book will be of great interest both for specialists and a wide variety of readers of diverse tastes and inclinations.

Adress all the questions to the compiler :

M.Parkhomovsky
648/4 Mishlat Str.
99000 Bet-Shemesh, Israel
Tel.:(02) 917039

JEWS IN THE CULTURE OF RUSSIA ABROAD